

Семь искусств 10/2014



*Журнал*

*Редактор Евгений Беркович*

# СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

10/2014

**Журнал**

**«Семь искусств»  
№ 10 (56) 2014**

Редактор и составитель  
Евгений Беркович

Художник  
Дорота Белас



Семь искусств  
Ганновер 2014

Журнал «Семь искусств» № 10 (56) /2014 — Ганновер:  
*Семь искусств*. 2014. — 535 с., 34,3 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит  
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно  
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».  
Аристотель. "Политика".



Семь искусств  
Ганновер 2014

## Оглавление

<i>Владимир Тихомиров</i> Комментарий к письму Л.С. Понтрягина Е.Ф. Пуриц	5
<i>Оскар Рохлин</i> Иная жизнь	7
<i>Владимир Визгин</i> Владимир Семёнович Кирсанов: доминанты историко-научной работы и фрагменты воспоминаний	29
<i>Сергей Демидов</i> Слово о Володе Кирсанове	41
<i>Ольга Хазова</i> Заметки о Вове	46
<i>Николай Овсянников</i> Козырев и Вергинский	50
<i>Ефим Шехтер, Юрий Шехтер</i> Потаённый Маяковский. 120-летию со дня рождения Владимира Маяковского посвящается	56
<i>Бронислав Горб</i> Профессор Зайцев, снимите очки-велосипед! Вместо предисловия ко 2-му изданию «Шуга у трона Революции»	66
<i>Александр Кунин</i> Обманчивая ткань реальности. Владимир Набоков и наука	89
<i>Анатолий Николин</i> Вечное возвращение Сирина. Владимир Набоков и Крым	98
<i>Бенгт Лильегрен</i> «Во главе Королевства Свеев». Перевод <i>Георгия Фомина</i>	113
<i>Ефим Курганов</i> Шпион Его Величества, или 1812 год Историко-полицейская сага в четырех томах	132
<i>Александр Левинтов</i> Старый Палех, новый Палех — последний Палех?	178
<i>Борис Сохрин</i> Дебюсси и Скрябин. Публикация <i>Елены Иоффе</i>	186
<i>Андрей Алексеев</i> Страсти человеческие и производственные. Из записок социолога-рабочего	195
<i>Ян Пробштейн</i> «Я вернусь молодым чудодеем...». Об Аркадии Акимовиче Штейнберге	227
<i>Игорь Фунт</i> Русский Фауст в музыке. К 210-летию со дня рождения В.Ф. Одоевского	254
<i>Павел Нерлер</i> Надежда Яковлевна Мандельштам в Чите и Чебоксарах	258

<i>Александр Лейзерович</i> Тетрадь В.Ф. Одоевского (стихи последнего года жизни)	266
<i>Семён Резник</i> Против течения. Академик Ухтомский и его биограф. Документальная сага с мемуарным уклоном	298
<i>Владимир Фрумкин, Тамара Львова</i> Через океан. Повесть-переключка	330
<i>Александр Боровой</i> 2003 и другие годы	362
<i>Дмитрий Бобышев</i> Я в нетях. Человекотекст, книга 3	383
<i>Генрих Тумаринсон</i> Хорошо быть малышом!	466
<i>Людмила Некрасова</i> "Без паутины лживых слов..."	474
<i>Борис Геллер</i> Спущенное колесо, или Похождения конторщика Рабиновича	485
<i>Александр Половец</i> Анна Семёновна	508
<i>Зоя Мастер</i> Кофе по-мароккански	518
<i>Лорина Дымова</i> Пятно на потолке, похожее на карту мира	521
<i>Вероника Капустина</i> «...Ты стучишь во мне, метрополия, немолкнущая страна». Переводы из романской поэзии	526
<i>Михаил Юдсон</i> Узор разума	532

# Владимир Тихомиров

## КОММЕНТАРИЙ К ПИСЬМУ Л.С. ПОНТРЯГИНА Е.Ф. ПУРИЦ\*

Письмо Льва Семёновича Понтрягина Елене Феликсовне Пуриц (сведения о которой содержатся в конце этого комментария), датировано четырнадцатым апреля 1953 года. В нём три части, и каждая из них выразительно характеризует и то время, и самого автора письма в тот важный период его жизни.

Во втором абзаце сказано, что «математики теперь дефицитный товар, и спрос на них большой», и потому аспирантура лучше, чем работа, дающая немедленные материальные блага. В те времена после аспирантуры можно было рассчитывать более счастливую судьбу, чем работа в «ящике». В нынешние времена дела обстоят, увы, не так.

В первом и третьем абзацах человек, живший в те времена, улавливает некие потаённые мысли и суждения (говорить напрямую в те времена опасались). Письмо писалось в один из поворотных моментов в истории нашей страны. Пятого марта 1953 года умер Сталин, один из самых могущественных властителей в истории человечества. Будущее скрывал туман неопределённости. Но письмо Понтрягина свидетельствует о том, что сквозь этот туман автору просвечивал луч надежды на лучшее будущее. Так можно толковать слова «скорее можно думать хорошо, чем плохо».

И действительно, в эти самые дни в нашей стране происходили, выражаясь словами поэта «неслыханные перемены». За два без малого месяца до смерти Сталина, 13 января 1953 года несколько врачей (многие из них были евреями) подверглись аресту, и им было предъявлено чудовищное обвинение в шпионаже и в заговоре с целью убить советское руководство. Среди арестованных были медицинские светила самой первой величины: Х. Василенко, В.Н. Виноградов, М.С. Вовси, А.М. Гринштейн, Б.Б. Коган, Б. Преображенский, А.И. Фельдман, Я.Г. Этингер. Начавшаяся в конце сороковых годов антисемитская кампания набирала обороты (Е.Ф. Пуриц как еврейку выгнали с работы), и многие ожидали в недалёком будущем чего-то страшного — погромов, репрессий, выселения в отдалённые районы...

Но уже совсем скоро после смерти Сталина обнаружилось, что ничего ужасного не происходит, оплакивания и рыдания по случаю смерти Сталина длились недолго, и жизнь постепенно начала входить в нормальную колею. И появилась надежда на лучшее, что «скорее можно думать хорошо, чем плохо». Четвёртого апреля произошло событие воистину невероятное: появилось сообщение о том, что арестованные врачи, большинство из которых признались в своих злодеяниях, на самом деле оказались невиновными и им возвращается их доброе имя. И всего через десять дней после этого события в почтовый ящик бросается тёплое дружеское

---

\* Статья из тома Историко-математических исследований. Вторая серия. Выпуск 15 (50), «Янус-Ю». Москва 2014. Там же опубликовано и само письмо Е.Ф. Пуриц.

письмо женщине, которая вместе с мужем Гершем Исааковичем Егудиным только-только начала приходить в себя после тягостных переживаний.

И Лев Семёнович включает в своё письмо выдержанный в юмористическом стиле рассказ о своём излечении от мучивших его болезней, произошедшем прошлым летом. Это случилось благодаря усилиям Мирона Семёновича Вовси, только что освобождённого «отравителя», который летом прошлого года «принял решительные меры». В течение зимы, пишет Понтрягин, «я долго сомневался, не отравлен ли я, но теперь успокоился».

Последний абзац посвящён личной творческой проблеме. Великий тополог решил сменить свою профессию и «по указанию начальства [...] освоить новую область математики, имеющую прикладное значение». Ученики Льва Семёновича называли ещё одну причину для такого решительного шага. Дело в том, что во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы, когда из-за опущенного «железного занавеса» научные контакты были ослаблены, во французскую математику пришло новое поколение, в частности, появилась группа Бурбаки. В начале пятидесятых годов выяснилось, что выдающиеся французские математики, такие как Лере и Серр, добились больших успехов в топологии, в частности, в решении тех задач, над которыми думал Л.С. Понтрягин. А быть на вторых ролях он не привык. И Понтрягин стал заниматься теорией дифференциальных уравнений «с приложениями к теории колебаний и теории регулирования». В этих областях он добился выдающихся успехов. Данное письмо — свидетельство перемены творческой судьбы Л.С. Понтрягина (1908-1988) — одного из крупнейших математиков двадцатого века, основные научные достижения которого относятся к топологии, теории дифференциальных уравнений и теории оптимального управления.

Елена Феликсовна Пуриц (1910-1997) родилась в семье присяжного поверенного в Петербурге. Окончила немецкую школу (Анненшule), Ленинградский педагогический институт им. Герцена. После аспирантуры преподавала в этом институте, занималась немецкой литературой, переводила Гейне. Много лет заведовала кафедрой иностранных языков в Финансово-экономическом институте. У нее было много друзей как среди гуманитариев, так и среди представителей естественных наук. В 30-е годы познакомилась с Л.С. Понтрягиным, дружила и переписывалась с ним в 30-60 гг. Уже в преклонном возрасте стала писать воспоминания (фрагменты опубликованы в журнале "Знамя", 1996, № 5, в книге "Советская жизнь Ландау. Глазами очевидцев, составители Г.Е. Горелик, Н.А. Шальникова, Москва ВАГРИУС).

Сведения об адресате письма Понтрягина были получены мною от Никиты Дмитриевны Введенской («Никишки»). Она окончила мехмат МГУ и пошла (как и советовал Л.С. Понтрягин) в аспирантуру МИАН им. Стеклова (её научным руководителем была О.А. Олейник). Работала в ИПМ им. Келдыша АН СССР. Сейчас работает в ИППИ РАН. Доктор физико-математических наук. С Л.С. Понтрягиным её познакомила Е.Ф. Пуриц в 1947 г. Она общалась с Понтрягиным в 50-60 гг.

Н.Д. Введенская познакомилась с Е.Ф. Пуриц в 1942 г. в Ташкенте, когда Елена Феликсовна с мужем математиком Гершем Исааковичем Егудиным поселились «по уплотнению» в квартире её отца — профессора Ташкентского медицинского института Дмитрия Алексеевича Введенского (семьи сдружились на всю жизнь).



# Оскар Рохлин

## ИНАЯ ЖИЗНЬ

До Горбачёвской перестройки я был невыездным и только во второй половине восьмидесятых, в почтенном пятидесятилетнем возрасте, посетил ряд стран. Поделюсь впечатлениями советского человека, увидевшего иной мир. Но до впечатлений о загранице я бы хотел рассказать о нашей совместной работе с гениальным математиком Израилем Моисеевичем Гельфандом. Потому что для биолога общение с Гельфандом было равнозначно пребыванию в совсем ином мире, который вполне можно назвать интеллектуальной заграницей.

### Совместная работа с Гельфандом

В начале осени 1981 года мне позвонил мой друг Иосиф Львович (Ося) Чертков и от имени Израиля Моисеевича Гельфанда предложил мне рассказать на его семинаре о генетической регуляции биосинтеза антигел. О биологическом семинаре математика Гельфанда я был, разумеется, наслышан, и никакого энтузиазма это приглашение у меня не вызвало.

Вот что вспоминает о семинаре известный иммунолог Лев Николаевич Фонталин: «Основной состав гельфандовского семинара был очень сильным и разносторонне компетентным. Это давало уникальную возможность плодотворно обсуждать важнейшие научные проблемы и договариваться о совместной работе. Большой вред причинял, однако, стиль обсуждения докладов, далёкий не только от «академизма», но и от нормальной научной дискуссии. Удручала дифференцированность отношения к докладу в зависимости от персоналий. После одного особо оскорбительного обсуждения, жертвой которого стал С. Бляхер, я прекратил своё участие в гельфандовском семинаре». Я не собирался становиться «жертвой оскорбительных обсуждений» и отказался участвовать в семинаре. Чертков настойчиво убеждал меня, что слухи о грубости Гельфанда преувеличены, он всегда задает очень точные вопросы, и если докладчик владеет материалом, то он только выигрывает от этих вопросов, несмотря на не вполне академическую манеру, в которой эти вопросы задаются.

— И что ты в конце концов теряешь, — спрашивал Чертков. — Не понравится, повернёшься и уйдёшь.

Уговорил, и где-то в середине сентября я пошёл на семинар.

Расскажу вкратце о Гельфанде. Он родился в 1913 году в местечке Окны Херсонской губернии и после окончания школы уехал в Москву, где в возрасте 19 лет, не имея высшего образования, поступил в аспирантуру МГУ к великому А.Н. Колмогорову.

Колмогоров впоследствии говорил, что есть только два математика, в разговоре с которыми он «ощущает присутствие высшего разума», и один из них — И.М. Гельфанд.

В 1935 году Гельфанд защитил кандидатскую, а в 1940 — докторскую диссертации. Парадокс Гельфанда заключался в том, что в век, когда математика разбивалась на все более и более узкие специализации, он оставался универсалом, с равным успехом занимавшимся исследованиями более чем в дюжине областей.

Гельфанд — член всех крупнейших академий мира и лауреат всех мыслимых международных премий. Биологический семинар Гельфанд организовал в начале шестидесятых, после того как один из его сыновей умер от лейкемии. Гельфанд считал, что математика подобна музыке и каждый учёный напоминает того или иного композитора. Себя он видел Моцартом, поясняя: «Мы любим Моцарта не за то или иное его произведение. Великим композитором его делают вся совокупность его работ и их абсолютное величие». В общем, товарищ знал себе цену.

Семинары проходили по пятницам — с 7 до десяти вечера на пятом этаже молекулярного корпуса МГУ.

Гельфанд опоздал минут на тридцать. Небольшого роста, худощавый, с венчиком седых волос, он производил сильное впечатление волевым выражением лица и пристальным взглядом светлых глаз. Для начала к доске был вызван докладчик, не успевший изложить материал на прошлом семинаре. Не помню, о чём он говорил. Гельфанд его перебивал вопросами, потом вдруг обращался к кому-то в аудитории с вопросом, не имевшим никакого отношения к докладчику, тот смиренно ждал, когда о нём вспомнят, и затем продолжал свой доклад. Время приближалось к десяти, и я потихоньку закипал — похоже, обо мне забыли. Но тут, минут за десять до конца семинара, Гельфанд поинтересовался, где же тот, кто должен рассказывать про антитела. Я молча поднялся и вышел к доске.

— Так что же Вы нам хотите рассказать, — спросил Гельфанд.

— Я Вам ничего не хочу рассказать, — ответил я. — Чертков меня заверил, что Вас интересуют проблемы, связанные с антителами. Так что именно Вас интересует?

В зале стало очень тихо, Гельфанд удивлённо смотрел на меня, потом ответил:

— Меня интересует, как регулируется синтез антител и каковы основные нерешенные вопросы этой регуляции.

По-видимому, Гельфанд понял, что меня не стоит топтать ногами, и со следующего семинара я стал подробно рассказывать, как устроена и как работает иммуноглобулиновая машина.

Я очень быстро понял, что вопросы Гельфанда необычайно точны, попадают в наиболее спорные и неисследованные проблемы синтеза иммуноглобулинов — и от семинара к семинару моё уважение к нему возрастало.

Наконец, на четвёртом или пятом семинаре я подошёл к проблеме специфичности взаимодействия тяжёлых и лёгких цепей. Существо проблемы состояло в том, что каждая молекула антитела формируется комбинацией тяжёлой и легкой цепи, а исходя из первичной структуры переменных доменов тяжёлых и лёгких цепей число вариантов H-цепей оценивалось величиной  $10^4$ , а лёгких цепей —  $10^3$ .

Отсюда, путём перемножения, минимальное разнообразие иммуноглобулинов оценивалось величиной  $10^7$  и, разумеется, эта оценка основывалась на предположении, что любая H-цепь способна сочетаться с любой L-цепью. Однако это предположение невозможно было доказать экспериментально: все описанные в литературе эксперименты были основаны на реассоциации миеломных или моноклональных H- и L-цепей, но их представительство по отношению к общему пулу пептидных цепей являлось ничтожным.

Здесь Гельфанд попросил меня остановиться и на минуту (подчёркиваю, всего лишь на минуту) задумался и затем спросил:

— А Вы можете выделить из сыворотки пул нормальных лёгких цепей?

— Могу, — ответил я.

— А индивидуальную H-цепь Вы тоже можете выделить?

— Да, могу.

— А Вы можете оценить процент нормальных лёгких цепей, способных взаимодействовать с индивидуальной Н-цепью?

Я усталился на Гельфанда как на фокусника, который достал из воздуха букет прекрасных роз. Прежде всего я почувствовал себя идиотом. Утешало лишь, что такими же идиотами были многие зарубежные лаборатории, где пытались решить проблему взаимодействия тяжёлых и лёгких цепей. А тут предлагалось удивительно простое решение: оценить процент нормальных лёгких цепей, способных взаимодействовать с индивидуальной Н-цепью; если все лёгкие цепи будут образовывать комплексы с Н-цепью, то действительно любая Н-цепь способна сочетаться с любой лёгкой цепью; если же только определенный процент лёгких цепей будет реагироваться с Н-цепью, то существует избирательность во взаимодействии между лёгкими и тяжёлыми цепями.

С благословения Израила Моисеевича Гельфанда мы приступили к экспериментам, которые в основном проводил сотрудник лаборатории Саша Ибрагимов. Мы использовали для образования комплексов пул нормальных лёгких цепей ИГ мыши, а миеломную Н-цепь фиксировали на аминоцеллюлозе. Мы показали, что взаимодействие иммобилизованной Н-цепи с лёгкими цепями является специфичным и определяется переменными доменами и только 30% нормальных лёгких цепей способны взаимодействовать с индивидуальной Н-цепью. С помощью ионнообменной хроматографии нам удалось разделить пул нормальных лёгких цепей на пять фракций и выявить отчётливые различия между фракциями: в одной из фракций 60% нормальных лёгких цепей взаимодействовали с Н-цепью, тогда как в другой фракции — только 16%.

Таким образом, мы впервые показали, что при подсчёте разнообразия антиген-связывающих центров (АСЦ) нельзя перемножать число вариантов Н-цепей на число L-цепей, так как только определённая субпопуляция лёгких цепей способна взаимодействовать с индивидуальной Н-цепью. Я показал результаты опытов ИМ, он остался доволен и велел писать статью.

Статью я написал довольно быстро, и Гельфанд попросил приехать к нему домой для обсуждения текста.

И.М. жил недалеко от метро «Проспект Вернадского» в трёхкомнатной квартире с молодой женой Таней и маленькой дочкой, тоже Таней. Я думал, что Гельфанд прочитает статью и сделает свои замечания. Но он попросил меня читать статью вслух и после нескольких фраз останавливал меня и говорил:

— Это надо переписать, — или: — Это приемлемо.

На мои вопросы, почему эти фразы надо переписать, он отвечал, что объяснять ничего не будет, потому что для меня будет гораздо полезнее самому понять, что именно плохо в написанном тексте. Так начались мои еженедельные приезды к Гельфанду, которые продолжались шесть месяцев. Иногда я приезжал в 9 утра, иногда — часов в 7-8 вечера.

Запомнился один из утренних приездов. Таня сказала, что ИМ ещё у себя в комнате, но он уже проснулся и я могу к нему зайти. ИМ сидел на кровати в пижаме. Увидев меня, он сказал, что сейчас оденется, мы попьём чаю и начнём работать.

Одевание началось с носков. Он натянул один носок на ногу, взял второй, поднял ногу и застыл с поднятой ногой и носком в руках. В этой застывшей позе он пробыл некоторое время, уронил носок на пол, сел за письменный стол и стал быстро писать математические формулы на листке бумаги. Я смиренно сидел на

стуле и ожидал, хорошо понимая, что присутствую при акте творения. Так продолжалось минут пятнадцать, затем И.М. вернулся на землю, удивлённо посмотрел на меня, поздоровался, явно не помня, что он меня уже видел, и велел идти на кухню, куда он скоро придёт для совместного чаепития. В один из вечеров И.М. сказал, что хочет угостить меня своим любимым бутербродом. На кухне он отрезал от буханки чёрного хлеба два толстых ломтя, щедро полил их подсолнечным маслом, нарезал лук тонкими колечками и положил их сверху. Я был в полном восторге — это были любимые бутерброды моей послевоенной жизни.

Впоследствии мне приходилось есть разные мясные и рыбные вкусности, но чёрный хлеб с подсолнечным маслом и репчатым луком так и остался любимым лакомством из киевского голодного детства. И вот я получил это лакомство из рук гениального Гельфанда, который явно наслаждался моим благодарным удивлением.

Итак, через шесть месяцев статья была закончена и направлена для публикации в Доклады Академии Наук. Используя идею Гельфанда, мы продолжили исследования, но уже без его участия. Он считал задачу решенной и детали его не интересовали. Способность Гельфанда задавать точные вопросы не ограничивалась научными проблемами. Просто так был устроен его математический мозг. Вот договариваюсь я с ним о следующем своём приезде и спрашиваю:

— Можно я позвоню Вам завтра часов в 9 вечера?

— Можно, — следует мгновенный ответ, — только меня дома не будет.

Он не хотел меня обидеть, просто он точно ответил на мой дурацкий вопрос.

Вот другой пример из очерка Маши Гессен «Григорий Перельман»:

«Группа людей путешествует на воздушном шаре. Поскольку их шар отнесло далеко, путешественники решили спросить у местных жителей, куда они попали. Увидев на земле человека, они снизились: «Не могли бы вы сказать, где мы сейчас находимся?» — Тот ответил: “В корзине воздушного шара”». Этот человек был математиком.

После написания статьи я только изредка приезжал домой к Израиль Мойсеевичу, в основном в дни рождения, но благодарную память о его уроках я сохранил на всю жизнь.

## Поездка в Париж

В начале декабря 1988 года я поехал на 16 дней в Париж. Меня пригласил Вольф Фридман, который заведовал лабораторией иммунологии в Институте Марию Кюри. Я познакомился с Вольфом и его женой Катрин на конференциях в Венгрии в 1982-84 годах, и как только я стал выездным, Вольф пригласил меня рассказать о нашей работе на семинарах в его лаборатории с полной оплатой всех расходов.

Самолёт приземлился в 11 утра, и когда я вышел в зал ожидания, то увидел женщину средних лет, державшую перед собой табличку с моим именем и фамилией.

Я подошёл к ней, и она на вполне приличном русском языке сообщила, что представляет министерство иностранных дел, и ей поручено меня встретить и позаботиться обо мне.

Оказалось, что Фридман оформил мой приезд как визит VIP (very important person), и поэтому меня встречал официальный представитель министерства. Дама попросила мой паспорт и удивлённо сообщила мне, что визу мне в Москве оформили неправильно, и если следовать штампу в паспорте, то я сегодня же вечером должен вернуться в Москву. Поэтому мы должны немедленно поехать в советское

посольство, а затем в министерство иностранных дел, и это очень жаль, сказала дама, так как была запланирована ознакомительная поездка по Парижу, положенная VIP, а теперь придётся заниматься моей визой, но если останется время, утешила меня дама, то мы всё-таки прокатимся по Парижу.

И мы поехали в советское посольство. Но иногда кто-то проявляет о вас заботу и, что-то отняв, тут же компенсирует чем-то другим.

Мы зашли в комнату ожидания советского посольства, дама велела сесть и смиренно ожидать её возвращения, и тут я увидел, что на скамейке ожидания сидит Булат Шалвович Окуджава.

Большого подарка и представить себе было нельзя. Встретить Окуджаву — это было всё равно, как для правоверного еврея встретить прародителя Авраама или пророка Моисея, потому что Окуджава создал мир без вражды, где царили добрые, справедливые люди. Я приблизился к Окуджаве, представился и назвал Никитиных и Митю Сухарева как своих приятелей, чтобы сломать стену отчуждения. Затем объяснил, почему я оказался в посольстве, и тут выяснилось, что и Окуджава здесь сидит по той же причине.

Я попытался сказать Окуджаве, как я люблю его творчество, как мне понравился его роман «Путешествие дилетантов», но тут появился человек, сообщивший, что всё улажено, и Окуджава покинул посольство.

Минут через тридцать появилась и моя дама и мы поехали в министерство иностранных дел.

Всё вскоре было улажено, и ещё осталось время поехать к Эйфелевой башне и прокатиться по Елисейским полям. После этого дама отвезла меня в гостиницу. Вольф и тут постарался.

Гостиница располагалась у ограды Люксембургского сада, и это был уютный семейный дом, где было всего четыре комнаты.

Меня встретила хозяйка, элегантная мадам в возрасте от 30 до 60, точнее я определить не мог — возраст менялся в зависимости от освещения и настроения. Встретила она меня приветливо, и тут ей было тридцать; потом строго стала объяснять правила проживания — и ей тут же прибавилось лет двадцать. Правила, впрочем, были простые: не шуметь, приходить и уходить можно в любое время, для чего мне были выданы ключи от входной двери и моей комнаты, приводить на ночь никого нельзя, завтрак подается с восьми утра в небольшой гостиной. Я вселился в свою комнату, чистую, удобную, с ванной и телевизором, маленьким письменным столом и громадной кроватью. Министерская дама убедилась, что я устроен, как положено почётному гостю, и распрощалась со мной, сказав, что я перехожу теперь на попечение Вольфа Фридмана, который и придёт за мной часов в семь вечера.

В одну из суббот Катрин и Вольф предложили мне поехать на улицу Муфтар, где по субботам работал рынок. Они объяснили, что в магазинах продукты не всегда свежие и дороже, чем на рынке. Вот мы и поехали.

Вдоль всей улицы располагались магазинчики, и почти перед каждой лавочкой, прямо на улице, находился прилавок, так что и в магазин не надо было заходить. Жарились сосиски, мясо, овощи, рыба, играла музыка, толпа неторопливо прохаживалась вдоль прилавков, присматриваясь и прицениваясь. Покупать никто не торопился, надо было осмотреться как следует и уж затем сделать выбор. Купили мы себе булочки с жареными сосисками, очень вкусными, по бутылочке пива, и так, жуя и попивая, осматривали овощи, фрукты, мясо и рыбу. Попадались продавщицы настолько сами по себе аппетитные, что хотелось не раздумывая при-

обрести у них всё, что они предлагают, но Катрин была на страже и оттаскивала меня и Вольфа подальше.

Говорливый шум толпы, музыка, аппетитные запахи, смех, симпатичные лица продавцов и покупателей — праздник, да и только. Часа через два после наших гуляний Катрин начала закупки, которые продолжались ещё часа два и мы, нагруженные продуктами на неделю, поехали в гостеприимный дом Фридманов.

Я приходил в гости к Вольфу и Катрин почти каждый день, мы ужинали, разговаривали, слушали музыку, всегда было уютно и безмятежно. Два раза мы ужинали в ресторане. В одном из ресторанов Вольф сказал, что я сейчас увижу, чем отличается хороший ресторан от обычного. И я увидел — как только я гасил окурочку сигареты в пепельнице, тут же появлялся официант, забирал пепельницу с окурком и ставил чистую. Такие нравы.

Мне очень хотелось купить хороший подарок дочери Тане. За год до поездки Таня родила дочку Катеньку, и хотелось отблагодарить её за доставленную радость стать бабушкой. Я решил, что это должен быть женский костюм, но представления не имел, как такой костюм должен выглядеть. После бесплодных разглядываний женской одежды в универмагах, я зашёл в красивый магазин женской одежды на бульваре Сен Мишель.

В магазине были три милостивых продавщицы и ни одного покупателя. Я объяснил, что я из России, хочу купить подарок дочери, могу потратить на подарок три тысячи франков и надеюсь на их помощь. И тут началось. Дамы потребовали фотографию. Фото было, но черно-белое. Посыпались вопросы: цвет волос, цвет глаз, веселый ли характер у дочери или грустный, какие танцы она любит, и уж совсем меня поразил вопрос — появляются ли у неё ямочки на щеках, когда она смеется. Затем дамы сказали, что я свободен и могу придти через час. Когда я пришёл, дамы, радостно улыбаясь, показали мне юбку, блузку и пиджак и заверили меня, что дочка будет довольна.

И действительно, Тане очень понравился выбор прелестных магазинных фей. Накупил я ещё детских игрушек и оставил деньги на вино — приближался как-никак Новый год. Не знаю почему, но перед тем как покупать вино я позвонил в Москву.

— У тебя остались деньги? — спросила жена Марта.

— Остались.

— В Москве исчез стиральный порошок. Пелёнки нечем стирать. Купи побольше.

Я попросил помощи у одной из сотрудниц лаборатории и купил пятикилограммовую банку детского стирального порошка, а две бутылки хорошего французского вина мне перед отъездом подарила лаборатория Вольфа.

Накануне отъезда Вольф пригласил меня в гости к своей маме — был последний день праздника «Ханука», и семья по традиции вместе отмечала праздник. Собралось человек пятнадцать — дети, внуки и в центре мама Вольфа, Ханна. У меня защемило сердце при взгляде на Ханну, так она была похожа на маму. Худенькая, небольшого роста, с ласковым взглядом светло-серых глаз. Она обняла меня и сказала по-украински: «Поговорим после обеда».

На обед были традиционные латкесы, форшмак, курица, сладкое кошерное вино, горели свечи в ханукальном восьмисвечнике.

Ханна родилась в восточно-польском местечке, недалеко от Украины, говорила по-украински и на идиш, и так мы с ней и беседовали на смеси украинского и идиша, когда после обеда мы уселись в уголке поговорить.

Ханна и её семья попали в концлагерь, и изво всей семьи только Ханна чудом уцелела. После войны она оказалась во Франции, стала печь пирожки и продавать их на улице, и так постепенно встала на ноги, встретила хорошего человека, вышла замуж и родила двух сыновей — у Вольфа был брат, работавший парижским корреспондентом израильской газеты «Jerusalem Post». После рассказа Ханны настал мой черёд.

— Так ты женат на русской? — спросила Ханна.

— Да, — честно ответил я.

— Что же это вы делаете? — запричитала Ханна. — Так ведь скоро евреи исчезнут. Вот и Вольф. Второй раз женат, и опять на француженке. — А почему ты не уезжаешь из России? Теперь ведь всех выпускают. Зачем вам жить в этой ужасной стране?

Этот вопрос мне задал Игорь Губерман десять лет назад на проводах моего приятеля Жоры Дризлиха. Тогда у меня был ответ: я обладал самым главным — любимой работой, я был независим, никто мне не диктовал, что я должен исследовать, и я решал те научные проблемы, которые меня интересовали. Теперь же (т.е. в конце 1988 года) ситуация была иная. Страна разваливалась. Денег на исследования не хватало даже в Кардиоцентре у всемогущего Чазова. Тогда я ещё не думал об эмиграции, просто хотелось переждать это тяжёлое время и поехать поработать в США два-три года.

Надо было искать место в США. Я отправил письмо Генри Метзгеру, с которым я встречался во время моей поездки в Теннесси (о чём ниже) и затем во время его приезда в Москву. Генри был научным руководителем Института ревматизма в НИИ, президентом общества иммунологов США, и, набравшись нахальства, я не просто попросил его устроить меня на работу в США, а составил список лабораторий, где мне бы хотелось работать. Первым номером в этом списке была лаборатория Макса Купера в Университете города Бирмингема в штате Алабама. Купер был известным иммунологом, одним из первых он открыл взаимодействие между Т- и В-лимфоцитами, но главное — его лаборатория исследовала ранние предшественники В-лимфоцитов в костном мозге человека, и я надеялся, что смогу использовать в этой работе наши антитела к вариабельным областям иммуноглобулинов человека. Метзгер быстро договорился с Купером, я получил приглашение от Купера на работу в его лаборатории в течении двух лет в качестве приглашенного научного сотрудника (visiting scientist), и, стало быть, можно было начинать оформление документов.

Однако одно затруднение надо было преодолеть.

Таня к этому времени развелась с мужем, и я не мог уехать с Мартой, оставив одну Таню с трёхлетней Катенькой на руках. Уехать же все вместе мы не могли: Таня была взрослым, самостоятельным человеком, и Академия Наук не могла дать разрешение на выезд всей семьи.

Тогда мы решили попробовать уехать вместе с Катенькой, но без Тани с тем, чтобы Таня потом приехала в США по туристической визе. Я написал докладную на имя вице-президента АН (в это время я уже перешёл из Кардиоцентра в Институт молекулярной генетики АН), в которой просил разрешения поехать в командировку вместе с женой и внучкой, обосновав это тем, что дочка заканчивает экспериментальную часть своей кандидатской диссертации и, оставшись одна с маленьким ребёнком на руках, не сумеет диссертацию завершить. Вице-президент подписал мою докладную, и я приступил к оформлению документов. Что же касается Тани, то я написал своему другу Володе Аксельроду, и тот прислал приглаше-

ние Тане навестить его в качестве невесты, чтобы наверняка получить от властей США разрешение на приезд в страну.

В США с женой и внучкой мы улетели 15 октября 1990 года, но до этого я побывал два раза в США (по два месяца) по приглашению Алана Соломона, заведующего лабораторией иммунологии Университета штата Теннесси в городе Ноксвилле, с которым мы затеяли совместную работу.

### Первая поездка в Теннесси. 1988 год

Самолёт приземлился 1 мая 1988 года. Я в Америке. Впервые. В кармане ни цента, но меня должны встретить, дать какие-то деньги и билет до Ноксвилла, штат Теннесси. Вместо этого встретившая меня дама сообщила, что я лечу в Лас-Вегас, где сейчас идёт съезд Американского Общества иммунологов, и доктор Алан Соломон (пригласивший меня в Ноксвилл) считает, что мне будет полезно для начала познакомиться с американской иммунологией в целом.

Трудно описать моё состояние. 24 часа перелёта из Москвы в Нью-Йорк. Без сна. Теперь узнаю, что надо лететь ещё 8 часов в какой-то Лас-Вегас, да ещё то ли с посадкой, то ли с пересадкой для работы в Фениксе, прилёт в Лас-Вегас в полночь, гостиница заказана, но как туда добираться оставалось совершенно не ясно. Сейчас всё это смешно. Но тогда...

По радио что-то всё время вещают, но понять ничего не могу. Кругом снуют разнообразные люди, и некоторые говорят на таком английском, который мне совершенно недоступен. Как-то мне тогда в голову не пришло, что не все в Америке разговаривают по-английски. Дотащился до стойки на Лас-Вегас. Плечо оттягивает тяжёлая сумка, где препараты для работы в Ноксвилле. В багаж сдать побоялся: если потеряют, вся поездка теряет смысл. Ну что ж, лечу в Лас-Вегас. Поразило расстояние между креслами по сравнению с Аэрофлотом — просторно.

Прилетели. Полночь. Я в пути почти двое суток, без сна, голодный. Как поётся в песне — «Не то что б кушать не было, а просто не хотел».

Это моё жлобское напряжение и страх начисто лишили аппетита. Получил багаж. Ташусь по коридору, не очень понимая, что же делать дальше. И вдруг. О Счастье. Со скамейки мне навстречу поднимается Дик Линч и так запросто, как будто мы с ним вчера расстались, говорит: «А я вас жду».

С Линчем мы встречались на конференциях в Венгрии и на биохимическом съезде в Москве в 1984 году.

Оказывается, Алан Соломон попросил Линча меня встретить и помочь добраться до гостиницы. Мы сели в такси. Водителем оказалась красивая блондинка лет тридцати, в стильной маечке, позволяющей любоваться её роскошным бюстом, ярко-красной бейсбольной пепелке, на которой заглялись многочисленные разноцветные огонёчки, как только машина тронулась. Через несколько минут наше такси уже двигалось по залитому неоновыми огнями проспекту с казино, отелями, ресторанами и толпами людей на тротуарах. По мере того как наше такси двигалось по улицам Лас-Вегаса, можно было видеть фонтаны цветных огней, омывающие египетские пирамиды, средневековые замки, миниатюрные Эйфелеву башню и статую Свободы. Колоннады воды танцевали на площадях Рима, и венецианские гондольеры плыли вдоль каналов в своих гондолах. Этот пейзаж разительно отличался от серых, пустынных улиц Москвы в час ночи.

Я не могу сказать, что я был подавлен огнями Лас-Вегаса. Ну не будете же вы, попавши на Луну, подавлены тем, что уменьшенная сила тяжести позволяет вам прыгать на Луне в шесть раз выше, чем на земле. К моему удивлению американцы, узнав, что Лас-Вегас это первый город, увиденный мной в США, всплескивали руками и, как бы извиняясь, уверяли меня в том, что Лас-Вегас ну совершенно нетипичный американский город. Как потом выяснилось, они, к сожалению, оказались правы. Во время поездки в такси наша прелестная водительница пыталась в чём-то убедить Линча. Тот в ответ только посмеивался и время от времени говорил: «Спасибо, нет, нет, спасибо». Что прелестница ему говорила, я не понимал. Когда мы вышли из такси, я спросил Линча, что она так настойчиво предлагала.

Оказывается, она объясняла ему, что в гостинице ночью очень скучно, и будет гораздо веселее, если мы поедem к ней, она пригласит подружку, тоже, как и она, хорошенькую, выпивка у неё есть и мы замечательно проведем ночь, а ваш русский друг навсегда запомнит свою первую ночь в Америке. Так Линч уберёт меня от греха, чего, разумеется, жаль.

Конференция прошла быстро, и мы с Аланом летим из Лас-Вегаса в Ноксвилль. По дороге я спросил у Алана, почему у него фамилия Соломон. В СССР я никогда не слышал о евреях с фамилией Соломон. А в США, судя по научным публикациям, Соломонов пруд пруди.

Объяснение оказалось очень простым. Предки Алана приехали в США из Польши в начале XX века. Фамилия у них была длинная, польско-еврейская, заканчивающаяся на «ский». Английского они не знали, и после многих безуспешных попыток объяснить иммиграционному сотруднику, какова их фамилия, тот махнул рукой и написал «Соломон». Так что все американские Соломоны — это выходцы из Польши с непривычными по-английски фамилиями.

В аэропорту Ноксвилла нас встречала вся лаборатория Алана. Жильё мне предоставили в доме профессора-психолога университета Боба Кроника, приятеля секретарши Алана Мери и члена той же консервативной синагоги, что и Алан. Боб был разведен, жил один в двухэтажном доме на окраине Ноксвилла в зелёном живописном районе, примерно в получасе езды от университета. Бобу было около 40, шатен, среднего роста, с серыми глазами под нависающими бровями и профилем чем-то озадаченной птицы.

Как психолог он занимался трудными подростками, что наложило свой отпечаток на его поведение. Говорил он уверенно, быстро и не всегда для меня понятно. На мои просьбы говорить помедленнее он не реагировал, полагая, что это я должен к нему приспособливаться, а не наоборот. Отношения, тем не менее, сложились у нас вполне нормальные.

Время шло. Работа продвигалась успешно, я несколько расслабился и иногда приезжал домой ещё засветло. Тогда я шёл бродить по дорожкам в окрестностях дома Боба. Дома вокруг были более или менее похожи друг на друга, двухэтажные, ухоженные, с большими участками вокруг домов. Это были или просто участки леса, как у Боба, или садовые участки с клумбами цветов и фруктовыми деревьями. Примерно над каждым третьим домом развевался американский флаг, что меня сильно озадачило. Я никак не мог себе представить, что владелец частного дома добровольно украсит свой дом государственным флагом.

Значит, решил я, в этих домах живут официальные лица или находятся какие-то официальные учреждения. Никаких официальных табличек на этих домах,

однако, не было, и понять было невозможно, зачем на окраине города разместили такое количество официальных учреждений или лиц.

Я спросил у Боба, что означают американские флаги над этими домами. Боб долго не мог понять, о чём собственно я его спрашиваю. Когда, наконец, понял, то как-то зло ответил:

— Никаких официальных учреждений или лиц в этих домах нет. Владельцы повесили флаги потому, что они любят эту страну и гордятся ею.

Тогда я его спросил, означает ли отсутствие флагов на других домах, в частности, на его доме, что владельцы этих домов не любят свою страну и ею не гордятся.

Тут Боб совсем разозлился.

— Нет, — сказал он. — Мы все любим нашу страну и гордимся ею. Но одним людям нравится флаг над домом, а другим всё равно, есть флаг или нет.

По-видимому, любовь к родине всё же не коррелирует с наличием флага над домом: я живу уже много лет в Айове, и только на каждом десятом доме нашего городка висят флаги, из чего никак не следует, что патриотов здесь в три раза меньше, чем в Ноксвилле. Из разговоров со своими соседями я знаю, что они любят свою страну и считают её лучшей в мире. Но флаги не вывешивают, полагая, что и так всё ясно. Все люди разные, и искать особых объяснений феномену «флага», по-видимому, бессмысленно. Большинство американцев не ура-патриоты и не нуждаются в показательной демонстрации своей любви к родине.

Во время своих блужданий я наткнулся на красивую чугунную ограду, за которой просматривался большой дом с колонами, клумбы с цветами, кусты необычной формы, площадки для игры в теннис и гольф. Я дошёл до ворот, на которых висел большой замок, и на кирпичных величественных тумбах висели золотом по белому металлу таблички «Country Club», что я перевел как Загородный Клуб. Казалось, что внутри должно быть очень красиво и захотелось всё это рассмотреть поближе. Я спросил у Боба об этом клубе. Он сказал, что это частный клуб для богатых людей, сам он никогда там не был, но если мне очень хочется, то он попробует выяснить, как туда попасть. Через пару дней Боб сообщил, что он разговаривал с представителем клуба, и тот ему без обиняков сообщил, что неграм и евреям вход на территорию клуба запрещен. На моё возмущённое размахивание руками Боб пожал плечами и спокойно сказал: «Это частное владение, и они вправе устанавливать свои правила. Члены клуба платят 5 000 долларов в месяц и за эти деньги хотят себя оградить от нежелательных лиц».

— Я думаю, — добавил Боб, — это потомки коренных южан, которым неприятны не только негры и евреи, но и выходцы из северных штатов, воевавших, как известно, с южными во время Гражданской войны.

Наверное, Боб был прав, а для меня это было первым уроком, показавшим, что американское общество далеко не так однородно, как это представлялось издалека.

## Вторая поездка в Теннесси

19 марта 1989 года я вылетел в США. На этот раз я не нервничал, всё как будто было знакомо, тот же маршрут — Москва — Нью-Йорк — Ноксвилл. Единственное изменение: из Москвы в Брюссель я должен был лететь «Аэрофлотом», в Брюсселе пересесть на самолёт компании «Сабена», и затем Нью-Йорк.

В Шереметьево я встретил замечательного историка и писателя Натана Эйдельмана. Он несколько раз выступал в Институте Молекулярной Биологии АН (где я работал с 1967 по 1981 годы) с рассказами о разных периодах русской исто-

рии, и мы были знакомы. Он тоже летел в Нью-Йорк. Мы условились, что в Брюсселе попробуем договориться с сервисом, чтобы сидеть рядом, и я уже предвкушал, сколько интересного услышу по дороге из Брюсселя в Нью-Йорк.

Эйдельман был удивительным рассказчиком, и я был счастлив, что мне так повезло. (В дневниках Эйдельмана я нашёл запись о нашей встрече.)

Но человек предполагает, а располагает вами кто-то ещё, и этот кто-то не всегда настроен к вам доброжелательно. При регистрации в Брюсселе «Сабена» мне сообщила, что меня в их компьютере нет. Все места в самолёте заполнены, и я никак не могу улететь моим рейсом в Нью-Йорк. Хотя уже прошло двадцать пять лет после этого эпизода, меня до сих пор начинает трясти от возмущения, когда я об этом вспоминаю.

— Как же так, — кричал я, — вот же билет у меня на руках с указанием рейса и места. Почему я не могу улететь?

— Не волнуйтесь, — успокаивала меня сервисная дама. — Мы через два часа отправим Вас в Лондон, а ещё через два дня Вы сможете вылететь из Лондона в Нью-Йорк. Компания всё Вам оплатит. Подумайте, как Вам повезло! Бесплатно два дня в Лондоне.

Дама за меня искренне радовалась и не могла понять, почему я продолжаю кричать и настаиваю на немедленной отправке из Брюсселя в Нью-Йорк. Я пытался объяснить ей, что у меня с собой препараты для работы в США, и они испортятся за три дня задержки.

— Если вы не можете меня немедленно отправить в США, — продолжал я буйствовать, — то возвращайте меня обратно в Москву.

В конце концов мне сообщили, что я могу улететь в США через два часа рейсом компании TWA, Париж — Брюссель — Нью-Йорк. На этом и порешили.

Уже сидя в полупустом самолёте TWA я подвёл неутешительные итоги:

1/ в Нью Йорке меня никто не встретит, так как никому не известно, когда я прилетаю;

2/ денег у меня ни цента. Я был настолько глуп, что истратил все доллары от первой поездки;

3/ самолёт прилетает поздно вечером, и как дозвониться до Ноксвилла без денег, я не знал; о системе «collect call» я тогда понятия не имел;

4/ багаж улетел с «Сабеной», и найду ли я его, было неясно. В общем, полнейший мрак. Так счастливо начиналась поездка, и вот нате вам.

Недалеко от меня сидела молодая пара с маленьким ребёнком, судя по белобрысости — скандинавы. Ребенок почти непрерывно истошно орал, и эта парочка даже не пыталась его успокоить. Так, под крики маленького скандинава, мы и приземлились в Нью-Йорке.

Я встал в очередь на паспортный контроль, и тут мне показалось, что впереди маячит шевелюра моего знакомого Мишеля Казачкина. У него была характерная причёска: волосы от висков подымались вверх и закручивались в замысловатый штопор на макушке. Я подбежал к нему, — и действительно это был Мишель. Мы встречались с ним на иммунологических конференциях в Венгрии. Мишель работал в Париже. Его предки эмигрировали из России после революции. Он родился во Франции, но прекрасно говорил по-русски.

Я объяснил ему, в какую ситуацию попал, и Мишель обещал, что не оставит меня, пока мы не решим все мои проблемы. Мишель первым прошёл контроль. Я за ним. И тут началась какая-то дикая несурезица.

Проверяющий, белый мужчина лет 50, посмотрел мой паспорт, декларацию и злобно спросил:

— Как вы попали на рейс TWA? Эта компания не обслуживает СССР и восточную Европу.

Я объяснил ему, как это случилось. Он швырнул мне обратно паспорт и декларацию и сказал: здесь всё заполнено неправильно. Заполните снова. Я вернулся обратно в полной растерянности, не понимая, что же неправильно. По проходу прохаживался темнолицый мужчина в форме, лет сорока, наблюдая за порядком. Я решил спросить у него совета, как мне перезаполнить декларацию. Он внимательно всё просмотрел и спросил, кто из таможенников меня отослал обратно. Я ему показал.

— Понятно, — сказал он. — Перезаполнять Вам ничего не надо. Всё правильно заполнено. Сейчас Вы пойдёте вон к той женщине, — он показал на смуглую брюнетку, — и всё будет в порядке.

Он ей что-то прокричал, по-видимому, по-испански. Я уже двинулся к её стойке, но тут он придержал меня и добавил:

— Позвольте Вам дать совет. Вам наверно понадобится помощь, чтобы разобраться, где выход, как попасть на другой терминал и т.д. Не спрашивайте помощи у белых. Обращайтесь или к чёрным или к таким, как я.

Он прочертил овал вокруг своего лица указательным пальцем правой руки.

— Понятно? — спросил он.

— Понятно, — ответил я, хотя ровным счётом ничего не понимал.

Единственное, что всколыхнулось в моей памяти — это «country club» в Ноксвилле, куда не пускали негров и евреев. Я быстро прошёл контроль, вышел в зал терминала и стал крутить головой в поисках Казачкина. Но его не было. «Значит, не дождался», — грустно подумал я, но огорчаться дальше уже не было сил. Прежде всего я решил найти терминал «Сабень», чтобы попытаться отыскать свой багаж. Несмотря на усталость и подавленность, я всё же решил проверить совет моего испанского доброжелателя и обратился к проходившему мимо белому служителю аэропорта с вопросом, как найти терминал «Сабень». Тот слегка притормозил, как-то брезгливо на меня посмотрел и, ничего не ответив, пошёл дальше.

То же случилось и со вторым белым служителем.

На этом я решил прекратить эти беленькие испытания и, увидев негра, ринулся к нему со своим вопросом. Тот внимательно меня выслушал, сказал, что «Сабена» в другом терминале, поэтому мне надо выйти из этого терминала, а до терминала «Сабень» можно дойти пешком за 10 минут, и подробно объяснил, как идти. Так что мой смуглый предсказатель оказался прав. Я поднялся на поверхность и пошёл по направлению к нужному терминалу. И тут навстречу мне идёт Мишель Казачкин. Слава Богу, я ничего плохого не успел о нём подумать.

Оказывается, он подождал меня какое-то время после того, как вышел в зал терминала, а потом, видя, что меня нет, решил, что мы разминулись, и пошёл к терминалу «Сабень», надеясь меня там обнаружить. Не найдя меня и там — он, уже в полной растерянности, пошёл обратно — и тут-то мы и встретились. Мишель помог мне устроиться в гостинице, с его помощью я дозвонился до Ноксвилля, и утром в гостиницу приехала дама, вручившая мне билет.

Меня опять поселили в доме Боба, в жизни которого назревали перемены. В доме стала появляться дамочка по имени Джойс. Миниатюрная блондинка, стройненькая, вздёрнутый носик, пуговичные голубенькие глазки, и характер — кремьень. Ничего не говорилось просто так, всё изрекалось, и с этим спорить было

нельзя. Работала она старшей медсестрой в госпитале. Я с удивлением наблюдал за Бобом, характер которого был тоже не из мягких, и он терпеть не мог, когда с ним спорили. А тут покорно внимает этой куколке. Прямо тестостероновое размягчение мозга с сопровождающимся ороговением соответствующего органа.

Спустя какое-то время Боб сказал, что он хочет познакомиться своих друзей с Джойс. Ничего официального, это ещё не помолвка, но ему будет приятно устроить вечер для Джойс и представить её своим друзьям. Не соглашусь ли я поэтому в ближайшее воскресенье приготовить вкусную еду в русско-еврейском жанре. Мне до этого приходилось готовить для Боба и Мери жаркое по-еврейски с черносливом и разнообразные салаты. Я согласился, хотя как-то было неясно, почему собственно я должен этим заниматься, а не Джойс, или почему не заказать еду в ресторане. Но если можно на халяву, то почему бы и нет.

Купили продукты, и с утра в воскресенье я приступил к готовке.

Жаркое готовится в течении 6-7 часов. Гости были приглашены на пять вечера. Поэтому, чтобы не спешить и не суетиться, я решил начать с утра: чистить, резать овощи и т.д. Джойс в этот день ночевала у Боба, и я пытался её привлечь к чистке и резке овощей. Но не тут-то было. Она подхихикивала в ответ на мои призывы, похлопывала меня по спине и приговаривала: «Good boy», но пальчиком так и не пошевелила. Вы тут русише швайн паштите, а мы вас за это поглядим. «Ах ты, блядюшка американская», — нежно говорил я ей по-русски, приобнимая за плечики. «Ха-Ха-Ха», неслось в ответ. К двенадцати приехала Мери и дело пошло веселей. Мы с Мери между делом выпивали, и настроение неуклонно повышалось. В два часа Боб сказал, что они с Джойс уезжают в горы.

— Но к пяти, я надеюсь, вы вернетесь? — спросил я.

— Нет, — ответил Боб. — Мы сняли домик и вернёмся завтра утром.

Я смотрел на Боба и пытался сообразить, кто же из нас полный идиот. Я так был ошарашен, что даже не кричал.

— Но Вы ведь пригласили гостей познакомиться с Джойс. Какой же смысл во всём этом? — продолжал я вопрошать.

Мне всё казалось, что это какой-то розыгрыш, уж очень всё отдавало бессмыслицей.

— И что я буду делать с вашими гостями? — не унимался я.

— Ничего, вы увидите, всё будет в порядке.

Я беспомощно посмотрел на Мери.

Мери развела руками и сказала:

— Всё будет ОК.

Самое смешное в этой истории, что приехавшие гости даже не удивились сообщению, что Боб и Мери уехали в горы.

— Молодцы, — говорили гости. — В горах сейчас хорошо.

Так я получил урок американского индивидуализма и толерантности. Мне показалось, что это плавно перетекает в наплевательски-пренебрежительное отношение к окружающим, но я вырос в другой среде, так что, может быть, я и не прав.

Перед отъездом я сказал Бобу, что ничего прочного у них с Джойс не получится: каждый из них слишком самодостаточен, чтобы с пониманием относиться к партнёру, после того как пройдёт гормональный пик и размягчение мозгов прекратится.

— Пойдите в синагогу, — посоветовал я Бобу, — и попросите найти Вам девушку из еврейской семьи, воспитанную в традициях. Иначе Вы так и останетесь холостяком.

Прошло шесть лет. Я уже жил в Айове и переписывая свою разваливающуюся записную книжку, наткнулся на телефон Боба, о котором несколько позабыл. Я решил позвонить, тем более что наступал песак.

Звону. Женский голос, приятное междо говорит:

— Хелло.

— Можно попросить Боба, — говорю я.

— Кто его спрашивает?

— Меня зовут Оскар, — отвечаю.

Неожиданный всплеск бурных эмоций:

— Боже мой, как я счастлива, наконец, слышать Ваш голос. Боб не мог найти Ваш телефон, мы так хотели Вам позвонить. Меня зовут Сандра, и я безумно рада, что могу Вас горячо поблагодарить за всё, что Вы для меня сделали.

Я почувствовал себя, как жулик, который невольно присвоил себе чьи-то добрые дела. Я попытался что-то сказать и начал с длительного — э-э-э-э.

Тут Сандра меня перебила.

— Я сейчас всё объясню. Вы перед отъездом дали совет Бобу найти жену, воспитанную в еврейских традициях. Боб последовал Вашему совету, и ему нашли меня. У нас уже родился сын, мы хорошо живём и часто Вас вспоминаем. Приезжайте к нам в гости.

Вот такая замечательная концовка этой истории. Надеюсь, мне это зачтётся в плюс, когда придет срок взвешивать наши дела.

Окончательный отъезд в США. Бирмингем. Алабама

Мы прилетели в Бирмингем 15 октября 1990 года.

Университетская гостиница, где нас поселили, находилась недалеко от университета в благополучном, «белом» районе города. Около 40 процентов населения Бирмингема составляли черные, или как сейчас принято корректно выражаться — афро-американцы. Когда-то в Бирмингеме было много сталелитейных и других заводов, где чёрные и работали. Затем заводы перевели в третьи страны, а черные остались.

Безработица и соответственно преступность была среди них высока, но власти города к этому относились безразлично.

В гостинице нам жилось спокойно и комфортно. Марта с Катенькой днём проводили время в садике, где были детские качели, карусели, горки, а по вечерам смотрели по телевизору американские мультфильмы. Продуктовый магазин мы обнаружили в пяти минутах ходьбы от гостиницы. Назывался он «Пиггли-Виггли».

Смешно вспоминать: фунг курицы стоил 29 центов. Первые две недели мы провели совершенно безмятежно, как-то не задумываясь о будущем, но затем я очнулся и понял, что надо решить две неотложных проблемы: на какие средства и где нам жить. Выяснилось, что за гостиницу надо платить 20 долларов в день, а первая зарплата будет только 1 декабря. Я обратился к заведующему отделом Куперу с просьбой выплатить мне 3 000 долларов в счет будущей годовой зарплаты с тем, что я буду выплачивать 250 долларов в месяц. Купер вызвал администратора отдела Дэвида Паркинсона и спросил, возможно ли это.

Дэвид спокойно ответил, что с такой проблемой он никогда не сталкивался, но всё что не запрещено — разрешено, и он думает, что проблема решаема, но сколько времени потребует для её решения, он пока сказать не может.

Тогда я позвонил Володе Аксельроду и попросил его выслать мне чек на 3 000 долларов, что Володя немедленно и сделал. Надо было искать жильё.

Как это часто со мной бывало, помог случай. В один из дней мы выходили с покупками часов в шесть вечера из магазина «Пиггли-Виггли» и тут услышали русскую речь. Молодая пара загружала покупки в багажник машины и переругивалась по-русски. Мы подошли и представились. Молодые люди возбуждённо обрадовались и забросали нас вопросами. Они жили в США уже больше года и их раздражало от любопытства, что же сейчас происходит в СССР. Гриша и Люда, так звали молодую пару, предложили приехать к ним в гости, они соберут родственников и знакомых, и мы расскажем о жизни в стране исхода. Через час Гриша за нами приехал и привёз в свою квартиру, куда уже набилось человек двадцать желающих узнать правду о жизни в России.

Все любопытствующие эмигрировали из Кишинёва. Их согласилась принять и помочь освоится с американской жизнью еврейская община Бирмингема и, надо сказать, пострадалась на славу.

Всем эмигрантам арендовали квартиры в трёхэтажном жилом комплексе в хорошем тихом районе, рядом с парком. Квартиры обставили мебелью, а холодильники к их приезду наполнили продуктами. К каждой семье эмигрантов прикрепили американскую семью, помогавшую им на первых порах освоиться, и затем представитель семьи-покровителя навещал их каждую неделю, выясняя нужна ли помощь.

Еврейская община Бирмингема насчитывала около 5 000 членов, и это были в основном состоятельные люди: владельцы различных магазинов, строительных компаний, автосервиса, фабрик, врачи и юристы, так что с устройством на работу проблем не возникло.

Кишинёвцы были люди рабочих профессий: строители, слесаря, водители, автомеханики, только один был инженером. У общины были ясли и детский сад, куда и определили кишинёвских детишек. Молдавские евреи нам понравились. Чувствовалось что люди они доброжелательные, открытые, немного шумные, но куда ж деваться от южной еврейской экспрессивности. И проблема с жильём для нас тут же и разрешилась: в доме была свободна трёхкомнатная квартира, и нужно было только пойти в контору домовладельца и подписать договор об аренде. Я это сделал на следующий день.

Оказалось, что месячная аренда составляет 400 долларов, мы должны были платить за электричество, телефон и воду и обставить квартиру, где никакой мебели не было. Для подключения электричества, телефона и воды следовало обратиться в соответствующие организации, для чего мне дали их телефоны, но выяснилось, что по телефону я бессилён осуществить эти элементарные операции. Я совершенно не понимал английский язык разговаривающих со мной клерков. Пришлось лично посетить все эти организации, и тут мне стала ясна причина непонимания.

Клерками были чёрные дамы с выраженным южным акцентом, когда большинство гласных просто проглатывается, не производя наружных звуков, и надо было внимательно смотреть на их губы и постоянно переспрашивать. Наконец всё было оформлено и оставалось мебелироваться. Здесь мне помог Игорь Панютин, бывший студент физтеха, слушавший когда-то мои лекции по иммунологии. Кто-то ему сказал о моём приезде, он нашёл меня и предложил свою помощь. У Игоря была машина, и мы поехали по мебельным магазинам.

Сразу выяснилось, что мебель мы купить не можем, слишком дорого, но можем арендовать за вполне умеренную месячную плату, причем эта плата будет учтена, если мы решим впоследствии мебель купить. В конце ноября мы поселились в нашей первой американской квартире, и наши кишинёвские евреи облегчили нам,

особенно Марте и Катеньке, процесс вживания в американскую жизнь. Особую роль здесь сыграла Софа, мама Гриши, с которого и началось наше знакомство с кишиневцами. Софе было около 60 лет, она не работала, так что Марте было с кем посудачить и выяснить, где и что можно купить выгодней и лучше. Все семьи имели машины и охотно приглашали Марту при поездках в большие супермаркеты и на рынок.

Еврейская община согласилась взять Катеньку в детский сад, хотя формально мы не были эмигрантами (беженцами) и не могли претендовать на место в детском саду. Но община, спасибо ей, проявила понимание, всё устроилось, детский автобус приезжал к дому в восемь утра, забирал детишек и в четыре привозил их обратно. Я уходил на работу в начале восьмого — сорок пять минут пешком — таково было расстояние от квартиры до лаборатории, ну и обратно столько же, но уже в семь-восемь вечера. А в двадцатых числах декабря приехала Тانيا, и новый, 1991 год, мы встречали всей семьёй вместе.

Вначале года приехал младший брат Софы, которого, как и её сына, звали Гришей.

— Вы увидите, какой он умный, какой образованный, он украшение нашей семьи, — вещала Софа, закатывая глаза.

Вот мы и увидели. Лет сорока пяти, упитанный, с гладким, круглым, самоуверенным лицом, Гриша не говорил, а провозглашал, что объяснялось его профессией — Гриша преподавал марксизм-ленинизм в педагогическом институте. Чувствовалось, что он человек не злой, но не очень умный и с промытыми советской властью мозгами. Иногда по вечерам кишинёвцы собирались во дворе и обсуждали текущие события. Тут Гриша входил на воображаемую трибуну и разъяснял, что все несчастья в СССР связаны с нарушением ленинских заветов, многословно цитируя Ленина и предвещая новый расцвет социализма в СССР.

Я с интересом ожидал, какую же работу подыщет ему бирмингемская община. И дождался: Гришу устроили ночным сторожем в модный магазин женской одежды «Паризьен». Еврейский Бог, как известно, любит пошутить — поставить преданного коммуниста охранять добро, нажитое проклятыми капиталистами — шутка удалась. Впрочем, коммунистическая преданность как-то очень быстро с Гриши слущилась, и когда община предоставила в его распоряжение автомобиль, он наклеил на него ленту с надписью «I am proud to be American», и что характерно, — он оказался единственным из эмигрантов, кто это сделал. Верноподанность ценится везде. Так, я думаю, рассуждал бывший коммунист Гриша.

Вскоре после начала работы я увидел, как в лаборатории Макса празднуют один из любимых американских праздников — день благодарения, который приходится на последний четверг ноября.

Человек тридцать собралось на спортивной площадке университета, где можно было играть в теннис, волейбол и баскетбол. Бирмингем город южный, так что, несмотря на конец ноября, было градусов двадцать тепла, и молодой народ с энтузиазмом развлекался, включая самого Макса, который пришёл в спортивном костюме. И в свои 56 лет играл в баскетбол, не отставая от молодёжи. Затем Макс пригласил всех к себе домой, где во дворе были накрыты столы с закусками и напитками — пиво, вино, салаты и куски жареной индейки — традиционной и обязательной еды на день благодарения. Распоряжалась всем этим жена Макса — Розалин, замечательно красивая женщина, итальянка по происхождению, которая, по-видимому, из-за моего возрастного сходства с Максом, уделила мне особое внимание. Расспрашивала меня о нашей жизни и рассказала немного об их жизни с Максом.

Они были женаты уже тридцать лет, трое детей жили в разных городах Америки и навещали родителей на Рождество. Помимо дома в Бирмингеме, был у них дом на побережье Мексиканского залива и большой дом во Франции, в Бретани, на побережье океана. Где они проводили каждый август, когда в Бирмингеме стояла душная жара. Вот такая скромная жизнь американского профессора.

Каждую пятницу, часов в семь вечера, 10-12 человек лабораторного люда, только мужчины, собирались в близлежащей пивной. Пиво заказывалось пятилитровыми кувшинами, платили по очереди, на закуску подавали жареные куриные ножки и крылышки, щедро перчённые, обсуждали разнообразные новости, и так заседали часа два. Джон Керни, австралиец 45-ти лет, почувствовал во мне родственную душу и как-то предложил пойти в бар, где можно послушать хороший джаз и выпить водки, а то пиво в него уже не идёт.

Я его честно предупредил, что ограничен в финансах, но Джон только махнул рукой и сказал, что на двоих у него хватит. Джаз действительно оказался очень хорошим, а водка холодной, и примерно раз в месяцмы с Джоном уходили от мирской суеты, рассказывая друг другу истории из австралийской и российской жизни. Когда мы созревали, Джон звонил своей жене Марии, она безропотно приезжала и отвозила нас домой. В Марии была смесь русской и польской крови, но языка она не знала — в Австралию приехала её прабабушка, и уже её родители говорили только по-английски. Славянские корни определяли её снисходительное отношение к выпившим мужчинам, и недоразумений у Джона по этому поводу не было.

Неожиданной оказалась моя первая встреча с проблемой женского равноправия.

В лаборатории была курительная комната, куда собирались на перекур курящие сотрудники, и в этой же комнате хранились баллоны с углекислым газом, которые использовались для поддержания соответствующей атмосферы в инкубаторах, где культивировались клетки: атмосфера должна была содержать пять процентов углекислого газа.

Баллоны были металлические, высотой метра в полтора и довольно тяжёлые, так что для их переноса (перевоза) в культуральную комнату использовались специальные тележки, на которые баллоны следовало водрузить, что требовало определенных физических усилий. И вот приходит девушка из лаборатории Керни и, обняв баллон с углекислым газом, с трудом волочит его по полу, пытаясь утащить на тележку.

Я немедленно бросаюсь на помощь и немедленно наталкиваюсь на возмущенное сопротивление девицы, требующей, чтобы я убрался с её дороги и не мешал ей работать.

— Но я хочу Вам помочь, — умоляю я.

— Не нужна мне Ваша помощь, сама справлюсь, — отвечает милая девушка.

Присутствовавший при этой сцене итальянец Френк Мортари искренне веселился.

— Ну что, — спросил он меня, — познакомился с женским равноправием в Америке? Никогда не пытайся помочь женщине, а то может и в суд подать за неуважение к её равноправию.

Воистину, любое благое начинание можно довести до абсурда, с чем я вскоре и столкнулся, но уже в области равноправия белых и чёрных граждан США.

В нашей с лабораторной комнате находился общелабораторный спектрофотометр. И вот приходит сотрудник лаборатории Гарри с новым лаборантом, моло-

дым чёрным парнем, свежим выпускником биологического колледжа университета, и показывает ему, как измерять концентрацию белка на спектрофотометре. Уходя, он просит помочь новому лаборанту в следующий раз, если у него возникнут трудности.

Появляется через несколько дней этот новый лаборант, возится возле спектрофотометра, затем просит ему помочь, так как ничего у него не получается. Я пытаюсь у него выяснить, что именно ему не понятно, и в процессе разговора становится очевидным, что парень просто элементарно безграмотен, ну, не знает он, например, что такое белки. Спрашиваю у Гарри, зачем он взял в лаборанты такое безграмотное существо, неужели не было других кандидатов.

— Было восемь кандидатов, — отвечает Гарри, — семь белых и один чёрный. Я хотел взять одного из белых, но мне сказали, что для соблюдения равноправия между чёрными и белыми мне нужно взять чёрного.

— Кто же Вам такое сказал, — спрашиваю.

— Понятно кто, — отвечает Гарри, пожимая плечами, — office of affirmative action.

Привожу теперь цитату: «Affirmative action» — утвердительное действие — комплекс мер, дающих при приеме на работу или учёбу определенные преимущества группам или меньшинствам, традиционно испытывающим дискриминацию. (Филип Рот. «Людское клеймо»).

Итак, для поддержания справедливости была создана специальная государственная структура, где восседают чиновники, которым наплевать на деловые качества нанимаемых сотрудников, лишь бы их (чиновников) не обвинили в дискриминации наименьшинств. По-видимому, и в процессе обучения в колледже никто не решился выгнать этого парня, и получило диплом совершенно безграмотное существо, но зато идиотски понятое равноправие было соблюдено. Но вот где можно было забыть о всех видах равноправия — это в моченой.

Для экономии денег Макс держал шесть чёрных дам, которые мыли и стерилизовали посуду, чтобы не расходовать одноразовую стерильную посуду, вполне дорогую в те годы. Когда я впервые зашёл в моченую, меня поразила неожиданная атмосфера праздника, царящая в помещении никак для праздника не предназначенного. Атмосфера создавалась шестью чернокожими обитательницами комнаты. Пятерым из них было лет около тридцати, а их начальнице Леноре было около пятидесяти.

В комнате играла музыка, мойщицы подпевали радиопесням, ухитряясь при этом что-то рассказывать друг другу, на моё «хелло» они дружно заулыбались и спросили, как они могут мне помочь. Мы разговорились. У всех дам были дети, двое-трое, у Леноры — четверо, и никто из них не был замужем.

Когда я спросил, почему же у таких красивых и весёлых женщин нет мужей, они дружно ответили, что мужья — это обуза, надо их накормить, обстирать, а когда они что-нибудь натворят, то приходится объясняться с полицией. А так — никаких хлопот, детишки есть, и это главное. Они поинтересовались, откуда я приехал. Я сказал, что из России. Где Россия, они не знали. Тогда я им сообщил, что я еврей, а родина евреев Израиль, который находится рядом с Африкой.

— Так бы сразу и сказал, — радостно закричали они. — Теперь понятно, почему ты к нам пришёл, наверняка в тебе есть негритянская кровь. Я не стал их разубеждать. Я регулярно посещал этих чёрных прелестниц, выслушивал рассказы о шалостях их детишек, и это снимало на время мою депрессию, особенно сильную в первые месяцы работы.

Перед отъездом из Бирмингема в Айову надо было попрощаться с отделом Макса, т.е. как-то напоить и накормить 30-40 человек. Обычно отбывающие устраивали прощание, покупая пиво, воду, чипсы и что-то типа замазки («дипс»), которую чипсами и зачерпывали. Мне очень не хотелось поступать так же, и я решил посоветоваться со своими чёрными подругами из мочной. Те дружно сказали, что для своего собрата они устроят такой прощальный обед, который здесь никогда не видели и, посоветовавшись, сказали, что обойдётся мне это в сто долларов. Я удивился такой дешёвизне, всё-таки предстояло накормить 30-40 человек, но Ленора сказала, что у них есть свои источники хороших и дешёвых продуктов, так что будет вкусно, и всех накормят.

Мне же предстояло только купить пиво, воду и одноразовые тарелки-вилки-ложки. На славу постарались мои дорогие подруги: было несколько салатов, но главное — три изумительных мясных блюда из курицы и говядины, залитых вкуснейшими соусами, и всё это было подано в красивых металлических судках, под которыми горели спиртовки, чтобы не остывало. Ошалевший от запахов народ набросился на еду, я втихаря принёс небольшую бутылку водки, и мы с Джоном Керни славно выпили и закусили. На следующий день я принёс своим подругам цветы, мы от души расцеловались, и на этом завершилась моя работа в отделе Макса Купера.

## Айова

Моя работа в Айове началась с ремонта выделенного мне лабораторного помещения.

В конце весны 1993 года ремонт в лаборатории закончился, оборудование установлено и можно было начинать работу на собственной территории. Линч выделил мне ставку лаборанта, и вскоре я принял на работу выпускницу биологического колледжа по имени Лора. Это была толковая, грамотная девочка, нужно было только научить её экспериментальным методам, необходимым для нашей работы. Один из методов — анализ клеток на проточном флюориметре (ПФ). В отделе патологии был свой ПФ, я уже собрался обучать Лору, но тут лаборатория иммунопатологии объявила об организации учебной группы по освоению методов работы на ПФ. Я рассудил, что для Лоры будет лучше обучаться у профессионалов, дал ей почитать пару книжек о принципах работы ПФ, и мы пошли к руководителю учебной группы, серьёзному усатому мужчине лет сорока по имени Норман.

Я сказал Норману, что Лора прочитала книги о работе ПФ, всё поняла. И заключил разговор фразой: «I hope you will enjoy to teach her». Через день ко мне пришёл заведующий лабораторией и сообщил, что Норман написал докладную записку на имя Линча, в которой он обвиняет меня в «indirect sexual harassment», т.е. «в косвенном сексуальном домогательстве».

Я долго смотрел на завлаба и спросил, почему в Айове такие странные шутки. Он ответил, что всё это совершенно серьёзно, потому что сочетание слов enjoy и teach может иметь сексуальный характер, т.е. я как бы намекал Норману, что обучая Лору работе на ПФ, он ещё и будет получать сексуальное удовольствие. Я почувствовал, что попал в сумасшедший дом, а завлаба настоятельно посоветовал пойти к Норману и объяснить, что я ещё не знаком со всеми тонкостями английского языка, из-за чего и произошло недоразумение.

Много лет спустя я прочитал следующее: «Вера Белоусова, преподававшая русский язык в университете города Афины, штат Огайо, в своей заметке “Lost in translation” (Новый Мир, 2011, №2) пишет: «Случается и так, что основное значение слова в двух языках полностью совпадает, зато периферия семантических полей таит в себе некоторые сюрпризы. Английское “to give”, помимо бытового значения слова, имеет ещё и более высокий смысл: «быть щедрым с людьми, нести им добро» — примерно так. Дополнительный смысл русского «давать» несколько иной. И вот я читаю в письменной работе студентки: «Я очень люблю давать. Давать — это прекрасно! Я стараюсь всем всегда давать». Без комментариев.

Буквально через три дня после истории с Лорой и Норманом меня опять обвинили в сексуальных домогательствах, но уже не косвенных, а прямых.

У заведующего отделением, где я работал, была персональная лаборантка, Пэт Палешек, выполнявшая какие-то его задания. Вскоре после моего прихода, она ушла в декретный отпуск и вышла на работу в конце мая. Дама она была малопривлекательная, особенно было противно, что когда она говорила в уголках её рта пузырились слюны, того гляди и забрызгает. Дамы из гистохимической лаборатории, где Пэт официально числилась, решили поздравить её с новорожденным и предложили мне принять участие в поздравлении.

Я купил в университетском магазине подарков детские игрушки, букет цветов и вручил эти подарки. Пэт была в кофточке с короткими рукавами и так как руки её были заняты подарками, то я пожал её оголённый локоток. На следующий день меня вызвал к себе кадровик и показал письмо Пэт, в котором она меня обвиняла в сексуальных домогательствах, написав, что к счастью при этом присутствовали другие сотрудники, а то ей даже страшно подумать, чем всё это могло закончиться.

Я сказал кадровику, что за 2.5 года работы в Бирмингеме мне приходилось поздравлять прелестных дам с праздниками, пожимая и целуя им ручки, и никто меня не обвинял в сексуальных домогательствах.

— Здесь не Алабама, — сказал кадровик. — Здесь Средний Запад. И то, что можно на юге непозволительно совершать, здесь у Вас будут большие проблемы.

Самое замечательное в этой истории, что Пэт на следующий день вручила мне открытку, в которой благодарила меня за подарки в самых трогательных выражениях.

Мои отношения с Линчем из благожелательных постепенно перерастали в дружеские и доверительные. Забегая вперёд скажу, что Линч оказался единственным американцем, с которым у меня установились дружеские отношения. Был ещё Генри Метзгер, на помощь которого я всегда мог рассчитывать, но Генри был еврей из Австрии. А Ричард (Дик) Линч был американцем из многодетной, ирландской, католической семьи.

Линч родился в Бруклине в 1934 году и, закончив школу, записался в армию, где его определили в метеорологическую службу (1952-1956 годы). Он участвовал в испытаниях нескольких атомных бомб. И в первом испытании водородной бомбы на атолле Бикини, Маршалловы острова. При первом испытании водородная бомба не сбрасывалась с самолёта, а была установлена на специальном постаменте на одном из маленьких островков.

Корабль, где находился Линч, отвели перед взрывом на 20 миль, команде велели сесть на палубу и повернуться спиной к островку с бомбой, одеть тёмные очки и закрыть лицо руками.

Через несколько секунд после взрыва Линч увидел рентгеновское изображение суставов своих ладоней и пальцев и навсегда запомнил эту картинку. А островок после взрыва бомбы просто исчез с лица земли. После четырёх лет службы в армии Линч учился вначале в университете штата Миссури, а затем в медицинском колледже Рочестера, где он и встретил свою будущую жену Нэнси. Он прошёл резидентуру по специальности патология в Барнес госпитале в Сент Луисе и начал свои исследования иммунологии опухолей, работая как патолог и клиницист.

В 1981 году Ричард был избран заведующим отдела патологии Айовского университета и организовал лабораторию по исследованию механизмов возникновения опухолей иммунной системы. Мы регулярно обменивались домашними визитами. Линчи были прекрасно образованны, много читали и регулярно летали на премьеры в Метрополитен опера в Нью-Йорк. В середине девяностых они купили дом на берегу озера и каждое 4 июля, в день Независимости, устраивали пикник на берегу озера с вечерним фейерверком, катанием на лодках, обильной выпивкой и жареным на углях мясом. Ричард меня познакомил с Яношем Бардахом, который заведовал отделением пластической хирургии нашего госпиталя.

Янош родился и вырос в еврейском местечке восточной Польши и после раздела Польши в 1939 году оказался на советской территории в возрасте 16 лет. Ему удалось бежать, когда немцы оккупировали Польшу в 1941 году. Его взяли в армию, отправили на курсы механиков-водителей танка, а затем в действующую армию. После неудачной переправы какой-то речушки, Яноша судили и отправили на Колыму, где он просидел до конца войны, а в 1945 году его освободили как гражданина Польши. Он закончил Московский медицинский институт и уехал в Польшу, где и работал хирургом до 1971 года.

Затем был приглашен на временную работу в госпиталь нашего университета и остался здесь навсегда. Жену Янош не успел вывезти в Америку, она умерла, но дочка, Ева, приехала в США в середине семидесятых. В первый раз мы пригласили Яноша в гости со всем семейством. Его американская жена оказалась молчаливой чёрной дамой, говорливая толстушка Ева пришла со своим мужем, индусом в обильной бороде и усах — он был строгим вегетарианцем и осуждающе на нас посматривал, когда мы с удовольствием выпивали, закусывая жареной бараниной. В последующем Янош приходил в гости один, к себе домой никогда не приглашал, у его жены был ранний Альцгеймер, не до гостей ей было.

Осталось сказать несколько слов об американцах, которые относятся к среднему классу, т.е. к тому большинству, которое и составляет костяк Америки.

В 1994 году мы купили дом в городке Коралвилль, недалеко от Айова Сити и Университета. Это как раз и был пригород, где жили средние американцы, и дома стоили недорого. Через несколько дней после нашего вселения в дом к нам пришла в гости соседка из дома напротив, принесла тарелку домашнего печенья, поздравила с новосельем и сказала, что они с мужем всегда помогут, если у нас поначалу возникнут проблемы. Соседку звали Мери, она работает медсестрой в госпитале, а её муж, Дэн, инженер на заводе, и относится к категории людей, которых здесь называют «Handy man», т.е. мастер на все руки, так что я часто пользовался его помощью, будучи сам безруким.

В общем, можно было считать, что мы подружились. На работу в первые годы, пока не дали парковку, я ездил на автобусе, благо остановка была рядом с домом. И вот как-то в ненастный осенний день, под холодным дождём, стою я на остановке в 6:30 утра и жду автобуса.

Мимо проезжает Мери, машет мне приветливо рукой из машины и проезжает мимо, направляясь, между прочим, в то же здание, где работаю и я. Как-то стало мне обидно, и я решил при случае выяснить, в чём же здесь дело — явно чего-то не понимал.

Случай вскоре представился, и я спросил у Мери, почему она не пригласила меня в машину, а оставила на остановке под дождём и ветром. Изумлению Мери не было предела.

— Откуда же я могла знать, что Вы хотите, чтобы я Вас подвезла. Может быть, Вы должны были встретить кого-то в автобусе. Может быть, Вам было бы неприятно находиться со мной в одной машине. Почему же Вы не подняли руку, чтобы просигналить, что Вас нужно подвезти.

Я рассыпался перед Мери в извинениях, поняв, какой я идиот — американца нужно попросить о помощи, никто вам не будет навязывать свою помощь, за исключением тех случаев, когда вы вполне очевидно нуждаетесь в помощи. Я в этом убедился в 1999 году.

В этот год Линч уходил на пенсию и организовал конференцию, на которую пригласил своих бывших сотрудников. Приехали Лёня Якубов и Саша Ибрагимов, которые работали со мной в Москве, а затем были в лаборатории Линча в начале девяностых. Нужно было поехать в аэропорт встретить Лёню. Аэропорт находится в 25 милях от нас, вроде бы недалеко, но это для нормального водителя, но не для меня, водителя, мягко выражаясь, неважного. Я попросил нашего сотрудника Агшина поехать со мной в аэропорт, на что тот охотно согласился. Выехали в четыре часа, шёл лёгкий снежок, Лёнин самолет опаздывал. Пока мы ждали Лёню, снежок превратился в ледяной дождь, и дорога покрылась коркой льда.

Поехали, но мили через две Агшин не удержал машину, и мы соскользнули в кювет. Машина уткнулась передком в землю под углом в 45 градусов и, как мы не старались вытолкнуть её обратно на дорогу, это не удавалось. Звоним в ААА, через час приезжает их сервис и сообщает, что полиция запретила вытаскивать машины, слишком скользко и слишком опасно.

Просим вызвать такси, обещают, подъезжает полиция, опять просим вызвать такси, обещают и так мы простояли в кювете три часа, пока такси всё-таки приехало. Так вот, за эти три часа множество машин останавливалось возле нас, и водители спрашивали, не могут ли они нам помочь. Останавливались, несмотря на реальную опасность торможения на обледеневшей дороге. И это дорогого стоит.

Сейчас август 2014. Мы живём здесь уже 24 года. И вот какая история: все мои друзья, оставшиеся в Москве, уже ушли из жизни; все мои друзья, переехавшие в США, живы-здоровы. Странно, не правда ли?



## Владимир Визгин

# ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ КИРСАНОВ: ДОМИНАНТЫ ИСТОРИКО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ И ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ <sup>[1]</sup>

*Володя видит смысл в детальности,  
А не в отрыве от реальности.  
Притом он вовсе не наивен –  
Он дискурсивно нарративен.*

Из шуточного стихотворения, написанного автором к 70-летию юбилею В.С. Кирсанова.

*Поистине, нам дано трудиться,  
но не дано завершить труды наши.*

И.Б. Хрипович

### Введение

Владимир Семёнович Кирсанов (в дальнейшем ВС или ВСК) был по преимуществу историком физики и механики; тридцать пять лет проработал в Институте истории естествознания и техники АН СССР (а затем РАН); выполнил ряд замечательных исследований по проблемам, связанным с творчеством Ньютона и Лейбница, и о научной революции XVII века в целом; немало сил отдал деятельности в руководящих структурах международного сообщества; стал середины 80-х гг. прошлого века одним из лидеров истории точных наук в России. Чтобы дать взвешенную оценку чьего-либо вклада в науку, требуется определенная историческая дистанция, а ведь со времени скоростной кончины ВСК не прошло ещё и года. Тем не менее, рискуя показаться поверхностным и не претендуя на полноту охвата его работ, я решился высказать свои соображения о доминантных чертах историко-научного творчества ВСК. При этом я старался опираться, прежде всего, на его конкретные тексты и в меньшей степени — на свои личные воспоминания, небольшие фрагменты которых я всё-таки приведу в конце этой статьи.

В своём рассмотрении я опирался на два с половиной десятка его работ, представляющих мне наиболее важными <sup>[2]</sup>. Кратчайшие биографические сведения о нём приведены в «Прощальном слове», опубликованном во втором выпуске «ВИЕТ» за 2007 год <sup>[3]</sup>.

Два пояснения, касающиеся эпитафий. ВС не очень любил воспарять в философско-методологические сферы, а предпочитал погружаться в живую историческую реальность. Следуя заветам любимого им Б.Л. Пастернака («Всесильный бог деталей»), «Но жизнь, как тишина осенняя, — подробна»), он высоко ценил повествовательный, нарративный характер исторического текста, представляющего серию эпизодов как интригу и насыщенного яркими конкретными деталями.

Вместе с тем, само это историческое повествование представало в его работах в виде композиции своего рода «аргументированных диалогов» (прошлое — современность, наука — культура и т.д.), то есть, если так можно выразиться, дискурсивный нарратив.

Второй эпитаф говорит о принципиальной незавершённости историко-научных штудий. Дело не только в том, что ВС не сделал книгу из своей докторской диссертации “Ранняя история «Начал» И. Ньютона”, не написал книгу о Ньюtone, не подытожил своих работ об эфире и Максвелле, только начал заниматься Лейбницем, но и в том, что любое серьёзное историко-научное исследование, даже поначалу выглядящее законченным, как выясняется спустя некоторое время после его завершения, требует своего продолжения. Я верю в то, что темы, начатые и развитые ВСК, будут продолжены более молодыми историками точных наук, которые придут нам на смену.

## Темы и герои

В начале 1970-х гг. историки механики ИИЕТ АН СССР находились с математиками в одном секторе, которым руководил А.Т. Григорьян; историки же физики во главе с Я.Г. Дорфманом обитали в другом секторе. Поступив именно в сектор истории математики и механики, ВС, хотя до этого и работал в области прикладной ядерной физики, должен был заняться, в первую очередь, историей механики. Конечно, и классическая механика — часть физики, и всё развитие физики с XVII до начала XX в. протекало в тесной связи с механикой. Поэтому ВС обращался и к изучению механических проблем физики, например, к проблеме эфира и роли механических аналогий в генезисе максвелловской теории электромагнитного поля. И всё-таки в конце концов его интересы сосредоточились на «золотом периоде» в истории классической механики, а именно XVII в., кульминацией которого стало создание И. Ньютоном «Математических начал натуральной философии», главного итога научной революции XVII в. и фундамента, на котором в течение двух последующих веков было воздвигнуто величественное здание классической физики в целом.

Это определило и круг главных героев, и связку основных тем, которыми в дальнейшем больше всего занимался ВС. Произошло это так. В конце 1970-х гг. по инициативе тогдашнего директора Института С.Р. Микулинского была запланирована серия книг, получившая название «Библиотека всемирной истории естествознания». В рамках этой «Библиотеки» предполагалось выпустить и том «Научная революция XVII в.». Издание «Библиотеки» стало важным общеинститутским проектом, в котором приняли участие ведущие учёные института: И.Д. Рожанский, Б.Г. Кузнецов (первые книги серии были написаны ими и вышли в 1979 г.), П.П. Гайденок и др. Кирсанову при поддержке Б.Г. Кузнецова и А.Т. Григорьяна удалось включиться в этот престижный проект, и в 1987 г. увидела свет его монография «Научная революция XVII в.»<sup>[4]</sup>.

Тем самым, в 1980-е гг. (и во время работы над книгой, и в последующие годы) сформировались и основная тематика исследований ВС, и круг главных героев его работ. При этом, естественно, что ключевыми фигурами для него стали сам Ньютон, его главные предшественники — И. Кеплер, Г. Галилей, Р. Декарт, его современники — Г.Х. Гюйгенс, Р. Гук, Г.В. Лейбниц, и в меньшей мере некоторые

из его последователей, прежде всего Л. Эйлер. С этими великими именами была связана и тематика исследований: генезис классической механики и теории тяготения, различные аспекты научной революции XVII в., проблема эфира и т.д.

До погружения в XVII в. ВС был занят проблемой изучения эфира в период, предшествующий максвелловской теории электромагнитного поля, а затем и историей формирования самой этой теории. Перейдя к XVII в., он сохранил интерес к эфиру. Можно предположить, что, если бы ВС не занялся Ньютоном и XVII в. в целом, он продолжил бы свою работу по эфирным моделям, генезису теории поля, и Максвелл стал бы для него героем номер один.

В этом выборе тем и героев, масштабных, и вместе с тем, казалось бы, изученных вдоль и поперёк, очевидно желание избежать распространённого среди историков науки мелкотемья и налицо поразительное научное бесстрашие ВС: он был уверен, что ему удастся сказать своё, новое слово и о Ньюtone, и о Лейбнице. И эта уверенность оказалась вполне обоснованной.



Кирсанов и Визгин

## Математическая сторона классики

В избранной тематике Кирсанова привлекало интенсивное взаимодействие физического и математического начал. Примерно в одни и те же годы мы с ним, ещё не будучи знакомы, учились на инженерном потоке мехмата МГУ. И эта школа ему пригодилась, когда он стал вникать в математические тонкости трудов Декарта, Ньютона, Лейбница, Эйлера, Максвелла. Но одно дело — заниматься математическими аспектами, скажем, теории относительности и квантовой механики (это, фактически, современная физика), и совсем другое дело — добиваться математической ясности в изучении теоретических построений корифеев XVII в.

Характерна для ВС следующая фраза, встречающаяся во многих его текстах, относящихся к анализу классиков XVII в.:

*Можно попытаться реконструировать вероятный ход вычислений Ньютона [5].*

После чего следовала аналитическая транскрипция синтетико-геометрических рассуждений автора «Начал». Аналогичным образом он реконструировал теории движения тел в сопротивляющихся средах Лейбница и Ньютона, установив их

идентичность. Таким образом он пришел к выводу, что Лейбниц получил основные результаты этой теории за двенадцать лет до Ньютона [6].

Как будто, проще обстоит дело с анализом математических аспектов механики и физики у классиков XVIII и XIX вв. Язык и символика математического анализа Л. Эйлера, Ж.-К. Лагранжа и тем более Дж. Грина и Максвелла очень близки к современному, но зато и математика, используемая ими, заметно усложняется. Одна из первых работ ВС была посвящена развитию понятия потенциала у Эйлера, который, по его мнению, «владел понятием потенциала во всём объёме и значительно раньше Лапласа и Лагранжа ввёл это понятие в практику исследований» [7].

Погружаясь в эфирные построения Дж. Грина, Дж. Мак-Каллага и В. Томсона, математически весьма изощренные, ВС пытался увидеть в них предвестие математической структуры теории электромагнитного поля Максвелла и понять, насколько они были важны для него. Вот как резюмирует он детальное рассмотрение теории Грина:

*Я остановился на ней столь подробно потому, что она является ярким примером методов анализа, которые использовались во многих динамических теориях эфира [...] примером, где отчетливо видно, как получаются уравнения, как — граничные условия [8].*

Конечно, эфирные построения были механическими моделями оптических и электродинамических явлений, но не менее важными оказывались и контуры математико-аналитических структур новых теорий:

*Другой путь дальнейшего исследования проблем состоял в использовании чисто математических аналогий. Для этого особенно плодотворной оказалась теория Мак-Каллага, которая допускала ряд электромагнитных интерпретаций [9].*

Таким образом, создавалось напряжение между механическим моделированием и поисками адекватной математики, и на этом пути «развитие теории эфира вылилось в подготовку и обоснование идей электромагнетизма». Исследование взаимодействия физического и математического начал было продолжено ВС и в нескольких последующих работах, посвященных изучению формирования теории Максвелла.

## **Эфир — сквозная идея трехсотлетнего развития физики**

Понятие эфира привлекало ВС не только тем, что послефренелевские математические теории эфира подготавливали теоретическое оформление электродинамики. Крайне существенным было и то, что со времени Декарта эфир прочно вошел в арсенал физических концепций и лежал в основе теорий и гипотез Гюйгенса, Ньютона и Бернулли, Эйлера и даже Канта вплоть до В. Томсона, Максвелла и Дж. Лармора.

В понятии эфира, особенно у предшественников Максвелла и у него самого, математическая структура соединялась с механизмом, нередко с хитроумными конструкциями, к которым ВС имел особый, повышенный интерес. Он знал и любил механизмы, мог, например, починить любые часы. Ему нравилось цитировать слова П. Дюгема о теории Максвелла:

*Мы надеялись попасть в мирное и заботливо упорядоченное хозяйство дедуктивного разума, а попали на какой-то завод [10].*

Кирсанов считал, что целостная картина физических представлений Ньютона включает понятие эфира; при этом «в отношении эфира механист Ньютон не был механистом [...] Для Ньютона эфир — несмотря на все его неприятие гипотез — оставался важной частью представления о мироздании» [11]. ВС вникал в понятие эфира Эйлера и Канта, подчеркивая, в частности, что эфир у Канта «вводится «между» физикой и метафизикой как необходимое условие самой возможности эксперимента» [12]. Тем самым эфир становится средоточием, своего рода фокусом, в котором соединяются физическое (то, что выходит за рамки механики), модельно-механическое (механизмы, конструкции эфира), математическое (в духе математических моделей Грина и Мак-Каллага) и даже метафизическое (как у Канта) начала мироздания и теоретико-физического мышления. Поэтому он так высоко ценил классический двухтомник Э. Уиттекера *«История теории эфира и электричества»* [13], в котором эволюция физики рассматривается как развитие концепции эфира.

### **Масштабность исследования и научное бесстрашие исследователя**

Кирсановский список тем и героев впечатляет. Это — фундаментальные проблемы и гигантские фигуры: научная революция XVII в., сквозная проблема эфира, генезис классической механики и теории тяготения, создание теории электромагнитного поля; это — Галилей, Кеплер, Декарт, Гук, Ньютон, Лейбниц, Эйлер, Максвелл. Мне казался такой выбор рискованным. Во-первых, об одном Ньюtone существовала огромная литература. Все это предстояло изучить, причём по первоисточникам, которые были в том числе и на латинском языке. Во-вторых, казалось почти невозможным внести в эту проблематику что-то новое. Знание современной физики и её развитие в XX в. мало что давали для понимания науки XVII в.; к тому же легко было перейти границу допустимой модернизации. Требовалось научное бесстрашие особого рода для того, чтобы надолго погрузиться в эту тематику, и ВС обладал именно таким качеством. Кроме того, естественнонаучная революция Галилея, Кеплера, Декарта и Ньютона *«означала глобальную перестройку всей системы знания»* [14]. Это требовало обращения к общен историческому и социокультурному контекстам научного развития XVI–XVII вв. и предъявляло к исследователю повышенные требования в отношении гуманитарной культуры.

Мне кажется, важным в решении ВС заняться этой масштабной тематикой был пример Бориса Григорьевича Кузнецова, которого он считал своим учителем. БГ обладал такой культурой и мастерски умел видеть развитие науки «с высоты птичьего полёта». Теперь мы уверенно можем сказать, что этот риск оправдался. ВСК удалось не только нарисовать целостную, яркую картину формирования точного естествознания в XVII в. (насыщенную, впрочем, яркими, нетривиальными деталями), но и внести существенный вклад в мировую и, особенно, российскую ньютоониану и смежные области.

### **«История науки должна быть интересной!»**

Эти слова, назовем их «кирсановским императивом», я слышал от него неоднократно. Историко-научные тексты, по его мнению, прежде всего, должны быть читабельны, в некотором роде быть литературой. Кстати говоря, именно поэтому

надо писать о Кеплере, Ньютоне и Лейбнице, а не о Д. Фабрициусе, Дж. Кейле или А. Маркетти. При этом писать нужно хорошим русским языком, а в повествовании должна быть некоторая интрига. Конечно, это в первую очередь касается текстов, адресованных широкому читателю.

Характерно в этом отношении начало его книги о научной революции XVII в.:

*...Начало XVII в. ознаменовалось двумя событиями [...] 17 февраля 1600 г. в Риме на Площади Цветов был сожжён на костре инквизиции Джордано Бруно [...] 1 января того же года ещё мало кому известный преподаватель математики в протестантском училище Иоганн Кеплер отправляется в Прагу для встречи со знаменитым датским астрономом Тихо Браге<sup>[15]</sup>.*

Драматично написана в этой книге глава о Кеплере. ВС цитирует мало известные у нас его дневники, письма и гороскоп, составленный им для самого себя в возрасте 26 лет. В результате возникает образ человека «чрезвычайно чувствительного, мнительного и экзальтированного», который «отличался ещё одним качеством — страстью к познанию»<sup>[16]</sup>. ВС с удовольствием вникал в детали быта и исторические перипетии Европы XVI–XVII вв., чтобы понять и живо изобразить тот фон, на котором творилась научная революция.

Высокий градус «интересности» достигался ещё и тем, что Кирсанову удалось нередко историко-научное исследование превратить в своего рода «историческое расследование». И это «расследование» иногда вело к вполне вещественным находкам. Даже в докторской диссертации, от которой вовсе не требовалось быть увлекательным чтением, некоторые выводы, выносимые на защиту, выглядят интригующе, как результаты такого «расследования». Приведём некоторые из них (без особых комментариев):

13. Обнаружена и проанализирована неизвестная поправка Ньютона к третьей книге «Начал», в которой доказывается универсальность закона тяготения во вселенной.

14. Обнаружен неизвестный аннотированный экземпляр первого издания «Начал» в библиотеке Московского университета<sup>[17]</sup>.

В середине 1990-х гг. Кирсанову удалось найти первое издание русского перевода «Космотеороса» Х. Гюйгенса (1717), которое считалось, по выражению Б.Е. Райкова, «ненаходимым». Кстати говоря, это была первая книга одного из творцов научной революции XVII в., переведённая и опубликованная в России. Она стала символом научного просвещения в российской науке XVIII в. и сыграла важную роль в утверждении в России гелиоцентрической системы мира Коперника.

Изучая русские издания Ньютона и Лейбница, Кирсанов обнаружил гранки переводов ньютоновских «Начал» и лейбницевской «Динамики», набранных в 1938 г., но так и не опубликованных. В результате появилось ещё одно «расследование» из области социальной истории науки в СССР, названное им «Уничтоженные книги: эхо сталинского террора в советской истории науки».

Конечно, «интересность» — понятие весьма субъективное: то, что интересно широкому читателю, специалисту может не показаться таковым, да и специалисты бывают разные. Мне кажется, ВС считал, что то, что он делает, должно быть интересно, прежде всего, ему самому. Тогда есть шанс, что это, так или иначе, будет интересно и другим.

## Историк науки должен владеть иностранными языками

Это было достаточно очевидно всегда. И многие историки науки могли читать научную литературу на двух-трех иностранных языках и, уж как минимум, на английском. Но в 1960–1980-е гг. большинство ездило за рубеж довольно редко и потому знало европейские языки (английский, немецкий, французский) весьма пассивно. ВС, приступая к работе в ИИЕТ, не пожалел времени и закончил (в дополнение к двум институтам) ещё и Институт иностранных языков, овладев тремя упомянутыми языками, а также, в известной мере и латинским языком. Хорошее, активное владение английским открыло ему путь к научным зарубежным поездкам, в которых он нередко сопровождал А.Т. Григоряна, бывшего в течение ряда лет президентом Международной академии истории наук и вице-президентом Международного союза истории и философии науки.

Знание языков облегчало Кирсанову изучение обширной литературы по истории науки и культуры XVI–XVIII вв. Он всегда был в курсе новейших достижений в этой области. Наконец, и это самое главное, его привлекала работа по переводу классиков точного естествознания на русский язык. ВС впервые перевёл и прокомментировал небольшой трактат Ньютона «О движении сферических тел в жидкости», позволяющий «легко обозреть замысел «Начал» и уяснить пути его реализации, намеченные Ньютоном» [18]. Позже он опубликовал полный перевод переписки Ньютона с Гуком, оказавшейся крайне важной вехой в истории создания «Начал». «...Именно письма Гука 1679–1680 гг., — подчеркнул ВС в автореферате своей докторской диссертации, — послужили мощным импульсом для Ньютона в деле разработки основ механики...» [19]. Ему приходилось переводить с немецкого (Кеплер), французского (например, рукописные тексты Лейбница), а также с английского (тексты Ньютона и Гука) и латинского (Ньютон).

Интенсивная международная деятельность В.С. Кирсанова заслужила признание историков во всём мире. В 1997 г. он стал одним из лидеров международного историко-научного сообщества, а именно, вице-президентом Отделения истории науки Международного союза по истории и философии науки, и трудился на этом посту до 2005 г. В 2006 г. он был избран действительным членом Международной академии истории науки. Замечу, что при недостаточном знании иностранных языков эта сфера деятельности, в действительности очень важная для отечественной истории науки, была бы для ВС закрытой. Естественно, деятельность на этом поприще не сводилась к частым и приятным заграничным командировкам. Скорее, наоборот, она требовала немалых усилий и нервных затрат и уж, наверняка, серьёзно отвлекала от исследовательской работы. Мне даже иногда казалось, что, если бы он международной деятельности уделял поменьше внимания, то успел бы как исследователь сделать заметно больше и в большей степени реализовать свои творческие планы. Теперь, я думаю, что я, скорее всего, ошибался.

## Проблема научной революции и отношение к философии науки

Взявшись за большую работу, посвящённую научной революции XVII в., историк науки, склонный к философии науки, прежде всего к постпозитивистским моделям К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, должен был бы погрузиться в их труды, в полемику 1960–1980-х гг., относящуюся к проблеме научной революции. В ре-

зультате, он пришёл бы к некоторому варианту концепции научной революции в духе Куна и через призму этой модели стал бы рассматривать формирование науки Нового времени.

Но ВС не был склонен к философско-научным построениям такого рода. Об этом он не раз говорил. В книге же о научной революции XVII в. ему всё-таки пришлось очень даже бегло рассмотреть (скорее даже упомянуть) концепции Койре, Куна и Лакатоса. Он достаточно высоко оценил подход Койре, заметив впрочем, что «многое из того, что выдвинул Койре в качестве определяющих черт научной революции XVII в., вызывает серьёзные возражения» [20].

Рассмотрение моделей Куна и Лакатоса заняло не более двух абзацев. При этом ВС подчеркнул, что понятие научной революции в этих моделях «трактуются с разной степенью широты, причём диапазон трактовок меняется и от контекста, и от индивидуальных привязанностей исследователя» [21]. В дальнейшем он полностью порывает с концепциями Куна и Лакатоса, и их имена больше ни разу не упоминаются в книге. Всё выглядит так, будто он как можно скорее стремится уйти от общих философем и рассуждений и погрузиться в живую, конкретную, многокрасочную историю XVII в. Кстати говоря, в книге отсутствуют заключение и выводы, которые бы очертили контуры авторской концепции научной революции XVII в. и, может быть, концепции научной революции вообще и меру её согласованности с моделью Куна.

Тем не менее во «Введении» ВС всё-таки дал представление о своём подходе к понятию научной революции XVII в. Он обращает внимание на то, что различные концепции научной революции делают упор на тех или иных её чертах. При этом авторы концепции стремятся максимально уточнить эти черты и преодолеть свойственную понятию научной революции метафоричность. С его же точки зрения, «кажется более уместным дать такое определение научной революции, которое будучи адекватным, было бы и метафорически ёмким» [22]. И вот ключевая фраза: «Таким определением может служить понятие научной революции как диалога с Природой». Люди вдруг (в течение столетия!) научаются «задавать Природе вопросы, на которые можно получить вполне определённые ответы».

Существенной частью такого умения, — продолжает ВС, — является методика и техника эксперимента, но не менее важной будет и теоретизирование как предшествующее опыту, так и последующее [23].

Можно предположить, что эта «диалогическая» концепция научной революции XVII в. возникла под влиянием идеи В.С. Библера о ключевой «роли внутреннего диалога в формировании мышления Нового времени» [24]. Цитированная статья Библера напечатана в той самой книге «Механика и цивилизация XVII–XIX вв.», составителем которой был Кирсанов. В 1960–1970-е гг. Библиер работал в ИИЕТ и увлекал своими идеями и блистательными выступлениями многих историков науки. Припоминаю, что какое-то время и ВС был увлечён его идеями. Художественной натуре Кирсанова были близки и «литературное» существо идеи диалога и «метафорическая ёмкость» этой идеи применительно к понятию научной революции.

## **Скрытые доминанты: о бессмертии, любви и Б.Г. Кузнецове**

Истинные пружины творчества очень часто остаются скрытыми. В редких случаях творец пытается сам их раскрыть. А иногда он как бы «проговаривается», пытаясь анализировать эти творческие стимулы своих героев или своих учителей. Именно это, как мне кажется, случилось, когда В.С. Кирсанов написал проникно-

венное «Слово о Борисе Григорьевиче Кузнецове», приуроченное к столетию со дня его рождения. В сокращенном виде это «Слово» сначала было опубликовано в ВИЕТ, а затем, через год-полтора, — в более полном виде — в ИИФМ. Конечно, он писал о Б.Г. Кузнецове, которого считал своим учителем, но, вместе с тем, в какой-то мере и о себе. ВС полагал, что за многообразием историко-научных и физико-философских текстов Б.Г. Кузнецова скрывались более глубинные доминанты, о которых в те времена (не только сталинские, но послесталинские) прямо писать было невозможно. В этой связи ВС вспоминает о поучении Б.Г.:

*Ты должен писать так, чтобы никто не понял, что же ты в действительности хотел сказать* [25].

И сам Б.Г. писал в духе «изысканной шифрограммы», истинный смысл которой могли уловить только немногие. Текст мог быть историко-научным и касаться вроде бы теории относительности и квантовой механики, но подтекст относился, например, к проблеме бессмертия, которая, по мнению Кирсанова, была «одной из центральных проблем в творчестве Б.Г.» [26]. Кстати говоря, в цитате из очерка-воспоминания Б.Г. о Н.А. Морозове, которую приводит в подтверждение этой мысли Кирсанов, открывается ещё один источник его «диалогической» концепции. Оказывается, и Б.Г. понимал науку как «диалог человека с природой». Ещё теснее и определённое оказываются связанными история науки и понятие бессмертия. ВС цитирует приводимые Б.Г. Кузнецовым слова Ф. Жолио-Кюри, ставшие для него «как бы постоянным символом веры, раскрывающим смысл изучения истории науки» [27]. Вот эти слова, которые, уверен, были близки и В.С. Кирсанову:

*История науки — это реализация её бессмертия... История науки — реализация бессмертия индивидуальных актов познания, мучительных поисков истины, радостей открытия, личности мыслителей, поворотов и даже ошибок мысли* [28].

ВС резонировал на те глубинные гармонии в творчестве Б.Г. Кузнецова, которые были близки ему самому. Помимо проблемы бессмертия, это — «проблема чувственного отношения к миру и его влияния на творчество» или, ещё более конкретно, проблема любви: «Любовь — тоже очень важное понятие и важный предмет для обдумываний БГ: это слово постоянно повторяется в его сочинениях». ВС приводит слова Кузнецова, сказанные ему незадолго до смерти: «Я любил Эйнштейна и поэтому написал хорошую книгу, а вот Ньютона не люблю, и поэтому книга не удалась». И для ВС всегда было важным это «любовное» отношение. Например, заметив, что Б.Г. Кузнецов был «человеком блестящим», он продолжает: это «отчётливо понимал [...] Микулинский, совсем его не любивший». В другом месте он цитирует БГ о том, что путешествие во времени, коим является историко-научное дело, «теряет смысл..., если мы не ищем в прошлом живого подготавливающего нашу жизнь, любимого нами». И ВС спрашивает:

*«Любимого нами» — кого? Не даёт ответа. Возможный ответ: если и не Бога, то, по крайней мере, самого себя!* [29].

## Фрагменты воспоминаний

Конечно, я и раньше, как будто, читал тексты ВС. Кроме того, у нас была пара совместных работ. Но только готовясь к семинару, посвящённому его памяти, я понял, как мало и невнимательно мы читаем друг друга. Это вело к мысли о ка-

ких-то барьерах между нами, о поглощённости своими делами, текучкой и о том, что мы недостаточно ценим работы коллег даже из самого близкого нашего окружения. Думалось с запоздалой горечью, что эти взаимные невнимания и недооценки, иногда равнодушные какими-то незримыми путями могут даже вносить свою мрачную лепту в сокращение нашей жизни.

Многое в Володе меня и восхищало, и раздражало: его пристрастность, равнодушие по отношению к вещам, не казавшимися мне важными; резкие, иногда несправедливые оценки некоторых людей и их поступков, его не то чтобы скрытность, но всё-таки некая неподотчётность (я как заведующий сектором часто понятия не имел, что он находится в зарубежной командировке) и т.п. При этом он был настоящий товарищ и всегда предлагал свою помощь. Меня поражала его всеумелость. Припоминаю его помощь в разных практических и бытовых делах во время нашей совместной командировки в Монреаль, где он помогал делать нужные покупки выполнять незнакомые мне бытовые операции — например, мыть посуду. Помню наши долгие, откровенные разговоры в Бухаресте, где мы были с ним на конгрессе по истории науки. Помню, как ВС поразил меня знанием Лорки, фрагменты стихотворений которого он даже мог декламировать по-испански. Поэзию он знал отменно. На одном из последних новогодних институтских вечеров Володя вдруг начал читать Пастернака. Его пастернаковская выборка, как я быстро почувствовал, на удивление совпала с моей, и вскоре мы читали дуэтом, либо по очереди.

Он и сам писал превосходные стихи. Вспоминаю проникновенные строки, посвященные Г.Е. Куртику и прочитанные им на юбилее последнего. Меня очень тронули (и всем понравились) стихи, прочитанные ВС на моём 70-летию. Вот они:

**Володе Визгину**

*Твой день рожденья как повод, как случай  
Припомнить про то, как давно это было,  
Когда были мы и моложе и лучше, —  
Белее бумага, чернее чернила.*

*Твой день рождения как случай, как повод  
Увидеть всё то, что как будто исчезло.  
Вот важный Адольф, вот неистовый Полак,  
Вот зал заседаний, вот стулья и кресла.*

*Вот мир, где мы жили. Улыбкой весёлой  
Встречали друг друга в пустых коридорах,  
И были нам здесь и шкалою и школой  
Дотошный Адольф и неистовый Полак.*

*Я помню всех нас, энергичных, задорных,  
Всю эту картину движенья, развития —  
Как жучит Каплана рассерженный Дорфман.  
Румяного Толю, серьёзного Витю.*

*Друзья, я гляжу в наши старые лица  
И юные лица себе представляю...  
Володя, мой друг, я тебя поздравляю  
С прекрасною жизнью, что длится и длится!*

Накануне я попросил его быть тамадой, он согласился и блистательно справился с этой задачей.

Казалось бы, человек, погружающийся в пучины XVII в., вникающий в тонкости текстов Ньютона и Лейбница, должен быть в значительной степени не от мира сего. Меня поражало то, что Володя был очень даже «от мира сего». Как я уже говорил, он все умел; добавлю, что он знал толк в одежде, умел выглядеть элегантно, напоминая и в этом Б.Г. Кузнецова.

Сейчас наша наука, я имею в виду историю точного естествознания, находится в довольно тяжёлом положении по ряду причин, которые не хочется здесь перечислять. Но я верю, что мы выстоим, и появится поколение историков, которое всерьёз займётся теми же Ньютоном и Лейбницем. Тогда вспомнят, в частности, и о трудах В.С. Кирсанова, продолжат их с того места, на котором они были прерваны его внезапной кончиной.

### Примечания:

---

- [1] По материалам доклада, сделанного автором на заседании Общеславянского семинара по истории физики и механики, посвященном В.С. Кирсанову, 11 декабря 2007 г. Впервые опубликовано в: Исследования по истории физики и механики. 2009
- [2] См. 1–25 в сборнике "Памяти Владимира Семеновича Кирсанова (1936-2007)" // ВИЕТ. 2007.
- [3] Он был талантлив во всем. Памяти Владимира Семеновича Кирсанова (1936-2007) // ВИЕТ. 2007. №2. С. 213–214.
- [4] *Кирсанов В.С.* Научная революция XVII века. М.: Наука, 1987.
- [5] *Кирсанов В.С.* Ранняя история «Математических начал натуральной философии»... С. 12.
- [6] *Кирсанов В.С.* Лейбниц в Париже... С. 49
- [7] *Кирсанов В.С.* Эволюция понятия потенциала у Эйлера... С. 147.
- [8] *Кирсанов В.С.* Эфир и генезис классической теории поля... С. 240.
- [9] Там же. С. 246.
- [10] Цит. по: *Кирсанов В.С.* Максвелл: создание электромагнитной теории... С. 64.
- [11] *Кирсанов В.С.* Эфир и генезис классической теории поля... С. 219–220.
- [12] Там же. С. 228.
- [13] *Whittaker, E.T.* A History of the theories of aether and electricity. Dublin: Longman, Green and Co., 1910.
- [14] *Кирсанов В.С.* Научная революция XVII века... С. 17.
- [15] Там же. С. 5.
- [16] Там же. С. 101.
- [17] *Кирсанов В.С.* Ранняя история... Автореферат диссертации. С. 42.
- [18] *Кирсанов В.С.* К истории возникновения «Начал» И.Ньютона... С. 72.
- [19] *Кирсанов В.С.* Ранняя история... Автореферат диссертации. С. 39.
- [20] *Кирсанов В.С.* Научная революция XVII века... С. 8.
- [21] Там же. С. 16.
- [22] Там же. С. 11.
- [23] Там же.

[24] *Библер В.С.* Галилей и логика мышления Нового времени // *Механика и цивилизация XVII-XIX вв.* / Под ред. А.Т. Григоряна и Б.Г. Кузнецова. Сост. В. С. Кирсанов. М.: Наука, 1979. С. 449.

[25] *Кирсанов В.С.* Слово о Борисе Григоровиче Кузнецове... С. 18.

[26] Там же. С. 19.

[27] Там же. С. 20.

[28] Там же.

[29] Там же. С. 21.

\*\*\*

Редакция сердечно благодарит сотрудников Института истории естествознания и техники РАН РФ и лично Наталию Васильевну Вдовиченко за возможность опубликовать материалы книги воспоминаний о В.С. Кирсанове.



## Сергей Демидов

# СЛОВО О ВОЛОДЕ КИРСАНОВЕ

В Институт истории естествознания и техники мы пришли с ним в один день — это было весной 1972 года. Не помню точно, кто (скорее всего это был Ашот Тигранович Григорьян) представил нас друг другу в коридоре нашего института в Старопанском переулке, сразу после заседания ученого совета, на котором только что прошло голосование по нашим кандидатурам<sup>[1]</sup>. Оба мы были приняты на должности старших научных сотрудников — Володя в сектор истории механики, которым заведовал Ашот Тигранович, я же в проблемную группу истории математики, возглавляемую моим учителем Адольфом Павловичем Юшкевичем.

Инициатива приглашения в Институт Володи исходила от Бориса Григорьевича Кузнецова, который был старинным другом отца Володи, поэта Семёна Кирсанова. Борис Григорьевич считал, что широта интересов Володи, его квалификация и характер дарования таковы, что из него может вырасти хороший историк науки (работа в Институте источников тока, как я понимаю, Володе к тому времени «обрыдла»<sup>[2]</sup>), и оказался совершенно прав. Так что историко-научная карьера Володи разворачивалась на моих глазах.

Он пришел в Институт, не имея никакого опыта работы в истории науки, и начал с поиска собственной темы исследования. Поиск этот происходил в пределах жёстко определенных границ — должность, на которую он был принят, предписывала ему заниматься историей механики. Механиком же, собственно говоря, он не был ни по образованию, ни по опыту предшествующей работы. Так уж случилось, что внешние обстоятельства всегда накладывали на выбор им жизненных путей серьёзные ограничения. После школы он хотел пойти в МГУ, но был вынужден довольствоваться Институтом нефти и газа им. И.М. Губкина, в котором, правда, учился у первоклассных педагогов (достаточно сказать, что среди них был знаменитый механик Владимир Николаевич Шелкачёв). Но своего он всё равно добился — уже дипломированным специалистом поступил на инженерный поток механико-математического факультета Московского университета, который закончил, выполнив дипломную работу у выдающегося специалиста в области теории функций Владимира Михайловича Тихомирова.

Справедливости ради следует заметить, что все его соотечественники — граждане советского государства той поры — были приучены жить в условиях несвободы. Выбор, который они должны были делать по ходу их жизни, в чрезвычайной степени оказывался продиктованным жёсткими реалиями советской жизни<sup>[3]</sup>. Предельным выражением таких реалий было знаменитое «по призыву партии». Этому призыву должны были следовать не только её члены, но и «весь советский народ». Владимир Семёнович не был «солдатом партии» (во взаимоотношениях с ней, а таких отношений не мог избежать ни один советский человек, он всегда старался держать почтительную дистанцию), поэтому всегда сохранял известные степени свободы. Но поставленные границы он, можно сказать, «ощущал кожей». Человек умный и проницательный, он хорошо понимал «советскую действительность».

Будучи реалистом и человеком, высоко ценившим жизненные блага, он научился в ней жить и действовать. Но лишь в последние годы, когда с крушением старого общества оказалось возможной свободная «частная жизнь» и Володя с наслаждением погрузился в её течение, стало понятным — какой ценой было достигнуто им это «умение» жить в условиях «государства победившего социализма». Человек, для которого свобода жизненных проявлений была необходимым условием существования (таков он был в отличие от меня самого и большинства в моём окружении), он был вынужден жить в условиях крайне стеснённых, подавляя в себе большинство из этих проявлений и позволяя себе даже свободно высказываться лишь в узком кругу «своих». Давалось ему это, судя по той бурной реакции крайней нетерпимости, которую вызывало у него в постсоветское время всякое проявление «советизма», чрезвычайно тяжело. Как надо было «зажимать» себя на протяжении почти всей сознательной жизни, чтобы так болезненно реагировать на фантомы из прошлого!

При появлении в Институте жизнь предписывала ему заниматься историей механики. Первой темой, которую он сам себе избрал в её пределах, стали аэромеханические идеи итальянского учёного XVII века Джовани Альфонсо Борелли (1608–1679) <sup>[4]</sup>, которые он исследовал в свете позднейшего развития аэромеханики, в частности, творчества Николая Егоровича Жуковского. Уже в этой работе определился период — XVII век — которому в дальнейшем была посвящена значительная часть его исследований (хотя интерес к самому Борелли не оказался стойким — в книге «Научная революция XVII века» Борелли был удостоен единственного упоминания как один из корреспондентов Дж. Коллинза), а также один из «героев» — Н.Е. Жуковский, к личности которого он всегда испытывал живую симпатию и интерес <sup>[5]</sup>.

В ходе административных перестроек, происходивших в Институте в 1970-е годы, сектор истории механики объединили с сектором истории физики, и поле исследований Владимира Семёновича расширилось — он стал заниматься физикой Леонарда Эйлера, проблемами генезиса теории поля и теорией эфира в XVII–XIX вв., творчеством М. Планка и др. В своих историко-научных занятиях Владимир Семёнович всегда отталкивался не от общих идей или теорий (трудно представить его разрабатывающим тему типа — история гидродинамики в XVIII–XIX столетиях), но от творчества отдельных личностей. Его отношение к «героям» исследований всегда было согрето человеческим теплом <sup>[6]</sup>.

Направленность его мысли определялась последовательностью: человек → культура → наука. Отсюда в основании его работ всегда — творчество индивидуума. Несколько персонажей делаются специальным объектом его пристального внимания. Это, прежде всего, И. Ньютон и Г. Лейбниц, а также Р. Гук, Л. Эйлер, Дж. Грин, Дж. Максвелл, упоминавшийся нами Н.Е. Жуковский. Его очень волновала творческая биография М.В. Ломоносова <sup>[7]</sup>.

Наука в контексте культуры — второй член выписанной нами выше последовательности. Этой теме посвящены многие его сочинения. Прежде всего, это, конечно, уже упоминавшаяся его книга о Научной революции XVII века, статья об аннотированном экземпляре первого издания «Начал» И. Ньютона <sup>[8]</sup>, работа об истории Ленинградского Института истории науки и техники, о первом русском переводе «Космотеороса» Х. Гюйгенса <sup>[9]</sup>, о переписке Ньютона с Р. Гуком, о книгах уже набранных, но так и не увидевших свет в ходе сталинских репрессий <sup>[10]</sup>.

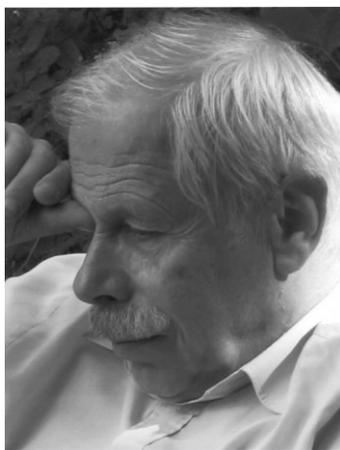
Будучи по природе своей ремесленником в том высоком смысле этого слова, который вкладывали в него деятели Возрождения или энциклопедисты (он высоко ценил всё, сотворенное разумом с помощью человеческих рук, и сам был обладателем рук поистине золотых — он мог починить ими любой прибор — от старинных часов до телевизора,— замечательно раскроить брюки или отреставрировать антикварный столик <sup>[11]</sup>), он часто отталкивался в своих исследованиях от конкретных вещей — предметов культуры. Одним из любимых объектов его внимания всегда была книга, к которой он относился трепетно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые из его лучших работ возникли в связи с конкретными книгами, с которыми свела его судьба. Так, будучи приглашенным в качестве консультанта в библиотеку Московского университета в связи с вопросом о непонятных старинных штампах на хранящемся там экземпляре первого издания ньютоновских «Начала», он не только восстановил удивительную историю этого экземпляра, но и прояснил некоторые важные эпизоды российской культуры петровской эпохи.

Среди материалов, хранившихся в архиве А.П. Юшкевича, обнаружили перевязанные бечёвкой вёрстки нескольких книг, как выяснилось, так и не изданных. Эти вёрстки перекочевали ко мне домой и продолжали пылиться там, пока на них не обратил внимание Владимир Семёнович. Итогом стало его замечательное исследование о репрессированной литературе, открывшее забытую страницу нашей культуры 30-х годов.

Его увлеченность XVII веком и творчеством И. Ньютона замечательным образом проявилась и в уже упоминавшейся монографии «Научная революция XVII века», и в его докторской диссертации, посвященной ньютоновским «Началам». Обе эти работы можно отнести к числу лучшего из написанного о науке того времени. Фигура И. Ньютона манила его.

Он мечтал заняться изучением его философских и богословских взглядов — однако эта идея осталась нереализованной <sup>[12]</sup>. Философских размышлений общего характера он не любил и сам их явно избегал. Ему претили поиски общих закономерностей — здесь, полагаю, сказывалось отвращение, возникшее в ходе его обучения (в институте и в аспирантуре) диалектическому и историческому материализму. Он вообще плохо переносил что-либо настолько ему навязываемое <sup>[13]</sup>.

В 2003 году появилась его замечательная статья о творчестве Б.Г. Кузнецова — человека ему близкого, которому он был многим обязан. В этой статье знаменитый историк науки предстает личностью исключительного обаяния и дарования, о котором невозможно судить по опубликованным им многочисленным работам — книгам и статьям. Раскрытие этого дарования, которое ощущал каждый, кому выпало счастье общаться с ним лично, помешала суровая советская действительность. Властвовавшая тогда цензура имела своим аналитическим продолжением жесточайшую самоцензуру, превращавшую появившийся в печати текст в нечто совершенно неизвестное для каждого знакомого с ним в первоизданном его виде (чаще всего в форме рассказа или доклада).



В. Кирсанов. 2003 г.

Трагедия не реализовавшегося таланта составляет нерв и боль этой статьи. Эту драму превосходно ощущал сам Владимир Семёнович. Конечно, его творческая жизнь пришлось на более светлое время. Однако он хорошо понимал, что многие его собственные таланты не получили своего своевременного и полного развития в силу внешних обстоятельств, определённых реалиями тоталитарного общества.

Уходит время, и уходят люди. Владимир Семёнович остро ощущал трагичность этого исхода. Отсюда его трогательное отношение к старикам. Невозможно сегодня без волнения вспоминать его самоотверженную помощь тяжело больному Леониду Ефимовичу Майстрову или ослабевшей от тяжелых недугов Изабелле Григорьевне Башмаковой. Сострадание к человеку<sup>[14]</sup> да и к любой достойной твари<sup>[15]</sup> было одним из наиболее ярких проявлений его личности. Действительно — личности, которая становится такой редкостью в наше лихое время, перетекающее в безвременье. Мы, его друзья, превосходно понимаем, а сегодня уже и ощущаем — сколь многим мы ему обязаны.

Один из наиболее пронзительных уроков, которые он нам преподавал, состоит в том, что в жизни нет мелочей, точнее — из них и соткана наша жизнь. Поэтому следует любить и ценить жизненные проявления в их индивидуальной неповторимости. Из них вырастает и наша короткая жизнь, и настоящая поэзия, и большая наука — всё то, к чему с таким трепетом он относился.

### Примечания:

[1] Из памяти стерлось почти всё, но почему-то сохранились фразы, брошенные на ходу Юшкевичу известным историком химии Г.В. Быковым, о том, что он выступил против кандидатуры Кирсанова по причине отсутствия у него опыта работы в области истории науки.

[2] Словечко, которое я впервые услышал от Адольфа и которое входило также и в Володин лексикон, я стал воспринимать с той поры как чисто «одесское».

[3] Конечно, жизнь каждого человека в любом обществе в значительной степени определена правилами, этим обществом диктуемыми. Но в советском идеологизированном обществе эта зависимость приобретала гипертрофированный характер.

[4] Дж. Борелли была посвящена одна из первых историко-научных работ В.С. Кирсанова, которую он собирался доложить на XIV Международном конгрессе по истории науки в Токио. К сожалению, поехать туда ему помешала «секретность», висевшая на нём со времен его работы в атомной промышленности. Текст своего доклада он передал мне. Однако, как выяснилось, произнести его, а тем более напечатать в Трудах конгресса, было возможно только участникам конгресса. Поэтому мне пришлось поступить так — приписать к фамилии Кирсанова ручкой свою — в таком виде доклад и был опубликован (см.: *Kirsanov V.S., Demidov S.S. On the history of aeromechanics in 17<sup>th</sup> century...*).

[5] В моей памяти хранится его очень живой рассказ о знаменитой работе Н.Е. Жуковского о гидроударе. Об этом см. также написанную им совместно с А.Т. Григорьяном статью к 150-летию Н.Е. Жуковского (см.: *Григорян А.Т., Кирсанов В.С. К 150-летию со дня рождения Николая Егоровича Жуковского...*).

[6] В своих отношениях с окружающими В.С. всегда искал человеческого тепла: он сам излучал его и его же искал у других людей.

[7] Говоря о М.В. Ломоносове и Н.Е. Жуковском, В.С. часто сетовал на отсутствие их хороших современных научных биографий. Имевшиеся его не удовлетворяли.

[8] См. настоящий сборник.

[9] См. настоящий сборник.

[10] См. настоящий сборник.

[11] Сам он считал эту свою одарённость наследственной — от деда своего по отцу, известного в своё время одесского портного, преуспевшего в своём ремесле настолько, чтобы добиться громкого «титула» — «поставщика двора его императорского величества». Этот талант мастера-ремесленника проявился и в его научном творчестве — особой его любовью пользовались различные хитроумные конструкции, например, различные модели эфира.

[12] Может быть, этому в своё время помешала негативная реакция известного историка физики У.И. Франкфурта, к мнению которого он всегда прислушивался. Услышав об этом его намерении от самого Владимира Семёновича — скорее всего это случилось в одной из бесед, которые они вели зачастую в кулуарах Библиотеки им. Ленина — Ушер Ионович с присущей ему мягкостью и одновременно определенностью заметил, что для подобных занятий требуется серьёзная богословская подготовка, без которой к такой задаче лучше и не приступать. При этом сам тон и характерная мимика Франкфурта указывали на то (это мне рассказывал сам Володя), что богословскую подготовку Владимира Семёновича он считал явно недостаточной для решения столь сложной задачи.

[13] Хорошо помню, как во время одной из прогулок по «просторам» необъятного Пекина он буквально взорвался, услышав от меня высокую оценку, которую я позволил себе дать философскому творчеству К. Маркса. Слышать подобное об основателе «научного коммунизма» было ему просто нестерпимо.

[14] Володя умел любить и ценить людей — ценить и за проявления их дарований, и за высокий строй моральных и душевных качеств.

[15] Он любил животных, особенно, собак. Боксёры Джек, а потом Сэнди, стали важной частью его жизни. Когда не стало Джека, Володя попросил меня узнать точку зрения Православной церкви на души животных — бессмертны ли они и есть ли у него шанс увидеть Джека в будущей жизни. И очень расстроился, узнав, что такой возможности у него не будет — душа собаки смертна.

\*\*\*

Редакция сердечно благодарит сотрудников Института истории естествознания и техники РАН РФ и лично Наталию Васильевну Вдовиченко за возможность опубликовать материалы книги воспоминаний о В.С. Кирсанове.



# Ольга Хазова

## ЗАМЕТКИ О ВОВЕ

Через три месяца после рождения Вовы умерла его мать — Клава Кирсанова. Клава была больна туберкулезом, неизлечимой в те времена болезнью, которая обострилась во время беременности и родов. Ей было всего двадцать девять лет.

Клава была красивой и обаятельной женщиной, у нее был очень общительный характер, который Вова унаследовал от нее, и так же, как и к Вове, люди тянулись к ней, а друзья ее любили. Вовин отец, Семен Кирсанов, был очень талантливым поэтом, уже знаменитым в те времена. Смерть любимой жены его потрясла, от этого удара он так никогда и не оправился, хотя был женат еще дважды, и каждая следующая жена была красивее предыдущей. Клава была талантлива в жизни не менее, чем он был талантлив в стихах, а по своим человеческим качествам далеко его превосходила.

В 1937 году, в год смерти Клавы, вышла посвященная ей «Твоя поэма», а через три года «Четыре тетради», наполненные любовью и чувством утраты, которые невозможно читать без боли. А еще через год отец женился на Рае, которой не было и восемнадцати лет, и которая стала, таким образом, Вовиной мачехой.

Вовино детство пришлось на военные и послевоенные годы, и хотя их семья жила в относительном достатке, он не был избалован ни вниманием, ни любовью. Этой родительской любви ему не хватало всю жизнь, и поэтому он очень ценил людей, которые любили его «ни за что», просто так. И, надо сказать, что окружающие люди — товарищи по школе, по двору, родители друзей, жившие в том же писательском доме, — любили его. Его очень любил Валентин Петрович Катаев, у которого он часто бывал в гостях дома и на даче, Константин Георгиевич Паустовский давал ему читать книжки, Борис Леонидович Пастернак, встречая во дворе, всегда спрашивал: «Что же ты не заходишь к Лене?».

Конечно, Вова рос в особенной среде. Отец дружил с Асеевыми, Бриками, Михаилом Светловым, во время войны, будучи военным корреспондентом, он сблизился с Ираклием Андрониковым, после войны приехал Пабло Неруда и Давид Бурлюк, и все они бывали у них дома. Отец не просто умел писать замечательные стихи — он был незаурядным и ярким человеком. Он хорошо готовил и увлекался кулинарией, любил и ценил красивую мебель, был чрезвычайно любознателен и остро чувствовал все новое. У него было потрясающее чувство языка, они постоянно играли с Вовой, придумывая на ходу недостающую строчку в строфе, соревновались в сочинении палиндромов — предложений, которые читаются слева направо так же, как справа налево («водила вниз инвалидов», «искать такси», «кулинар Лео ел ранний лук»).

Отец интересовался всем — текущими событиями, научными открытиями, любил разбираться, как работает тот или иной механизм, и эти его качества Вова полностью унаследовал. Во многом он даже превзошел своего отца, Вова мог починить любое устройство, обожал чинить старинные часы, знал стеклодувное и ювелирное дело, замечательно шил, мог, например, перешить меховое пальто. Этот последний талант он унаследовал, скорее всего, от своего деда — портного. Вова очень любил отца и страдал от его безразличия к своей жизни и судьбе.

После школы Вова не смог поступить на физфак МГУ (не добрал одного балла, а может быть, сыграли свою роль небезупречные анкетные данные). Отец разрешил ему пропустить год, и Вова поступил в Нефтяной институт им. Губкина. Появились новые друзья — Володя Глаговский, Боря Рудык, Галя Наринская и множество других. Вообще количество друзей, не говоря уже о девочках, в которых Вова был влюблен в свои молодые годы, было неисчислимо. Это и институтские друзья, и артисты театра «Современник» в его ранние времена — Таня Лаврова, Игорь Кваша и другие, и группа Ленинградских поэтов — Рейн, Бобышев, Бродский, Найман, и его одноклассник — Алик Гинзбург и их общий друг — Рустем Капиев, и множество соседей по дому — Павлик Катаев и его сестра Женя, Илюша Петров, Саша Ильф, сестры Никулины, Таня Агапова, Саша Авдеевко, Юра Грибачев, Марик Кушниров, Наташа Кирпотина.

С течением времени количество их, конечно, поубавилось — в разных направлениях развивалась их жизнь, но преданность своим друзьям осталась одной из самых неизменных Вовиных черт. Вообще трудно сформулировать, из чего складывалась привлекательность Вовы для окружающих. Это не только его многочисленные таланты, эрудиция, ум, живой характер и готовность прийти на помощь. Появившись в доме на Лаврушенском, я через некоторое время обнаружила расположение к нему консьержки тети Лены, дворника, кумушек, часами сидящих во дворе, продавцов ближайших магазинов, которые, увидев Вову, доставали из-под прилавков пергаментную оберточную бумагу, никогда не достающуюся другим. Соседи по даче, родители уже моих друзей, очень скоро начинали спрашивать: «А где же Вова?» Это было необъяснимо. Вову никогда и никто не стеснялся, он был естественен, у него была куча недостатков, и он никогда не казался лучше тебя самого. Поэтому люди охотно делились с ним своими неприятностями, принимали его помощь легко, и не ожидали от него никакого подвоха.

Особенно нежно к нему относились родители моего друга Гарика Герасимова — Макс Исаакович Рохлин, который был для нас абсолютным авторитетом в дни нашей молодости, и его жена Розалия Бенедиктовна. Мы обожали проводить с ними время, ездили вместе отдыхать в Таллин, в Пицунду. С Вовой их роднили интерес к поэзии, сходное отношение к жизни, и, наконец, они просто его очень любили. Макс разрешал ему хозяйничать на своем письменном столе и в его ящиках, чего никогда не разрешал своим детям. Когда Макс состарился и лишился ноги, Вова на руках выносил его из дома и возил гулять в коляске по окрестным улицам.

После окончания института Вову распределили на работу в Институт источников тока — ВНИИТ. Там мы и познакомились осенью 1960 года. Вова проводил половину рабочего времени в нашей комнате, выделенной временно для Института электрохимии и расположенной по соседству с его лабораторией. Его начальница Наталья Дмитриевна Розенблум была этим очень недовольна, так как ни один сложный эксперимент без Вовы не обходился. Вова тяготился бессмысленной режимной дисциплиной ВНИИТа, тем более что по вечерам учился на инженерном потоке на мехмате МГУ. Когда Наталья Дмитриевна доживала свои последние годы в бедности и одиночестве, Вова был одним из немногих людей, которые регулярно ее навещали.

В начале нашей общей жизни мы жили на Лаврушенском, у нас была одна комната в бывшей квартире его отца, которая после его третьей женитьбы и переезда, стала коммунальной. Там же жила бывшая жена Кирсанова Рая, бывшая провинциальная актриса Мария Станиславовна и ее муж — драматург по прозвищу

«Вячеславич». Обстановка была очень симпатичная. Мы жили довольно бедно, но весело. Соседи горевали, так как находились не в лучшем периоде своей жизни, любили и баловали нашу дочку Катю и как могли нам помогали. Когда Катя пошла в школу, мы переехали на Остоженку к моей маме. Нельзя сказать, что Вова был хорошим семьянином и домоседом.

Пока вечерами я делала с Катей бесконечные уроки, которые ей плохо давались, Вова ходил в гости, домой возвращался поздно, когда уже хотел спать. Однако, он был незаменимым членом нашей семьи — он умел создавать обстановку радости и веселья, никогда не ворчал, никогда не расстраивался из-за недостатка денег, даже маму мою, отличавшуюся склонностью к недовольству жизнью, умел развеселить.

В 1972 году Вова перешел на работу в Институт истории естествознания и техники. Это, по-видимому, было правильным поступком, потому что несмотря на талант к работе экспериментатора, его истинное призвание лежало в гуманитарной области. В ИИЕТе он познакомился с множеством людей, высоко образованных, знающих много языков и вообще ярких индивидуальностей, таких как Борис Григорьевич Кузнецов, Адольф Павлович Юшкевич, Ушер Ионович Франкфурт, здесь же раскрылись многочисленные дарования самого Вовы. Он очень быстро выдвинулся в число ведущих сотрудников Института, а с 1979 года благодаря помощи Ашота Тиграновича Григорьяна начал регулярно ездить за границу. Он был глубоко европейским человеком и хорошо знал языки, поэтому у него быстро появилось много друзей среди немецких, английских и американских историков науки.

В 80-е годы благодаря удачным архивным находкам он сделал свои лучшие работы, посвященные Ньютону, Галилею и научной революции XVII века. После работы о Ньютоне он получил международное признание и стал широко известен среди зарубежных коллег. Особенно его полюбили англичане, пригласившие его на постоянную работу в Кембридж. Однако он отказался, так как я не могла поехать с ним — так складывались домашние дела, а может быть, просто не захотел («мне уже поздно менять вид из окна», как он выражался). Я жалею об этом до сих пор.

Вова, несмотря на кажущееся легкомыслие и переменчивость, умел принимать решения. В 1991 году, во время путча, он, невзирая на наши с Катей протесты, не раздумывая, отправился защищать Белый дом, где провел две ночи, а было ему 55 лет.

Вообще легкомысленным человеком Вова не был. Был веселым, умел принимать жизнь такой, какова она есть, и видеть в ней хорошие стороны. Но с молодых лет он думал о смерти, даже тогда когда большинство из наших сверстников об этом даже не задумывались. Он не был религиозным человеком в общепринятом смысле этого слова, но вопросы веры и бессмертия души его очень интересовали. Мой дядя — священник Сергей Алексеевич Желудков — называл его стихийным христианином. Незадолго до своей стремительной болезни он сказал мне: «Не знаю, простит ли Господь мне мои грехи...». Вова остро ощущал свое несовершенство.



В. Кирсанов. 1981 г.

ство. Обратной стороной этого чувства было его желание похвастаться — он жаждал признания и одобрения.

В начале нашей жизни мне казалось, что домашние заботы в основном лежат на мне. Но постепенно оказалось, что вся мебель куплена Вовой. Покупал он ее главным образом в комиссионном магазине и приводил в порядок своими руками. Вся красивая посуда была куплена тоже Вовой. По стенам висели нарисованные им картины. Полы отциклеваны тоже Вовой — потихоньку, комната за комнатой. Делал он, казалось, все без надрыва, легко и как бы для своего удовольствия. Но ждал одобрения и восхищения. Вообще он всегда должен был ощущать (так же как и наши собаки — боксеры), что его любят. Это называлось «Я нуждаюсь в ласке».

Удивительным образом Вова сам подвел итоги своей жизни. Он сделал доклад на Ученом совете, посвященном его 70-летию, где рассказал о том главном, что, по его мнению, ему удалось сделать, закончил начатый этап по расшифровке рукописей Лейбница, подготовил рукопись однотомника стихов своего отца, изданного в большой серии библиотеки поэта к 100-летию Семена Кирсанова. Он приводил в порядок окна и пол в квартире, когда был уже болен, как понятно теперь, и делал это с трудом. Когда я пыталась его остановить, он говорил: «Нет, я должен это доделать». И вот все доделано, а Вовы нет...

Но каждый раз, когда я выхожу из дома, я вижу Вову, идущего мне навстречу по переулку в своей любимой серой куртке, с сигаретой в зубах, строящего мне смешные «рожки».

\*\*\*

Редакция сердечно благодарит сотрудников Института истории естествознания и техники РАН РФ и лично Наталию Васильевну Вдовиченко за возможность опубликовать материалы книги воспоминаний о В.С. Кирсанове.



# Николай Овсянников

## КОЗЫРЕВ и ВЕРТИНСКИЙ

### Необходимое пояснение

Лет шесть назад по предложению одного российского издательства я подготовил материал для большой статьи о жизни и творчестве Михаила Козырева, которую предполагалось включить в объемистый сборник, посвященный выдающимся русским писателям 20-30 гг. минувшего века.

По не известным мне причинам подготовка сборника превратилась в предпринятие, устремленное в вечность. Между тем, пропагандировать творчество этого смелого сатирика, знакомить общественность с его борьбой за право быть, а не называться писателем в условиях ожесточающегося политического режима, как я убедился за прошедшие годы, кроме автора этих строк, к сожалению, некому.

Это обстоятельство повлияло на решение начать публикацию серии статей, посвященных взаимоотношениям (зачастую идейным либо чисто литературным) Козырева с наиболее известными современниками, материалом для которых отчасти послужила моя работа 6-летней давности. Другим источником стала «Энциклопедия “Михаил Козырев”», над которой я продолжаю работать с начала 2000-х годов.

Принимая во внимание интерес, который вызвали ранее представленные публикации подобного рода: «Козырев и Пастернак», «Волошин и Фетисов», отчасти «Марк Савельевич Гельфанд» — с любезного согласия уважаемого редактора продолжаю начатую работу.

Правда, эта и последующие статьи по большей части будут представлены в “двойном” формате «Энциклопедии»: авторский текст предварят небольшие биографические справки (компиляции из разных источников) о соответствующем историческом персонаже, призванные напомнить некоторые даты, факты и деяния, которые помогут лучше понять материал, относящийся непосредственно к М.Я. Козыреву.

Итак, **Александр Николаевич Вертинский** (1889, Киев — 1957, Ленинград) — эстрадный артист, поэт, композитор:

*Родился в семье ж/д служащего. Рано осиротев, воспитывался у родственников. Окончил 1-ю киевскую классическую гимназию (1898-1906/?/). В годы учения увлекался театром, выступал на любит. сцене, был статистом. В конце 900-х приехал в Москву. С 1912 снимался в кино, играл в драм. театре «Алитор». Был дружен с Верой Холодной, И. Можухиным, близко знаком с Маяковским, выступал в Кафе футуристов, к которым какое-то время себя причислял. В 1-ю мировую войну некоторое время служил санитаром-добровольцем ж/д госпиталя. После ранения в 1915 вернулся в Москву. Приобрел широкую известность в качестве исполнителя собств. песен в моск. театрах миниатюр: Мамоновском, Петровском (на Петровских линиях), кабаре «Жар-птица», где выступал с «кариетками Пьеро», одетый и загримированный под этого персонажа. Многие из песен В., написанных до 1918: «Маленький креольчик», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном» (все три посвящены Vere Холодной) и др., печатались с нотами и распространялись по стране, в то время как автор выезжал с гастролями в различные города России.*

*Во второй половине 1918 уехал в Одессу. Выступал в маленьких частных театрах и лит.-артистич. обществах в Одессе, Киеве, Ялте, Севастополе, откуда осенью 1920 эмигрировал в Константинополь. Проживал и выступал в Румынии (в т. ч. в бывшей российской провинции Бессарабии), Латвии, Польше, Германии. Первым браком был женат на польской гражданке Рахили Потоцкой. С 1925 проживал с ней в Париже, где продолжил свои выступления. С начала 30-х стал записываться на грам. пластинки различных европейских фирм. Получил общеевропейскую известность. Гастролировал в Египте, Палестине, Ливане, США. В 1935 переехал в Шанхай, где выступал в кабаре и ресторанах. После развода с Р. Потоцкой женился на Лидии Циргава, от которой имел двух дочерей: Анастасию и Марианну. В 1943, после третьего (два других имели место в начале 20-х и в 30-е гг.) обращения к сов. властям о возвращении на родину, переехал с семьей в СССР. Жил в Москве, до конца жизни выступал с концертами по стране, пользуясь огромным успехом. Записал несколько патефонных пластинок. Снимался в кино. Опубликовал мемуарную книгу «Четверть века без родины».*

\*\*\*

О личном знакомстве Козырева с Вертинским твердых сведений нет. В то же время почти со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что в 1918-м, когда Козырев и его жена, поэтесса Ада Владимировна (О.В. Ивойлова), проживали какое-то время в Москве, они посещали театрминиаюр на Петровских линиях, где слушали Вертинского. Во-первых, его выступления носили сенсационный характер, и Козырев, внимательный наблюдатель тогдашней общественной жизни, увлеченный к тому же новыми литературными веяниями и вовлеченный в развернувшуюся литературную борьбу, не мог не заинтересоваться столь яркой фигурой, о которой говорила вся Москва.

Во-вторых, он не мог не знать о футуристических увлечениях Вертинского, его дружбе с Маяковским, так как в 14-16 гг., проживая в Петрограде, сам отдал дань увлечения футуризму, вместе с Игорем Северяниным и Велимиром Хлебниковым печатался в альманахе В. Ховина «Очарованный странник». Однако после 1917 Козырев отходит от футуризма, особенно левого толка, и на какое-то время даже становится сторонником Пролеткульта — главного борца с этим направлением.

В Одессе, где Козырев, спасаясь от голода и безденежья, оказался в 1919 г., он, наверняка, снова побывал на выступлениях Вертинского. Об этом косвенно свидетельствует хорошее знание Козыревым текста песенки Вертинского «Лиловый негр», которую артист продолжал с успехом исполнять в белой Одессе. В СССР 20-х — 30-х гг. эта песня была фактически запрещена. Между тем, в неопубликованной пьесе Козырева «Балласт» (1929/30), впоследствии высоко оцененной М. Булгаковым, один из персонажей, некто Феоктистов, вместе с главным героем мечтающий о заграниче, то и дело напевает строки из «Лилового негра»: «И снится мне / в пригонах Сан-Франциско / лиловый негр / вам подает манго...».

Ноты песни выходили в 16-м или 17-м гг. и вряд ли попадались в руки Козыреву: в 16-м он проживал в Петрограде и был далек от произведений подобного рода, в начале 17-го призывался в армию, затем находился у родителей в Тверской губернии. Заграничная пластинка с «Лиловым негром» вышла лишь в начале 30-х гг. и в СССР не продавалась. Т.о., если Козырев слышал «Лилового негра» в 18-м в Москве или в 19-м в Одессе, обращает на себя внимание довольно долгий (в течение 10-11 лет) срок хранения в памяти песенки, запомнить которую помогла, ско-

рее всего, неповторимая исполнительская манера автора и интерес писателя к самой личности Вергинского.

Нельзя также исключить, что Вергинский когда-то (скорее всего, за рубежом) исполнял на концертах романс Бориса Прозоровского на стихи Козырева «Ты, смотри, никому не рассказывай» (текст 1913, музыка и первое нотное издание 1924), в годы нэпа пользовавшийся бешеной популярностью благодаря блестящему исполнению Тамары Церетели, которой аккомпанировал сам композитор. Пластинка Церетели с записью этого романса выходила в 1933 г., и можно не сомневаться, вывозилась за рубеж. Вывозились, безусловно, и ноты. Во всяком случае, Вергинский долгие годы помнил мелодию и текст этого произведения. В 1941 в Шанхае он написал посвященное Лидии Циргава стихотворение «Старомодный романс», начинающийся как у Козырева: «Ты смотри, никому не рассказывай...» Козыревское «в косыночке газовой» (давнее романсу народное название «Газовая косыночка») превратилось у Вергинского в «...твоим платьице газовом». Козыревское «никому не скажи, что я — нежная» эмигрантский Орфей превратил в «...только людям молчи, что ты нежная», а авторское «что связало нас счастье безбрежное» — в «...что из нашего счастья безбрежного...»

Текст стихотворения Вергинского опубликован Л. Вергинской уже после смерти автора. Но можно ли сомневаться, что в 1941-42 гг. он напевал юной невесте свой «Старомодный романс»? Автор музыки, Б. Прозоровский, еще в 1937 г. был отправлен в лагерь, где и погиб, а автор вдохновивших Вергинского стихов, Михаил Козырев, в это время дождался той же участи в саратовской тюрьме.

Следующая «встреча» Козырева с Вергинским относится к середине 30-х, когда первый создавал свою фантастико-сатирическую повесть с острой антигиталитарной направленностью «Пятое путешествие Лемюэля Гулливера». Мог ли он что-то знать к этому времени об эмигрантской жизни Вергинского?

Что-то, конечно, мог: от бывших коллег по писательском цеху, побывавших за границей и встречавшихся с артистом; от наркома Якова Аркадьевича Яковлева (Эшштейна), своего бывшего инстигугского товарища, а ныне — непосредственного руководителя (Козырев работал в литературных приложениях к «Крестьянской газете», редактируемой Яковлевым), который также часто выезжал в заграничные командировки. Жена Яковлева, Софья Соколовская, вместе с Адой Владимировой училась в СПб на Бестужевских курсах, увлекалась искусством кино (в 30-е гг. работала директором к/с «Мосфильм»). Наверняка, бывшие «бестужевки» встречались в Одессе, где Соколовская при белых находилась на нелегальном положении. Были и др. источники информации о Вергинском — конечно, только в том случае, если последний продолжал представлять для Козырева интерес.

***Теперь обратимся к одному, на первый взгляд, загадочному эпизоду из «Пятого путешествия»:***

«После долгого перерыва в гавань столицы прибыл корабль из Бразилии, нагруженный солеными огурцами. Как он попал сюда, какова была истинная цель его прибытия, почему он прибыл с таким малоценным грузом — все это осталось для меня тайной. Но как бы то ни было, ему была оказана торжественная встреча. Капитан пировал во дворце, и первый министр от имени императора распорядился, в знак особой милости, считать его огурцы бананами. Население набросилось на столь редкостный и экзотический продукт, и капитан, выручив порядочную сумму от этой оригинальной коммерции, готовился к отплытию.

Лучшего мне нельзя было ожидать.

Распростившись с городом, поблагодарив первого министра за гостеприимство, выразив при этом надежду, что я вижу его не последний раз, кивнув на прощанье королеве, смотревшей из окон дворца, я отправился к пристани. С собой захватил я только одно из волшебных зеркал, приобретенное мною в мебельной лавке.

К моим появлениям в самых неожиданных местах уже привыкли. Но береговая стража считала, по-видимому, императорский приказ необязательным для себя и явно чинила мне всяческие препятствия. Часовой, сделав вид, что не замечает меня, так, однако, расположился на мостках, что я должен был, чтобы попасть на корабль, или столкнуться с ним или перепрыгнуть через него. И то и другое было небезопасно.

Остановившись у мостков, я стал терпеливо ждать подходящего момента. Ждать пришлось очень долго. Уже подняты были паруса, а я все стоял и ждал, с каждой минутой теряя надежду на спасение.

Не знаю, удалось ли бы мне использовать этот единственный удобный для бегства момент, если бы не произошло то, чего я больше всего боялся: громогласный сигнал возвестил о прибытии императорского фрегата.

— Император прибыл! Император прибыл!

Волнение охватило всех. Часовой вытянулся во весь рост и взял на караул.

Я проскользнул мимо него и одним прыжком очутился на палубе корабля.

Долго бы мне пришлось объяснять капитану причину моего неожиданного и непрошеного появления, если бы не предусмотрительно сохраненное мною золото. Оно было красноречивее всяких слов, и я был принят на корабль в качестве пассажира.

Через полчаса я сидел в капитанской каюте, пил грог и рассказывал о своих приключениях.

Имевший какие-то секретные поручения корабль вскоре пристал к берегам Великой Британии. Я принужден был довольно долго путешествовать на нем, посетив при этом еще некоторые страны, о которых обещаю рассказать вам, мой читатель, если вы благосклонно примете эту правдивую и бесхитростную повесть».

\*\*\*

Козырев никогда не позволяет себе праздного фантазирования, чисто развлекательных сюжетных ходов и забавных ситуаций, придумываемых исключительно ради смеха. Всякий персонаж нагружен у него особым смыслом и целью, для понимания которых требуется определенное интеллектуальное усилие.

Поэтому появление в последней главе повести безымянного капитана из Бразилии, обязывает отнестись к этой фигуре со всей серьезностью.

Как и в случаях с прочими неясными персонажами, Козырев предоставляет нам ключик, с помощью которого как бы приглашает проникнуть в свою мастерскую. В случае с капитаном им является топоним «Бразилия».

Тем, кто не читал «Пятого путешествия», необходимо сообщить, что предполагаемая география основных событий повести — атлантическое побережье Южной Америки.

Время действия — между июлем 1730 и сентябрем 1732 гг. Казалось бы, в самом факте прибытия в портовую столицу южноамериканского государства судна из Бразилии нет ничего удивительного. Однако в означенное время на южноамериканском материке не было ни одного суверенного государства. Кроме находившейся под властью португальского короля Бразилии все прочие территории имели

статус испанских колоний, и говорили там (во всяком случае, в крупных городах) по-испански.

Между тем, в Юбераллии, судя по всему, говорили по-немецки: «...ни одно из названий стран не является пустым звуком, а должно иметь смысл на каком-нибудь из существующих языков: так Франция (Frankreich) — страна свободных людей, Эллада, так же, как и Deutschland, — божи страны. Ничего более подходящего к названию этой страны, как немецкое *uber alles*, я не нашел, а значение этих слов — выше всего или лучше всего — как нельзя более соответствовало присвоенному ей эпитету».

Хотя говорили в Юбераллии по-немецки, и англичанин Гулливер быстро освоил этот родственный язык, но в качестве ее жителей автор сатирически изобразил не немцев, а своих советских современников, за двести лет до того как бы оказавшихся под властью царя Ивана Грозного образца XVIII века. Кроме того, не лишне напомнить, что в те годы не существовало ни одной германоязычной империи со столицей, являвшейся морским портом, в то время как столицей имперской предшественницы сталинского СССР был город-порт с немецким названием Санкт-Петербург.

Таким образом, «прототип» Юбералии — это онемеченная Россия, вступившая в тоталитаризм на два века раньше, чем это произошло в действительности. Именно поэтому предусмотрительный «бразильский» капитан привез ее обитателям соленые огурцы — их любимую закуску под любимый напиток. Вопрос лишь в том, в самом ли деле эти овощи, равно как и привезший их капитан, приплыли из Бразилии?

Почему-то козыревский «корабль из Бразилии» сразу напомнил мне о песенке Александра Вергинского на стихи Игоря Северянина «Бразильский крейсер», впервые вышедшей на пластинке английской фирмы «Парлофон» в 1930 г., а затем повторенной на польской «Сирена Электро» в 1932-м. Есть в ней, кстати, такая строка о прибывших в порт кораблях: «привезли тропические фрукты». Так и хочется спросить: случаем, не огурцы ли, объявленные бананами, о которых, кстати, напоминает еще одна знаменитая песня Вергинского тех же лет — «Танго “Магнолия”» («В бананово-лимонном Сингапуре»)?

Скорее всего, ко времени работы над «Гулливером» Козыреву было известно о двух попытках Вергинского вернуться в СССР. В этом смысле артист являл собой полную противоположность бывшему россиянину Юджину (Евгению Натановичу) Лайонсу, приехавшему туда из Америки в 1927-м и к 1933-му полностью прозревшему относительно сути советского режима.

На наш взгляд, именно история Лайонса окончательно подвигла Козырева приступить к «Пятому путешествию». Прозревающий в Юбераллии Гулливер — это, в сущности, Юджин Лайонс, под воздействием увиденного в СССР полностью разочаровавшийся в своих коммунистических идеалах. Как и козыревский герой, он чудом уносит ноги из сталинской Юбералии и на следующий год публикует в Лондоне книгу «Современная Москва», написанную с антисоветских позиций.

Вергинский же, воочию наблюдавший и октябрьский переворот, и красный террор, не понаслышке знавший, что представляет собой установившийся на родине режим, тем не менее, стремится туда из относительно сытой и благополучной Европы, где имеет не только широкую аудиторию и приличный заработок, но и все условия для свободного творчества.

— Зачем? — задается вопросом Козырев, недавно закончивший пьесу («Балласт»), где тема эмиграции — одна из важнейших. Следом приходит сомнение:

— Уж не оборотень ли он? Не служебной ли командировкой в Узегундию (соседняя страна, куда убежали юберальские оппозиционеры и с которой император Юбераллии вел бесконечную войну) была его странная эмиграция в конце 1920-го?

Напомню, что первый серьезный успех пришел к Вертинскому в соседней (по отношению к сталинскому СССР) Польше, где артист в общей сложности прожил не один год. Там же он впервые обратился к советским властям (через посла Войкова, которым был тепло принят) с просьбой о возвращении на родину. Нелишне напомнить, что с той же Польшей примерно до 1925 года советский «император» вел изнурительную партизанскую войну, засылая туда обученные ГПУ диверсионные подразделения.

На эти мысли наталкивает появившийся в столице Юбераллии капитан бразильского корабля. В конце концов, не за огурцы же, объявленные бананами, ему была оказана торжественная встреча с пирами в императорском дворце. Ясно, что дело было не в огурцах, а в «секретных поручениях», которые он имел от правительства Юбераллии. Выполняя их, капитан долго путешествует по разным странам. Вот и Вертинский — как раз в годы создания «Пятого путешествия» — много и долго путешествует: Франция — Египет — Палестина — Ливан — США — Китай.

Что же касается эпизода с Гулливером, принятым капитаном на корабль вопреки желанию береговой стражи, то и тут автор не просто устраивает нужную сюжетную ситуацию, но колко указывает на известную слабость Вертинского.

Капитан принимает беглеца на борт, поддавшись воздействию золота, которое оказывается для него «красноречивее всяких слов». Устоять против воздействия презренного металла Александру Николаевичу всегда было нелегко.

*«Из грязного трактира Вертинский перешел в фешенебельный кафешиантан, где выступали заграничные артисты. Он уже получал приличные деньги, но для отъезда из опостылевшего Бухареста их не доставало. И снова его величество случай, — словно в авантюрном романе, в шантане появился знакомый по сигуранце «аристократ», вор в законе Вацек. Узнав товарища по отсидке, пригласил за свой стол. <..> «Я не хочу, чтобы ты служил в этом воровском притоне... ты не должен петь этим паразитам. Уезжай немедленно!» Вынул из кармана пачку ассигнаций и дал их Вертинскому <..>. Через день вместе с Кирьяковым они уже были в поезде на пути в Варшаву» (Е. Уварова. Александр Вертинский. В кн.: Мастера эстрады, М., 2003, стр. 43).*

В заключение несколько слов об «огурцах». Похоже, и здесь Козырев не просто посмеивался над доверчивыми юберальцами. Теперь точно известно, что в 1935-36 гг. в Ленинграде, для особых клиентов, с негласного разрешения властей, на заводе Музтреста небольшими тиражами выпускались копии заграничных пластинок Вертинского (впрочем, не его одного) с этикетками, маскирующими их подлинное содержание. Как видим, не так уж боялись советские коммунистические бонзы растлевающего влияния главного эмигрантского Орфея. Ведь соленые русские огурцы всегда можно объявить экзотическими бразильскими бананами.



Ефим Шехтер, Юрий Шехтер  
**ПОТАЁННЫЙ МАЯКОВСКИЙ**  
120-летию со дня рождения  
Владимира Маяковского посвящается

*Я только малость обьясню в стихе,  
На всё я не имею полномочий... [1].*

Владимир Высоцкий

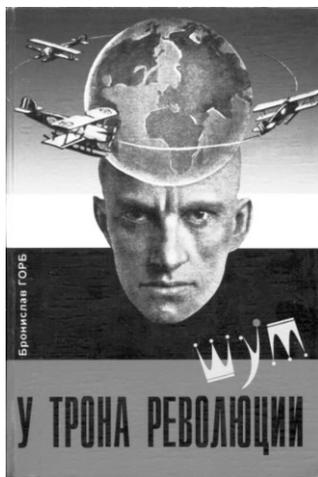
### К истории нашей публикации

Материалы, которые мы представляем читателям журнала "Семь искусств", были практически готовы ещё более полутора лет назад и предполагались к публикации в дни 120-летия со дня рождения Владимира Маяковского, которое, как известно, отмечалось 19 июля прошлого, 2013 года. Но, к сожалению, события, предшествующие юбилейному году, разгоревшаяся вокруг Музея Маяковского борьба, а также некоторые другие после-юбилейные события, вынудили поиски дополнительной информации и задержали «выход в свет» и нашей статьи, и самой публикации.

Наше (именно так — общее) «возвращение» к Маяковскому связано с именем другого поэта — Владимира Высоцкого.

Когда через год после его смерти, в 1981 году, в Нью-Йорке (в Америке, а не в Советском Союзе!), вышла в свет первая книга поэзии [2] Высоцкого, а затем, ещё через несколько лет, начали появляться и другие сборники стихов, воспоминания о нём, устные рассказы, письма, один из нас, начавший пристально знакомиться с жизнью и творчеством Владимира Высоцкого, обратил внимание на то, что в них (книгах, передачах, рассказах его друзей и коллег), можно было часто встретить имя... Владимира Маяковского. Постепенно (и читая Высоцкого, и перечитывая Маяковского), нам всё яснее становилась близость, даже родственность, поэзии двух русских гениев [3].

И вот однажды, года два или чуть больше назад, один из наших новых знакомых по литературному клубу, филолог и большой поклонник Владимира Маяковского, спросил, знакомы мы ли с книгой «Шут у трона Революции»? Прибавил при этом, что она произвела на него сильнейшее впечатление, и что он «проштудировал её от корки до корки!» До нашего разговора, мы оба не слышали ни о книге с таким интригующим и неожиданным (по отношению к Маяковскому) названием, ни об её авторе!



«Шут у трона Революции» —  
первое издание (переплет)

Пытаясь разыскать книгу Горба, мы обратились в издательство, и вскоре пришёл ответ от самого писателя. У нас возник добрый творческий диалог, и в процессе нашего (виртуального) общения мы узнали многое и об авторе, и ещё больше — до сих пор не известного нам — о Маяковском...

**Бронислав Иванович Горб** (род. в 1940 г.) — выпускник Литературного института в Москве, поэт, писатель, переводчик. И ещё — литературовед, автор уникального исследования о жизни и творчестве гениального поэта-сатирика XX Века Владимира Маяковского. В настоящее время он заканчивает и готовит к публикации в Международном издательстве имени Бориса Рольника УЛИСС-МЕДИА свою вторую книгу на эту тему — «Анафема Маяковского и Русский Апокалипсис XX века».

Всё написанное Маяковским полностью напечатано, прочитано, а многое и заучено наизусть и разошлось на афоризмы.

Тогда не совсем понятны слова поэта о том, что «Придёт время, и я всех удивлю...»<sup>[4]</sup>. Время это давно пришло — особенно с выходом (13 с лишним лет назад) книги «Шут у трона Революции».

С тех пор и вдумчивый читатель, и скрупулёзный исследователь наравне, получили доказательство того, что литературоведы бродили «по первому этажу наследия Маяковского — в то время как у стихов и поэм обнаружился и второй, а иногда и третий, этаж потайного смысла».

При свирепейшей цензуре поэт, как пишет в книге Бронислав Горб, ухитрился свыше тридцати раз сравнить СССР с серпентариумом или, попросту говоря, с гадюшником. Уже одно это требует более тщательного прочтения поэта, чтобы понять, как Агитпропу долгие годы удавалось преподносить его как «певца революции» и «советской власти», которую честные историки называют «коммунистическим режимом»...

Итак, «*Придёт время, и я всех удивлю...*».

Этими, как и другими, словами поэта заинтересовался другой поэт, прочитавший, и перечитавший, каждую строку, написанную Маяковским (ПСС В.В. Маяковского в 13 томах, Москва, 1956-1961). Результатом этой скрупулёзной работы и явилась книга о поэте «Шут у трона Революции».

О Маяковском написаны сотни книг и тысячи статей. Что могла добавить к облику Народного поэта ещё одна книга? И чем же обещал удивить поэт, облаканный Властью, которая назначила его «лучшим и талантливейшим...», и переименовала — в его честь — улицы и площади по всей стране (т.е. СССР)?

Впервые о Маяковском сказано как о противнике режима коммунистов. Вспомним реплику Анны Ахматовой в разговоре о В. М.: «Он всё понял раньше всех, во всяком случае, раньше всех нас. Отсюда “в окнах продукты, вина, фрукты”, отсюда и такой конец»<sup>[5]</sup>. Стихи, поэмы и пьесы были прочитаны автором так, как их написал, т.е. задумал, Маяковский. Книга — начало столь необходимого, не-



Макет будущей обложки книги «Анафема Маяковского и Русский Апокалипсис XX века»

предвзятого осмысления творчества поэта, скомпрометированного политиками и оболганного критиками всех рангов и школ.

Монография вышла ещё в 2001 году тиражом в 999 экз., и была разослана в большинство зарубежных Университетов, имеющих Кафедры славистики, или русского языка и литературы (46), во все главные библиотеки 89 регионов России.

Издание «Шута у трона Революции» в России было непростым. Поскольку автор исследования впервые доказывал наличие второго, более скрытого смысла в стихах, поэмах и пьесах Маяковского, бывшего за власть настоящих Советов, но воевавшего против режима коммунистов, книгу опубликовали сначала в отрывках (журнал «Вигрина читающей России»). Все 11 отрывков были разосланы ведущим критикам и маяковедом. Книга также была регулярно представлена на ежегодной выставке «Non-Fiction (кроме последней — №13, в ноябре 2013г., на которой автор представлен не был) в Москве.

По словам Бронислава Горба, «"Шут у трона Революции" — книга особая. Книга о самом загадочном русском актёре и поэте XX века. Но, как выясняется, о таком поэте, о котором мы, признаться, не подозревали».

Владимир Маяковский — это как отдалённая Планета (только литературная): давно, казалось бы, открыта, но так толком и не исследована; природа происходящих на ней катаклизмов не ясна, вызывает множество споров и диаметрально противоположных мнений. В книге собраны все точки зрения на поэта, но вывод, к которому приходит автор, не может не озадачить своей неожиданностью.

*«Как я доказываю в своих книгах, — говорит Горб, — стихи, пьесы, поэмы, оды, гимны, частушки Маяковского, написанные якобы в похвалу режиму, несут в себе в лучших традициях русских скоморохов **потаённый сатирический заряд**. Для режима — смертельный.*

*Шутовская родословная Маяковского — от шутов из священных Арканов Таро, трубадуров и русских скоморохов, чьи прерванные традиции поэт продолжал.*

*А шут XV века — поэт Франсуа Вийон — у него образец для подражания.*

*"Шут у трона Революции" — ключ к авторскому прочтению стихов и поэм Вл. Маяковского, к пониманию его сложной жизни, в которой поэту так и не удалось соединиться с любимыми — женой и дочерью. Книга — начало осмысления особого и, как выясняется, никем пока всерьёз не изученного, наследия гения сатиры.*

*Книга возвращает доброе имя Маяковскому, избравшему необычный вид борьбы с тоталитаризмом, и погибшему в неравной борьбе с режимом. Она пронизана мыслью о том, что сатирик в ранге Аристофана, Свифта, Рабле, Сервантеса, Гоголя, великий скоморох Серебряного века Владимир Маяковский, достоин своих памятников своего необычного музея, но ... По причинам, совершенно иным, чем те, по которым эти памятники ставила власть, так опрометчиво усыновившая своего могильщика — убитого ею поэта, Шута Революции»...*

Но — поразительно! — **никто** (насколько нам известно) в серьёзный, профессиональный, научный спор с Брониславом Горбом вступить не решился. Их общую мысль выразил критик Лев Аннинский: «Бесспорны отрывки о том, что большевики — волки революции и что «Товарищ Ленин, работа адювская будет сделана и делается уже». Тут возразить нечего. Но распыляться на отдельные замечания **мы** не будем, а когда выйдет книга, **мы** это непрочное здание опрокинем целиком».

«Кирпич» книги (756 стр.) оказался не «по зубам» ни одному из критиков. За 13 лет «опрокинуть» книгу не отважился никто: оказалось — *не «мы»*... То есть, просто оказались *немы*. Они до сих пор о ней не проронили — вразумительно — ни слова: ни плохого, ни хорошего. Даже в обзорах вышедших книг о Маяковском, о «Шуте» упоминают как бы сквозь зубы.

Один обзор такого рода — профессора Вл. Зайцева из МГУ — появился в то время в журнале «Филологические науки». Но, на просьбу автора книги устроить в МГУ публичное обсуждение, профессор Зайцев ответил ничем не мотивированным отказом, а журнал «Филологические науки» на ответ Бронислава Горба (присланный им дважды) не отреагировал вообще.

Господа литературоведы! Уходом от разговора не защищают честь «филологического мундира». Цитатами самого поэта автор отвечает профессору Зайцеву. Тем более что ответ этот стал одной из глав новой книги Бронислава Горба, а в планируемом 2-ом издании «Шута...» ставится ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. Рано или поздно его ответ узнают.

Так что же происходит всё это время — все 13 с лишним лет?! А происходит что-то совершенно противоестественное, противоположное обычной практике, да и всей сути, нормального литературного процесса. Вместо того чтобы обсуждать, как принято в научной среде, — даже не соглашаясь, опровергая! — достоинства или недостатки книги в открытой полемике или, по меньшей мере, в рецензии, книга была, практически, подвержена обструкции! И всё это происходит в наше время, в России, казалось бы, уже должной быть свободной от идеологического и политического давления с чьей-либо стороны! Ну, теперь уже все нормальные люди в той стране (и очень многие и за рубежом) знают и цену, и суть этих «свобод»...

Вот почему нам хотелось познакомить читателей серьёзного литературного журнала в Интернете, материалы которого можно прочесть в любой точке мира, с творчеством Бронислава Горба. Мы поделились идеей с автором, и он предоставил в наше распоряжение несколько глав из новой, готовящейся к изданию, книги — специально для публикации в «СЕМЬ ИСКУССТВ». Прочитав «Шута...», добрую часть глав из «*Анафемы...*», и другие статьи "по теме", мы поняли: 13-летнее замалчивание этих работ *неслучайно*.

Обе книги — результат более чем 30-летней работы — являются наиболее полными, тщательно разработанными и документированными, исследованиями об одном из величайших поэтов XX столетия. Перед читателем предстаёт реальный Владимир Маяковский — потомок запорожских казаков, не такой, каким советские литературные критики преподносили нам в прошлом. Но, к сожалению, даже некоторые современные литературоведы (интересно: в каких целях?) приняли эту «эстафетную палочку»...

Впрочем, должны уточнить: говоря о «замалчивании» книги, мы имеем в виду исследователей Маяковского в *академических и университетских* кругах России (за исключением упоминавшихся в данной статье и самой книге). Приведём лишь несколько примеров из газетных статей и рецензий, и одной докторской диссертации (цитаты — по материалам, помещенным в Интернете, в хронологическом порядке публикаций):

Владислав Иванов: «*А Владимир Владимирович-то — Шут у Трона!*»<sup>61</sup>:

«Бронислав Горб избрал такой подход: не врать, не переименовывать и не натягивать факты на концепцию. Эмоциональность некоторых глав полностью подтверждает истинность намерений исследователя... "Пусть мне возразят академические

исследователи, если я не прав. Но за несколько лет подготовки книги я не получил убедительных аргументов из их уст, хотя промежуточные результаты моего труда постоянно публиковались в прессе (например, в известном журнале "Витрина"), — говорит Горб. <...>

P.S. Через несколько дней после прочтения книги (замечу, оторваться сложно), у меня состоялся разговор с Евгением Евтушенко: о литературе, в особенности о современной поэзии, а также о его преподавательской деятельности в США, где он вместе со студентами вновь и вновь (по-новому ли?) прочитывает Бунина, Пастернака, Мандельштама, Маяковского... Я поинтересовался его мнением о трактовке революционного творчества через шутовство. Евгений Александрович, сперва несколько взорвавшись, назвал эту концепцию *"удивительнейшей пошлостью, пошлее которой и выдумать сложно"*, а самого Маяковского определил глубоко трагической личностью, жестоко пострадавшей от Власти, которой он служил как настоящий Поэт.

К сожалению, приведенная выше реплика Евтушенко, на наш взгляд, содержит серьёзное противоречие: если Маяковский действительно служил власти, то почему пострадал? И за что? Нам думается, что как поэт Евтушенко прекрасно понимает, что *настоящий поэт* не может «состоять» на службе у Власти. Более того, как известно из нашей истории, всех, кто отказывался от сотрудничества, Власть уничтожала — так или иначе! Примеры известны, их тысячи — от Радищева и Пушкина до Маяковского и Высоцкого!

Памятуя о том, что та беседа состоялась более 12 лет тому назад, приведём слова самого Евтушенко<sup>[7]</sup>: *«...у меня было много политических и социальных иллюзий, в которые я искренне верил, но в которых обманулся»*. Отсылаю читателя к этой книге и, в частности, к эссе «Русская эпиграмма» <sup>[8]</sup>.

А что касается его (Е.А.Е.) реплики на вопрос о «трактовке революционного творчества через шутовство», думается, что, при внимательном прочтении, книги Бронислава Горба («Шут у трона Революции» и «Анафема Маяковского...») открыли бы и для Е. А., и для его студентов, для всех читателей, мир настоящего — любимого и самим поэтом — Владимира Маяковского.

Многие из его стихов даже сегодня читаются как эпиграммы:

*В СССР от веселости  
стонут целые губернии и волости...*

Интересна параллель, которая улавливается даже в раннем творчестве Евгения Евтушенко, возможно забытая, или упущенная, им самим. В статусе поэта Е.А. оказывался более карбонарием, нежели в статусе профессора. В поэме «Под кожей Статуи Свободы», судьбы её героев так и напрашиваются на сравнение с судьбой Владимира Маяковского:

*«Мама,  
за что убили Линкольна?»  
А мама вопрос  
не сочла почему-то ребяческим вздором...  
печально сказала,  
вихры мне пригладив, со вздохом:  
"За то,  
что он был высокого роста"...*

*Высокий рост*, как причина гибели неординарной личности, в поэме повторяется дважды: ещё и убийство Джона Кеннеди:

*«пусть знает,  
за что был пристрелен Джон Кеннеди, –  
за то,  
что он был высокого роста».*

И — в этой же поэме — ранее, словами Панчо Вишьи:

*«Я у них сидел, как в горле кость,  
не понав на удочку богатства.  
В их телегу грязную впрягаться  
я не захотел. Я — дикий конь.  
Я не стал Христом. Я слишком груб.  
Но не стал Иудой — не сдался,  
и, как высший орден государства,  
мне ввинтили пулю — прямо в грудь»....*

Наталья Дардыкина. *«Мандат на убийство»* [9];

«Название и содержание книги полемично. Многих шокирует слово "шут".

У правящего трона Маяковский никогда не подвизался — он колебал его, доставал, раздражал независимостью высказываний и парадоксами своих приговоров. Поэт предсказал обновляющую стихию революции. Однако Октябрьский переворот сразу принял кроваво-пародийное обличье. И пригласило поэта его природное театральное дарование: "Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана". Чтобы не выронить перо из рук, пришлось овладеть искусством скомороха и шута. Радикально изменился язык поэтических текстов Маяковского».

Джеймс Холт. *"Владимир Маяковский и поэтика юмора"* [10];

«Бронислав Горб — автор одной из самых интересных и амбициозных монографий последнего времени по Маяковскому» (Bronislav Gorb is the author of one of the most fascinating and ambitious recent monographs on Mayakovsky).

Дмитрий Бестолков (литературовед-аспирант, г. Мичуринск, Тамбовская область). *«Бронислав Горб: суд над «красным хлыстовством» стихами Маяковского»* [11];

«Бронислав Иванович Горб — уникальный литературный аналитик, труд его, на мой взгляд, бесспорно, пополнит сокровищницу лучших филологических исследований о Владимире Маяковском. <...> Эффект появления такой книги, как книга Б.И. Горба «Шут у трона революции. Внутренний сюжет творчества и жизни поэта и актёра Серебряного века Владимира Маяковского», можно действительно сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы, осколки которой ещё долго будут летать в немом пространстве истории».

...Нам думается, что теперь уже никто из тех, кто интересуется жизнью и творчеством Маяковского, не сможет утверждать, что знает поэта, если он не ознакомился (причём, основательно!) с этим взглядом на поэта. Можем, правда, предупредить: лёгкого чтения исследователь не обещает: чтение потребует серьёзной умственной работы. Но, в случае успеха, настоящее эстетическое удовольствие читателю гарантировано!

А критики? Что ж, тот, кто называет изучение жизни и творчества Маяковского своим призванием, отказать от профессиональной, по-настоящему аргументированной дискуссии не сможет — без потери репутации настоящего учёного. Ваша очередь, господа «опрокидыватели», *доказывать*, что «она не вертится»!..

Одна из глав брошюры «Анафема Маяковского. Пособие...», изданной в Москве в 2012 году издательством УЛИСС, называется «Необычный музей необычного поэта». Нелишним будет рассказать вкратце и об истории создания, точнее, второго рождения, действительно неординарного Музея Маяковского в Москве.

По инициативе директора музея Светланы Стрижнёвой, был приглашён Евгений Амаспюр. Ему помогал Тарас Поляков. Амаспюром был создан новый музей поэта.

Музей Маяковского, как лучший в мире — во всех зарубежных справочниках, и у многих, в том числе и у иностранцев <sup>[12]</sup>, почему-то сложилось убеждение, что музей выстроен по книге Бр. Горба.

Бронислав Горб категорически это отрицает, хотя с книгой совпадает многое.

Сами же Е. Амаспюр и Т. Поляков признали, что, ознакомившись с книгой «Шут у трона революции», были поражены уникальной синхронности написания книги и воссоздания музея. И общности взглядов и концепции, как автора книги, так и их личной.

Приглашённый в музей, Бр. Горб был не менее других потрясён внутренним созвучием своей книги музейному пространству. Его восхищение талантливым воплощением нового *видения* поэта в музее не ослабевает. В своей второй книге, «Анафема Маяковского и Русский Апокалипсис XX столетия», он настоятельно рекомендует изучать поэта, предварительно посетив этот уникальный музей с его символами трона (музею на сегодняшний день — читайте ниже — к огромному сожалению очень и очень многих, просто уничтоженному!).

Явлением такого же порядка можно считать и решение министерства образования России исключить из школьной программы изучение Маяковского...

\*\*\*

В заключение хотели бы привести небольшой отрывок из посвященной Маяковскому (и Есенину) главы "Медные подковки" в «Книге скитаний» Паустовского:

*«Даже недруги отдавали должное его поэтической мощи, его прямолинейности трибуна, его политическому темпераменту. Раз он умер, то они, очевидно, успокоились и перестали придавать значение разящей силе его слов. Они просто не знали, что сплошь и рядом слово чем дальше, тем становится грозней. Его не обезвредили, даже утопив на дне океана, как пытаются обезвредить отходы атомного производства. Оно все время будет прорывать благополучную пленку жизни и взрываться то тут, то там»* <sup>[13]</sup>.

И ещё... о «самоубийстве» (пусть и другим способом). Если среди читающих эти строки найдётся врач-психолог, психиатр, невропатолог, или другой специалист, разбирающийся в *клинических* аспектах самоубийства, мы хотели бы получить ответ на вопрос: возможно ли такое состояние у человека, «только что вынутого из петли. Он лежал на боку, на диване, *подобрав колени, и все лицо его было в слезах. Они еще не успели высохнуть.* Такая детская обида была на этом лице, что никто не мог смотреть на эту *фотографию*. Все отворачивались и отходили, пряча глаза»? Это — о Есенине (там же).

## Вместо послесловия

...Ещё в конце предшествующего юбилею (2012-го) года, из Москвы пришло тревожное сообщение, касающееся Музея Маяковского. Связано оно было с тем, что, как оказалось, Департамент культуры Москвы (его тогдашний руководи-

тель, и министр Правительства Сергей Капков), предпринял то, что мы назвали бы здесь, на Западе, да и в любом демократическом государстве, попыткой силового захвата (по-английски — “hostile takeover”).

Может быть, не помешает упомянуть ситуацию с культурными учреждениями в России. Несмотря на все «демократические преобразования», подобные учреждения, в частности музеи и библиотеки, являются государственными учреждениями, работники которых назначаются правительственным аппаратом — в данном случае, Москвы. Похоже, что часто и творческая политика этих учреждений диктуется и контролируется теми же людьми.

Всё началось с того, что 5 декабря 2012 года Тарас Поляков, автор сценарной концепции экспозиции Государственного музея В.В. Маяковского, опубликовал на форуме посетителей музея тревожное письмо, и приложил интересное свидетельство-документ<sup>[14]</sup>.

8 декабря журналист Ксения Басилашвили («Эхо Москвы») поместила в своем блоге<sup>[15]</sup> письмо Полякова, часть интервью «Эха Москвы» с Сергеем Капковым, а также еще 2 документа упомянутые ниже. В интервью Капков заявил, что об увольнении директора Музея Светланы Стрижнёвой (кстати, возглавляющей этот замечательный музей более 20 лет!) речь не идёт и, мол, глава Департамента по культуре о конфликте в музее знает.

Через неделю, 15 декабря, в передаче «МУЗЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ»<sup>[16]</sup> вместе с ведущей передачи Ксенией Басилашвили и её коллегами, участвовали и гости — директор Музея Светлана Стрижнёва и г-н Капков. Здесь он вновь утверждал — вопреки собственному распоряжению («Приказы» от 18 октября и 3 декабря 2012 года) о «проведении реэкспозиции» в Музее в 2012 году» (и это в начавшемся году 120-летия со дня рождения Маяковского?!?) — что Музею в юбилейном году это не угрожает...

А что ожидает Музей после юбилея?

Рекомендуя читателям журнала указанные материалы, не можем не процитировать министра Капкова, который во время встречи, в открытом радиоэфире, свалив с больной головы на здоровую, откровенно заявил: *«В основном, руководители наших учреждений живут по системе уважаемой мною министра Советского Союза Фурцевой»* (!!!). И это — в наше время (XXI-й век!). И это, видимо, о проводимой департаментом политике и — о своих подчиненных, им же назначаемых?!

Вот так... Впрочем, еще в первом письму Тарас Поляков писал: «Уважаемые друзья музея Маяковского, у вас есть вопросы по поводу “укрепления руководства”? А от себя прибавим, дорогие читатели (здесь, за рубежом и в России): вам всё понятно в вопросе о преемственности?..»

## Вынужденное послесловие № 2

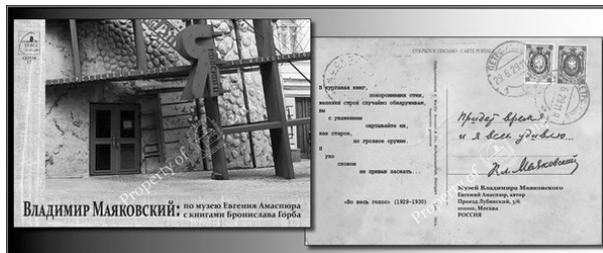
По сообщению Инициативной группы по сохранению Государственного музея им. В. В. Маяковского, помещённом на «Информационном сайте О Государственном Музее Маяковского», варварский демонтаж одной — из двух — самых посещаемых достопримечательностей Москвы практически завершен! Полностью об истории «рейдерского захвата и развала» Музея В.В. Маяковского, а также о подобной угрозе в отношении Музея М. Булгакова, можно прочитать на этом же сайте.

\*\*\*

Нам хотелось назвать одним из положительных итогов юбилейного года выпуск (в 2013-2014 гг.) нового издания — «Полного собрания произведений Ма-

яковского в 20-ти томах», объявленного Институтом мировой литературы имени Горького Академии наук России. Из краткого сообщения на интернет-сайте Института можно было узнать, что на два тома из этого собрания уже выпущены, но... даже на сайте крупнейшего интернет-магазина в России они... отсутствовали в продаже. Дальнейший поиск в Интернете помог разгадать ребус: тираж издания — 300 экземпляров(!!!). Совсем как пресловуто-знаменитая резолюция Сталина, но наоборот: «только для служебного употребления»...

\*\*\*



Б. Горб, Е. Шехтер: «В. Маяковский: по музею Е. Амаспюра с книгами Б. Горба»

В год 120-летия со дня рождения В. Маяковского, Бронислав Горб и Ефим Шехтер создали серию открыток «В. Маяковский: по музею Е. Амаспюра с книгами Бр. Горба». Авторы открыток послали первый экземпляр комплекта в адрес музея. В свете последних событий, молчание его администрации неудивительно.

В настоящее время единственное место, где можно ознакомиться с открытками — на [сайте Бронислава Горба](#) (папка ОТКРЫТКИ).

\*\*\*

И наконец — к приятному: мы очень надеемся, что радость открытия замечательного писателя и исследователя Бронислава Горба и его книг разделит и читатели журнала «СЕМЬ ИСКУССТВ». Интересного Вам чтения!

## Примечания:

[1] Здесь и далее — подчёркнуто или выделено нами.

[2] Интересующихся этой темой, мы отсылаем к статье Юрия Шехтера «Хоть после смерти!», помещенной в ежегоднике «Владимиру Высоцкому — 73: Народный сборник», Изд-во «Наваль», Николаев (Украина), 2011г.

[3] Одним из свидетельств этой близости мы считаем и несколько ссылок на стихи и образы Высоцкого в книге «Шут у трона Революции». Кроме того, хотели бы обратить внимание читателей журнала на необычный экспонат в музее Маяковского в Москве: почти у самого входа поставлен «трон», а к его подножью прислонена (муляж из металла)... гитара — с обломанным грифом, и с цитатой из Высоцкого: «Мы не умрем мучительную жизнью — Мы лучше верной смертью оживем!» (см. фото в главе из книги Бр. Горба, посвящённой Музею Маяковского).

[4] Эти слова Маяковского приводит Василий Катанян (по книге «Василий Катанян, Галина Катанян. Распечатанная бутылка», стр. 108, ДЕКОМ, 1999).

- [5] Из книги Анатолия Наймана «*Рассказы о Анне Ахматовой*», Изд-во «АСТ/ЗЕБРА Е», 2008, стр. 77.
- [6] Еженедельник «Литературная Россия», 1 Фев. 2002, *то же* <http://www.litrossia.ru/archive/90/criticism/2102.php>). Владислав Викторович Иванов родился в 1973 году в Магадане. Окончил Северный международный университет. Кандидат филологических наук. Автор монографии "Куваевская романистика".
- [7] Е. Евтушенко «Можно всё ещё спасти», Изд-во Эксмо, 2011, стр. 6).
- [8] Там же, стр. 471.
- [9] «Московский комсомолец», 4 Фев. 2003; *то же* - [http://cargobay.ru/news/moskovskij\\_komsomolec/2003/2/15/id\\_126762.html](http://cargobay.ru/news/moskovskij_komsomolec/2003/2/15/id_126762.html).
- [10] James Holt, III McGavran. «Vladimir Mayakovsky and the Poetics of Humor». Doctoral Thesis/Dissertation. Princeton University, 2008, 213стр. (Докторская диссертация, Доктор филологии (mso-ansi-language: RU">Ph.mso-ansi-language: RU">D) 2008).
- [11] <http://archive.diary.ru/~istolkovanie13/>, Янв. 2009г.
- [12] Одной из таких «иностраною» была и посетившая Москву и музей Маяковского (первый раз в 2003 году) единственная законная наследница поэта, его дочь — *Хелен Патриция Джонсон*, или, как она предпочитает называть себя по-русски, *Елена Владимировна Маяковская*. Тогда же, ей была подарена книга Бронислава Горба, и, ознакомившись с ней, она попросила о встрече с автором. Беседа продолжалась около 4 часов, и была записана на видеоплёнку — для студентов Lehman College (CUNY), где она до совсем недавнего времени преподавала.
- [13] К. Паустовский Собрание сочинений в восьми томах, Т. 5. Повесть о жизни «Книга ски-таный», Стр. 477.
- [14] Набрав в Google этот и другие заголовки (дословно), вы легко найдете нужную страницу. «КАК И КТО ГРОБИТ МУЗЕЙ МАЯКОВСКОГО?», или по соответствующему адресу — <http://www.mayakovsky.info/fm/viewtopic.php?f=6&t=1301&sid=ddda1666e11fd01320694dc9c2941f45>.
- [15] «МУЗЕЙ МАЯКОВСКОГО ЗАКРЫВАЮТ?», <http://www.echo.msk.ru/blog/basilashvili/964664-echo/>.
- [16] «МУЗЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ: ЧТО БУДЕТ С МУЗЕЕМ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО В МОСКВЕ?», <http://www.echo.msk.ru/programs/museum/968790-echo/#element-text>.



# Бронислав Горб

## ПРОФЕССОР ЗАЙЦЕВ, СНИМИТЕ ОЧКИ-ВЕЛОСИПЕД!

*Вместо предисловия ко 2-му изданию  
«Шута у трона Революции»*

*Профессор,  
снимите очки-велосипед!  
Я сам расскажу  
о времени и о себе.  
Я, ассенизатор и водовоз...  
Вл. Маяковский*

Как религия коллективного самоубийства — коммунизм — в течение многих веков, время от времени, словно проказа поражает какой-нибудь обречённый народ. Попала и Россия под это общее планетарное наваждение (1917-1991).

Единственным лекарством от смертельной беды тысячелетий был и остаётся сатирический смех. Врачевателями чумы человечества в разное время и в разных народах были такие титаны антикоммунизма как Аристофан, Томас Мор, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Герберт Уэллс, Владимир Маяковский, Евгений Замятин, Аркадий Аверченко, Джорж Оруэлл, Олдос Хаксли.

Об интеллектуальной борьбе поэта с коммунизмом писали Дмитрий Святополк-Мирский в Лондоне (1925) и Андрей Платонов в Москве (1940).

Нам трудно об этом даже подумать после всего, что, слой за слоем, в течение долгих десятилетий нагородили фальсификаторы-маяковеды вокруг его имени и творчества, приписывая поэту пылкую любовь к утопии и Ленину.

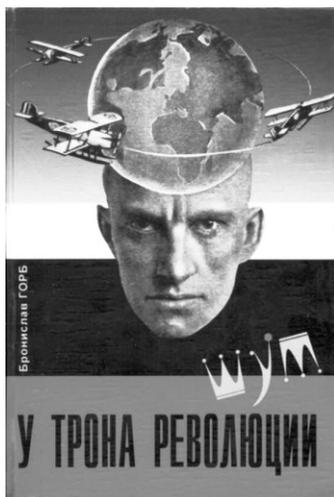
Но тут на выручку исследователям приходит сам поэт и его доверительное признание не ближайшему чекистскому окружению, а друзьям второго ряда, но духовно родственным — о внутреннем содержании своего творчества:

**Придёт время, и я всех удивлю... [1]**

1-е номерное издание «Шута» (М., 2001) издатель разослал маяковедам в стране и за рубежом. Трое поблагодарили. Отмолчались — 76. Через девять лет молчуны отрядили профессора МГУ Вл. Зайцева похоронить книгу. Отдадим ему должное: он нашупал слабое место в исследовании — сравнение столицы СССР с гадюшником. Не сверяясь с поэтом (автором сравнения), после 4-х брачливых абзацев профессор победно торжествуяще пригвоздил в журнале МГУ:

*...следуя подходу Бр. Горба, трактовать известные строки из начальной и завершающей строк шестой главы той же поэмы «Хорошо!»: «рельсы по мосту вызмеив» — тоже как «сотворение гадюшника», только на этот*

раз неясно — какого: «при капитализме» или «при социализме»? (Журнал «Филологические науки», 2009. № 2, «О восприятии жизни и творчества В.В. Маяковского в XXI веке». С. 99-108.)



Кому неясно — поясним на пальцах, приводя цитаты из многих стихов и поэм Вл. Маяковского. Заодно предоставим специалистам прояснить неточное употребление понятий «при капитализме» и «при социализме»<sup>[6]</sup>.

Для Маяковского, как ученика Аристотеля, Джонатана Свифта, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Герберта Уэлса — СССР-цы — однозначные глуповцы, безропотно возводящие утопию, или, как говорили в славном городе Глупове, — принявшие впопыхах гидру деспотии за гидру революции.

И если бы профессор Зайцев и иже с ним друзья-маяковеды не упражнялись бы в школярском умничанье, а хотя бы непредвзято пролистали 13 томов ПСС Маяковского, то обнаружили бы то, что до меня, рискуя жизнью, создал великий поэт, с болью говоря о времени, о себе, о стране-серпентариуме.

Большинство сравнений СССР с гадюшником, найденные мной уже после хихиканья профессора в серьёзном филологическом журнале, и, естественно, не вошедшие в 1-е издание, вынесены в предисловие 2-го издания.

В Евангелии Христос о стране-гадюшнике сказал просто (Мф. Гл. XXIII):  
**33. Змии, порождённыи ехидны! как избежите вы осуждения в гегену...**

Маяковский описывал ещё действующий гадюшник. Судьбы народов, живущих в серпентариуме, видны в цифрах Русского Апокалипсиса XX века, когда на Россию обрушилась катастрофа, вызванная Октябрьским переворотом:

*...По официальным данным, представленным в 1956 году, после XX съезда партии, в комиссию Президиума ЦК КПСС, только с января 1935 по июнь 1941 года было репрессировано 19 миллионов 840 тысяч советских граждан, из них семь миллионов было расстреляно, а большинство из тех, кто избежал казни, погибли в лагерях... А до 1935? А после 1941? Именно после 1941, особенно после победы над Германией в 1945, в ГУЛАГ потекли миллионы бывших военнопленных. Сталин объявил их изменниками родины. Ту же участь разделили и многие из нескольких миллионов наших граждан, угнанных немцами в рабство.<sup>[7]</sup>*

Средство от неблагодарности прописано в книге Моисея «Числа» (Гл. XXI):

**6. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили, и умерло множество народа из сынов Израилевых.**

**7. И пришёл народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя: помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе.**

**8. И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалил змей какого либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив.**

**9. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и, когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.**

Маяковский взглянул на медного змея коммунизма. И, пока оставался жив, описывал страну-серпентариум и всех её пресмыкающихся. Словно 13-й апостол Христа он осознал в себе наступательную силу и власть, отмеченную в книге, к которой поэт не раз возвращался — Евангелие от Луки (Гл. X):

**19. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию; и ничто не повредит вам.**

Поэтому поэт так настойчиво просил СССР-ских профессоров, которые будут его припиливать к идеологии коммунизма, провозглашая певцом Великого Октября, снять очки-велосипеды, подаренные им товарищем Сталиным.

В отличие от профессоров-маяковедов, Маяковский не увидел никакой разницы между белыми и красными гадами, гротескно объединяя их:

*Эсер с монархистом  
шпионят бессонно —  
где жальят змей,  
где рубят с плеча. (VI, 288)*

Видим два жала — эсера и монархиста. Но эти жала двух совершенно разных гадюшников. Эсер — социал-революционер, делавший революцию против защитников монархии. Два объединившихся смертельных врага — сарказм Маяковского (гады-то явные, но в общий счёт мы их всё равно не включаем):

*Советы обляпавший сплошь,  
белый бежал гад... (X, 122)*

В памятную ночь ограбления Эрмитажа (в партийных мифах — героический штурм Зимнего Дворца) из гадюшника капитализма на том же трамвае без пересадки одуроченный народ въехал в тупик серпентариума социализма:

*Рельсы  
на мосту вызмеив,  
гонку свою  
продолжали трамы  
уже — при социализме. (VIII, 263)*

(Развитие темы стихов Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай», 1919.)

Большевики, прежние социал-демократы Ленина-Троцкого, дорвавшись до власти, перекрасились в коммунистов и, отказавшись от социализма и демократии, стали злом для России худшим, чем царизм.

Вот вам для начала два ярких, но для многих замаскированных сравнений.

Поэт-пророк уже в самом начале Красной Смуты приравнял серпентариум прошлого (царскую Россию) с возникающим, вот что страшнее всего, гадюшником... светлого будущего. И, созданный партией Ленина и Троцкого СССР, Маяковский не от большой любви сравнил с гадюшником более тридцати раз.

СРАВНЕНИЕ № 3. После трамвая Зайцева. *По улицам миллионы вызмеив.*

Цензор «Известий», куда поэт принёс стихи после митинга, сообразил, что речь идёт о городе-гадюшнике, и ограничил пространство стеной у Кремля:

*Мильонную толпу  
у стен кремлёвских вызмей. (V, 54)*

Вызмеенные миллионы у Кремля — митинг, на котором выступил Маяковский, по случаю убийства Воровского в Генуе. По другую сторону баррикад для Марианны Колосовой начало серии — *И закорчился змей стоголавый...*

4. Змей № 1 появился после Октябрьского переворота, когда всему населению стало наплевать на Петра I без скипетра и его династию, а Ленин приказал немедленно уничтожить 4 (четыре) его памятника в Петрограде:

*Император,  
лошадь и змей  
неловко  
по карточке  
спросили гренадин. (I, 128)*

5. Гадюшник и в былине «150 000 000»: мы из леса сползлись. Чтобы захватить планету при беспробудном единстве правящей партии и народа:

*всё что еле двигалось,  
пресмыкаясь  
ползая...*

6. Столица серпентариума не может быть иной, хоть вдоль её проутюжь, хоть поперёк. Стихи из поэмы «Хорошо!»: хорошо оттого что:

*Вьётся  
улица-змея.  
Дома вдоль змеи. (VIII, 322)*

7. В стане ползающих под выпивку — гадина гадине друг, товарищ и брат:

*Любая гадина распривлекательна. (X, 28)*

8. Живущее приказом октябрьской воли население захлёбывается не от восторга. Потоп № 2, но из слюнявого яда полощет улицы страны-гадюшника:

*Эти потоки слюнявого яда  
часто сейчас по улице льются... (X, 8)*

9. У каждого гада свой облик и свой способ пропитания. В серпентариуме полно шумящих гадюк и змей, а также буйных гремучников словесности:

*Пусть рошут поэты, слюною плеща,  
губою презрение вызмеш. (X, 147)*

10. Серпентариум Маяковского включает и воинственный отряд всевозможных шпильковых змей, лучистых, очковых, населявших Советский Союз:

*Целый день семенит на доклад с доклада.  
Как змее не изменить?!  
Так ей и надо. (IX, 56)*

11. Совписы в стихах «ДОМ ГЕРЦЕНА. Только в полуночном освещении», где ночная гюрза со змеиной улыбкой клянётся — *Вот те крест — не заражу...*

*На искусительнице-змеи  
глазами чуть не женятся. (IX, 184)*

12. О всеобщей агрессии нигде не даст забыться страна-серпентариум:

*а сядешь в кабинку — тебе из купален  
вопьётся заноза-змея в ягодицу. (IX, 231)*

13. В стране расстрелянных поэтов и в поэме о любви — как видение:

*проглоченным кроликом в брюхе удава  
по кабелю, вижу, слово ползёт. (IV, 146)*

(Выделено самим автором это слово. Проглоченное кем-то недобрым.)

14. В зверинце «Слоны в комсомоле» и питонистого вида кандидаты:

*Что глядишь вниз — пузо свернул в кольца?  
Товарищ — становись рядом в ряды комсомольцев. (V, 37)*

Комсомольцев Маяковский видит и в виде чертей особого окраса. Когда ВЛКСМ заработал первый орден, поэт подзуживал: «Добудь второй!» (1928):

*Красным отчаянным чёртом  
и в будущих битвах крой! (IX, 86)*

15–16. Не для Советского Союза слова Христа — **Будьте мудры, как змеи.** Змей здесь даже чересчур много, разного фасона и ядовитости в зависимости от ранга, а вот с марксистско-ленинской мудростью тяжеловато.

В СССР с его особым пугём в истории, даже обычные в других странах учреждения дважды внутри и снаружи — как зеркала Медузы Горгоны:

*А очередь!.. Раз шесть окружила дом, как удав...  
У завовской двери драконом-гадом некто шипит:  
— Нельзя без доклада!.. (VII, 250)*

17. В фольклоре разных народов есть змеи мудрые и глупые, добрые и злые.

В стране-серпентариуме от старого до малого все — пресмыкающиеся, но на разных социальных этажах. Само собой — рептилии-начальники. Однако и гады-подчинённые тоже исходят собственным ядом — побольнее ужалить:

*Уж и ужалил начальство,  
жалю, жалю этих правильных жалю! (IX, 135)*

18. В стране, где гады-мужья и гады-жёны — молодая поросль гадёнышей. Гады-родители пугают своих змеёнышей стихами о себе — пресмыкающихся:

*— Ах, жадоба! Ах ты, злюка!  
Уязви тебя гадюка! (X, 221)*

19. Уязвлённые гадюками вырастают в таких же, в этом же измерении: Его некультурной ругать ли гадиною?! (IX, 221)

20. В гадюшнике искусство не может быть другим. Гады ползучие создают все виды серых искусств, похожих на них. А кино — так и внешне змеиное:

*серой змеёю фильмы  
задушим зелёного змия. (IX, 97)*

21. О зелёном змие, словно о Продармии Ленина-Троцкого, шастающей по деревням и сёлам Поволжья. На время написания стихов — 77 983 мародёра:

*Всё богатство крестьянское змиеще жрёт,  
вздулся, пол-России выев. (V, 191)*

22. Другие пол-России терзает убыточный для народа миллионноротый Коминтерн, в сто тысяч раз головастее Лернейской гидры Гомера:

*Наш вождь — миллионноглавый  
Третий Интернационал. (II, 43)*

У Гомера и Овидия схожее — Лернейская девятиглавая гидра. В древности шутили: змея нелепая до бесконечности. У гидры, как и III Интернационала, головы человечьи. Вместо одной срубленной у неё отрастало две новых. Не менее 16-ти раз нужно их срубить, чтобы гидра стала походить на миллионноглавый Коминтерн. Остановил удваивание голов гидры (её называли и стоголавой) помощник Геракла, прижигая раны. У русского Гомера гидра Коминтерна столь же нелепа, хотя успешно подменяет... вождей Ленина и Троцкого.

23. По-змеиному миллионноротый Коминтерн даже планету взорвёт:

*Шнур динамитный вызьей!  
Подготовь генеральный план взрыва капитализма. (IX, 201)*

24. Страну плющил социализм, а Горький пляжничал на Капри:

*Или с Вами начали дружить по саду ползущие ужи? (VII, 210)*

25-26. Если взглянуть с птичьего полёта, увидим глазами ангелов: Ока змейнула. Отзмеилась Ока. (IV, 112). На другом конце страны та же картина:

*Льнут к Баку покорно даже змеи  
извивающихся цистерн. (V, 58)*

27. В библейские времена рай утерян людьми из-за происков коварного змия. В Советском Союзе — сплошь гады, как говорит поэт, под завязку:

*Этими — и добрыми, и кобры лютей —  
Союз до краёв загружен. (VII, 203)*

28. В США ядовитое войско идей. Демократизмы, гуманизмы. Чужих гадов мы не включаем в перечень. В былине «150.000.000» войско идей выставил Президент США Вильсон. Серпентариум СССР грохнул отечественным ядом:

*колье на Вильсоних  
бросились кобрами.*

29. Про гадошник знают и зарубежные юристы, обязанные давать не эмоциональные, а чёткие юридические определения известным организациям:

*Уж погоди, Чека-змея! Раздокажу я!  
Или не адвокат я? Я не я?.. (IV, 39)*

30. Граница серпентариума на замке от внешних гадов. Но куда страшнее пресмыкающие свои, внутренние, ползающие вокруг. Охрана змеешпигомника доверена их пролетарскому яду, как видно из причудливой фантазии поэта:

*Припаси на зубе яд,  
в километр жало вызьей*

*против всех, кто зря сидят  
на труде, на коммунизме! (X, 23)*

31. Такой режим не мог не нагнать страху и на всю планету. Даже рядовой зарубежный чиновник на паспортном контроле, обычные для разных прочих шведов загранпаспорта, берёт с ужасом у выезжающих из гадюшника:

*берёт, как гремучую, в 20 жсал  
змею двухметроворостую. (X, 70)*

Сталин определил строгую схему и ограничил рамки оценки Маяковского. Как в Прокрустово ложе СССР-ские критики втиснули и творчество, и жизнь великого поэта. Слова Сталина о «лучшем и талантливейшем поэте нашей советской эпохи» абсолютно верны, если убрать подмену смыслов: не было никакой советской эпохи имени Калинина, а был тоталитаризм имени товарища Сталина. С этим наваждением Маяковский и боролся. Образ эпохи, кишачий красными гадами, у него такой, как и на плакатах Белого Движения.

32. В пьесе «Баня» режим коммунистов уничтожил время. Англичанин Понт Кич приехал в СССР скупить все часовые механизмы. Из многих ироничных определений времени остановимся пока на ползающем и слепом:

*Довольно ползло время-гад.  
Копалось время-крот. (X, 87)*

Видимо, и это не всё. Но и так видно, что профессор-маяковед никак не хочет поверить про страну пресмыкающихся. И таких работ, в которых поэт поверхностно и эстрадно прочитан, угнетающе много, словно его интеллектуальное наследие и подвиг навечно прокляты в похвале Сталина.

Словом, зачѐт уважаемому профессору МГУ Вл. Зайцеву я бы не поставил. И не потому, что он не понимает стихов Маяковского, а потому, что непонимающим, как и его товарищи-маяковеды, многие годы притворяется.

Маяковский родился в год Змеи. Чертами характера, линией поведения, как и Достоевский, поэт во многом соответствовал своему Знаку Зодиака.

Возможно, поэтому Маяковский изобразил себя в виде Лаокоона.

Гомеровский Лаокоон — пророк-патриот, пытавшийся не допустить разрушения родной Трои. Две вражеских змеи набросились на его двух сыновей.

Отец кинулся их спасать, но в неравной борьбе все трое погибли.

Маяковский-Лаокоон, борющийся с гигантским питоном, на плакате к киноленте по его сценарию и с ним в главной роли «Закованная фильмой» (1918).

На мой взгляд, поэту на Пегасе более приличествует роль Георгия Победоносца, разящего копьём сатиры многих ползающих по его стране гадов.

Первая любовь юноши Маяковского, влюблённая в него Евгения Ланг, видела в нём Архангела с фресок Рублёва. В её воспоминаниях (в музее поэта) сказано, что он изначально мыслил себя особым героем греческой трагедии.

Но в жизни разворачивалась планетарная трагедия, вызванная Октябрьским переворотом. В ней уже не было места герою греческого эпоса...

В былинах звание Змеборца заслуженно носит Добрыня Никитич, растоптавший царство Тугарина Змеёвича, но Маяковский, понимая, что такой подвиг ему не под силу, взял за образец поведение богатыря-скомороха:

*Стою будущих былин Святогор богатырь. (I, 21)*

## Время удивления пришло

Грузинская патриотическая лирика классика Важа Пшавела была образцом для писавшего стихи молодого Джугашвили-Сталина. Змееед — один из его ранних псевдонимов. По имени героя поэмы В. Пшавела «Змееед» (1901).

Этот необычный народный герой поэмы вопреки врагам, бросившим его к змеям, постиг всю мудрость мироздания. У Маяковского три десятка сравнений СССР с гадюшником во главе со Змееедом и его лабораторией ядов фармацевта Генриха Ягоды — картина социалистического сюрреализма.

Сталин, приказав поднять Маяковского над уровнем орденосцев Демьяна Бедного, Кольки Асеева, Сёмки Кирсанова, надеялся, что ложью своих воспоминаний с одной стороны и лже-дневниками Лили Брик с другой, а с третьей — стаей учёных, вроде профессоров МГУ А. Метченко и Вл. Зайцева, из Литинститута Ал. Михайлова или А. Ушакова из ИМЛИ, низведут интеллектуальный подвиг Сопротивления на уровень... усердного служения режиму.

Джонатан Свифт описал подобно: йеху обмазали Гулливера дерьмом, чтобы и он благоухал тем же ароматом, что и они, и не сильно отличался от них.

Широко известна мудрость Ленина о том, что русская интеллигенция не мозг нации, как она о себе воображает, а говню (из резкого письма Горькому, 1919, 15 сентября). И тут неожиданно поэт по-шутовски обмазался сам.

По-скоморошьи Маяковский выкрикнул о себе, интеллигенте:

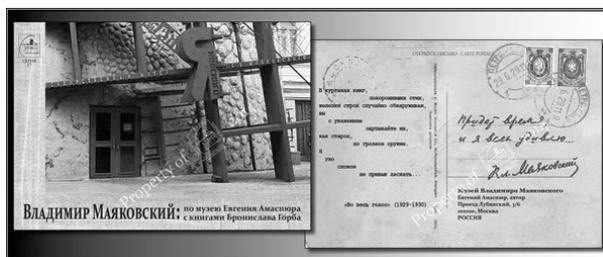
*Я себя под Лениным чищу,  
чтобы плыть в революцию дальше. (VI, 234)*

После такого признания благоухающие йеху от литературы не смогли доказать, что поэт, ну точно такой же — как и они, певчий Великого Октября.

Да и Гулливер успел нас, товарищей потомков, предупредить, чтобы мы его не смешивали с ними, роясь в сегодняшнем окаменевшем г..... (X, 279)

До Красной Смуги гордость Маяковского **Я** — поэт. *Этим и интересен.* (I, 7)

При коммунистах он — ассенизатор и водовоз. Но это ёрническое оказалось ещё более интересным для осознания — *Придёт время, и я всех удивлю...*



Замысел Змеееда почти удался: три-четыре поколения считали поэта певчим Красной Смуги. Переосмысливать эту ложь любознательным поможет музей Евгения Амаспора. Талантливый художник, он, очевидно, и отталкивался от слов поэта о приходе времени, когда Маяковский всех удивит.

Работая ст. научным сотрудником музея Маяковского, стихам о большевиках — волках революции, сожравших кадетов, «Сказочке о Красной Шапочке» я вернул эпиграф 1-ой публикации — *Цвету интеллигенции посвящаю.*

И, главное, за два года службы в музее собрал материал для новой книги — «Анафема Маяковского и Русский Апокалипсис XX столетия» — о проклятии социал-демократов Ленина-Троцкого и анархистов-коммунистов, работавших на Германию во время войны, в засекреченных стихах «Анафема» (1916).

### **Предсмертное завещание Михаила Булгакова: Маяковского прочесть должным образом**

При жизни Маяковского, за 18 дней до гибели поэта, Михаил Булгаков, наследник и ученик сатирика-антикоммуниста XIX века, писал Сталину о своём изображении страшных черт моего народа, которые задолго до революции вызывали страдания моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина (1930, 28 марта).

Писатель потрясён гибелью собрата по драматургии. Они оба воспользовались Машинной Времени Герберта Уэллса, приспособив её как транспортное средство... для побега из СССР. С одной разницей — герои Булгакова бежали в прошлое, герои Маяковского — рванули, уверяют маяковеды, в будущее.

Неожиданностью для Булгакова было и то, что Сталин, после шести лет запрета, приказал срочно легализовать поэта. И совсем неладное почувствовал писатель, когда коммунисты 10-летие его гибели превратили во всенародный праздник. Как отмечали и 100-летие со дня гибели Пушкина (1937).

Праздничной шумихой вокруг имени ранее запрещённого Маяковского явно намеревались утаить что-то важное. Булгаков, только что закончивший роман «Мастер и Маргарита», пытаясь разобраться, продиктовал жене за несколько дней до смерти: *Маяковского прочесть должным образом.* [8]

Предсмертное завещание Булгакова справедливо на все времена для исследователей наследия Маяковского — прошлых, нынешних, будущих...

### **«Анафема Маяковского и Русский Апокалипсис XX века» Главы из книги**

#### **Необычный музей необычного поэта**

Человеку мира — поэту, драматургу, актёру, озарившему XX век и раздвинувшему горизонты поэзии, драматургии, театра, кино, Владимиру Маяковскому 2-е столетие не везёт с критиками.

Даже ослепительное прозрение Карла Кантора в книге «Тринадцатый апостол» померкло, стоило уткнуться неординарному учёному в тупик лукавого СССР-ского литературоведения, похоронившего «Анафему» Маяковского.



А Маяковский без «Анафемы» — как Михаил Лермонтов без стихов «На смерть поэта».

Повезло поэту вот в чём. Директор «Государственного музея В.В. Маяковского» поверила в удачу гения музейного дела художника Евгения Амаспюра, сотворившего чудо на все времена — музей не просто деятеля искусства, а музей поэтического пространства народного поэта, воевавшего с режимом коммунистов в облике шута у трона Революции.

Борьба Маяковского с проклятыми была интеллектуальной. Получился и музей — яркая интеллектуальная шкатулка. С несколькими необычными разгадками. Музей покаяния.

При входе огромный пистолет над лестницей, чей ствол — как перст неотвратимой судьбы. Гигантский опущенный палец. Символ смерти в Древнем Риме на арене гладиаторов.

На мысли о шуте наводит деревянный трон при входе и стихи поэта и шута двух королей Франсуа Вийона. У трона — бунтарская гитара Владимира Высоцкого: «Мы не умрём мучительною жизнью — мы лучше верной смертью оживём».



Экспонат в музее Маяковского (до разрушения) в Москве: почти у самого входа был поставлен «трон», а к его подножью прислонена (муляж из металла)... гитара — с обломанным грифом, и с цитатой из Высоцкого: «Мы не умрем мучительною жизнью. Мы лучше верной смертью оживем!»

Высоцкий считал себя наследником Маяковского, и режим боялся его. В Отделе пропаганды ЦК КПСС о нём говорили, что в руках этого скомороха не гитара, а автомат Калашникова.

Ниша прославленного Василия Кирилловича Тредиаковского — вынужденного шута в правление Императриц Анны Иоанновны и Екатерины II. Но в царствование Елизаветы Петровны — достойного поэта и первого русского академика.

Трон + 12 венских стульев составляют мистическую цифру 13. Первоначально поэма «Облако в штанах» называлась «13-й апостол».

Вы — гости у зеркала. Поглядитесь в него. Из музея каждый выйдет другим, увидев, как экспонаты противоречат казённой биографии поэта.

Зал № 1. Рай Грузии: *Я знаю: глупость эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть Грузию, радостный край, подразумевали поэты.*

Взгляните вверх. Над раем Грузии, как и положено в раю, бесы Достоевского: Сталин и проч.

На столе тома Салтыкова-Щедрина. Из «Истории одного города», которую отец читал детям по вечерам, будущий поэт узнал о коммунистах и утопии города Глупова. Позже Маяковский казарменный коммунизм Глупова наложит на историю СССР, сравнив Ленина с Угрюм-Бурчеевым.

В «Анафеме Маяковского» об этом рассказано подробно.

Круговая открытка гимназиста 2-го класса (1905, 2 февр.). По открытке через 25 лет криминалисты будут сравнивать почерк... с якобы предсмертной запиской поэта (1930, 12 апр.).

Символ трона — кресло директора гимназии в Кутаиси. Юные хулиганы, срывающие богослужения, бьющие окна, записаны... в революционеры.

Трон и Столыпин — герой стихов Маяковского «Киев», где в его убийстве поэт обвинил Ленина.

Камера-одиночка № 103 с книгами. Маяковский добавлял 10 коп. в день, чтобы царские сатрапы приносили обеды из трестовского трактира.

Дорожные иконки семьи. Под иконами особые для России книги Вл. Соловьёва «Три разговора» (1900) и Дм. Мережковского «Христос и Антихрист». Историческая справка. Антихрист у Соловьёва до Красной Смуты сочиняет Манифест о мире, национализации, прочие манифесты.

Через 17 лет дословно все Манифесты Антихриста теми же словами повторит Ленин в Декрете о мире и других его декретах. Обе книги могли быть подспорьем при написании главной сатиры в жизни поэта «Владимир Ильич Ленин».

Комната поэта на 4-м этаже — сердце музея.

Над письменным столом портрет врага № 1 — фотография Ленина. «Наш марш» о погопе № 2, который коммунисты устроили планете Земля.

Из-за того, что в стихах поэт сравнил революцию с бунтом и потопом № 2, обозлённый Ленин накричал на артистку Ольгу Гзовскую, запретив читать стихи Маяковского в Кремле.

В статье «Довольно “маяковщины”» («Правда» 1921, 8 сент.) поэт обвинён в насмешках над декретами Ленина и выгнан с работы. 2011 плакатов разогнанных «Окон РОСТА» уничтожены.

В музее остатки плакатов (1078), уцелевших после расстрельной статьи Агитпропа, перепечатанной тогда всеми местными газетами.

На стендах «Огонёк» (1923, 1 апр.) в День дурака с сатирой о том, как Ленин онемел, но все притворяются, что он ещё управляет страной. «Мы не верим!», что *Вечно будет ленинское сердце kloкотать у революции в груди. (V, 18)*

Газеты США: поэт в широкополых шляпах.

Для цензуры стихи об Америке: *Кепчонку не сдёру с виска. У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока. (VII, 58)*

Подлокотники главного бюрократического трона. Огромная цифра 12. Это — 12-е апреля.

В этот день открыто Дело о самоубийстве... 14 апреля 1930 г. Первый лист предсмертной записки. Полностью она на 3-х больших листах. Выложить их рядом нелепо — увидим ленту бумаги в 1,05 метра.

3-й лист над пандусом, когда спускаетесь в конце экспозиции мимо окаменевшего говна — с зелёными бюстиками Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, пионера Амаспора.

В конце экспозиции железный трон Железного века, уставленный бюстами поэта. Хотим мы или нет, но получился Музей шута у трона, скомороха, но... из рода богатырей.

В печати и по радио слепые поводыри слепых утверждали, что любимые народом богатыри Святогор, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, — сплошь дураки, трусы и пьяницы.

О чём и опера на либретто Бедного «Богатыри». Это вместо оперы А. Гречанинова «Добрыня Никитич». Безнадёжного невежду одёрнули даже родные «Правда» и «Известия».

Дурная примета имя пароходу менять. Но есть 3 причины, когда это неизбежно.

Судно захвачено противником; в названии недостойное имя — как пароход «Ягода»; команда опозорила флаг. Налицо все 3 причины.

Суда попали в плен к большевикам. Команды не бились до последнего, чтобы не было над ними красных тряпич морских пиратов и коммунистов-анархистов. Режиму Ленина чужды русские богатыри. Вандалы, помечая чужое, перекрестили пароход «Добрыня Никитич» в почти не говорившего по-русски латышского стрелка Вацетиса — и.о. русского богатыря. Трагикомедия — человека и парохода. По Волге плавал пароход «Вацетис», а в тюрьме на Лубянке расстрельщик латыш И.И. Вацетис.

В честь меньшевика перекрестили пароход «Алёша Попович», ставший «Володарским».

Океанский ледокол пахарь-богатырь «Микула Селянинович» и речной пароход «Эрзерум» — оба стали помещиками из Симбирска «Ленин».

Команда ледокола «Илья Муромец», возмутилась переименованию в «Троцкий». Непокорённый «Илья Муромец» ушёл в эмиграцию (1920).

Унизили именем террориста «Красин» царский ледокол «Святогор». Чего поэт не мог простить коммунистам. Особые причины были у Маяковского: спасение челюскинцев на ледоколе с новым именем представить, как рыцарский поступок богатыря Святогора, а не уголовного Красина. Стихи «Крест и шампанское». (IX, 187)

Уничтожая память о России, переименовали даже богатырку царских солдат в будёновку.

Современники шутили, что это дети Соловья-разбойника вытравляют память о богатырях, зазывая разбойничьим свистом в светлое будущее. Конфликтный поэт открыто бросил вызов дикой вакханалии переименований (1922):

*стою, будущих былин Святогор богатырь. (IV, 121)*

Святогор Маяковский помимо вызова режиму имел в виду поднятую им, поэтом, скоморошью сумку. О чём подробно исследовано в книге «Шут у трона Революции». Святогор надорвался, а Маяковский поднял суму погибшего скомороха в гибельное время. Человек-гора — Святогор погиб, как погиб и поэт, но в исторической перспективе они оба — поэт и богатырь — победители.

О том, насколько народным поэтом был Маяковский в творчестве, писал Осип Манделштам в статье «Буря и натиск» (1923):

*...Сила и мягкость языка сближают Маяковского с традиционным балаганным раёшником. И Хлебников, и Маяковский настолько народны, что, казалось бы, народничеству, то есть грубо подслащённому фольклору, рядом с ними нет места.*

Мандельштам ошибся: рядом появилась былина Сопrotивления сказительницы Палагеи из вольнолюбивого Вологодского края. 80-летняя крестьянка осудила антихристианский режим Ленина и его войну с церковью в былинне «Как Святые Горы выпустили из каменных пещер своих русских могучих богатырей» (1925).

Богородица разбудила Святогора, и он, освободив, благословил богатырей на последний и решительный бой с Красным зверем — Антихристом.

Вызволить народ из рабства древней утопии, отбросив деление на классы, вышли 5 витязей: «Илья Муромец, роду крестниансково, Добрыня Никитич, боярский сын, Алёша Попович, рода поповскова, Иван Гостинной, купеческий сын, Васька Буслаев от свободново Новогорода».

Иисус Христос дал им в помощь двух небесных воителей, Егория и Архангела Михаила.

Заменяя Святогора, встал в ряды борцов с ангинародным режимом (получилось от интеллигенции) и народный поэт Владимир Маяковский:

*стою, будущих былин  
Святогор богатырь.*

Вот о чём расскажет музей великого поэта, где нет ни одного экспоната, который не нёс бы на себе интеллектуальную нагрузку....

### **Как волки революции превращали поэта в знамя проституток**

Рад бы заплакать, да смех одолел. Русская пословица

Если гениального поэта из списка певчих режима коммунистов убрать, то в их обойме, пожалуй, и не останется достойных. Но как такой талантище занесло под своды их богадельни?

В этом если и есть загадка, то разгадка проста: проверь пяток любых расхожих цитат, приспособленных режимом к себе, — и начнёшь постигать первоначального Владимира Маяковского.

Поколение, жившее между 1910-м и 1930-м годами, читало Маяковского в подлиннике.

Например, точно знало, что «Анафема» (1916) — проклятие врагам России. Партии Ленина, анархистам, народным коммунистам и уголовникам, работавшим в годы войны на Германию.

Басни о поэте Агитпроп сочинил, когда проутюжил наследие бунтаря, выжигая крамолу утюгом цензуры. Здесь нужно немногое, поменяй букву (Бог и бог), одно-два слова, смени название, вычеркни строфу — и поэт совсем другой.

В канун Октябрьского переворота в г-те «Новая Жизнь» [1917, 30 июля (7 авг.)] «Сказочка» с эпиграфом «Цвету интеллигенции посвящаю»:

### **Волки революции сожрали кадетов**

Кадеты — конституционные демократы, цвет нации России. Волки революции — большевики.

Поколениям между 1935-м и 1985-м годами поэт навязан после 6-ти лет запрета в ранге... певца революции. Для них «Анафема» названа «Ко всему». Их учёные мужи, убрав «Цвету интеллигенции посвящаю», внушали в школах, что «Ска-

зочка о Красной Шапочке» — сатира, мол, на... кадетов, названных Лениным червями революции.

Цвет интеллигенции малообразованный Ленин называл не мозгом нации, а говном. Яркий образ тирана поэт продолжил в саркастическом варианте безвольно плывущих по течению щепок: *Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть...*

Пьесам «Мистерия Буфф» и «Клоп» — сатирам на сивушный рай и «Бане» — о массовом побеге на чёртовом колесе из-за железного занавеса за границу критики придумали иной смысл.

В антологии «Владимир Маяковский: pro et contra. Личность и творчество Владимира Маяковского в оценке современников и исследователей» (Санкт-Петербург, 2006) три критика без тени сомнения цитируют вроде бы хрестоматийные стихи поэта (С. 502, 639, 784):

*Меня одного сквозь горящие здания  
проститутки, как святыню, на руках понесут...*

Футурист Сергей Третьяков, позже расстрелянный, сохранил подлинные стихи друга, напечатав их в Дальневосточной республике без цензуры (Чита, 1921). СССР-ская цензура туда не добралась. Сохранилось авторское (С. 628):

*проститутки, как Христа, на руках понесут  
и покажут Богу в своё оправдание.*

Волки революции, превращая Маяковского в СССР-ского поэта, лишили его права сравнивать себя с Христом. Печатали даже в Полном Собрании Сочинений (М. 1955. Т. I. С. 62):

*проститутки, как святыню, на руках понесут  
и покажут богу в своё оправдание.  
И бог заплачет над моею книжкой!*

В Литинституте шутили, что с такими стихами проститутки не только Маяковского могли показывать Богу в оправдание, а почти каждого из справочника Союза писателей СССР. Маяковский написал о другом. И это другое читается так:

*проститутки, как Христа, на руках понесут  
и покажут Богу в своё оправдание.  
И Бог заплачет над моею книжкой!*

Бог заплачет, опознав в поэте распятого Христа со страдальцей Марией Магдалиной...

Если же падшие безымянные девушки понесут безымянную святыню Агитпропа — знамя комсомола Чухломы или какую-то другую по их меркам святыню, плача не будет, а смех гарантирован.

Агитпроп намеренно изуродовал глубокий авторский замысел с подтекстом из Евангелия.

Поколение, полюбившее поэта без подсказки, знало одно — авторское прочтение: Христос, снятый с креста. Мученик за людские грехи...

Казарменный коммунизм Салтыкова-Щедрина из «Истории одного города» поэт увидел в СССР, дав ему сокрушительную оценку сатирика.

Этому посвящена книга, где не только возвращено авторское прочтение «Анафеме», «Сказочке», былинно-поэме «150 000 000», 3-м пьесам сатирика, но и прояснены многие события жизни.

## Придёт время, и я всех удивлю

Поэт-фронтовик Максим Кравчук на одном из заседаний Группкома литераторов Москвы рассказал о поэте Джеке Алтаузене. До войны тот вытащил Кравчука из концлагеря на Колыме.

Никто всерьёз не воспринял, что однажды Алтаузен записал странное предсказание Маяковского *«Придёт время, и я всех удивлю...»* Дружно похихикали. Ну чем смог бы нас удивить поэт громкой и, главное, казённой славы?

В гостях у Кравчука я рассказал, как на установочной лекции в Лигинституте предложил профессор Г.Н. Пospelов студентам вкратце сообщить о себе. Заявление, что, как и Маяковский, хочу гордиться: «я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье», развеселили профессора. Pospelов посоветовал, что если начинать цитировать, то — полнее, а не отрывочно.

Гордиться-то нечем: *ленью еле двигая моей машины части, я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье.* (VII, 93-94)

Самый из амбициозных проектов Сталина — завербовать погибшего бунтаря на службу режиму не состоялся бы, не будь изощрённой и послушной машины Агитпропа, заинтересованной ещё и материально. Надо знать главных винтиков и гаечку хитро отлаженного механизма.

Гаечка Лили Брик — директивная вдова поэта.

За публикации в книгах и учебниках, постановки пьес Маяковского причиталось ей 50 % гонораров. Винтик — Василий Катанян-старший. Окончательный муж Лили Брик и создатель книги «МАЯКОВСКИЙ. Хроника жизни и деятельности», где всё расписано по годам, дням и часам.

Что наследие поэта — шкатулка с двойным дном, Катанян-ст. знал лучше всех, судя по тому, какие события он описал, а какие, чтобы не подрывать семейный бюджет, намеренно опустил.

Слова про удивление и Катанян-ст. приводит в книге «Распечатанная бутылка». Дж. Алтаузен их произносит от себя, но — исключительно в связи с тем, что записал после бесед с поэтом.

Циничны манипуляции Гаечки и Винтика. Потеряв бдительность, Катанян-ст. приоткрывает кухню их фальсификаций, где Лили Брик...

*И вот она не поленилась, прежде чем уничтожить этот дневник, переписать его весь, опуская только крамольные имена и фамилии.*

В предисловии к книге Катанян-мл. жалеет отца-добытчика: «На многое уже не хватило сил и времени — рассказать... об искажённом издании поэм Маяковского». А кто же искажал поэмы?

Лили Брик с Катаняном-ст. сами же искажали многое. Например, придумав сцену с обалдевшим поэтом, увидевшим Лию Брик, плящим глаза на хозяйку дома и читающим поэму «Облако в штанах». По просьбе Осипа Брика посвящена



*Придёт время, и я всех удивлю ...  
Дж. Маяковский*

Лиле — в обмен на издание книги: 150 рублей за 1000 экз. тиража. Осип и Лиля сделали вид, что не заметили хитрости поэта, округлившего цену за издание на 17 руб. К радости сестры Лили, Эльзы, тогдашней, как она считала, невесты Маяковского. Поэма прочитана только во второй приход Владимира и Эльзы к родственникам.

Об этом рассказывала сама Эльза Триоле.

Винтик и Гаечка умолчали о статье «Довольно «маяковщины» в главной партийной газете, где поэт обвинён в насмешках над декретами Ленина и выгнан с работы, а «Окна РОСТА» были разогнаны. «Правда» (1921, 8 сент.).

Весь 1922-й год — борьба безработного с цензурой. 1-й том книги «13 лет работы» не выходит: восстановленную поэтом «Анафему» цензура считает ответом на приговор «Правды».

Двухмесячное сидение в комнате на Лубянке известно по фантазиям Лили Брик, хотя и поэт даёт повод воспринимать эпизод — как реальный (1922, 28 дек по 28 февр. 1923-го):

..теперь нет ни прошлого просто, ни давно прошедшего для меня, а есть один до сегодняшнего дня длящийся теперь ничем неделимый ужас. (1923, 1-27 февраля)

Даже при поверхностном анализе переписки этого периода создаётся впечатление, что Лили Брик и здесь не поленилась. Ответы на часть писем, видимо, сочинялись после канонизации поэта в 1935-м году. Лили Брик перевела в личный план — ничем неделимый ужас. Ни слова не написав, что вначале вышел 2-й том в октябре 1922-го. Что за восстановленную в 1-м томе «Анафему» сослуживцы из ОГПУ разразились бранью в «Русском журнале» (1922, № 1. С. 27-28).

Письма Маяковского, помимо любовного момента, включают и его отчаяние, что 1-й том с «Анафемой» никогда не выйдет (1922, 28 дек.):

*Я ничего с собой не сделаю — мне чересчур страшно за маму и Люду.*

Лили Брик в переписанных ответах оставила одни тендерные посылы. Она — единственная, у кого сохранился с автографом 1-й том, вышедший в феврале 1923-го года. Автограф — 31 янв. 1923. Других следов этого тома не обнаружено.

Со времён «Анафемь» у поэта несколько вольных или невольных насмешек над Лили Брик.

Маяковзавцы от А до Я (от Асеева до Янгфельдта) намеренно не замечают закодированное.

Даже самое очевидное, лежащее на поверхности: Если я чего написал, если чего сказал — тому виной глаза-небеса, любимой моей глаза.

*Круглые  
да карие, горячи  
до гари. (VIII, 294)*

Отмахиваясь от горнего (глаза-небеса), не объясняют и ясное дальнее — *горячие до гари.*

Гарь — вонь от горелого и окалина железа, плешь выгоревшего леса. Гарь — место сожжения старообрядцев. Странноватые круглые глаза...

О голубоглазой засекреченной Евгении Ланг: *Если я чего написал, если чего сказал — тому виной глаза-небеса — любимой моей глаза.*

«Про это» — поэма о похоти, превращающей людей в животных: *Вчера человек — единым махом клыками свой размедведил вид я!* (IV, 148)

Но это похоть железок: *Кровать. Железки. Барахло одеяло. Лежит в железках. Тихо. Вяло. Трепет пришёл. Прошёл по железкам.* (IV, 148)

Похоть толкает героя к женщине — как к старухе процентщице Достоевского: *Вот так убив, Раскольников пришёл звенеть в звонок.*

«По это» — о потоке № 2 из слёз: *Откуда вода? Почему много? Сам заплакал. Плакса... Неправда — столько нельзя наплакать...* (IV, 148)

Одному нельзя. А слёзы людей: *Океан — большой до обиды. Спасите!.. Спасать некому. Герой гибнет, расстрелянный на маковке колокольни Ивана Великого: Лишь на Кремле поэтовы ключья сияли по ветру красным флажком.* (IV, 177)

Жизнь каждого в этой стране обесмыслена: *Пусть бредом жизнь смолотась.* (IV, 169)

О похоти — как и о режиме коммунистов в стране: *не приемлю, ненавижу это всё.* (IV, 179)

Живущий чужой жизнью просит: воскресить его в ХХХ веке, когда на планету вернётся уничтоженная режимом любовь: *Я своё, земное, не дожил, на земле своё не долбил. Просьба зазубленной жизни: Воскреси — своё дожить хочу!*

Лили Брик, спохватившись, разрушила легенду, осознав со слезами, что «Володую затрепали, превратили в неживого... лучше бы всё развивалось своим чередом, и время бы его пришло». Хотя всё развивалось не своим чередом, но уже и так ясно: время Маяковского на подходе.

Давайте же прочитаем поэта не по искажённым изданиям и без учёта переписанных дневников, лживых писем и лукавых воспоминаний.

### «Анафему» похоронили, а она — вырылась!

При коммунистах фальсификаторы, канонизируя Маяковского, уничтожали поэта громкой барабанной славой. Взрывоопасность наследия великого поэта понимали многие. Опасались, что люди задумаются над адресатами его программных стихов «Анафема». Из множества подтасовок, передёргиваний, подмен, вычёркиваний и дописываний, выделяются усиленные похороны проклятия Ленину и тем партиям, которые работали на поражение России.

Кратко проследим историю манипуляций с названием. В альманахе «Стрелец-2» (1916) и в 1-м томе книги «13 лет работы» (1922-23) стихи выходят под названием «Анафема».

А далее, 2 строки — 3 вранья.

В сборнике «Простое как мычание» (1916) — название: «**Ко всей книге**».

В изданиях «Стрелец» (1916) и «Всё сочинённое» (1919) — третье название: «**Ко всему**».

Под этим, 3-м названием, «Анафема» публикуется в ПСС (1955-1961), чтобы даже память о проклятии поэта похоронить (Т. I. С. 434).

Память о его проклятии вытравляли 90 лет.

Убитый ложью Агитпропа, поэт возрождается. Название «Анафеме» тихо вернули в сборнике «ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК. Трагедия. Стихотворения. Поэмы» (Прогресс-Плеяда. 2007. С. 117).

Отрицать предвидение поэта невозможно. Маяковский предвидел и предупредил в «Анафеме» своих неведомых убийц:

*Убьёте, похороните — выроюсь! (I, 105)*

Не зря же в 1940 г. свою статью «Размышления о Маяковском» Андрей Платонов начинает фразой: «Он предвидел нас, пишущих в его память...».

Как в добрую, так и не в добрую...

## Анафема

*Когда,  
наконец,  
на веков верх став,  
последний выйдет день им,  
в чёрных душах убиц и анархистов  
зажгусь кровавым видением...*

«Анафема» впервые напечатана в августовском альманахе «Стрелец-2» (Пг. 1916. С. 117).

Идёт война. Брусиловский прорыв, но «Анафема» не немцам или австрийцам, а своим. Как ни крути, а сводятся стихи к вопросам: кого и за что проклял Маяковский во время войны?

Альманах попал под ураган критиканства, и дело дошло до суда и до дуэли. В фельетонах в газете «Утро России» (1916, 26 авг.) и «Журнале журналов» (1916, № 35) особенно досталось Маяковскому и его «Анафеме».

Левого большевика М. Горького раздражало, что «Анафему» связывали с РСДРП. По указке Ленина буревестник уже обругал спектакль «Николай Ставрогин. Бесы» во МХТе, в героях которого узнавали ленинцев. Под видом помощи — издать книгу во время войны — Горький провёл спецоперацию под прикрытием. Он отвёл проклятие Маяковского от Ленина с его статьёй предателя «О поражении своего правительства в империалистической войне» (1915, 26 июля) и планами Ленина в Циммервальде и харчевнях Швейцарии.

На правах редактора Горький нейтрализовал «Анафему». В сборнике «ВЛ. МАЯКОВСКИЙ. ПРОСТОЕ КАК МЫЧАНИЕ» (Пг., 1916, окт.), его стараниями "Анафема" превратилась в безликое "Ко всей книге" (?!).

На книге поэт надписал: «Дорогому Алексею Максимовичу, Маяковский», но, обнаружив обезглавленную «Анафему», набросился на редактора.

Видимо, дошло и до драки, судя по намёку: Алексей Максимович, как помню, между нами что-то вышло вроде драки или ссоры. (VII, 206)

О драке все молчат, а ссору не упоминают.

Памятью за такое оскорбление остались две настолько злые карикатуры на Горького в наморднике (записная книжка № 1 в музее поэта), что в СССР их никогда не печатали.

Свою версию вражды Горького и Маяковского, всех устраивающую, придумала после смерти поэта Лили Брик — одна из главных героинь засекреченной навсегда «Анафемы».

«Анафема» — вопросы и до сих пор. Как после Октябрьского переворота поэт стал относиться к тем, кого проклял? Попытаемся ответить.

Создавая икону певца революции, могли признать «Анафему», скажем, проклятием царизму.

Не решились, тщательно скрывали название проклятия, дав стихам новую кличку — «Ко всему».

Заменить название — это флаг над кораблём поменять. Поэт верил, как корабль назовёшь, так он и поплывёт: «У меня заглавие всегда входит конструктивной частью произносимого сти-хотворения». Читал он его всегда как «Анафема».

В правление Ленина поэт ненадолго вернул название стихам «Анафема» в многострадальном 1-м томе 4-х томника «13 лет работы» (1922).

Цензура не зря засекретила название стихов.

Вот назовите «Пророк» А.С. Пушкина как «Случай в пустыне», и смысла никто не поймёт, даже если стихи прочитает с эстрады сам Достоевский.

Фёдор Михайлович читал «Пророка» — изложение Книги Исаия (Гл. VI, ст. 2-11), которого Господь сподобил глаголом жечь сердца людей.

Ю. Карабчиевский запутался в стихах «Ко всему», без вопросов идя по следу Агитпропа, не подозревая о зашифрованном в «Анафеме».

В книге «Тринадцатый апостол» К. Кантор подошёл к пониманию связи Маяковского и Христа вплотную. Интуиция изменила маститому учёному, когда он, не зная об «Анафеме» — главном апостольском послании поэта Голгофы, написал Маяковскому нелепую самозабвенную любовь к мишениям его сатиры — Ленину и Марксу.

Духовное родство поэта с Иисусом Христом библейского масштаба, судя по «Анафеме»:

*Вознёс над суетой столичной одури  
строгое —  
древних икон —  
чело.*

Внешне «Анафема» об отвергнутой любви, но внутренний сюжет — проклятие врагам России, коммунистам-анархистам и партии Ленина.

В 1905-м году подростка-гимназиста привлекли голубые знамёна РСДРП социал-демократов.

У социал-революционеров (эсеров) знамёна красные: Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошёл. Хорошо. Воспринимаю живописно: в чёрном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералы. (I, 13)

Вступление в партии, как и в воровские шайки, добровольное, но приказ начальника (пахана, большевика, анархиста, эсера) — закон военного времени, даже если прикажет покончить жизнь самоубийством в тюрьме. Каждая партия сулит в подполье свой социализм-коммунизм.

Многих привлекла утопия с триадой выпить, закусить, совокупиться на хляву. Россию захлестнуло враждебное море бунтовщиков, зовущих к их воображаемому будущему.

Михаил Кузмин пишет оду-сатиру «Проклятье героям, изобретшим для мяса и самок первый под солнцем бой!» Но из-за этого «кровь настоящая льётся в пустое геройство!»

Потому всё — «Проклято, проклято!»

Понимающему, что происходит со страной, Владимиру Маяковскому, одnodумцу, посвящена эта ода Кузмина «Враждебное море» (1916, апр.).

\*\*\*

Проклятие врагам России Маяковский вынес в заголовок. По маскам «Анафемы» видно, что бешеной собакой поэт у коммунистов-анархистов. У эсеров, ви-

димо, бык на бойне. В ячейке РПСДР(б) — лось, запутавшийся в высоковольтных электропроводах.

Цитаты Маркса социал-демократ Ленин превращал в догматы своей религии: *Армии подвижников обречённым добровольцам от человека пощады нет.*

«Анафема» и любимой, чьё имя поэт обязался проставлять на произведениях хотя бы раз в год, поскольку её муж постоянно оплачивал издание его книг.

В одной из комедий антикоммуниста Аристофана (V век до Р. Хр.) юноша мог обладать подружкой при коммунизме, удовлетворив сначала старушку в очереди. Очерёдность, бранясь, устанавливали матроны. В духе Аристофана или скифов-муссагетов, у которых женщины были всеобщим достоянием, поэт, куражась, требует сексуальный аванс у бывших однопартийцев: *дайте любую красивую, юную, — души не растрату, изнасилую и в сердце насмешку плюну ей!*

Насильник не просил бы: дайте любую. Это — обращение к сулящим языческое будущее. Но, выходит, не любую, как при коммунизме.

«Московский Листок», пытаясь разобраться в стихах, писал «заслуживает ли поэт, мечтающий о насилиях и плевках в душу, с дозволения предварительной цензуры, называя бакалейного хама или же нет» (1917, 2 февр.).

Ни подвиг Иисуса Христа, ни Дон Кихота не по плечу людям злой воли и недобрых помыслов, вербовавших его в свои раздираемые интригами партии. Он сам остановил глупой комедии ход, сорвал латы Дон Кихота и, отдав выданный накануне партбилет, вышел из РСДРП(б). Это часто оборачивалось мстью убийц подполья:

*Севы мести в тысяч крат жни!  
В каждое ухо вой:  
вся земля —  
каторжник  
с наполовину выбритой  
солнцем головой!*

Севы мести, похоже, вызрели. Возращённые в эмиграции социал-демократы Ленина и коммунисты-анархисты в войне на стороне врагов.

Ленин поучал: «Лучшее в анархизме может быть и должно быть привлечено». Основа их программы — убийства. Лучшее у анархистов дерзкий девиз: **ВЛАСТЬ РОЖДАЕТ ПАЗАРИТОВ.**

Прикрываясь маской социал-демократов до Красной Смуги, Ленин и его сообщники, чтобы не мараться, убийства своих политических противников заказывали коммунистам-анархистам, пишет начальник контрразведки Петроградского округа полковник Б. Никитин в книге «Роковые годы» (М. 2007. С. 197-205).

Маяковский закодировал, проведя сквозь цензуру, рассказ об убийстве Петра Аркадьевича Столыпина по заказу Ленина коммунистом-анархистом. Это нетрудно прочитывается в стихах о 3-х сменах мифологического сознания на примере событий истории в Украине «Киев» (1927).

Поэтому прицельный удар, адресная тяжесть проклятия «Анафемь» ложится на связку этих двух партий — растлителей юношеских душ:

*в чёрных душах убийц и анархотов  
зажгусь кровавым видением.*

На мсть анархистов и ленинцев — ответная мсть поэта: *Святая мсть моя!* Превращение страха в смех над безумием утопии.

В храмах дедов и отцов, провидит поэт, намалюют поверх икон преданных анафеме разбойников: на царские врата на Божьем лице Разина.

Двух лет не прошло, а захватчики в храмах и монастырях составляли иконостасы из своих богов — Ленина, Троцкого. Ставили бюсты Маркса.

На Красной площади Ленин, выступавший с Лобного места, открыл памятник «Стенька Разин с ватагой и персидской княжной» (1919, 1 мая).

Бунин такого же мнения о большевиках: «О, анафема! Чтоб вам ни дна, ни покрышки...»

Остановить наваждение могли бы 1000-кратные анафемы, чтобь тысячами рождались мои ученики трубить с площадей анафему!

Будущих убийц ещё тогда поэт пророчески предостерёг: *Убьёте, похороните, — выроюсь!*

Через 2 года, предавая коммунистов анафеме, Патриарх Всея Руси Св. Тихон проклятие поэтов повторил на своём уровне (1918, 19 янв.).

Самое невероятное в и без того невероятной истории начала XX века. Кого поэт мог проклинать в 1922-м году? Видимо, было кого, если в 1-м томе «13 лет работы» на время вернул название «Анафеме».

Боролся за «Анафему». Помог случай и то, что печатался в созданном при НЭПе издательстве ВХУТЕМАС. Цензор (Главлит № 3039) перед этим запретил издание сказки «Конёк-горбунок» из-за того, что в ней народ встречает царя криками «Ура!» Взъялся цензор и на стихи «Анафема».

Цензору объясняли: проклятие анархистам.

Похоже. После взятия Перекопа Чёрная Гвардия Ленину не нужна. Махно (Орден Красного Знамени № 4) объявлен вне закона, 10357 коммунистов-анархистов расстреляны как бандиты.

Из 4-томника вышел только 2-й том (1922, окт.). Для страховки № 3039 бежал к политконтролёрам в ГПУ. Они выше его Главлита. 1-й том выйдет в феврале 1923-го года, но кроме как у Лили Брик следов его нигде не обнаружено.

1-й том отобрали даже у художника издания. Так что в музее выставлен его 2-й том с автографом поэта. Молчала и печать о 1-м томе.

В журнале «Книга и Революция» (1922, № 11/ 12) заметка «В. Маяковский. 13 лет работы. 2 том». Удивление: «поражает большое количество пустых страниц». Нас не поражает. После расстрельной статьи «Довольно «маяковщины» в «Правде» (1921, 8 сент.) поэт на особом контроле у цензуры. Искромсанная рукопись «389 страниц Маяковского» выпалзла из мясорубки цензуры книгой «255 страниц Маяковского» (1923).

Лжефилософ Ленин тайно составлял списки на высылку из страны философов, писателей. Лубянка открыто предложила и неуправляемому Маяковскому убираться из страны. «Русский журнал» («Гостиница для путешествующих в пре-красном»). 1922, № 1. С. 27-28:

*...Пожелаем ему, — вецал Сергей Спасский от имени ЧК, уже в маске ОГПУ, — или действительно и бесповоротно переступить через своё прошлое и найти в самом себе живительные струи подлинной творческой активности или... уехать за границу, поражать новизной, дерзновением и нетронутостью соскучившихся по сильным впечатлениям эмигрантов.*

После такого напутствия ЧК-ОГПУ 3-й и 4-й тома рассыпали. Они оказались уже «14 лет работы».



Этот автошарж Маяковский нарисовал после запрета сборника «13 лет работы», где напечатана «Анафема».

Обратите внимание: на плечах поэта первым в подборке книг запрещённый сборник «13 лет работы». Только потом «Всё написанное» (1919), в которое цензура не пропустила стихи с их родным кричащим названием «Анафема».

Из всего написанного главным и был тот запрещённый 1-й том «13 лет работы» с проклятием поэта враждебной народам России силе, с которой Маяковский боролся и от которой погиб.

Творчество Владимира Маяковского — живое цветущее дерево на выжженном пространстве пустыни исторического материализма с той разновидностью утопии, которую насаждали в России коммунисты.

Казённая биография поэта на 85 % из выдумок. Катаян-младший пишет, что его отец не успел написать об издании искажённых поэм Маяковского. Никто не исследовал эти искажения, сделанные с одной целью — представить поэта певцом режима. Больше всего искажена сатира «Владимир Ильич Ленин».

При жизни поэта она вышла в 2-х отдельных изданиях (1925 и 1927), 47 отрывков в газетах и журналах. Часто выступал с чтением поэмы. Незадолго до смерти — в Большом театре перед Сталиным.

Но... ни один критик ни строки не написал о сатире на Ленина. Через 6 лет после смерти поэта и канонизации его Сталиным — в лучшего и талантливейшего (1935, 5 дек.) СССР-ские критики теперь уже по долгу службы вынуждены были его поэмам придумывать нужный режиму смысл, никак не вытекающий из содержания самих поэм. Не всегда это получалось легко. Тогда попросту искажали написанное. А уже по искаженным изданиям широкими мазками рисовали образ певца Октября...

#### Примечания и комментарии к предисловию:

1. Катаян В. Абг.: Катаян Г. Д. Распечатанная бутылка. Н.Новгород, 1999. С. 109.
2. Ильин И.А.: Собрание сочинений в десяти томах. М., 1993. Т. II. С. 313.

3. Ульянова М.И.: Воспоминания о Ленине в двух томах. М., 1989-1991. Т. I. С. 260.
4. Салтыков-Щедрин М.Е.: Сборник «Нивы». Полное Собрание Сочинений. СПб. 1905. Т. III. Книга 10. С. 584.
5. Янгфельдт Бенгт: Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг. М., 2010. С. 123.
6. По замечанию консультанта 2-го издания настоящей книги Ефима Шехтера (США, экономист): Сравнение «при капитализме» и «при социализме» неправомерно. Первое — понятие экономическое, является определением способа и средств производства, и отношений производительных сил. Второе — понятие, определяющее государственно-общественную структуру и социально-общественные отношения. Подобное смешение — плод малообразованных большевиков-марксистов, знавших Маркса в искажённом пересказе Ленина и иже с ним. Выражение «капиталистическое государство» может (и должно!) означать одно — это государство, чья экономическая база и производительные силы основываются на капиталистическом способе производства. «Социалистическое государство» — это нечто другое. СССР никогда не был ни советским, ни социалистическим государством, о чём писал и, именно, что и высмеивал Владимир Маяковский, как маску тоталитаризма.
7. Николаев Вл.: Дм. Сталин, Гитлер и мы. М. 2005. С. 86.
8. Михаил Булгаков: Владимир Маяковский. Диалог сатириков. М., 1994. С. 55.



**Александр Кунин**  
**ОБМАНЧИВАЯ ТКАНЬ**  
**РЕАЛЬНОСТИ**  
**Владимир Набоков и наука**

Некоторые странности, увлечения и любопытные привычки не только дозволены, но и весьма полезны для известности великого человека. Набоковская «охота на бабочек» многие годы снисходительно относилась его читателями к такого рода милым чудачествам.

Сам он, однако, всегда настаивал на совершенной серьезности своих энтомологических занятий. Как оказалось, вполне основательно. Настоящий исследователь-практик, эксперт по микроскопической анатомии, классификации и происхождению бабочек-голубянок, он предложил смелую гипотезу их происхождения и миграции. Подтвержденная современными методами, эта гипотеза не только получила признание специалистов, но и некоторую известность у образованной публики [1]. Так что Набоков вполне может быть признан полномочным представителем двух давно разделившихся и далеко ушедших друг от друга областей человеческого творчества: художественной литературы и науки.

Более того, среди всемирно известных литераторов быть может лишь Гёте был знаком с наукой столь же интимно, знал ее так хорошо «изнутри», как Владимир Набоков [2]. «Удовольствие от литературного вдохновения и вознаграждение за него — ничто по сравнению с восторгом открытия нового органа под микроскопом или еще неизвестного вида в горах Ирана или Перу», — говорил Набоков [3]. Всё было бы просто — и индифферентно — если бы эти два источника наслаждения (литературное творчество и наука) никак не смешивались. Но они влияли друг на друга, порою — довольно причудливо. В важнейшей научной статье Набокова сухой морфологический материал представлен в измерениях, рисунках и схемах, но текст украшен всеми средствами литературного стиля. Автор предлагает натуралисту отправиться на машине времени Уэльса к временной точке, где некоторые азиатские бабочки перебралась через Берингов пролив (перешеек) в Америку [4].

Предполагают даже, что стиль статьи, столь отличный от принятого, помешал отнестись серьезно к его интереснейшей гипотезе [5].

Но наука, этот ценный источник наслаждения, вовсе не была в глазах Набокова единственным и успешным способом понимания реальности. Более того, он относился весьма скептически к ее возможностям и, казалось бы, очевидным успехам. «...Я не верю, что хоть какая-нибудь наука сегодня проникла хоть в какую-нибудь тайну... Мы никогда не узнаем ни о происхождении жизни, ни о смысле жизни, ни о природе пространства и времени, ни о природе природы, ни о природе мышления» [6].

«Сегодня» — это шестидесятые годы 20-го столетия, но длинный список «прорывов» и открытий, сделанных к этому времени, не мог изменить набоковское восприятие обманчивой и волшебной ткани реальности, в соответствии с которым даже блистательная физика того времени казалась ему «...унылой картиной при-

кладной науки, с образом умельца-электрика, подхалтуривающего на изготовлении бомб и всяких иных безделлиц» [7].

По Набокову, человеку немногое дается увидеть в коротком просвете между двумя вечностями: временем до рождения и темной пропастью после смерти. Но и то, что ему доступно, это лишь «мираж, принимаемый... за ландшафт» [8].

И мираж этот, с его «очаровательной иррациональностью» [9] не отражается, а создается заново «в другом восхитительном обмане — в искусстве» [10] (гл. 6, п. 2).

Работы Набокова — натуралиста признаны и оценены, пусть и с большим опозданием. Его, однако же, никогда не сдерживали границы научной специализации, и он смело заявлял свои мнения по общим вопросам биологии, психоанализу, опытам И.П. Павлова, теории относительности, применению математики. Он не писал научных статей и трактатов по этим, далеким от его основных занятий разделам, но в романах, предисловиях к ним, многочисленных интервью эти мнения выступают довольно ясно. Поскольку «нет искусства без фактов» (как и «нет науки без воображения»), Набоков требует максимальной точности всех писательских картин [11].

Если романист рисует своего героя выдающейся творческой личностью, он должен представить вещественные доказательства. Следуя этому принципу, Набоков дарит герою «Бледного пламени» полноценную поэму, так что читателю совершенно ясно: Джон Шейд действительно талантливый поэт. Ученые: Годунов-Чердынцев (отец) из "Дара", Ван Вин из "Ады" и проф. Круг из «Bend Sinister» получают достаточно места для своих научных рассуждений. Правда, сделать для них то же, что Набоков, сам талантливый поэт, сделал для Шейда, т.е. снабдить их подлинными и оригинальными открытиями, он, разумеется, не может и заняты они по преимуществу критикой принятых наукой теорий. И тут, надо признать, глаз Набокова зорок, наблюдения метки и не лишены реальных оснований.

Уместен, разумеется вопрос: насколько точно литературные персонажи следуют научным взглядам самого автора? Действительно ли «Второе добавление к «Дару» отражает биологические принципы Набокова? Ответ, не идеальный конечно, придется искать в сопоставлении источников — в многочисленных интервью, в «Других берегах» и «Память, говори».

**Эволюция: Homo sapiens vs Homo poeticus.** Поэту Набокову, так же как и другому поэту — Осипу Мандельштаму казалось невероятным, что Природа создала все свое великолепие одним лишь примитивным способом — борьбой за существование. "С детства я приучил себя видеть в Дарвине посредственный ум. Его теория казалась мне подозрительно краткой: естественный отбор. Я спрашивал: стоит ли утруждать природу ради столь краткого и невразумительного вывода", — писал Мандельштам [12]. Позже он изменил свою точку зрения, в некоторой степени под впечатлением литературных достоинств дарвиновской книги. У Набокова скептическое отношение к борьбе за существование следовало из более глубоких и разносторонних причин. Некоторые из них — чисто биологического свойства, другие — скорее эстетические и художественные.

Поразительный феномен *микрии* представлялся Набокову противоречащим основным утверждениям Дарвина. Из сложившей крылья бабочки каллимы природа «делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком, она, кроме того, на этом «осеннем» крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые продают именно в таких листьях жучьи личинки...» [13] (гл. 6, п. 2).

Столь совершенный обман, призванный спасти бабочку от опасных охотников, становится важным преимуществом в борьбе за существование. Но, возра-

жает Набоков, если эволюция по Дарвину состоит в отборе мелких и случайных изменений, полезных для выживания особи, то формирование подобной сложности было бы примером «математически невероятного совпадения (...) формы, окраски и поведения (т.е. костюма, грима и мимики) в одном существе» (там же). Растянутое во времени и постепенное накопление необходимых признаков привело бы к появлению *промежуточных* форм, обладающих лишь частичным сходством с объектом, личину которого «желает» надеть бабочка. Но этого Набокову наблюдать не приходилось.

Другое возражение не менее весомо: «борьба за существование» не способна объяснить феномен мимикрии «так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага — птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста» (там же).

Набоковские возражения придают живописную форму критике темных мест теории естественного отбора. Сама эта критика родилась немедленно после выхода в свет главной дарвиновской книги. И тогда же Дарвин подробно и обстоятельно ответил на нее, в том числе и на связанную с удивительным феноменом мимикрии <sup>[14]</sup>. В способностях птиц-охотников Дарвин не сомневался. Да и сами бабочки, по его мнению, достаточно развиты для психологического восприятия красоты, так что их волшебный рисунок может быть оценен противоположным полом при выборе партнера для спаривания. В противном случае существование столь сложных и изощренных свойств не имело бы никакого смысла <sup>[15]</sup>.

Но для Набокова смысл, разумеется, был, и не только биологический. Вся эта игра цвета, рисунка и формы — суть «молчаливый, тонкий, прелестно-лукавый заговор» устроенный природой «за спиной всей органической жизни...» ради того единственного наблюдателя, кто наделен «художественным чутьем, воображением и юмором». И цель заговора — наслаждение, точнее «...веселое впечатление очаровательной иррациональности ... — вот чего хотела добиться, вот чего добилась природа, наша осмысленная сообщница и остроумная мать» <sup>[16]</sup>.

Существуют, однако, фактические доказательства интеллектуальных возможностей участников *мимикрии*. К примеру, если гусениц, способных имитировать веточки становится слишком много, птицы начинают пробовать эти «веточки» на вкус и в дальнейшем действуют в соответствии с результатом такого опыта <sup>[17]</sup>.

Среди птиц, охотящихся на бабочек, Great Tits (синицы), способны решать нестандартные задачи, и не только долгим путем проб и ошибок, но и посредством догадки, «инсайда» <sup>[18]</sup>.

Именно в те годы, когда Набоков постигал зоологию и литературу в Кембриджском университете, эти птицы открыли для себя новый источник пищи: бутылки молока, доставляемые ранним утром к дверям английских домов, они открывали, пробивая клювом крышку из фольги <sup>[19]</sup>.

Полагают, что негативное отношение Набокова к теории естественного отбора оправдано, хотя бы частично, существенными прорехами в её обосновании, и оно изменилось бы под действием громадного объема современных доказательств <sup>[20]</sup>.

Скажем, он мог бы принять к сведению, что многообразие признаков нередко обеспечено небольшим числом генов, что повышает статистическую вероятность их сочетания. Пример этому можно найти и в знакомой Набокову области. У бабочек *Papilio dardanus* отряда *Lepidoptera* самки способны принимать несколько

видов окраски, каждая из которых имитирует окраску несъедобных бабочек из другого биологического рода, но вся эта многообразная мимикрия обеспечивается одними и теми же генами, которые включаются и выключаются модифицирующим и генами [21].

Требование показать промежуточные формы — этапы становления существующего вида, рода, семейства всегда оставалось в критическом наборе противников дарвинизма. Такие формы, разумеется, обнаруживаются, но именно здесь не всё благополучно. Craig Holdrege исследовал происхождение жирафа, школьной иллюстрации естественного отбора. В ископаемых остатках не удалось заметить постепенной трансформации предков этого животного (удлинение шеи, ног и т.д.).

Все, что обнаружено, содержит жирафа в «готовом» виде. Понятно, что будущее может пополнить находки, однако «пропуск» промежуточных форм замечен и во многих других случаях [22].

Но не только детали такого рода определяли отношение Набокова к дарвинизму. Универсальность *борьбы за существование* представлялась ему грубым упрощением, особенно если последнюю пытались распространить и на самого человека. Хотя «факт появления видов неоспорим..., в природе развивались не виды, а самое понятие вида» [23].

Некая «плавная сила», которая «празднично оживляет вселенную», и которую Набоков называет *«вращением»*, создала и «мыслящий аппарат человека» и те природные связи, те возможности сравнения и группирования, которые он открывает, называя их видами, родами, семействами (там же).

Сохранить за живой природой творческую силу, которая способна вести её по сложному и запутанному пути эволюции, представлялось совершенно необходимым некоторым биологам и философам, знакомым с дарвинизмом. При этом естественный отбор признавался реальной, но второстепенной силой, примитивной и механической. Так думал знаменитый французский философ Анри Бергсон, предложивший сравнение: естественный отбор приспосабливает развивающиеся организмы к условиям среды подобно тому как прокладываемая дорога приспособляется к природным обстоятельствам, следуя подъемам и спускам местности, выполняя повороты. Но точно так же как эти подъемы и спуски не определяют направление дороги, естественный отбор не определяет пути эволюции [24].

Владимир Набоков неизменно отклонял любые попытки проследить истоки его мнений, обнаружить влияние, которое на него могли бы оказать другие — литераторы, философы или психологи. И всё же родство эволюционных представлений Набокова с таковыми Анри Бергсона кажется вполне определенным. Не серия приспособлений к внешним обстоятельствам, как следует из «механического» дарвинизма, и не движение к заранее намеченным целям, которое видит телеология, но *творческий порыв, elan vital*, является, по Бергсону, причиной эволюции. Именно он побуждает первичные формы к превращению в сложные и многообразные организмы. Не будь его, жизнь застыла бы в примитивных, но вполне приспособленных для существования стадиях. Материальная природа *elan vital* ясна не более, чем природа *«вращения»* Набокова. Бергсон, однако, считал ее одной из основных природных сил, подобных гравитации или магнетизму, первичных и ни к чему не сводимых.

Жизненное творчество, *elan vital*, создает не только все более сложные, все более изощренные формы жизни, но и понятия, в которых эти формы могут быть

описаны. Набоков делает следующий шаг, утверждая, что развились в сущности, не виды, а понятие биологического вида.

Для Анри Бергсона человек, рожденный потоком *elan vital* был поначалу всего лишь *Homo faber* — обладатель практического интеллекта, изготовитель орудий. Но здесь Набоков не пошел за Бергсоном. «Есть также острое удовольствие (и чем еще, в конце-то концов, могут наградить научные изыскания?) в объяснении начального цветения человеческого рассудка сладостной паузой в эволюции всей остальной природы, животворной минутой лени и неги, позволившей, прежде всего, сформироваться *Homo poeticus*, — без которого не родился бы *sapiens*. «Борьба за существование» — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану, к хрюкающей твари, одержимой поисками еды» [25].

Эволюционные взгляды Набокова, хоть и кажутся порой затейливыми биологическими фантазиями, вполне могут быть сопоставлены с существовавшими в то время и актуальными до сих пор подходами. В 80-х годах, уже после смерти Набокова, получила некоторое распространение концепция *Intelligent design* (ID). Ее сторонники полагают, что развитие определенного рода биологических систем может быть понято скорее как результат сознательного плана, чем естественного отбора. При этом утверждается, что доктрина целиком основана на научных доказательствах. Такие системы состоят из многих простых, но необходимых элементов, и отсутствие любого из них делает всю систему бесплезной.

К примеру, многоступенчатая система свертывания крови, глаз млекопитающих и слуховой аппарат должны были возникнуть как единое целое, поскольку тысячелетнее их собирание из отдельных элементов не дает никакого эволюционного преимущества и до самого последнего этапа «сборки» орган не способен функционировать [26].

Набоков мог бы пополнить эти доказательства феноменом мимикрии. Чарльз Дарвин признавал, что если бы отыскался сложный орган, возникший в ходе эволюции одномоментно и в «готовом» виде, это было бы серьезнейшим доводом против его теории. Но защитникам ID — Разумного замысла приходится нелегко, поскольку конкретные исследования постоянно угрожают их доказательствам. Обнаружены, к примеру, этапы развития зрительного аппарата от светочувствительных пятен примитивных животных до совершенного глаза птиц и человека. И на каждом из этих этапов восприятие света было несомненным эволюционным преимуществом.

Сторонники ID, так же как и Набоков, не связывают себя ни со Священным писанием, ни с понятием бога [27]. И всё же, испытывая «полнейшее равнодушие к организованному мистицизму, к религии, к церкви — любой церкви» [28] Набоков желает не строгого и холодного дизайна, но материнской заботы, которая не только питает, но и балует, развлекает и лобуетя своим созданием.

Астроном Guillermo Gonzalez и философ Jay W. Richards полагают, что в соответствии с ID, этим Разумным замыслом, для нашей планеты выбраны такие константы, такие параметры, которые делают её пригодной не только для жизни, но и для науки. Предположение прямо-таки набоковское: предусмотрительная забота не только о материальных условиях жизни, но и об увлекательном занятии для будущего человека. И, как удивительное продолжение переключки, биохимик Michael J. Behe полагает, что у Замысла могли быть артистические причины для создания некоторых загадочных конструкций [29]. (Читали ли они Набокова?)

Дарвинизм затрагивал слишком многое, чтобы удержаться в рамках чисто научной теории, интересной лишь для профессионалов-биологов. Но когда к обсуждению подключились философы, теологи, журналисты и педагоги он приобрел черты, которых не было в изложении самого автора. Чарльз Дарвин употреблял злополучный термин борьба за существование «в широком и метафорическом смысле»<sup>[30]</sup>.

Он видел не одно лишь пожирание живыми существами друг друга, но и сотрудничество, но и перерывы в этой борьбе. Так что Набоков сражался в этом случае не столько с самим Чарльзом Дарвиным, сколько с некоторыми отклонениями от его мнений. Борьба за существование — это не только драматическая охота хищника на жертву или не менее драматическая битва самцов за обладание самками. Быть может самая важная часть этой борьбы скрыта от глаз и разворачивается на биохимическом и иммунологическом поле. Современный пример: в южной Африке каждый год 25 львов умирают от туберкулеза. Хроническая болезнь ослабляет животных, и это влияет на все их социальное поведение: частая сменяемость территориально доминирующих самцов, следующее из нее убийство львят, общее снижение продолжительности жизни<sup>[31]</sup>.

Странники Intelligent design ничего не говорят о самом дизайнере, быть может потому, что библейский Бог дискредитирован в этом качестве не только мифами Священного писания, но и несовершенством творения. Однако, и естественному отбору предъявлен подобный же счет, на который долго не было вразумительного ответа. Кажется бы, после тысячелетней (миллионлетней) работы отбор накопил лишь благоприятные для организмов признаки, а признаки вредные устранил и оставил в прошлом. Но некоторые факты особенно трудно примирить с универсальной полезностью: даже абсолютно вредные варианты, тяжелые наследственные болезни, не исчезают.

Человек — вид эволюционно успешный и процветающий. Нет, однако, ни одного органа, ни одной ткани в человеческом организме, которые не поражались бы десятками или даже сотнями болезней. К примеру, для человеческого глаза установлено более 200 патологических состояний. Достаточно открыть Международную классификацию болезней (ICD — *The International Classification of Diseases*), чтобы удостовериться, что эволюция далека от совершенства. (Еще труднее понять все эти дефекты конструкции, если принимать, что она создавалась по заранее продуманному плану).

Сегодня стало понятным многое, что казалось Набокову свидетельством дефектности дарвинизма. Из современных данных следует, что некоторые свойства живых существ сохранились не потому, что они полезны для выживания, но как элементы сложной системы, в которой невозможно довести до совершенства все составляющие<sup>[32]</sup>. Более того, сохранились и безусловно вредные признаки, такие как тяжелые наследственные болезни. Новые мутации или хромосомные aberrации поддерживают определенную, пусть и весьма низкую их частоту в популяциях. Такова плата за эволюцию, поскольку именно мутации являются основой разнообразия, необходимого для естественного отбора.

Впрочем, грустные стороны эволюции не могли омрачить набоковское восприятие природы: всеми своими красками, формами, увлекательными загадками она награждает того, кто наделен «художественным чутьем, воображением и юмором»<sup>[33]</sup>. Для приверженцев ID само происхождение этих замечательных человеческих качеств, нужных для интимной связи с природой, очевидно. Обо всем позабо-

тился Разумный дизайн. Но для естественной эволюции требуются специальные разъяснения. По Geoffrey Miller теория выживания может объяснить естественную историю вплоть до рождения человеческой изобретательности, коммерции и знаний, но не способна объяснить стремление к красоте и наслаждение человеческой культурой: искусство, музыку, драму, комедию. Да и человеческий язык более разработан и изощрен, чем это необходимо для основных функций выживания [34].

Самый простой выход из возникшего затруднения — предположить, что все эти «излишние» человеческие качества — суть побочные эффекты иных качеств, необходимых для выживания. Но возможен другой, и не голословный ответ: художественные и музыкальные способности развились в ходе эволюции подобно другим качествам, полезным для выживания. Половой отбор, один из двигателей эволюции, предполагает и такую возможность.

Эксквизитный пример — птица-шалашник, самцы которой строят «дома», затейливо украшая их цветами, ветками, раковинами и предметами, позаимствованными у людей. Единственное назначение сооружения с его трудоемкой декорацией — произвести впечатление на самку. «Дома» не используются для выращивания птенцов, и самки строят гнезда самостоятельно. Но они, эти самки, придирчиво оценивают архитектурные и дизайнерские способности строителя, соглашаясь спариваться лишь с самыми способными. Художественные достижения самцов зависят от возраста (опыта). Возможно «культуральное» наследование стиля в определенной популяции птиц [35].

Успехи эволюционной биологии, при всей их убедительности, вряд ли могли бы серьезно повлиять на Набокова. Конечно, его протест против дарвинизма в определенной степени опирался на биологические доводы. Но куда важнее было особое понимание мира, в соответствии с которым Набоков «...нашел в природе те “беспольные” упоения, которых искал в искусстве. И та и другое суть формы магии, и та и другое — игры, полные замысловатого волхования и лукавства. [36] (гл. 6, п 2). И в этом мире, убрав с авансцены борьбу за существование, можно было воспринимать мимикрию как “рифмы природы”» [37].

Если все же попытаться (чего Набоков, конечно же, не одобрил бы) поместить его биологические взгляды в одну из известных ячеек, то это будет, вероятно, Intelligent design — Разумный замысел. Но и в этой ячейке он составит особый подвид — *Поэтический дизайн*, основателем и единственным представителем которого он был и остается.

### Примечания:

---

[1] Nabokov Theory on Butterfly Evolution Is Vindicated. [http://www.nytimes.com/2011/02/01/science/01butterfly.html?pagewanted=all&\\_r=3&](http://www.nytimes.com/2011/02/01/science/01butterfly.html?pagewanted=all&_r=3&)

[2] В.И. Вернадский. мысли и замечания о Гёте, как натуралисте. <http://vemadsky.name/my-sli-i-zamechaniya-o-gyote-kak-o-naturaliste/>

[3] Интервью Герберту Голду и Джорджу Плимптону. Перевод Дениса Федосова Февраль 1968. В кн. Сеанс с разоблачением, или портрет художника в старости. Пред. Н. Мельникова <http://coolib.com/b/92085/read#r24>

[4] V. Nabokov. Notes on neotropical Plebejine2E (Lycanidae, Lepidoptera). PSYCHE, 1945, Mar.-June. <http://downloads.hindawi.com/journals/psyche/1945/065236.pdf>

- [5] Jessica Palmer. Nabokov was right — so was Stephen Jay Gould wrong? <http://scienceblogs.com/bioephemera/2011/01/29/nabokov-was-right-so-was-gou>.
- [6] Интервью Олеину Тоффлеру. Март 1963. Перевод Дениса Федотова. В кн. Сеанс с разоблачением, или портрет художника в старости. Пред. Н. Мельникова: <http://coollib.com/b/92085/read#r24>
- [7] Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966. Перевод Михаила Мейлаха и Марка Дадына. В кн. Сеанс с разоблачением, или портрет художника в старости. Пред. Н. Мельникова: <http://coollib.com/b/92085/read#r24>
- [8] Владимир Набоков. "Другие берега." Гл.1, пар.1: <http://www.big-library.info/?act=read&book=2990>
- [9] В. Набоков. Второе добавление к "Дару" Публикация и комментарии А. Долинина. Перевод Г.В. Лапиной. <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/1/nabokov.html>
- [10] Владимир Набоков. "Другие берега." Гл.1, пар.1. <http://www.big-library.info/?act=read&book=2990>
- [11] Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966. Перевод Михаила Мейлаха и Марка Дадына. В кн. Сеанс с разоблачением, или портрет художника в старости. Пред. Н. Мельникова. <http://coollib.com/b/92085/read#r24>
- [12] О.Э. Мандельштам. литературный стиль Дарвина. Собрание сочинений в четырех томах. Том 3. М. Арт-Бизнес-Центр, 1994. Стр. 390-399.
- [13] Владимир Набоков. "Другие берега." Гл.1, пар.1. <http://www.big-library.info/?act=read&book=2990>
- [14] Ч. Дарвин. Сочинения. Т.3. Москва, Из-во Академии Наук, 1939. Гл.7.
- [15] Ч. Дарвин. Происхождение человека и половой подбор. <http://www.bspu.unibel.by/pages/obschixi/source/0940.html>.
- [16] В. Набоков. Второе добавление к "Дару" Публикация и комментарии А. Долинина. Перевод Г.В. Лапиной. <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/1/nabokov.html>
- [17] mimicry. (2010). Encyclopædia Britannica. *Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition*. Chicago: Encyclopædia Britannica.
- [18] Del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew; Christie, David. Handbook of the Birds of the World. Volume 12: Picathartes to Tits and Chickadees. Barcelona: Lynx Edicions. pp. 662–709.
- [19] Hawkins, T. (1950). "Opening of Milk Bottles By Birds". *Nature* **165** (4194): 435–436.
- [20] Nitin Ahuja. Nabokov's Case Against Natural Selection. <http://www.hcs.harvard.edu/tract/nabokov.html>
- [21] mimicry. (2010). Encyclopædia Britannica. *Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition*. Chicago: Encyclopædia Britannica.
- [22] Craig Holdrege. The Giraffe's Long Neck. From Evolutionary Fable to Whole Organism. The Nature Institute. Perspectives 4, 2005 <http://www.natureinstitute.org/pub/persp/4/giraffe.pdf>
- [23] В. Набоков. Второе добавление к "Дару" Публикация и комментарии А. Долинина. Перевод Г.В. Лапиной. <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/1/nabokov.html>
- [24] А. Бергсон. Творческая эволюция. <http://www.e-reading.mobi/book.php?book=5592>
- [25] Набоков, Владимир. "Память, говори (пер. С. Ильин)." iBooks. Гл. 15 п. 1.) [http://royal-lib.ru/read/nabokov\\_vladimir/pamyat\\_govori\\_per\\_s\\_ilin.html#0](http://royal-lib.ru/read/nabokov_vladimir/pamyat_govori_per_s_ilin.html#0)
- [26] evolution. (2010). Encyclopædia Britannica. *Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition*. Chicago: Encyclopædia Britannica
- [27] New World Encyclopedia [http://www.newworldencyclopedia.org/entry/intelligent\\_design](http://www.newworldencyclopedia.org/entry/intelligent_design)

- [28] Интервью Олениу Гоффлеру. Март 1963. Перевод Дениса Федотова. В кн. Сеанс с разоблачением, или портрет художника в старости. Пред. Н. Мельникова <http://coollib.com/b/92085/read#r24>
- [29] Michael J. Behe. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. Publisher Free Press, 1996.
- [30] Чарльз Дарвин О происхождении видов путем естественного отбора или сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. Гл.3 <http://www.fb2book.com/?kniga=5617&cht=1>
- [31] Nicholas Bakalar. Lions in South Africa Pressured by TB Outbreak. National Geographic News. September 30, 2005.
- [32] Александр Марков. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы. <http://lib.rus.ec/b/363124/read>).
- [33] В. Набоков. Второе добавление к "Дару" Публикация и комментарии А. Долинина. Перевод Г.В. Лапиной. <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/1/nabokov.html>
- [34] Geoffrey Miller/ The Mating Mind. How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature: <http://www.nytimes.com/books/first/m/miller-mating.html>
- [35] Geoffrey Miller/ The Mating Mind. How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature: <http://www.nytimes.com/books/first/m/miller-mating.html>
- [36] Набоков, Владимир. "Память, говори (пер. С. Ильин)." iBooks. Гл. 15 п. 1.) [http://royallib.ru/read/nabokov\\_vladimir/pamyat\\_govori\\_per\\_s\\_ilin.html#0](http://royallib.ru/read/nabokov_vladimir/pamyat_govori_per_s_ilin.html#0)
- [37] В. Набоков. Второе добавление к "Дару" Публикация и комментарии А. Долинина. Перевод Г.В. Лапиной. <http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/1/nabokov.html>



Анатолий Николин

# ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ СИРИНА

## Владимир Набоков и Крым

### 1.

#### Горечь и вдохновение изгнания

*Назло неистовым тревогам  
Ты, дикий и душистый край,  
Как роза, данная мне Богом,  
Во храме памяти сверкай.*

В. Набоков, поэма «Крым». 1921 г.

Нетрудно вообразить, что в конце путешествия он видел то же, что много раз наблюдал и я — огромный железнодорожный вокзал, многолюдную площадь, запруженную автомобилями и троллейбусами, а в его время — колясками, арбами, и еще каким-нибудь допотопным видом транспорта.

А потом — долгую и тряскую дорогу — не знаю, не встречал у его биографов, каким способом они добирались до Гаспры — сначала по грязному, осеннему Симферополу, а потом по горному шоссе. И та же поражала, что и сейчас, глубокая противоположность пейзажа: слева — бескрайнее синее (или, поскольку дело происходило в ноябре, — чернильно-темное) море и поражавшие угрюмой неприступностью горы справа.

Горы его пугали. Как пугают они всякого человека, прибывшего в Крым впервые...

Такое же мрачно-восторженное и глубоко отчужденное отношение к виду гор и далекой чаше моря было и у меня в первую поездку в Крым, по дороге в Ялту. Все время думаешь: вот, его давно уже нет, как нет и той жизни, а пейзажи и названия всех этих гор, перевалов, городов, городков и сел остались. И море осталось, и горы. Жизнь меняется, но как будто не совсем. Что-то в ней остается стабильное, постоянное, неизменяемое, — вечное...

Что?

Вот один из вопросов, занимающих не праздный, но глубокий ум. Соотношение жизни внешней, подверженной изменениям, и сущностной, неизменяемой, станет одной из тем его творчества, — ее рождение пришлось на памятную поездку в Крым. В относительно краткий период вынужденного крымского «сидения» неподалеку от Ялты...

Семья Владимира Дмитриевича Набокова, отца будущего писателя, а пока что начинающего поэта, прибыла в Крым из Петербурга в ноябре 1917 года. Только что произошел Октябрьский переворот, Временное правительство пало, и Петербург, вся страна с нетерпением ожидали обещанных новой властью выборов в Учредительное собрание.

Видный деятель партии кадетов В.Д. Набоков решил не покидать столицу и ждать начала выборов, в которых его партия намерена была принять активное

участие. Но сыновей Владимира и Сергея он все же отправил подальше, в Крым. У молодых людей близился призывной возраст, и велика была вероятность, что их призвут на воинскую службу в новую, создаваемую большевиками армию.

Отправлялись они с Николаевского, ныне Московского, вокзала поездом Петербург-Симферополь. В станционном буфете, пока ждали подачи поезда и чтобы не терять время, Владимир Дмитриевич лихорадочно набрасывал за столом текст очередного воззвания к избирателям. А когда пришла пора прощаться, спокойно заметил, что, возможно, они видятся в последний раз. Он как будто предвидел не только печальный исход затеи с выборами, но и вообще — старой России...

До Симферополя братья добирались трое суток.

Ехали они относительно спокойно. Вдвоем занимали отдельное купе, и на остановах, когда в вагон набивались безавшие с фронта грязные и озлобленные солдаты, брат Сергей талантливо изображал больного тифом, и их оставляли в покое...

Отправить семью в Крым посоветовала Владимиру Дмитриевичу его давняя знакомая, графиня Софья Владимировна Панина. Она предложила для временного проживания, пока обстановка в столице не нормализуется, фамильное поместье в Гаспре, в восьми километрах от Ялты<sup>[1]</sup>.

Утром 18 ноября 1917 года юные пассажиры сошли с поезда на вокзале в Симферополе, и в тот же день прибыли в Гаспру.

Через несколько дней к старшим детям присоединилась мать, Елена Ивановна, и младшие отпрыски — Ольга, Кирилл и Елена. А 3 декабря в Гаспру прибыл и сам глава семейства В.Д. Набоков. Он так и не дождался обещанных большевиками выборов — их за ненадобностью новая власть отменила, запретив по-прежнему любую оппозиционную деятельность.

«В своей Гаспре, — вспоминал В.В. Набоков, — графиня Панина предоставила нам отдельный домик через сад, а в большом жили ее мать и отчим, Иван Ильич Петрункевич, старый друг и сподвижник моего отца»<sup>[2]</sup>.

Посещение Гаспры — идея-фикс, зародившаяся задолго до того, как я узнал и полюбил книги Набокова — так и осталась для меня одним из неосуществленных проектов. Что-то все время в Гаспру меня влекло, какая-то невнятная причина. И чем сильнее она себя проявляла, тем непреодолимее оказывались трудности. Так и сяк рисовал я себе виды Гаспры, и созданного воображением оказывалось достаточно для полноты ощущений. Придуманный мир был так прекрасен, что ему не требовалось подтверждений.

Безобидная подмена реальной жизни вымыслом, скажем прямо, — искажением, не только бытовой факт, но и фактор искусства.

С подобными темами мне еще предстояло соприкоснуться по мере постижения его текстов. А пока что я довольствовался мнимым образом Гаспры, — как и он в зрелости, когда по памяти описывал восхитительный крымский уголок, давший приют ему и его семье.

«Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушмулой жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводья пунцовым, словно покрашенным клювом. С миндальных деревьев облетели лепестки и лежали, бледные, на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в прянике. Невдалеке от огромных ливанских кедров росла одна единственная березка с тем особым наклоном листвы (словно расчесывала волосы, спустила пряди с одной стороны, да так и застыла), какой бывает только у берез. Прошляпа бабочка-парусник, выткнув и сложив свои ласточковые хвосты»<sup>[3]</sup>.

В этом описании трудно найти следы подлинной Гаспры с большим и малым домами, особенностями архитектуры и планировки. Как в строчках Пастернака: «разбухшей каменной баранкой в воде Венеция плыла» можно увидеть все, кроме Венеции, так и у Набокова с Гаспррой. Отрывок лишен особых примет и мог бы относиться к любому богатому поместью в Крыму. Отдалиться от подлинности, придать ей универсальный вид — одна из главных особенностей художественного почерка Набокова. При том, что подлинность как будто налицо, она выпукла и красочна: здесь и ночной дождь, и злой лебедь, и самые разные южные деревья, и их лепестки, и неведомая бабочка; все изображено на пределе возможного.

Странное дело: у Набокова чем эффектнее и образнее «портрет», тем он удаленнее от предмета описания. С этим феноменом мне пришлось столкнуться во время первого прочтения его автобиографической книги «Другие берега».

«И вот вижу себя стоящим на кремнистой тропинке над белым как мел руслом ручья, отдельные струйки которого прозрачными дрожащими полосками оплетали яйцеподобные камни, через которые они текли...» [4].

Или:

«Я смотрел на крутой обрыв Яйлы, по самые скалы венца обросший каракулем таврической сосны, на дубняк и магнолии между горой и морем: на вечернее перламутровое небо, где с персидской яркостью горел лунный серп, и рядом звезда, — и вдруг, с меньшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания...» [5].

Ловишь себя на впечатлении, что прекрасные описания крымской природы как будто... не совсем настоящие. И приходишь к странноватому выводу: секрет их ненатуральности кроется в... чрезмерной изобразительности. Сложная и яркая система образов затмевает предмет, он выглядит ненужным и необязательным.

Обязателен не объект, как принято в традиционной литературе, а субъект повествования, — невидимка, преследующая свои цели...

Этому удивительному впечатлению способствует и лексика произведения, возвышенная и немного архаичная.

Современный русский писатель М. Харитонов в эссе «Способ существования» подметил:

«У Набокова кто-то ест, обжигаясь, поджаренные хухрики. Пахнет липой и карбурином. Что такое хухрики, что такое карбурин? Можем ли мы это почувствовать?» [6].

Добавим к хухрикам и карбурину в огромных количествах рассыпанные в его романах и рассказах рампетки, лакриновые палочки, каракули, караморы и прочее мало — или вовсе непонятные слова, принадлежащие давно исчезнувшей исторической эпохе.

Может ли северный человек, ни разу не побывавший в Крыму, на Востоке, понять, вспомнить, что такое мушмула, миндальные деревца, ливанские кедры, таврическая сосна и даже магнолии! Не будучи ученым-лепидоптеристом, представить бабочку-парусника?

Все эти маловразумительные словеса уносят тексты в малопригодные для понимания высоты. Однако они прекрасно приспособлены для создания новых смысловых и художественных существей. Когда красота слога сама по себе является содержанием и смыслом. Как выразился старый голландский поэт, — «глянь, тут написано не то, что тут написано» [7].

Самодостаточная иллюзия, как метод, а потом и цель художественного творчества, стала проявляться у В. Набокова еще в Крыму.

Все началось с противостояния привычного и непривычного.

«Крым показался мне совершенно чужой страной: все было не русское, запахи, звуки, потемкинская флора в парках побережья, сладковатый дымок, разлитый в воздухе татарских деревень, рев осла, крик муэдзина, его бирюзовая башенка на фоне персикового неба: все решительно напоминало Багдад...»<sup>[8]</sup>.

Смутный протест против нового выразился в стихотворных строчках:

**Береза в воронцовском парке**

*Среди цветущих, огненных деревьев  
Грустит береза на лугу,  
Как дева пленная в блистательном кругу  
Иноплеменных дев.*

*И только я дружу с березкой одинокой,  
Тоскую с ней весеннюю порой:  
Она мне кажется сестрой  
Возлюбленной далекой. 17 апреля 1918 г.*

Антиномия «цветущих, огненных деревьев» с «одинокую» березкой — это противопоставление лирического героя и Крыма — чужой земли, где ему предстоит провести («влачить») свои дни вдали от родины. Нечто вроде тоски В.Ф. Одоевского или М.Ю. Лермонтова, сосланных на Кавказ, — тот же в мыслях родной Север на фоне роскошного, но чуждого северному человеку Юга.

В другом стихотворении — «Орешник и береза» — противоречие между родным и неродным обретает черты морального приговора.

Одно — южное — дерево —

*...«развесистый орешник  
Листвой изнеженной, как шелком, шелестит,  
Роскошным сумраком любви и лени льстит...  
Остановись под ним, себялюбивый грешиник!»*

Но — утверждает автор —

*«... есть дерево другое.  
Близ дерева греха березу ты найдешь...»*

«Каждый лист» этого скромного, целомудренного дерева расскажет путнику «о милом невозможном, о дальней родине, о ветре, о лесах...»

Итак — родина это нечто отдаленное, во сто крат более притягательное, чем великолепный Крым. Психологический казус: очевидность у автора вызывает равнодушные или отвращение, по-настоящему он любит только вымысел или невозвратимую потерю.

Первое стихотворение, написанное Набоковым в Гаспре, — «Звени, мой верный стих...» — датируется (по сборнику «Горный путь») 31 января 1918 года. По мере вхождения в текст читателем овладевает чувство чего-то знакомого. Он узнает чудесные реалии лесного загородного пейзажа, дачной безмятежной жизни, повторенные потом в «Машеньке», — первом прозаическом шедевре Набокова.

**Стихотворение:**

*«Пусть будет снова май, пусть небо вновь синее...»*

**Роман:**

«Девять лет тому назад... Лето, усадьба... глубокое июльское небо, по которому наискось поднимаются рыхлые, сияющие облака...»

**Стихотворение:**

*«Раскрыты окна в сад. На кресла, на паркет  
Широкой полосой янтарный льется свет...»*

*«...Широкий парк душистыми листьями  
Шумит пленительно. Виляют меж берез  
Тропинки мишустые...»*

*«...среди трепетных ветвей,  
Склоненных до земли, вся белая, сияет  
Скамейка...»*

**Роман:**

«Он медленно шел по широкой аллее, что вела от площадки дома в дебри парка...»

Дойдя до конца аллеи, где сияла в темной зелени хвой белая скамья, он повернул обратно и далеко впереди в пролете между лип виден был оранжевый песок садовой площадки и блестящие стекла веранды».

**Стихотворение:**

*«Сквозь белизну молочную черемух  
Зеленая река застенчиво блестит,  
Кой-где подернута парчюю тонкой тины...»*

*«Напротив берега я вижу мягкий скат,  
На бархатной траве разбросанные бревна,  
А далее — частокол, рябин цветущих ряд...»*

*«Но вот  
Мой слух невучий скрип уключин различает.  
Вот лодка дачная лениво проплывает,  
И в лодке девушка одной рукой гребет...  
Склоненного плеча прелестно очертанье;  
Она, рассеяно, речные рвет цветы.  
Ах, это снова ты, все ты и все не ты.»*

**Роман:**

«У шаткой пристани он развернул грохочущую цепь большой, тяжелой, красного дерева шлюпки... Машенька села у руля, он оттолкнулся багром и медленно стал грести вдоль самого берега парка... Потом он повернул на середину реки, виляя между парчевых островов тины, и Машенька, держа в одной руке оба конца мокрой рулевой веревки, другую руку опускала в воду, стараясь сорвать глянцевиго-желтую головку кувшинки... На реке теперь отражался левый, красный, как терракота, берег, сверху поросший елью да черемухой... А потом... солнце... выхватило... зеленый скат, и над ним белые колонны большой заколоченной усадьбы александровских времен.

А дома ничего не знали, жизнь тянулась летняя, знакомая, милая... В гостиной, где стояла белая мебель,... желтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме, и дагерротипы на стенах (еще одно ветхозаветное словечко!) слушали, как оживало и звенело белое пианино».

Все эти поэтичные описания вызваны тоской по утерянному времени. Выступают как побуждение к его преодолению при полной «неспособности вернуться в собственное прошлое» [9].

Внешне, однако, жизнь Набокова текла привычным, незамысловатым чередом. Крымом в это время правили: с января по 30 апреля 1918 г. — большевики (семья Набоковых они не тронули и даже не выселили из имения, предложив лишь оплатить проживание).

Известен и другой случай «гуманного» конфликта.

Однажды во время охоты на бабочек его задержал в горах часовой-красноармеец. На том основании, что он «размахивал сачком и подавал сигналы немецким кораблям». Пошумели они друг на друга и разошлись...

С 30 апреля по 15 ноября в Крыму хозяйничали немцы. А с ноября 1918 г. по апрель 1919 г. — на полуострове снова обосновались белые, на этот раз денкишцы.

В этот относительно безмятежный — и последний — год в Крыму В. Набоков много пишет: стихи, пьесы, переводы с немецкого романсов Шуберта и Шумана. В Ялте возобновилась светская жизнь, а с нею и благотворительные концерты в пользу нуждающихся художников, музыкантов и литераторов.

Памятный след оставила встреча с прибывшим в Крым поэтом и художником М. Волошиным. Они познакомились в Ялте летом 1918 г. и провели незабываемые часы в татарской кофейне на набережной. Пили кофе, читали стихи и спорили о новом методе стихосложения, предложенном А. Белым.

С сентября 1918 г. Набоковы из Гаспры переехали в Ливадию. Младшим детям, Сергею, Ольге и Елене пора было идти в школу, а Гаспра находилась далеко.

Поселились они в небольшом домике Певческой капеллы. В царский дворец вход был свободен, и Владимир часами просиживал в Императорской библиотеке, листая старые книги. Здесь же, в Ливадийском дворце, в спешке последних сборов и отъезда за границу он оставил — забыл! — свою первую значительную коллекцию чешуекрылах — 200 засушенных особей!

В эти годы в Крыму Владимиром Набоковым было написано около двухсот лирических стихотворений. Из них 124 составили первый сборник стихов «Горный путь», вышедший в 1923 г. в Берлине, в издательстве «Грани». Как начинающий (и вдумчивый) ученый-лепидоптерист, он исследовал сады и парки, побережье и окрестные скалы между Ялтой и Алушкой в поисках редких видов бабочек. В летних своих походах забредал довольно далеко. И сочинял во время продолжительных экспедиций стихи, умудряясь на все находить время...

Результатом его ежедневных лепидоптерологических походов, кроме коллекции бабочек, стала... написанная уже в Англии поэма «Крым» — замечательный образец ранней набоковской лирики.

*Любил я странствовать по Крыму...  
Бахчисарая тополя  
Встают навстречу пилигриму,  
Слегка верхами шевеля;  
В кофейне маленькой, туманной,*

*Эстампы английские странно  
Со стен засаленных глядят,  
Лет полтора им — и боле:  
Бои бывые — тучи, поле  
И куртки красные солдат...  
О, греза, где мы не бродили!  
Там дни сменялись, как стихи...  
Баюкал ветер, а будили  
В цветущих селах петухи.  
Я видел мертвый город: ямы  
Бывлых темниц, глухие храмы,  
Безмолвный холм Чуфуткале...  
Небес я видел блеск блаженный,  
Кремнистый путь и скит смиренный,  
И кельи древние в скале...*

Любопытно, как по мере его проживания, а потом и разлуки — казалось, ненадолго, а вышло, что навсегда — менялось его отношение к Крыму. От угрюмо-подозрительного и недоверчивого, до полного любви и восхищения:

*Сторожевые кипарисы  
Благоуханной веют мглой,  
И озарен Ай-Петри лысый  
Магометанскою луной.  
И непонятных пряных песен  
Грудь упоительно полна,  
И полусумрак так чудесен.  
И так загадочна луна.*

«Судя по его стихам, Владимир уже успел испытать восторг от крымских ночей: лунный свет, отражающийся на лопастях магнолий, отбрасывающий тени в аллеях, где, как часовые, стоят кипарисы, или оставляющий дорожку на сиреневых водах бухты»<sup>[10]</sup>.

А потом, в апреле 1919 г., Яйла, кипарисы, магнолии — весь этот «благоуханный край», — остались, как и вся Россия, за кормой греческого теплохода «Надежда».

Набоковы уплывали в эмиграцию. Сначала в Турцию и Грецию (там Владимир Дмитриевич смешно общался с местными жителями на древнегреческом языке), а потом в Германию. Его пронзило знакомое чувство потери и страшной ностальгии, как после переезда из Петербурга в Крым. Крым ожидала та же печальная участь — превратиться по прихоти неутомимой судьбы в часть его памяти и воображения. Переживания звучали в душе, как вечная и недостижимая мечта о возвращении:

*О, заколдованный, о дальний  
Воспоминаний уголок!..*

Помимо воспоминаний, щемящих и тягостных, проникнутых любовью и горечью; кроме стихов и набросков стихов, он увозил с собой в изгнание и нечто материальное: сведения об открытых им 77 новых видов местных бабочки более чем 100 видов крымских чешуекрылых. Впоследствии все это богатство составило базу

для его первой научной работы, опубликованной в авторитетном английском журнале «Энтомолог» [11].

Но это будет не скоро, — в далеком Кембридже, куда он поступит после бегства из страны. В университете он с головой окунулся в изучение европейских литератур и естественных наук.

## 2.

### Четыре дня в доме теней

«Аще человек глас Сирина услышит, пленится мыслями и забудет вся временная и дотоле вслед тоя ходит дондеже пад умирает...» Древнерусский Азбуковник.

Сопоставление нынешнего опыта жизни с предыдущим — обычное житейское дело.

Сравнивая сегодняшнюю систему подготовки студентов-филологов с тем, как в свое время готовили нас, высокомерно морщишься: в наше время университетский уровень был значительно выше.

Примерно такие же чувства, только с обратным знаком, испытываешь, когда знакомишься с преподаванием гуманитарных дисциплин в Кембридже. Нам такое и не снилось! (Или только кажется в силу обычной притягательности прошлого?).

В. Набоков был зачислен в Тринити-колледж 1 октября 1919 г. Для учебы он выбрал две специальности: зоология, русская и французская филология. Для получения «трайпоса» — диплома бакалавра — нужно было каждый семестр сдавать уйму экзаменов.

Вот краткий перечень дисциплин, которыми овладевал будущий писатель по части филологии. Русская и французская история и литература — от средних веков до настоящего времени. Французская философия. Бесконечные русские и французские диктанты — в Кембридже большое значение придавалось практической стороне предмета. Переводы с английского на французский и русский языки. С русского на английский и французский. Сочинения на двух этих языках. Устные экзамены по языкам плюс русская и французская литературы по периодам. Попутно лабораторные занятия зоологией и — походя — написание в первом семестре (и публикация во втором) научно-исследовательской работы «Несколько заметок о лепидоптере Крыма».

Перекрестное использование русского, французского и английского языков производилось на произведениях классиков трех литератур. Критики впоследствии отмечали необыкновенные изящество и отточенность произведений Набокова — ранние уроки Кембриджа пошли ему впрок. Они вышколили будущего гения не только с точки зрения овладения общей культурой, ее и так было не занимать, но и культуры литературного стиля.

А в смысле содержания нащупанная в Крыму тема — проблематика настоящего и прошлого — продолжала зреть и развиваться:

*Есть в одиночестве свобода  
И сладость в вымыслах благих, —*

писал он в одном из стихотворений.

«Благие вымыслы» все чаще подменяли настоящую, подлинную жизнь. Но только в литературном творчестве. В повседневной жизни В. Набоков не лишал себя радостей молодости. Пребывание в Англии, а затем в Берлине было наполнено разнообразными событиями, встречами, любовными треволнениями и переживаниями. Но ведь наряду с внешним человеком, говаривал Л. Толстой, существует и внутренний, отличающийся от него. Этот внутренний человек в Набокове все дальше отдалялся от внешнего, все больше предпочитал ему закрытый от всеобщего обозрения мир внутренний — более глубокий и высокий.

«Гетто эмиграции, — писал он в зрелые годы, — по сути дела, было средой более культурной и более свободной, чем те страны, в которых мы жили. Кому захотелось бы расстаться с этой внутренней свободой, чтобы выйти наружу, в незнакомый мир? Что касается меня, я чувствовал себя вполне уютно там, где я был — за своим письменным столом, в комнате, снятой внаем»<sup>[13]</sup>.

Разум (что такое творчество, если не деятельность разума?) он понимал, как отрешенность. Homo poeticus предвосхищает Homo sapiens... «Он словно намекает, что за пределами видимого и осязаемого мира как будто бы есть нечто иное, но вопрос остается открытым...»<sup>[14]</sup>.

Это «нечто» им еще не осмыслено и не понято, оно колышется неким невразумительным предчувствием, побуждая снова и снова браться за перо. Чтобы, наконец, найти ему объяснение и разрешение...

Это стремление, исследовательское и рациональное, — найти искомое и сформулировать, — находит выражение в нескольких ранних рассказах.

В 1924 г. В. Набоков пишет короткий рассказ «Пасхальный дождь».

К этому времени он уже был известен в литературных кругах под псевдонимом «Сирин» — читатели берлинской газеты «Руль» не должны были путать его с отцом, который печатал свои статьи там же.

Тема традиционная для писателя-эмигранта.

Старая швейцарка Жозефина Львовна вспоминает, как она служила гувернанткой в одной состоятельной семье в России. Ей много лет, она давно уже на пенсии. И теперь, вспоминая прошлую жизнь, удивляется чудесам памяти.

Когда началась эта ужасная война, она покинула Россию, — она ведь никогда ее, откровенно говоря, не любила. И уехала домой, в Швейцарию, — покинула эту дикую страну «со смутным облегчением». Ей казалось, что теперь, на родине, она будет наслаждаться уютом родного дома и общением с друзьями молодости...

У этой пожилой, одинокой женщины, описанной В. Набоковым с большим сочувствием, был прототип — старая гувернантка детей Набоковых Сесиль Миутон. Это была «огромная, похожая на Будду, отгороженная от окружающих своим незнанием русского языка, постоянно чем-то уязвленная» mademoiselle<sup>[15]</sup>, все время читавшая своим юным воспитанникам чудовищно скучных Расина и Корнеля.

Студентом Набоков навестил ее в Лозанне зимой 1921 года во время каникулярной поездки в Швейцарию на лыжный отдых.

«Постаревшая, потолстевшая, почти совсем глухая, она утешалась в своих страданиях, вспоминая Россию, так же, как прежде страдания ее смягчал лишь образ Швейцарии»<sup>[16]</sup>. Возможно, после этой встречи и зародился замысел рассказа. Наверняка после стольких лет разлуки прорвалось то, что старая гувернантка тщательно скрывала и в чем не хотела себе признаться: единственной ценностью в ее жизни была не родина, а... годы, проведенные в России.

Раньше она считала, что в России она не жила, а мучилась. Но, оказывается, существует нечто подсознательное, о чем мы даже не догадываемся. Оно исподволь накапливалось, пока она с трудом жила, мечтая о возвращении на родину.

«Пасхальный дождь» — попытка исследовать странный психологический феномен — преобразование нелюбви в любовь. Назойливо-привычного и тягостного в необыкновенное и желанное. Черно-белого — в нечто, наполненное яркими, волнующими красками. Красками, каких и в помине не было в той, подлинной жизни. Это было превращение Явного в Не-явное, действительности в некую мысленную сущность. Создание не жизни, а сладостного мифа. Вот уже и подлинное мы имеем — той жизнью, как будто она нам чужая. А своя, настоящая, есть нечто невозможное; точнее — воображаемое...

Сладость этого нового бытия так изысканна, что человек уподобляется наркоману: он и двух дней не может прожить без мечтаний. Готов пожертвовать ради них настоящей, подлинной жизнью. Подлинная вызывает у него досаду, она ограничивает в чем-то важном и существенном.

В «Записках Цинцинната» устами своего героя В. Набоков выносит приговор подлинности:

«Я...жив, то есть, собою обло ограничен и затмен».

Если перевести фразу на повседневный язык, Я ограничен моим телом. Тело и не-тело не дополняют друг друга, а враждуют — одно противоречит, противоборствует другому. Заложенная в человеке античная энтелехия — внутренняя движущая (и она же самосушая) сила требует независимости; возможно, раскрепощение этой силы и является подлинной целью и смыслом эволюции.

### *1-Е ОТСТУПЛЕНИЕ О ЛОДОЧНИКЕ.*

В качестве дополнения прилагаю диалог из цикла рассказов современного русского писателя Б. Хазанова «Дорога».

В вагоне поезда, идущего «из ниоткуда в никуда» беседуют двое — молодой и старик. Вместе со стариком едет ребенок, мальчик лет шести с бантом на шее.

«В ящике письменного стола, — сказал я, — лежала большая фотография, где я на руках моей матери. Мне, наверное, было меньше года».

Пассажир сказал:

«Она и сейчас там лежит».

«То есть где это там?»

«Там, где вы сказали. В письменном столе».

«О чем вы? — вскричал я. — Никакого письменного стола давным-давно не существует».

«Верно, — сказал он мягко, — но в каком-то смысле все-таки существует. Так же на фотографиях человек продолжает жить, хотя, может быть, его давно уже нет... А более поздние?»

«Я ответил, что была еще карточка, на которой я был снят во весь рост, в бархатном костюмчике и с бантом на шее».

Чуть помолчав, старик продолжал:

«Дорога — это великая вещь. Можно встретить кого угодно. Даже с теми, кого вы не только никогда больше не увидите, но и не могли бы увидеть в обычной жизни».

«Что значит — в обычной жизни? Знаете ли вы, кто я?»

«Приблизительно. Сиди спокойно, — сказал он мальчику. — Хочешь ко мне на коленки? Или к дяде. Не бойся, ведь это ты сам».

Проблема, смутившая В. Набокова, — проблема времени и пространства. Наши воспоминания, тоска и безысходность происходят от невозможности существовать в трех измерениях времени. А значит, и в трех формах пространства. В противном случае Жозефина Львовна не испытывала бы мук ностальгии, ей достаточно было бы небольшого перемещения, чтобы развеять тоску. Постоянство повседневности — лучшее средство от меланхолии...

Но подлинная свобода безгранична, как Космос, она позволяют без особых усилий человеку-взрослому, например, беседовать с самим собой-ребенком...

## *2-Е ОТСТУПЛЕНИЕ О ЛОДОЧНИКЕ.*

Вот как рисует волшебный мир неожиданных обретений Б. Хазанов.

Перед нами та же сцена в поэзде, что и в первом отрывке, — и с теми же персонажами: мальчик, старик и взрослый.

«Вспыхнули лампы, поезд вошел в туннель. Сквозь тьму мы мчались под грохот и визг колес, и рядом с нами в черно-туманном стекле пошатывался ярко освещенный вагон, и за окном мы трое, я и напротив меня старик в антикварном одеянии, с ребенком на коленях. Мальчик уставился на свое отражение. Впереди забрезжил утренний свет, померкло электричество, вагон вылетел на волю. В наступившей блаженной тишине вновь послышалось ровное, мерное постукивание. За окном тянулись пустынные ровные поля, и казалось, что поезд еле движется...»

Все! Перемещение состоялось. Оно помедлило и... Жизнь возвратилась на круги своя!

«Мы прекрасно помним себя детьми, это остается на всю жизнь. Вот и вы, например, сразу вспомнили, как вы негодовали, когда мама повязывала вам бант... Мы способны возвращаться в детство, в сущности говоря, это и есть единственная наша родина, наш дом. И когда мы входим туда, все стоит на своих местах...»

...я вам скажу так. Математическое время Ньютона, — все это мы прекрасно знаем. Но, дружок мой, все это не более, чем абстракция... Мы не живем в одном определенном времени, не плывем пассивно в его потоке, как лодочник по течению реки. Мы существуем, если вдуматься, и в настоящем, и в прошлом, и, может быть, даже в будущем...»<sup>[17]</sup>.

Все изложенное, конечно, не вполне ясно. Процесс смены форм времени еще ничего не говорит о его механизме. Это одна из тайн, которую мы не в состоянии постичь.

В. Набоков так далеко не заглядывал, ему достаточно того малого, что он нащупал и описал. В атмосфере безграничности мира живут герои Б. Хазанова, но персонажам В. Набокова в ней отказано. Они о ней догадываются, жаждут соприкосновения и — не покидают привычный одномерный мир: «за окном тянулись пустые ровные поля...» Или терпят поражение, как герой рассказа «Пильграм».

Хотя трудно сказать, что нужно считать победой, а что — поражением...

В прозе раннего периода В. Набоков охотно изображает не только русских эмигрантов, персонажей из недавнего прошлого, — но и этнических немцев. При-

том что немецкий язык он знал плохо, друзей среди немцев у него не было, и замкнутую жизнь внутри русского «гетто» предпочитал связям с окружавшим его немецким миром.

Но от реальной действительности уйти невозможно. Немецкая жизнь подстергала его на каждом шагу — на улицах Берлина и пригородов, в пивных и магазинах, в продуктовых и табачных лавках; необходимо было ежедневно разезжать тяжелым, грохочущим трамваем по адресам богатых русских учеников, которым он преподавал французский и английский языки, давал уроки бокса и тенниса. Все, чему он научился в России, что когда-то доставляло радость и удовольствие, теперь служило для него источником заработка. И видел он не парадный чопорный город, а грязные подворотни, убогие домишки и съемные квартиры — тяжелую, повседневною жизнь в и без того не очень сытой и благополучной столице Германии 20-х годов.

В одном из таких убогих домов и в такой же точно квартирке проживал герой рассказа Пильграм (1930 г.). Жил он жизнью однообразной и жалкой. Рассказ полнится описаниями жалкого жилища, улицы, на которой он обитал, отвратительных деталей быта. И полного отсутствия интереса ко всему на свете у этого молчаливого, равнодушного человека. Каждое утро он исправно приходит в свою лавку, набитую старьем, и через несколько часов, так ничего и не продав, запирает ее и неспешно возвращается домой. Жизнь без цели, без смысла, без надежд...

В «Жертвоприношении» А. Тарковского, помнится, был такой же жалкий и невзрачный персонаж. Каждый день он упорно и настойчиво поливал... засохшее дерево. Дерево не хотело зеленеть и плодоносить, но он терпеливо и сосредоточенно продолжал его орошать. Как некую безрадостную надежду. Когда не важно, исполнится она когда-нибудь или так и останется неосуществленной. Героя фильма занимал не результат, а процесс взращивания. Потому что сохраняется мечта: какое красивое дерево однажды вырастет из омертвевшего сухостоя!..

Вот и у Пильграма имелось такое спасительное дерево — его бесценная коллекция редких бабочек. Бабочек красивых и удивительных, из самых разных стран и континентов, они хранились в специальном ящичке, и каждое утро, отперев лавку, Пильграм первым делом изучает и осматривает свое сокровище, свою редкую коллекцию. Он проживает счастливейшие минуты, грезя о далеких, неведомых странах. Словно улетает на полупрозрачных засохших крылышках диковинных мух за пределы своей жалкой жизни. Испытывая такую полноту жизни, словно никогда не знал нищеты и убогости. Его восхищение миром, который ему открывался в мечтах, безгранично. Он так уверовал в возможность счастья, что вознамерился транспонировать представления в реальную жизнь — увидеть пленявшие его картины иного мира наяву.

И во время бегства, рано утром, когда он заканчивал тайком от жены последние приготовления к отъезду, Пильграм вдруг... умирает. Его хватил удар.

Скончался он тут же, в лавке, где хранил свою единственную драгоценность — замечательных красавиц-бабочек...

Другой персонаж В. Набокова, Цинциннат, отыщет объяснение своему раздвоению.

«...в моих снах мир оживал, становясь таким пленительным, важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать...»<sup>[18]</sup>.

«...я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть, что

они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, — больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон... куда извне проникают странные, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания...»<sup>[19]</sup>.

Два мира В. Набокова — мир воображаемого («Пильграм») и мир утерянного («Пасхальный дождь») — совпадают в одном качестве — качестве красоты. Ее не существует в реальной жизни, ибо красота — это миф, очищенный от земной скверны.

Земное и небесное, чистое и грязное то и дело переплетаются в сочинениях В. Набокова берлинской поры. И с таким пиететом в отношении одного и пренебрежением к другому, что тема потери и обретения сводится к безусловному преимуществу первой. Это победа духа, воображения над бесплодной и грязной материей.

Русский пансион Лидии Дорн в Берлине (роман «Машенька», 1926 г.) напоминает «апартаменты» несчастного Пильграма.

«Пансион был русский и притом неприятный». «Голый, очень тесный коридор». «Трагические и неблагоприятные дебри». «Грязная ванная и туалетная келья». «Скрипучие шкафы и ухабистые кушетки». «Унылая пансионная столовая»...

Да и мир вокруг пансиона был тоже не лучше, — вроде «скверной пивной, где он по вечерам ел сосиски с капустой или свинину». И оттого, что «пивная скверная», читателю уже и сами сосиски, и свинина тоже кажутся скверными, отвратительными.

Окружавшие в пансионе героя романа Ганина люди тоже не блещут привлекательностью. Его любовница Людмила — женщина с «желтыми лохмами» вместо волос и «с пурпурной резиной губ». Соседи по пансиону: «напудренные, жеманные танцоры с пичьими ужимками», «тромадная Эрика», прислуга, Алферов, — «теплый, вялый запашок не совсем здорового пожилого мужчины»...

Читаешь описание всех этих неприглядностей и представляешь аристократа, вырванного из привычной тепличной среды и в мгновение ока оказавшегося в гуще реальной жизни. С тоскливым изумлением он всматривается в ее безобразные черты.

По происхождению и воспитанию В. Набоков и был аристократом, потому так достоверна и отвратительна в его писаниях будничная, грубая материя жизни. Она вызывает у него смутный протест, нежелание принимать в ней участие. Ганин в первые годы эмиграции еще пытался справиться со своим отвращением — много и упорно трудился, не гнушаясь никакой работы, и даже накопил денег, чтобы уехать из Берлина. А потом что-то случилось, что-то в нем сломалось...

«В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны, всю эту потом и пылью пропитанную дрянь...»<sup>[20]</sup>.

Работай — не работай — избавиться от этой жизни ему не удастся. Она достигнет его всюду, в любой точке земного шара. Уедешь из Берлина, найдет тебя даже в Буэнос-Айресе. Зачем напрягать силы и тратить время на то, что недостижимо?

Спасение — духовное и телесное — пришло к Ганину неожиданно. Он узнает о приезде из России сюда, в берлинский белоэмигрантский пансион, Машеньки. Той самой его первой любви, с которой он расстался в Петербурге в самом начале революции и гражданской войны. Так случилось, что она стала женой его

нынешнего соседа по пансиону Алферова — того самого немолодого человека «с неприятным душком».

И сразу все изменилось. Только что унылый и безразличный человек словно пробудился после долгого, тяжелого сна.

Когда Ганин узнал о приезде Машеньки, он проснулся утром и «вздыхнул с изумленным блаженством». «Решительным махом соскочил с постели». От бритья «находил особенное удовольствие», «поводил бровями и радостно улыбался».

«То, что случилось в эту ночь (разговор с Алферовым, из которого Ганин узнает о приезде Машеньки. — А.Н.), то восхитительное событие души переставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое». В этом далеком прошлом все было не так, как наяву. Наяву его берлинское жилище было жалким и убогим, как у Пильграма. А в воспоминаниях было прекрасно все — и светлые, большие окна дома, где он жил, и «мягкие литографии на стенах», и пичий щебет за окном, и коричневый лик Христа в кюте, и даже фонтанчик умывальника».

Возможно, на самом деле все было не так трогательно и живописно, но Ганин по-другому себе не представлял — он не мог вообразить прошлое иначе, как в нежных, волнующих тонах. «Даже его белье и одежды казались необыкновенно чистыми, просторными и немного чужими».

«...в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни»<sup>[21]</sup>.

«В комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин (после тифа. — А.Н.), и зародилось то счастье, тот женский образ, который спустя месяц он встретил наяву»<sup>[22]</sup>.

Оказывается, чтобы полюбить, недостаточно просто увидеть девушку, женщину. Для любви требуется внутренняя готовность, воспитание предпосылки этого чувства, — специфическое духовное состояние, которое ощутил после болезни юный Ганин. И теперь, много лет спустя, он переживает его воскрешение. И в первом, и во втором случае объект любви отсутствовал: живой, из плоти и крови Машеньки еще (и уже) не было, вместо нее витал некий дух, духовное замещение и обещание. «И кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может»<sup>[23]</sup>. Он, этот образ, самодостаточен и не требует обязательного воплощения.

Реальная, живая Машенька, если вдуматься, не так уж ему и нужна — за четыре дня в пансионе, прожитых им в воспоминаниях, он пережил с ее тенью самые чистые и сладкие часы. В сравнении с ними подлинная, земная любовь кажется неудачным повторением, дурной копией таинственного подлинника.

Мы не знаем — и Набоков, великий исследователь человеческого духа, не дает нам ответа — в силу каких причин сладость мифа предпочтительнее действительности. Ведь, если вдуматься, в мифах человек рождается, живет и умирает, даже не подозревая об их иллюзорности. Но постановка вопроса о подлинном и мнимом, и поэтическое описание «мира чудес» служит напоминанием, что красота, единственная ценность, не умерла, и мы живы вместе с нею...

*3 августа 2013 г.*

**Примечания:**

- [1] Б. Бойд, «Владимир Набоков: русские годы». По другим сведениям, напр., из материалов Википедии, Гаспра («белая» — крымскотатарск.) находится в двенадцати километрах западнее Ялты.
- [2] В. Набоков, «Другие берега», гл.11, часть 4.  
[3, 4, 5] там же.
- [6] М. Харитонов, «Способ существования», «Дружба народов», 1996г., №2.
- [7] М. Нейхоф. Цит. по статье К. Верхейла «Иосиф Бродский и Мартинус Нейхоф». «Звезда», 1997 г., №1.
- [8] В. Набоков, «Другие берега».
- [9, 10] Бр.Бойд, «Владимир Набоков: русские годы».
- [11] «...VN undertook several butterfly safaris capturing some 77 species of butterfly and more than 100 species of moth, which later formed the basis for his first scholarly publication, in the English journal The Entomologist in 1923». Vladimir Nabokov's biography from «Zembla».
- [12] В. Набоков, «Другие берега».
- [13] Б. Бойд, «Владимир Набоков: русские годы».
- [14, 15] там же.
- [16], [17] Б.Хазанов, «Пока с безмолвной девой», «Октябрь», 1998г., №6.
- [18], [19] В. Набоков, «Приглашение на казнь».
- [20] В. Набоков, «Машенька».
- [21] В. Набоков, «Приглашение на казнь».
- [22] В. Набоков, «Машенька».
- [23] там же.



# Бенгт Лильегрен

## «ВО ГЛАВЕ КОРОЛЕВСТВА СВЕЕВ»\*

*Перевод Георгия Фомина*

### От переводчика

«Во главе Королевства Свеев» — чёткий и выразительный обзор череды шведских монархов, начиная от полумифического Эрика *Победителя*, жившего в X веке н.э., вплоть до ныне правящего Короля Швеции Карла XVI Густава.

Демонстрируя немногословные, но яркие характеристики мужчин (реже — и женщин), управлявших Швецией со времён викингов, автор книги, историк Бенгт Лильегрен, преподносит читателям своё слегка непочтительное отношение к правителям без соблюдения тех приличий, которые традиционно сопровождали их с давних пор.

В богатой портретной галерее Королей нас встречают Эмунд *Старый*, Рагнвальд *Круглоголовый*, Эрик *Шепелявый-и-Хромой*, Маргарита *Датская*, Ульрика Элеонора и многие другие. Этот сборник лаконичных жизнеописаний послужит одновременно и хорошим справочником, и чисто развлекательным чтением. Другими словами, любознательные читатели откроют для себя новую дверь в шведскую историю.

### Биографическая справка

Шведский историк и преподаватель Бенгт Лильегрен родился в 1961 году. Чтение лекций студентам университета он совмещает с публикацией литературной критики в газете *Sydsvenska Dagbladet* («Ежедневная газета Южной Швеции»). Б. Лильегрен уже испытал шумный успех как писатель, когда общественность бурно приветствовала его две первые концептуальные книги о шведском Короле Карле XII: «*Правление Швецией из Лунда*» (1999) и «*Карл XII. Биография*» (2000).

## 1.

### Предисловие автора

Вниманию заинтересовавшихся читателей предлагаются краткие характеристики Королей и Королев Швеции. Не взирая на многовековые общепринятые приличия, я решил обращаться с ними непринуждённо. К сожалению, сохранившиеся исторические источники эпохи викингов и средневековья сообщают нам слишком мало сведений об индивидуальных особенностях правителей страны. Нелегко восстановить образы монархов, если информация о них ограничена немногословно изложенными хартиями или редкими ссылками на исландские саги. Во многих случаях существующий материал не предоставляет исследователям возможности выявить основные черты некоторых совсем давних королей.

Поэтому приходится прибегать к изображению отдельных личностей в виде фигур театра теней. Ведь, как всем должно быть известно, историкам не позволено фантазировать при недостатке фактов, им не дано право на вымысел. Строго говоря, в среде историков не считается правильным (и я с этим согласен) рассуждать о шведских повелителях столь ранней эпохи, как десятое столетие нашей эры. Упоминание шведов, как народности — *swerighe* — не встречается в письменности до 1384 года.

Не существовало такое королевство ни при викингах, ни в раннем средневековом периоде. Можно отыскать такие названия, как *Svitjod* и *Regnum Sweorum*, но лишь в XIII веке различные земли объединились, образовав общую политическую систему под именем «Королевство Свеев». Рассмотренный список властителей Швеции, без сомнения, весьма дискуссионный. Его мог бы открыть Хуглейк, который, согласно исландскому поэту Снорри Стурлусону, правил свеями в VI веке. Либо это могли бы быть Оттар *Вендельский Ворон* и Ингьяльд *Коварный*, мифические конунги из древнего песенного цикла «*Иинглингатал*» скандинавских скальдов. Я предпочёл начать с Эрика *Победителя*, первого среди королей, о котором с достаточной уверенностью можно сказать, что он контролировал наибольшую часть истинно шведских территорий Свеаланд и Гёталанд.

## 2.

Хотя некоторые правители — Ярл Биргер, Стен Стуре *Старший*, Сванте Нильссон, Стен Стуре *Младший* — никогда не имели в действительности королевского титула, тем не менее, они заняли свои места в книге, т.к. каждый из них подолгу находился у власти. Однако в перечень не были включены другие, кратковременные регенты, правившие лишь по несколько месяцев.

Приношу сердечную благодарность всем, кто неустанно поддерживал меня в процессе подготовки этого труда. В первую очередь, это моя жена Карин и мои родители Эльза и Стиг. Кроме них — вашингтонский корреспондент газеты *Dagens Nyheter* («*Новости дня*») Георг Седерког, щедро поделившийся своими лингвистическими знаниями, а также археолог Матс Г. Ларссон и историк Микаэл Алм, дополнившие профессиональную читку рукописи.

Заключительное замечание: историк Эрик Густав Гейер, профессор университета Упсала в 1817–46 гг., скорее всего, преувеличивал, утверждая, что история Швеции — это история её королей. Однако значительная роль монархов в любые эпохи неоспорима. По всей вероятности, Швеция предстала бы сегодня совершенно иной, если бы не такие её правители, как Короли Густав I и Карл XII.

Всеобъемлющие интеллектуальные и материальные структуры несомненно определяют развитие человечества, но, в конечном счёте, историю творят отдельные люди.

*Бенгт Лильегрен*

## 3.

### **Король Эрик Победитель, правление ок. 970 — 995**

Из сумрака времён перед нами появляется первый общепризнанный шведский Король Эрик Сегерсель. По крайней мере, про него достаточно достоверно известно, что он был первым конунгом в окрестностях озера Меларен и в провинциях земли Гёталанд.

Прославился Эрик в 980-х годах как бесстрашный полководец, добившийся триумфа во главе своего войска в битве на полях равнины Фюрисвалларна вблизи древнего города Упсала в провинции Упланд. За это он и был прозван Сегерсель, т.е. Победитель.

Считается, что Эрик в том сражении разбил датчан. Так повествуют руны на двух древних каменных плитах, найденных в южной провинции Сконе. Однако,

иногое исторического подтверждения по этому факту пока не обнаружено. Пытаясь сдержать вторжение Дании в свои владения, Эрик заключил соглашение с князем Болеславом, впоследствии королём Польши Болеславом I Храбрым.



Стальной меч эпохи Короля Эрика Победителя.  
Озеро Сигридхольм, округ Лунд, провинция Уппланд.

Для укрепления этого союза Эрик вступил в брак с сестрой Болеслава Гунхильдой, более известной скандинавам под именем Сигрид Гордая. Ожидания оправдались, интервенция датчан была остановлена, и датского короля Свена Вилобородого изгнали из его собственного королевства. Таким образом, шведский Король Эрик Победитель стал также и королём Дании, где правил до самой своей смерти около 995 года.

Король Эрик проявил себя искусным организатором, основав на берегах озера Меларен поселение Сигтуна, отобравшее роль важного торгового центра у древнейшего города викингов Бирка.

Будучи язычником, Эрик поклонялся скандинавскому богу Одину, но имеются сведения, что в течение короткого периода он открыто признавал свою веру также и в Белого Христа — бога христиан.

#### 4.

#### **Король Олаф Чеканщик, правление ок. 995 — 1022**

Олаф, сын Короля Эрика, стал Королём-основоположником: при нём шведы впервые начали чеканить монету, за что он удостоился прозвища Шётконунг (Король-Чеканщик).

Он же первым из шведских королей принял христианство.

В старинном предании сказано о крещении Олафа в 1008 г. близ селения Хусабу (провинция Вестра-Гёталанд) в ручье, называемом ныне источником Бригитты [швед. Birgitta].

Олаф, по всей вероятности, властвовал в большей части исторических провинций в землях Свеаланд и Гёталанд. Более определённо нам известно, что повелением Олафа в городе Скара была учреждена епископская кафедра. Однако попытки ликвидировать давнюю языческую церковь в городе Упсала окончились неудачей из-за упорного нежелания жителей Свеаланда ввести у себя христианство.



Церковь на месте крещения Короля Швеции Олафа Шётконунга.  
Селение Хусабу, провинция Вестра-Гёталанд. Фото шведского бюро Pressens Bild.

Датчанин Свейн Вилобородый, бывший противник отца Олафа, Эрика Победителя, поддержал Олафа в его борьбе против других лидеров за власть в Скандинавии. В союзе с ним Олаф победил норвежского короля Олава Трюгвасона в жестоком морском сражении при острове Свольдер в 1000 году.

Расположение места битвы точно не определено до сих пор.

Одни исследователи утверждают, что Свольдер находился в Балтийском море возле острова Рюген, другие связывают его с расположенным в проливе Эресунн островом Вен.

Олаф взял в жёны принцессу Эстрид, дочь князя из западно-славянского племени ободритов. Дочь Олафа и Эстрид, Ингигерда в 1019 г. вступила в брак с новгородским князем Ярославом, ставшим впоследствии правителем Киевской Руси под именем Ярослав Мудрый. Невеста получила в приданое равнинные территории, называемые в наши дни Ингерманландия, ограниченные Чудским озером на западе и Ладожским озером на востоке. Король Швеции Олаф Шётконунг умер не позднее 1022 г.

## 5.

### **Король Анунд–Якоб Углежог, правление ок. 1022 — 1050**

После смерти Олафа Шётконунга королевскую власть унаследовал его 14-летний сын Анунд, получивший при крещении христианское имя Якоб.

«Конечно же, он был юн годами, но благочестием и мудростью превзошёл всех своих предшественников» — упомянуто в хрониках 1070-х годов летописцем Адамом Бременским.

Несомненно, что этой похвалы шведский Король Анунд удостоился ввиду предпочтения, оказанного им посланцам епархии архиепископа Гамбурга и Бремена, перед британскими миссионерами-англиканцами.

«Древние Заповеди Вестра-Гёталанда» отметили, что Анунд-Якоб, подобно его коронованным предкам, был груб и жесток в отношениях со своими вассалами.

Владения неподчинявшихся ему жителей Король Анунд сжигал дотла, и потому сохранился в людской памяти под прозвищем Кольбрена (Углежог).

В никогда не утихавшей борьбе между ведущими королевскими династиями за общескандинавский трон, Анунд порой объединялся с датскими претендентами, затем переходил на сторону претендентов-норвежцев, стремясь и тут и там помешать союзу королевств Дании и Норвегии под властью единого правителя.

В 1026 году Анунд-Якоб и норвежский король Олав Харальдссон (прозванный после смерти Святым), объединив свои войска, напали на Данию. Однако в решающей морской битве в устье реки Хельгё в провинции Сконе датский король Кнут Великий заставил их отступить.

После этой войны датчанин Кнут в течение нескольких лет господствовал на покорённой части территории Свейского Королевства. Умер Король Анунд-Якоб около 1050 года.

## 6.

### **Король Эмунд Старый, правление ок. 1050 — 1060**

Со смертью Анунда Углежога власть в королевстве перешла в руки его сводного брата Эмунда, сына Короля Олафа Чеканщика и его наложницы Эдлы. «Древние Заповеди Вестра-Гёталанда» сообщают имя Эмунда в перечне королей, характеризуя его как человека «скаредного и стропивого, проявляющего своё непомерное честолюбие в исполняемых делах», за что в народе Эмунд получил прозвище Скверный.

В другом источнике мы находим прозвище Короля как Эмунд Старый, поскольку он взошёл на трон уже будучи в солидном возрасте.

Совместно с датским королём Свеном Эстридссоном Эмунд утвердил между территориями королевств Швеции и Дании границу, которая сохранилась с незначительными изменениями до начала XVII века. В полном противоречии с политикой предшествующих Королей — отца Олафа и сводного брата Анунда-Якоба, Эмунд доброжелательно принимал приезжавших к нему послов от церкви англосаксов, чем вызывал сильное недовольство архиепископа Гамбурга и Бремена. Имя королевы — супруги Эмунда — не сохранилось.

Вероятно, что одним из его сыновей мог быть Ингвар Витфарне (Исчезнувший Вдали), молодой военачальник, известный нам, как глава отряда викингов во время их последнего набега на восточную окраину Европы.

Пройдя степи Приднепровья и ущелья Кавказа, Ингвар заболел и умер в 1041 году вблизи Каспийского моря.

Король Швеции Эмунд Старый скончался в 1060 году.

С его кончиной пресеклась воспетая скальдами древняя династия Инглингов, правившая на протяжении нескольких веков на землях скандинавских королевств.

## 7.

### **Король Стенкиль, правление ок. 1060 — 1066**

Переход от Эпохи Викингов к Эпохе Средневековья отмечен появлением в 1060 году на шведском троне новой королевской династии, происходившей из знатного семейства провинции Вестра-Гёталанд.

Найденные в различных источниках сведения о первом правителе, Короле Стенкиле, существенно расходятся. Предположительно, его отец Рагнвальд был наместник (ярл) при дворе Короля Олафа Чеканщика.

«Древние Заповеди Вестра-Гёталанда» описывают Стенкиля как «обожаемого властного Короля, опытного восначальника и исключительно меткого лучника».

Согласно исландской саге, Король Стенкиль был «тяжёл на подъём, излишне медлителен, обожал затяжные пиры с обильными выпивками, из-за чего правитель стал славен своей тучностью и ленью».

Проявляя усердную набожность, Король Стенкиль прилагал усилия к распространению христианства, а встречал на этом пути лишь несогласие населения.

К концу одиннадцатого столетия язычество всё ещё было достаточно сильно во многих частях Швеции и, в частности, в земле Свеаланд.

Задуманное епископом Адалвардом Младшим низвержение языческих святынь в Старой Упсале, несмотря на содействие Короля Стенкиля, не удалось. Жертвоприношение богам в Старой Упсале с давних пор было личной обязанностью свейских королей. Однако для христианина Стенкиля было немислимо даже присутствие при подобном языческом действе.

В свою очередь, его отказ означал, что такой король не мог уверенно властвовать в провинциях, окружавших озеро Меларен, и не мог рассчитывать на поддержку тамошних жителей.

Женой Стенкиля была дочь Короля Эмунда Старого. Стенкиль умер в 1066 году естественной смертью.

## 8.

### Претенденты Эрик VII и Эрик VIII, 1066 — 1067

Единственное, о чём можно с уверенностью говорить, упоминая исторический период после смерти Короля Стенкиля, это о вспыхнувшей межрелигиозной смуте.

Христианская церковь не утвердилась в Королевстве и потому не смогла остановить возникший хаос. На язычников по-прежнему оказывали своё влияние Эсир (Эльфы Света) — олицетворение божественных Созидательных Сил в древней религии викингов. Страна переживала боли, подобные родовым схваткам. По сути — разразилась гражданская война феодалов-язычников против феодалов-христиан, что доказывает отсутствие на троне единого полновластного Короля.

Летописец той эпохи Адам Бременский предпочёл выделить из среды многочисленных соперников в борьбе за власть двух претендентов на королевский титул, называя каждого из них именем Эрик.

Откуда они появились, из каких знатных семей вышли — теперь уже не может быть достоверно установлено. Возможно, что один из них являлся принцем крови, сыном предыдущего Короля Стенкиля, но это — увы! — относится к области предположений.

Наиболее загадочные фигуры шведской истории, Эрик VII и Эрик VIII, всё же включены в общий список королей под номерами для соблюдения очередности.

Также нужно поверить впечатлительному хроникёру, который записал и — нет сомнений! — явно при этом преувеличил, что на полях междоусобных сражений полегли абсолютно все магнаты Королевства.

А среди них пали в битвах и оба таинственных Эрика.

9.

**Король Хальстен Кроткий,  
правление ок. 1067 — 1070 и вторично 1079 — 1084**

Когда смертоносные вихри сражений за обладание тронем улеглись, в Короли избрали юношу Хальстена.

Несмотря на то, что наследование монархической власти в королевстве ещё не была узаконено, Хальстен обладал приоритетом, как сын Короля Стенкиля, хотя в это, первое для него царствование, ему было только шестнадцать или семнадцать лет.

Первое правление Короля Хальстена длилось недолго. Около 1070 года он был низложен его противниками.

Неважно, кто именно это был; вполне возможно, что сторонники ещё одного претендента Хокана Рыжего. Главной причиной свержения Хальстена, скорее всего, послужил его отказ выполнить давнюю обязанность свейских королей — принести жертву языческим богам.

Всё-таки, в 1079 году Хальстен возвратился на трон как Король, и стал управлять страной совместно со своим, не по возрасту развитым, младшим братом Инге, который, тем не менее, имел прозвище Старший.

«Древние Заповеди Вестра-Гёталанда» содержат записи похвальных слов действиям Короля Хальстена. Сказано, что в рассмотрении тех дел, которые ему приходилось решать, Хальстен показывал себя справедливым и пронизательный судьей, сохраняя при этом «деликатность и уравновешенность», за что в народе его называли «кротким и милостивым».

За время правления братьев христианская религия в Швеции приобрела сильное влияние, на что обратил внимание их современник Папа Римский Григорий VII.

Нам известно об этом из сохранившейся переписки с выражением папского удовольствия, адресованного как Королю Хальстену, так и его брату.

Но язычество ещё обладало достаточным временем и возможностями, чтобы сделать свои ответные ходы.

10.

**Король Анунд Гардский, правление в начале 1070-х**

Выборы преемника Королю Стенкилю на королевском троне привели к непредвиденным затруднениям.

На некоторое время правителем стал сын Стенкиля Хальстен, но вскоре он был лишён короны. Ради соблюдения законов наследования престола, предполагаемый Король должен был иметь хотя бы отдалённые родственные связи с прежними свейскими королями, но таких наследников, при всех стараниях, не смогли отыскать в пределах Королевства Свеев.

В поисках кандидатов на трон взоры обратились на восток, к населённой русами стране, называемой скандинавами Гардарика [Земля Многих Городов]. Княжеская династия, правившая Русью с 800-х годов, зародилась от праотцов из Свейского Королевства.

Среди князей и был отыскан подходящий претендент.

Им стал приверженец христианской веры Анунд, который выразил согласие стать Королём Свеев, для чего он переправился через Балтийское море в отечество своих пращуров.

Правление Короля Анунда Гардского [от названия Гардарики] получилось слишком кратким — до его первого отказа от проведения языческого жертвоприношения в церкви Гамла Уппсала.

«Древние Заповеди Вестра-Гёталанда» повествуют, что, как случилось и прежде в подобных ситуациях, Король был отстранён от власти и низложен знатью.

В записях летописца Адама Бременского говорится, что при отъезде Анунда Гардского из Королевства «народные сборища торжествовали, считая его заслуженно подвергнутым бесчестью во имя Иисуса».

Куда направился Анунд, в Заповедях не сказано. Вероятней всего, он возвратился домой в Гардарики.

## 11.

### Король Хокан Рыжий, правление около 1068 — 1080

На протяжении веков отряды вооружённых свеев многократно появлялись то тут, то там в окрестностях Балтики, разрушая и сжигая прибрежные селения.

Страдая от многократных набегов, местные жители соглашались смириться и выплачивать ежегодную дань, лишь бы избежать разорительных грабежей.



Руническая надпись, упоминающая Короля Хокана Рыжего.  
Камень в Королевском дворе Ховгарден на острове Адельсо, озеро Меларен.  
Фото шведского агентства RAA.

Порой, покидая чужие края, свейские предводители оставляли там некоторое количество воинов, доверяя им регулярное выполнение назначенных поборов.

Такие периодические вторжения и непрерывное присутствие сборщиков приводили к повсеместному возникновению постоянных свейских поселений.

Средневековые шведские короли, возвращаясь из этих длительных походов в своё Королевство, предпочитали затем подолгу жить в Вестра-Гёталанде, вблизи озера Меларен, где уже давно проросли их родовые корни.

Это объяснялось желанием, отдохнув на родной sveйской земле, вновь почувствовать себя гётами. Таким же образом объявился на земле Вестра-Гёталанд Король Хокан Рыжий, проживавший в приходе Левене.

Однако, из этого факта не следует, что он непременно должен считаться местным уроженцем, хотя среди историков ведутся давнишние дискуссии — принадлежал ли Хокан к дому Короля Стенкиля?

Согласно «Древним Заповедям Вестра-Гёталанда», рыжеволосый Хокан правил «тринадцать зим подряд».

Т.е., либо он был соправителем вместе с кем-то ещё, либо властвовал только над частью Швеции. Похоронен Король Хокан I Рыжий, вероятно, в Левене.

## 12.

### **Король Инге Старший, правление около 1079 — 1084 и 1087 — 1110**

Сын Короля Стенкиля Инге (Ингольд I), по прозвищу Старший, обладал необычайно крупной фигурой, поэтому средневековый летописец описывает его так: «высокорослый предводитель, исполненный величия».

Исландская сага характеризует Инге более критически, используя презрительное словцо «толстозадый». Однако не только своим приметным телосложением запомнился Король Инге современникам и потомкам.



Серебряная утварь из тайника в церкви Гамла Упсала.  
Вероятно, захоронена при изгнании Короля Инге Старшего.  
Государственный Исторический Музей в Стокгольме.

В период совместного (со старшим братом Хальстеном Кротким) правления Королевством Инге поддерживал переписку с Папой Римским Григорием VII и, благодаря этому, упоминается историками, как ревностный защитник христианства на заре шведской монархии.

Его христианское рвение неотъемлемо сочеталось с принуждением, поскольку веру в единого Бога sveи-язычники встречали с великим скептицизмом.

Когда на Ассамблее в Упсале в 1084 году Инге стал настойчиво требовать запрещения традиционных жертвоприношений, его забросали камнями и прогнали прочь, принудив скрываться в лесах Вестра-Гёталанда. Новым Королём был избран язычник Блот-Свен.

Три года изгнанный Инге вынашивал планы возмездия. Затем, во главе отряда своих сторонников, он вернулся в Свеаланд, где жестоко расправился и с Блот-Свеном (между прочим, шурином Инге), и с членами его семьи. Деревянная церковь в Упсале была сожжена дотла. Таким образом, бастион язычества, выдающийся культовый центр древне-скандинавской религии, рухнул, завершив межрелигиозные битвы.

Король Инге участвовал в создании новых епархий, при этом возник первый в Швеции монастырь Врета. Однако минуло немало времени, прежде чем свейское население перестало поклоняться Тору, Одину и другим испытанным и надёжным языческим богам.

### 13.

#### Король Свен Жрец, правление около 1084 — 1087

Отказ Короля-христианина Инге Старшего совершать жертвоприношения языческим богам в Старой Упсале привёл к его свержению и изгнанию из Свеаланда.

Кто же должен властвовать в Свейском Королевстве?

Временным решением этой проблемы стало избрание последнего (как оказалось!) Короля-язычника Свена, с весьма подходящим к его религии прозвищем — Блот, т.е. священнослужитель, приносящий жертву, «жрец». Блот-Свен ничего не имел против почитания прежних богов и с согласием вышел на политическую сцену.

*«Ввели в Ассамблею Коня.  
А нынче, как Старая Кляча,  
в куски он изрублен  
и выброшен Псамна съеденье.  
Священное дерево  
жертвенной кровью  
окрасилось в пурпурный цвет».*

Так сказано в древнеисландской «Саге о Хервёр и Хейдреке», откуда нам известно о замене Королей.

Блот-Свен сумел продержаться у власти три года, пока однажды ранним утром не наступил его конец. Прежний Король Инге Старший, и вместе с ним его вооружённая орда, неожиданно ворвались в усадьбу, где остановился на ночь Блот-Свен с телохранителями.

Все строения предали сожжению; сам же Король Блот-Свен, сумевший вырваться из пламени, и его сын Эрик были тут же зарублены разбушевавшейся ватагой. При таких событиях, с огнём и кровью, прекратились в Швеции религиозные войны, а христианская вера установила в королевстве своё формальное правление. Тем не менее, новая религия пока ещё не проникла в сознание народа достаточно глубоко.

## 14.

### **Король Филипп Хальстенссон, правление около 1110 — 1118**

Династия Стенкиля продолжала после смерти Инге Старшего удерживать власть: своему дяде наследовал сын Короля Хальстена Филипп, о котором сохранились лишь краткие сведения, что он прилежно исполнял королевские обязанности до самой смерти в 1118 году. «Никто не мог обвинить его в нарушении закона», так записано в «Древних Заповедях Вестра-Гёталанда».

Продолжая дело предшественников, Король Филипп содействовал распространению христианства в стране. Служители церкви, озабоченные необходимостью внедрения в народ новых религиозных учений, крайне нуждались в поддержке короля, поскольку ещё далеко не все скандинавы стали убеждёнными христианами. Наиболее известным христианским проповедником во то время был Боврид Сёрмландский, ставший позднее одним из святых покровителей Швеции.

Аналогично тому, как в наши дни многие шведы противостоят включению Швеции в Европейский Союз, так и в XII веке, в основной массе свои сохраняли чрезвычайный скептицизм по поводу необходимости вхождения в европейское религиозное сообщество.

Стихийный отказ от своей независимости в угоду малоизвестному Папе Римскому их не привлекал. Антипатия к христианству была вызвана не столько самой религией, сколько потерей древнего культа. Когда на страну обрушивался неурожай либо любые иные природные бедствия, население однозначно воспринимало эти несчастья как кару в связи с прекращением жертвоприношений прежним богам.

Король Филипп взял в жёны Ингегерд, вдову датского конунга Олафа I Свейнссона, которая приходилась дочерью норвежскому королю Харальду III Суровому, внучкой русскому князю Ярославу Мудрому через его дочь великую княжну Елизавету, и правнучкой шведскому Королю Олафу Шётконунгу-Чеканщику.

Брак Филиппа с Ингегерд остался бездетным.

## 15.

### **Король Инге Младший, правление около 1118 — 1125**

После смерти Короля Филиппа Хальстенссона на трон взошёл его родной брат Инге Младший (Ингольд II). При этом власть осталась в руках династии Стенкиля.

Нам совсем мало известно как о самом Короле Инге, так и о периоде его королевского правления. Однако, перечисляя королей в «Древних Заповедях Вестра-Гёталанда», летописец сообщил, что в эту эпоху события развивались благоприятно для шведов.

Исключением стало «всего лишь» отравление Короля Инге Младшего неким «дьявольским напитком». Несчастье произошло, по-видимому, в монастыре Врета в Эстергётланде, где Короля и похоронили.

В 1919 году в монастыре проводились археологические раскопки, при этом были обнаружены два мужских скелета необычайно большого роста — 196 и 202 см.

Вполне вероятно, что это найдены останки родных братьев — Филиппа Хальстенссона и Инге Младшего, для которых высокий рост был семейным отличием. В частности, необыкновенно высоким мужчиной был их дядя — брат отца — Король Инге Старший.

Инге Младший вступил в брак с Ульфхильдой, дочерью норвежского военачальника Хокана Финссона. Детей у них не было, и династия Стенкиля по мужской линии прервалась со смертью Инге Младшего в 1125 г.

Овдовев, Ульфхильда ещё дважды выходила замуж. Сначала, в 1130 году, её мужем стал король Дании, шестидесятишестилетний Нильс Свендсен. Детей у Ульфхильды в этом браке также не было. Покинув престарелого Нильса, Ульфхильда перешла в жёны к шведскому Королю Сверкеру I Старшему, которому она родила, по крайней мере, троих детей.

## 16.

### **Король Магнус Сильный, правление около 1125 — 1130**

В Швеции так и не смогли найти законного кандидата на замену отравленному Королю Инге Младшему. Однако наследники, связанные с королевской линией Стенкиля родством, отыскались за пределами страны. Выбор пал на внука Инге Старшего, 19-летнего сына его дочери Маргарет и короля Дании Нильса, принца Магнуса Нильссона, исключительно высокорослого юношу, который вышлся над большинством окружающих его людей, буквально, на целую голову.

Датский летописец Саксон Грамматикотметил в своих хрониках, что в 1125 году гёты призвали Магнуса на шведский трон самостоятельно, опрометчиво забыв узнать мнение свеев, тем нарушив и закон, и традиции в давних притязаниях свеев на верховенство.

В «Древние Заповеди Вестра-Гёталанда» был включён «Акт Ограждения от Беззакония», подтверждавший для свеев «право в назначении и отвержении королей».

Новому Королю полагалось сначала принять почести возле Священного Камня Мора близ древней Упсалы. Затем он должен был проследовать в город Стренгнес на Ассамблею, где «его провозглашали Королём». После того процессия отправлялась в путь — через земли Эстергётланд, Смоланд, Вестра-Гёталанд, Нерке, Вестманланд и, наконец, прибывала назад в Упсалу. Новоизбранного Короля встречали у границ провинций уверениями в добровольном подчинении подданных и предоставлением ему заложников из знатных семей.

Но, в итоге, правление Магнуса получилось недолгим, т.к. sweи ответили избранием своего нового Короля, Рагнвальда Глупого; однако тот вскоре был убит, и Король Магнус Сильный возвратился на трон. В 1130 году Сверкер I Старший, Король свеев, сместил Магнуса и выслал на родину в Данию, где Магнус, убив герцога Кнуда Лаварда, вызвал гражданскую войну. Магнус погиб в 1134 году в битве при бухте Фотевик.

## 17.

### **Король Рагнвальд Глупый, правление около 1125**

Сведений о Рагнвальде Глупом сохранилось немного, и все они извлечены из перечня шведских королей в «Древних Заповедях Вестра-Гёталанда», поэтому он так и остался на веки вечные непонятым Королём.

Только прозвище служил главной его характеристикой.

Рагнвальд считался сыном одного из военачальников при дворе Короля Инге Старшего, обладавшего слегка необычным именем — Улоф Носатый-Король.

Избранный гётами в Короли датский принц Магнус Нильссон не был признан своими действительным Королём, и они сделали собственный выбор нового властителя, пригласив на тот же престол Рагнвальда. Однако, и у того корона не удержалась слишком долго.

Он заслужил своё прозвище Knarhovde, означающее «тупоголовый» или «идиот», или, если говорить мягче, Глупый, совершив роковую ошибку в своём первом же королевском проезде по шведским провинциям.

Пересекая границу Вестра-Гёталанда, он пренебрёг древней традицией, а именно — отказался взять заложников из среды чествовавших его знатных жителей и, тем самым, выразил им своё недоверие.

Всем западным гётам было нанесено тяжелейшее оскорбление, превратившее их в клятвопреступников. Участь Рагнвальда была решена местной Ассамблеей

Его приговорили к смерти и тут же убили в селении со специфическим названием Карлепитт [возможно, нынешний Карлеби вблизи Фальчёпинга, а может быть — Гётала в окрестностях г. Скара, Вестра-Гёталанд].

## 18.

### **Король Сверкер Старший, правление около 1130 — 1156**

Родные места и обширные землевладения очередного Короля Швеции Сверкера I, располагались в той части Эстергётланда, которая лежала южнее города Текерн.

Несмотря на своё остготское происхождение, Сверкер, по-видимому, стоял в некотором родстве с прежними властителями Свеаланда, иначе ему было бы нелегко стать Королём в центральных свейских провинциях.

Вдова Короля Инге Младшего, коварная Ульфхильда, сумела разглядеть в Сверкере человека с большими жизненными перспективами и ради него покинула своего мужа, которым в то время был датский король Нильс Свендсен, перейдя в жёны к свейскому Королю.

Новая королевская чета подарила ордену католиков-цистерцианцев, созданному преподобным Бернардом Клервоским, большие территории вблизи горы Омберг, на которых вскоре был основан монастырь Альвастра.

После смерти Ульфхильды Сверкер женился на Рикиссе — ещё одной женщине из высших сфер власти, дочери короля Польши Болеслава III и вдове Короля Магнуса Сильного, ставленника гётов на королевский трон. Положение Короля Сверкера было гораздо устойчивее в провинциях Гёталанда, чем в провинциях свеев, окружавших озеро Меларен, в которых многие магнаты тайно подыскивали возможности для его смещения.

Смерть неожиданно встретилась Сверкеру I Старшему, Королю Швеции, на мосту Эльбек в окрестностях аббатства Альвастра в праздник Рождества 1156 года, когда он спокойно направлялся на утреннюю мессу. Сверкер погиб от рук собственного конюха, возможно, подкупленного претендентом на трон Магнусом Хенриксеном. С 1896 года на этом месте стоит памятный камень.

19.

**Король Эрик IX Святой, правление около 1157 — 1160**

Король Эрик Святой, признанный покровитель Швеции и Стокгольма (изображен на гербе шведской столицы), мифический герой, в действительности имевший мало общего с реальным магнатом Эриком Йедвардссоном.

История его жизни, написанная через много лет после смерти, позволяет нам полностью оценить его деяния.



Король Швеции Эрик Святой.  
Деталь створки триптиха. Церковь в г. Сёдерчёпинг, Эстергётланд.  
Государственный Исторический Музей в Стокгольме.

Сын Эрика по имени Кнут приложил немалые старания для создания приемлемой легенды о своём отце как о человеке, достойном подражания; при этом исчезли упоминания о сомнительных для святого поступках. Однако официально Эрик так и не был канонизирован.

Тем не менее, в легенде сохранились крупинцы истины. В 1150 году Эрик в роли шведского Ярла (верховного правителя страны), вместе с епископом Упсалы Хенриком, совершили вторжение в Финляндию, где намеревались утвердить христианство, либо огнём и мечом наказать язычников-финнов за их непокорность.

Ещё один реальный факт — кровавая кончина Короля Эрика, случившаяся в 1160 году в день праздника Вознесения Христова в церкви Святой Троицы в Остра Арос (капище при викингах, ныне — город Упсала).

Пока Эрик участвовал в торжественной мессе внутри церкви, снаружи у дверей его поджидал датский принц Магнус Хенриксен с группой своих соратников.

По окончании богослужения, при выходе Короля из церкви на крыльцо, завязалась смертоубийственное побоище, во время которого Эрик был обезглавлен. Проведённое историками в более поздние времена изучение изуродованных останков Эрика показало, что он был в возрасте сорока лет и имел рост 167 см. Образ Эрика-мученика стал эффективным оружием в жестокой религиозной борьбе династии Эрика IX против династии Короля Сверкера I Старшего.

## 20.

### **Король Магнус Хенриксен, правление около 1160 — 1161**

Лежавшие на совести датчанина Магнуса Хенриксена два царубийства — Сверкера I Старшего и Эрика IX Святого, не помешали ему достичь королевского трона.

Узаконить притязания на шведскую корону он сумел, доказав своё родство со Стенкилем, прапрадедом по линии матери Ингрид, внучки Короля Ингольда II.

Первым делом, Король Магнус назначил родного брата Рагвальда на должность Ярла — это высшая после Короля ступень в средневековой иерархии власти.

Как нам известно, оба брата одаривали аббатство Врета дополнительными пахотными землями, чтобы обеспечить себе вечный покой в загробной жизни.

Той порой, почва под тронем продолжала колебаться.

Признание Магнуса, как Короля, населением всех шведских провинций оставалось весьма сомнительным. Многие аристократы претендовали на его положение влиятельного Швеции и соперничали между собой.

Первый мятеж, возникший под руководством Кнута, сына Эрика Святого, был умело подавлен Магнусом: Кнут проиграл битву и был изгнан из королевства.

Влиятельный Карл Сверкерссон, сын Сверкера I, ещё в 1158 г. считался в Эстергётланде Королём Остготов. Именно Сверкерссон добился победы над Магнусом. В 1161 году яростное вооружённое столкновение вблизи города Эребру в провинции Нерке стало последним для возглавлявшего своё войско Короля Швеции Магнуса Хенриксена.

Королевская рать была полностью разбита Королём Остготов, и сам Магнус погиб в схватке. Местоположение его могилы осталось неизвестным.

## 21.

### **Король Карл VII Сверкерссон. Король Эстергётланда около 1158; правление всем шведским королевством около 1161 — 1167**

Одолов Магнуса Хенриксена, на трон взошёл Король Карл VII Сверкерссон, но борьба за королевскую власть между династиями при нём не прекратилась. Теперь эту борьбу следовало рассматривать не как конфликты между двумя провинциями — Упланд и Эстергётланд, а как междоусобицу двух венценосных семей — Сверкера I Старшего и Эрика IX Святого.

Король Карл укрылся от врагов на острове Визингсё посреди озера Веттерн, желая сменить годы кровавых ссор на краткий период сравнительно мирной жизни.

Здесь монарх чувствовал себя в безопасности и хотел сосредоточиться на стабилизации собственной власти.

Начиная с 1103 года, шведская церковь подчинялась архиепископу из города Лунд, христианского центра на земле Южной Швеции, принадлежавшей тогда Дании.

Карл сумел завоевать благосклонность святых отцов для создания собственного архиепископата в Упсале. Это удалось, благодаря совместным усилиям датского архиепископа Эскиля, жившего в Лунде в изгнании, и английского монаха Стефана из монастыря Альвастра.

В присутствии Папы Римского Александра III Стефан был посвящён в первые шведские архиепископы.

Церемония проводилась в кафедральном соборе Сент-Этьен французского города Санс 5 августа 1163 года.

Всё же, действительность показала, что безопасность и стабильность Короля Карла VII остались иллюзорными. Однажды весенним днём 1167 года к берегам острова Визингсё явился вождь династии Эрика Святого Кнут. Он обнаружил убежище Сверкерссона и убил Карла.

## 22.

### **Братья-Короли Бурислев и Коль, правление около 1167 — 1173**

К моменту убийства Короля Карла VII его сын Сверкер был слишком молод, чтобы возложить на себя корону. Воспользовавшись этим, власть над всем королевством попытался захватить клан Эрика IX, но династические потомки Короля Сверкера I и не думали покориться.

Вместо юного Сверкера претендентами на королевский трон выступили племянники Карла VII, сыновья его брата Ярла Йохана со необычными для свеев именами. Братьев звали Бурислев и Коль.

Бурислев получил имя по своему деду со стороны матери Рикиссы, польскому Королю Болеславу III. Коль был назван в память о деде Сверкера I Старшего, предыдущего Короля в их роду. Рассматриваемый период шведской политической истории освещается в источниках крайне скудно, поэтому истинная ситуация нам неизвестна в точности. Некоторое время братья Йоханссоны, видимо, правили совместно, но не исключается, что сначала Королём стал Бурислев, а уж после его смерти последовал Коль.

Оба брата считали себя «Королями», но их власть распространялась, очевидно, только на Эстергётланд. Во всяком случае, претензии на высший пост во всей стране, предъявленные убийцей Короля Карла VII Кнудом Эрикссоном, они не признавали правомочными. Об одном только можно высказаться с уверенностью: были тревожные годы кровавых пригизаний на власть. Бурислев был убит в 1169 году, а Коль погиб в битве в местности Бьельбу в Эстергётланде в 1173 году. Окончательная победа досталась Кнуду Эрикссону.

## 23.

### **Король Кнут I Эрикссон, правление 1167 — 1196; всей Швецией 1173 — 1196**

Возвращение сына Эрика Святого, Кнута в 1167 году домой после 10-летнего изгнания странным образом совпало с убийством Короля Карла VII Сверкерссона.

Первыми же усилиями Кнут предпринял попытки узурпировать власть в всех шведских провинциях. Однако, добиться заметного успеха ему не удалось.

Активное противостояние Бурислева и Коля — лидеров династии Сверкера, а также царившие повсюду хаос и междоусобица значительно осложняли жизнь Кнута.

В «Древних Заповедях Вестра-Гёталанда» отмечено, что «Швеция покори-лась мечу» Короля Кнута I, которому потребовалось «преодолеть тяжёлые испыта-

ния, чтобы восстановить мир и порядок в Швеции к 1173 году». Тогда он смог называть себя Королём уже всей страны.



Оттиск королевской печати Короля Кнута I Эрикссона.  
Фото из книги «Шведские короли и королевы всех времён», 1952 г.

Правление Короля Кнута I Эрикссона, удивляет своей большой, по меркам тех времён, продолжительностью, несмотря на отсутствие спокойствия и безопасности.

Всего через один год Кнуту уже противостоял новый сильный противник: глава знатного рода из Бьельбу, Ярл Биргер Броса (Улыбчивый), одарённый политик, почти 30 лет продержавшийся на вершинах власти. Вероятно, высокого положения Биргер добился потому, что Кнут не стал действенным лидером повсеместно.

За годы правления Кнута I укрепились торговые связи Швеции с западными странами через Любек и Англию. Однако, продление морских путей на восток встречало сопротивление со стороны эстов, всё ещё язычников, прирождённых мореходов, постоянно совершавших набеги и грабежи вдоль шведского побережья Балтики.

В частности, ими был разорён торговый город Сигтуна.

Для защиты от пиратов сооружались оборонительные укрепления и башни, одна из которых разместилась на островке, где с годами возникла столица страны.

Король Кнут I Эрикссон умер естественной смертью. Его могила расположена в церкви монастыря Варнхем.

## 24.

### Король Сверкер II Младший, правление 1196 — 1208

После убитого в 1167 году Короля Карла VII остался его единственный ребёнок, косолапый Сверкер, которого наверняка убийцы предпочли бы также видеть мёртвым, но Королева Кристина Стигсдоттер отправила крошку-сына к своим родственникам в Данию, и тем спасла его. После кончины Короля Кнута I в 1196 году всемогущий Ярл Биргер Броса призвал Сверкера вернуться на родину и там провозгласил тридцатилетнего принца Королём. Претендентам по линии Эрика Святого дали заверения, что их очередь в наследовании престола придёт вслед за Сверкером

Младшим, и этим вынудили их согласиться. Одновременно продолжилось усиление рода Бьельбу, т.к. дочь Ярла Ингергерд фактически стала женой Сверкера II.

В скором времени Король учредил привилегии для ряда церковных епархий, в частности, для архиепископства Упсала, а также освободил церковь от уплаты налогов, что явилось вдохновляющей поддержкой для верующих. В 1202 г. Ярл Биргер Броса умер, и Сверкер объявило назначении Ярлом своего годовалого сына Юхана.

Тем самым был дан несомненный знак династии Эрика — кому же следующему достанется трон, а это не могло не вызвать огорчения в среде их претендентов, и новая гражданская война вспыхнула незамедлительно.

На стороне восставших выступили все четыре сына предыдущего Короля Кнута I, но Сверкер смог разбить бунтовщиков в ноябре 1205 г. в битве при Эльгаросе (Вестра-Гёталанд), где трое Кнутссонов погибли.

Старший брат Эрик уцелел и во главе наёмного войска норвежцев предпринял в 1208 году ещё один мятеж. В этой попытке ему сопутствовал успех: Сверкер II проиграл сражение близ Лена и вновь бежал в Данию.

Через два года вместе с наёмниками-датчанами Сверкер Младший возвратился, намереваясь отобрать корону. На этот раз Эрикссоны взяли в союзники клан Бьельбу и одержали победу в июле 1210 года в кровавой сече близ Гестилрена, при этом Король Сверкер II был убит.

## 25.

### Король Эрик X Кнутссон, правление 1208 — 1216

В результате триумфальной победы над армией Короля Сверкера II в сражении близ Лена в Вестра-Гёталанде 31 января 1208 года, мятежник Эрик Кнутссон сам превратился в Короля Швеции, назвавшись Эриком X.

Окончательное поражение Сверкера Младшего вблизи Гестилрена в июле 1210 года и его гибель в этой битве обеспечили условия для укрепления власти Эрика.

С целью полного умиротворения королевского дома Дании — союзника Сверкера II в прошедшей войне — Эрик взял в жёны датскую принцессу Рикиссу, дочь короля Дании Вольдемара Великого (получившего имя в честь своего прадеда, киевского князя Владимира Мономаха) и княжны Софьи Володимировны Минской.

Чтобы преодолеть скептицизм церкви, Эрик X позволил своему недругу, архиепископу Валериусу Упсальскому, руководить в ноябре 1210 г. коронационной церемонией — первой коронацией, упомянутой в шведской истории.

Против коронавания Эрика резко возражал Папа Римский Иннокентий III, который сам поддерживал предыдущего Короля Сверкера II Младшего, однако позднее он сменил первоначальный гнев на милость и пообещал шведскому монарху покровительство, официально подтвердив это своим письмом, датированным 4 апреля 1216 года.

Но это письмо — увы! — так никогда и не было прочитано Эриком, поскольку 10 апреля того же года Король, всего лишь тридцатилетний, скончался от туберкулёза в своём неприступном поместье Нес на острове Визингсё. Короля Эрика X похоронили в церкви монастыря Варнхем. Ко времени кончины Эрика у него не было детей, но его жена Рикисса была тогда беременна, и спустя несколько месяцев у неё родился мальчик, сохранившийся в перечне королев под именем Эрик Шепелявый-и-Хромой.

## 26.

### Король Юхан I Сверкерссон, правление 1216 — 1222

Едва только Юхан Сверкерссон достиг официального возраста совершеннолетия — пятнадцати лет, как его сразу же провозгласили очередным Королём Юханом I.

Таким путём корона вернулась к династии Сверкера I. Претендент от семейства Эрикссон, сын предыдущего Короля Эрика X, тоже Эрик, прозванный впоследствии Шепелявым-и-Хромым, был слишком молод для трона.

Церемонию коронации провели в 1219 году в церкви на месте нынешнего широко известного кафедрального собора в городе Линчёпинг, провинция Эстергётланд.

Юхан I, по молодости лет, не стал примерным Королём, и, по всей вероятности, вместо него решения принимал младший брат Ярла Биргера Броса, Ярл Карл Глухой.

Престарелый архиепископ Валериус, без сомнения, также не упускал возможностей высказывать мнение.

С давних времён свеи рассматривали прибалтийские территории как сферу своего влияния и интереса. Не удивительно, что и Карл Глухой, и всё потомство династии Сверкера Старшего сильно встревожились из-за вторжения в Эстонию в 1219 году войска датчан, возглавляемого королём Вальдемаром II Победителем. Датского монарха шведы считали врагом, поскольку он возражал против возвышения Юхана I и поддерживал династию Эрикссон в её королевских притязаниях.

В ответ на датскую интервенцию, уже в следующем году отряды шведских крестоносцев, ведомые Королём Юханом I, с боем захватили остров Эзель (Сааремаа).

Столь успешно начатая военная кампания завершилась катастрофическим поражением: Король отправился на отдых в Визингсё, а эстонцы, воспользовавшись его отсутствием, атаковали крепость Лихула и перебили в ней почти всех шведов, включая Ярла Карла Глухого.

Вскоре после того, бездетный король Юхан I скончался от болезни в возрасте всего 21 год, и с его смертью пресеклась мужская линия династии Сверкерссон.

*(продолжение следует)*

\* Издательство «*Historiska Media*». Лунд, Швеция, 2004. ISBN 91-85057-63-0.



**Ефим Курганов**  
**ШПИОН ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,**  
**ИЛИ 1812 ГОД**  
**Историко-полицейская сага в четырех томах**

(продолжение. Начало в №6/2014 и сл.)

**Том первый**  
**ПЕТЕРБУРГ—ВИЛЬНА**  
**МАРТ — ИЮНЬ 1812-ГО ГОДА**

**ЭПИЗОД ТРЕТИЙ:**  
**Мнимые привидения,**  
**или История одного пророчества**

*Что есть история, как не басня,  
в которую договорились верить.*  
Наполеон

*Добрые дела, — то, что человек совершает,  
дабы вернуть частицу Всевышнего к источнику и корню всех миров.*  
Шнеур Залман из Ляд

*Высота духа есть пустой звук,  
ежели она не подкреплена ежедневными деяниями.*  
Яков де Санглен

### **От автора**

События, описанные в нижеследующем повествовании, какими бы неожиданными они не показались читателю, если не считать некоторых деталей, действительно, имели место.

Все действующие лица реально существовали.

Сын французского эмигранта Яков Иванович де Санглен, переводчик, журналист, писатель (автор нескольких романов), ученый-историк и разведчик, был именно тем человеком, который руководил борьбой России со спецслужбами Наполеона Бонапарта, и успешно руководил.

Шнеур Залман из Ляд (1745-1813), величайший еврейский мыслитель, соединивший изучение Священного писания, Талмуда и Каббалы, имевший множество учеников (он известен как первый любавичевский ребе), создал летом 1812-го года на территории Литвы и Белоруссии целую разведывательную сеть, которая работала на российскийскую армию и предотвратила не одну катастрофу.

Более того, Шнеур Залман обратился с посланием к своим единоверцам, в котором призывал их вредить Наполеону и оказывать максимальное содействие российским войскам. Это — исторические факты.

Дом Бауфала (иначе: Бауфалов кабак), расположенный рядом со старым лютеранским кладбищем в окрестностях Вильнюса, реально существовал и был сожжен летом 1812-го года. С этим домом местные жители связывали множество легенд и всякого рода фантастических историй, в которых немалую роль играли привидения.

Отставной гусарский ротмистр российской службы Давид Саван (Savant), в самом деле, являлся двойным агентом и нанес в 1811-1812 годах французской и польской разведке немалый урон. Начальнику генерального штаба польской армии он не раз доставлял заведомо ложные сведения, специально разработанные в генеральном штабе российской армии, при непосредственном участии Барклая де Толли.

В канцелярии российской высшей воинской полиции на службе в 1812-м году, действительно, состоял коллежский секретарь Виктор де Валуа.

Это чрезвычайно интересно и по-своему показательно — в борьбе с наполеоновской разведкой с русской стороны принимал активнейшее участие представитель французского королевского рода.

Не исключено, что директор Высшей воинской полиции при военном министре и доверенное лицо российского императора Александра I Яков Иванович де Санглен, и в самом деле, вел в 1812-м году секретный дневник, в котором фиксировал встречи и донесения со своими сотрудниками.

Я лишь попытался этот дневник реконструировать, насколько это было в моих силах, насколько это позволяли имеющиеся в моем распоряжении источники.

В любом случае такой дневник вполне мог существовать. И если он действительно существовал, то в общем и целом вполне мог бы быть таким, каким я представил его в предлагаемом сочинении.

*Ефим Курганов. Париж. 11 сентября 2007 г.*

## **О графе Льве Толстом и «дубине народной войны»**

### **От публикатора**

Предлагаемый фрагмент из секретного дневника военного советника Якова Ивановича де Санглена (1776-1864) [1], возглавлявшего в царствование Александра I русскую тайную полицию, полагаю, будет интересен для многих — как для профессиональных историков, так и для всех тех, кто захочет узнать что-то новое об Отечественной войне 1812-го года, о борьбе русской и французской разведок.

Читателю представляется счастливая и даже, пожалуй, уникальная возможность увидеть первые десять дней наполеоновского нашествия на Россию, с 13-го по 23-е июня 1812-го года, представляется возможность взглянуть на эти рубежные дни через опыт человека, прикосновенного к высшим тайнам международного политического сыска начала девятнадцатого столетия.

С этим на российском материале просто ничего нельзя сопоставить. Аналогичные источники до сих пор обнаружены не были.

Введение в научный оборот предлагаемой части дневника представляется совершенно необходимым. Это позволит уточнить, скорректировать, а кое в чем и принципиально изменить многие бытующие до сих пор расхожие представления о войне 1812-го года.

\* \* \*

Лев Толстой с гениальной убедительностью изобразил в «Войне и мире» партизанскую войну — «дубину народной войны».

Не собираясь оспаривать этого совершенно очевидного факта, хочу отметить только, что великий писатель почему-то не захотел показать, что народная война 1812-го года реально началась с того самого часа, как «Великая армия» переправилась через Неман, началась еще в Виленском крае.

Лев Толстой тщательно «замазал» то обстоятельство, что организованное сопротивление французам имело место еще до того, как неприятель появился в губерниях, в которых превалировало российское население. На самом деле писателем была произведена подтасовка фактов.

Все дело в том, что «дубина народной войны», можно сказать, опустилась на захватчика сразу, и это было совершенно неожиданно и для французов, и для русских тоже, кстати.

Реально ситуация была такова.

Польско-литовское население сразу же почти целиком перешло на сторону Наполеона. Императора встречали с необыкновенным энтузиазмом и называли «избавителем Польши», «нашим мстителем». Дворянство с воодушевлением присягнуло Наполеону, формировало польские полки и т.д.

Только еврейское население завоеванных губерний по призыву своего религиозного лидера Шнеура Залмана (1745-1813) [2], первого любовического ребе, создателя движения «Хабад», существующего и поныне, стало оказывать сопротивление Бонапарту и всемерно помогать отступавшим российским войскам.

Шнеур Залман обратился с особым посланием ко всем евреям, проживавшим в крае, и просил их о том, чтобы они встали на поддержку российского государства своим имуществом, работой и всем, что только у них было. Послание заканчивалось словами: «Не падайте духом и не придавайте значения временным победам ненавистника, ибо полная победа будет на стороне российского царя».

Но одними словами дело тут не ограничилось. Вообще религиозно-философские умозрения создателя «Хабада» всегда были действенны, обращены к практике.

Шнеур Залман из Ляд не только предрек поражение Бонапарта, прозвучавшее среди оглушительных побед императора Франции, не только обратился с посланием к своим единоверцам, но и активно содействовал этому поражению.

Он отправил десятки и, видимо, даже сотни своих учеников в армию Наполеона в качестве лазутчиков, и услуги, оказанные России учениками «Старого Ребе» (так его называли), были просто неоценимы.

Так, например, о переправе Наполеона через Неман российский император Александр I сначала узнал именно от еврейских лазутчиков, и только позднее прискакал к нему курьер из армии; точнее узнал от де Санглена, которому сообщили еврейские лазутчики.

Фактически уже в первые дни и недели войны из учеников первого любовического ребе была создана разветвленная разведывательная сеть, опутавшая Литву и Белоруссию, что, без всякого сомнения, довольно многое определило в ходе этой кампании.

Ограничусь одним весьма показательным, как мне кажется, свидетельством.

Генерал М.А. Милорадович впоследствии утверждал: «Эти люди суть самые преданные слуги Государя, без них мы бы не победили Наполеона и не были бы украшены этими орденами за войну 1812 года» [3].

Публикуемая часть дневника Якова (Жана) де Санглена содержит реальные свидетельства того, как в июньские дни 1812-го года начиналась борьба с Бонапартом и его «Великой армией», начавшей свое как будто победоносное шествие по просторам Российской империи.

Особое внимание стоит обратить внимание на фигуру отставного гусарского ротмистра русской службы Давида Савана (David Savant) [4].

Это был урожденный француз, который волею судьбы стал двойным агентом: вначале его завербовала польская разведка, а затем он стал одной из ключевых фигур в русской военной разведке [5]. Полагаю, что это был лучший русский агент того времени (Давид Саван еще ждет своего настоящего биографа).

Обо всем этом и многом другом, не менее захватывающе интересном, можно узнать из той части дневника военного советника де Санглена, что ныне удалось подготовить к печати.

\* \* \*

Папки с рукописями дневника хранятся на исторической родине Жака де Санглена — во Франции: муниципальный архив города Ош, департамент Жер, Гасконь.

Данная публикация подготовлена с любезного разрешения хранителя архива мадам Анн Марпине.

В расшифровке многих неясных мест дневника мне помог доцент Новосибирского педагогического института Игорь Лоцилов, в октябре 2005-го года посетивший Францию (он принял участие в международном коллоквиуме, посвященном изучению мифа и анекдота в русской культуре). За оказанное содействие приношу доценту Лоцилову свою искреннюю признательность.

И, наконец, заключительная справка.

Родился де Санглен в 1776-м году в Москве. Умер он в 1864-м году, похоронен на Иноверческом кладбище на Введенских горах в Москве.

*Николай Богомольников, профессор. Москва. 18-го мая 2006 года.*

*Роман Оспоменчик, профессор. Иерусалим. 18-го мая 2006 года.*

## **ИЗ СЕКРЕТНОГО ДНЕВНИКА ВОЕННОГО СОВЕТНИКА ЯКОВА ИВАНОВИЧА ДЕ САНГЛЕНА**

*Публикация: Николая Богомольникова и Романа Оспоменчика.*

*Перевод с французского: Михаила Умпольского.*

*Научный консультант: профессор Андрей Зорькин.*

### **Мнимые приведения (из виленских записей)**

*Посвящая баронессе Н. Штукмейстер.*

*Яков де Санглен. Декабря 20-го дня 1863-го года. г. Москва*

### **ВИЛЬНА И ОКРЕСТНОСТИ ИЮНЬ 1812-ГО ГОДА (13.06.12 — 23.06.12)**

**Дом купца Савушкина**

*Июня 13-го дня. Восемь часов утра.*

Еще не было шести часов утра, как в дверях моего кабинета — я работал с бумагами — стоял Зиновьев, камердинер Государя Александра Павловича, старинный мой знакомец.

Когда он появился в сей ранний час, я ни о чем не спросил его, молча поднялся, и мы тут же отправились в Виленский замок, дорогу к коemu я могу найти с закрытыми глазами.

Пока мы шли, Зиновьев по секрету поведал мне следующее.

Государь вернулся с бала в именин генерала Беннингсена «Закрет» около трех часов утра.

Александр Павлович тут же призвал к себе государственного секретаря Шишкова, сказав, дабы тот написал приказ нашим армиям и рескрипт фельдмаршалу Салтыкову о вступлении неприятеля в русские пределы.

По изготовлении всех этих документов, Его Величество подписал их без каких-либо малейших изменений.

Между прочим, рескрипт графу Салтыкову оканчивается поразительными словами (очень надеюсь, что они сбудутся): «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем».

Итак, я и Зиновьев отправились. Шли мы резво, чуть не бегом (чувствовалось, что он явно задыхается от быстрой ходьбы).

Ровно через двадцать минут я уже поднимался по лестнице Виленского замка, которая, не смотря на столь ранний час, была буквально запружена несущимися вверх и вниз офицерами, курьерами, адъютантами и каким-то невероятным, почти фантастическим количеством невесть откуда взявшихся генералов.

Лестница походила на рыночную площадь, какой она бывает в разгар воскресного дня. У меня даже в глазах зарябило от лихорадочного мельтешения военного люда. Давка была поистине чудовищная, но кое-как я все-таки протиснулся и не сразу, но добрался до Государева кабинета.

Дверь была раскрыта настежь. Александр Павлович, стоя у карты, выслушивал объяснения Барклая де Толли. В то же самое время у окна находились генералы Беннингсен и Аракчеев и о чем-то едва слышно говорили (выражение их лиц мне показалось ироническим). У другого окна расположились генерал-адъютанты Балашов и Волконский; видно было, что они захвачены беседой.

Когда я вошел, в мою сторону никто из присутствующих даже не взглянул (только мой недруг и завистник генерал Балашов как-то скривился и злобно покраснел) — один лишь Государь кивнул, внимательно продолжая, однако, выслушивать объяснения Барклая. Но вот военный министр закончил свой доклад. Александр Павлович вышел на середину огромного своего кабинета и обратился к присутствующим со следующими словами:

— Господа, прошу извинить меня. Не могли бы вы оставить сей кабинет минут на десять-пятнадцать, не более? Мне с военным советником де Сангленом нужно решить один вопрос, не требующий отлагательств.

Все генералы гуськом двинулись из кабинета, не скрывая своего явного неудовольствия. Как только за ними захлопнулась дверь, Государь Александр Павлович усадил меня на обтянутую жемчужно-серым шелком кушетку, сам же расположился рядом и только потом заговорил, внимательно глядя мне в глаза:

— Санглен, ты понимаешь, конечно — война уже идет. Бонапарт с основными своими силами переправился через Неман и движется прямо на Вильну; со дня на день он будет здесь. Завтра на рассвете я с генеральным штабом Первой армии отправляюсь в Свеняны. А вот до тебя у меня просьба: оставайся-ка пока в Вильне. Знаю, что это опасно, но я убежден, что ты здесь просто необходим сейчас. Я лично поручаю тебе создать в здешнем крае сеть наших тайных агентов с центром

в Вильне (да, наладь отношения с жидовским кагалом — они тут могут оказать не-оценимые услуги), и только после этого ты отправляйся в Свенцяны. Конечно, квартальный надзиратель Шуленберх — отличный работник, но все-таки этим делом должен заняться лично начальник высшей воинской полиции. Ты согласен?

Естественно, я отвечал полным и безусловным согласием. Государь проследил-ся и даже обнял меня, а потом прошептал:

— Береги себя, Санглен: ты еще понадобишься мне и России.

Когда я вышел из кабинета, то натолкнулся на четыре пары злобно глядевших на меня генеральских глаз (Аракчеева, Балашова, Беннингсена, Волконского). Один лишь Барклай де Толли смотрел на меня доброжелательно и ласково, отнюдь не ревнуя к тому вниманию, что оказал мне Государь.

Когда я спускался по лестнице Виленского замка, на встречу мне крайне неуверенно поднимался канцлер Николай Петрович Румянцев, известный своими симпатиями к Бонапарту — полагаю, что он в очередной раз шел проситься в отставку.

Я не мог не обратить внимания, что шедшие вслед за Румянцевым Кочубей и Нессельрод, фактически исполняющие должность канцлера, криво ухмылялись.

Во дворе мне встретился бригадный генерал Вильсон, официальный шпион британской короны при российском дворе, пронырливый до невероятия.

Вильсон было бросился ко мне, но я шел, как бы не замечая его — мне сейчас было не до разговоров с этим страстным выманивателем новостей.

*Июня 13-го дня. Полдень.*

В десять утра ко мне зашел Игнатий Савушкин, сын моего домохозяина и студент Сорбонны.

Вслед за ним (буквально через полчаса) явился и отставной гусарский ротмистр Давид Саван, коего я почитаю верным своим другом и помощником.

До сегодняшнего дня Савушкин и Саван не были знакомы друг с другом, хотя оба числятся, между прочим, по ведомству польского генерала Фишера и опять же оба состоят на службе в Высшей воинской полиции при военном министерстве Российской империи и подчиняются непосредственно мне.

Они были страшно изумлены и даже озадачены, когда я сообщил им, что остаюсь пока в Вильне.

При этом, с одной стороны, и Савушкин и Саван несказанно обрадовались этому известию, ибо мое пребывание в Вильне сильно облегчало бремя лежащейся на них ответственности, но одновременно не могли скрыть своего испуга. Они в один голос заговорили, что это крайне опасно.

Я улыбнулся, поблагодарил их за заботу и отвечал, что тут ничего изменить нельзя: оставаясь в Вильне, я исполняю личную просьбу нашего Государя Императора.

Я сообщил также Давиду Савану и Игнатию Савушкину, что сейчас же съезжаю и с этой квартиры и так как привидений отнюдь не боюсь, то переселяюсь в пустующий дом Бауфала или в Бауфалов кабак, что стоит у старого лютеранского кладбища, по правую сторону реки Погулянки.

Дом этот будет отныне моим командным пунктом, и я его покидать не буду, а связным явится мой верный камердинер Трифон — он будет передавать мои указания и доставлять информацию.

Мой план совершенно успокоил и Савана и Савушкина: Трифона они давно знали и вполне доверяли ему. — Конечно, опасность остается, — заключил отставной ротмистр, — но все-таки она совсем не так велика, как первоначально я полагал. Савушкин присоединился к этому мнению.

Ротмистр, как обычно, поселился в отеле Нишковского, что на Большой Ремизе, а Игнатий остается в доме своего отца.

Да, так что в ближайшие дни Трифону придется побегать, колеся между Большой Ремизой, особняком Савушкиных и старым лютеранским кладбищем, около коего приотился печально знаменитый в здешних краях дом Бауфала.

Саван и Савушкин рассказали мне, что получили уже из Варшавы первые инструкции от генерала Фишера.

Давиду Савану поручено узнать, не готовится ли по моему распоряжению покушение на Бонапарта, и если готовится, то он обязан его предотвратить, а вот студент Сорбонны Игнатий Савушкин должен выявить круг сотрудников Высшей воинской полиции, оставляемых в Вильне.

Прочтя инструкции, я засмеялся и сказал: «Господа, в любом случае вам двоим придется следить за мной. Что ж, я не против. Милости прошу в Бауфалов кабак. Местечко для вас всегда найдется».

Еще я напомнил Савану и Савушкину, что было бы замечательно, ежели бы хотя один из них смог попасть в штат переводчиков при ставке Бонапарта и что не плохо бы, если бы они на этот счет потеряли бы генерала Фишера. Оба обещали мне, что приложат все усилия.

К одиннадцати часам утра пришел квартальный надзиратель Шуленберх.

Мы договорились, что он прибудет, когда стемнеет, и отвезет меня с Трифоном в дом Бауфала, в этот старый кладбищенский кабак.

Еще явился за инструкциями капитан Ланг (мы не виделись уже несколько дней).

Я договорился с Лангом, что он с приданными ему казаками останется в Вильне. Решено, что они будут скрываться в подземелье, что расположено между улицами Субоч и Бакшта.

Старожилы поговаривают, как говорил мне квартальный надзиратель Шуленберх, что прежде в подземельях Бакшты ведьмы, колдуны и черти устраивали по субботам шабаш, отчего как раз улица, граничащая с Бакштой, называется Субоч.

Полицмейстер Вейс, правда, выводит название улицы Субоч из польского выражения «z ubosza» (с обочины).

Я, однако, более склоняюсь теперь к точке зрения Шуленберха — он переклассно знает множество преданий старой Вильны.

Но суть не в этом. Главное, что маленький отряд капитана Ланга остается в городе, что очень нешлохо.

Вообще весьма полезно раскидать силы Высшей воинской полиции по нескольким разным местам.

*Июня 13-го дня. Три часа полудни.*

Не успел я наскоро отобедать, как в дверь раздался громкий стук.

Кажется, не прошло и минуты, как в кабинет мой влетел Трифон и вручил мне сложенный вдвое лист бумаги, достаточно замусоленный и ободранный по краям.

Я тут же развернул то, что вручил мне Трифон. Это была записка от Яши Закса, посланная с окраины Ковно, даже и не записка, собственно говоря, — там было нацарапано буквально несколько слов: «Милостивый государь Яков Иванович! По случаю Иванова дня посылаю вам небольшой подарок. Надеюсь, что он придется вам по душе. Яша З.».

— Где же подарок? — спросил я Трифона.

Тот посторонился и пропустил в кабинет двух дюжих казаков, втащивших на середину комнаты внушительных размеров сундук. Один из них откинул оббитую узорчатым железом крышку, и затем они оба вытащили из сундука свернутый вдвое ковер, из коего торчала копна светлых кудрей, огромные синие глаза и орлиный нос. Казаки развернули ковер, и на середину комнаты, потирая затекшие члены, выскочил розовощекий гигант, облаченный в мундир рядового 13-го полка польской гвардии.

Гигант встряхнул кудрями, браво вытянулся и весьма галантно представился на чистейшем русском языке:

— Месье де Санглен, перед вами находится полковник Андриевич, похищенный, несомненно, по Вашему личному указанию. И вот я здесь. Вы можете быть довольны.

В первую минуту я совершенно оторопел. Мне даже показалось, что это какое-то наваждение, не иначе.

Да, действительно, я просит Яшу Закса тем или иным способом доставить мне полковника Сигизмунда Андриевича, коему Бонапарт доверил лишить жизни нашего императора. Но во-первых, я не очень верил, что это возможно, а во-вторых, никак не думал, что это даже если вдруг и осуществится, то произойдет с такой молниеносной скоростью.

Да, удача редкостная. Вообще произошедшее просто немислимо. Бывший адъютант генерала Фишера, начальника Генерального Штаба польской армии, являющийся главным организатором покушения на Государя Александровича Павловича, находится у нас в руках — в это до сих пор трудно поверить.

Я тут же вызвал коллежского секретаря Валуа (он квартировал неподалеку от дома купца Савушкина), единственного из штата моей канцелярии оставшегося в Вильне, и как только он явился, начал допрос Андриевича.

По завершении, я приказал доставившим его казакам (пока шел допрос, Трифон их поил кофеом) отвести поляка к генералу Аракчееву, с сегодняшнего дня приступившему к руководству военными делами и, значит, курирующему деятельность Высшей воинской полиции.

Все чудесно, но только одна новость из тех, что сообщил во время допроса Андриевич, повергла меня в изумление и даже в бешенство. Он рассказал, что графиня Алина Коссаковская, готовившая вместе с ним покушение на нашего Государя, вовсе не погибла во время того, как обрушился танцевальный павильон в имении генерала Беннингсена под Вильной.

Графиня чудом осталась жива. По распоряжению хозяйки имения ее, в обморочном состоянии, вынесли из-под обрушившегося павильона и переправили в Варшаву, в госпиталь святой Терезы, где она до сих пор будто бы и находится.

Это известие буквально отравило мне радость, доставленную арестом Сигизмунда Андриевича. Хоть бери и отправляй Яшу Закса назад в Варшаву. Однако я справился с обуревавшими меня чувствами (Закс сейчас как никто тужен именно здесь, в Виленском крае) и как ни в чем не бывало продолжил допрос.

Но я поклялся себе во что бы то ни стало разыскать Алину и расправиться с ней, чего бы мне это ни стоило. И дело тут даже совсем не в жажде мести, а в ясном осознании того вреда, который графиня Коссаковская принесла Российской империи и еще, несомненно, принесет и, причем, в самое ближайшее время.

Пока я вел допрос, а коллежский секретарь де Валуа тщательнейшим образом протоколировал его, камердинер мой Трифон складывал вещи, как привезенные, так и накопившиеся за три месяца нашей виленской жизни, в многочисленные чемоданы и баулы. Книги же и бумаги он, между прочим, уложил в тот необъятный сундук, в коем был доставлен ко мне бывший полковник, а ныне рядовой 13-го гвардейского полка Сигизмунд Андриевич.

### **Дом Бауфала**

*Июня 13-го дня. Одиннадцатый час ночи.*

Около пяти часов пришел виленский полицмейстер Вейс. Он сообщил, что местные французы (граф де Шуазель, аббат Лотрек и множество других) как будто исчезли из города — видимо, прячутся, боятся расправы.

Ничего, завтра объявятся, — отвечал я (так и произошло, как донес мне потом Трифон — позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Еще Вейс поведал новость, весьма меня озадачившую. Вот что случилось сегодня.

Вейса вызвал сегодня Государь и сказал, что поручает ему охрану министра полиции Балашова. ибо министр... остается в Вильне.

Изумлению моему не было пределов.

— Это зачем еще? — вырвалось у меня.

— Чтобы убить Бонапарта? Что Балашову делать в Вильне?

— Александр Дмитрич должен дожидаться прибытия Императора Франции, дабы вручить ему послание нашего Государя, — пояснил Вейс. Он говорил также, что Балашов интересовался также, буду ли я в прежней своей квартире и кого из работников Высшей воинской полиции оставляю в Вильне.

Я строго-настрого приказал Вейсу ни в коем случае не говорить Балашову, что я сегодня съезжаю и что при мне в помощниках остаются отставной ротмистр Давид Саван и студент Игнатий Савушкин.

К восьми часам пришел квартальный надзиратель Шуленберх. Он и два караульных помогли Трифону погрузить все наши вещи в наемную карету, и в девять часов вечера мы двинулись в сторону лотеранского кладбища, к дому Бауфала.

Караульные оборудовали для нас несколько комнат на первом этаже, вычистив оттуда горы мусора, и внесли наши чемоданы, баулы и сундук. Трифон до сих пор все расставляет по местам, а я вот пишу.

С Шуленберхом мы решили, что он с отрядом своих головорезов разместится на втором этаже дома Бауфала (и у них будет надежное пристанище, недоступное для чужих глаз, и мне с Трифоном будет спокойнее веселее).

Они переберутся сюда завтра с раннего утра, желательно, до вступления в Вильну французов и пока обыватели будут спать.

Впрочем, обыватели уже проснутся, но им будет отнюдь не до малочисленного Шуленберхова отряда (десять человек). Дело в том, что на рассвете Вильну должны покинуть Государь со всей своею свитой, соответственно, императорский конвой и Генеральный штаб.

Так что Шуленберх со своими ребятами, думаю, внимания обывателей не привлечет. Переселение отряда в дом Бауфала под шумок должно пройти незамеченным.

А вот привидениям, увы, придется тут основательно потесниться; кажется, мы совсем их выживем из облюбованного ими кабака смерти. Надеюсь, они простят меня. Вот погоним Бонапарта назад — пусть души самоубийц опять заселяют Бауфалов кабак и по-прежнему устраивают здесь свои оргии.

*Июня 14-го дня. Десять часов утра.*

На рассвете Государь со своей свитой оставил Вильну.

Я ездил прощаться. Его Величество незамедлительно принял меня, вообще был чрезвычайно милостив, говорил, чтобы я берег себя, что жизнь моя нужна ему и Российской империи, что возлагает на меня особые надежды и верит в успех моей миссии в Вильне. Однако о том, что министр полиции Балашов также остается в Вильне, Александр Павлович не обмолвился ни словом.

Когда я вернулся из Виленского замка, в доме Бауфала были гости, и весьма неожиданные.

Войдя, я увидел, что камердинер мой Трифон поит чаем двух молодых людей, и один из них был Яша Закс — лучший мой агент —, облаченный в форму рядового 13-го полка польской гвардии. Спутник же его был мне совершенно неизвестен (он был в малиновом мундире французского гусара). Скоро, однако, все разъяснилось.

Яша представил мне капрала. Это был Мойше Майзлиц, между прочим, виленский обыватель.

Судя по всему, сей Мойше — блестящий молодой человек. Он в совершенстве владеет немецким, русским, итальянским, польским и французским и вообще чрезвычайно широко образован. Бонапарт взял его в свою свиту переводчиком.

Закс же Мойше Майзлица, оказывается, знает довольно давно, с ранних лет. Именно Майзлиц привлек внимание Яши к учению Альтер Ребе (Старого Ребе), возглавившего движение ХАБАД. А Майзлиц, кстати, возглавил, не смотря на юный свой возраст, сие движение в Вильне.

Мойше поведал мне, что Альтер Ребе призывает всех жидов оказывать сопротивление злодею Бонапарту. И именно Альтер Ребе направил его во французскую армию как лазутчика, наказав доносить мне обо всем, что узнает. Я буквально чуть не свалился со стула, услышав это.

Видя мое крайнее изумление, Закс полностью подтвердил это известие, добавив, что и его Альтер Ребе направил во вражеский стан. Но молодые люди пришли ко мне вовсе не затем, чтобы рассказывать о своем горячо любимом учителе, хотя, честно признаюсь, мне теперь хочется узнать о нем как можно более.

Собственно, мне даже необходимо узнать, кто же неожиданно оказался у нас в столь критической ситуации столь важным союзником. Но разговор об Альтер Ребе пока приходится отложить.

Все дело в том, что молодые люди пришли ко мне с известием, которое потребовало от меня принятия немедленных решений.

Вот что они поведали.

Бонапарт самолично послал в Вильну добровольцев, приказав им, перед отходом русских войск, взорвать арсенал. Майзлиц был непосредственным свидетелем

лем сцены, когда император Франции беседовал с добровольцами. Мойше в это время сидел в уголке и переводил на русский обращение Бонапарта к народонаселению Российской империи. Вот такая история.

Пока Трифон поил Закса и Майзлиша своим отменным кофею, я сбегал наверх, к Шуленберху и сказал ему следующее:

— Франц Иваныч, Виленский арсенал окружен агентами Бонапарта. Их необходимо как скорее уничтожить. Не медля поезжай туда со своими ребятами. Учти — мы никак не имеем права опоздать.

Потом я спустился вниз и продолжил разговор с гостями.

Мойше рассказал, что Алтер Ребе (подлинное его имя Шнеур Залман) послал не только его и Закса, а целую группу своих учеников в качестве разведчиков в армию Бонапарта, дав им указание занять различные должностные посты во французской армии, дабы можно было получить доступ к секретным бумагам.

Вот несколько из тех имен, что назвал мне Мойше: Гириш Альперн (впоследствии его вызвали в Санкт-Петербург и военный министр по поручению императора Александра Павловича вручил ему перстень и 500 червонцев — позднее примечание Я.И. де Санглена), Зелик Персиц, Захарий Фриденгаль, Меер Марковский, Лейба Медведев, Гириш Гордон, Ицхак Адельсон, Янкель Иоселевич и другие. Надо запомнить.

Однако Алтер Ребе не ограничился тем, что послал своих учеников лазутчиками к Бонапарту — еще прежде он проклял Бонапарта и предрек его гибель.

Я хотел поподробнее расспросить обо всем этом, но молодые люди заторопились, сказав, что им давно уже надо быть в полку.

Я сердечно благодарил их за содействие и хотел дать им хотя бы по несколько сотен ассигнаций из тех сумм, что были оставлены в мое распоряжение лично Государем Императором во время последнего нашего свидания.

Мойше Майзлиш ответил мне так, буквально поразив присутствовавших при этом разговоре Трифона и де Валуа, разинувших рты от изумления: «Теперь такое время, Ваше Высокопревосходительство, что все должны служить без денег». Яша Закс сказал мне примерно то же самое (ему я уже не раз предлагал деньги — он всегда отказывался).

#### *Июня 14-го дня. Шестой час вечера.*

Через два с половиной часа отряд Шуленберха, поредевший на трех человек, подъехал к дому Бауфала.

Шуленберх отрапортовал мне, что агенты Бонапарта, и в самом деле окружившие виленский арсенал, перебиты. Ни один не смог уйти. Арсенал удалось спасти — Шуленберх с ребятами, к счастью, подоспел во время.

А вот в Свенянах, куда направился Государь и весь Генеральный штаб, французы-таки взорвали арсенал, уничтожив малочисленную казачью охрану. Да, ежели бы Лейба Закс и Мойше Майзлиш не предупредили меня сегодня утром, мы потеряли бы и виленский арсенал.

В начале пятого явился из города мой камердинер Трифон. Он принес записки от отставного ротмистра Давида Савана и Игнатия Савушкина. Сам же он рассказал, что Бонапарт уже в Вильне; вообще местное население встретило французов кликами бурной радости — все высыпали на улицы, одни только жида попрыгались.

Давид Саван сообщил, что был представлен императору: тот был весел и милостив, но в свиту свою почему-то все-таки не взял. Савушкин же до Бонапарта еще не добрался.

Еще Трифон передал мне письмо от подполковника Кемпена (оно было при-слано в Вильну на имя Игнатия Савушкина), коего я отправил в город Мозырь Гродненской губернии наблюдать за передвижениями французских войск.

Кемпен подробнейшим образом расписал номера и названия дислоцированных в Гродненской губернии дивизий и полков, число и характер вооружения, коим оснащены они. Кроме того, Кемпен поведал следующую любопытную историю, полагаю, что вполне достойную пера Карамзина. А может, и я об этом напишу со временем повесть. Вот что случилось.

Мещанин Кринского уезда Гродненской губернии Рувим Гуммер, находясь в имении помещика Чапского, спрятал в господском особняке поручика Богачева (это был курьер, который вез важные донесения). Отрезав волосы у одной из своих дочерей, Гуммер приделал поручику пейсы и доставил его в таком виде вместе с документами в распоряжение русских частей. Французы, узнав о случившемся, напали на семейство честного еврея, сожгли дом, разграбили имущество, били детей и верную жену его, измучив тирански, повесили. Такая произошла история (см. журнал «Сын Отечества», 26-й номер за 1816-й год: «Известие о подвиге Гродненской губернии Кринского уезда мещанина еврея Рувина Гуммера» — позднейшее примечание Я.И. де Санглена)!

Да, Трифон пересказал мне с подробностями несколько городских баек, несколько изумивших меня.

На Виленском рынке, сборном пункте местной оппозиции, судачат, оказывается, о том, что Старый Ребе проклял Бонапарта, и что он давно уже предрек он гибель императора Франции еще 12 лет назад.

Торговец зеленью рассказал, например, Трифону такую историю:

#### **Пророчество Шнеура-Залмана из Ляд [6]**

*Старый Жидовин, ныне проживающий в Лядах, при государе Павле был посажен по доносу в Петропавловскую крепость. Где-то примерно около 1800-го года, находясь еще в крепости, он взял два стиха из Священного Писания, которые содержали 96 букв и начинались словами — «Когда заострю сверкающий меч Мой и возьмет за суд рука Моя». Перемещая эти буквы, рабби Шнеур Залман составил такую фразу: «Главарь французских мятежников вначале преуспеет, но потом будут посярмлены, ибо истинный Царь воздаст им, зарубит их мечом и покорит, и погибнет Бонапарт; тогда мир успокоится и возрадуется».*

Зеленщик добавил, что Бонапарт, говорят, приказал непременно разыскать предводителя жидов и незамедлительно казнить. Император будто бы даже сформировал особый отряд, в главную задачу коего входит поимка сего Шнеура-Залмана.

Совсем другую историю поведал моему Трифону торговец рыбой, но и она касается все того же Шнеура Залмана и его единоборства с супостатом, но уже в самые последние дни — так что слух совсем свеженький:

#### **Марш Бонапарта**

*Старый жидовин из местечка Ляды (свои называют его Альтер Ребе) двух своих учеников отправил во вражеский лагерь, наказав им подслушать военный марш «непобедимой» армии Бонапарта.*

*Ученики выполнили задание, и скоро наполеоновский марш зазвучал среди еврейского застолья.*

*«Мы победили Наполеона», — сказал Старый Ребе своим ученикам. — Мы забрали у него мелодию марша, а значит лишили его армию самого главного — силы боевого духа. Отныне Наполеон обречен».*

Все это выдумки, конечно, — тут нет никаких сомнений. Но вот что весьма интересно.

Поговаривают, что сей Алтер Ребе один из субботних жидовских гимнов и в самом деле положил на мотив «Марсельезы» [7]. Так что, может, в рыночной болтовне и есть какая-то доля правды.

Рыночная оппозиция, описанная Трифоном, вспомнила в эти радостные для местного населения дни (не зря ведь Бонапарта тут называют «нашим мстителем», «освободителем» и т.п.) о вожде здешних жидов, что далеко не случайно, видимо.

Да, конечно, это выдумки, однако что-то все-таки торговцы, действительно, прознали: Шнеур-Залман ведь и в самом деле предрек в свое время гибель Бонапарта, а теперь засылает своих учеников лазутчиками в «непобедимую армию». Мудрый старик не ограничивается пророчеством — он еще и действует.

В общем, слушал я своего Трифона с большим интересом и сердечно благодарил его.

В конце же нашего разговора я попросил Трифона и впредь непременно пользоваться услугами виленских торговцев, могущих оказаться совсем не бесполезными для высшей воинской полиции в это тяжкое, смутное время. Трифон с радостью согласился. Он страсть как любопытен и обожает болтать с незнакомыми людьми.

Вообще потолкаться по рынку — дело стоящее. Буду Трифона посылать туда почаще.

Кажется, мой старенький камердинер из одной токмо преданности ко мне и природного своего любопытства становится полноценным сотрудником воинской полиции.

*Июня 14-го дня. Первый час ночи.*

После вечернего чаю я стал читать квартальному надзирателю Шуленберху и Трифону моих любимых «Разбойников». Сие бессмертное творение Шиллера всегда неудержимо влечет меня. Трифон неплохо владеет немецким (он находился при мне, когда я учился в Лейпцигском университете), для Шуленберха же это просто природный его язык. Так что они оба вполне могли оценить мое выразительное и проникновенное чтение «Разбойников».

Все мы находились во власти Шиллера и потому не сразу расслышали громкий стук в ворота дома Бауфала.

Раздался второй стук, от коего казалось, ветхие деревянные ворота вот-вот рассыпятся.

«Приведения рвутся к своему родному пристанищу» — сказал я весьма весело, но шутка моя никакого понимания не встретила. Шуленберх и Трифон, насупившись, молчали.

Раздался еще один стук. Тут я и Шуленберх (каждый из нас взял в руки по пистолету) двинулись к выходу. Трифон шел за нами с зажженной свечой, дрожавшей в его морщинистой руке.

Я сунул свой пистолет в карман, дабы руки мои были свободны и можно было бы молниеносно отдернуть засов, а Шуленберх в это время взвел курок своего пистолета и застыл в выжидательной позе.

Решительно сдвинув тяжелый, скрипучий засов и резко распахнув дверь, я вдруг увидел, что перед нами стоит де Валуа, коллежский секретарь, работник моей канцелярии, единственный, оставшийся со мною в Вильне до последнего дня.

Мы решили потом, что лучше ему уходить с армией в Свенцяны — попадись он французам, его тут же бы расстреляли как заядлого роялиста. Остаться в Вильне и окрестностях ему было слишком опасно.

Но де Валуа, видимо, до конца решил остаться со мной. Радости моей не было предела. А Трифон-то как был счастлив: во-первых, это оказалось совсем не привидение, а во-вторых, с нами в эти опасные дни — верный, надежный друг.

Счастливые и довольные, никак не ожидавшие столь счастливой развязки, мы все отправились пить шампанское, благо, что Трифон предусмотрительно прихватил в дом Бауфала целый ящик старушки Клико.

*Июня 15-го дня. Одиннадцать часов утра.*

На рассвете Шуленберх со своим отрядом, как и было между нами заранее условлено, отправился в Вильну в надежде отстрелять хотя бы несколько французов, а если повезет — то добыть и пленного.

В начале девятого Шуленберх уже сидел у меня в кабинете и докладывал.

Во время своего рейда они прикончили двух подгулявших гренадер, выходявших из трактира Кришкевича, и еще им удалось схватить и доставить в дом Бауфала рядового 13-го полка.

Шуленберх был явно недоволен собой — он рассчитывал на поимку офицера.

Однако когда ввели пленного, я сначала обомлел, а потом засветился от радости: перед мной стоял разжалованный в рядовые полковник Андриевич, коему по личному распоряжению Бонапарта было поручено лишить жизни нашего императора.

Экс-полковник был сильно под хмелем (иначе, думаю, этого гиганта было бы не взять), но меня он сразу узнал и сразу же протрезвел. Мое ласковое обращение ничуть его не успокоило.

— Встреча хотя и неожиданная, но в высшей степени приятная, — обратился я к нему. — Присаживайтесь, полковник, в кресло и рассказывайте о последних новостях. И не торопитесь. Раз уж вы у меня, то так быстро я с вами не расстаюсь. Так что времени у нас довольно.

Говорил я с участием, почти нежно, но Андриевич вздрогнул при этих последних моих словах.

Я, однако, не снижая ласкового тона, продолжал:

— Полковник, я искренне рад, что генерал Аракчеев отпустил вас? Выходит, наш Государь вас простил? Это же просто великолепно.

— Ваш император меня и не думал прощать, а генерал Аракчеев отнюдь не собирался отпускать меня. Я убежал, — процедил сквозь зубы Андриевич.

— А от меня, дорогой мой полковник, — сказал я, мягко улыбаясь, — убежать не так легко.

Сигизмунд Андриевич ответил мне недружелюбно и даже с вызовом:

— Но имейте в виду, что меня станут разыскивать.

Я рассмеялся:

— Полковник, тут вас никто искать не станет. Мы находимся в доме Бауфала: в обители самоубийц. Сюда могут заглянуть разве что в поисках привидений. Так что об этом даже не думайте. Вы — мой гость, и это отныне — ваш жребий. Расскажите-ка лучше о самочувствии графини Коссаковской? Милейшей Алине лучше?

Было видно, что при этих словах Андриевич чуть не задохнулся от возмущения. В самом деле, графиня ведь едва не погибла именно по моей вине. Естественно, что моя нынешняя забота об ее здоровье едва не вывела экс-полковника из равновесия. Но все-таки он сумел сдержаться, приторно сладко улыбнулся и сказал:

— Можете быть покойны, графине Коссаковской лучше. Здоровье ее идет на поправку, и она обещает даже в скором времени прибыть в Вильну, к дядюшке — камергеру Коссаковскому.

— Что ж, полковник, с нетерпением будем ждать графиню. Надеюсь, что Алина навестит вас в здешнем уединении и наверняка захочет остаться в доме Бауфала, дабы вам не так скучно было. Как ни как, а будет веселее.

Тут Андриевич поглядел на меня с нескрываемой злобой, но ничего не сказал.

Было заметно, что коллежский секретарь де Валуа, который старательно составлял протокол допроса, не выдержал и улыбнулся в усы.

Я подозвал Трифона и попросил его сходить и наверх, где расположился отряд Шуленберха и привести кого-нибудь.

Кажется, не прошло и минуты, как звеня шпорами, вниз по лестнице, где располагался теперь мой кабинет, сбежал корнет барон Франц фон Майдель (ему было всего девятнадцать лет от роду, но лихость и смелость его были просто поразительны — это именно он захватил Андриевича).

Я приказал Францу отвести экс-полковника Андриевича в чулан и проследить, дабы охрана от него не отходила ни на миг.

Да, поимка Андриевича — неожиданная, но совершенно несомненная удача.

Думаю, будет полезно, ежели Шуленберх со своим отрядом каждое утро будет устраивать засады вблизи от виленских трактиров, самых больших, чистых и поместительных.

*Июня 15-го дня. Пятый час дня.*

Трифон вернулся из города после обеда.

Вот что он поведал мне. При этом присутствовали также квартальный надзиратель Шуленберх, барон фон Майдель и коллежский секретарь де Валуа.

Трифон наливал нам кофий и рассказывал при этом, заливаясь буквально как соловей.

На виленском рынке сегодня судачили о том, что Бонапарт принял, наконец, нашего незадачливого министра полиции Александра Дмитрича Балашова, прочитал письмо Государя Императора, но предложение мира решительно отклонил.

Если все так в самом деле и произошло, то миссия Александра Дмитрича окончилась полным крахом — дипломат он оказался никудышный.

Еще на рынке обсуждают всю исчезновение полковника Андриевича. При этом предположения о причинах его исчезновения высказываются самые фантастические.

В городском саду Трифон встречался со студентом Сорбонны и нашим бывшим соседом Игнатием Савушкиным.

Игнатий рассказал Трифону, что из штаба Бонапарта он получил задание срочно установить мое местонахождение и арестовать меня.

Так что французы, должно быть, знают, что я остался в Вильне; интересно только — откуда, я ведь ни единого разу не покидал дом Бауфала?!

Сведения обо мне все-таки как-то просачиваются во французскую разведку. Но каким образом? Это надо выяснить.

Необходимо, чтобы дом Бауфала был под постоянным неусыпным наблюдением.

Предупрежу Трифона, дабы он был еще осторожнее — его могут выследить. С отставным ротмистром Давидом Саваном Трифон виделся в отеле Нишковского, что на Большой Ремизе.

Саван передал для меня записку и устно сообщил, что Бонапарт приказал сформировать особый отряд, который будет занят поисками моей особы.

Вот так-то! Дело принимает весьма опасный оборот. Меня всерьез ищут!

Да, еще Трифон рассказал удивительную историю, которую он услышал в мясной лавке.

Ему посоветовали допоздна нигде не задерживаться, ибо по ночам по Вильне разъезжают на черных лошадях в своих развевающихся белых балахонов привидения из дома Бауфала и нападают на загулявших французских и солдат и офицеров.

А это ведь совсем уже близко к действительности — это про квартального надзирателя Шуленберха и отданный под его начало отряд военной полиции. Конечно, кое-что приукрашено, как и положено в такого рода историях, но в целом... Так что бауфаловские привидения служат нам хорошую службу.

Трифон не успел еще закончить свое повествование, как в кабинете раздался дикий хохот Шуленберха и барона фон Майделя, превращенных городской молвой в привидения.

На шум даже сбежались остальные члены отряда. И Трифон еще раз — уже на bis — рассказал ту же историю. Ему бурно все аплодировали.

#### *Июня 15-го дня. Одиннадцатый час ночи.*

Около шести часов вечера в доме Бауфала появились гости — это был недавний мой знакомец Мойше Майзлиш и с ним незнакомый молодой человек, облаченные в малиновые мундиры французских гусар.

Мойше тут же представил своего спутника: это был Меер Марковский, один из любимых учеников Старого Ребе.

Майзлиш и Марковский добыли целую пачку документов из канцелярии Бонапарта и принесли их мне.

Я тут же кликнул коллежского секретаря де Валуа. Он играл в фараона с бароном фон Майделем, но сразу же явился и засел за копирование бумаг. Трифон стал ему помогать.

Пока шло переписывание, я стал расспрашивать молодых людей о личности старого ребе, который вдруг оказался добрым гением Российской империи.

Вот что они мне рассказали. На основе их свидетельств я составил следующую справку (копию непременно перешлю графу Аракчееву, дабы Алексей Андреевич представил потом сию бумагу Его Величеству).

Ребе Шнеур-Залман из Ляд (Старый Ребе) [8] родился в местечке Лиозно Могилевской губернии. Когда он был отдан в школу, то его учитель ребе Иссахар-Бер отказался преподавать ему, полагая, что ученик намного превосходит его своими познаниями. Уже в двенадцатилетнем возрасте он был провозглашен великим ученым.

В пятнадцать лет, это было в 1760-м году, Шнеур-Залман женился на Стерне, дочери ребе Лейб Сегала, человека большого богатства и учености. Ребе Сегал хотел, чтобы молодой гений стал его зятем. В 1764-м году Шнеур-Залман переселился в Витебск, где продолжал знакомиться с многовековыми плодами еврейской учености. В 18 лет он закончил изучать труды, основанные на рациональном познании, и углубился в изучение книги «Зоар» (что значит сияние), наполненной мистическими откровениями.

Прошли годы и Шнеур-Залман нашел свой путь в постижении тайн мироздания через ХАБАД (разум-понимание-знание), соединив рационально-схоластическую и мистико-экстатическую формы познания.

В 1797-м году была впервые напечатана главная книга Старого Ребе — «Ликутей амарим» (Сборник изречений). Рукописные версии ее разошлись в сотнях копий по многим еврейским городам и местечкам Российской империи. Чем больше их переписывали, тем больше накапливалось ошибок и неточностей. И в конце концов Старый Ребе решил напечатать книгу.

Она в основе своей представляла обработку ответов, данных Шнеуром-Залманом на встречах со своими учениками (молодые люди утверждали, что последних у ребе до десяти тысяч).

Сначала Шнеур-Залман основал академию для избранных им учеников в Лиозно, а затем переехал в Ляды. Мойше Майзлиш пересказал мне некоторые из идей своего учителя. Они в высшей степени любопытны и крайне поучительны.

Вот что я запомнил.

### **Старый ребе**

*Старый Ребе говорит, что каждая деталь бытия создается буквально каждый миг особой силой, которую Бог вкладывает в нее. Если силу, оживляющую что-либо, удалить, это просто перестанет существовать. По сути окажется тогда, что она никогда и не существовала.*

*Все происходящее исходит Свыше. Бога может найти кто угодно, где угодно, когда угодно, в чем угодно. Величайшее из чудес — не расступление вод Красного моря и не остановка солнца в небе, а сам факт того, что мы продолжаем существовать, ибо в каждый момент мы создаемся заново. Нечто из Ничего.*

*Существование — это величайшее из чудес. Каждый момент все вновь приходит в бытие из абсолютной пустоты.*

*Почему кажется невероятным, что ничто ведет себя как ничто? Почему легче принять существование мира, чем поверить в чудеса?*

*Мы слишком всерьез воспринимаем законы природы, считая, что мир существует так же, как существует Творец.*

*Когда Бог совершает чудо, это происходит так, чтобы мы потом взгляделись в естественный ход событий и сказали: «Я понял это не совсем так, как это кажется. И это тоже чудо».*

*Бог — не нечто в Высшем мире, чего нельзя достичь. Он — не из эфира, который нельзя потрогать. Бог — он здесь, сейчас, везде, во всякой вещи, во*

*всех мирах, в том числе и там, где мы живем. Вы не видите его только потому, что Он хочет, чтобы Вы его искали.*

Меня, естественно, крайне интересует отношение Старого Ребе к Бонапарту.

Молодые люди рассказали, что Старый Ребе всегда был настроен против Бонапарта и предрекал его гибель.

И с самого же начала войны — и даже чуть раньше — он сделал свою академию подлинным очагом борьбы с Бонапартом.

Шнеур-Залман не просто начал засылать своих учеников лазутчиками в армию Бонапарта — он призывал всех своих соплеменников к сопротивлению Бонапарту: не давать денег, не кормить, прятать фураж, давать неверные сведения, направлять по плохим дорогам. Старый Ребе стал подлинным вдохновителем борьбы с Бонапартом.

То, что сделал Старый Ребе, выглядит особенно поразительным на фоне того предательства интересов Российской империи, которое демонстрирует польско-литовское население.

Шуленберх и барон фон Майдель слушали рассказ Мойше Майзлиша и Меера Марковского, буквально раскрыв рот. Да и де Валуа с Трифоном работали, но прислушивались и не в силах были скрыть своего крайнего изумления.

Конечно, звучало все это фантастически, но было при этом самою чистой правдой: с первого же дня перехода границы, «великая армия» Бонапарта получила организованное сопротивление со стороны самой угнетенной, самой бесправной части общества. И продумал это, организовал очень старый, немощный человек и великий ученый, создатель многочисленных религиозно-нравственных рассуждений и наставлений (страсть как хочется их почитать!).

Старик сделал совершенно поразительную вещь: армию своих преданных учеников превратил в армию бесстрашных лазутчиков и вообще поднял своих единоплеменников против Бонапарта.

У меня не было совершенно никакого желания отпускать молодых людей, настолько захватывающим было то, что они говорили.

Вообще я должен понимать людей, составляющих опору Высшей воинской полиции. Но и Мойше Майзлиш и Меер Марковский уже очень сильно торопились — путь-то был дальний, и вообще их могло хватиться начальство, что было бы совершенно не желательно.

Меер Марковский, кстати, обещал прислать мне книгу «Ликутей Амарим» со своим подстрочным переводом на русский.

Я искренне благодарил Меера — личность его гениального учителя, вступившего в единоборство с супостатом Бонапартом, все более и более интересует меня.

Буду ждать с чрезвычайным нетерпением. Кроме всего прочего, я давно уже являюсь охотником до философических систем, а вот с жидовской философией мне пока что сталкиваться не приходилось. Удивительнее всего то, что сейчас она мне понадобилась, дабы понять, как России одолеть Бонапарта.

*Июня 16-го дня. Полдень.*

С раннего утра Шуленберх со своими ребятами отправился на прогулку по Вильне. Улов был не богат, но он все-таки был.

В начале восьмого утра в дом Бауфала внесли трех мертвецки пьяных французских драгун (солдата, капрала и капитана) и сразу же по моему указанию пере-

тащили их в чулан. Так что теперь полковнику Андриевичу будет уже не так скучно гостить в доме Бауфала.

Барон фон Майдель с двумя караульными совершил самостоятельную вылазку. Барону повезло намного больше.

Фон Майдель в трактире Кришкевича познакомился с польским бригадным генералом, заявившим сразу, что он является представителем генерала Фишера при ставке Наполеона. Иными словами, это был эмиссар польской разведки при штабе императора Франции. Вот так-то!

Барон напоил поляка до, как говорится, положения риз; сам же сумел, надо сказать, сохранить определенные признаки трезвости. Он почти на руках вынес своего собутыльника. Затем двое караульных, коих он оставил дежурить у ворот трактира, перекинули через седло майделевского скакуна бесчувственное тело бригадного генерала, и барон решительно поскакал в сторону бывшей обители привидений.

Это, без всякого сомнения, — крупная птица! Молодчина — фон Майдель! Непременно сегодня же представлю о нем рапорт самому графу Аракчееву.

Бригадного генерала, как и трех пьяных драгун, тоже перенесли в чулан. Как проспится, непременно и без отлагательств допрошу его. Без всякого сомнения, из него можно будет вытянуть многое. Вообще тут для Валуа, заменяющего всю мою канцелярию, много работы, и ее, видимо, еще прибавится в самые ближайшие дни.

Да, а полковнику Андриевичу, полагаю, будет теперь совсем весело. Компания подбирается у него большая. В тесноте, конечно, да не в обиде. Надо бы только усилить охрану чулана, а то как бы гости не разбежались. Случись хотя бы один побег — и нам конец: французы всех накроют и никого в живых не оставят.

В начале одиннадцатого к дому Бауфала подъехал полицмейстер Вейс.

Его оставили в Вильне для охраны министра Балашова. Но Александр Дмитрич, провалив свою миссию и не сумев предотвратить войну, направился в Свенцяны, дабы присоединиться к свите Государя Александра Павловича. Вейс же, после отбытия Балашова, прибыл в мое распоряжение, а с ним — десять сотрудников виленской полицейской управы.

Я тут же решил организовать еще один отряд. Так что весь второй этаж дома Бауфала отныне займут три боевые подразделения — Шуленберха, Майделя и Вейса. При этом группа барона фон Майделя — самая малочисленная, но и самая боевая и, главное, лихая.

Вейс со своими людьми пошел отдыхать, а я принялся за допрос протрезвевшего бригадного генерала.

Тот не стал отпираться и сразу же выложил немало тайн. Де Валуа исправно все записывал, но кажется, имеет смысл как-нибудь переправить высокопоставленного поляка в распоряжение генерала Аракчеева.

Не сомневаюсь, что и сам Государь захочет побеседовать с пленным. Пока что я приказал разыскать капитана Ланга и двух приданных ему казаков.

*Июня 16-го дня. Десять часов вечера.*

В три часа дня прибыл капитан Ланг со своими казаками. Я приказал принести им из чулана одежду трех французских драгун. Польского же бригадного генерала переодели в мундир Ланга и заковали в наручники.

Потом всю эту кампанию усадили в затененную темными шторами карету. На козлы в качестве кучера сел рядовой Линкевич, и карета тронулась. Надеюсь, что она благополучно доедет до Свенцяи.

В пять часов вернулся из города Трифон. Он поведал следующее.

Оказывается, городской голова Вильны обратился к польскому населению со следующим призывом: «Граждане! Цепей больше нет! Вы можете свободно дышать родным воздухом, свободно мыслить, чувствовать и действовать. Сибирь уже не ожидает вас, и москали сами принуждены искать спасения в ее дебрях».

На рынке судачат, что пропаша польского бригадного генерала наделала в городе много шума. А кто-то даже сказал Трифону, что генерала утащили бауфальские привидения, разгуливающие по ночам по центру города. Так или иначе, но исчезновение польского разведчика было замечено.

Видел Трифон и Савана и Савушкина. Оба они говорят, что Бонапарт регулярно интересуется, как идет розыск моей особы. Хе-хе! Видать, я и в самом деле становлюсь значительной фигурой, коли сам французский император намерен захватить меня в плен!

После шести вечера в дом Бауфала прибыл некий Захарий Фриденгаль (его прислал Меер Марковский, приходивший вчера с Яшей Заксом).

Захарий вытащил из-под подкладки своего засаленного лапсердака бумагу и передал ее мне. Он прошел через корпус двух французских маршалов и дал мне о них самый точный отчет. Бумагу я с курьером тут же отправил в Свенцяны, к генералу Аракчеву. Брать у меня деньги Фриденгаль решительнейшим образом отказался — наотрез.

Уходя уже, он передал мне несколько последних поучений и пророчеств Старого Ребе:

***«Мне милее смерть, нежели жить под властью Бонапарта и видеть бедствия моего народа».***

***«Враг берет вверх, и я думаю, что он овладеет и Москвой».***

***«О горе! Вся Белоруссия будет разорена при отступлении неприятеля! Это — искупление за хмельничину, при которой Белоруссия и Литва были пощажены, а жестоко пострадали только Волынь и Украина».***

***«Москву он вскоре наверно возьмет, но за этим произойдет его гибель. Он не удержится в Москве и отступит именно по Белоруссии, а не по Малороссии, и вскоре погибнет».***

Присутствовавшие при этом разговоре де Валуа и барон фон Майдель крайне недоверчиво качали головами и не желали скрывать своего крайнего недоверья тем, что они слышат.

Конечно, не хочется даже думать о потере Москвы, о том, что по ней может ходить враг. Однако все, что я теперь знаю о Старом Ребе, вынуждает меня с полным доверием отнестись к его словам. Камердинер мой Трифон, кажется, тоже был на моей стороне.

Как это ни тяжело, но я вынужден буду довести пересказанные мне Захарием Фриденгалем пророчества своего учителя до сведения пребывающих в Свенцянах Государя Александра Павловича и генералов Аракчеева, Беннингсена и Барклая де Толли. Сделать это совершенно необходимо. Нам нужно готовить себя к тому, что Первопрестольная столица наша будет сдана.

Но вот что мне сейчас особенно любопытно, страшно любопытно, ежели честно признаться, хотя, может, я слишком далеко заглядываю.

Неужто Бонапарт и в самом деле станет отступать через разоренные в начале похода Литву и Белоруссию, неужто он пойдет именно по тому пути, что начертал сейчас Старый Ребе?! (да, да — невероятно, но так и произошло! Император Франции так и не смог свернуть с дорожки, что заповедал ему мудрец и волшебник из Ляд, благодетель матушки России — позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

После ужина мы распределили все виленские трактиры между отрядами Шуленберха, фон Майделя и Вейса; точнее барону была отдана маленькая площадь Большая Ремиза, а за Шуленберхом и Вейсом были оставлены трактиры.

Потом, когда с делами было покончено, к нам присоединился де Валуа и еще Трифон, и по общей просьбе я стал читать вслух набросок своего трактата «Шиллер, Вольтер и Руссо» (отдельным тиснением он был издан в Москве в 1843-м году — позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Все были в полнейшем восторге и даже аплодировали. Дельные замечания сделал де Валуа. Однако особенно любопытно и достойно внимания то обстоятельство, что несколько весьма тонких наблюдений высказал камердинер мой Трифон, поразив всех присутствующих.

Вообще так уж получилось, что с моей легкой руки Трифон за последнее время вынужден был стать не только шпионом, но и ценителем изящной словесности. Так что, не исключено, что и в журналы начнет пописывать, как закончится кампания и Бонапарт уберется восвояси?!

Впрочем, надо еще выжить. Ежели французы нас тут выловят, то вместе со мною явно расстреляют и моего Трифона. Одна надежда на то, что их остановит страх перед привидениями и в дом Бауфала никто не сунется. Ура! Да здравствуют привидения!

*Июня 17-го дня. Полдень.*

На рассвете, как обычно, Шуленберх, фон Майдель и Вейс отправились со своими отрядами колесить по Вильне в поисках подгулявших французов. Вдруг в начале седьмого утра у дома Бауфала раздался стук копыт. Для возвращения ребят это было рановато.

Я с тревогой выглянул в окно и сквозь утреннюю дымку разглядел, что подъезжают два всадника, облаченные в малиновые мундиры французских гусар. Когда же они поравнялись с домом, то я увидел, что это мои новые помощник и Мойше Майзлиш и Меер Марковский.

Через седло у Меера был перекинут довольно внушительных размеров мешок из грубой холстины. Соскочив с коня, Меер рывком сбросил мешок на полянку перед домом. Потом вместе с подбежавшим Мазылишем он стал втаскивать мешок в дом.

— Что это у вас? — насмешливо и одновременно с нескрываемым изумлением спросил я у молодых людей.

Те ни слова ни говоря, развязали мешок, из коего вылез, испуганно озираясь и потирая помятые бока, необъятных размеров верзила.

Только после этого Меер, довольно улыбувшись, протянул мне объемистый запечатанный пакет, а Майзлиш радостно объяснил мне:

— Это кабинет-курьер, везущий из Парижа срочные депеши для Императора Франции.

Тут пришел черед радоваться и мне. Закончилось все общим дружным смехом. Причем, смеяться почему-то стал и кабинет-курьер.

Вскоре последний был препровожден по моему приказанию в чулан (так что собеседников у полковника Андриевича все прибавляется и прибавляется), а бумаги я уже с нашим курьером отправил в Свеняны, к Государю.

Прощаясь, Меер Марковский вручил мне обещанную книгу с наставлениями, ответами и пророчествами своего учителя.

Да, совсем уже уходя, Меер рассказал (присутствовавший при этом де Валуа даже привскочил от удивления), что его взял к себе в адъютанты маршал Бертье, начальник штаба у Бонапарта. О-го! Молодец, мальчик!

К девяти часам утра из Вильны один за другим стали прибывать отряды Шуленберха, фон Майделя и Вейса.

С добычей были все, но более всего повезло барону фон Майделю, хоть его отряд и самый малочисленный.

Так как чулан был уже забит, то для вновь прибывших освободили во втором этаже целую комнату. Но сначала всех пришлось допросить, на что ушло добрых два часа. Для коллежского секретаря де Валуа работы оказалось предостаточно. Сведения, мне кажется, удалось собрать весьма небесполезные.

*Июня 17-го дня. Двенадцатый час ночи.*

После обеда Трифон отправился в город. Он передал протоколы допросов Игнатию Савушкину и тот самолично взялся переправить их в Свеняны, дабы вручить генералу Аракчееву, нынешнему военному министру.

Видел Трифон и отставного ротмистра Давида Савана (они встретились, как и было условлено заранее, в городском саду).

Отставной ротмистр со смехом рассказал Трифону, что ранним утром, когда он шел из трактира Кришкевича к себе в отель, на него налетели орлы барона фон Майделя. Скрутили руки и уже собирались запихнуть в рот клей. Саван с трудом убедил подоспевшего барона в своей прикосновенности к высшей воинской полиции.

Еще Давид Саван поведал Трифону, дабы тот передал мне, что свел знакомство с несколькими крупными военными чиновниками французской армии. Все, что удалось выведать у них, Саван записал и оставил Игнатию Савушкину для вручения генералу Аракчееву.

Был Трифон, естественно, и на рынке. Там все продолжают активно судачить про привидения, разъезжающие и разгуливающие по Вильне и хватающие офицеров «Великой армии».

Да, невзлюбили видно души местных самоубийц французских гостей, не иначе. Вообще без шуток могу сказать, что привидения есть для нас отличнейшее прикрытие, просто спасительное.

В силу того, что рынок является органом местной виленской оппозиции, там продолжают говорить о том, что немощный и престарелый главарь жидов из Ляд проклял Бонапарта и предрек ему неминуемое поражение после того, как тот захватит Москву.

Вообще из всех этих рыночных вестей и слухов я составляю совершенно отдельную сводку и приобщаю к бумагам из моей канцелярии.

Кажется, моего Трифона вполне можно ставить на жалованье от Высшей воинской полиции.

Когда он шел уже из города, ему попался навстречу разъезд французских улан, но бредущий по дороге старик с легкой корзинкой в руке у улан никаких позрений не вызвал.

Трифон рассказывал мне об этом, а я внутренне гордился и горжусь им.

Около семи часов вечера в доме Бауфала объявился гость. Это был давний мой знакомец Яша Закс, рядовой 13-го польского полка. Он принес сведения о дислокации двух французских корпусов. И вот что он еще рассказал (источник информации — бригадный генерал, квартирующий у его отца).

План Бонапарта заключается в том, что прорвать центр нашего растянутого положения.

Для этого он предполагает главную массу «Великой армии» возможно поспешнее направить против Первой армии Баркляя, оттеснить ее, а потом одну часть двинуть вслед за первой армией, другую же направить в тыл второй армии, которая сначала временно должна быть удержана на месте, а затем атакована с фронта восьмидесятью тысячами короля Иеронима, которым предназначено перейти Неман у Гродно несколькими днями позже главных сил.

Между этими двумя массами должны были наступать восемьдесят тысяч человек вице-короля Евгения Богарне, чтобы разобщить наши армии. Бонапарт будто бы сказал, утверждая этот план: «Теперь Багратион с Барклаем уже более не увидятся».

Услышав все это, я повелел Заксу не возвращаться в расположение 13-го полка, а пробираться в Свеняны, к Государю, дабы незамедлительно передать ему сей план Бонапарта.

Я тут же написал Заксу сопроводительную записку. Он отужинал с нами и пошел спать, чтобы на рассвете отправиться в Свеняны. Мы же (я, Шуленберх, фон Майдель, Вейс и Валуа) сели играть в фараон.

А уже перед самым сном грядущим я читал всем заключительный акт «Разбойников» Шиллера.

#### *Июня 18-го дня. Десятый час вечера.*

Яша Закс ушел, когда рассвет еще только начинал наступать. Во всяком случае весь дом еще спал. Так мне сказал потом Трифон.

Потом, наскоро перекусив, собрались и отправились в Вильну Шуленберх, фон Майдель и Вейс со своими отрядами.

После восьми утра поднялись я и коллежский секретарь де Валуа, мой верный помощник. И чтобы я без него делал? Без правильно составленных и в нужное место положенных бумаг, миссию, возложенную на меня Государем, я бы просто не смог выполнить.

Трифон накормил нас завтраком и ушел в город. А я и де Валуа, приведя в порядок донесения, справки, отчеты, сводки новостей, уложили все это в сундук, который заменял собой всю нашу канцелярию, а потом принялись за книгу, оставленную Меером Марковским.

Правда, не успели мы взяться за нее, как вернулись отряды со своей добычей. Осушив по рюмке, ребята пошли наверх отдыхать, а у меня вот началась работа.

Более или менее трезвых я стал тут же допрашивать. Тех, кто совсем не вязал лыка, уносили и оставляли под надежной охраной.

Потом вернулся из города Трифон, усталый, но довольный и бодрый.

Де Валуа все рассказанное им записывал, а я слушал и делал кое-какие пометки.

Надо сказать, что отставной ротмистр Давид Саван сумел выудить из обитателей отеля Нишкоковского немало любопытного и полезного. Слава Богу, что болтуны еще не перевелись в здешнем крае. Без них все было бы намного тяжелее.

Рыночные оппозиционеры по-прежнему не обходили своим вниманием развезжающих по Вильне привидений.

После того, как я расспросил Трифона, опять пошли допросы — немного пришли в себя некоторые из протрезвевших пленных. Наиболее важных из них я отделил для отправки в Свенцяны, к генералу Аракчеву; прочие были оставлены под стражей в доме Бауфала.

Потом мы все (я, Шуленберх, фон Майдель, Вейс, де Валуа) обедали.

Мы не успели еще встать из-за стола, как явился Мойше Майзлиш — он принес записку от Меера Марковского: там были самые последние сведения о дислокации основных французских сил.

Одет, кстати, Майзлиш был не во французский мундир, а свое жидовское платье: черный халат до пола, перетянутый в талии черным поясом. На голове у него была кожаная ермолка, а на ней бархатная шапка, отделанная мехом.

Потом Майзлиша явился курьер из Свенця, доставив письма от Государя, Аракчева, Беннингсена, Барклая. Я же, в свою очередь, вручил курьеру самые свежие сводки новостей.

Государь, кстати, был чрезвычайно доволен тем, как шла работа у ныне шних обитателей (говорю — нынешних, ибо прежние обитатели были привидениями) дома Бауфала. Эту часть письма, когда курьер отбыл, я зачитал вслух Шуленберху, Вейсу и фон Майделю. Они были счастливы и радовались совершенно как дети.

Такая вот весь день шла суета и, надо сказать, что она отнюдь не была исключительной.

Только к пяти часам я и де Валуа смогли опять сесть за книгу, оставленную мне давеча Меером Марковским. Надо сказать, что она превзошла все наши ожидания.

Это было что-то совершенно упоительное по ясности, точности, исключительной душевной чистоте и острейшей глубине мысли. Наш галльский, рациональный ум был в состоянии полного потрясения. Стала совершенно очевидна нравственная высота личности, проклявшей этого злодея Бонапарта.

Де Валуа по моим указаниям стал делать выписки, довольно многочисленные. Некоторые из них попозже я непременно перенесу в свой дневник.

Мы прервались на время ужина, а затем я и де Валуа опять продолжили чтение. Шуленберх и Вейс заглядывали к нам, но при виде жидовских писем творили крестное знамение и в растерянности уходили.

Между тем, мой интерес к наставлениям Старого Ребе основан отнюдь не на пустом любопытстве.

Этот человек стал нашим помощником и даже ангелом-хранителем. Чтобы до конца доверять ему, мне необходимо убедиться в чистоте его помыслов. И я убедился, что помыслы Старого Ребе оказались несравненно чисты.

В начале одиннадцатого, отложив остальное чтение назавтра (том-то объемистый). Увидев, что книга с жидовскими письменами убрана, к нам присоединились Шуленберх, Вейс и фон Майдель, веселые и довольные.

Мы решили перекинуться в картишки. Трифон по-моему сигналу принес бутылочку шампанского, и бой начался. Длился он не слишком долго, победителем оказался барон, тогда как я продурлся в пух и прах, что вызвало у Трифона весьма ироническую ухмылку, которую он и не собирался скрывать от меня.

*Июня 18-го дня. Полночь.*

Шуленберх, Вейс и фон Майдель только что отправились к себе. Трифон уже засел за очередной готический роман (вчера он притащил целую кипу из лавки при отеле Нишковского), а я вот решил привести в порядок кой-какие свои мысли.

Как будто все идет у нас не плохо.

Французов ловим, материалы допросов отправляются регулярно на стол военного министра, наиболее важных персон из пленных каким-то образом транспортируем в Свенцяны. Пока все удавалось.

Трифон регулярно курсирует между домом Бауфала и Вильной, кажется, не вызывая ни у кого подозрений (вообще он оказался образцовым шпионом).

Давид Саван и Игнатий Савушкин доставляют мне весьма ценную информацию, но, конечно, особенно полезны лазутчики Старого Ребе, проникшие даже в штаб самого Бонапарта — им просто цены нет.

Однако не слишком ли все гладко? Меня снедает тревога.

Мы, конечно, настороже, но нужно быть настороже вдвойне или даже тройне. Необходимо бдительнейшим образом охранять дом Бауфала, а пленных надобно стеречь просто неусыпно.

*Июня 19-го дня. Седьмой час вечера.*

День начался как обычно. На рассвете Шуленберх, Вейс и фон Майдель покатались со своими ребятами в Вильну.

Сразу же после завтрака ушел в город Трифон. Он вернулся к обеду и поведал мне несколько удивительных вещей кряду.

В городском саду (он обычно встречается там со студентом Игнатием Савушкиным) навстречу Трифону шла... — кто бы мог подумать?! — графиня Алина Коссаковская, собственною персоной. Сия новость чуть не свалила меня с ног.

Графиня Трифона не заметила, а вот он узнал ее сразу.

На рынке, между прочим, Трифону рассказали, что Алина была приглашена в Виленский замок и что будто бы ей дал аудиенцию сам Бонапарт.

Сей слух полностью подтвердил отставной ротмистр Давид Саван. Более того, он поведал Трифону следующее.

Графиня по прибытии своем в Вильну остановилась у своего дядюшки камергера Коссаковского. Однако после аудиенции, данной ей Бонапартом, она переехала в Виленский замок и теперь квартирует там.

Интересно, зачем это Алина на сей раз понадобилась Бонапарту? Что именно замыслил сей злодей? Над этим стоит поразмыслить.

Кстати, Савушкин, по словам Трифона, убежден, что замышляется новое покушение на жизнь нашего Государа.

А вот еще одна новость, рассказанная Трифоном.

На рынке он услышал, что бауфальские привидения собираются похитить из Виленского замка самого Бонапарта.

А что? Это идея! Стоит попробовать! И я бы поговорил с Шуленберхом, Вейсом и фон Майделем, но только меня останавливает одно обстоятельство, правда, весьма немаловажное.

Старый Ребе говорит, что Бонапарт возьмет Москву, после чего только и начнется его падение. И тогда выходит, что сейчас с Бонапартом ничего сделать нельзя. Нужно, чтобы он шел на Москву — к своей верной гибели.

Обед подходил к концу, когда прибыли Мойше Майзлиш и Меер Марковский. Меер рассказало мне (он присутствовал на совещании у маршала Бертье), что сегодня в ночь начнут боевые действия корпус Евгения Богарне, призванный на то, чтобы воспрепятствовать соединению наших двух армий.

Еще Марковский передал запись беседы с ним Старого Ребе:

*Старайтесь учиться у того, кто прошел дальше всех путями чистоты, ибо такому человеку вверены сокровища Святого, будь благословен Он.*

*Не гонитесь за теми, кто похвалится своим знанием. Голоса их грохочут, как волны морские, но мудрости у них — жалкие крохи. Я сам сталкивался с этим много раз.*

*Дабы совершенствоваться, держитесь таких книг, как сочинения рабби Шимона бар Йохан, а именно различные разделы «Зоара» и тому подобные писания. Если что-то в этой мудрости покажется вам сомнительным, подождите. Пройдет время, и смысл откроется вам.*

*Высший дар этой мудрости обретается в ожидании тайн, которые откроются вам с течением времени. Проявляющие упорство в изучении этой мудрости обнаруживают, что после многих раздумий над нею знание внутри них возрастает — сущность понимания прибывает.*

*Поиски всегда приводят к чему-то новому.*

Мойше Майзлиш узнал, что по личному распоряжению маршала Даву начата слежка за отставным ротмистром Давидом Саваном.

Это тревожный сигнал.

Я тут же послал опять Трифона в город, дабы он предупредил Савушкина и передал бы ему мой категорический приказ уклоняться от любых встреч с Саваном.

Майзлишу же я поручил переслать в отель Нишковского, на имя отставного ротмистра записку, собственно, не записку, а рисунок, на коем в рамке из цепей, увитых розами, было изображено сердце, пронзенное стрелой в форме змеи — то был условленный между нами знак беды.

Где же мы совершили оплошность?!

И хорошо, ежели под подозрением один Саван! Он же регулярно встречается с Савушкиным и с моим Трифоном. А ведь у меня вся связь с Вильной держится именно на Трифоне. Потеря Трифона будет равносильна нашей тут всеобщей гибели. Этого допустить никак нельзя.

Майзлиш и Марковский еще были у меня, когда прибыл Яша Закс. Его приход многое прояснил, он существенно дополнил и даже как бы завершил ту информацию, что добыли его друзья.

Яша рассказал, что на Савана донесла прелестная графиня Коссаковская. И вот как он об этом узнал. Тут целая история.

В бытность свою в Варшаве, Закс подружился с родителями графини. И когда он отбывал в действующую армию, отец Алины передал ему записку к своему брату камергеру Коссаковскому.

Оказавшись в Вильне, Яша каждый день стал посещать с визитами дом камергера.

И вот не далее, как вчера вечером, хозяин дома проболтался, что его племянница обнаружила в Вильне русского шпиона, который является при этом чистокровным французом, и тут же сообщила о своем открытии императору Франции.

Значит, опять Алина! Господи! Как же, наконец, нам избавиться от нее?

С ней, конечно, необходимо разобраться, но вначале надо отвести беду от Савана.

*Июня 19-го дня. Двенадцатый час ночи.*

Трифон вернулся довольно поздно — уже после девяти часов вечера, так что ужин у нас сегодня был совсем не ранний, а скорее наоборот, но главное, что Трифон все исполнил в точности (Господи! Это просто чудо, что Марковский, Майзлиш и Закс все успели разузнать и во время меня предупредить).

Савушкина он нашел и все ему передал. Игнатий клятвенно заверил, что более не будет ни видаться с Давидом Саваном, ни писать. Еще Савушкин рассказывал Трифону следующее.

Во время последней своей встречи с отставным ротмистром, тот рассказал ему, что видел в городском саду Алину Коссаковскую. Он узнал ее и понял, что она узнала его.

Так что можно предположить, что Саван и сам догадается, что за ним устанавливают слежку.

Савушкин рассказал также Трифону, что после своего разговора с Саваном он зашел к нему в отель, но служитель объяснил ему, что отставной ротмистр исчез.

Выходит, что или Саван, поняв, что за ним ведется наблюдение, спешно выехал из гостиницы, или же его уже арестовали. Последний вариант для нас, конечно, совершенно не желателен.

Совсем скоро мы узнаем, что же произошло с отставным ротмистром на самом деле.

Все это Трифон рассказал, пока готовил ужин и собирал на стол. Надеюсь, что завтра все прояснится.

После ужина барон фон Майдель предложил перекинуться в картишки, но я отказался — настроения играть не было никакого. Я все думал об отставном ротмистре Саване и о том, удалось ли ему спастись. Нетерпеливое желание знать правду о том, что же сейчас происходит, съедает меня.

*Июня 20-го дня. Одиннадцать часов утра.*

Я так и не заснул. Не смог. Слышал, как на рассвете спустились со второго этажа ребята Шуленберха, Вейса и фон Майделя. Поразительно, но собрались и отправились они удивительно быстро — мне кажется, что у них ушло на все не более десяти минут.

Отряды отправились один за другим. Опять вокруг воцарилась тишина. Дом Бауфала спал. И вдруг во дворе явственно раздался стук копыт. Я решил, что это по какой-то неизвестной мне пока причине воротился назад один из отрядов. Но когда я выглянул в окно, то к ужасу своему увидел, что к дому приближается отряд, состоявший из французских драгун и улан.

— Все пропало — пронеслось у меня в голове. И тут я заметил, что во главе отряда едет человек в штатском, и этот человек в штатском никто иной, как ... отставной ротмистр Давид Саван, дерзкий и преданный Саван.

Как будто разом гора свалилась у меня с плеч.

Вот в чем было дело.

Саван после встречи с прелестной Алиной забеспокоился и решил пока не возвращаться к себе в номер, решив выждать. Потом его разыскал Мойше Майзлиш, и тут Саван понял, что надо не пережидать, а просто бежать.

Оказывается, все последние дни он вел противобонапартистскую пропаганду среди постояльцев отеля Нишковского — младших и средних офицеров французской армии. Пропаганда во многом имела успех.

И, убегая из Вильны, Саван решил своих новых друзей (в основном это были представители старинных аристократических родов) забрать с собой — они готовы были бороться с Бонапартом. Вот в чем коренится загадка подъезжавшего к дому Бауфала отряда.

Тем временем Трифон приготовил завтрак, и мы все сели за стол — я, де Валуа и Саван со своими друзьями. Так что компания подобралась чисто французская.

Когда вернулись из Вильны Шуленберх, Вейс и фон Майдель со своими ребятами, то мы все собрались и решили, что есть смысл организовать четвертый отряд под началом отставного ротмистра Давида Савана. Так что в доме Бауфала произошло солидное пополнение. По этому случаю было распито несколько бутылок шампанского, из тех запасов, что оставались еще у Трифона. Саван всем понравился. Но особенно с ним сдружился барон фон Майдель.

Потом сымпровизированной пирушки Трифон ушел в город. Прощаясь с ним, я чуть не плакал.

«Не волнуйтесь, барин, — сказал он мне, — вернусь к вам живым и невредимым».

Однако мы все смотрели ему вслед с нескрываемой тревогой.

*Июня 20-го дня. Семь часов вечера*

Трифон вернулся минут с сорок назад.

Он принес письмо, присланное из Москвы Винцентом Ривофиналли, в коем тот сообщает, что первопрестольная столица наша просто напичкана французскими шпионами (к письму был приложен список).

Еще Трифон говорит, что на рынке только и судачат, что об исчезновении отставного ротмистра Савана, который вдруг стал местной знаменитостью.

Но и в городском саду непрерывно обсуждают тот факт, что местный француз оказался вдруг российским шпионом.

На ратушной площади Трифон собственными глазами видел объявление, что разыскивается отставной гусарский ротмистр Давид Саван (Savant).

В книжной лавке при отеле Нишковского Трифону рассказали, что вместе с Саваном бежала целая группа французских офицеров и что, узнав об этом, Бонапарт был в настоящей ярости, кричал на маршала Даву, топал ногами и чуть ли не ударил его.

На Большой Замковой улице Трифон издали увидел Игнатия Савушкина, незаметно подмигнул ему, но подойти, в силу нынешних опасных обстоятельств, не решился. Савушкин широко и радостно улыбнулся Трифону.

Так что новостей было собрано предостаточно, но все они, главным образом, касались одного — исчезновения из отеля Нишковского Давида Савана и нескольких французских офицеров в чине от поручика до полковника.

В общем, Трифоном я был доволен. Но все-таки в первую минуту более всего я радовался, что он вернулся живым и невредимым. Случись с ним неладное, я бы никогда себе этого не простил. Но, слава Богу, все обошлось.

*Июня 20-го дня. Полночь.*

После ужина сели играть в карты, а потом долго еще расспрашивали Савана об его семейных обстоятельствах, о службе. Всем хотелось узнать побольше о новом своем товарище.

Саван рассказал, что жену и детей своих несколько недель назад сначала переправил из Варшавы в Вильну, а затем уже и в Петербург.

Поведал Саван и о том, как его, отставного русского гусара французского происхождения, несколько лет назад завербовал начальник польского Генерального штаба генерал Фишер, как он потом явился в Вильну и доложил по военному начальству, как он выполнял потом задания командующего Первой Западной армией, дезинформируя польскую разведку, а через нее и Бонапарта.

Савана слушали все, буквально не дыша. Даже Трифон замер наподобие статуи, широко выпучив от изумления глаза.

Да, несколько раз Саван прерывал свой рассказ и просил передать благодарность Моше Майзлишу, подчеркивая, что именно его предупреждению он обязан нынешним своим спасением.

Не мало любопытного поведали и французские офицеры, решившиеся пойти против Бонапарта и прибывшие в дом Бауфала вместе со своим соотечественником Саваном. Мы их слушали с громадным интересом, участием и пониманием и дивились их смелости (особенно великолепным рассказчиком оказался штаб-офицер Андре Моше). Но все-таки главным героем этого замечательного вечера был Давид Саван.

В беседе совершенно незаметнейшим образом пролетело несколько часов.

Завтра с утра в Вильну из дома Бауфала выедет четыре вооруженных отряда.

Да, кажется, мы начинаем представлять собой довольно крупную военную силу (не армию, конечно, и даже не дивизию, но все-таки боевое соединение, состоящее из целых четырех подразделений). Кто бы мог об этом подумать еще несколько дней тому назад?! И я сам представить подобного не мог.

Не будь лазутчиков действовать нашим отрядам было бы страшно трудно, а так, благодаря Яше, Заксу, Мойше Майзлишу, Мееру Марковскому и другим, у нас есть возможность наносить предельно точные удары по противнику.

#### *Июня 21-го дня. Четвертый час пополудни*

Не прошло и часа после того, как Шуленберх, Вейс, фон Майдель и Саван отправились в Вильну, как вдруг явился Мойше Майзлиш. К этому времени мы (разумею себя, де Валуа и Трифона — единственных остававшихся на месте обитателей дома Бауфала, не считая, конечно, пленных и караульных) уже проснулись, но еще не завтракали.

Майзлиш принес сводку данных о последних передвижениях французских войск и еще рассказал, что Старый Ребе обратился с особым письмом к жидовским кушам и банкирам Виленского края, призывая их жертвовать деньги на борьбу с Бонапартом.

Вот это да! Ничего подобного я не ожидал и даже предположить не мог! Истинное чудо, а не человек! Храни его Господь! Нам бы таких учителей!

Еще Майзлиш рассказал один любопытный эпизод. В городе Шклове французы повесили некоего Этингона, и вот почему. Он отказался показать им путь к Могилеву, заявив, что это противоречит заповедям Бога.

Трифон сразу же после завтрака ушел в город.

Четверка отрядов к десяти утра уже вернулась. К счастью, сегодня обошлось без потерь.

Забавно, но Саван попросился на Большую Ремизу, к пану Нишковскому.

Отставной гусарский ротмистр из своего родного отеля, зная постояльцев наперечет, забрал всех тех офицеров, что могут представить наибольший интерес для российского командования.

Я тут же начал допросы. Саван помогал мне, и все-таки допросы длились добрых три часа. Мне казалось, что у де Валуа глаза вот-вот вылезут из орбит. Да и мы устали порядком.

К обеду пришел Трифон. Выглядел он весьма напуганным. Мне даже показалось, что у него слегка тряслись руки. Редкие волосенки стояли дыбом. В глазах были чуть ли не слезы.

Я сразу понял, что стряслась какая-то беда. Так и оказалось.

Не успев войти, прямо с порога, Трифон крикнул, что арестован Игнатий Савушкин.

Это просто ужасно! Боюсь, теперь ему придется расплатиться за всех нас, ведь французам удалось пока поймать лишь одного Савушкина.

Да, Игнатий арестован! Это означает, что мальчика успели выследить еще тогда, когда он виделся с Саваном, до предупреждения Майзлиша и до моего запрета.

По завершении обеда, я попросил Трифона еще раз сходить в Вильну и как можно подробнее разузнать о судьбе Савушкина.

#### *Июня 21-го дня. Одиннадцатый час ночи.*

Когда Трифон вошел, я все понял сразу. Самые худшие предчувствия оправдались. Да, да, Игнатия Савушкина расстреляли.

Трифон рассказал, что по слухам Игнатия допрашивал сам маршал Даву в присутствии Бонапарта и графини Коссаковской (это как будто происходило сегодня днем), а в семь часов вечера по личному распоряжению императора во дворе Виленского замка студент Сорбонны Игнатий Савушкин был расстрелян.

При этих словах Трифона лицо Давида Савана исказилось как от страшной боли и даже задергалось. Он стал кричать, что-то не очень внятное причитать. Но сквозь дикое рыдания все-таки можно было различить: «это я... это все из-за меня».

Видно было, что отставной ротмистр в эти минуты ужасно страдал. Он, конечно же, в полной мере осознавал, что это его, в первую очередь, ловили и именно его собирались расстрелять.

Когда Саван немного успокоился, я отвел его в сторону и сказал:

— Ротмистр, ужасно, конечно, что нашего Игнатия уже не вернуть. Но мы остались в живых, и мы должны отомстить за него.

Тут Саван отер слезы с лица, изобразил какое-то подобие улыбки и закивал в знак согласия.

— Вы готовы отомстить за него?

Тут Саван совсем часто закивал головой. Тогда я заявил следующее:

— На Игнатия донесла графиня Коссаковская, злейший и опаснейший враг Российской Империи. Если мы уничтожим графиню, Савушкин будет отмщен. Это тем более необходимо сделать, что Бонапарт, судя по всему, дал графине какое-то новое задание, и если ей удастся его выполнить, то нам грозят явные беды.

Саван отвечал мне, что завтра же доставит в дом Бауфала графиню Коссаковскую.

— Не торопитесь, — отвечал я. — Нужно сначала понять, где ее найти.

Я подозвал к нам Трифона и стал его расспрашивать о местонахождении графини. Трифон рассказал нам, что буквально через полчаса после того, как был расстрелян Игнатий Савушкин, Бонапарт со своим штабом покинул Виленский замок и оставил самую Вильну. Графиня же осталась в замке (вроде бы она отбывает завтра в направлении Свенцян), который после отъезда императора Франции практически остался без охраны.

— Отлично, — сказал я Савану. — Завтра утром, вместо Большой Ремизы, вы со своими драгунами и уланами направитесь в Виленский замок и попытаетесь доставить к нам знатную гостью.

На том мы и порешили. Саван поднялся к себе, а я приказал караульному привести полковника Андриевича, — что-то давно мы с ним не беседовали. Когда же тот появился, я весело сказал:

— Полковник, хочу вас обрадовать: графиня Коссаковская поправилась, прибыла в Вильну и завтра с раннего утра намеревается навестить вас. Думаю, что она хочет обсудить с вами новое задание императора.

Андриевич при этих словах изменился в лице и, чуть помедлив, заявил:

— Вам никогда ее не поймать. Понимаете: ни-ког-да. Запомните это.

Я захохотал в ответ:

— Потерпите, дорогой полковник. Ждать встречи осталось совсем недолго. Наконец-то вы обретете достойную вас собеседницу. Я страшно рад за вас. Обещаю принять графиню со всем тем гостеприимством, коим давно уже славится дом Бауфалы.

На этом обещании, полном отнюдь не романтической иронии, я и распрощался сегодня с полковником Андриевичем.

*Июня 22-го дня. Десять часов утра.*

На рассвете я вышел благословить отъезжавших на трудное дело. Саван уже был совершенно спокоен — в глазах не было ни единой слезинки; наоборот, был в них какой-то сухой, лихорадочный блеск.

Мы все еще стояли во дворе дома Бауфала, как появились шесть всадников. Это были Мойше Майзлиш, Меер Марковский и четверо их товарищей (тоже ученики Старого Ребе, все до единого). Они тоже хотели принять участие в наезде на Виленский замок. Это было очень кстати: Майзлиш и Марковский знали Виленский замок как свои пять пальцев.

Когда все четыре отряда отправились, меня дико стало томить чувство неизвестности. Было видно, что Трифон и де Валуа тоже не находили себе места.

Уже через два часа ребята возвратились. Они захватили не только графиню Коссаковскую, но и всех тех французских и польских офицеров, что еще оставались в замке (они должны были присоединиться к свите Бонапарта попозже), но, конечно, главной добычей была графиня.

Рассказывали, что отставной ротмистр Саван дорогой хотел ее пристрелить, но Марковский силой удержал его, и слава Богу!

Конечно, допрашивать ее будет чрезвычайно сложно, и все-таки придется выудить из нее важные сведения, коими она, несомненно, обладает.

И потом надо будет с нею непременно покончить, наконец, хотя и страшно, ведь она столько уже раз уходила от верной гибели. Но не заколдованная же эта

Алина, в конце концов — верно, то были какие-то мои промашки. Сейчас же надо приложить все усилия, дабы все прошло гладко. Но вначале — допросы.

Меер Марковский, довезя графиню Коссаковскую до дома Бауфала, тут же отбыл — помчался догонять маршала Бертье со Штабом.

*Июня 22-го дня. Шестой час вечера.*

Среди арестованных оказался подполковник Генерального штаба, а с ним чемодан бумаг в придачу. Каким-то образом он замешкался и не успел выехать со штабом Бонапарта. Но нагнать своих ему уже не удастся.

Сей офицер, между прочим, сообщил, что Вильне поймали и расстреляли целый отряд агентов Балашова. Еще он рассказал, что в городе Шклове французы повесили некоего Этингона: он отказался показать им путь к Могилеву, заявив, что это противоречит заповедям Бога.

Этот же офицер, отвечая на заданный мною вопрос, сказал следующее: «Как можем мы знать что-нибудь, когда в качестве шпионов мы можем употребить только евреев, а они ведь все за вас!»

В самом деле, благодаря ученикам Старого Ребе мы узнавали до сих пор не только о передвижениях и местах квартирования французских войск, но даже и о тех пунктах, у которых Бонапарт намечал переправы своих войск через Неман.

Еще подполковник поведал (и, может быть, это и есть самое важное из всего, что я узнал от него), что император Франции отдал приказ двигаться «Великой армии» на Москву. Да, вот как раз поэтому он со своим штабом и оставил Виленский замок, перед этим приказав расстрелять нашего Игнатия Савушкина.

Ай да Старый Ребе! Он оказался совершенно прав — именно на Москву, а не на Петербург нацелился, оказывается, Бонапарт. Видимо, так и будет, и как раз в Москве ждет его гибель.

Допрос графини Коссаковской, как я и предполагал, шел крайне тяжело.

Начал я весело, игриво даже, но внутренне был предельно напряжен — на легкую беседу не надеялся:

— Графиня, ежели бы вы только знали, как я счастлив, что снова вижу вас и могу вам оказать приют в этой скромной обители.

Алина молчала, но прямо глядела мне в глаза, не скрывая злобы и презрения.

Я же продолжал:

— И будьте уверены, графиня, вас тут будут беречь как зеницу ока. Так что ваши папенька и маменька могут быть совершенно спокойны — тут охраняют лучше, чем в Виленском замке.

Алина не скрывала ненависти, а я — иронии. Она молчала, я говорил, но говорил в расчете, что она не выдержит и тоже молвит словечко:

— Графиня, а ведь пригласил вас сюда отнюдь не из зряшного любопытства, а дабы сделать вам приятное. Да, да — именно так. Все дело в том, что вас тут доживаете друг; можно даже сказать, что нежный друг.

Тут Алина, на миг забыв об одолевавшей ее злобе, посмотрела на меня просительно. Я как можно ласковее улыбнулся ей и молвил:

— Не буду вас томить, графиня. У меня уже несколько дней гостит полковник Андриевич; точнее: бывший полковник. Так вот бывший полковник Андриевич просто мечтает встретиться, переговорить с вами.

При этих словах лицо Алины исказила судорога, но она молчала, упорно молчала. Делать было нечего — я продолжал:

— Ваш нежный друг, графиня, меня уже несколько раз спрашивал... Нет, вначале он рассказал мне, что император Бонапарт дал вам аудиенцию. И говорил мне, не знаю ли я, что за новое поручение дал вам император Франции. А я, как на грех, ничего не знаю. Вот теперь вы и расскажете ему. Да Андриевич будет просто счастлив увидеть вас. Я так рад за него, графиня.

И тут Алина, наконец, не выдержала. Ее прорвало:

— Полковник Андриевич — не изменник и ничего вам не рассказал и не мог рассказать.

— Успокойтесь, Алиночка, успокойтесь — с притворной заботой захопоталя, а сам ожидал продолжения, и оно последовало.

Собственно говоря, Алина и в самом деле успокоилась. Холодно глядя мне в глаза, она сказала совершенно ледяным тоном, отделяя каждое слово:

— Меня не проведете, любезнейший Яков Иванович. Пан Андриевич ничего вам не говорил. Вы все узнали окольным путем, от жидов наверно. Да, я виделась с императором Франции. Да. Он дал мне новое поручение. Но его я унесу с собой в могилу. Впрочем, одно я все-таки вам расскажу, чтобы голову себе поломали — поручение это связано с Москвой. И все. Больше от меня вы ничего не узнаете.

Вот такой состоялся допросец. Когда Алину увели, то я вздохнул с невероятным облегчением.

Кстати, графиня Коссаковская, видимо, совсем меня держит за глупца. То, что она рассказала, отнюдь не требует ломания головы.

Несомненно, Бонапарт, идя на Москву, прежде решил заслать туда Алину. Что ж. Будем иметь это в виду.

*Июня 22-го дня. Двенадцатый час ночи.*

С отъездом Бонапарта из Вильны, кажется, нам делать тут становится особенно нечего.

Штаб императора Франции уже отбыл.

Основные силы начали покидать город.

По рассказу Трифона, Вильна пустеет буквально прямо на глазах. Он сообщил мне, что в отеле Нишковского вообще уже нет постояльцев.

Да, нам, обитателям дома Бауфала, явно надо сворачиваться и двигаться в Главную квартиру, в Свеняны.

Придется, кстати, вести с собой целый сундук бумаг — протоколы допросов и документы, отобранные у пленных. У де Валуа тут скопилось целое хозяйство.

Да, надо ехать, но все-таки решение вопроса об отъезде откладываю до завтрашнего утра. День сегодня был ужасно тяжелый.

Утреннее томительное ожидание еще как аукнулось. А потом еще многочасовые утомительные допросы! А разговор с Алиной — он ведь тоже не легко мне дался. Завершился он кстати весьма драматической сценой.

Вдруг вдребезги пьяный ворвался Саван с шашкой наперевес, крича что-то нечленораздельное и явно пытаясь зарубить графиню Коссаковскую (она, кстати, при этом даже бровью не повела). Но сегодня еще не ее черед: по моему знаку карательные оттащили отставного ротмистра от Алины и вывели его из моего кабинета.

Потом, когда все закончилось, Трифон устроил нам ужин, обильный, но грустный, конечно.

Мы помянули нашего павшего товарища и пожелали, чтобы земля была ему пухом. У многих при этом в глазах стояли слезинки, а Саван и де Валуа рыдали в голос.

Пришли к нам и гости, неожиданные, но желанные — Яша Закс, Мойше Майзлиш (Марковский со штабом уже отбыл) и еще несколько человек — все это ученики Старого Ребе. Они со своими частями завтра должны были уйти из Вильны и явились попрощаться со мною.

Лейба сказал мне, что учитель напомнил им, дабы они не теряли со мною связь и после того, как я оставлю Вильну.

Мы договорились, что письма для меня ученики Старого Ребе будут оставлять в жидовских корчмах. Это предложил Майзлиш, и это придумано просто отлично.

Поминая Игнатия Савушкина, мальчики всплакнули. Мойше Майзлиш отвел меня в сторону и еле слышно шепнул: «Яков Иванович, я никогда себе не прощу, что Игнатия не удалось спасти». Я как мог успокоил его. Уж кому-кому, но не ему корить себя — он столько сделал для нас в эти дни!

Как бы я справился без них, без этих мальчиков?! Убеждаюсь все более и более: никакому Бонапарту таких не одолеть.

Более всего меня в них поражает то, что ум у них острый, пронзительно-прошительный и одновременно теплый, эмоционально-импульсивный, душевный.

Так воспитывал их, судя по тому, что я прочел, великий учитель — Старый Ребе, добиваясь полного взаимопроникновения «ума» и «сердца». Идеальным слугою Бога, согласно дисциплине ребе Шнеура Залмана, является человек, который в преданности своего служения, объемлющего все аспекты повседневной жизни, достигает должного равновесия между трезвостью разума и взволнованностью чувств.

Да, кажется, еще чуть-чуть, и я сам побегу к нему в ученики. Но если говорить серьезно, то личность этого старца вызывает у меня подлинный восторг, решительное преклонение.

Поразительно: старый, немощный человек, не потерявший глубины и остроты ума, оказывается, способен противостоять тирану, подчинившему себе чуть ли не всю Европу.

В эти крайне тяжелые, страшные для моего отечества дни я с изумлением открыл для себя совершенно уникальную личность, необыкновенно сильную и светлую.

*Июня 23-го дня. Полдень.*

На рассвете прибыл посыльный из Динабурга [9] с письмом от барона Розена и майора Бистрома. Фактически это была целая записка, в коей сообщалось, между прочим, следующее:

*Главная крепость находится в зачаточном состоянии, а мостовое укрепление, законченное в плане, на самом деле является земляным.*

*В связи с началом войны был собран военный совет, на коем решено было все строительные работы прекратить.*

*Несколько дней назад мостовое укрепление была атаковано маршалом Удино, но штурм был отбит. Однако затем, согласно приказу об отступлении, крепость нашими войсками была оставлена, и в город вошли войска генерала Рикорда.*

*Сей Рикорд велел скрыть укрепления и разрушить начатые постройки, после чего он покинул правый берег Западной Двины и пошел на соединение с армией Мюрата.*

*Барон Розен, майор Бистром и еще несколько полицейских чинов скрываются в доме динабургского купца Соломона Мейлахса.*

Сразу же после завтрака, я собрал у себя Савана, Вейса, Шуленберха, фон Майделя и де Валуа. Обрисовав общую обстановку, я рассказал им, что нам тут больше оставаться, собственно, не за чем, и что надо готовиться к отъезду.

Слова были встречены с полным пониманием, но барон фон Майдель вдруг спросил, изумленно поводя глазами:

— А как же пленные, Яков Иванович? Что делать с ними? У нас же весь дом набит пленными!

Я тут же ответил, и как оказалось, мой ответ был не вполне понят присутствующими:

— Парочку пленных (тех, что наиболее важные пгицы; скажем, полковника французского Генерального штаба) мы возьмем с собой.

— Но что делать с остальными? Мы же не можем взять всех с собою.

— Вы правы. Мы никак не можем взять всех.

— Но что же делать? — не унимался барон.

— Но отпустить ведь их мы тоже не можем, — сказал я.

Тут все со мной согласилось.

— Но как же быть? — вскрикнул барон.

— Господа, выход, увы, только один. Пленные — это свидетели, и они должны быть уничтожены. Советую вам вспомнить, как французы поступили с нашим Игнатием Савушкиным.

— Расстреливать что ли будем всех? — потрясенно спросил де Валуа. — Но там же еще и дама! Даже ее не отпустим?

— Графиня Коссаковская, — отвечал я, — намного опаснее всех остальных, содержащихся в доме Бауфала. Она должна быть уничтожена в первую очередь. Но расстреливать мы никого не будем. Это был бы *mauve ton*.

— Как же поступить? — спросил у меня барон фон Майдель, вконец обескураженный.

— Господа, все очень просто. Уходя, мы подожжем дом Бауфала. Вот и все. Пожар — это ведь явление естественное, а расстрел — противоестественное. Так что если дом вдруг сгорит, то нас никто не станет обвинять в массовом убийстве.

Все офицеры со мною согласились, хотя и без особого энтузиазма (явно был недоволен барон фон Майдель и не собирался этого скрывать), однако решение было принято.

Так что дом Бауфала все-таки обречен: пожар неизбежен.

Жаль, конечно, привидений — они остаются без крова. Но что делать: война есть война.

### *Июня 23-го дня. Четыре часа пополудни*

Трифон в последний раз накрыл на стол в доме Бауфала. Да, последний обед в кабаке самоубийц. Был этот обед чинный и вместе с тем какой-то тревожный, без звона бокалов и гусарских песен, великим знатоком коих является наш барон фон Майдель. Да и ротмистр Саван не прочь иной раз напеть гусарские куплеты.

Но на сей раз, полагаю, все думали о предстоящей дороге и о том, что готовит каждому из нас злодейка-судьба.

Прощались с нашей околокладбищенской обителью, служившей нам верой и правдой девять ночей и десять дней.

Надо сказать, что многие из нас уже как-то сроднились с домом Бауфала. В общем, уходить в неизвестность не очень хотелось.

После обеда стали укладываться — этим занимался Трифон, и на подмогу ему по моему приказу были выделены пять караульных.

Мне же де Валуа помогал отбирать нужные бумаги (те, что мы берем с собой). Те же, что показались мне не столь существенными, Трифон побросал в камин.

Когда с бумагами было покончено, я еще провел целый ряд допросов.

Де Валуа и Саван помогли мне — мы втроем взяли на себя пленных французов. Вейс же и Шуленберх — пленных поляков.

В ходе допросов были отобраны десять человек, коих мы берем с собой, в Свеняны, на Главную квартиру.

Навестил я в последний раз (к моему величайшему сожалению, это не был последний раз — позднейшее примечание Я.И. де Санглена). графиню Алину Коссаковскую и полковника Сигизмунда Андриевича.

Беседуя с этой парочкой, с этими недругами Российской империи, я был весьма насмешлив, — Алина же и полковник почему-то не были настроены шутить со мною, глядели мрачно, из-подлобья.

Графиня Коссаковская крикнула мне вслед, что мы еще скоро встретимся и что следующий ход за ними и что за ходом этим последует ничто иное, как мат. Я в ответ на эти слова громко рассмеялся (и зря — позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Потом графиня заметила мне (она говорила уже совершенно спокойно, но видно было, что пребывает в диком гневе):

— Любезнейший Яков Иванович! Не радуйтесь и не думайте о победе, — вы все погибнете. Этого вашего Шлыкова мы, увы, не добились, а всего лишь взяли в плен. Но знайте: больше никому пощады не будет.

На угрозы Алины я не обратил ровно никакого внимания — меня совершенно свело с ума известие о Шлыкове, о бедном, несчастном надворном советнике Шлыкове.

Теперь уже закричал я — даже не закричал, а истошно завопил:

— Что вы говорите, Алина?! Шлыков был предательски убит! Я самолично хоронил его. Даже Государь всплакнул, узнав об его гибели.

Коссаковская зло рассмеялась и молвила потом, как только я остановился:

— Вы хоронили младшего брата Шлыкова, а сам надворный советник был вывезен нами в Варшаву (допрашивал его самолично генерал Фишер) и находится он в доме моих родителей, под домашним арестом. Но когда я прибыла теперь в Вильну и узнала, что вытворяют ваши ребята с поляками и французами, то отослала в Варшаву записку, в коей приказывала расстрелять вашего Шлыкова. Так что скоро возмездие свершится.

«Жив, жив» — пронеслось у меня в голове, и я кинулся обнимать графиню, но она холодно, высокомерно и брезгливо отстранилась от меня, на что я и не подумал обращать хоть малейшее внимание. Я только думал о том, что Шлыков, которого я знал еще по петербургскому министерству полиции и в гибели которого ничуть не сомневался, оказывается живехонек: в плену, но живехонек. Так что на Алину за ее высокомерие я отнюдь не сердился. От радости я даже зарыдал и не стыдился этого.

Пока шел допрос Алины, все наши пошли отдыхать, а я вот теперь еще делаю последние бауфаловские записки в дневнике. Трифон же в это время возится с вещами, упаковывает мои книги и делает это, кстати, очень бережно: он ведь и сам книголюб.

Да, как стемнеет, устроим мы тут пожарчик и сразу тронемся в путь. Так, во всяком случае, решено.

Прощайте же, милые привидения!

Под вашей охраной нам жилось совсем не так уж и плохо! Вы ведь способны отпугнуть кого угодно!

Прощайте, остающиеся без крова бедняги! Сначала мы вас выгнали, а теперь вообще лишаем дома.

Прощайте и не поминайте нас лихом, духи несчастных самоубийц!

И имейте в виду: ежели бы не проклятый Бонапарт, мы бы ни за что не потревожили вашего покоя.

Вот и заканчивается мой бауфаловский дневник. Даже как-то грустно стало...

Может быть, по прошествии многих лет, когда утихнут нынешние военные бури, возможным станет предать его тиснению — занятная, вероятно, получится книжечка, не иначе.

Кой-кому, не исключено, она покажется фангастической; между тем, все в ней — самая несомненная правда. Просто события сейчас происходят совершенно небывалые.

Один только сюжетец «Старый ребе, одолевающий всемогущего императора Франции» чего стоит!

Кажется, не хлебнув как следует горячительных напитков, такого и не придумаешь!

А подвиги отставного гусарского ротмистра российской службы Давида Савана, урожденного француза, дурачащего французскую разведку — это же гораздо завлекательней новомодной изящной словесности!

Вообще я полагаю: все, что случается ныне, довольно даже скоро будет восприниматься как чистейший роман и увлекательный роман.

Все! Надо ехать!

И полицмейстер Вейс, и квартальный надзиратель Шуленберх, и барон фон Майдель поочередно заглянули ко мне.

В самом деле, сумерки уже спустились над старым и давно заброшенным лютеранским кладбищем. Я уже как-то свыкся с ним. Да и Трифон по-моему тоже обжился тут. И вот теперь снимаемся с насиженного места.

## ПОЗДНЕЙШАЯ ПРИПИСКА АВТОРА ДНЕВНИКА

Как только на старом лютеранском кладбище спустились сумерки, дом Бауфала по моему приказанию исправно подожгли.

Мы уже загодя все вышли во двор, вытащили поклажу, оседлали коней, подготовили две большие кареты, а дом заперли на громадный замок (его Трифон давно уже обнаружил на чердаке, и вот теперь его находка сгодилась).

Как только первые мощные языки пламени охватили кабак самоубийц, я в карете, в коей еще поместились Трифон и де Валуа с сундуком, начал движение в сторону Свенциан.

Во второй карете находились пленные. Следом за двумя каретами тронулись Вейс, Шуленберх, фон Майдель и Давид Саван со своими ребятами — все четыре отряда.

Оглядываясь, мы видели (я несколько раз выходил из кареты), что зарево поистине было огромным, даже бескрайним каким-то.

Пленные, сидевшие во второй карете, увидев через оконце, что дом Бауфала горит, стали рыдать и биться головой о дверцу, прощаясь со своими гибнущими товарищами.

Думаю, что старое лютеранское кладбище было освещено в этот вечер как никогда.

Да, фейерверк получился знатный!

Как выяснилось буквально через несколько недель после пожара, экс-полковник Сигизмунд Андриевич и графиня Алина Коссаковская, к моему ужасу и величайшему стыду, сумели каким-то непостижимым образом ускользнуть из горящего и наглухо запертого здания — я их потом вдруг встретил в Москве и при не слишком приятных для себя обстоятельствах.

Встреча с покойничками в первопрестольной столице нашей доставила мне массу хлопот. Впрочем, об ней — совершенно особый разговор.

Поразительно, но убежать смогли именно они, самые опасные из тех, кто содержался по моему приказанию в доме Бауфала. Я и теперь так и не понимаю, как же им это удалось.

Вообще хитрость Алины Коссаковской и Сигизмунда Андриевича была какая-то дьявольская, нечеловеческая даже. Да ведь и служили они этому исчадию ада — Бонапарту! Не зря ведь говорили тогда, что он чернокнижием занимался.

Собственно ради этой парочки и был мною затеян поджог, — и вот на тебе! Они-то как раз и улизнули. Именно они! И никто другой!

Я был абсолютно уверен в тот вечер, что с графиней Коссаковской, этой опаснейшей преступницей, наконец-то сейчас будет покончено, и покончено раз и навсегда.

А случилось лишь то, что был подожжен Бауфалов кабак, и несчастные привидения, страдающие души самоубийц, стали бродить по разоряемому неприятелем Виленскому краю, довершая общее разорение и ужас.

Да, привидения лишились своего излюбленного пристанища, а особы, покушавшиеся на жизнь нашего Государя, все-таки оказались на свободе, готовые к совершению новых злодейств супротив Российской короны.

И все-таки ничего напрасного не бывает. Чем более сильное разорение и ужас порождает враг, тем сильнее ненависть к нему, тем неотвратимей грядущее возмездие.

И то, что привидения разбрелись повсюду, может, и не так уж было плохо, хотя привидений мне все-таки жаль, даже еще и теперь, по прошествии стольких лет, а ведь протекло уже с тех пор не одно десятилетие.

Многие события изгладились из моей памяти, однако же о горестной судьбе привидений, обитавших некогда в доме Бауфала, я прекраснейшим образом помню.

*Яков де Санглен, военный советник. Мая 18-го дня. 1857 год. г. Москва*

## ЕЩЕ ОДНА ПОЗДНЕЙШАЯ ПРИПИСКА АВТОРА

Пересматривал на днях страницы своего дневника, касающиеся десяти июньских дней 1812-го года, и вдруг подумал, что сгоревший дом Бауфала есть ведь прообраз сожженной Москвы, первопрестольной столицы нашей. Странно только, как данное соображение не пришло мне в голову раньше.

Факт, действительно, поразительный, как теперь начинаю я в полной мере постигать это.

Поджог дома Бауфала — это ведь на самом деле было репетицией того, что мы сделали потом в Москве. Просто об этом мало кто знает, как мало кто знает и

то, что именно в доме Бауфала были сформированы первые партизанские отряды, коими руководил я.

Знаменитый историк наш Михаил Петрович Погодин, ознакомься с этой частью дневника, изъявил полнейшее согласие со мной.

Более того, Погодин полагает, что знакомство с дневником моим дает возможность совершенно по-новому взглянуть на современную российскую политическую историю.

Михаил Петрович заинтересовался также дальнейшей судьбой отставного гусарского ротмистра Давида Савана, однако мне о ней, к величайшему моему сожалению, ничего нового не известно.

Саван не отправился с нами в Свенцяны, на Главную квартиру, а остался партизанствовать в Виленском крае со своим отрядом, сплошь состоявшим из французов.

Саван был человек отменной храбрости и несомненного благородства, ярый враг Бонапарта, верой и правдой служивший России.

Коли бы удалось вдруг собрать о Давиде Саване поболее сведений, то тогда можно будет написать завлекательнейшую повесть о подвигах отставного гусарского ротмистра или хотя бы составить биографический очерк о нем, наподобие того, как я по горячим следам составил очерк о генерале графе А.И. Кутайсове [10].

Надо будет для начала справиться в архиве Высшей воинской полиции, коим, между прочим, управляет Протопопов, заведовавший в 1812-м году моей канцелярией.

Непреренно стоит порасспрашивать и де Валуа (он ведь с Саваном по-настоящему сдружился как раз в доме Бауфала).

Де Валуа теперь обретается где-то в Санкт-Петербурге и, говорят, дослужился даже до статского советника.

Да и бумаги у де Валуа остались кой-какие, об этом мне доподлинно известно, причем, бумаги, связанные именно с его работой в моей канцелярии (апрель — июнь 1812-го года). Не плохо было бы на них теперь взглянуть.

Завтра же прикажу разыскать верного моего де Валуа, пока все более слабеющие силы не оставили меня окончательно.

Да, о ротмистре Давиде Саване весьма желательно было бы написать особо. Он того в полной мере заслуживает.

Вообще его судьба есть любопытнейший и поучительнейший эпизод современной русской военной истории. Несомненно, Саван был великим русским разведчиком.

Ротмистр нанес немалый урон Бонапарту, до похода в Россию слышшему непобедимым.

Собственно, он не раз сумел провести пронизательнейшего императора Франции и агентов, поставленных им в герцогстве Варшавском.

Накануне кампании 1812-го года и в первые дни кампании Давид Саван оказал нам ценнейшие услуги — сего не стоит и не следует забывать. Это было бы не простительно!

Более того, следует помнить еще и то, что именно Давид Саван вместе с полицмейстером Вейсом, квартальным надзирателем Шуленбергом и корнетом фон Майделем — а совсем не Денис Давыдов — непосредственно стоят у истоков русского партизанского движения. Об этом почему-то не очень любят вспоминать у нас, но из песни слова не выкинешь, господа — фальсификаторы истории.

*Яков де Санглен. Марта 24-го дня. 1862 год, г. Москва*

## ТРЕТЬЯ ПОЗДНЕЙШАЯ ПРИПИСКА АВТОРА ДНЕВНИКА

### 1

Сегодня утром по зову моему приезжал ко мне де Валуа (прибыл специально из Санкт-Петербурга). Он, действительно, дослужился до статского.

Де Валуа довольно-таки изменился, потерял изрядное количество своих огненных кудрей, весьма сильно обрюзг, но выражение его глаз по-прежнему живое и умное, как и сорок лет назад.

Встретились мы довольно сердечно — беседа наша длилась более трех часов кряду, что уже говорит о многом.

Вспоминали много Вильну, говорили и о доме Бауфала, о коем у де Валуа остались самые приятные воспоминания. Только его лицо омрачилось грустью, когда речь зашла о поджоге.

Отставного ротмистра Давида Савана он, конечно, отлично помнил и кое-что любопытное рассказал мне о нем — воспоминания, надо сказать, весьма оживили его.

Де Валуа привез с собой и оставил мне на пару недель целую кипу бумаг (непременно прикажу немедленно снять с них копии).

Есть там и документы, касающиеся до ротмистра Савана — и частная переписка, и отчеты на имя Барклая де Толли, и еще кое-что, весьма, надо сказать, любопытное.

Кстати, среди тех бумаг, что оставил у меня де Валуа, есть полная копия послания Шнеура Залмана из Ляд (Старого Ребе, с учениками коего мне в свое время приходилось не раз встречаться к вящему процветанию Российской империи) к своим единоверцам, коих он призывал встать на борьбу с Бонапартом, убеждая, что падение сего супостата есть залог неизбежного спасения иудейского народа.

Мне особенно примечательными в сем удивительном послании показались следующие строки (я их списал тут же, не дожидаясь, пока писарь целиком скопирует весь документ):

*Услуживайте Его военным начальникам всеми силами, уведомляя оных тайным и послешнейшим образом, друг через друга, о всяких неприятельских местах, где сколько их есть, о их намерениях, словом, о всем, что к отращению вреда нашему любезному Государю Александру Первому, Его славному царству, а нашему отечеству, может содействовать. Язык иудейский, которого письмена известны единым только нам, в верность и чего я не сомневаюсь, не откроет нас перед нашим врагом, алчностью своею разорившим всю Европу — наконец вторгнувшимся в живые недра России, нашего любезного Отечества [11].*

Я убежден, что без сего документа невозможно в полной мере представить того, в каких, собственно, обстоятельствах протекало начало кампании 1812-го года.

В некотором роде, послание Старого Ребе есть шифровальный код ко многим тогдашним событиям.

В частности, бегство «Великой армии» через разоренные земли литовских и белорусских губерний во многом становится понятным именно после знакомства с этим выдающимся творением не только великого ума, но и великого сердца, великого провозвестника добра и истины.

Недаром по личному распоряжению Бонапарта французы начали охоту за Старым Ребе и его учениками — оснований для этого было предостаточно.

Император Франции был прекрасно осведомлен, что Шнеур Залман из Ляд проклял его.

Знал он и то, что именно Старый Ребе объяснил своим единоверцам — равенство, обещанное Бонапартом, несет гибель их вере.

Сей гениальный мудрец объяснил также, что лучше быть нищими и преследуемыми, но при этом не разобщенными и пребывающими под охраной своих святых книг (из послания Шнеура Залмана: «Если победит Бонапарт, богатство евреев увеличится и положение их возрастет, но зато отдалится сердце их от Отца нашего Небесного»).

Вот и получается, что подлинное благоденствие единоверцам Старого Ребе обеспечивает именно скипетр нашего Государя Александра Павловича, а Бонапарт со своими обещаниями свободы и равенства несет истребление вере, на коей ведь все держится у них.

И Шнеуру Залману поверили, и как еще поверили.

На фоне польско-литовских восторгов поведение его единоверцев просто изумляло и казалось чем-то совершенно невероятным, немислимым даже.

Государь Александр Павлович и генерал Аракчеев поначалу даже отказывались признавать это, но известия поступали одно за другим, и большинство из них доставлялось именно последователями Шнеура Залмана. Без их донесений не представляю даже, чтобы делала Высшая воинская полиция.

Кое-кто из учеников Старого Ребе французами был пойман и повешен, но сеть, налаженная Шнеуром Залманом в первые же дни кампании 1812-го года, так и не была разрушена, не смотря на все усилия, предпринимавшиеся противником.

Бонапарт, говорят, был в сущем бешенстве. Лазутчики, засланные Старым Ребе, в том случае, если их ловили, тут же предавались казни. Но на их место не медля ставились новые.

И вот что еще произошло в июньские дни двенадцатого года.

Результатом послания Старого Ребе явилось то, что поднялись жиды Виленской, Витебской и Могилевской губерний. И в итоге поставки фуража «Великой армии» были сорваны, что весьма замедлило ее поступательное продвижение по территории Российской империи.

Худо кормленные лошади, тянувшие артиллерийские упряжки, падали и падали, а замены они не получали или получали в недостаточном количестве.

Так что войска шли, а орудия застревали где-то, и это постепенно все сильнее ослабляло мощь «Великой армии».

Потом, когда она уже оставила Москву, история повторилась, но как!

Фураж единоверцами Шнеура Залмана для «Великой армии» поставлялся в заведомо недостаточном количестве и заведомо плохого качества. И результат был: лошади дохли в неимоверном количестве.

Так что последствия для французов были еще более трагическими, чем в июне, — я бы даже сказал, катастрофическими, по-настоящему гибельными.

Боевая сила армии таяла на глазах. Артиллерийский парк во многом был распылен, растаскан.

А что за война без артиллерии? Ясное дело, без артиллерии в наши дни война просто невозможна. Так что поставить в армию победителей плохой фураж — это отнюдь не мелочь, что Шнеур Залман отличнейшим образом понимал, ибо был он не только величайшим мудрецом, но еще и человеком, который мыслил предельно ясно и трезво.

В том памятном разговоре де Валуа напомнил мне, что Старый Ребе, организовав сопротивление, двинулся вместе с отступавшими русскими войсками, при-

хватив с собой своих домочадцев и ближайших сподвижников — попадись они в лапы французам, их ждала бы неминуемая жесточайшая расправа.

Повозка Старого Ребе постоянно находилась под охраной нескольких полицейских чиновников (де Валуа показал мне приказ на этот счет, который был подписан лично мною).

Целых пять месяцев престарелый Шнеур Залман провел в дороге (однако с многочисленной армией своих учеников, как я доподлинно знаю, связь он имел постоянно) и умер в декабре 1812-го года в деревеньке Пена Сумского уезда Курской губернии.

Похоронен сей великий человек, несравненный мудрец и пророк в местечке Гядяч близ Полтавы.

Он говорил еще в июне 1812-го года, до того, как светлейший князь Михайла Кутузов был назначен главнокомандующим российской армии: «Бонапарт не удержится в Москве и отступит именно по Белоруссии, а не по Малороссии, и вскоре погибнет».

Именно так и случилось. Бонапарт стал отступать по разоренным им же белорусско-литовским землям.

План Старого Ребе сработал. Сей удивительный человек дожил до исполнения своего пророчества.

А за несколько дней до смерти, чувствуя, что его святая душа, готовится покинуть этот мир, Старый Ребе сказал: «Когда последний наполеоновский солдат пересечет границу Российской империи, будет забрана от вас услада глаз ваших».

Очевидно, он ждал исполнения пророчества, не желая прежде, чем оно исполнится, расставаться с земной жизнью.

Старый Ребе ждал поражения Бонапарта, ибо именно оно, как он считал, давало шанс на спасение его вере и его народу, волею судьбы оказавшемуся в Виленской, Витебской и Могилевской губерниях. Он мудро полагал следующее.

Лучше пусть будет ненависть к его народу, но пусть его народ будет, ненавидимый, преследуемый, лишаемый прав, но будет. Это лучше, чем равенство, которое уничтожит особенность его народа, сольет его с другими.

Катастрофа Бонапарта означает катастрофу либеральных идей эмансипации и равенства, и, значит, она работала на сохранность веры иудейской.

И вообще о каком равенстве речь?! Его никогда не было, нет и не будет.

Каждая личность равнозначна всему человечеству и удивительна, как любое создание Божье. То же можно сказать и о народах, каждый из которых имеет неповторимую физиономию. И у каждого человека, как и у каждого народа, есть своя особая судьба.

В общем, Старый Ребе хотел уйти со спокойным сердцем. И несомненно, он ушел со спокойным сердцем: Бонапарт оглушительно проиграл военную кампанию 1812-го года, которая столь блистательно начиналась.

«Все, что говорил ребе осуществилось: полностью, а не наполовину», писал впоследствии его старший сын (письмо «Среднего Ребе» я нашел в бумагах, доставленных мне де Валуа), продолжатель дела своего великого отца и учителя.

*Я. де Санглен, военный советник.  
1864 год. Января 15-20 дня. Шестой час утра, г. Москва*

В нескольких коробках с бумагами, которые предоставил мне пять дней назад де Валуа, я обнаружил копию одного интереснейшего указа, о коем я прежде почему-то ничего не знал. А указ сей стоит того, чтобы о нем вспомнить.

Оказывается, за активную поддержку нашей армии сыну Шнеура Залмана из Ляд — ребе Дов Беру (он был известен как Средний Ребе), было присвоено звание «потомственного почетного гражданина» Российской империи. Вот так-то!

Сей факт поразителен, конечно, но вместе с тем он отнюдь не случаен. Не сомневаюсь, что он еще привлечет внимание историков.

Все дело в том, что именно Дов Бер помогал своему отцу летом 1812-го года налаживать партизанское движение в Виленской, Витебской и Могилевской губерниях и вел переписку со многими учениками Старого Ребе — Мойше Майзлишем, Меером Марковским и многими другими, оказавшимися по указанию своего учителя в рядах французской армии.

При этом, как мне кажется, заслуживает особого внимания вот еще какой факт. Именно по призыву Старого Ребе (еще его называли «Старый Ребе с новой душой») кагалы и частные лица иудейского вероисповедования в достопамятном 1812-м году пожертвовали российскому правительству крупные суммы на ведение борьбы с Бонапартом (расписки должны храниться в архиве Высшей воинской полиции).

Да, нашей армии, насмерть дравшейся с французами, Шнеур Залман из Ляд и сын его Дов Бер (Средний Ребе) оказали совершенно исключительную помощь, значение коей трудно переоценить, помощь исключительную — свидетельствую об этом как бывший Директор Высшей воинской полиции при военном министре.

Однако меня, помимо чисто практической стороны дела, всегда потрясал и потрясает до сих пор дерзостный ум Шнеура Залмана, осмелившегося противостоять всемогущему Бонапарту.

Один имел на своей стороне всеохватывающий ум и верных учеников, а другой — полководческий гений и почти миллионную армию. Соперничество казалось бесполезным, и все-таки Старый Ребе решился. Для этого нужен был не просто глубокий, острый ум, но еще и дерзкий ум.

В записях, которые оставил мне Меер Марковский, ученик Шнеура Залмана, он приводит такое высказывание своего учителя: «Божественная душа человека обладает тремя одеяниями — мысли, речи и действия».

Я понимаю теперь, что у самого Шнеура Залмана все эти три одеяния светились бесконечным величием. Слово его жгло, мысль его была остра как алмаз, а действия его были немислимо, невероятно точны.

И еще на одну мысль обратил я внимание, читая записи, переданные мне Меером Марковским.

Мысль сия как нельзя лучше объясняет, почему «Старый ребе», погруженный в мистические откровения, вместе с тем неизменно был занят делами нашего грешного мира, почему он стал бороться с Бонапартом: «Сущность божественного образа есть действие. Какая польза в том, что устройство твоего тела соответствует божественной форме, если в действиях своих ты не подобен Богу? Подражай же деяниям его, желай добра ближнему своему, ибо ты и ближний твой суть одно и то же».

«Старый Ребе с новой душой» обладал мощнейшим, проницательнее ишим умом и одновременно пророческими способностями, — он творил чудеса.

И борьба Залмана Боруховича, как он именуется в русских официальных документах, с Бонапартом — это тоже чудо, но только чудо, обладающее полноценной реальностью и абсолютной достоверностью (да, в записях Марковского я нашел еще следующее высказывание Старого Ребе: «Успех определяется глубиной стремления»).

До сих пор, по прошествии стольких лет, я не перестаю изумляться сему уникальному явлению, без коего невозможно в полной мере понять события достопамятного для российской истории 1812-го года.

Между прочим, камердинер мой Трифон (упокой Господи его верную душу) рассказал мне как-то историю, которую он услышал, — если мне не изменяет память — кажется, на виенском рынке.

*Ребе Исраэль из Козениц рассчитывал на то, что победа Бонапарта улучшит положение его единоверцев.*

*Учитывая на свои заслуги пред Господом, каждый из этих двух праведников — и Шнеур Залман и Исраэль — мог надеяться, что именно его молитва будет услышана на Небесах, что именно она будет учтена при высших расчетах.*

*Дабы избежать сложных ситуаций, дабы не ввергать Господа в сомнения, ребе Исраэль и ребе Залман пришли к соглашению: услышана будет молитва того из них, кто первым протрубит в шофар на Новый год.*

*Но едва ребе Исраэль собрался протрубить, как тут же ощутил, что Шнеур Залман опередил его, и, значит, гибель Бонапарта предрешена.*

Нечего говорить — конечно, эта история есть плод чистой выдумки. Но вот что по ней можно восстановить и восстановить со всею несомненностью.

Соотечественники Залмана Боруховича ждали Бонапарта, считая, что он может покончить с их притесненным положением. А Старый Ребе, обладавший не только глубоким, но еще и необычайно острым умом, переубедил всех и повел единоверцев своих под русские знамена, — переубедил не только авторитетом, но и умением своим выдвигать безошибочно действующие аргументы.

Собственно, Государь Александр Павлович, как и довольно многие в его окружении, опасался перед войной — я не раз слышал весной 1812-го года такого рода разговоры —, что иудеи станут на сторону Бонапарта, и основания для такого страха были.

Иудеи чувствовали себя притесненными, а император Франции обещал свободы. И ежели бы Залман Борухович не разъяснил единоверцам, что под французскими свободами понимается равноправие, которое не совместимо с идеей избранности божьей народа израильского, то неизвестно, как бы все еще повернулось.

Так что, может, и в самом деле Залман Борухович протрубил в шофар первым, нанеся тем Бонапарту сокрушительное поражение.

\* \* \*

Сегодня у меня обедал знаменитый историк наш Михайла Петрович Погдин, являющийся издателем замечательного журнала «Москвитянин», с коим я уже не первый год сотрудничаю.

Как повелось между нами, Михайла Петрович начал расспрашивать меня о малоизвестных обстоятельствах кампании 1812-го года.

Опять заговорили мы об отставном гусарском ротмистре Давиде Саване. Я попробовал еще что-то выскрести из закоулков своей памяти. Рассказ сей, кажется, весьма заинтересовал моего именитого гостя.

Потом Михайла Петрович попросил вспомнить еще какие-нибудь малоизвестные военные эпизоды, до коих я имел касательство.

Когда же я поведал Михайле Петровичу о Залмане Боруховиче из Ляд и его учениках, то знаменитый историк наш пришел в состояние форменного бешенства и наотрез отказался верить в достоверность моего рассказа.

Когда же я показал ему имеющиеся в моем распоряжении документы, Михайла Петрович отшвырнул их и, рассердясь, убежал — он кричал, топал маленькими ножками своими и обильно брызгал слюной. Такого с ним еще при мне не случалось — неизменные учтивость и спокойствие разом оставили его, и все профессорство мигом слетело.

Сценка получилась презабавная.

В первую минуту я даже оторопел и отказывался даже верить ушам и глазам своим, настолько все это было неожиданно, немислимо как-то даже.

Подумав как следует, вот какое я принял в итоге решение.

При следующей нашей встрече — а она не за горами — я непременно опять выложу перед Михайлой Петровичем Погодиным бумаги, доставленные мне де Валуа, который оказался, кстати, отличнейшим архивариусом, в высшей степени толковым, аккуратным и внимательным.

Так что деваться профессору Погодину будет некуда.

Это ведь — подлинные документы (письма, указы, справки, донесения), и Михайле Петровичу все-таки придется с ними ознакомиться. Да, все-таки придется! Не иначе!

Увы, выхода нет!

Историк непременно должен это знать, да и не только историк. Иначе, на самом деле, будет не понять, что же на самом деле происходило у нас в достопамятном 812-м году.

Яков де Санглен, военный советник, бывший начальник Высшей воинской полиции при военном министре, действительный статский советник, профессор-адъюнкт Московского университета. Генваря 19-го дня. В восьмом часу вечера. 1864 год, г. Москва.

### **От публикатора**

Через два месяца — 1-го апреля 1864-го года действительный статский советник Яков Иванович де Санглен скончался на 78-м году жизни, оставив в нашем грешном мире восьмерых детей и весьма обширное рукописное наследие, которое ждет еще своих интерпретаторов и читателей.

Успел ли де Санглен показать находившиеся в его распоряжении документы из архива де Валуа историку М.П. Погодину, — Бог ведает. В дневнике на этот счет записей больше никаких нет.

Возможно, что январская встреча была последней, а может быть и так, что де Санглен и Погодин еще виделись, но де Санглен, не смотря на храбрые свои заявления, не решился во второй раз ущемлять национальное самолюбие известного русского историка.

*Проф. Николай Богомольников,  
проф. Роман Осмоленчик.  
5 октября 2007-го года, г. Москва.*

*(продолжение следует)*

### Примечания:

---

- [1] См. о нем: Вадим Вацуру. Готический роман в России, М., 202, с.240-260.
- [2] См.: Нисан Миндель. Рабби Шнеур Залман из Ляды. Биография, т. 1. Нью-Йорк, 1971. За указание на этот источник приносим искреннюю признательность Марии Виролайнен, Институт русской литературы (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург, Россия. Примечание Николая Богомольникова и Романа Оспоменчика.
- [3] И.Л. Оршанский. Из новейшей истории евреев в России // Еврейская библиотека. СПб., 1872, т. 2, с. 253. За указание на этот источник приносим признательность доценту Новосибирского педагогического института И.Е. Лощилову. Николай Богомольников, Роман Оспоменчик, Михаил Умпольский, Игорь Смирный.
- [4] *savant* — сведущий, ученый, искусный. Не псевдоним ли это? Уж больно говорящая фамилия. Но в любом случае он был француз.
- [5] См. о нем: Виктор Лебедев. Российская разведка в Отечественной войне 1812-го года // Независимое военное обозрение, 2002, 26.04. За указание на этот источник приносим искреннюю благодарность сотруднику московского научно-исследовательского центра «Мемориал» Никите Охотину. Примечание Николая Богомольников, Романа Оспоменчика, Михаила Умпольского, Игоря Смирного.
- [6] Местечко это потом было переименовано в Любавичи. Примечание Игоря Смирного.
- [7] Последователи Алтер Ребе и в наши дни в конце праздника Йом Кипур (Судный день) поют гимн на мотив наполеоновского марша после заключительной молитвы «Неила». Примечание Михаила Умпольского.
- [8] Это был первый любавичевский ребе. Примечание Николая Богомольникова.
- [9] Ныне это город Даугавпилс в Латвии. Примечание Игоря Смирного.
- [10] Яков Иванович де Санглен. В память графу А.И. Кутайсову. СПб., 1812. За библиографическую справку благодарю доктора филологических наук А.В. Лаврова (Пушкинский Дом). Примечание Романа Оспоменчика.
- [11] Текст послания см.: Гинзбург С.М. Отечественная война 1812-го года и русские евреи. СПб., 1912, с. 64-65. За указание на этот источник приносим искреннюю признательность доктору филологических наук Марии Наумовне Виролайнен (Санкт-Петербург) Николаю Богомольников, Роман Оспоменчик.



# Александр Левинтов

## СТАРЫЙ ПАЛЕХ, НОВЫЙ ПАЛЕХ — ПОСЛЕДНИЙ ПАЛЕХ?

Суровые времена порождают прекрасное, что в природе, что среди людей. Геологические катастрофы оставляют после себя причудливые, тончайшего письма рельефы, социальные катаклизмы — изящные искусства.

Грозный раскол церкви, учиненный патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем Тишайшим, породил не только первого русского писателя, протопопа Аввакума, но и палехскую иконопись, необычайно тонкую, изящную и выразительную.

Иконопись в Палех пришла из села Холуй (около 30 км от Палеха), что на берегу некогда судоходной Тезы.

Когда точно начали писать иконы в Палехе, неизвестно. В то время в с. Холуе уже давно писались небольшие «массовые» промысловые иконки, а палешане подхватили прибыльное мастерство соседей. Основываясь на византийской школе иконописи, неспеша и кропотливо, вникая в философские начала, вырабатывался собственный стиль. Наряду с массовой иконой, писались и настоящие шедевры, которые сегодня хранятся в лучших коллекциях мира. Апогея развития палехской иконы достиг на рубеже 18-19 веков — время признания палехской школы иконописи как самой тонкой по письму школы того времени. Образцами этого письма можно считать Акафисты в Крестовоздвиженском храме Палеха.

Она возникла, скорее всего стихийно, в ответ на так называемый социальный заказ, тягу людей к новой иконописи в новой религии.

Возник этот промысел во владимирском селе Палех достаточно случайно, именно как народный, то есть безымянно, но основания к тому были: в здешних краях издревле существовали такие промыслы как ткачество, вязание, вышивка. Исходный волокнистый материал — лён. А где ткани, там и крашение их.

Одна из легенд, признанная как «официальная версия», возникновения села и иконописи: первые упоминания о селении в этой местности относят нас во времена нашествия татаро-монгольского ига, в церковных книгах 15 века. Много источников говорит о большом пожаре (возможно с пожаром связано название села, «палить», «паленый», «сожженный»).

Изначально палехские иконы рисовались на досках, только много позже перешли к другим изделиям, из папье-маше. А вот яичная темпера и олифа были всегда. Сусальное золото стало проникать в иконопись во второй половине 17 века, а лаки стали применяться лишь с появлением миниатюры.

Учились палехские мастера у ярославцев, новгородцев, москвичей, строгановскому стилю (византийский стиль, хотя и стал доминантой, пришел он сюда через соседей), пока не вышли на самостоятельную творческую стезю. Палехские иконы были узнаваемы сразу. И не только иконы — местные мастера работали и в крупных, монументальных формах, расписывая стены храмов. Палехскую работу можно найти в *Грановитой палате Московского Кремля*, храмах *Троице-Сергиевой лавры*, *Новодевичьего монастыря*.

Сразу после революции, в 1918 году, местные художники объединились в художественную декоративную артель.

Далее пошли годы исканий, когда палешане расписывали «все, что под руку попало» — экспериментировали, много искали! Много работали в лубочном стиле. Предприимчивость, любознательность и контакты в Москве некоторых палешан привела к экспериментам на черных, покрытым лаком шкатулкам из папье-маше, взятых из подмосковного села Федоскино. Артель древнерусской живописи появилась 5 декабря 1924 года. Эту дату и принято считать «днем рождения Палехской лаковой миниатюры».

Революция и последовавшая за ней «культурная революция», возглавляемая воинствующими безбожниками сильно накренила палешан. От иконописи пришлось резко отказаться. Но народным художникам повезло. Новая власть увидела в этом промысле золотую (точнее, валютную) жилу: капиталисты, не признавая большевиков, тем не менее охотно скупали у них за бесценок раритеты, ценности мирового значения; однажды Хаммер спросил Луначарского: «Почему вы так задёшево продаёте своё национальное достояние?», на что нарком культуры, не моргнув глазом, ответил: «Грядёт мировая революция — всё вернётся к нам назад!». Слава Богу, не грянула, но потеряли мы непростительно много; палехские шкатулки, броши, миниатюры со вполне светскими (но не советскими) аполитичными сюжетами улетали за валюту на ура. Агитпром шёл широким потоком на внутренний рынок.



Посёлок Палех. Шкатулка, 1934 год. И.М. Баканов.

Палех стал выдавать на-гора советскую «иконопись» с ликом вождя мировой революции и не только его. Рядом со сказочными и лиричными сюжетами на папье-маше ложились заказные портреты партийных лидеров, известных деятелей культуры, искусства и науки. Художникам снова пришлось искать и экспериментировать, так как стилистические основы плоскостного письма иконописного стиля не позволяют изображать натуралистические портреты, так по-

явился палехский портрет — уникальнейшая в мире портретная школа «плоскостного письма», основанная на иконописном стиле Палеха.

Впервые палехские миниатюры на папье-маше появились на *Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке* в 1923 году, где были удостоены диплома 2-й степени. В 1924 году возникла «Артель древней живописи», изделия которой ошеломили Всемирную выставку в Париже в 1925 году. Валютная река потекла в пресловутые закрома Родины, палешанам же доставался рублёвый ручей, безбедный, но не сопоставимый с государственными доходами. В 1935 году артель была преобразована в Товарищество художников Палеха, в 1954-м образовались Палехские художественно-производственные мастерские *Художественного фонда СССР*.

Золотая жила талантливого села не должна была иссякать. В 1928 году в Палехе открылась профтехшкола древней живописи, обучение в которой длилось четыре года. В 1935 году школа была преобразована в художественный техникум. В 1936 году техникум перешёл в систему Всесоюзного комитета по делам искусств и стал называться училищем (*Палехское художественное училище имени А.М. Горького*), где обучение длилось 5 лет. В 2000-х годах срок обучения опять был сокращён до 4 лет. На излете СССР затеяли было строительство огромного учебно-производственного комбината — развалины недостроя до сих пор ранят сердца палехских художников.

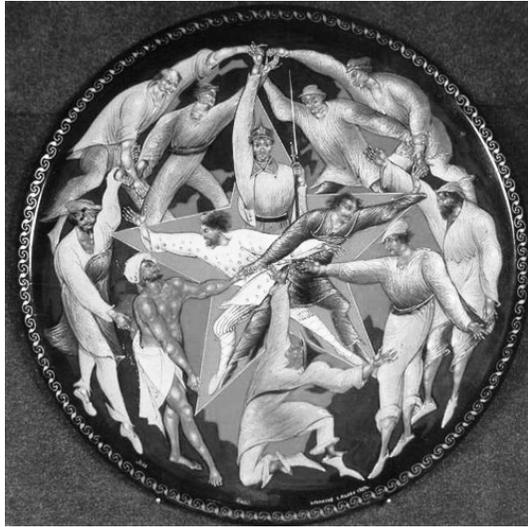
При советах Палех процветал, особенно в годы застоя. Село отстроилось, благоустроилось, похорошело, на зависть окружающей нищете и гольтыбе деревень и городов Ивановской области, скроенной из лоскутов Ярославской, Владимирской и Костромской губерний. Сбыт на себя взяло государство — только рисуйте! И палешане рисовали, оттачивали мастерство, учили новых мастеров.

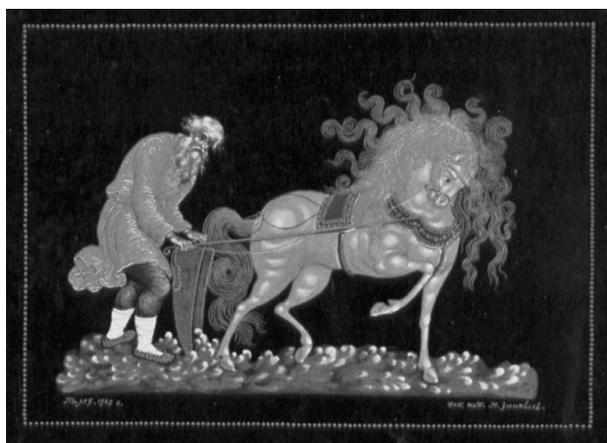
В советские времена здесь сложилась система, очень напоминающая ситуацию в цехе северо-итальянских зодчих в Средневековье: если совет мастеров признавал работу подмастерья равноуровневой мастерской, но не повторяющей мастерскую, то такую работу называли шедевром, а самого подмастерья причисляли к сонму мастеров. В Палехе признание шедевральности изделия означал не просто переход на более высокую ставку оплаты, но и разрешение работать на дому.

Позже это благое дело обернулось для палешан губительным раздором мнений и интересов — не только художественных, но прежде всего, маркетинговых. Эта разобщенность теперь — основная угроза, выросшая перед палешанами.

Несмотря на разброд и шатание, несмотря на непонимание рынка и его законов, Палех меняется: вернулась иконопись, появились новые материалы, формы, сюжеты. Но палехская миниатюра, увы, исчезает. Палех борется за своё художественное и духовное бессмертие, не очень ловко и умело, но борется. «Прервалась связь времен» — и великие мастера уходят, оставляя за собой пустоту. На смену им идут умельцы подделки и мастера ширпотреба.

А теперь замолчим и, затаив дыхание, полюбуемся работами Старого Палеха, Нового Палеха и понадемся — не последнего:









 IedaskinToday



Борис Сохрин

## ДЕБЮССИ и СКРЯБИН

*Публикация Елены Иоффе*

### Дебюсси

В Дебюсси при всём его уме, при всей утончённости, при всей изощрённости его музыки, свидетельствующей о феноменальном слухе, в Дебюсси есть что-то от весёлого нигилиста. Прежде чем рассказывать о нём, я сообщу Вам, Зинаида Васильевна, что я не так уж часто испытываю желание слушать музыку Клода Дебюсси. Бывает, подолгу слушаешь кого угодно, только не его. Зато наступает такой момент, когда слушаешь только одного Дебюсси.

Вы и без меня знаете, что Дебюсси — создатель новой эпохи, новой школы, нового течения в музыке — импрессионизма. И музыка Дебюсси (как и музыка его младшего современника — Равеля) не похожа на всё предшествовавшее, необычна в сравнении с классикой. Он один из характернейших революционеров, первооткрывателей в искусстве. Как, например, поэзия Маяковского кажется ни с чем не связанной, ни на что не похожей, выросшей на голом месте, так и музыка Дебюсси кажется чудесным образом возникшей из ничего. У Дебюсси не было явных предшественников. Вторым великим импрессионистом был Равель, но он уже не первооткрыватель. Музыка Дебюсси так потрясла его, была для него таким открытием, что он пошёл по этому пути. И лишь потому, что он сам был наделён могучим талантом и имел "своё лицо", он не стал жалким эпигоном, рабским подражателем, а, восприняв ту же манеру, заговорил своим голосом, стал в рамках созданной Дебюсси школы самобытным и неповторимым. Их имена — Дебюсси и Равель — и называются очень часто вместе.



Музыка Дебюсси не похожа на музыку предшествовавших классиков. Утрируя, можно сказать, что она трогает другие струны в душе человека. Когда хочется философских раздумий, трагических коллизий и страстей, широких мелодий, мощных и проникновенных — тогда лучше не трогать Дебюсси, этого у него не найдёшь. Его музыка слишком тиха, его мелодии настолько не явны (они как бы не сразу слышны, не сразу улавливаемые переливы полутонов), что слушать Дебюсси можно только сосредоточенно, слушать **вслушиваясь**. В качестве иллюстрации интереснейший случай. Современником Дебюсси был немец Рихард Штраус,

один из создателей другого течения — экспрессионизма. (Если импрессионизму можно приписать тонкость, чудесную красочность, изящество, то экспрессионизму присущи, наоборот, преувеличенность, взвинченность какой-нибудь эмоции, крикливость, склонность к броскости, к гротеску, часто к натуралистичности деталей, к грубости. Немецкие художники-экспрессионисты оказались крупными и более интересными, чем немецкие импрессионисты).

Так вот, если считать Рихарда Штрауса в какой-то мере преемником романтиков (его инструментальные произведения — сонаты, квартеты и т.д. очень романтичны, иногда можно подумать, что это написано Бетховеном или Шуманом), то его знаменитые симфонические поэмы и ещё более знаменитые оперы очень экспрессионистичны. Он последний, наверное, великий оперный композитор. Будь у меня его оперы и особенно одна из любимейших в Европе "Кавалер роз", я бы обязательно принёс Вам, открыл бы Вам Рихарда Штрауса. Вообще, его музыка очень интересна. О нём можно сказать, что он ухитрился совместить в ней почти явную безвкусицу, красоту с великой красотой, почти явную пошлость — с музыкальным открытием.

Так вот однажды Рихард Штраус присутствовал в Париже на премьере только что написанной Дебюсси оперы "Пеллеас и Мелизанда". Французы, сидевшие с ним в ложе, ждали, когда же знаменитый немец выскажет своё мнение. Прошёл час и больше, прозвучала уже треть оперы, а Штраус всё помалкивал и только уже где-то в середине оперы он вдруг сказал: "Да, всё это вступление очень мило, но когда же начнётся музыка?" Для Рихарда Штрауса, наследника Вагнера и Берлиоза, музыка заключалась в мощных взрывах эмоций, в яркости мелодий, в рёве фанфар. А ничего этого у Дебюсси быть не может.

Но бывают моменты, когда все великие классики с их романтической музыкой становятся чужды. Может быть, просыпается в тебе скептический человек XX века, может быть, по какой-либо другой причине, но романтизм — все эти порывы и излияния — кажутся ложью, во всём слышишь сентиментальность, придуманность, что ли. Тебе как бы нужен собеседник, который заговорит чеховским, ренаровским языком, тонкий наблюдатель, но и ... тончайший лирик. И это Дебюсси.

Никакое искусство и ничто в искусстве не подчиняется определениям. Часто музыкальный импрессионизм понимается как живописность. Дескать, музыка рисует. Сапоги тачает пирожник. Будь это буквально так — я бы не любил Дебюсси. Да, действительно, Дебюсси и Равель возрождали старинную национальную традицию (по-моему, ущербную, подтверждающую, что французы не великая музыкальная нация). Старинная французская музыка (Куперен, Рамо и др.) очень любила рисовать, изображать. Почти всё творчество Куперена, да и Рамо, — это сотни музыкальных картинок, всякие там "Петух", "Курица", "Полёт ласточки", "Карусель", "Пастушка". Это я напридумывал, но всё в этом роде. Не помню названий, но уверен, что даже и эти, мной придуманные, есть.

Очень многие вещи Дебюсси (и Равеля) имеют подобные же живописные названия: "Облака", "Следы на снегу", "Лунный свет", "Терраса, освещённая лунным светом", "Фейерверк", "Сады под дождём", "Золотые рыбки" и т.д. Правда, не все так зрительно конкретны. Есть и такие: "Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют", "Затонувший собор", "Остров радости", "Празднества", "Что видел западный ветер" и др. Но музыка Дебюсси изображает не столько сами объекты, сколько чувства, рождающиеся в человеке, когда он глядит на эти объекты. Можешь, конечно, сколько угодно представлять себе и облака, и следы на снегу, и сады под

дождём и т.д. и всё-таки его музыка — не облака, не следы на снегу, не сады под дождём, а поток меняющихся, то грустных, то светлых, то радужных, то сумрачных человеческих настроений.

И как раз не Дебюсси, а немец Рихард Штраус часто грешил унижением музыки, сводил её к звукоподражательству и изобразительству: например, в его опере "Дон Кихот" настоящие овечьё бляенье и прочие подобные фокусы в других его вещах. И если поводом для какой-нибудь даже самой маленькой пьесы Дебюсси послужил какой-то зрительный образ, пейзаж или что-нибудь в этом роде, то этот образ не становится тюремной решёткой (как это бывает даже изредка у Равеля). И простора достаточно, и в глубине души рождаются звуки, и в этих звуках даже есть своеобразная мистичность.

Для человека, привыкшего к другой музыке, Дебюсси обычно труден. Я принёс Вам несколько прекрасных, но самых популярных его вещей. "Лунный свет", "Девушка с волосами цвета льна" — пронзительно красивы. Красота других пьес Дебюсси более скрытна. Музыка может показаться чересчур статичной. Я долго не понимал красоты симфонической сюиты "Ноктюрны" (ноктюрна три: "Облака", "Празднества", "Сирены")., пока не услышал эту сюиту в очень хорошем исполнении. На этот раз оркестром дирижировал Евгений Светланов.

Музыка "Облаков" действительно статична, она изображает облака, медленно меркнувшие на закате. Но в этой статичности столько изумительных оттенков, такое неуловимое движение! Во многих вещах Дебюсси околдовывают эти неожиданные, микроскопические повороты, это внезапное движение, когда кажется, что и места-то для него нет. Внезапное, мгновенное "событие на ладошке".

О знаменитой опере Дебюсси "Пеллеас и Мелизанда". Знаменитой, но увы! никогда мной не слышанной. И всё-таки я имею некоторое право судить. Во-первых, потому, что за исключением только этой оперы прекрасно знаю остальную музыку Дебюсси. Во-вторых, потому что отлично знаю пьесу, по которой опера — почти не отступая от текста — написана, ведь автор пьесы — Метерлиник, один из моих любимых писателей. И в-третьих, потому что достаточно доверяю мнению Ромена Роллана.

Я назвал оперу Дебюсси французским эквивалентом "Тристана и Изольды" Вагнера. И уверен, что это так и есть. Потому что замечательная пьеса Метерлиника удивительно по духу и смыслу "эквивалентна" пьесе Рихарда Вагнера (Вагнер вначале написал пьесу, которая и послужила либретто для оперы). Только пьеса Метерлиника, написанная много позже пьесы Вагнера, конечно, в поэтическом плане гораздо прекраснее и тоньше. Вот что приблизительно говорит Ромен Роллан: если музыка Вагнера кричит, плачет, то в опере Дебюсси "страсть говорит только шепотом".

## Скрябин

Скрябина недолюбливали и пытались обойти молчанием все маститые современники. Он был однокашником Рахманинова. Они учились в Московской консерватории в одном классе — у Танеева. Рахманинова "пригрел" и приласкал Чайковский. Он до самой смерти заботился о "Серёже". А Скрябина будто и не заметил. Естественно, ведь в нём он не чувствовал продолжателя, и Скрябин отнюдь не обещал оказаться очередным ручным.

Танеев любил обоих своих учеников. Но Скрябин с каждым консерваторским годом всё более уходил от его опеки, и на последних курсах Танеев уже отнесился к нему укоризненно, осуждающе, не одобряя пути, по которому его ученик шёл сам, не слушая указок.

Удивительно, как это бывает: осуждают за то, что надо приветствовать: за самостоятельность, за нежелание, даже неспособность — по причине гениальности — стать очередным Глазуновым, Глиэром, Ипполитовым-Ивановым, Аренским, одним из способных, но не очень оригинальных. Танеев придерживался довольно косных убеждений. Нельзя ругать его за преклонение перед Бахом. Перед Бахом преклонялись и революционеры, например Дебюсси. Танеев с презрением отзывался о Равеле: "Во Франции теперь процветает только всякий Равель". А ведь уважаемый Танеев в истории музыки, как оказалось, ничто по сравнению с Морисом Равелем. И всё же, когда спустя четверть века или чуть больше Скрябин скоропостижно скончался, не дожив до 50 лет, Танеева, его старого учителя, эта смерть потрясла и самого свела в гроб. Он шёл за гробом Скрябина без шапки, простудился, долго болел, и так и не справившись с болезнью, умер.

Творчество Скрябина в отличие от творчества Дебюсси, не кажется таким вдруг чудесным образом возникшим из ничего. Тем более, что начинается оно явно, кричаще преемственно с почти рабского подражания Шопену. Да и в замечательной музыке Второго периода у Скрябина можно расслышать отзвуки Шопена, Шумана, Листа. Нет, конечно, чётких границ, но творчество Скрябина всё-таки очень явно делится на три периода. В Первый период — видимо, ранней студенческой поры — фортепианная музыка Скрябина (а другой и нет почти) — это, можно сказать, второе издание Шопена. У меня есть цикл мазурок этого периода.

Не зная, что это Скрябин, можно подумать, что Шопен. Конечно, похуже, чем Шопен. По железному, не имеющему исключений закону, по которому в искусстве "второе издание" никогда не равноценно "первому". Музыковед Сабанеев, близко знавший Скрябина, считает, что эти ранние вещи нельзя считать подражанием Шопену. В этих двух людях было настолько много общего, что форма Шопена счастливо оказалась готовой формой для самовыражения Скрябина, и он воспользовался ею. То есть, это был тот чудесный случай, когда форма оказалась органичной не только первооткрывателю Шопену, но и Скрябину. Я с этим мнением согласен. Скрябин не столько подражал, сколько узнал в языке Шопена почти свой язык.

Но при всём сходстве не бывает двух совершенно одинаковых людей. И там, где кончается общее, начинается своё. И вот, ко Второму периоду, всё уверенней овладевая мастерством, Скрябин начинает выражать эту свою отличную от Шопена сущность. Во Втором периоде это уже необыкновенный, удивительный, самобытный, неповторимый композитор.



Я выше написал, что в фортепианных пьесах Скрябина Второго периода можно расслышать отзвуки Шумана, Листа, само собой и Шопена. Не думайте, что я написал это хоть крупную в укор Скрябину. Ведь то же самое можно сказать почти о любом композиторе, о тех же Шумане, Шопене и Листе: в их музыке можно расслышать отзвуки предшественников — Моцарта, итальянцев, Бахов и др. Я написал это только потому, что сравнивал Скрябина с Дебюсси, творчество которого кажется действительно обособленным от всех предшественников. Я попытаюсь описать музыку Скрябина Второго периода, хотя не уверен, что мне это удастся.

Вы, конечно, знаете, что Скрябин был настроен мистически. всю жизнь был одержим философией. Сам создал целую систему философских взглядов, на всё смотрел сквозь призму этой системы. Жил в этом в достаточной мере выдуманном мире (хотя какой мир не выдуман?), с реальным миром, видимо, не очень контактировал и самого себя считал не столько музыкантом, сколько магом. Всех когда-либо живших композиторов он считал своими провозвестниками. Он был уверен, что послан на землю с великой миссией, послан тем великим творческим началом, которое правит миром (как его ни называй — Бог, Идея). И этой своей великой миссией он считал создание огромного творения, "Мистерии", которое будет исполнено всем человечеством, и само исполнение изменит мир судьбу человечества. В самом процессе исполнения начнутся мистические превращения, и к финалу человечество дематериализуется, станет духом.

Много лет Скрябин готовился к созданию этой своей "Мистерии". И всё, что он за эти годы написал — большинство фортепианных сонат, 3-ю Симфонию, "Поэму экстаза", "Прометей" — всё это были лишь пробы, эскизы, наброски к "Мистерии". Так считал сам Скрябин. И вот, наконец, он почувствовал себя готовым к выполнению своей великой миссии. И приступил. Он написал текст огромного вступления. Сама "Мистерия" была рассчитана на многодневное исполнение. Он, кажется, успел набросать первые смутные такты музыки. И умер. Скоростипично, от рака крови, начавшегося с маленькой болячки на губе.

Не умри Скрябин, что ждало бы его? Можно предположить, что сумасшествие. Ведь рассудок отказывается поверить, что осуществились бы его идеи. Кроме того, спустя два года началась Октябрьская революция, и доживи он до неё, события, наверное, оказались бы для него потрясением, обрушили бы всю его мистическую систему. А может быть, и в них он искал бы подтверждение своих взглядов, но долго ли? Я пишу всё это неохотно. Предпочёл бы писать о Скрябине только как о композиторе. Но это "не объедешь", потому что этим объясняется многое в его творчестве.

Итак, о Втором периоде. Хочу описать его, но как? Попробую посредством сравнения с Шопеном. Я уже писал, что ко времени Второго периода Скрябин освободился от влияния Шопена. Но всё же из всех композиторов он сопоставимее всего с Шопеном. Они, действительно, во многом родственны. Во-первых, фортепиано — их родная стихия. Скрябин, кроме того, ещё и симфонист, да ещё с тягой к "космическому", что Шопену вовсе не свойственно. Но симфонизм — это вторая душа Скрябина. Во-вторых, Шопен и Скрябин — миниатюристы.

И Скрябин, какое бы мистическое содержание он ни вкладывал в свои миниатюры, всё равно лирик. Как и Шопен. Недаром он пользовался теми же шопеновскими формами, о чём уже говорилось. Скрябин, как и Шопен, удивительный мелодист. Но музыке Скрябина не суждена популярность подобно шопеновской. Она по своей природе не столь доступна всем. Шопен более демократичен.

Берлиоз, Шопен, некоторые старинные итальянцы достойны участвовать в "солнечном беге музыки от Баха до Вагнера" (Ницше), достойны стоять в ряду с великими немцами.

Так вот, если уж говорить по "гамбургскому счёту", то всё-таки Шопену, пожалуй, придётся встать чуть пониже, уступить превосходство немцам. Я имею в виду не Баха, "тред Бахом все равны", все слабы, не только Шопен. Я имею в виду композиторов, сопоставимых с Шопеном, ну, например, Шуберта или Шумана. Шуман для примера удобнее. Он ведь тоже особенно знаменит, как фортепианный композитор, хотя был и симфонистом.

Так вот, Шуман, как и Скрябин, не обладает этим шопеновским свойством, этой демократичностью, этой удивительной всемирной популярностью шопеновской музыки. Если сравнивать, то, пожалуй, можно сказать, что музыка Шопена гибче, легче, даже часто непосредственней шумановской.

И всё-таки Шуман более великий композитор. Спросите об этом у многих меломанов, более строгих, чем я. Поверьте мне, большинство их — искренние люди, не позёры, и никому не навязывают своего понимания музыки. И многие из них почти не признают Шопена, относятся к нему пренебрежительно. А Шумана любят, или хотя бы уважают и ценят. В чём же дело?

Я-то люблю Шопена. Теперь не часто его слушаю, но наступает момент — и не минешь Шопена, снова очутишься во власти его благородной лирики. И всё-таки Шуман выше. В чём же дело?

Скажу в чём, а потом попробую объяснить. Дело в том, что музыка Шумана метафизичнее. У музыки, как у всякого искусства, есть задачи, ещё более высокие задачи и, наконец, сверхзадачи или сверхзадача. Объяснить, что такое музыка, пытались многие. Я пишу то, что сам думаю и чувствую, не буду никого пересказывать и цитировать, но вовсе не утверждаю, что мои мысли страшно оригинальны. Наоборот, уверен и даже знаю, что так думали и думают многие.

Так в чём цель, в чём задача и в чём сверхзадача музыки? Одна из высоких задач музыки выражать чувства, настроения, порывы, стремления человека, его любовь, нежность, печаль. И вот, книжно выражаясь, "одно из самых прекрасных решений" этой задачи — музыка Шопена.

Но это ещё не самая высокая задача музыки, не самая высокая её цель, у музыки есть ещё сверхзадача. **И эта сверхзадача — выражать не человеческие чувства и настроения, а то, что выше человека, что над человеком, то огромное и загадочное, о чём человек только догадывается, то, что есть, что присутствует в человеке, но только как часть огромного мира вне человека.** Шопенгауэр (всё-таки сошлось) понимал это так: в основе всего сущего лежит некая трансцендентная, то есть, непостижимая умам воля. Мир явлений (а он постижим, его мы можем изучать и объяснять) — всего лишь внешнее проявление этой воли. Воля слепа, но она всегда ищет в чём бы воплотиться. И она воплощается в этом мире явлений, но её сокровенная суть остаётся по ту сторону. **Так вот в музыке, дышит, выражает себя, плачет, жалуется, говорит эта сокровенная, лежащая в основе всего сущего, слепая воля.** Так объясняет Шопенгауэр. Ну и Бог с ним. Я сказал бы проще: кроме задачи выражать человеческие чувства у музыки есть ещё более высокая, главная задача: выражать нечто непостижимое, нечто выше человека.

Может быть, вы не совсем поняли меня, может быть, почувствовали недоверие? К счастью у меня есть возможность доказать свою правоту с помощью примера. Какая музыка действует на человека особенно сильно, способна потрясти,

даже иногда погрузить его в экстаз? Церковная. Мощные звуки органа или хора. А разве именно эта музыка явно и непосредственно выражает наши личные, интимные чувства, например, разочарование в любви, грусть по поводу недавней утраты и т.д.? Нет, эта музыка говорит о чём-то более высоком, чем наш суетный мир, наши суетные мимолётные чувства. Если в этой музыке скорбь, то скорбь не по поводу какого-то там недавнего личного разочарования, а скорбь вообще, великая скорбь мира. Если в ней утешение, то великое утешение тем, что всё суета сует и вечный покой прекрасен. Для верующего это всё воплощается в понятии "Бог".

Музыка Шопена слишком "очеловеченная". Слушая Шопена, легко воспринимать его музыку как выражение собственной грусти или радости по разным конкретным поводам, воспринимать её как аккомпанемент к собственным "суетным" чувствам. В этом секрет огромной популярности Шопена. Но, увы! как ни жаль, эта популярность отдаленно родни популярности лёгкой музыки.

Сейчас Вы можете подумать, что я противоречу сам себе. Что "порицаю" Шопена за то, за что хвалил Берлиоза. Не я ли говорил, что люблю Берлиоза за то, что он лирик? Говорил, что поэтому-то он и велик. И не только о Берлиозе. И о Брамсе. А лирика — ведь это и есть выражение человеческих чувств.

Но я не противоречу сам себе. Все великие — в большей или меньшей степени лирики. Ведь и Шуман — величайший лирик, не в меньшей степени, чем Шопен. И Шуман, как и Шопен, выражал себя, выражал свои чувства. Но дело в том, что в Шумане-то, в его душе было больше этого "огромного и загадочного", того, что выше человека, "что есть, что присутствует в человеке, но только как часть огромного мира вне человека".

Все гении — и Шуман, и Брамс — не говоря уже о Бахе — потому и гении, что, каждый по-своему, в чём-то больше "координированы" с миром, чем мы, простые смертные. От гениев тянутся в мир невидимые нити. Они видят что-то, чего не видим мы, "рассказывают" нам это, и мы начинаем тоже видеть это "их глазами". Мы наслаждаемся красотой шумановской музыки — если понимаем её — не меньше, чем красотой шопеновской. Музыка Шумана волнует нас не меньше музыки Шопена. Но мы не смеем так нагло "примерять" её к своим конкретным поводам. Мы чувствуем, что в ней есть что-то более высокое, чем наши мимолётные печали и радости. Это в музыке Шумана. А уж в музыке Баха тем более.

Вместо этих нескольких страниц я мог бы сказать всего несколько слов, выразить всё примитивнее и проще, а именно так: "Шуман и Шопен выражали себя. Но Шуман был глубже, и поэтому его музыка глубже". Или: "Шопен был поверхностный, и поэтому музыка его поверхностная". Но сказать так — как это неточно и поверхностно! И как неопределённо понятие о том, что значит быть глубоким человеком. Я вовсе не уверен, что Шуман был вообще во всём более глубок, чем Шопен. И вовсе не уверен, что Шопен был вообще поверхностней, чем Шуман. Так что эти слова — ложь.

Ещё несколько слов о Шопене. У его музыки ещё достаточно великих достоинств, и написанное мной выше, хоть это и истина, повредить этим достоинствам не может. Одно из этих достоинств — удивительная чистота стиля, непосредственность, чувство меры — только у двух ещё композиторов в мире я вижу эти качества в такой же степени: у Мендельсона и у Камилла Сен-Санса. Эти качества Шопен наверняка унаследовал от отца-француза. Второе достоинство — его неповторимый, единственный, самобытный язык, его "интонация". И это, очевидно, он унаследовал от матери-полячки.

Возвращаюсь к Скрябину. Я сравнивал его с Шопеном. И всё это большое отступление, чтобы было понятнее, в чём, по-моему, преимущество Скрябина. За-  
мечательная, гениальная музыка Скрябина "Второго периода" не обладает популярностью, демократичностью Шопеновской музыки, но именно потому, что эта музыка менее "привязанная к общечеловеческому", потому что, как и музыка, как и лирика Шумана, музыка, лирика Скрябина метафизичнее Шопеновской. Я бы сказал, что музыка Скрябина загадочней музыки Шопена. Душа Скрябина помимо чисто человеческого больше, чем душа Шопена, отражала загадочность мира.

Продолжаю сравнивать Скрябина и Шопена. У них была одна общая черта. Оба были замечательными пианистами, но особого склада. Чужое они никогда не играли (да и, видимо, играли бы неважно). И, по-видимому, и по свидетельству очевидцев, их музыка только однажды была воплощена совершенно — когда играл сам автор. Да и то в те счастливые минуты, когда играл немногим, в интимной обстановке. Современники, близко знавшие, говорят совершенно то же самое и о Скрябине, и о Шопене: в кругу близких людей они становились гениальными исполнителями, на них словно нисходило, возникал удивительный контакт между ними и слушателями.

И наоборот: на эстраде и Шопен, и Скрябин утрачивали эту силу. Шопен не выносил эстраду, Скрябин тоже не любил, хотя и пытался играть. В этом оба они полная противоположность Листу, который на эстраде обрел всё своё могущество. Но это и понятно: игра Листа — это была великая техника, порывы, страсть, чувства (в общем, эффекты напоказ), а игра Шопена и Скрябина — самовыражение, нечто деликатное, не терпящее эстрадного красноречия, "краснобайства".

Я уверен, что музыка многих композиторов звучит совершенно в исполнении разных пианистов, но музыку Шопена, а ещё в большей степени музыку Скрябина мы должны были бы слушать только в исполнении автора, другое исполнение — искажение её. Кажется, я Вам принёс маленькую пластинку: играет сам Скрябин. Но, во-первых, это очень несовершенная запись — Скрябина записывали на какое-то допотопный аппарат, на валики, и записанный звук утратил многие оттенки. Исчезли некоторые тона и тембры, исчезла лучистость звука, звук фортепиано стал слишком деревянным. Кроме того, вряд ли это записывалось в счастливую минуту, скорее где-то на эстраде. И всё-таки кое о чём говорит эта запись и совершенно соответствует моим предположениям.

Я уверен, что раз уж самого Скрябина нам не суждено слушать, его музыке необходим **исполнитель**. У этого исполнителя должно быть гениальное чутьё. Для исполнителя Скрябина существует угроза с двух противоположных сторон. Во-первых, его нельзя исполнять с чрезмерным пафосом, слишком чувствительно, слишком сентиментально, романтично, картинно, в общем, так, как исполняют и как часто и нужно исполнять многих великих композиторов — даже можно иногда исполнять Шопена. Такое исполнение фальшиво по отношению к Скрябину, противоположно ему. Музыка Скрябина философичнее, чем музыка Шопена, она требует некоторого бесстрастия. Но здесь-то её и подстерегает вторая угроза. Музыка Скрябина нельзя доводить до абстрактности. Она должна излучать тепло, ведь это лирика.

Вот, по-моему, Святослав Рихтер, замечательный пианист, здорово исполняющий многих, совершенно ужасно играет Скрябина в этой "первой" манере, наделяя его не свойственным ему романтическим пафосом. И наоборот, в игре Нейгауза (многие любят его исполнение Скрябина) мне мерещится "вторая" манера: Скрябин звучит как-то абстрактно, бескровно, безжизненно.

И теперь торжественно сообщаю Вам, Зинаида Васильевна, что, сколько я за всю жизнь ни слышал исполнителей Скрябина, все они — и наши, и иностранцы, как бы знамениты они ни были — все они играют Скрябина ужасно. И только один пианист исполняет Скрябина так, как нужно его исполнять, и не будь этого пианиста, я бы, может быть, не любил бы его так, потому что не понял бы. Это Владимир Софроницкий. Моё мнение об этом пианисте не такое уж оригинальное. Он и официально считается одним из лучших исполнителей Скрябина. Только у Софроницкого он живой.

О Третьем периоде. Эта музыка поразила многих современников Скрябина, потому что она представляет собой "проникновение в новый неведомый мир" "Это мистическая музыка. Я уже писал, что все вещи этого периода — подготовка к "Мистерии". Самое характерное в вещах этого периода — интонации полёта. Я уже писал, что Скрябин верил в чудо, которое, якобы, будет совершено его будущей "Мистерией". После многих метаморфоз люди, соединённые "Мистерией", должны будут стать единым целым, воплотиться в духе, отрешиться от плотской оболочки. Сам Скрябин, естественно должен был первым придти к этому. Знавшие его люди, в том числе Борис Пастернак, для которого в юности Скрябин был кумиром, рассказывают, что композитор даже вырабатывал особую летящую походку, был уверен, что можно научиться летать.



Андрей Алексеев

## СТРАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

### Из записок социолога-рабочего

(окончание. Начало в № 8-9/2014)

#### 5. Июльские аккорды

##### *Из «Производственных дневников» (июнь-декабрь 1986)*

В пятницу, 13 июня 1986 г. после обеда сам генеральный директор вызывал к себе бригадиров с нашего участка. Ибо — на нас сейчас все сошло. Нам предложено... выдвинуть перед администрацией условия, на которых мы беремся в авральном порядке выполнить все необходимое в июне для сборки в 10-м цехе! Случай небывалый — рабочих спрашивают: каковы ваши требования?

Всего вариантов, вырисовавшихся после встречи бригадиров с директором, — три:

1) Закрывать хоть сто пятьдесят процентов задания. Бешеные заработки, а в январе будущего года... резанут нормы так, что закачаешься.

2) Аккорд, как называет это мой бригадир Толик [*он же — А. С., он же — «Бугор».* — А. А.], т.е. подряд. Бригады гарантируют своевременную сдачу всей нужной номенклатуры, а администрация гарантирует небывалую премию.

3) Оплата сверхурочных (вечера, субботы, может быть, даже воскресенья!), как минимум, в двойном размере (а не так, как сейчас, лишние полтора рубля за выход в субботу).

Обсуждаем ситуацию сначала по двое, по трое. У «Бугра» — ум враскорячку: чего конкретно запрашивать? Бригадир (А. С. и И. В.) совещаются, стоя рядом с моим станком. Я предлагаю — давайте всех соберем! Принимается. За четыре года, что я работаю в бригаде, не было такого, чтобы собрание сразу двух бригад, да еще без мастера... Игорь В. дает «вводную». Первый вариант (кстати, это предложение директора) с ходу отвергается всеми. Знаем мы эти штучки! Второй вариант, отчасти исходивший от Толика (хоть сам же он его и опровергал!), тоже не годится. Во-первых, не ясно, какую премию запрашивать. Во-вторых, есть опасность, что сорвут график не по нашей вине, и окажемся с носом.

Сошлись вроде на 3-м варианте. «Упираться рогом». Лишняя десятка за субботу, и вся недолга! Толик пошел к начальнику цеха сообщить о наших предложениях. Реакция остается пока неизвестной. К концу дня мастер Гоша, как обычно, пришел «уговаривать» выйти в субботу. Тут уж даже те, кто и так бы вышел, потребовали ясности. Снова наш «Бугор» идет к начальнику. Тот не может «решить вопрос» без директора. От себя нач. цеха жалуется каждому, кто выйдет в субботу, дополнительно по пятерке из фонда мастера. Услышав о такой «милости», кто-то (уж не я ли?) произнес: «Что ж, подождем десятки из фонда директора...».

В субботу, 14 июня из двух наших бригад вышли только оба бригадира. Разумеется, не ради лишней пятерки, а в силу «сознательности».

<...> Под давлением обстоятельств, администрация от 1-го варианта продвинулась ко 2-му. Утром в среду, 18 июня всю нашу бригаду очень решительно собрал бригадир и сказал, что, если сделаем то-то и то-то, будет на всю бригаду сверхнормативная премия — 200 руб. Ну, ясно, что понадобятся эти «субботы» до конца месяца. А подробности — не проговариваются... Но вроде дали себя уговорить, ладно!

К концу дня выясняется, что этот «подарок» (в среднем по 30 руб. на брата), похоже, будет нам стоить того, чтобы до конца месяца, т. е. почти две недели, вкалывать до 8-ми вечера (т. е. 12-часовой рабочий день!). А в субботы — не по 4 часа, как обычно, а часов по 10. Хорошенькое дело! Все же, раз уж обещали, остаемся в среду после 16 час., вшестером — «ядро» бригады: Толик, Вася, Сергей Р., Миша, Витя и я...

<...> Где-то между 19 и 20 час. назревает общее раздражение, подогретое выданными нам «талонами-увольнительными» для сверхурочных работ (откуда как будто следует, что мы просто — работаем сверхурочно, а никакой не «аккорд»). На-ду-ва-тель-ство! Перед уходом велим Толику еще раз уточнить условия.

В течение следующего дня (19 июня, четверг) новой информации не поступало. Толик, может, и спрашивал, но либо ему не дали гарантий, либо он «не сумел» их до нас донести... Тем не менее, он рассчитывал, что мы все останемся, как накануне. За пять минут до конца смены я подошел к собравшимся в кучку Васе, Мише и Сергею: ну что, остаемся? А им только и не хватало четвертого, чтобы плюнуть и уйти. Остались — «Бугор» и Витя. Счет 4 : 2.

Толик, похоже, от меня — не ожидал... Но я действовал «как все».

Впрочем, не скрывая и собственного рабочего самосознания. В пятницу, 20 июня начался новый тур переговоров «в верхах». Администрация с бригадой разговаривать побаивается, только с бригадиром. «Бугор» объясняет каждому порознь, что дело — «верняк», закроют нарядов, согласно заданию, плюс еще почти на тысячу рублей! Мда. На подряд это не похоже... Скорее 1-й, с порога отвергнутый нами вариант.

Предложение представляется все же соблазнительным, хоть и опасным для будущего — ведь такое перевыполнение плана никакими сверхурочными не «оправдаешь»! А стало быть — есть повод в будущем году существенно ужесточить нормы... Но это когда еще, а тут сразу — большой куш!

Ситуация такова, что и нам деваться некуда, и администрации. Никакие «варяги» (вроде присланных «в помощь» сборщиков из 10-го цеха) с этой нашей работой не справятся. Администрация не может не закрыть наряды, если не хочет провалить план.

Бригадир ведет переговоры с каждым в отдельности. Я предлагаю провести очередное собрание (за эту неделю чуть ли уже не третье!). Как настроены остальные — я не знаю и не разрешаю себе заранее узнавать.

На собрании с предложенными условиями соглашаются все, кроме меня. Я объясняю, что согласился бы, кабы администрация не темнила, как поступает уже целую неделю, а подписала с бригадой взаимообязывающий договор — «подряд», «аккорд» (называйте как хотите!). А так — доверия все это не вызывает. Но наш «Бугор» умеет выколачивать из администрации деньги, но не письменные договоры.

Дело осложняется тем, что именно мой ПКР — чуть ли не главный гарант выполнения этого, так называемого «подряда» с нашей стороны. И вроде не так уж много на моем станке и работы... Но самая ответственная и, вместе с тем, денежная (лицевые панели, каркасы!). Мы с бригадиром — уважающие друг друга оппоненты. Он говорит, что «аккорд» состоится, даже если кто-нибудь (в данном случае я) и откажется. Я говорю, что панели на моем станке уже настроены, и если сам Толик отштампует их в субботу, то в понедельник днем (без всякого «аккорда») я и каркасы ему налажу. Штампуй себе их вечером!.. То есть — отказываясь из принципа, я никому руки не выламываю. Хоть «Бугру» за моим ПКР придется и не сладко. Мой отказ встречен с пониманием. Ведь «аккорд» — дело добровольное!

В субботу, 21 июня, я, неожиданно для всех (в том числе и для самого себя), не взяв талона накануне, вышел на работу. Бригадир с удовольствием уступает мне место за станком. Штампую сам налаженные накануне лицевые панели. В эту первую «сверхаварийную» субботу надумали работать с 7-ми до позднего вечера. Похоже, что все так и вкальвали. Что касается меня, то я пришел, как в обычную субботу, к 8-ми и закрутился к 12-ти, сделав изрядную часть производственной партии. Уходя, спросил бригадира: «Когда тебе нужны панели?» — «В среду». — «Хорошо, будут!».

Во избежание недоразумений, я пояснил, что в «аккорд» по-прежнему не вхожу. А просто вышел ему («Бугру») помочь... В сущности, гарантия выполнения «аккорда» (лишь в том, что касается моего станка, разумеется) была заложена этими 4-мя часами моей работы в субботу. Толик прилаживался бы намного дольше. Неизвестно, пошло бы у него так же «по маслу», как у меня. (Станок, по его выражению, сейчас только меня и слушается; ведь уже третий год откладывается плановый ремонт!).

Буду ли я участвовать в «аккорде» — дело второстепенное. Важно, чтобы панели были в среду. Тогда до конца недели бригада успеет их зачистить, загнуть, сварить...

В понедельник, 23 июня, я задержался на два часа, хоть это, после той субботы, было уже и не обязательно. Как бы в порядке обычных сверхурочных... «Бугор» же, Сережа, Вася, Витя оставались (как наутро узнал) до 8-ми часов вечера (их работа шла после моей; и у них ее было побольше).

<...> Мои панели были готовы к среде, каркасы — тоже своевременно. Все — с опережением бригадного графика на несколько часов (тут счет шел действительно на часы!). Для этого оказалось достаточным всего 16-ти часов моей «переработки».

Кажется, еще в среду «Бугор» заявил: «Ну, Андрей, хочешь — не хочешь, а в аккорд ты попал!». Я не стал возражать. Но в среду, 25 июня, оставаться после смены уже не стал. И в четверг тоже. Незачем! Впрочем, и остальные работали по 12 часов не каждый день. Кажется, в понедельник мы уходили в 18 час. вместе с Васей. А в среду и сам бригадир ушел в 18 час., в ДНД [*добровольная народная дружина*]. — А. А.]

В четверг, 27 июня, судьба «аккорда» была в основном уже решена. Можно было «расслабиться» [*«собраться вокруг стакана» — А. А.*]... Что, естественно, и было выполнено!

<...> В пятницу, 28 июня (а может и накануне, не помню!), стали известны денежные итоги «аккорда». Действительно, были закрыты наряды реально сделанного сверх задания почти на 1000 рублей. Дележ общебригадного приработка про-

изводился выделенной для этой цели «тройкой» уполномоченных (Толик, Вася, Миша), впрочем, в основном — самим «Бугром». Вот какой получился расклад:

— Толик (бригадир) — ?; Вася — 148,47 руб.; Сергей Р. — 132,48; Вия — ?; Миша — 129,52; я — 92,77; Сережа Б. и Игорь М. (новички) — по 42,10 руб. (Это, разумеется, не вся зарплата, а только приработок!). Делили на глаз, с учетом величины дневного личного задания, количества отработанных сверхурочно часов, а также — просто интуитивного ощущения значимости вклада каждого.

Напомню дневные производственные задания членов бригады:

— У «Бугра» (Толика) — 11,9 руб.; у Васи — 11,0; у Сергея Р. — 10,0; у меня и у Миши — по 9,2; у новичков Сережи и Игоря — по 5,6. Вкальвал сверхурочно больше всех сам бригадир (кажется, больше 50 часов). Вася — чуть меньше (42 час.). Кто-то — 36, кто-то — 28 час. Новички — помалу. Итак, у меня — среднее по величине личное задание (9,2 руб.) и минимум сверхурочных: всего 16 час. Мой «куш» вырос до 90 руб. в основном за счет коллективного ощущения значимости вклада. Я работал сверхурочно — строго в рамках необходимого, чтобы бригада справилась с «аккордом». Причем так, чтобы бригадиру не прикасаться к моему станку (что, как я уже говорил, могло и задержать выпуск продукции с него).

Результаты дележа здесь приведены с копейками. Это уже — формалистические изыски экономической службы. Ибо надо, чтобы деньги соответствовали определенному количеству «нормочасов». Эти последние писались уже фиктивно, исходя из заданной бригадным дележом суммы (или доли) для каждого.

Что касается сверхурочных, то их — за определенным пределом — уже не учитывали. У «Бугра» — чуть не 60 час., а ему засчитывают (по основной ведомости) только 42, Васе — 32 (вместо 42), и т. д. Нельзя так много сверхурочных показывать!

В общем, тут многие концы с концами не сходятся. Верно одно: общая сумма заработка бригады соответствует закрытым нарядам, а эти последние — объему выполненной работы (тут — без тухты!). Сумма приработка (около 1000 руб.) поделена самой бригадой. А уж администрация подтасовывала свои ведомости под это наше решение. Причем «показанные» сверхурочные вовсе не покрывают сверхнормативного приработка, а лишь отчасти оправдывают его. Такая вот «экономическая механика»...

Итак, не обманули! Таков был главный итог нашего «аккорда» (или как его там называть!).

<...> В пятницу, 27 июня (когда уже были известны основные результаты), состоялся бригадный культпоход в пивбар «Янгарь», неподалеку от завода. Это мероприятие заслуживало бы отдельного рассказа. Здесь — опускаю...

В субботу, 28 июня, все участники культпохода вышли на работу и отработали по четыре часа. Я тоже, хоть в этом и не было производственной необходимости, а просто из чувства «рабочей солидарности».

<...> Суммарные (включая основную зарплату и приработок) бешеные заработки нашей бригады (например: 730 руб. — у бригадира, 608 — у Васи, 575 — у Вити, 427 — у меня, и т. д.) хоть как-то оправдывались сверхурочными. Бригада же Игоря В. от «аккорда» фактически уклонилась. Там — больше ветеранов, и так зарабатывающих по 400 руб. и больше... Кто отказался наотрез (Валентин К.), а кто (сам бригадир) вышел, из лояльности, раза два в субботу или задержался пару раз на пару часов. Но у бригады И. В. всегда остается задел (не закрытые наряды на выполненные работы).

Кроме конкретной номенклатуры, администрации, по-видимому, нужен был «вал», который можно было обеспечить, лишь закрыв эти наряды. И Игоря В. уговорили сделать это. Хоть он и предпочел бы свой «загашник» приберечь про черный день. Игорь беспокоился насчет дефицита сверхурочных в своей бригаде. Наш «Бугор» ему сказал: «Смотри сам! У нас сверхурочных — 340 часов».

В итоге этой манипуляции соответствующие приработки в бригаде И. В. составили от 150 до 60 руб. (Только у Валентина К., отказавшегося от сверхурочных вчистую, приработок — 0). Зарботки в бригаде Игоря В. оказались в этом месяце почти не ниже наших. (Обычно они выше, чем в нашей бригаде, но тут — особый случай).

Наша бригада вкалывала до 8-ми вечера, чтобы закрыть нарядами лишнюю тысячу руб., а другой бригаде для этого и вкалывать не понадобилось... «Как бы ты это назвал?» — спросил я у нашего «Бугра». — «...!» — ответил тот. (И другим показало несправедливым, хоть вообще-то и не имеют обыкновения считать в чужих карманах). Так были решены задачи по обеспечению «плановой дисциплины» на нашем, 1-м участке цеха № 3 и выведена из-под удара заводская программа.

\* \* \*

В июле «аккорд» повторился, и в масштабах не менее крупных. Бригадир полагал теперь мое участие само собой разумеющимся. И у меня уже не было оснований настаивать на письменном договоре с администрацией. «Процентов 70 денежной (выгодной) номенклатуры проходит через тебя!» — сказал мне А. С. — «Ладно, — сказал я, — попробуем!».

В нашем, механическом цехе, в отличие от сборочного, авралы начинаются не с третьей, а со второй декады. Не выделяясь из общего бригадного строя, я отработал сверхурочно 32 часа (три субботы — 12, 19, 26 июля — по 4 часа; а по 12 часов работал 15, 16 17, 21, 24 июля — будние дни).

<...> Работы на ПКР в июле было побольше, чем в июне. Тут уж я мог обеспечить бригадный «аккорд» только полноценным участием в нем, а не экстравагантными выходками типа июньских. Работали на пределе сил и все остальные. Не повезло Мише Г., подзагулявшему перед самым началом июльского аврала и фактически выбывшему из игры. Мы теперь уже знали, сколько надо и сколько можно иметь сверхурочных (в прошлом месяце испытание на максимум предпринял бригадир, а на минимум — я). За неписаную норму сверхурочных — 32 часа — все же стремились не вылезать: «Достаточно!». Сам бригадир позволил себе даже отсутствовать с пятницы по понедельник (ездил с женой на теплоходе в Кижы).

В понедельник, 28-го, штурм фактически завершился. Последнюю неделю июля работали уже нормально, по 8 часов. Я, как и положено на ПКР, работал с опережением по технологической цепочке. Появившись после 4-дневной отлучки, Толк с удовлетворением узнал, что я отштамповал самую выгодную из партий еще в пятницу, а в субботу Вася Н. и Сергеа Р. эту деталь обрубали и загнули.

<...> По июльскому «аккорду» мне было отмерено чистого приработка (т. е. сверх задания) аж 180 руб. (Стало известно 30 июля). Когда бригадир сообщил мне об этом (не без торжественности!), я поинтересовался успехами остальных. — «Примерно то же!». Спросил у Вити. — «150 руб.» (он в этом месяце «вечерил» поменьше!).

\* \* \*

...Все эти сугубо бригадные события не худо бы совместить в синхронистической таблице с «вехами» личной, лично-общественной, заводской, городской жизни, жизни страны и, если угодно, Мира. (Ведь это были июнь и июль 1986 г.!). Даже не выходя за пределы первых двух названных уровней, объем информации возрос бы многократно (уж об остальных не говорю). В принципе возможность составления такой таблицы не исключена, ввиду сохранившейся в разного рода документах датировки важнейших событий жизни лично-общественной: «дело» социолога-рабочего и т. п.

\* \* \*

<...> В четверг, 30 июля, утром пошел к заводскому хирургу с указательным пальцем правой руки, распухшим с руку. Глубокий нарыв от инфекции после микротравмы не мешал работать (палец сгибался), но стало ясно, что сам он не прорвется.

Хирург: — «Давно?». Я: — «С неделю». — «Чего раньше не пришли?». — «Некогда было». — «Надо резать!». — «Может в пятницу?» (жалко пропускать последний день этого урожайного месяца). — «Так в пятницу и приходили бы...». — «?!». — «А то проситесь в пятницу, а в четверг на меня навешиваете».

Я вернулся в цех, переоделся, предупредил мастера и бригадира («У меня все налажено, хочешь — штампуй»). — «Нет, дождемся тебя») и пошел на операционный стол. Режет хирург хорошо. В пятницу бюллетень пришлось продлить до понедельника включительно.

\* \* \*

Эти заметки были сделаны по горячим следам, в июне-июле 1986 года, отчасти в августе. Дописываю уже в декабре. Август был последним, третьим месяцем летних «аккордов». Фронт работ был уже поменьше июньского-июльского. Несмотря на несколько дней пребывания на бюллетене в начале августа, я справился со своим «уроком» к концу второй декады (набрав 20 часов сверхурочных). Так что последнюю неделю августа смог даже заняться, наконец, ремонтом своего станка (для чего, по моему настоянию, был-таки переведен на неделю в слесари-ремонтники).

<...> При бригадном дележе мой вклад в этот «аккорд» был оценен чистым приработком 120 руб. Несколько снизились (против июля) приработки и у других членов бригады.

А в сентябре-октябре начались... крутые простои (и на моем станке, и в бригаде в целом). Вот где пригодились бы «истраченные» летом не закрытые наряды!..

Министр обратился к генеральному директору с «просьбой» выдать продукции к концу года дополнительно на 1 миллион рублей. Тогда начались новые авралы (правда, уже без «аккордов»!). Приглашенные, впрочем, введением показушной двухсменки, когда все утонуло в неразберихе.

Остается произвести некоторые подсчеты. Согласно расчетным листкам за 11 мес. этого года, мною отработано в общей сложности 1618 раб. часов (включая

сверхурочные). Что соответствует 197,3 рабочих дней (1 день = 8,2 час.). Начислено заработка по сдельным расценкам за 11 мес. — 2202,35 руб. Поделить на 197,3 — получится 11,16 руб., это — в среднем за рабочий день. А дневное личное задание у меня — всего 9,2 руб.

Такое перевыполнение личного задания возникло за счет летних «аккордов» (если рассчитывать за 8 мес., без июня-августа, то выполнение в общем соответствует заданию). <...>

Это значит, что в период «аккордов» администрация вынуждена была при закрытии нарядов нарушить сложившийся «баланс» между невыгодными и выгодными работами, в пользу последних.

(В самом деле, если, скажем, в августе мой приработок составил 120 руб. при 20 час. сверхурочных, то, согласно простому расчету, за каждый сверхурочный час я зарабатывал  $120 : 20 = 6$  руб., что в 4 с лишним раза больше обычного!).

Но, уступив рабочим в период «аккордов», администрация развязала себе руки для последующего ужесточения норм (срезания расценок), в целях восстановления временно утраченного баланса интересов.

Теперь — какое же мне будут устанавливать дневное личное задание на 1987 г.? Обычно его повышают на 0,2-0,3 руб. от достигнутого. Скажем, я мог бы рассчитывать на 9,5 руб. Но ведь тогда мое задание получится меньше достигнутого в 1986 г.! А рабочий вправе претендовать на, по крайней мере, не меньшее задание, чем он имел в прошлом году.

За 11 мес. мой суммарный заработок (с премиальными, отпускными, оплатой по бюллетеню) составил 3 726 руб. Делим на 11, получаем 338,7 руб. (За 12 мес. он наверняка снизится, благодаря декабрю, примерно до 330 руб.). А за 8 мес. (без июня-августа) заработано 2 163 руб. Поделив на 8, получаем 270,4 руб. Это еще с учетом привалившей мне 75-рублевой премии за победу в соцсоревновании по заводу... (отдельный сюжет!). А если без этого «подарка», то:  $2\ 163 - 75 = 2\ 088$ . Поделить на 8, будет 261 руб. Зарабатывать 260-270 руб. или 330 руб. в месяц — разница? (Впрочем, не столько для материального благосостояния, сколько для самоуважения рабочего-сдельщика; ведь высокий заработок — знак общественного признания).

Вот и возникает вопрос: какое мне теперь назначать «дневное производственное задание» — 9,5 или 11 руб.? Возможно, сторгуемся на 10 руб. (для чего еще понадобится «выламывать руки» бригадиру, ввиду моей относительной незаменимости). Но — не больше! Ведь в таком же положении все участники июльского «аккорда». А столь резкий скачок в личных заданиях и, соответственно, в гарантированном заработке для всех членов бригады — дело абсолютно нереальное. Ибо тогда пришлось бы так же резко повышать бригадный план. А это уже противоречит интересам администрации...

По-видимому, наше перевыполнение будет как-то закамуфлировано в отчетной документации. И у нас останется лишь перспектива вновь приподнять потолок своего среднемесячного заработка в 1987 г. рублей эдак на 50 на брата, за счет очередного «аккорда».

\* \* \*

В таком вот разрезе предстает социальный механизм нашей экономики — глазами рабочего.

*(Записано в июне-декабре 1986 г.)*

*Ремарка 1: самоидентификация в качестве рабочего.*

В отличие от первых трех лет эксперимента социолога-рабочего, здесь представлены «заводские будни», где положение социолога-испытателя никак не отличается от положения его товарищей по труду. И сам субъект «наблюдения и участия» фактически отождествляет себя с ними, в своем жизнеощущении.

Его «социологическое поведение» сводится едва ли не только к этим записям (ведению «производственного дневника»); в остальном же он — «рабочий как все».

Во многом такая самоидентификация в качестве рабочего обеспечивается теперь уже вероятной бессрочностью эксперимента: ведь возвращения в стены академического института и т.п. для исключенного из рядов КПСС и т.д. — вовсе не предвидится.

...Социолог-испытатель к тому времени успел понять, что «перемен не надо ждать, их надо делать». Но рассчитывать на безусловный успех такого «делания» пока (в 1986 году) ему, как и всем остальным «делателям» (будущим «прорабам перестройки»), не приходится. Вообще, автора в этот период уместно называть, пожалуй, уже не «социологом-рабочим», а скорее — «рабочим-социологом». Его самоидентификация с «рабочим классом» становится не игровой, а вполне «всамделешней». (Май 2003).

*Ремарка 2: о форме «Производственных дневников...».*

По-видимому, сюжетно выстроенные тексты (вроде «Апрельских заморочек» или «Июльских аккордов») оптимальны для регистрации социологических наблюдений, в случае наблюдающего участия. При этом важно точно вычлнить, «угадать» начало сюжета, увидеть росток будущей «моделирующей ситуации» в процессе повседневной жизни, а дальше — лишь отслеживать данную сюжетную линию. (Март 2001 — май 2003).

\* \* \*

## **(6-7). Несколько вступительных слов**

Напомню, что к осени 1985 г. социолог-испытатель уже успел пройти почти полный круг «отказов» в пересмотре постановления парткома «Ленполиграфмаша» об исключении его из рядов КПСС: и городской, и областной комитеты партии. В последней инстанции формулировка исключения была «подкорректирована» (уточнена):

...исключить Алексева А.Н. из рядов КПСС за проведение социологических исследований политически вредного характера, написание и распространение клеветнических материалов на советскую действительность и грубые нарушения порядка работы с документами для служебного пользования.

...Из союза журналистов тоже исключили (1984). Из ассоциации социологов, правда, еще не успели (не сумели...). От театрального общества давно уж «отлучили». До удовлетворения иска в защиту чести и достоинства (по частному вопросу) оставалось еще больше года

В общем, полная «беспросветность», как будто. Ан нет! Есть еще круг друзей, не утрачено любопытство (что же дальше-то будет?), и, наконец, есть работа (производственное занятие), которую делаешь изо дня в день. И она выполняет важную компенсаторную функцию, на фоне перечисленных «неудач». А если что-

то мешает нормальной работе (в твоём понимании «нормального»), то начинаешь «инстинктивно» этому сопротивляться.

Решу утверждать, что вовсе не в «экспериментальных целях», и не в порядке «политической самообороны», а исключительно для пользы дела (своего производственного дела, отвлекаясь от всех «привходящих» обстоятельств!) затеял рабочий-социолог то, что раньше было условно названо «контрнаступлением на производственном фронте».

Другое дело, какой из этого (да еще на фоне известных исторических событий) произошел «экспериментальный», и даже «политический» результат. (Май 2003).

## **6. Рабочие и начальство (взаимные «разъяснения»)**

### *Из «Производственных дневников 1984–1986 гг.» (август 1985)*

<...> Как уже отмечалось в моем заявлении для партийного бюро цеха от 18.07.85, положение с выполнением программы в нашем цехе уже не первый месяц очень напряженное. Не спасают ни многочисленные субботники (только в июле было два — по случаю Всемирного фестиваля молодежи, но настойчиво приглашали не только молодежь), ни сверхурочная работа. (Был даже призыв администрации работать чуть ли не каждый день до 8 час. вечера)...

Если идти навстречу всем «просьбам» цеховой администрации, то следовало бы в мае-июле каждую субботу работать. (Некоторые и работают! Например, у моего бригадира А. Сычевича в июле было 28 час. сверхурочных).

Положение с программой обострилось не только в нашем цехе, а и по заводу в целом. Директор по этому поводу специально собирал низовое руководящее звено (мастеров). Главный инженер, выступая на «едином политдне» в нашем цехе, заикнулся даже о работе по воскресеньям («если понадобится...»).

Та позиция, которая была выражена в докладе начальника цеха А. Косачева на открытом партийном собрании 16 июля — насчет выполнения повышенных обязательств к XXVII съезду КПСС («есть опасность срыва годовой программы, не то что повышенных обязательств... Надо еще больше работать сверхурочно!»), в общем не нашла сочувствия у выступавших коммунистов и беспартийных. Была довольно энергичная критика в адрес администрации по всему кругу вопросов, позднее затронутых в моем заявлении для партбюро.

Таким образом, упомянутый документ вовсе не был выражением только моей индивидуальной точки зрения. Я лишний раз убедился в этом, показав его предварительно своему бригадиру А. С., который сказал, что «все правильно» написано, хотя и выразил сомнения в результатах.

Я обусловил вручение этого заявления по адресу тем, что он (А. С.) мне этого «не запретит», поскольку не хотел подставить под удар бригаду. Разумеется, бригадир «не запрещает», раз «все правильно написано».

Показал еще и мастеру Г. Соколову. У того «разрешения» уже не спрашивал, а — «для сведения» (но все же предварительно).

<...> Заявление было вручено секретарю партбюро, фрезеровщику В. Курсову утром того же дня (18 июля, четверг). Тот при мне его читать не стал. Поскольку я связал это свое обращение с минувшим собранием, В. К. спросил, чего же я там не выступил. На что я ответил, что выступающих и так было достаточно, а постановка вопроса требовала подготовки с моей стороны.

Обещанный хронометраж собственной работы<sup>5</sup> велся мною 18 июля и первую половину дня 19 июля. После чего прекратился, поскольку с обеда 19 июля, с бюллетенем, я покинул цех. Итоги хронометража <...> [Здесь они опущены — А. А.]

...Вышел с бюллетеня в понедельник, 29 июля. К этому времени А. С. и Николай Реутов успели справиться с моим заданием плюс еще несколько срочных партий (за счет работы в полторы смены и в субботу). В этот же день утром мы были, вместе с бригадиром Сыщевичем и мастером Соколовым, вызваны к начальнику цеха Косачеву (похоже он только и ждал моего выхода на работу). Нач. цеха предъявил мне и бригадиру энергичные претензии по поводу... факта нарушения технологической дисциплины, зарегистрированного за три недели до этого (!) июля (видать, «заело» мое обращение в партбюро).

Дело было так. На моем станке техническими условиями предусмотрена штамповка стальных листов толщиной до 2 мм. Однако, начиная с 1983 г., с ведома администрации, производилась штамповка одного обозначения — каркасы «Ф-...», толщиной 3 мм, причем не полная штамповка, а только таких отверстий, при пробивке которых не превышает номинальное усилие пресса (я сам считал!). При чем использовали самодельный шаблон (был изготовлен мною два года назад) и подобрали пробивной инструмент с большим зазором (между матрицей и пуансоном), чем исключался выход его (инструмента) из строя при повышенной толщине пробивки.

Эта рабочая инициатива, повторяю, была хорошо известна администрации на протяжении не одного года. Ей никто не препятствовал, поскольку каркасы — одно из ведущих обозначений: их требуется много, и всегда — поскорее. <...> В общем — одна из тех «скрытых ражий», перевод которых в официальную технологию если и возможен, то требует слишком большой подготовки (подобно, скажем, пробивке 1,5 мм отверстий в панелях, где технологи решили присвоить себе нашу рацию и попали впросак).

Так вот, еще 10 июля нач. тех. бюро цеха Л. Кутырина, раздосадованная своей неудачей по «слизыванию» нашей «партизанщины», привела к станку «комиссию», как раз когда я пробивал 3 мм листы. В составе этой комиссии были: нач. инструментальной группы Васильев («ломают инструмент!») и ст. механик Шахматов («ломают станок!»).

Кутырина и Васильев (оба — горе-рационализаторы с 1,5 мм пуансонами) написали начальнику цеха докладную насчет нашего «самоуправства».

Никто не помешал нам довести эту работу до конца: каркасы были очень нужны на сборке!

В июле мы справились с программой во многом за счет таких «скрытых ражий». А вот теперь, 29 июля, когда с программой разобрались, да к тому же рабочий А. указал в своем заявлении для партбюро на недостатки инженерной подготовки производства и нормирования, самое время — рассмотреть эту докладную.

В основном беседа имела форму диалога между бригадиром и начальником цеха. Нач. цеха обвинял нас с Сыщевичем: а) в нарушении технологической дисциплины; б) в нарушении «финансовой» дисциплины; в) в дезорганизации производства (!).

А. С. аргументировал соображениями «пользы дела» и «ускорения производства», к тому же: «все так делают!» и «все об этом знают!». <...>

Начальник вспомнил и про 1,5 мм отверстия в панелях, которые мы будто бы не захотели штамповать официально.

В общем, прет обида, «технологическая» и «административная», на рабочих — изо всех щелей. И такой сыр-бор разгорелся, что костей не соберешь.

Итог: Сыцевичу и мне обещано взыскание (мастер Соколов как будто уже наказан, но, похоже, за что-то другое). Уходим с бригадиром от начальника изрядно озадаченные и отчасти взбешенные. (Я в этой беседе практически не участвовал, ибо говорить мог бы только, что «нарушал технологию» по указанию непосредственного руководителя, т.е. бригадира, чего мне не хотелось. Помнится, обронил лишь фразу, что валят «с больной головы на здоровую»).

Только вернулись от начальника, подходит ко мне секретарь партбюро цеха В. Курсов. За неделю моего отсутствия он «успел разобраться» с моим заявлением от 18.07. Показывает мне на то место этого заявления, где говорится, что начальника цеха на собрании можно было понять так, что рабочие-сдельщики «не выкладываются» полностью, не хотят работать сверхурочно (мол, тот такого не говорил!). А что касается норм, то их «проверили», они «в порядке». <...>

Рассуждения несерьезные, тем более, что сам Курсов на собрании, правда, по поводу своих фрезерных работ, говорил то же самое, что и в «нашей» бумаге написано.

На моем заявлении рукой секретаря партбюро уже нарисовано: «Ответ дан в устной форме» (это ему — для отчетности: мол, разобрались). Предлагает мне в этом... расписаться. Я ему говорю, что уже подписал под собственным заявлением, а под его, Курсова, «резолюцией» пусть он и подписывается. В. К. было прерывается написать, что я «от подписи отказался», но удержан моим замечанием, что он перепутал «разъяснение» партийного бюро с приказом об административном взыскании (в ознакомлении с которым действительно положено расписываться тому, кому взыскание объявлено).

Сообщаю ему, к слову, о беседе, которую только что имел «по этим вопросам» с начальником цеха. «Что такое?» — «А ты у Сыцевича спроси, он тебе лучше разъяснит».

Курсов идет к нам на участок. Тут же еще не остывшие члены бригады, изрядно возмущенные тем, как начальник обошелся с А. С. и со мной, мастер Соколов, рассуждающий диалектически («с одной стороны», а «с другой стороны»...), бригадир Игорь Виноградов (ныне заслуженный работник машиностроения), терпеливо растолковывающий мастеру, что нарушения технологии недопустимы, когда в ущерб оборудованию или качеству изделия, а когда нет — то это и есть технический прогресс!

Секретарь партбюро, фрезеровщик Курсов слушает «голос масс», положение у него неловкое. <...> Ведь и впрямь без наших, да и его собственных «скрытых раций» — производство встанет.

Я ему говорю:

— Ну вот, а ты мне еще предлагал расписаться под твоим «устным ответом». Кстати, и Постановление ЦК на днях вышло — как обращаться с письмами и заявлениями трудящихся в партийные органы. Не читал?

Курсов уходит с моим заявлением, по которому успел дать «разъяснение» мне, и с непечатными «разъяснениями» ему самому, полученными от слесарей 1-го участка.

<...> Начинаю налаживать очередную партию «Ф-...» и обнаруживаю отсутствие в кладовой записанного в документации инструмента (его потом аварийно изготовили за 2,5 час.), далее — неувязки в технологическом процессе (срочно вы-

писали дополнительный наряд, компенсирующий эти неувязки). То есть очередная иллюстрация все к тому же заявлению.

На следующий день, 30 июля, в обед выясняется, что меня поторопились выписать с бюллетеня 29-го (температура всю неделю поднималась до 37,5 только вечером, а у врача — дневной прием). Тут температура подскочила к обеду. И я ушел долечиваться, успев за эти полтора дня отштамповать полторы партии, получить «втык» от начальника цеха и «разъяснение» от секретаря партбюро, но... не успев получить административного взыскания.

(По не обоснованному предположению моего бригадира приказ о выговоре нам обоим и, скорее всего, о частичном депремировании появится поближе к дню полочки — 13-е число).

...Завтра, 5 августа, выхожу на работу. Посмотрим, чем все это, покаменя не было, кончилось.

*(Записано 4.08.1985)*

## **7. «Прессинг по всему полю» (два месяца из жизни рабочего-социолога)**

### ***Несколько вступительных слов***

Нижеследующие записи велись подневно, в течение двух с половиной месяцев, и, понятно, не претендовали на сюжетную завершенность. Однако жизнь сама выстроила сюжет — даже несколько переплетающихся сюжетных линий, каждая из которых успела получить развязку за это время. Отбирая фрагменты для данной публикации, автор стремился высветить эти линии. (Март 2001).

### ***Из «Производственных дневников 1984–1986 гг.» (август–октябрь 1985) 5 августа 1985 г. (понедельник).***

Первый день после бюллетеня. Читаю приказы на цеховой доске объявлений. Один — директорский. Трудно удержаться от улыбки. Случился пожар... в отделе техники безопасности. Самовозгорание бытового холодильника. Наказан главный энергетик завода. Премированы — ник ВОХРа и инспектор по противопожарной безопасности, лично тушившие пожар до приезда пожарной команды.

### ***Второе распоряжение — начальника цеха Косачева (от 31.07.85):***

*«За нарушение правил эксплуатации ПКР КО-120 и вырубных пакетов рабочему участка № 1 Алексееву А.Н. объявить выговор по цеху и депремировать на 10% по итогам работы за шоль-месяц 1985 г. Бригадира Сычевича А.В. предупредить. Основание: служебная записка начальника бюро инструментального хозяйства Васильева <...>».*

В бригаде. Мой бригадир Сычевич сообщает, что переругался с начальником цеха из-за известного распоряжения. Серега Изотов подтверждает: так, при нем было. Я высказываю собственный взгляд на это дело. Еще узнаю, что у Коли Реутова в пятницу родилась дочь. Бригада собиралась у молодого отца. «Жаль, тебя не было», — замечает бригадир. Собирали по 3 руб. на подарок Коле. Обещают принести завтра.

Я: — На ПКР работы много?  
— Хватает, — говорит А. С.

— Вечерили на ПКР?

— Нет. Еще чего — начало месяца...

Сменный мастер Гоша Соколов уточняет мне задание. Я, между прочим, прошу мастера передать начальнику цеха мое пожелание проконсультироваться у юриста и отменить свое распоряжение от 31 июля. Гоша обещает сказать об этом Косачеву. <...>

*Ремарка: опуская подробности.*

Здесь и далее, как правило, опускаются описания «производственной рутины» — производственных неурядиц, по большей части повторяющих описанные ранее. То есть, в основном, представлены события, а не процессы. (Март 2001).

*...Юридическая консультация (5.08.85).*

После смены еду во Дворец труда, где есть бесплатная юридическая консультация. Дежурный юрист подтверждает мое предположение о незаконности взыскания, наложенного на меня во время пребывания на бюллетене. Другое (уже не формальное) основание оспаривать выговор — это то, что штамповку 3-х мм каркасов на своем прессе я выполнял не «самочинно», а по указанию сменного мастера, т. е. администрации. Юрист рекомендует обратиться в комиссию по трудовым спорам (КТС). В случае неуспеха, следующая инстанция — цехком, затем — суд.

Доброжелательный совет — «не спешить» начинать этот спор. Дело, оказывается, в том, что по истечении месяца с момента события, повлекшего взыскания, начальник не сможет... переписать распоряжение другим числом и тем самым устранить самое очевидное из нарушений КЗоТа. Спасибо. Учту!

*7 августа (среда).*

В обед (12-30) было цеховое собрание, какие бывают каждый месяц: подведение итогов за июль, принятие обязательств на август. Начальник цеха доложил, что в июле цех отработал «как никогда хорошо». Успешно справился и с валом, и с товаром. Занять класное место цеху мешают прогульщики. В июле их было четверо. Среди них Миша Г. (из нашей бригады). Похоже, что был прогул и у Жени Р. (тоже из нашей бригады).

Насчет Миши — дело привычное (он хоть, бывает, и «завязывает», но ненадолго). А для Жени, с его язвой желудка, не характерно (начальник утверждает, что прежде, чем лечь в больницу, он пришел в цех нетрезвый...).

Еще была в прошлом месяце серьезная травма — на 2-м участке. Как всегда, когда план выполнен, в повестку дня встает «культура производства», т. е. приборка рабочих мест. Претензии начальства на этот счет — в основном к нашему участку (где сейчас идет реконструкция, и все — вверх дном). <...>

*8 августа (четверг).*

<...> Вырубных пакетов диаметром 8 мм — три варианта, под разные толщины материала. Раньше, не обнаружив подходящего, брали любой (да и технологи нередко записывали в техпроцесс — не глядя на толщину заготовки). Конечно, зазоры между матрицей и пуансоном в трех вариантах пакета немного разнятся... Но это уже «педангство». Требуемого варианта пакета нет. Старшая кладовщица Фаина С. спрашивает: «Нельзя ли чем заменить?» — «Конечно, можно, — говорю. — Но теперь — только по указанию администрации».

Информирую технолога Нину Толстову. Та с ходу собирается вписать в техпроцесс другой вариант пакета (т.е. «нарушить правила»...). Я ей: «Подумайте, ведь это запрещено!». И ухожу, предоставив ей подумать. Некоторое время спустя прибегает Фаина. Расстроена: «А как же раньше-то пробивали?» — «Пробивали чем придется, — говорю. — А теперь пусть об этом распорядится технолог». Поняв, что дело стало не за мной, Фаина идет упрасивать Нину вписать номер неподходящего пакета. Через пять минут приносит мне предписание технолога. Нина перестраховалась и написала: «Пакет такой-то — только для данной партии».

«Хм, даты не вижу», — замечаю я. Фаина всплескивает руками: «Неужто снова к технологу идти!» — «Ладно, я сам ей скажу». <...> В техпроцессе лицевой панели «Ф-...» кернение и сверловка отверстий диаметром 1,5 мм заменены на штамповку (рация Кутыриной и Васильева, столь скандально провалившаяся весной). Подхожу к бригадире. Тут же и сменный мастер. Итак, панели — берем! А как будем с этими 1,5 мм? Мастер Гоша мнетя: «Будем, наверное, кернить...».

— Тогда пусть вписывают это обратно в техпроцесс.

— Вот так, да? — говорит мастер обиженно.

— И только так, — говорю. — Работаем теперь по правилам.

Бригадир поддерживает меня.

Но исправлять техпроцесс — дело вовсе не мастера, а технолога. Нина опять пишет: «Для данной партии». «Не забудьте дату!» — напоминаю ей (поди потом разберись, которая партия — «данная»). Делимся впечатлениями с бригадиром. «Прессинг по всему полю!» — замечаю я. (Как баскетболисту, эта метафора Толику хорошо понятна). — Я уж тебя не дергаю, — говорю бригадире. — Но за эти четыре дня из четырех партий не было ни одной, где бы не нарушались правила эксплуатации станка. И все по распоряжению начальства...

<...> В конце дня прибегает Нина — чуть ли не исправлять свое исправление обратно:

— А зам. нач. цеха сказал, что 1,5 мм пуансоны раньше ломались из-за некондиционного материала. Так что сейчас надо снова попробовать!

— Пожалуйста. Только сначала найдите их в кладовой! (Уже выяснил, что там — нет). <...>

*9 августа (пятница).*

От 10 до 11 час. настраиваю станок, приспособляюсь к маршруту перемещения заготовки в сочетании с поворотом револьверной головки. Как-никак, девять разных гнезд задействованы, около 180 позиций в карте штамповки. И надо держать в уме, чем куда ударить. Но эта панель мне хорошо знакома, и уже со второй штуки набираю скорость. Пока только 120 ударов (без 1,5 мм отверстий!). К обеду (12 час.) сделан десяток. Еще 15 штук (всего — 25) готовы к 14 час. Так сказать, в хорошем темпе.

Сообщаю бригадире. Тот успел «придумать», как быть с пресловутыми 1,5 мм. У нас ведь остался один, «сверхпотайной», самодельный пуансон, который можно задействовать, чтобы потом не возиться со сверловкой. Вот только в нынешней (стервозной) ситуации нельзя демонстрировать наши скрытые рации... Что же придумал бригадир? — Налаживай 1,5 мм (а не керн!). А я к тебе человека приставлю.

— Зачем?

— Чтобы следил за появлением начальства. Как кто пойдет, будет отштампованные панели прятать.

Остроумно, ничего не скажешь... Но:

— Слушай, Толя! Я с Косачевым буду, может быть, судиться. Пока не отмену выговор, мне залетать нельзя. Твой дозорный — не гарантия. Хочешь, я налажу, а штамповать поставь кого-нибудь другого. Скажем, Колю Реутова... Бригадир пропускает мимо ушей первую часть моего заявления. А на вторую — реагирует адекватно: «Давай!».

<...> Сегодня пятница, и полагается хоть как-то прибраться вокруг станка. Пол под координатным столом ПКР густо засыпан вырубкой. Когда производственная запарка, моя приборка сводится к «маскировке». Чтобы работать сидя, у меня снята передняя стенка — кожух координатного стола (иначе ноги некуда было б деть). И — видно, что под станком. А в пятницу я этот кожух ставлю на место. И он скрывает все «безобразия». Ведь борьба за культуру и чистоту — у нас «визуальная» (чтобы глаз отдохнул...).

В этой своей манере я не выделяюсь среди большинства слесарей-сдельщиков. Другое дело — наладчик штампов Станислав Политов. Тот каждый день выгребаёт отходы из-под своего прессового хозяйства. (Стас — как нянька за слесарями. Иногда костерит то одного, то другого. Но он радуется не за внешнюю «чистоту», чем озабочено в основном начальство. А — за сохранность оборудования, инструмента. Стас не любит, когда схватят — бросят где попало...).

Во время приборки обнаруживаю в ящике для металлических отходов замурзанный, случайно уцелевший бланк «сменно-суточного задания». На листке, рукой мастера Гоши, выписаны номера обозначений, которые следовало отработать на ПКР в июле. И среди них — «Ф-...», те самые 3 мм каркасы, за штамповку которых мне объявлен выговор! Я и забыл про этот листок... Вот уж — не знаешь, где найдешь документ, подтверждающий, что рабочий нарушал «правила эксплуатации» по указанию администрации! <...> 12 августа (понедельник).

<...> К 11 часам с панелями покончено. Подхожу к бригадиру. Тот:

— В чем трудности? (Это такая шутка).

— У меня трудностей нет, а у тебя? (Это значит — «давай работу»).

— Иди-ка ты к Гоше!

Политес соблюден. Главный начальник для меня — бригадир. Но сейчас, как понимаем мы оба, мне предпочтительнее получать задания от мастера.

Мастер Гоша предлагает заняться «Ф-...». Понадобятся шесть вырубных пакетов. Три из них — в моем «сверхпотайном» подручном фонде. Три — беру в кладовой. Все есть! Кажется, будет первая партия (с момента начала этой «хроники») без технологических приключений. Уже установив шаблон, замечаю, что четыре отверстия — в «мертвой зоне»... Ну, в «партизанской» работе это меня не смутило бы. Пробил бы в два захода, и вся недолга. Но ведь тут запланировано — в один заход. Опять — звать технологов!

<...> Нина уносит чертеж. Жду минут 15. Иду в цеховое БТП [бюро технической подготовки. — А. А.]. Там Нина и ее начальник Кутырина совещаются.

Нашли-таки в техпроцессе указано — пробивать «с подвижкой захватов» (т.е. листодержателей). Это из техтехнологических указаний, которые вроде заклиниваний — сам шаман не знает, что оно значит. В моем ПКР это технически невозможно. <...>.

*[Здесь опущены технологические пояснения. — А. А.]*

Говорю Кутыриной:

— Я не понимаю, что тут написано, и не умею двигать захваты, во время штамповки. Пусть тот, кто это написал, придет и мне покажет. В 14-30 является

Лидия Боброва. Это — технолог из ОГТ, которая вписывала нелепое указание. Спрашивает у меня, как быть. Отвечаю жестко: «Мне все равно, как скажете».

Та убеждается, что надо отменять эту «подвижку захватов». Выходит, размечать и просверливать эти отверстия отдельно, без моего ПКР... Я: — Ладно. Только впишите это, пожалуйста, в техпроцесс. Лидия вписывает. Прошу подождать, пока я предупрежу бригадира.

Подхожу к А. С.:

— Тут очередная технологическая дурость... Имей в виду, должен быть наряд на разметку и сверловку двух отверстий, дополнительно. Я их пробую на ПКР, двумя заходами.

— Понял, — говорит бригадир.

Возвращаюсь к станку. «Больше вопросов к вам не имею», — сообщаю Лидии (в том смысле, что «вы свободны»). <...>

*14 августа (среда).*

А. С. наблюдает мой «прессинг по всему полю» вот уже вторую неделю. И тогда он просит меня... записывать все эти заморочки! «А я и так записываю», — говорю...

*Ремарка: «...записывай эти заморочки!»*

*Примечательный момент. Производственные интересы бригадира и интересы социолога, который, работая на станке, вроде бы экспериментирует (социологически) и ведет «протокол наблюдающего участия» — полностью совпадают. Записи социолога — нужны бригадиру!*

*Этой хронике он тогда не читал. Но из нее (как он мог предположить) всегда можно извлечь ресурс в борьбе (игре?) с администрацией. (Март 2001).*

<...> Уж и время к концу смены. Но у меня еще один заказ (принес мастер Гоша): «П-...». Мастер назвал это «халтурой», хоть обработка в техпроцессе и предусмотрена на моем станке. А дело в том, что расточную операцию заменили на штамповочную недавно. А в маршрутной карте (наряде) — пока что указана расточная, которая стоит 60 коп. Значит, вполне легально мы будем штамповать, а получать как за расточку... «Неплохо!» — говорит бригадир. Пять минут спустя я вглядываюсь в чертеж и вижу, что заготовка (после гибки это будет скоба) толщиной... 2,5 мм! И двух недель не прошло, как я был наказан за «нарушение правил эксплуатации» ПКР (пробивая заготовки толще 2-х мм). И вот такое же самое нарушение мне предписывается теперь уже не просто разовым заданием линейной администрации (как было со «штрафными» каркасами), а официальным техпроцессом!

Ситуация настолько показательная, что когда информирую об этом мастера и бригадира, возникает «немая сцена»... — К черту! — говорит бригадир. — Откажемся.

Что касается меня, то я выражаю готовность выполнить указанное в техпроцессе.

— А ты за машину (так иногда называют мой станок) не боишься? — спрашивает А. С. — Ведь мы тогда пробивали в каркасах отверстия 6 и 8 мм, а тут диаметр 30.

Мда! Это я как-то выпустил из виду...

— Надо посчитать требуемое усилие, — говорю. — У меня где-то дома формула есть.

(Дома подсчитал. Получается — нужно усилие 9 тонн. А номинальное усилие для моего ПКР — 10 тонн. Стало быть, формально можно... Хотя такие «подвиги» — и не для той «машины», которой, того гляди, вместо профилактического, капитальный ремонт потребует). Еще обращаю внимание, что номера вырубных пакетов какие-то необычные. Ага, заказывали новые, видимо, с увеличенным зазором для 2,5 мм толщины материала. Похоже, имеем дело не с «технологическим нарушением», а с «новаторством»!..

Однако же, совместились во времени мои нарушения технологической дисциплины и плановое изменение этой самой дисциплины — парадоксально!

22 августа (четверг).

Вкратце.

После настойчивых требований, продолжавшихся неделю, социологу-испытателю, наконец, дают возможность ознакомиться со служебной запиской начальника бюро инструментального хозяйства Васильева, на основании которой ему был объявлен выговор.

<...> Вечером переписываю набело, с минимальными коррективами, давно заготовленный текст заявления в КТС:

*«Заявление в комиссию по трудовым спорам цеха № 3.*

*Распоряжением № 86 по цеху № 3 начальником цеха А. Косачевым на меня наложено дисциплинарное взыскание — выговор и депремирование на 10% по итогам работы за июль 1985 г. Взыскание наложено «за нарушение правил эксплуатации КО-120 и вырубных пакетов». В качестве основания в распоряжении указывается служебная записка начальника БИХА тов. Васильева.*

*Считаю наложение на меня дисциплинарного взыскания противоречащим закону по крайней мере в силу следующих обстоятельств:*

*1) Настоящее взыскание наложено распоряжением начальника цеха от 31.07.85 — в то время, когда я был на бюллетене.*

*2) Обработка обозначения «Ф-...» на станке КО-120 (упоминаемая в служебной записке Васильева) производилась мною по распоряжению администрации. В частности, в июле 1985 г. указанное обозначение (партия — 170 шт.) было вписано в мое производственное («сменно-суточное». — А. А.) задание.*

*3) Начиная с декабря 1983 г. я, по указанию администрации, систематически работаю оператором на станке КО-120, не имея квалификации (разряда) штамповщика. Таким образом, ответственность за нарушение правил эксплуатации, если таковое имело место, ложится не на рабочего, на администрацию.*

*С учетом изложенного, прошу комиссию по трудовым спорам дисциплинарное взыскание (выговор и депремирование), наложенное на меня распоряжением начальника цеха от 31.07.85, — отменить.*

*А. Алексеев, 23.08.85».*

Вроде, зам. нач. цеха Малков мне даже «помог», задержав ознакомление со служебной запиской Васильева. Я, так и так, собирался подавать свое заявление только в 20-х числах августа (вспоминая совет юриста). Теперь получается, что — не в силу своей «хитрости»... Впрочем, согласно КЗоТу, я мог бы и еще пару месяцев подождать (предельный срок обращения в КТС — три месяца с момента

взыскания). А вот комиссии по трудовым спорам, согласно тому же КЗоТу, решать вопрос надо быстро — за пять дней.

*28 августа (среда).*

Вкратце.

По истечении пятидневного срока, ответственный за трудовые споры член цехкома, токарь Минин, на запрос о судьбе заявления, сообщает рабочему-социологу, что отдал его заместителю начальника цеха и больше ничего не знает. Говорит, что соблюдает КЗоТ «как умеет». Вообще, не хочет разговаривать на эту тему. Мол, в цехе «никогда не было трудовых споров»... И вообще он «не может такие вопросы решать!».

<...> Уже переоделся после смены. Что ж, думаю, зайти к зам. нач. цеха? Вообще-то, нелепо жаловаться на члена цехкома представителю администрации, против произвола которой ты у этого профсоюзного деятеля ищешь защиты...

Малков занят со старшими мастерами. Все же логичнее в этой ситуации обратиться в завком. По дороге к проходной захожу в здание, где размещается столовая, и тут же — все общественные организации. На двери завкома вижу два объявления.

Первое: «Профсоюзный комитет завода принимает трудящихся по личным вопросам в понедельник с 16-15». (Гм, интересно — является мой вопрос «личным» или нет?).

Второе объявление: «На основании постановления бюро ОК КПСС (так! — А. А.) от 11.03.83, с целью исключения потерь рабочего времени прием граждан в профсоюзном комитете будет осуществляться только в свободное от работы время».

Дверь заперта. Все профкомовцы уже ушли. На часах — 16-30.

*5 сентября (четверг).*

Утром закончил панель «Ф-...». От бригадира очередное задание на «халтуру» (самодельная технология) — стенка боковая «Ф-...». (Подобные задания все же чаще исходят от бригадира, чем от мастера, хотя мастер всегда в курсе).

Но тут разворачиваются события уже не технологические. В 10 час. меня приглашают к городскому телефону. Зав. канцелярией обкома КПСС Кудряшенко Л.С. сообщает, что 10 сентября (во вторник) утром мне следует явиться в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС к Шадрину А.П., а в среду 11-го на заседании КПК будет рассматриваться моя апелляция исключенного из партии. Спрашивает, нужна ли мне помощь в приобретении ж.д. билета. Говорю, что нет. Я спрашиваю, информирован ли об этом вызове партком завода. Нет, она туда не звонила. Ну, на этот раз полагают достаточным, что информирован я сам... Этого вызова я ждал (хоть и не на этой неделе). У меня есть пять «отгулов» за дни, отработанные в период отпуска еще в феврале. Поездка в Москву, и не на два дня, а на целую неделю, тем самым обеспечена. Прикинув по календарю, когда мне понадобятся отгулы, сообщаю бригадиру о предстоящих событиях.

А. С.: — У тебя пять дней. Пиши пять заявлений. Начальник цеха имеет право отпустить только на один день... Пишу: «Прошу предоставить мне отгул на 9 сентября 1985 г. за ранее отработанное время».

Аналогичные заявления — для 10, 11, 12, 13 сентября. Сколов все пять листов скрепкой, несу старшему мастеру Николаю Ярошу (тому самому, который вызывал меня из отпуска в феврале). Тот несколько растерян... Но я же работал в отпуск — «святое дело»!

Ярош посылает меня обратно к бригадиру — завизировать ЕГО согласие.

Такое не принято, чтобы бригадир ставил визу, он ведь не администрация... Толик, поняв, что мастер решил перестраховаться, находит способ его «проучить» (мастер моложе бригадира, и они играют в одной баскетбольной или волейбольной команде).

Размашисто, через весь лист мой бригадир пишет: «Долг превыше всего. Тем более долг бригады и начальства. А. Сыщевич».

Это на первом заявлении. На остальных четырех я советую ему, для экономии сил, ограничиться резолюцией: «Не возражаю».

Ярош обеспокоен моим предстоящим недельным отсутствием:

— А кто будет работать на ПКР?

— Это наша забота! — говорит А. С. (Коли Р. сейчас нет, т.е. заменять меня придется самому бригадиру).

Старший мастер (отвечающий за производственную программу) тоже ищет слова для «нестандартной» резолюции и находит следующие:

«Не возражаю, с заменой оператора на станке КО-120».

— Тут и попроще можно было бы, — насмешливо замечает бригадир. — Ведь должны же человеку!

С этими заявлениями и визами иду в обед к и. о. нач. цеха Малкову. Тому досталось от меня за последнее время (и непосредственно, в связи с аварийными ситуациями на ПКР, да, полагаю, и опосредованно, в связи с проволочками в организации КТС). Теперь Малков может отыграться:

— Вас официально вызывали из отпуска в феврале?

— Нет.

— В таком случае, у меня нет оснований давать вам отгулы. (Вообще-то, это не отгулы. Ибо отгулы не оплачиваются, при оплаченной переработке. Но у меня переработка не оплачена. То есть, по существу, должно быть — оплаченное отсутствие. Что вполне точно определено бригадиром, как «долг бригады и начальства»... Заявление на отгул в таком случае — чистая формальность. Такие заявления «в приказ» не идут).

Прошу Малкова наложить письменную резолюцию. С беспардонным сознанием своей формальной правоты, тот пишет на каждом из пяти листков: «Нет основания».

После обеда показываю бригадиру этот итог своего визита к начальнику. Тот вначале: «Не понял!» — «А чего ж тут непонятного?». А. С. резко хватает мои заявления и устремляется к начальнику. Догоняю его: «Толя! Малков — <...> ! Не зарывайся!». Бригадир не сразу берет в толк, от чего я его предостерегаю, но реагирует очень дружелюбно.

Мда! Ситуация, что говорится, «нет слов, одни буквы остались». Начальник куда-то исчез. Толик сообщает мне, что до конца дня он с ним обязательно объяснится. Я же — могу с понедельника не выходить, он «берет на себя».

Пытаюсь его расхолодить [остудить? — А. А.]. Причем прошу разыскать Малкова поскорее. Ибо если они все же не договорятся, то придется брать отпуск за свой счет, на два-три дня, которые мне не могут не дать, если я объясню причину.

(Конечно, обидно ехать в Москву только на два дня, когда «заработана» целая неделя. Но раз уж пошло дело на принцип...) <...> Все эти события разворачиваются на фоне наладки детали «Ф-...».

Тем временем приносят маршрутную карту на другую панель («Ф-...» — та самая, где апофеоз технологической безграмотности). <...> [Здесь опущены технические подробности. — А. А.].

Но важно сейчас не это. Штамповка детали, где ни много, ни мало 60 ударов, да еще с переворотом заготовки, расценена... по 4 коп. за штуку! То есть — порядка 0,07 коп. за удар. Норма установлена в три раза ниже прошлогоднего «стандарта» (0,2 коп. для обозначений, штампуемых на ПКР)! Короче — за всю партию, на которую я, даже и по своему шаблону, максимально удобному и т. п., затратчу больше смены, плата — пятерка. ПКР становится для бригады сущим «разорением»! И по этому поводу бригадиру еще предстоит скандалить...

<...> Где-то около 14 час. А. С., разыскавший, наконец, начальника, подходит ко мне, смущенный не меньше, чем полтора года назад, когда он мне обещал дневное производственное задание 9 руб., а начальство согласилось только на 8,5 (это — в 1984 г.; сейчас-то уже 9 руб.). «Как ты и предполагал... (он — мне). Полный отказ!».

Разговор у них с Малковым был жаркий. У зам. нач. цеха не залежалось сказать Толику, что если тот меня самовольно отпустит, то сам «партийный билет на стол положит» (конечно, это прерогатива уже не администрации, но аргумент — характерный).

— Ну, этого я не допущу, — замечаю я (имея в виду, что не собираюсь злоупотреблять его, Толика, гарантиями).

Потом бригадир задумчиво:

— Вообще-то, у нас еще один козырь есть...

— Какой же?

А. С. колеблется, назвать ли:

— Ведь другим такие отгулы дают без звука!

— Вот этим козырем пользоваться не надо, — говорю. (Тогда — всем плохо станет).

— Давай-ка, — предлагаю ему, — для начала, Колю Яроша допросим, что он по этому поводу думает.

Ярош берет на себя всю вину, но не ответственность:

— Я понимаю, Вы работали в отпуск. Надо было оформить, я этого не сделал. Я Вам подпишу любое заявление. Но против начальника — ничего не могу!

Отвечаю сдержанно, что извинения приняты. Но если мне не дадут отгулять, то придется кому-то нести материальную ответственность за то, что я работал пять дней бесплатно. (А за пять дней я зарабатываю, с премией, порядка 60 руб.).

Нет слов — у мастера.

Мы с А. С. отпускаем его, за ненадобностью. <...>

Вкратце.

Здесь опущено описание того, как было получено, уже у заводской, а не цеховой администрации, согласие на трехдневный отпуск «за свой счет», для поездки в Москву на заседание Комитета партийного контроля.

...Вторую половину дня — совсем не до работы. Телефонные звонки, разговоры с начальством... Наладив «Ф-...» для завтрашнего дня, последние полчаса до конца смены просто сижу рядом с А. С., орудуящим напильником, и разговариваем «за жизнь» (поводов, как видно, предостаточно). Между прочим, и о случае с Женей Р. Кажется, только в этом пункте у нас с бригадиром разногласия.

<...> Историю с дисциплинарным взысканием Е. Р., развернувшуюся вскоре после моей, я до сих пор избегал записывать. (Женя просил «помалкивать»). Но вот

сегодня, 5 сентября, вывесили табуляграмму с зарплатой за август. В ней про Женю указано: дневное производственное задание — 6 руб. Так что «тайное стало явным».

Вообще, наши дневные производственные задания (соответственно, уровни зарплаты) в бригаде различаются в диапазоне от 11,7 (у бригадира) до 6-7 руб. (у новичков). Е. Р., являющийся одним из самых квалифицированных рабочих в нашей бригаде (и обычно замещающий бригадира в его отсутствие), имеет задание 11 руб. Это — показатель внутрибригадного и внутрицехового статуса Жени (так же, как моему статусу отвечает сегодня 9-рублевое задание).

У нас в бригаде не все обходятся без дисциплинарных нарушений и соответствующих административных взысканий в течение года. В итоге, в прошлом году, например, чуть не половина бригады осталась без тринадцатой зарплаты. (Женя Р., между прочим, 13-ю получал). Самым ходовым взысканием за прогул является депремирование по итогам работы за месяц. Если депремируют на 100%, то для рабочего с таким заданием, как у Жени, единовременная потеря — рублей 80-90. То есть — чувствительно. Теперь стали наказывать также лишением дополнительных дней к отпуску, и даже — от одного до трех основных отпускных дней (которых у рабочего и всего-то 15).

Одной из «крайних» дисциплинарных мер является перевод на нижеоплачиваемую работу, сроком на 1-3 мес. В наших условиях это означает, что квалифицированного слесаря или станочника садится на автокару либо вручную возит «тачку» с заготовками или готовыми деталями. Транспортировщиков всегда не хватает, и когда вдруг «некого наказывать», проблема дефицита этих кадров встает с особой остротой. Но в применении этой меры нельзя и перегнуть палку. Ведь квалифицированную работу тоже кому-то надо делать...

Таков диапазон наказаний (кстати, согласующийся с КЗоТом). Е. Р. явился «пробным камнем» самоуправства, своего рода административной «партизанщины» относительно трудового законодательства. Сейчас не углубляюсь в «предысторию» взаимоотношений Жени с цеховым начальством. Ограничусь общеизвестными фактами. 1 и 2 августа, пропущенные Е. Р. на работе, не имеют оправдательного медицинского документа. А с 3 по 16 августа он находился в больнице. Вышел на работу 19-го (понедельник).

22 августа Женю пригласил и.о. нач. цеха Малков и посулил... снижение зарплаты вдвое, сроком на три месяца. На следующий день ему предложили расписаться под соответствующим распоряжением. Женя сгоряча не только расписаться, но даже и читать это распоряжение отказался.

В тот же день в кабинете у начальника состоялось заседание цехкома, где Жене подтвердили снижение производственного задания с 11 до 6 руб. Однако все это — на словах. Распоряжение на доску почему-то не вывесили.

Две недели Женя выполнял свою обычную (квалифицированную) слесарную работу, еще не зная, как она будет оплачиваться. Изучив КЗоТ (взятый у меня), он удостоверился, что такая мера наказания, как перевод на нижеоплачиваемую работу, разумееется, существует, но вовсе не снижение зарплаты без изменения характера работы (что как будто предпринято по отношению к Жене). Но было еще не ясно, в самом ли деле администрация решилась на такой сомнительный шаг, и если да, то как его оформила.

По моему совету, Женя все же обратился к табельщице и переписал так и не обнародованное распоряжение начальника. Там фигурировал «перевод на нижеоплачиваемую работу», с уменьшением дневного производственного задания.

Информация о снижении зарплаты Е. Р. аж вдвое (извлеченная из вывешенной табулиграммы) вызвала большой интерес у всей бригады, да и вообще в цехе. Такого у нас еще не бывало... Прецедент!

*6 сентября (пятница).*

Вкратце.

В этот день экстренно собралась цеховая комиссия по трудовым спорам, заседания которой автор добивался на протяжении двух недель. Для этого понадобилось... обращение в прокуратуру! Помощник прокурора Петроградского района написал «предписание» директору завода, указав в нем на превышение 5-дневного срока рассмотрения заявления в КТС, как на «грубое нарушение трудового законодательства». Речь шла только о сроке. В предмет спора прокурор не вникал.

*Первое заседание КТС (6.09.85).*

Обед. Ровно в 12-15 — в кабинете начальника цеха. Сидят за приставным столиком по двое, «на равных»: представители администрации — Малков и Кутырина, и представители профсоюза — Минин и П-в. На столе — мое заявление и... «Справочник профсоюзного работника». (Тоже хотят теперь действовать «по правилам»!).

Председательствует на КТС сегодня член цехкома Минин (тот самый, который «не может такие вопросы решать»). Секретарские обязанности выполняет Кутырина.

Минин открывает рот, чтобы зачитать вслух поступившее от меня две недели назад заявление.

— Минуточку, — говорю. — Почему меня не спрашивают, не имею ли я отводов кому-либо из членов КТС?

— ?!

Еще не вполне осознав, о чем речь, Минин спрашивает:

— Кому же отвод?

— Вам лично! — отвечаю.

— ?!!

Моя мотивировка: «Минин уклонялся от исполнения своих обязанностей члена цехкома, ответственного за трудовые споры». Минин нервно оправдывается тем, что я обращался к нему в рабочее время, когда «надо работать». Хладнокровно замечаю, что когда я обращался к нему в обеденный перерыв, ему «надо было обедать».

Малков первым вышедший из оцепенения, зачитывает вслух соответствующий пункт «Положения о КТС», откуда явствует, что: а) заявитель имеет право на отвод; б) удовлетворить или отклонить этот отвод может только цехком. Стало быть, заседание КТС сейчас продолжаться не может. Обсуждают срок следующего заседания. Малков предлагает — в понедельник. Сообщаю, что в понедельник меня не будет на работе.

Малков: — Я же не подписал Вашего заявления!

Я: — Мое заявление, подписанное заместителем директора, находится у табельщицы. Полагаю, ей следовало Вас об этом информировать.

— !!

Полчаса спустя после окончания обеденного перерыва Кутырина приносит мне выписку из протокола. Узнаю из нее, что заседание комиссии отложено на 12 сентября (т.е. после моего возвращения). <...>

*12 сентября (четверг).*

Возвращаюсь из Москвы поездом № 19, прибывающим в Ленинград в 6-25. Времени — в обрез, чтобы поспеть на работу. Бригадир мне показался каким-то унылым. Я — ему, как он потом сказал, бодрым.

(Решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС от 11.09.85 апелляция автора, исключенного из партии в 1984 г., была в очередной раз отклонена. — А. А.).

— На работе какой-то кошмар, — сказал бригадир. — Техпроцессы, расценки, возвраты... (Это уже не про ПКР, а вообще).

*Второе заседание КТС (12.09.85).*

После работы, в 16-15, вновь собирается КТС. Другой состав комиссии. От администрации — те же (Малков и Кутырина). От профсоюза — члены цехкома Иван Овчинников и Миша Фетисов. Таким образом, мой отвод Минину — цехкомом удовлетворен.

Председательствует на этот раз, строго в соответствии с «Положением о КТС», представитель иной стороны, чем в прошлый раз (т.е. не профсоюз, а администрация), а именно — Малков. Секретарь — Миша Фетисов.

Есть ли у заявителя возражения по составу комиссии? Нет. Малков зачитывает мое заявление. Любого из указанных в нем трех обстоятельств достаточно, чтобы отменить распоряжение начальника цеха от 31 июля. [См. выше. — А. А.]. Однако, прежде чем рассматривать их, до сведения комиссии доводится объяснительная записка мастера Г. Соколова: мол, деталь такая-то выдана им в бригаду для изготовления в указанный срок; «конкретных указаний, на каких именно станках изготавливать детали, я не даю». Лукавит Гоша!..

Объяснение ныне отсутствующего (в отпуске!) мастера Гоши противоречит моему утверждению, что деталь «Ф-...» штамповалась на ПКР по указанию администрации. «Есть ли у Вас документальное подтверждение?» — спрашивает Малков. Вообще-то, указания рабочему даются устно. Но у меня сохранился промасленный листок, на котором рукой мастера записано, какие детали штамповать в июле. Над списком указано: «ПКР» (!).

Кутырина: — А где подпись?

Я: — Нету.

— А на объяснительной есть!

— Разумеется.

— Объяснительная — документ, а это — не документ! — Но Вы же не станете утверждать, что второй написан не мастером, а кем-то другим?

Добавляю, что Г. С., вероятно, забыл. А если (вдруг!) отречется от этой записки, то (насмешливо) «можно и экспертизу произвести»...

Начальник тех. бюро цеха Кутырина информирует присутствующих, что на ПКР разрешено пробовать стальные листы толщиной до 2,5, а я пробивал — 3 мм. Перед этим меня спрашивали, знаю ли я правила эксплуатации КО-120. Я ответил, что много чего знаю такого, чего «знать не обязан». (Ведь мне до сих пор не удалось присвоить разряд штамповщика).

Но самое пикантное, что Кутырина (главный технологический обвинитель) за шесть лет не удосужилась заглянуть в правила эксплуатации ПКР. Согласно техническим условиям, на КО-120 можно штамповать стальные заготовки не толще 2 мм (а вовсе не 2,5). Кутырина: — Но как же Вы не обязаны знать, если два года работали наладчиком?

- Наладчиком чего? — невинно спрашиваю я.
- Наладчиком технологического оборудования...
- А Вы никогда не интересовались, что это такое, по тарифно-квалификационному справочнику?
- ?!
- Наладчик т/о — это вовсе не наладчик прессов, — объясняю всем. — Эта специальность относится к электронному оборудованию. То есть оформление меня наладчиком т/о в свое время было липой. (Феномен «подснежника»: например, наш цеховой художник числится слесарем-ремонтником).
- Нервничают члены КТС... Что он с ними делает, этот наладчик-законник!
- Кутырина (с яростью бессилия):
- А Вы знаете, что ваше собственное заявление недействительно?
- Я: — Это почему же?
- У Вас тут в одном месте написано — распоряжение нач. цеха от 31.07, а в другом — от 31.05.
- Ну, 31 мая никакого распоряжения не было. Ясно, о чем речь.
- Никому ошибаться нельзя, только Вам можно!
- Игнорирую эту реплику Кутыриной — не заслуживает ответа.
- Снова Кутырина: — Вы нарушали технологический процесс! Я: — Разумеется. И не только в этом случае. Мы выпускаем годные детали, нарушая негодные техпроцессы. И Вам это прекрасно известно. — Но здесь Вы замешали операции, которые без ПКР более трудоемки и оплачиваются дороже!
- «Так значит... халтура!» — врывается член цехкома, шлифовщик Миша Фетисов, переводя разговор на нормальный рабочий язык.
- Тут Кутырина делает опрометчивое заявление:
- Вы использовали оборудование в корыстных целях!
- Я: — А вот эти слова, пожалуйста, либо повторите, либо возьмите обратно.
- Это — не просто ложь, а ложь оскорбительная, порочащая, т.е. подсудная.
- Сообразила Кутырина — взяла обратно. Но не лучше и Малков:
- Как получать зарплату — так Вы пожалуйста, а как выговор — так не хотите.
- Ну, это ригорика...
- А зам. пред. цехкома, фрезеровщик Иван Овчинников взывает... к моей «человечности»:
- Ну, как бы Вы поступили на месте начальника цеха?
- Отвечаю шутливо:
- Вот когда сяду на его место, тогда и увидите, как я поступлю.
- Заседание проходит не скучно: и для заявителя, и для членов КТС.
- Кутырина и Малков более искушены в трудовых конфликтах. Они — «нападающие». А члены цехкома Иван Овчинников и Миша Фетисов — «полузащитники». Вот только «вратаря» в этой команде нет. (Мне же приходится одному отыгрывать за целую футбольную команду).
- Иван Овчинников: — Но нарушали же Вы техпроцесс!
- Я: — Не больше, чем Вы сами это каждый день делаете.
- !!
- Снова Иван: — Я не знаю КЗоТа, мне некогда его изучать, но по-человечески... (Смысл: как можно спорить с начальником цеха!).

— Знаете что, — говорю, — чего вы меня уговариваете? Я готов отвечать на конкретные вопросы. А решайте уж вы сами. Как вам велят профсоюзный долг, личная совесть и трудовое законодательство...

Да, пора что-то решать... Малков предлагает посоветоваться без меня. Высказываюсь в том смысле, что это что-то новое в профсоюзной демократии.

— В Положении о КТС, — парирует Малков, — не сказано, что надо решать в присутствии заявителя... — Сказано — рассматривать в присутствии, а решение — часть рассмотрения.

Приходится каждому участнику заседания резюмировать свою позицию в моем присутствии.

Малков: — Может, это и против КЗоТа, но по-человечески — я бы оставил решение в силе.

Иван Овчинников: — Я тоже.

Миша Фетисов: — Я тоже, но наказать и того, кто выдавал задание (т.е. мастера).

Дольше всех колебалась Кутырина.

— Нарушение КЗоТа все же есть, — говорит она, обращаясь к Малкову.

Похоже, что она предчувствует последствия. Но все же лучше ошибаться вместе со всеми, чем быть «прозорливее» остальных... Комиссия по трудовым спорам приходит к соглашению (так это называется в КЗоТе): «Распоряжение по цеху от 31.07.85 оставить в силе».

Надо признать, что я отчасти «стимулировал» их к такому решению. Поражение сборной администрации и цехкома было слишком очевидным. Они, конечно, понимали, что действуют против закона. И это, для каждого по-своему, представлялось уже неизбежным. Ведь «по-человечески»... просто невозможно иначе!

Члены комиссии с готовностью подчинились бы указанию сверху.

Но — не давлению снизу. («Моделирующая ситуация!»).

*13 сентября (пятница).*

Еще перед обедом говорю мастеру Ярошу:

— Давайте все же решим, что делать с теми пятью днями. Откладывать дальше некуда. Дарить производству неделю своего отпуска и заработок за целую неделю я не собираюсь. Не хотелось бы доставлять Вам неприятности. Подумайте, как без них обойтись.

Старший мастер (он же — нач. участка) беспомощен:

— Может, Вы удовлетворитесь их оплатой?

Я: — Оплата — в любом случае. Кстати, как Вы это себе представляете? — Можно было бы на месяц повысить Вам коэффициент трудового участия (иначе говоря — дневное производственное задание).

Откровенная лажа, к тому же дурно пахнущая...

Предлагаю Ярошу еще раз переговорить с зам. нач. цеха Малковым. Если удовлетворительного выхода не найдут — буду действовать сам. И тогда уж — не взыщите!

<...> Юридическая консультация на углу Невского и Литейного. Молодую женщину-адвоката мой случай — с не оформленным вызовом из отпуска — затруднил (она назвала его «интересным»). Пригласила подругу. Та рекомендует трудовой спор (вплоть до суда). При этом необходимо подтвердить (с помощью свидетелей) факт не оплаченной работы во время отпуска.

Неужто — опять «спорить»? Ох, хватит мне пока и нынешнего спора! Что же касается казуса Е. Р (Жени), получаю от адвоката уверенно негативный ответ. Мол, все правильно! А в тонкости бригадной организации труда в сочетании с индивидуальными заданиями вникнуть не сумела (или не захотела).

*16 сентября (понедельник).*

Где-то между 10 и 11 час. секретарь начальника цеха сообщает, что «меня ждет юрист». Интересная формула: не «приглашает» и не «вызывает», а ждет (как будто я об этом просил). Предупредив начальника участка Яроша, иду.

*Разговор с заводским юристом (16.09.85).*

Выясняется, что директор завода, получив предписание прокурора насчет нарушения КЗоТа по части сроков рассмотрения трудового спора, поручил заводскому юрисконсульту Никитиной (кажется, заслуженному юристу РСФСР) разобраться в этом споре также и по существу. Произошло это не столь оперативно, как заседание нашей комиссии. Никитина от меня узнает, что еще на той неделе цеховая КТС приняла отрицательное решение. И это для нее неожиданность. Она говорит, что распоряжение Косачева — «не без изъяснов», что директору — «неприятно», а она сама — «в трудном положении».

— Вы ведь, наверное, собираетесь подавать в суд?

— Не знаю. Сначала послушаю, что Вы мне скажете.

Никитина просит показать ей листок с заданием мастера штамповать пресловутые каркасы. У меня с собой его, понятно, нет. Прихожу с этим листком, уже в обед... Она не сразу находит там нужное обозначение детали. Хочет отметить птичкой. Даю ей понять, что с документом так обращаться нельзя.

Никитина: — Да я только точку поставлю!

Я: — И точку ставить я Вам не разрешаю.

— Но это же не документ!

— Для Вас, может быть, и не документ, а у меня другого нет. Никитина говорит, что ей надо побеседовать с начальником цеха и с бригадиром, для чего просит оставить ей этот «не документ». Отказываюсь. Предлагает... дать расписку.

Я: — Зачем мне Ваша расписка?

— Но как же я начальнику цеха покажу?

— Придется показывать при мне. <...>

Вкратце.

Здесь опущены другие подробности беседы с заводским юрисконсультром. Та по телефону приглашает к себе начальника цеха и бригадира. А. С. отказывается от беседы с юристом «в рабочее время». А после работы в этот день он играет в футбол.

...Приходит Косачев. Никитина знакомит его с моим «не документом». На одном краю стола лежит объяснительная записка мастера, на другом — его же «задание». Нач. цеха выражает доверие первой и недоверие второму. Сам мастер Гоша все еще в отпуске. Будучи достаточно напорист, Косачев пытается одержать верх в словесной перепалке, которую обрываю:

— Если Вам хочется со мной поговорить, то можете вызвать меня к себе в кабинет (разумеется, в рабочее время) или подойти к моему рабочему месту...

Во всяком случае, из нашего нелюдского обмена репликами Никитина могла понять, что «нарушение правил эксплуатации» совершалось не только по за-

данию мастера, но и с ведома всей администрации цеха. А распоряжением от 31 июля — просто искали «козла отпущения» и сводили личные счета. <...>

8 сентября (среда).

Сегодня заводской юрист все же «отловила» Толика. Возвратившись от нее, мой бригадир сообщил, что распоряжение, похоже, отменяют.

Я: — Ну, а ты что говорил?

А. С.: — Сказал, что, конечно, распоряжение несправедливое. Да тут не только мастер, сам начальник цеха прекрасно знал... Предыдущие начальники по-малкивали, а этот полез рубить сук, на котором сидит. (Передаю смысл, а не дословное высказывание бригадира).

Я: — Ну, и ладно!

<...> Еще утром по цеху разнесся слух (источник — Коля Ярош), что директор «выгнал с завода» заместителя начальника нашего цеха Малкова. То ли за срыв программы, то ли еще за что... Больше всего эта информация впечатляет Женю Р. Именно Малков срезал ему зарплату вдвое, а теперь скоростастжно уволен. С кем же теперь спорить? Я смеюсь: «Ну ты, Женя, прямо как кролик, потерявший из виду своего удава».

Объясняю, что спорить, если захочет, ему придется не с конкретным лицом, а с администрацией.

Женя до обеда «ломает голову» и, наконец, принимает решение — подавать, вопреки предостережениям юристов, заявление в КТС. Соглашаюсь помочь ему. Составляем заявление вместе, после работы, в садике, у памятника проф. Попову.

*«Заявление в комиссию по трудовым спорам цеха № 3 ЛЗПМ.*

*Распоряжением № 93 и.о. нач. цеха Ю. Малкова от 23.08.85 на меня наложено дисциплинарное взыскание, которое я считаю несправедливым и незаконным. Согласно распоряжению, я, будучи слесарем механосборочных работ, работающим в бригаде 003, переведен на нижеоплачиваемую работу по этой же специальности, с уменьшением дневного задания с 11 до 6 руб. сроком на 3 мес. Прошу КТС отменить распоряжение № 93 по цеху № 3, имея в виду следующие обстоятельства:*

*1) В распоряжении неверно утверждается, что мною допускались неоднократные нарушения трудовой дисциплины. Мною допущено одно нарушение — своевременно не представлен оправдательный медицинский документ за отсутствие на работе 1 и 2 августа (с 3 по 16 августа я находился в больнице). Если бы были другие нарушения, они должны были бы повлечь за собой административные взыскания, каковых у меня не было ни в прошлом, ни в нынешнем году.*

*2) Я являюсь слесарем механосборочных работ 5 разряда. В распоряжении № 93 не указано, на работу слесарем какого разряда я переведен. Фактически же я вот уже скоро месяц после издания распоряжения выполняю всю ту же работу, что и раньше, причем даже мастер не поставлен в известность о том, что задание мне снижено почти вдвое. Фактически моя работа никак не изменилась, а изменилась только зарплата, то есть я получаю не по труду, а по усмотрению администрации.*

*3) Распоряжение о переводе на другую, нижеоплачиваемую работу во всяком случае не может относиться к предшествующему этому распоряжению периоду (до 23 августа). Между тем, за все отработанные мною в*

*августе дни (с 19 по 30.08.85) зарплата начислена мне из расчета 6-рублевого задания.*

*Есть и другие нарушения трудового законодательства в применении ко мне дисциплинарного взыскания.*

*Прошу — распоряжение № 93 по цеху № 3 от 23.08.85 отменить и вернуть мне незаконно удержанную часть зарплаты за август-месяц.*

*Е. Рыжов, 20.09.85».*

— Похоже, что с меня началась в нашем цехе эра трудовых споров, — замечаю шутливо.

Женя: — Ну вот, теперь и я вступил в борьбу, так их растак...

*23-27 сентября (понедельник — пятница).*

Эту неделю, всю целиком, записываю с опозданием. Поэтому затрудняюсь реконструировать последовательность событий внутри отдельных дней и даже принадлежность некоторых событий к определенному дню. Приходится отступить от строго дневниковой формы. Основные тематические или «сюжетные» линии следующие:

Линия 1-я — производственно-трудовая (включая отдельные «технологические приключения»).

Линия 2-я — производственно-профсоюзная, включающая: (а) мой трудовой спор; (б) трудовой спор Е. Р.; (в) отчет и выборы цехкома.

Линия 3-я — производственно-административная (включая историю представления мне пятидневного «отгула»).

<...> У станка уже третью неделю лежат 50 штук «Ф-...». Но это — 2,5 мм стальные листы, которые не только не предусмотрены для штамповки на ПКР технологическим процессом, но и превышают разрешенную для моего станка толщину материала (см. выше).

Штамповать их сейчас, в разгар трудового спора с администрацией насчет «нарушений правил эксплуатации станка», мне нежелательно. В свое время договаривались с бригадиром, что я налажу, а «отбомбит» (отштампует) он сам.

Дважды в течение этой недели я налаживал, но то бригадир был занят, то поджимала другая работа, и приходилось разрушать настройку. Теперь срочно нужно хотя бы 11 деталей из 50.

— Толя, — говорю, — почему бы Косачеву специально не распорядиться насчет этой детали? С учетом особых обстоятельств...

А. С. вполне понимает мой намек. Но у него тоже нет выхода:

— Понимаешь, я завязан с 10-м цехом. Я делаю им, они — мне.

Бригадир выражает готовность лично встать за станок.

Я: — Не надо. Бросится в глаза... Я отштампую сам. (Шутливый стишок Н. Рубцова: «Побежала коза в огород. / Ей навстречу попался народ. / Говорит: ты куда, егоза? / И коза опустила глаза. / А когда разошелся народ, / побежала опять в огород»).

Выдав бригадиру необходимые 11 штук, не снижая темпа, штамую и остальные 39, благо начальства нет. Даже задерживаюсь после смены на полчаса.

А. С. не благодарил, но, вероятно, оценил по достоинству мой «благородный» поступок. <...>

Вкратце

26 сентября 1985 г. состоялось рассмотрение трудового спора Евгения Р. Неожиданно для него самого, да и для его «консультанта», он этот спор выиграл.

...Женя рассказывал подробности о заседании КТС. Начальник цеха Косачев сказал: «Заявление написано грамотно, а администрация ошиблась». Мы сошлись на том, что начальнику, конечно, было нетрудно признать ошибку администрации, благо допустил ее не он сам, а его заместитель Малков (которого, вроде, снимают).

Незаконно высчитанные у Жени из августовской зарплаты деньги (60 руб.) будут возвращены ему двумя порциями. Если учесть, что с отменой малковского распоряжения Женя будет получать свою «нормальную» зарплату также и в последующие два месяца, то этим трудовым спором ему удалось отстоять (выиграть или «спасти»):  $60 + 150 + 150 = 360$  руб. Женя считает, что обязан этим мне. Я сказал, что если и обязан, то не столько моим консультациям, сколько страху, который я нагнал на администрацию своим собственным трудовым спором (судьба которого, кстати, до сих пор не решена). <...>

*8 октября (вторник).*

Первый день на работе после недельного «отгула» (ездил к друзьям в Вильнюс). Бригадир А. С. — в отпуске. За него, как обычно в таких случаях, Женя Р. На ПКР без меня никто не работал.

<...> Женя говорит, что выписка из протокола заседания КТС по его вопросу три дня висела на доске объявлений. Уж лучше бы, мол, не висела, а то все подходят, поздравляют...

Я: — А на руки тебе выписку дали?..

Женя: — Нет. А надо?

— Вообще, обязаны по Положению. Ладно, подожди зарплаты.

Посмотрим, по какой статье проведут...

Вкратце.

Тем временем собственный трудовой спор рабочего-социолога с администрацией получил дальнейшее развитие. Как положено, в случае несогласия одной из спорящих сторон с принятым на КТС решением, этот вопрос обсуждался на цехоме. Рассматривали его дважды. Первый раз, еще в сентябре, цехком оставил решение КТС в силе. Но, как выяснилось, при этом не было... кворума, который, согласно Уставу профсоюзов, должен в таких случаях составлять не менее 2/3.

Ниже приводится описание второго заседания цехкома, кстати, уже в новом составе, после очередных перевыборов.

*Заседание цехкома (8.10.85).*

<...> На этот раз собрались 13 чел. из 17 (т. е. больше 2/3). После того, как зам. пред. цехкома Иван Овчинников зачитал мое заявление, наступила томящая пауза. Никто, похоже, не знал, что дальше делать. Ситуацию разрядил начальник цеха Косачев. Он, неожиданно для всех присутствующих, сообщил, что директор вызывал его по этому вопросу и собирается своим приказом отменить распоряжение о выговоре. Как я к этому отношусь? (Кажется, прозвучало: «Устроит ли Вас это?»).

Я сказал, что директорского приказа не видел. Когда увижу — выскажу свое отношение. Надежды на то, что я тут же «сняму» свое заявление, не оправдались. Тем не менее, члены цехкома вздохнули с облегчением. (Ведь в случае отмены рас-

поражения директором, им вроде не только ничего решать, но даже и обсуждать не понадобится). Решено: отложить вопрос. Срок — не определялся.

*9 октября (среда).*

Мастер Гоша успел созреть для решения проблемы с аварийной «Ф-...». С оскорбленным, после всех наших передраг, видом он вручает нам с бригадиром (Женей Р.) письменное (с датой!) распоряжение: «Изготовить деталь «Ф-...» в колве 50 штук на КО-120. Г. С.». Вот, мол, до чего мы — его довели!

Я беру этот «документ», как нечто совершенно естественное и, отложив все остальное, начинаю налаживать... официально предписанную администрацией, вопреки техпроцессу, по «нелегальному» шаблону, работу на своем станке. («Припрет — ну куда не денутся», — вчера заметил Игорь Виноградов).

Но тут... выкидывает коленце станок. <...>

[Здесь опущено описание аварийной ситуации с работающим без профилактического ремонта оборудованием.]

*10 октября (четверг).*

Зам. нач. цеха Малков в самом деле освобожден от занимаемой должности. На его место директорским приказом назначен (оказывается, еще с 1 октября)... мастер участка Николай Ярош!

<...> Получили расчетные листки. У меня в этом месяце всего 201 руб. (сказались 3 дня за свой счет для поездки в Москву в сентябре). У Жени Р. к сентябрьской зарплате добавлены 22,5 руб., которые администрация «задолжала» ему за август. По какой же «статье»? Эта сумма — под кодом 6 (премия за выполнение личных заданий). Вот так, в августе незаконно «наказали», а в сентябре не менее законно «поощрили».

<...> Зову технолога: «В техпроцессе записана нелепость». <...> [Здесь опущено описание очередной производственной неувязки. — А. А.]. Нина Толстова: — Но Вы же как-то штампуете? — Я штамую по самодельному шаблону. И, пожалуйста, так и напишите в техническом документе, если хотите как-то оформить эту работу.

Нина послушно-обреченно (впрочем, может, и не осознав до конца значимости момента) вычеркивает фиктивную «штамповку по координатным линейкам» и под мою диктовку вписывает: «По самодельному шаблону. Н. Толстова.». Такое — впервые за пять лет! <...>

*11 октября (пятница).*

В первой половине дня состоялся необычный вызов всей нашей бригады (в полном составе) к начальнику цеха. «Что-то новенькое!..» (Сергей Р.). Явились в кабинет. Расселись.

Оказывается, поводом послужил двухдневный прогул Сергея, на прошлой неделе. Тот попросил начальство не выносить ему взыскание и договорился с мастером Гошей, что вечерами отработает. Дело обычное... Уже два вечера и отработал. Еще раз в субботу выйги — и были бы «в расчете». Но тут Косачев вмешался, говорит, что не имеет права «прощать».

Вообще, в вашей бригаде за последние два месяца — уже третий случай, говорит начальник цеха: Сергей И., Сергей Р. и... сам и. о. бригадира Евгений Р., который-де «ускользнул от наказания»... Все это имело характер общей воспита-

тельной беседы: мол, за прогул одного члена бригады не только он сам, а и вся бригада должна отработать (понимай так — работать сверхурочно, когда понадобится). Понадобилось — уже в эту субботу! Так мы все и поняли намек. Уважения к Косачеву этот его демарш не прибавил.

Я говорю Жене:

— Видишь, двух недель не прошло, а уже выигранный тобой трудовой спор истолковывается как — ускользнул от наказания. Возьми-ка ты выписку из протокола КТС, от греха...

Женя согласен, что надо взять.

(Как выяснилось к концу дня, в субботу выйдут только три-четыре человека из нашей бригады). <...>

*14-18 октября (понедельник — пятница).*

<...> Вторую половину этой недели загрузка моего станка была неустойчивой. В среднем полмены я работал на ПКР, полмены — слесарем. Слесарил разнообразно: снимал грады, сверлил по кондуктору, зенковал, нарезал резьбу... Эти заурядные слесарные операции для меня менее рутинны, чем ПКР, и были мне в охотку.

Кажется, в эти дни сложился стереотип: когда работы на станке нет, беру листовые детали и снимаю шабером грады с мною же прорубленных пазов и отверстий (все равно кому-то придется это делать). Причем шабрю за своим же координатным столом, т. е. в рабочей позе управления станком.

Это позволяет не дергать лишний раз бригадира. Он видит, что я — при деле. Возникнет более срочная работа — сам подойдет.

<...> После окончания рабочего дня 16 октября (среда) по дороге в раздевалку обнаруживаю на доске распоряжений приказ директора завода:

«Распоряжение № 86 от июля 1985 г. начальника цеха № 3 Косачева А.А. о наложении дисциплинарного взыскания и депремировании слесаря м/с работ Алексеева А.Н. — отменить как наложенное с нарушением трудового законодательства».

Ну, что ж! Силы директорского приказа достаточно, чтобы отменить распоряжение начальника цеха, но... не мое заявление. В принципе, было бы логично настоять, чтобы цехком собрался в третий раз и «принял к сведению» приказ директора. Однако с моей стороны это был бы, пожалуй, уже «перебор»... И все же, мое заявление никто кроме меня отменить не может. Что я и сделал день спустя:

«В связи с изданием приказа директора завода № 425 от 15.10.85, считаю свой трудовой спор с администрацией цеха № 3 исчерпанным. Свою просьбу о его рассмотрении, выраженную в заявлении в профком завода от 25.09.85, снимаю». (Отнес в завком).

...Наутро (17 октября) я был горячо поздравлен Женей Рыжовым. Всеми остальными это событие было замечено, но «отмечать» не стали. Директорский приказ провисел недолго. Но для оповещения цехового коллектива — достаточно.

\* \* \*

<...> Так благополучно разрешились к середине октября все сюжетные линии моих августовско-сентябрьских записей. Кроме одной: борьба за «порядок» на производстве. Но надо же — и тут прозвучало что-то вроде заключительного аккорда... Начальник ОТК цеха Николай Лукашевич, который в последнее время все

чаще лично сталкивается с проблемами моего ПКР (особенно в тех аспектах, которые приводят или могут привести к браку), вдруг 15 октября предложил мне составить обзор всех этих «заморочек» для передачи им (Николаем) лично начальнику ОТК завода. Я выразил полную готовность. И два вечера подряд, вместо этого дневника, составлял обзор.

На тигульном листе школьной тетрадки вывел: «Так мы работаем (август-октябрь 1985 г.)». Жанр этого документа был обозначен мной, как «рабочая записка».

Отдал Николаю — 18 октября (пятница, последний день ведения настоящей «хроники»).

... Таким вот оригинальным способом результаты моих социально-производственных наблюдений и действий были «внедрены» в управленческую практику.

*(Записано в августе-октябре 1985 г.)*



# Ян Пробштейн

## «Я ВЕРНУСЬ МОЛОДЫМ ЧУДОДЕЕМ...»

### Об Аркадии Акимовиче Штейнберге\*

«До Гутенберга поэзия тоже, между прочим, существовала», — любил говорить Аркадий Акимович Штейнберг. Особенно часто он говорил это после того, как в 1969 г. разорвал договор на книгу, а заодно и отношения с издательством Советский писатель. Камнем преткновения стала поэма «К верховьям» — почти тысяча строк, в которых не просто автобиография, но “дышит почва и судьба”, — эти стихи Пастернака удивительно точно характеризуют и эту поэму, и все творчество Штейнберга. Редактор, некто В. Семакин, когда-то широко известный в узких совписовских кругах поэт, автор почти двух десятков поэтических сборников, от которых даже в советской литературе не осталось следа, настаивал на том, чтобы выбросить из книги поэму.

Пережитого же было столько, что автор наделил автобиографическими чертами нескольких персонажей поэмы. Однако Аркадий Акимович был абсолютно уверен в том, что поступил правильно: “Когда поэт хочет печататься, он неизбежно пишет хуже, ибо хотя и поневоле занимается самоцензурой. Только такой большой и опытный мастер, как Семён Израилевич [Липкин] смог этого избежать, но пока он выпустил книгу “Очевидец”, редактор довела его до микроинфаркта. Чтобы меня кто-нибудь довёл до инфаркта! Я сказал, что без поэмы книжки не будет, и пошли они все в задницу! Зато я умел говорить то, что я думаю, устами Мильтона и Ван Вэя, а там Главлит проверяет только вступительную статью и состав. Высшее в поэзии — не для поэта, а для читателя — это попасть в антологию, в хрестоматию: это вечное, отобранное самим народом и временем. Если бы меня спросили, чего бы мне хотелось — попасть в хрестоматию или издать полное собрание стихов, я бы выбрал, бесспорно, первое”.

Аркадий Акимович Штейнберг, Акимыч, как называли его близкие, прожил удивительно богатую жизнь. Необычным в его жизни было все и даже само появление на свет. Родился он в 1907 году на корабле неподалеку от Константинополя. Отец его был корабельным врачом, а корабль был приписан к Одессе. Поэтому условным местом рождения Штейнберга считается Одесса. В начале 20-х годов его семья переехала в Москву, где Аркадий начал учиться живописи: сначала в студии К. Юона, а затем во ВХУТЕМАСе — у Д. Штеренберга и В. Таубера.

Он не только замечательно владел техникой — от карандаша до темперы и масла, но и умел, подобно мастерам Возрождения и Средневековья, изготавливать краски и холсты, знал всю технологию и магию живописи. Поэт и переводчик Семен Липкин, которого со Штейнбергом связывала более чем полувекковая дружба, вспоминал, что когда в конце двадцатых годов Штейнберг страдал от безденежья, он

---

\* 7 августа — 30 лет со дня смерти Аркадия Акимовича Штейнберга, выдающегося русского поэта и переводчика (11.12.1907 - 07.08.1984).

изготовил копии нескольких картин голландских мастеров XVII века и продал их как копии, но копии старые, созданные чуть ли не в ту же эпоху, что и подлинники. Покупатели верили — настолько искусной была работа. “Эти копии, — пишет Липкин, были не только возможностью получить мелкий заработок, но и выражением озорства его богатой южной природы. Другим выражением озорства были абсурдистские стихи, отчасти навеянные только что вышедшими «Столбцами» Заболоцкого. Штейнберг придумал и устно разработал биографию автора этих забавных стихов — караима Симхи Баклажана. Хорошо бы найти эти остроумные сочинения, да, видно, они пропали во время двух арестов” (Липкин, в Штейнберге, 361-2) <sup>[1]</sup>.

К концу двадцатых годов живописи пришлось отойти на задний план под напором поэзии, в которую он ворвался, едва ли не затмевая своих друзей и единомышленников — Арсения Тарковского, Семена Липкина, Марию Петровых, — «Квадригу», как они себя называли, как о том пишет сам Липкин. Когда в «Литературной газете» от 24 марта 1930 года было опубликовано стихотворение Штейнберга «Волчья облава», Маяковский, как вспоминал Липкин, хвалил и все стихотворение и особенно метафору «И курки осторожно на цыпочки встали». «Если поразмыслим над тем, — добавляет Липкин, — что интервью было взято у Маяковского за несколько дней до самоубийства, то похвала приобретает особое значение. Вероятно, был знаком с этим стихотворением и Осип Мандельштам: “век-волкодав” из более позднего его стихотворения очень ясно указывает на “Волчью облаву” многими приметами, вплоть до ригма» (Липкин, в Шейнберге, 361).

Этому поколению поэтов суждено было на долгие годы «уйти» в перевод, а Штейнберг уже в 1937 году в первый и, увы, не в последний раз оказался в краю необетованном. А между двумя сроками, проведенными в лагерях, была война:

*Скитания без цели, без конца,  
Страдания без смысла, без вины,  
И душный запах крови и свинца,  
Саднивший горло на полях войны.*

Однако сам он не считал вычеркнутыми из жизни десять лет лагерей в Приамурье, Ухте, Потьме. Любил цитировать стихи Камюэнса в переводе Жуковского: “Страданием душа поэта зреет”. Поэт Вадим Перельмутервспоминает, как Штейнберг говорил, что “в лагерях погибали те, кто относился к своему сроку как к чудовищной несправедливости, к годам, вычеркнутым из жизни, а не к самой жизни, к одному из ее проявлений, пусть крайнему, психологически тяжелейшему, но неукоснительно следующему неким закономерностям, общим для всего живого”. Поэтому не случаен эпиграф к поэме, точнее — к «Заметкам в стихах», как указал в подзаголовке автор: “...движение реки — пена сверху и глубокие течения внизу.

Но и пена есть выражение сущности”. Написанная в намеренно реалистичной манере, изобилующая «смачными» словами, умело вкрапленными диалектизмами, профессиональной лексикой, которую Штейнберг знал как немногие и со вкусом употреблял, поэма эта неожиданно, подобно течению самой реки, выводит на философские обобщения, высказанные как бы вскользь: «Одна единственная плата/ За жизнь — всегда она сама».

“Первый раз меня посадили, наверное, за то, что и вел себя, и одевался не так, как все, любил острое слово вставить, анекдот рассказать, а второй...”, — Штейнберг глубоко задумался. Навьюченные рюкзаками, мы с ним едем в пригородном поезде по Савеловской дороге на его дачу в Юминское, где через несколько лет после этого он и умер в одночасье от разрыва сердца — нес на плече мотор от

лодки, не успел принять нитроглицерин. Первый раз он просидел недолго — один год. Отец его был членом партии с 1920 года, но, хлопотала о его освобождении мать, Зинаида Моисеевна. Как вспоминает Семен Израилевич Липкин, дядя, брат матери, был давно и довольно близко знаком с Ворошиловым. По словам Штейнберга, когда Вышинский затребовал его дело, там оказался один листок: фамилия, отчество, год рождения и все. "Я отказался разговаривать со следователем, — объяснил Акимыч. — Меня несколько дней лупили, а я молчал. Потом прочитали приговор и отправили в лагерь". Штейнберг провел в лагере на Дальнем Востоке ровно год, потом его выпустили так же внезапно, как и посадили.

Вскоре началась война. Так как Аркадий Акимович в совершенстве владел немецким и румынским, во время войны он служил в так называемом 7 отделе, целью которого была агитация и пропаганда в войсках противника. "Я писал листовки и стихи по-немецки, получалось неплохо: сдававшиеся в плен немцы не верили, что автор стихов — не немец и никогда не служил в гитлеровской армии". Потом Штейнберга перебросили на румынский фронт, там он тоже занимался пропагандой, но его обвинили в шпионаже в пользу Румынии, и было это в самом конце войны. День Победы он встречал во львовской пересылке.

Однако сам он не считал вычеркнутыми из жизни десять лет лагерей в Приамурье, Ухте, Потьме. "Да, мне пришлось отсидеть в общей сложности 10 лет. Если бы не это, "Потерянный рай" я бы не перевёл или перевёл бы не так. Многие погибли в лагерях, но многие и сумели выжить, а главное, сохранить свою душу. Встречались и проявления редкой чистоты человеческих отношений и благородства. Даже среди оперов встречались порядочные люди, которые понимали и помогали чем могли. Вот почему Солженицын не прав, показав в «Гулаге» только одну сторону явления".

Жадная тяга к жизни и открытость новизне сочетались в Штейнберге с острым умом и философским осмыслением происходящего. Таким он был и в жизни, и в поэзии. Художником. Поэтом. Мыслителем. Личностью. Бойцом: в тот день, когда из Москвы в Ленинград увозили тело Ахматовой, его глубокий и чуть хрипловатый бас сотрясал стены ЦДЛ стихами из «Реквиема», за это Штейнберг был лишен должности председателя секции художественного перевода. Первый литературный вечер Иосифа Бродского в Москве также организовал Штейнберг. В 1961 году во многом благодаря усилиям Аркадия Штейнберга был издан альманах "Тарусские странички", последние оттепели, предтеча «Метрополя», в котором под псевдонимом Надежда Яковлева, были опубликованы эссе Н.Я. Мандельштам.

В "Тарусских страничках" была напечатана большая подборка стихов самого Штейнберга — впервые после почти тридцатилетнего "молчания". Поэзия Штейнберга "жива содержательностью", — как писал С. Липкин. Объясняя, почему стихи Штейнберга не были также популярны, как стихи некоторых более молодых и бойких его собратьев по перу, Липкин пишет: "Содержательность — дух, а содержание — одна из телесных оболочек. Кто видел дух без тела? Меж тем, как тело, даже лишнее духа, доступно всеобщему обозрению. Содержательность является нам, одетая в то тело, которое ей потребно.

Она может являться нам в любом облике, а мы легко принимаем облик за содержательность. Короче. Хотите отличить истинное искусство от ложного? Вникайте в содержательность (не в содержание) — и вы познаете дух в соответствующей ему плоти. Можно подражать телу, облику, оболочке, но невозможно подражать содержательности, ибо кто видел, чтобы подражали духу?" (Липкин, в

Штейнберге 365). Эта мудрая формула, является необходимым философским дополнением к закону содержательности формы, открытому еще формалистами.

После войны никогда не выезжавший из страны (еще бы — с двумя-то сроками), живя то в Москве, то в деревне, Штейнберг сумел охватить огромные пространства, вобрать в себя эпохи, а главное — всю мировую культуру — от китайских поэтов VIII века Ли Бо и Ван Вэя до средневековых миннезингеров, музыку от Баха до Шнитке, а о живописи, которую он знал так, что завидовали историки искусства, говорить и вовсе не приходится.

Если ранние стихи Штейнберга поражают искрометностью, необузданностью образов, созвучий и рифм, то в стихах, написанных в лагере, метафорическая густота, насыщенность и экспрессия помогают постичь, осмыслить и преодолеть страдания человека и трагизм бытия:

*Снежный саван сходит лоскутами,  
За неделю побурев едва.  
На пригорках и буграх местами  
Показалась прелея трава.*

*И земля, покорствуя сурово,  
И страшна, как Лазарь, и смешна,  
В рубище истлевшего покрыва  
Восстает от гробового сна.*

*Будто выходцы из преисподней,  
Отчужденно жмутся по углам  
Перестарки жизни прошлогодней,  
Разноперый, безымянный хлам.*

*Ржавые железки да жестянки,  
Шорный мусор и стекольный бой,  
Цветников злоевщие останки  
За щербатой, дряхлой городьбой.*

*В грозном блеске правды беспощадной,  
Льющейся с лазурной вышины,  
Некуда им спрятаться от жадной,  
Молодой весны,*

*Им деваться некуда от света,  
Не уйти от властного тепла,  
Горе тем, которых сила эта  
Из могилы властно подняла,*

*Горе тем, кто маяте весенней  
Предал сердце, сжатое в комок,  
Муку неминуемых воскресений  
Одинок выплакать не мог.*

*И рывком одолевая стужу,  
Раскатясь, как снеговой ручей,  
Призрак страсти излевал наружу  
Горстку опозоренных мощей.  
(Апрель 1948, лагерь Ветлюсян)*

Несмотря на неумную жажду жизни, воскресение в этом необетованном призрачном краю видится поэту неизбежной пыткой, которую трудно отличить от смерти. Миф о библейском Лазаре обрел современное — и страшное звучание. Страшна земля, подобная Лазарю, еще страшнее человеческое сердце, пробужденное к любви в краю безлюбья, где, казалось бы, убиты все чувства. Экспрессионизм Штейнберга, выражающийся в гиперболизации, в употреблении катахрез, то есть метафор, доведенных до предела («Призрак страсти изблевал наружу/ Горстку опозоренных мощей»), оксюморонов («мука неминучих воскресений», «горка опозоренных мощей») в обрамлении пейзажа, написанного в реалистической, даже натуралистической манере, производит эффект, который не исчерпывается такими понятиями, как «эстетическое наслаждение» или даже «катарсис»: читая эти стихи, человек обретает мужество и силы жить.

Аркадий Акимыч вышел из лагеря не как реабилитированный, а по амнистии. Опытный зек, он не стал далеко отлучаться из лагеря, зная, что все равно посадят. День смерти Сталина Акимыч встретил в глухой тайге. Только после этого он вернулся в Москву.

Штейнбергу пришлось на долгие годы «уйти» в перевод, к которому его вместе с друзьями — Арсением Тарковским, Семеном Липкиным и Марией Петровых еще до войны приобщил их старший друг Георгий Шенгели. Штейнберг стал не только одним из крупнейших и самобытнейших мастеров поэтического перевода — вышедшие из-под его пера переводы или, как он их иногда называл, переложения становились явлением русской поэзии.

Необычайно широк был кругозор и круг интересов Аркадия Акимыча: он переводил немецкого миннезингера XII века Вальтера фон дер Фогельвейде и поэтов XX века Стефана Георге и Готфрида Бенна, с польского — Юлиана Тувима и К. Галчинского, Георге Топырчану — с румынского, удивительно акварельного Ван Вэя — с китайского, а с английского — романтиков Вордсворта и Саути, поэта XIX века Киплинга, современного поэта Дилана Томаса, а главный труд всей его жизни — эпическая поэма «Потерянный рай» английского поэта XVII века Джона Мильтона, которая считается одной из вершин мировой поэзии наряду с «Божественной Комедией» Данте, выдержала множество переизданий.

Однажды Аркадий Акимыч показал мне ксерокопированное и переплетенное издание «Потерянного рая». С этой книгой к нему подошел молодой человек и попросил автограф. Человек оказался баптистом, а перевод «Потерянного рая» стал у баптистов настольной книгой. Так как первый стотысячный тираж к тому времени полностью разошелся и стал библиографической редкостью, баптисты наладили производство ксерокопий. Акимыч подписал один из авторских экземпляров, а ксерокопию бережно хранил и с гордостью показывал ее гостям.

Если поэзия Штейнберга — сплав высокого осмысления действительности и мужественного реализма, иногда граничащего с натурализмом, но никогда не переходящего за рамки вкуса, то его живопись и графика подчеркивают необычность мира. Когда я как-то заметил, что его картины с одной стороны сюрреалистичны, а с другой — напоминают мне Босха, он сказал: «Я говорю то же самое и в поэзии, и в переводе, и в живописи — просто другими средствами. Одно является продолжением другого. Я переводил Мильтона и писал картины, а потом вдруг пошли стихи и пришлось все отложить в сторону». Вчитавшись в его стихи, я понял, что «реалист» Штейнберг, не просто запечатлевает реальность в ярких, незабываемых картинах: и «воскресение», страшное своей обнаженной правдой, и «Вечное, Всевидящее Око»,

которое смотрит сквозь волчок тюремной камеры — забываемые образы, перерастающие реальность. Так в стихотворении Штейнберга «Короеды», начинающемся повествовательно и как бы реалистично, вся история человечества и вселенной предстает «остранненной»: ее запечатлевает на древесной коре «шестиногий Нестор неизвестный, /Скромный жесткокрылый Геродот»:

*Цель событий, в связи их причинной,  
Вплоть до наименьшего звена,  
На скрижалях Библии жучиной  
Всеохватно запечатлена.*

*В этих рунах ключ к последним тайнам,  
Истолковано добро и зло.  
То, что людям кажется случайным,  
В них закономерность обрело.*

*Сущность бытия, непостоянство  
Мирозданья, круг явлений весь,  
Вещество и время и пространство  
Формулами выражено здесь.*

*Наше суесловье, всякий промах  
Утлой мысли, тщетность наших дел  
В хартии дотошных насекомых  
Внесены в особенный раздел.*

*Нами нерешенные задачи,  
Вера, не воскреснувшая впредь,  
Истины, которые незрячий  
Разум наш пытается прозреть,*

*Перечень грядущих судеб наших,  
Приговоры Страшного Суда,  
Судьбы звезд — горящих и погасших —  
Внесены заранее сюда.*

*В книге, создаваемой во мраке,  
Скрыта не одна благая весть,  
Но ее загадочные знаки,  
К сожаленью, некому прочесть.*

*Нет у нас охоты и сноровки, —  
За семью печатями она,  
И не поддаются расшифровке  
Эти нелюдские письмена. (1969)*

На первый взгляд, стихотворение лишено какой бы то ни было патетики. Возвышенные слова и абстрактные понятия намеренно помещены в сугубо реалистический контекст: «На скрижалях Библии жучиной», «сущность бытия, непостоянство/ Мирозданья, круг явлений весь, / Вещество и время и пространство // Формулами выражено здесь». Мысли о бытии, как о непрочитанной книге, об ограниченности и лености нашего разума, для которого и природа, и мироздание, и судьбы звезд, и его собственное бытие остается за семью печатями, запечатлены с убедительной достоверностью.

Более того, это стихотворение — попытка заглянуть по ту сторону бытия, попытаться представить «круг явлений весь». И хотя в стихотворении нет ни слова о Боге, осмелюсь утверждать, что идея Творца сквозит между строк, подобно письменам «шестиногий Несторов», о которых повествуется в нем. То, что это стихотворение было написано во время работы над «Потерянным раем» Джона Мильтона, — лишнее тому подтверждение. Так реалист, жизнелюб и современник до мозга костей оказывается метафизическим поэтом.

К слову сказать, сам Штейнберг с не меньшей любовью относился к природе, нежели к человеку, а к ремеслу с не меньшим почтением, чем к интеллектуальной деятельности. Природа щедро наделила его и статью, и силой, и талантами, и он всё вернул жизни сполна.

До последнего дня был полон энергии и необычайной жизненной силы: лодка, парусник, моторка, починка снастей, поездки по воде к знакомым художникам, к другу и ученику поэту Володе Тихомирову, жившему в нескольких километрах, в магазин, за парным молоком — в деревне столько дел: походы за грибами или за черникой по лесу, набрякшему дождевой росой, в котором он знал все закоулки, имя каждой травинки, название каждого дерева и требовал того же от других — коль ты поэт... «А почему у вас, Ян, в элегии, посвященной мне, строчки: “С тенью, / тонувшей в потемневшем отраженьи, / прощался на ночь одинокий вяз, / в чернеющее зеркало глядясь”? Вязы в наших краях не растут».

Он мог своими руками построить дом, разбирался в моторах, инструментах, обожал лодки, которых, если не ошибаюсь, у него было три, и еще в тысяче вещей, о которых мы все имели самое смутное представление. При этом Акимыч мог тут же, в деревне, прочесть лекцию о Малых голландцах, рассказать, как в эпоху средневековья изготавливали холсты и вручную перетирали краски, обсудить последние политические события. Штейнберг обладал энциклопедическими знаниями. Никогда не суетящийся и даже производивший впечатление ленивого человека, он удивительно много успевал сделать и ни на минуту не останавливался в стремлении узнать и научиться тому, чего не знал и не умел. Вся жизнь и все творчество Штейнберга в буквальном смысле подтверждают мысль Хайдеггера о том, что “экзистенция мысляще обитает в доме бытия”, а язык воистину был его домом:

*Он построен трудом человеческим,  
Укреплен человеческим трудом,  
А теперь отплатить ему нечем —  
Опустел, обезлюдел мой дом.  
<...>*

*Не кручинься, товарищ сосновый, —  
Станешь краше дворцов и хором,  
Я приду к тебе с доброй основой,  
С наворотным мой топором.*

*Все устрою не хуже, чем было,  
Печь налажу поправлю трубу,  
Верей подыму и стропила,  
Грязь и плесень со стен отскребу.*

*Я вернусь молодым чудодеем,  
Не сегодня, так завтрашним днем.*

*Пусть однажды мы дело затеем –  
Десять раз, если надо, начнем,  
Десять раз, если надо, разрушим,  
Чтоб воздвигнуть, как следует, вновь,  
Дом невиданный с гребнем петушьим  
И людскую простую любовь.*

Штейнберг во всем стремился быть первым — в рыбной ловле, в умении что-то сработать своими руками, в умении править лодкой, разбираться в автомобилях — во всём он боролся за первенство с не меньшим азартом, чем в поэзии. Было в этом неуёмное мальчишество, нестареющее детство в сочетании с мужественной, умудренной жизнерадостностью. Эта жизнерадостность и тяга к жизни не покидала его даже в больнице. Кажется, в июне 1982 г. я навещал его в больнице МПС — в тот день у него одновременно были А. Кистяковский и Е. Рейн. Была прекрасная погода, и мы все перекочевали в беседку во дворе. Аркадий Акимович живо интересовался новостями, не только литературными. Если бы не больничная пижама, могло бы показаться, что мы в Юминском.

Гостей в доме Аркадия Акимыча всегда было много. Дом Штейнберга был одной из отдушин в так называемую застойную эпоху. Здесь бывали о. Александр Мень и Семен Израилевич Липкин, В.В. Левик и Э.Г. Ананишвили, Андрей Кистяковский и Евгений Рейн. Слушали музыку и обсуждали новинки литературы, читали стихи и вели споры. Дом был полон книг, редчайших, на многих языках. А на стенах висели картины хозяина. Штейнберг был душой и средоточьем любой компании. Это получалось у него легко и естественно, без малейшей рисовки, усилия, желания доминировать. «Его нельзя было не любить», — заметил Семен Израилевич Липкин. «В Аркадии видна крупная личность во всем, даже в том, как он ставит подпись», — сказал мне как-то Элизбар Георгиевич Ананишвили.

Таким же он был и на семинарах молодых переводчиков и поэтов при Союзе писателей, которым Штейнберг, как и многие его собратья по перу, бескорыстно руководили на протяжении многих лет (Левик и Штейнберг — до самой смерти).

Идея была вполне советская — нечто вроде кузницы кадров и курсов повышения мастерства, но люди, еще заставшие в живых Андрея Белого, знавшие Мандельштама, Цветаеву, Пастернака, Ахматову, были для нас связующим звеном поколений, хранителями ценностей культуры. «Однажды в Гослитиздате я присутствовал при разговоре Андрея Белого и Бориса Пастернака.

Для того, чтобы их понять, нужно было знать с полдюжины европейских языков, философию, литературу, живопись, музыку, и еще много чего», — вспоминал Акимыч после одного из таких семинаров и добавил что теперь раскаивается, что как-то надерзил Пастернаку. Когда Штейнберга представили Пастернаку, тот заметил: «А, знаю, вы — известный переводчик с молдавского и румынского». «Не всем же партия и правительство поручают переводить Шекспира, сказал я ему в ответ, но теперь жалею: не стоило мне дерзить Борису Леонидовичу». В другой раз Акимыч вспоминал, как до войны у кассы Гослитиздата он видел Цветаеву: «Касириша куда-то уехала. Все маялится в ожидании денег.

Кто-то сказал: “Вот стоит Цветаева”. Я увидел женщину, одетую как попало, в перекрученных чулках, в нечищенных стопганных туфельках. Она стояла как-то сторбившись, опустив голову, но вдруг, в одно мгновение, она вся переме-

нилась: высоко подняла голову, выпрямилась и величественно пошла с улыбкой и сиянием на лице к кому-то в дальнем конце коридора. Там стоял Арсик Тарковский, еще на двух ногах. Как она шла! Какой величественной и вместе с тем легкой походкой. Только еще один раз я видел нечто подобное: уже после войны я смотрел в Большом “Жизель”, и там Уланова через всю сцену на пуантах шла к своему возлюбленному — так же легко и величественно”.

От воспоминаний и анекдотов Штейнберг как бы естественно и без усилий переходил к чтению и обсуждению стихов, но выражение глаз его менялось — он становился не просто внимательным, а зорким, как на охоте. На семинарах был демократичен, но беспощаден — промахов не прощал. “Когда я слушаю или читаю стихи, стремлюсь понять три вещи: кем написаны, как написаны и для чего написаны», — говаривал Акимыч. И еще: «Поэзия — не гандикап, не скачки. Хитрость не в том, чтобы сегодня прийти первым, но чтобы, как писал Мандельштам, “сохранить дистанцию свою”».

Высшее в поэзии для меня — это умение в строго железную форму вложить максимум поэтического содержания, так, чтобы пытаясь перевести стихотворение или поэму на язык прозы, вы увидели, что получается намного длиннее, скучнее и поняли, что это невозможно. Можно ли пересказать в прозе «Графа Нулина»? А язык — чистый и живой, не искусственно-поэтический, не перенасыщенный символической символикой».

И тем не менее, Штейнберг стремился понять поэтов, пишущих даже в чуждой для него манере. Таким для него был поначалу Т.С. Элиот, стихи и поэмы которого я переводил в то время. Помнится, что поначалу мы с ним страшно спорили из-за Элиота. Аркадию Акимовичу американский поэт казался искусственным, герметичным. Мне же казалось, что у Штейнберга было предубеждение против Элиота еще и из-за того, что тот в свое время написал весьма критическую статью о поэзии Мильтона, а кроме того, Акимыч был знаком с творчеством Элиота в основном по переводам.

Я нашел более позднюю статью Элиота о Мильтоне «Джон Милтон-II», в которой современный поэт и критик более объективно оценивал творчество любимца Акимыча. Кроме того, я принес оригиналы стихов Элиота, в том числе и мене известных, как например, цикл «Пейзажи», читал ему вслух и делал подстрочные переводы, а потом уж осмеливался читать свои переложения. В итоге Акимыч сделал такую надпись на книге переводов румынского поэта Топырчану: «Яну, доказавшему мне, что Элиот действительно великий поэт».

В этой тяге к новизне и стремлении понять другого, даже не близкого ему поэта, на мой взгляд, заключалась разница между такими мастерами, как Штейнберг и Левик. Если Вильгельм Вениаминович специализировался на поэзии XVI века и переводил стихи от Петрарки до XIX века, а из XX — только самое начало, да и то немного, а современную поэзию, как он сам признавался, не понимал и, соответственно, не принимал, то Штейнберг готов был понять и, если это талантливо, принять и модернизм, и постмодернизм, и нео-авангард.

От Штейнберга, Левика, Ананишвили я усвоил, что искусство переводчика сродни актерскому, а слово как таковое непереводаемо — перевести можно только суть, образ, дух, заключенный в языке, воссоздавая это движение по «болевым точкам», как говорила Марина Цветаева. И было это задолго до того, как мне довелось прочесть это у замечательного литературоведа Джорджа Стайнера, а может быть и до того, как тот об этом написал в книге «Вавилонская башня».

“Я не могу научить писать и переводить стихи, но у меня можно многому научиться”, — говаривал Акимыч. Главное, чему научился у него я — даже не ремеслу, не умению, скажем, рифмовать, а отношению к слову, к языку — поиску того единственного слова, после которого все становится на место. И еще умению сочетать конкретное и абстрактное, возвышенное и низменное.

Приходили на семинары и наши старшие товарищи, “старшие ученики Акимыча», к тому времени самостоятельно работавшие в лигатуре — Евгений Витковский, Володя Тихомиров. Занимались мы, как правило, в ЦДЛ, вернее, в Московском отделении СП, в так называемой комнате за сценой, которая находилась над рестораном — «по вечерам над ресторанами», — шутили мы.

Если на Воровского или на Герцена были “специмероприятия”, собирались на квартире у Штейнберга или в одной из мастерских на Маяковке, где автор этих строк в те годы вел культмассовую работу при Фрунзенском исполкоме. Туда же заходили поэты, официально не участвовавшие в семинаре — Саша Сопровский, Сергей Гандлевский. Однажды они привели с собой скульптора, который писал талантливые и необычные стихи. Скульптор прочел понравившиеся всем стихи о «мильцанере». Это был Д.А. Пригов. Сам Акимыч охотно участвовал в “круглых столах” и чтениях по кругу. Именно тогда я впервые услышал неопубликованные тогда стихи Штейнберга о Львовской пересылке и страшное в своей обнаженности и беспощадности “Снежный саван сходит доскутами...”, которые сразу же обожгли меня своей суровой мощью и высотой духа. Что с того, что они были напечатаны только после смерти автора — “до Гутенберга поэзии тоже, между прочим, существовала”.

Жизнь была созиданием, творчеством для Аркадия Штейнберга. Из жизни он творил поэзию, а из поэзии — жизнь. Более того, поэт бесстрашно исследует и пределы бытия, озирая пройденный путь, как в стихотворении «Вторая дорога», он всматривается и в собственную смерть:

*Полжизни провел, как беглец я, в дороге,  
А скоро ведь надо явиться с повинной.*

Переключка с Данте задана, но в отличие великого флорентийца, русский поэт проскитался первую половину жизни, которая для иного могла стать «сумрачным лесом», но для Штейнберга стала не только школой выживания, но и познания. С перелутья смотрит он на Вторую дорогу, за грань жизни:

*Лишь мне одному предназначена эта,  
Запретная для посторонних дорога.  
Бетонными плитами плотно одета,  
Она поднимается в гору полого.  
Да только не могут истлевшие ноги  
Шагать, как бывало, по прежней дороге.  
Мне сделать за вечность не более шагу, —  
Шагну, спотыкнусь и навечно прилягу.*

Спокойно, без страха Штейнберг вглядывается в смерть, в ничто, в вечность, придавая своему виденью реалистические черты. По свидетельству Е. Витковского, в это время Штейнберг буквально «заболел» картиной голландского художника XVII в. Мейндерта Гоббемы «Дорога в Мидделхарнниссе». “Невероятна эта картина, — пишет Витковский, впоследствии избравший ее художественным символом электронной антологии “Век Перевода”, — где ряд жирафных, лишь по вершинам покрытых ветвями стволов длится справа и слева от дороги, увядящей

зрителя куда-то вглубь, за поворот. Слева за рощей виднеется шпиль церкви, — и что там, за поворотом?

— Там трактир, — уверенно отвечал Акимыч, — там меня ждут. Там пиво уже на столе ...” (Витковский, в Штейнберге 434). [2]

Однако в стихотворении Штейнберг остался верен реалистической, если можно так выразиться в данной ситуации, манере письма. Вспоминая, как много лет назад в Ашхабаде ему пришлось «просить на обратный билет Христа ради», унижаться, «задыхаясь от срама и горя, / Как Иов на гноище с Господом споря», он говорит, что тогда-то ему и «открылась в видении сонном... / Дорога до Бога, до Божьего Рая, / Дорога без срока, / Дорога вторая».

### Аркадий Штейнберг

\* \* \*

Кроме женщин есть еще на свете поезда,  
Кроме денег есть еще на свете соловьи.  
Хорошо бы укатить неведомо куда,  
Не оставив за собой ни друга, ни семьи.  
Хорошо бы укатить неведомо куда,  
Без оглядки, без причины, просто ни про что,  
Не оставив ни следа, уехать навсегда,  
Подстелить под голову потертое пальто,  
С верхней полки озирая чужие города  
Сквозь окно, расчерченное пылью и песком.  
Хорошо бы укатить неведомо куда,  
Запотевшее окно обстреливать плевком,  
Полоскать в уборной зубы нефтяной водой,  
Добывать из термоса дымящийся удой,  
Не оставив ни следа, уехать навсегда,  
Раствориться без остатка, сгинуть без следа,  
И не дрогнуть, и не вспомнить, как тебя зовут,  
Где, в какой стране твои родители живут,  
Как тебя за три копейки продали друзья,  
Как лгала надменная любовница твоя.  
Кроме денег есть еще на свете облака.  
Слава Богу, ты еще не болен и не стар.  
Мы живем в двадцатом веке: ставь наверняка,  
Целься долго, только сразу наноси удар!  
Если жизнь тебя надула, не хрипи в петле,  
Поищи себе другое место на земле,  
Нанимайся на работу, защибай деньгу,  
Грей худую задницу на Южном берегу!  
Или это очень трудно — плюнуть счастьем вслед,  
Или жалко разорить родимое гнездо,  
Променять имущество на проездной билет,  
Пухлые подушки на потертое пальто...  
Верь солдатской поговорке: горе — не беда!..

Хорошо бы укатить неведомо куда,  
Не оставив ни следа, уехать навсегда,  
Раствориться без остатка, сгинуть без следа,  
С верхней полки озирая чужие города  
Сквозь окно, заплыванное проливной луной,  
Сквозь дорожный ветер ледяной...  
1928-1929

#### ВОЛЧЬЯ ОБЛАВА

Невысокие свищут кустарники. Иней  
Приговоряется прочным. Томпаковый бор  
Над шестнадцатиградусной мерзлой пустыней  
Лапы вытянул, словно камчатский бобер.

Это бледное небо до скуки знакомо  
Председателю Клинского волисполкома.  
Он не смотрит на небо. Он ищет врага,  
Он обшаривает голубые снега  
Ветровейные, где на полотнище сивом  
Отпечатаны ноги опрятным курсивом.

Я пытаюсь начать разговор. Воронье  
Виноградинами костенеет на ветках,  
И слова примерзают (пустое вранье!)...  
Сколько слов у меня неуместных и ветхих!..  
Председатель не слышит. Он смотрит вперед,  
Он привычно рукою двустволку берет –  
Геометрию дамаскированной стали...  
И курки осторожно на цыпочки встали.

Папироса затоптана в снег. Тишина  
Подымается вверх и становится ржавой.  
Тишина тяжелеет. Внезапно она  
Разрешается выстрелами и облавой.

Безымянного бора гудит материк;  
В вороненых стволах задыхается порох,  
И нацеленной мушкой я вижу троих  
Исполинских волков. Настоящих. Матерых.  
Но последняя ставка в веселой игре  
Ожидала бродяг на покато бугре,  
Где сугроб на сугробе и льдина на льдине.  
Вот они повернули, ломая кусты,  
Шевельнули ушами, поджали хвосты,  
Добежали и замерли посередине.

Посылая зрачками глухие огни,  
Меж барханами снега стояли они

На чугунных своих полусогнутых лапах  
И, смакуя глазами отъявленный запах,  
Словно идолы на безнадежном снегу,  
Наблюдали за мной. Я забыть не могу  
Их мерцающий взгляд, равнодушный и хмурый,  
Их насыщенные электричеством шкуры.

Мы расстреливали неподвижную стаю.  
Тела хвоя и шелкали пули, пока  
Мне почудилось — я на дыбы вырастаю,  
И турецкие ребра разъяли бока.  
Я услышал глазами такой небывалый  
Неестественный вкус тишины, кислоту  
Асептических льдин, логовины, увалы  
И дыханье, густеющее на лету.

И сквозь это дыханье, бегущее навкось,  
Я почти осязал чистоту бытия,  
Первозданное солнце, тяжелую плавкость  
Горизонта, нервический профиль ружья  
И сугробы, где на снеговой полусфере,  
Словно шубы, лежали убитые звери.

Прислонившись к сосне, я промолвил себе:  
— Погляди же в глаза неподкупной судьбе.  
Эта жизнь высока и честна, как машина.  
Подойди ж к ней вплотную, как волк и мужчина,  
И скажи ей: — Руками людей и стропил  
Истреби меня так же, как я истребил!  
Если ж это не так, и, ветрами влекома,  
Обернется налево дорога твоя,  
Ты ладонь протяни, ничего не тая,  
Председателю Клинского волисполкома.  
Он торжественно, как подобает врачу,  
Засмеется и хлопнет тебя по плечу.  
Смех его из ребенка становится взрослым.  
Этим смехом своим и горячей рукой  
Он научит тебя драгоценным ремеслам,  
Обиходу работающей мастерской,  
Убивать и творить непокорные вещи,  
Слушать времени голос спокойный и вещей.

Я не волк, а работник, и мной не забыт  
Одинокой работы полуночный быт.  
Ты меня победил, председатель! Возьми же  
Добровольное сердце мое и пойдем  
За санями. Ложбинкою, кажется, ближе.

Вот мы шествуем запорошенным путем,  
Снова кланяются косогоры, поляны...  
Я кричу от восторга, шатаюсь, как пьяный,  
Наконец, за отсутствием песен и слов,  
Я палло в небеса из обоих стволов.

И в чащобах, ощерившись, слушают волки  
Аккуратное щелканье тульской двустволки.  
1930

#### МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

*Лежит на нем камень тяжелый,  
Чтоб встать он из гроба не мог.* Лермонтов

Уставя фанфары, знамена клоня,  
Под сдержанный плач оркестровой печали,  
Льняным полотном обернули меня  
И в типы мои формалин накачали.

Меня положили на площадь Звезды,  
Средь гулких клоак, что полны тишиною;  
Прорыли каналы для сточной воды  
И газовый светоч зажгли надо мною.

Мой прах осенили гранит и металл,  
И тонны цветов расцвели и завяли,  
И мальчик о воинской славе мечтал,  
И девушки памятник мой рисовали.

Вот слава померкла, и стерты следы,  
Цветы задохнулись от уличной пыли.  
Меня положили на площадь Звезды,  
Чтоб мертвое имя живые забыли.

Но я не забыл содроганье штыка,  
Который меня опрокинул на глину.  
Я помню артикул и номер полка,  
Я знаю, как надо блюсти дисциплину.

Ремень от винтовки, удавка, ярмо,  
Сгибающее обреченные шеи,  
Окопные рыжие крысы, дерьмо,  
Которое переполняло траншеи.

Обрубок войны, я коплю и храню  
Те шрамы, что не зарубцуются навек,  
Ухватки солдата, привычку к огню,  
Растерзанных мышц производственный навык.

Я знаю, кто нас посылал на убой  
В чистилище, где приучали к ударам.  
Клянусь на штыке, я доволен собой,  
Я жил не напрасно и умер не даром!

Недаром изведаль я вечный покой,  
Запаянный гроб, жестковатый и узкий, –  
И так не существенно, кто я такой –  
Француз или немец, мадьяр или русский.

Когда боевые знамена взлетят  
И грянет в литавры народная злоба,  
Я — старый фангом, безыменный солдат –  
Воскресну из мертвых и выйду из гроба.

Я снова пушусь по реке кровавой,  
В шеренгах друзей и во вражеском стане,  
Везде, где пройдут за последней войной  
Последние волны последних восстаний.

И, вырвавшись на обнаженный простор,  
Где мертвые рубятся рядом с живыми,  
В сиянии солнц, как забытый костер,  
Растает мое неизвестное имя!  
1932

\* \* \*

Страх разрушенья, страх исчезновенья  
Меня не смог ни разу уколоть;  
Я не пугаюсь грубого мгновенья,  
Когда моя изношенная плоть  
Утратит жар, что дан ей был на время,  
Как погасает искра налету.  
Но отвергая детскую мечту,  
Бессмертия бессмысленное бремя,  
Я думаю о неизбежном зле  
И не боюсь распада.  
Мне не надо  
Ни рая, ни чистилища, ни ада,  
Ни даже вечной жизни на земле.

Воистину меня страшит иное:  
Остолбененье старости людской,  
Ее самодовольство записное,  
Безверье, сухость, чопорный покой;  
Боюсь лишиться молодых стремлений  
Бог весть куда, в какую глушь и дичь,  
Боюсь увязнуть в паутине лени,

Всезнания бесплодного достичь.  
Боюсь придти к заведомым пределам,  
Где, может быть, подстерегает страх  
Небытия, преображенья в прах,  
Разлуки с жизнью, расставанья с телом...  
*1940*

\* \* \*

Снежный саван сходит лоскутами,  
За неделю побуреет едва.  
На пригорках и буграх местами  
Показалась прелея трава.

И земля, покорствуя сурово,  
И страшна, как Лазарь, и смешна,  
В рубище истлевшего покрова  
Восстает из гробового сна.

Будто выходцы из преисподней,  
Отчужденно жмутся по углам  
Перестарки жизни прошлогодней,  
Разноперый безымянный хлам.

Ржавые железки да жестянки,  
Шорный мусор и стекольный бой,  
Цветников зловещие останки  
За щербатой, дряхлой городьбой.

В грозном блеске правды беспощадной,  
Льющейся с лазурной вышины,  
Некуда им спрятаться от жадной  
Молодой весны!

Им деваться некуда от света,  
Не уйти от властного тепла.  
Горе тем, которых сила эта  
Из могилы на смех подняла!

Горе тем, кто маете весенней  
Предал сердце, сжатое в комок,  
Муку неминучих воскресений  
Одинок выплакать не мог.

И рывком одолевая стужу,  
Раскатясь, как снеговой ручей,  
Призрак страсти излевал наружу  
Горстку опозоренных мощей.  
*апрель-май 1948, лагерь Ветлосян*

### НАСЛЕДНИК

Которая по счету миновала  
Земная ночь, опять оставив мне  
Могильный холмик пепла у привала  
Да пепел звезд в студеной вышине.

Опять качнулась зыбка зарева  
И розовый проснулся небосклон,  
Свивальники тумана разрывая,  
Как полотно младенческих пелен.

И словно рай, никем не заселенный,  
Сияющий по самые края,  
Ждет оком прохладный и зеленый  
Обетований Книги Бытия.

Гляди, Наследник, сколько хватит зренья,  
Адамовым проклятьем заклеимен!  
Бессчетную зарю миротворенья  
Опять встречай на рубеже времен!

Еще людская речь не прозвучала,  
Еще леса и пажити пусты,  
А ты начни свой краткий путь сначала,  
До сумерек, до новой темноты, –

Когда погаснет свет, умолкнет слово,  
Созвездья разгорятся на ветру  
И волны одиночества ночного  
Прихлынут вновь к привальному костру.  
*17 декабря 1950*

### ВЕТЛОСЯН (фрагмент)

Я жил в особенной стране,  
Непознаваемой извне,  
В стране, где время, как во сне,  
Меняло свой исконный ход;  
Мгновеньем день казался мне  
И вдруг растягивался в год,  
Сбивался с толку, путал счет  
И превращал календари  
В какой-то непонятный код,  
В хаос разрозненных колод,  
Чтоб за оградой, внутри,  
Перешагнув через порог  
В тот обособленный мирок,

Я жизни жалкой не берег  
И отбывал кабальный срок.

Я жил в отверженной стране,  
От государства в стороне,  
В стране беспамятной, как смерть,  
В стране бессвязной, словно сон,  
Где городьба, за жердью жердь,  
То на подъем, то под уклон,  
Петляла вдоль холмов, служа  
Обозначеньем рубежа.

Я жил в потерянной стране,  
Как будто в озере, на дне,  
Как в застоявшемся пруду,  
В прозрачной, как слюда, среде,  
Не то во льду, не то в воде,  
В среде, которая была  
Подобьем жидкого стекла.

Там, за бревенчатой стеной,  
За городьбою крепостной  
В четыре метра вышиной,  
Не знали ни добра, ни зла,  
Ни состраданья, ни стыда;  
Без них исправно шли дела,  
Топились печи, как всегда,  
Клубами вился дым из труб,  
В котлах варился мутный суп,  
И каждым утром, ровно в семь,  
Насущный хлеб давали всем.

О, этот хлеб! Он был ценой  
Последней радости земной:  
Смотреть на дальний кряж лесной.  
Он был ценой — ломоть ржаной —  
Отказа от заветных прав,  
Утраченных навеки мной,  
И платою за рабский нрав,  
За прилежание к труду,  
За повседневную страду  
Существованья на виду,  
За пребывание в аду,  
Где запереться на замок,  
Хотя б на миг, никто не мог  
И оставаться одному  
Не позволялось никому.

Наш будничный, убогий ад,  
Куда на счастье и беду  
Тринадцать лет тому назад  
Меня по щучьему суду  
Загнали в странную среду, –  
Напоминал на беглый взгляд  
Давнишний рубленный посад,  
Окраинную слободу,  
Былой острог сторожевой,  
В глуши поставленный Москвой,  
Чтоб на Зырянщине впервой  
Вести исконный свой уклад  
И закрепить порядок свой.  
Он, словно с древних пор, подряд  
Стоял и в нынешнем году  
Твердыней кривды вековой,  
И островерхий палисад  
Из лиственницы и сосны,  
И вышки по углам стены,  
И часовые, и конвой,  
По-видиму, сохранены  
Как памятники старины.

Нас было много: тысяч пять,  
А иногда и с лишком шесть.  
Порою численность опять  
Снижалась плавно до пяти,  
Чтоб в гору сызнава полезть  
И к верхней цифре доползти.  
Хоть нас держали взаперти,  
Но всё ж оказывали честь,  
Стараясь досконально счесть,  
Не отступая ни на пядь,  
И дважды в сутки звонари  
Благою подавали весть:  
Мол, можете и пить и есть,  
Кто хочет, волен лечь и сесть,  
Ты вправе бодрствовать и спать,  
Но будь на месте, хоть умри,  
Покуда, в должностном поту,  
С окурком жеванным во рту,  
Дежурный подведет черту:  
Все налицо, все на счету...  
*1960*

\* \* \*

Жизнь отжита, а сызнова — едва ли  
Достанет сил для злого бытия.  
Меня застигла ночь на перевале,  
И эта ночь — последняя моя.

Ее волшебное прикосновенье  
Льет на душу целительный бальзам,  
Она дарит незнание и забвенье  
Натруженным, всевидящим глазам.

Крупницы счастья, жалкие соблазны,  
Тернистый путь и перевал крутой  
Расплавилась в хаос однообразный,  
Укрылись милосердной темнотой.  
*14 декабря 1947, Ветлосян*

\* \* \*

Благословляю полдень голубой,  
Благословляю звездный небосвод –  
За то, что он простерся над тобой  
И лишь тобою дышит и живет.

Благословляю торные пути,  
Пробитые сквозь дебри бытия:  
Они меня заставили придти  
Туда, где пролегла тропа твоя.

Благословляю все плоды земли,  
Благословляю травы и цветы –  
За то, что для тебя они выросли,  
За то, что их не оттолкнула ты.

Благословляю подневольный хлеб,  
Тюремный склеп и нищую суму,  
Благословляю горький гнет судеб –  
Он звал меня к порогу твоему.

Благословляю бег ручьев и рек,  
Разгон струи, летучий блеск волны –  
За то, что в них глаза твои навек,  
Как в ясных зеркалах, отражены;

И каждого холма зеленый склон –  
За то, что он тебе под ноги лег,  
И самый прах земной — за то, что он  
Хранит следы твоих усталых ног.

Скигания без цели, без конца,  
Страдания без смысла, без вины,  
И душный запах крови и свинца,  
Саднивший горло на полях войны.

Весь этот непостижный произвол  
Благословляю — с жизнью наравне —  
За то, что он меня к тебе привел,  
За то, что он привел тебя ко мне.  
*13 сентября 1948, Ветлосян*

\* \* \*

Он построен трудом человеческим,  
Укреплен человеческим трудом,  
А теперь отплатить ему нечем —  
Опустел, обезлюдел мой дом!

Подкосились дубовые балки,  
Хоть исправно топор их тесал.  
Стекла выбиты; темный и жалкий,  
Полон стужи покинутый зал.

Не жигье средь такого содома!  
Дай Господь обойти стороной  
Нищий остов, развалину дома,  
Что построен был некогда мной!

Злая сырость давно его гложет:  
Разобрать его впору да сжечь!  
Третий год иль четвертый, быть может,  
Как не топлена русская печь.

Словно щуря окно слуховое,  
Он под снегом поник и дождем...  
Не один ты на свете, нас двое,  
Злополучный оставленный дом!

Накопили мы силу воловью,  
Да некстати растратили враз, —  
Черным горем, неверной любовью  
Пошатнуло, обрушило нас.

Ты на жребий не жалуйся лживый,  
А хозяйские слушай слова:  
Мы еще повоюем, мы живы,  
И любовь невозбранно жива!

Не кручинься, товарищ сосновый, –  
Станешь краше дворцов и хором!  
Я приду к тебе с доброй основой,  
С наостренным моим топором.

Всё устрою не хуже, чем было,  
Печь налажу, поправлю трубу,  
Вереи подыму и стропила,  
Грязь и плесень со стен отскребу.

Я вернусь молодым чудодеем,  
Не сегодня, так завтрашним днем;  
Пусть однажды мы дело затеем –  
Десять раз, если надо, начнем!

Десять раз, если надо, разрушим,  
Чтоб воздвигнуть как следует, вновь  
Дом невиданный с гребнем петушьим  
И людскую простую любовь.  
1939

#### КОРОЕДЫ

В непролазной буреломной чаше  
Обитает испокон веков  
Грамотный народец работающий,  
Гильдия типографов-жуков.

Не успела плод запретный Ева  
Надкусить, как тотчас же в раю  
Жук-типограф на волокнах Древа  
Выгрыз надпись первую свою.

По примеру пращура, доньне  
Подвиг жизни каждого жука –  
Выедать изгибы сложных линий  
Лигер нелюдского языка

И строчить на заболони бренной  
С помощью природного резца  
Подлинную хронику Вселенной  
От ее верховья до конца.

Шестиногий Нестор неизвестный,  
Скромный жесткокрылый Геродот,  
Продвигаясь под корой древесной,  
Летопись подобную ведет.

Так из года в год порой весенней  
Сокровенный кодекс мировой  
С каждой новой сменой поколений  
Новой пополняется главой.

Цель событий в связи их причинной,  
Вплоть до наименьшего звена,  
На скрижалях Библии жутиной  
Всеохватно запечатлена.

В этих рунах ключ к последним тайнам,  
Истолковано добро и зло;  
То, что людям кажется случайным,  
В них закономерность обрело.

Сущность бытия, непостоянство  
Мирозданья, круг явлений весь,  
Вещество, и время, и пространство  
Формулами выражено здесь.

Наше суесловье, всякий промах  
Утлой мысли, тщетность наших дел  
В хартии догошных насекомых  
Внесены в особенный раздел.

Нами не решенные задачи,  
Вера, не воскреснувшая впредь,  
Истины, которые незрячий  
Разум наш пытается прозреть,

Перечень грядущих судеб наших,  
Приговоры Страшного Суда,  
Судьбы звезд — горящих и погасших —  
Внесены заранее сюда.

В книге, созидаемой во мраке,  
Скрыта не одна благая весть,  
Но ее загадочные знаки,  
К сожаленью, некому прочесть, —

Нет у нас охоты и сноровки, —  
За семью печатями она,  
И не поддаются расшифровке  
Эти нелюдские письмена.

*10 сентября 1969, Грозно*

## ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я День Победы праздновал во Львове.  
Давным-давно я с тюрьмами знаком.  
Но мне в ту пору показалось внове  
Сидеть на пересылке под замком.

Был день как день: баланда из гороха  
И нищенская каша магара.  
До вечера мы прожили неплохо.  
Отбой поверки. Значит, спать пора.

Мы прилегли на телогрейки наши,  
Укрылись чем попало с головой.  
И лишь майор немецкий у парашаи  
Сидел как добровольный часовой.

Он знал, что победителей не судят.  
Мы победили. Честь и место — нам.  
Он побежден. И до кончины будет  
Мочой дышать и ложки мыть панам.

Он, европеец, нынче самый низкий,  
Бесправный раб. Он знал, что завтра днем  
Ему опять господские огрызки  
Мы, азиаты, словно псу швырнем.

Таков закон в неволе и на воле.  
Он это знал. Он это понимал.  
И, сразу притерпевшись к новой роли,  
Губ не кусал и пальцев не ломал.

А мы не знали, мы не понимали  
Путей судьбы, ее добро и зло.  
На досках мы бока себе намяли.  
Нас только чудо вразумить могло.

Нам не спалось. А ну засни попробуй,  
Когда тебя корежит и знобит  
И ты листаешь со стыдом и злобой  
Незавершенный перечень обид,

И ты гнушаешься, как посторонний,  
Своей же плотью, брезгаешь собой —  
И трупным смрадом собственных ладоней,  
И собственной зловещей худобой,

И грязной, поседевшей раньше срока  
Щетиною на коже впалых щек...

А Вечное Всевидящее Око  
Ежеминутно смотрит сквозь волчок.

1965

### ОТХОДНАЯ

Се изыде горький оцет, се смоковница  
неплодная, яко непотребна, посекается;  
се лоза сухая влагается в огонь.  
Канон на исход души

Помирает моя  
Доброхотная мачеха,  
Приотившая мальчика  
На заре бытия.

Позабыла родня  
Одинокую, хворую,  
Что была мне опорой  
И взрастила меня.

Знать, приспела пора,  
Чтобы наша кормилица  
Перестала бы силиться  
И сошла со двора.

В предназначенный срок  
Хлопотунья заранее  
Начала прибирание,  
Свой предсмертный урок.

Торопясь, чистоту  
Навела еще заживо,  
В плошке сбою говяжьего  
Уделила коту,

Содой вымыла дом,  
Окна вытерла пыльные  
И в обновы могильные  
Обрядилась потом,

Молча взлезла на печь  
И с последнею силою  
На лежанку остылую  
Изловчилась прилечь,

Протянув на тряпье  
Руки тощие, длинные,  
Словно лапы куриные  
В роговой чешуе.

В доме тишь, благодать,  
И не верят в спасение  
Даже мухи осенние.  
Знают: бабке не встать.

За окошком ветла,  
Расшептавшись, качается:  
Мол, старуха кончается,  
Пожила — отжила.

Не скорбите, пока  
Плоть противится тленная,  
И земля тяжеленная  
Ей да будет легка.

Киньте взгляд из окна,  
Об усопшей не сетуя.  
Пусть людьми неопетая  
Почивает она.

Там, над краем леска,  
Словно храм семибашенный,  
Серебром изукрашенный,  
Вознеслись облака.

Где клубится вдали  
Их громада великая,  
Пролетают, курлыкая,  
Трубачи-журавли.

Будто в ризах до пят,  
Вея белыми платами,  
Над лесами зубчатыми  
Серафимы трубят.

С незакатных высот  
Светопад ослепляющий,  
Нестерпимо пылающий,  
Весть благую несет.

И мерцают лучи  
На серебряной храмине  
Алым отблеском пламени  
Поминальной свечи.  
1971

## ВТОРАЯ ДОРОГА

Полжизни провел как беглец я в дороге,  
А скоро ведь надо явиться с повинной.  
Полжизни готовился жить, а в итоге  
Не знаю, что делать с другой половиной.

Другой половины осталось немного:  
Последняя четверть, а может — восьмая,  
Рубеж, за которым другая дорога —  
Широкая, плоская лента прямая.

Не ездят машины по этой пустынной  
Дороге, на первую так не похожей;  
По ней никогда не пройдет ни единый  
Случайный попутчик и встречный прохожий.

Лишь мне одному предназначена эта  
Запретная для посторонних дорога;  
Бетонными плитами плотно одета,  
Она поднимается в гору полого.

Да только не могут истлевшие ноги  
Шагать, как бывало по прежней дороге.  
Мне сделать за вечность не более шагу:  
Шагну, спотыкнувшись и навечно прилягу.

Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде  
Просить на обратный билет Христа ради,  
И я ковчег в арыках постылых,  
Дурак дураком, по жарнице проклятой,  
Не смея вернуться в мой номер, не в силах  
Смириться с моей невозвратной утратой,

А позже, под вечер, в гостинице людной,  
Замкнувшись на ключ, побродяжка приبلудный,  
Вплотьмах задыхался от срама и горя,  
Как Иов на гноище, с Господом споря,  
И навзничь лежал нагишом на постели,  
Обуленный болью, отравленный желчью,  
Молчком нагнетая в распластанном теле  
Страданье людское и ненависть волчью, –

В ту ночь мне открылась в видении сонном  
Дорога, одетая плотным бетоном,  
Дорога до Бога,  
До Божьего Рая,  
Дорога без срока,  
Дорога вторая.  
1965

### Примечания:

[1] Липкин С.И. Вторая дорога (Об Аркадии Штейнберге). Новый Журнал. Нью-Йорк, 1986. №162. С.38. Цит. по: Штейнберг, Аркадий. К верховьям. Собрание стихов. Материалы к биографии. Заметки. Стихи. Москва: Совпадение, 1997. 357-367.

[2] *Витковский Евг.* На память о Мидделхарниссе. // Штейнберг, Аркадий. К верховьям. Собрание стихов. Материалы к биографии. Заметки. Стихи. М.: Совпадение, 1997. С. 434.



# Игорь Фунт

## РУССКИЙ ФАУСТ В МУЗЫКЕ

### К 210-летию со дня рождения В.Ф. Одоевского

*Музыка — это откровение более высокое,  
чем мудрость и философия. Бетховен*

*Для разума инстинкт есть бред. Одоевский*

«Кто знает голоса русских народных песен, тот признаётся, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее», — говорил Радищев, слыша в крестьянской, исконно русской музыкальной культуре и чувства, и настроения, и думы народа. И мысли и слова, самобытность и извечный «скорбный протест».

Победы русского Просвещения мало что дали непосредственно самому народу. Более того, явный западнический уклон лучших умов, — отрицающих преобладание диатонизма и квинтовой темперации, — под прикрытием таких негибких авторитетов, как Державин, бездоказательно внёс в обиход надуманные положения о древнегреческом происхождении р. н. песни. Способствовало этому также и отсутствие в светских образованных пансионах отдельной самостоятельной дисциплины об изучении музыки вообще — и народной в частности: «Изумительная способность русских поселян присоединить к хору тонику или доминанту, а иногда к ним терцию или квинту, из всех народов, сколько известно, принадлежит исключительно русским», — утверждал герой нашего повествования.

В противовес «римскости» р. н. песни и в защиту взаимопроникновений и культурных наложений я бы добавил, что, к примеру, исконная народная музыка Соединённых Штатов — точная калька с трёхаккордовой частушки, плясовой Камаринской. Что может сказать о многом в плане схожих песенных гармонических построений двух разных, по времени и интенсивности развития, цивилизаций. И о «русском» следе в «белой» американской музыке, и об однокоренном ладовом мышлении, впоследствии размытом палитрой условных наслоений. Но текст не о том...

Возникновение предмета «История искусств», наряду с упрочением позиций филологии, политэкономии, астрономии и др., связано, конечно же, с широкой поступью нарождающегося Золотого века русской культуры. Так, широкой, всеохватной поступью Полигистора в золотую летопись культуры, науки и философии вошёл один из разностороннейших «синтетических» мыслителей эпохи Глинки и Пушкина, Наполеона и Николаевской реакции — Владимир Фёдорович Одоевский. «Постоянный спутник» и преданный каталогизатор русской музыки, музыкальной лексикографии, историографии.

Необычайным слухом, исполнительскими способностями, артистизмом и, как бы сейчас сказали, «аналигическим нюхом», В.Ф. обладал сызмальства. Превосходно играл довольно сложные баховские вещи, да к тому же сочинял свои, делая невообразимые «триоли на фортепьянах», виртуозно импровизируя. Одновременно преуспевая в науках, особенно философии: «Ты философ хоть куда!» — восхищался им брат Александр.

Самая сокровенная и «первая учебная музыкальная книга» для Одоевского — сочинения баховского гения. Большинство которых В.Ф. знал наизусть. «Гени Себастиана» он посвятил собственную фугу. «Тенью Себастиана» и степенью приближения к нему, как «жрецу музыки», — соединившему «математическое» с «инстинктуальным», сознательное с подсознательным, — он поверяет журналистские музыкальные оценки и пристрастия...

Не будучи по натуре революционером, восстание декабристов перенёс крайне противоречиво. Хотя эстетически, воззренчески был согласен с великим движением «молодых штурманов будущей бури». (Это сказалось на нереализованном замысле героического романа о Дж. Бруно.) Мало того, в ссылке погиб «беспечный любимец муз», его двоюродный брат А. Одоевский; приговорён к каторге друг, «баловень-поэт» Кюхельбекер, чьи идеи и воззвания повлияли на дальнейшую публицистическую и общественную деятельность В.Ф.

### Романтик-любомудр

Вся его зрелая «последекабрьская», крайне насыщенная общественными заботами жизнь (директор Румянцевского музея) одновременно пронизана литературой, наукой, техническими проектами. А также фаустовской жадной беспрепятственного познания прекрасного: от романтических «сказочных» мечтаний о стихийных духах и «злых гениях» до философско-психологических исследований. И, разумеется, музыкой.

Помимо сочинительского наследия, в стиле Баха и Глинки, всё-таки главной темой творческой деятельности были критическое осмысление и музыковедение. Причём основанные на энциклопедических знаниях материала, впрочем, как и в математике, физике, химии, ботанике и *т. п.*, вплоть до сельского хозяйства и медицины. Глубоко, вдохновенно и рационально вторгаясь во внутреннюю «суть вещей» мелодических начал, истоков, В.Ф. обоснованно конфликтовал с «поверхностным» искусством живописи или «неопределённым» стихотворством — поэзией. Чем, к слову, занимался ещё со времён «додекабрьского» председательства в обществе любомудров-«либералистов». Откуда и пошло его возвышенное, надмирное понимание и восторженное проникновение в «невыразимое» мастерство музыки: «...самые незначительные слова в музыке получают смысл, в них материально не находящийся», — писал Одоевский.

В.Ф. Одоевский стал основателем серьёзной полемической школы, противостоящей низкопробным непрофессиональным рецензентам, заполонившим прессу 20 – 30-х гг. 19 в., судившим о сложнейших произведениях и направлениях без элементарных академических познаний; превозносившим фиглярство, портившим эстетический вкус доверчивой и падкой на «сальтомортالي» публике. Дав предтечу новому поколению искусствоведов, начиная с А. Серова и В. Стасова.

Переехав из Москвы своего детства и юности в Петербург (30 – 40-е гг.), Одоевский ощущает новый подъём творческих сил. Пишет выдающиеся произведения: новеллу «Последний квартет Бетховена»; блестящий отзыв на бетховенский «Кориолан»; наипервейший всплеск русской бахианы повесть «Себастьян Бах», нёсшую также биографично-личностный след; многочисленные отклики на постановки Глинки. Исследует древнерусское песнопение. Теоретизирует изыскания по вопросам гармонии и полифонии. Популяризирует всевозможные музыкальные направления. Знакома таким образом читателей практически со всеми жанрами музыкально-критической работы. Не считая многочисленных аналитических статей,

представляя в них великолепное знание и владение оперными партитурами, тончайшими нотными нюансами и даже подстрочниками в либретто: характер, предназначение роли, актёрские оттенки, грим.

Его идеям внимали, ему подражали, у него учились, невзирая на предубеждения высших столичных кругов: «По старинному пристрастию к иностранцам, эти люди не могут поверить, что русский может написать такую симфонию, какова, например, симфония гр. Виельгорского; не могут понять, к какому роду музыки относятся кантаты Верстовского; не постигают, что оперы Алябьева ничем не хуже французских комических опер».

### «Веселися, Русь! Наш Глинка...»

Глинка в это время (середина 1830-х гг.) уже работал над «Сусаниным». Барон фон Розен — над либретто к Сусанину. А Одоевский, так уж вышло, принимал непосредственное участие в опере, помогая и Глинке, и Розену. Глинке — подсказывая ввести оперный хор в драматическую линию спектакля, что по существу было историческим новаторством. Барону Розену — помог обрести ритмическую грамотность строк, «сохранив все мелодические изгибы», т. к. верноподданические стихи последнего с трудом ставились под готовую музыку. Уж чего-чего, но в гармонии Розен был не силен... «...как выразить удивление истинных любителей музыки, когда они с первого акта уверились, что этою оперою решался вопрос важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, а именно: существование русской оперы, русской музыки», — писал В.Ф. в «Северной пчеле» (дек., 1836) сразу после премьеры «Жизни за царя».

В насыщенной полемике (с Булгариным и др.) и критике на «Сусанина» и далее на «Руслана и Людмилу» Одоевский, по пушкинским следам и с щедринской силой обличения, давал мощный ход пропаганде «роскошного цветка» — «национального прекрасного». Фантастического и эпического, драматического и героического. Наряду с М.И. Глинкой сооружая незыблемое основание самостоятельной русской оперной школы, обернувшейся впоследствии всевозможными плодотворными направлениями: «...русская музыка не только может выдержать соперничество со всеми европейскими музыками, но часто и победить их», — закономерно утверждал Одоевский.

Под нестигаемым глинковским влиянием, сам будучи классического, академического воспитания, Одоевский не принял «пошлую итальянскую болтовню» лирических шансонье Варламова, Гурилёва и т.п. На десятилетия(!) вычеркнув «боковое движение» городского романа из музыкальных обзоров. Что, конечно же, говорит лишь о почвенности писателя и нестигаемом авторитете, даже после его смерти. Точку в споре о народных корнях городской песни поставил Б. Асафьев, возродивший затухший было интерес к первому выдающемуся деятелю русской музыкальной критики В. Одоевскому. ...А городской романс, в своё время, естественным образом реабилитировался и стал на подобающую ему ступеньку пьедестала Мельпомены.

### Сова Минервы

40 – 50 – 60-е гг. проходят под знаком глубинной критической работы (член РМО — Русского муз. общества), под знаком всемерной благодарности современников — публицистов, исполнителей, композиторов — за одобрение и поддержку

Владимира Фёдоровича, в том числе материальную (А. Серов, А. Даргомыжский, Верстовский, Рубинштейн, *фр.* друг Берлиоз). Одоевский, в полном смысле этого слова просветитель, в равной мере трезвомыслящий демократ — с нешаблонным, прогрессивным ходом мыслей — поднимает проблемы историзма, сопоставимые таланту и драматизму занявшего к тому времени театральный и литературный олимп А. Островского.

Как обычно, изучение, развитие и пропаганда фольклористики, р. н. песни, — «несимметричной» музыки, — занимало большое место в его жизни. Одним из первых, наряду с Далем и Молчановым, стал собирателем именно «местных вариантов» народных песен и вариантов культового, церковного пения. Собирал, анализировал и обрабатывал украинские, сербские, чешские, словацкие, а также финские, литовские, киргизские песни и эпический материал. Немалый след оставив в справочно-информационном деле.

В.Ф. тепло принял балакиревских «кучкистов», предсказал необычайно значительное будущее Римскому-Корсакову и Чайковскому. До конца дней со свойственной ему тщательностью и «филологичностью» исследовал и описывал «учёные обработки» классического западного искусства: Бах, Гайдн, Гендель, Моцарт, Бетховен... «Любил уходить в глубину веков, обнаруживая знание старинных мастеров» (Ступель) — Монтеверди, Вивальди. Недооценивал «немцев» — Вебера, Шуберга, Шумана, Шюера. К сожалению, недооценил поляка Шопена. Отчаянно громил популярные итальянские каватины, широко распространявшиеся в России, убивающие, как он считал, «девственную силу нашей народной музыки» и тормозившие национальное развитие самосознания. Крушил Беллини, Доницетти, сдержанно ругал Россини. Среди западных современников беспрекословно соглашался с талантом Листа, Вагнера, Берлиоза: «...смелость Берлиозовых контрапунктов, строгое, Гайдновское единство, проводимое им чрез самые разнообразные формы, свежесть инструментации, оригинальность ритмов, дерзко поставленных один над другим, — всё это было для меня так ново, что с первого раза я не мог отдать себе отчёта в моих ощущениях».

Много внимания уделял исполнителям — певцам, музыкантам. Приветствовал «правду выражения», отрицал показуху и позёрство. Честно признавал за собой случавшиеся перегибы в чрезмерной защите молодой нарождающейся русской оперной культуры от итальянской «заразы», к тому же обладающей вековым опытом соперничества.

Но главную битву своей жизни, сообща с достижениями и подвижничеством Трутовского, Сомова, Вяземского, Пушкина, Белинского, он выиграл. Выиграл эпохальную битву за Глинку! Это было великой победой радищевского «образования души народа»: «Каждый самобытный народ, — возглашал В. Одоевский, — в целостности творит свою эпопею... Такая эпопея есть поэтическое воплощение всех элементов народа, выражение его идеального характера, его быта, его радостей, его печалей, наконец, его собственного суда над самим собою».

Таким был князь, потомок рюриковичей В.Ф. Одоевский в музыке. Так он её видел: «...за преуспеяние русской музыки как искусства и как науки!» — часто звучал в застольях любимый тост Владимира Фёдоровича.



**Павел Нерлер**  
**НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА**  
**МАНДЕЛЬШТАМ**  
**в Чите и Чебоксарах**

От редакции

Публикуемые очерки предназначены для сборника «Надежда Яковлевна. Памяти Н.Я. Мандельштам», подготовленного автором для издательства «Аст» («Редакция Елены Шубиной»).

**Надежда Яковлевна Мандельштам в Чите<sup>[1]</sup>**

В одну из последних встреч с Ахматовой Мандельштам прочел ей свою воронежскую «Киевлянку», а в ответ услышал — посвященные ему строки, вдохновенные тем же Воронежем:

Не столицей европейской с  
первым призом за красоту,  
страшной ссылкой енисейской,  
пересадкою на Читгу,  
на Ишим, на Иргиз безводный,  
на прославленный Атбасар,  
пересадкой на лагерь Свободный  
в чумный запах гниющих нар  
показался мне город этот  
этой полночью голубой —  
он, воспетый первым поэтом,  
нами грешными и тобой <sup>[2]</sup>...

Эта «пересадка на Читгу» оказалась пророческой и аукнулась вдове Мандельштама двухлетним проживанием в столице Забайкалья.

Надежда Яковлевна приехала в Читгу 25 августа 1953 года. Согласно приказу Министерства просвещения РСФСР №№ кк 9/205/ 3 1286 от 19 августа 1953 года, она была переведена из Ульяновского пединститута в Читинский и, начиная с 1 сентября, назначена старшим преподавателем английского языка <sup>[3]</sup>.

Институт располагался в доме 140 по улице Чкалова.

И о городе, и об институте Н.М. отозвалась чуть ли не с восторгом. В письме В.Ф. Шишмарёву от 15 сентября 1953 года она пишет: *«Мне не страшно, что это так далеко — город удивительной красоты, а Институт на десять голов выше Ульяновского. Кафедра наша тоже гораздо лучше. А главное, здесь мирно и миролюбиво»* <sup>[4]</sup>. Кафедра, замечу, была очень молодой: ко времени приезда Н.М. ей было всего два года, а студенческий контингент — почти исключительно девушки.

Надо сказать, что это читинское двухлетие — один из наименее изученных эпизодов в биографии Н.М. Кроме нескольких упоминаний Читы или читинцев в ее собственных сочинениях и письмах, да еще статьи М. Селиной [5], — мы, собственно, ничем больше не располагаем.

Вот одно из таких немногих упоминаний: *«В Чите <...> стояли очереди за хлебом, мыло привозилось из Москвы, а на базаре торговали кониной и верблюжатинной. В столовой в подвале института мне втихоря, чтобы не оскорблять студентов, давали кулечек сахару за пятьдесят чеков на сто стаканов чаю. Деньги уходили на еду и поездки в Москву. Тут уж не до одежды, которая продавалась с рук за невероятные цены»* [6].

Известно всего три имени из читинского окружения Н.М. Это Домна Ефремовна Клымнюк, заведующая кафедрой педагогики факультета иностранных языков, Эмма Павловна Тюкавкина (1931-2008), преподавательница с той же кафедры, где работала и Н.М. [7], и наконец, Лидия Ивановна Острая, работавшая с ней в параллельных группах.



Надежде Яковлевне было тогда около 55 лет, но, по словам Л.И. Острой, она выглядела намного старше своих лет и была малопривлекательной женщиной.

*«Она приехала к нам совершенно тихо и незаметно <...>, — вспоминала Лидия Ивановна. — О том, что скрывалось под строгим взглядом этой женщины, можно было лишь догадываться. Никто не интересовался ею в открытую — она отвечала взаимностью и предпочитала молчание. Окутанную тайной приезжую особу, прекрасно владеющую английским языком, поселили в крохотной комнатке институтского общежития. Обстановка ее временного жилища поражала убожеством — стол, стул, кровать. Ее гардероб был однообразным, но необычным. В течение двух лет она носила неизменное черное платье и синий шарф. Когда становилось холодно, Надежда Яковлевна облачалась в шубу своеобразного модного покроя с широкими рукавами, каких в Чите в то время еще не видели. Она посещала педагогические собрания в институте и на факультете, но вела себя весьма скромно, высказывая свое мнение осторожно и строго по делу. И все-таки сложно представить, чтобы Мандельштам со своими «странно-*

*стями» не вызывала ни у кого интереса. Скорей всего, она умела быть недоступной и держать людей на расстоянии, являясь при этом прекрасным собеседником»<sup>[8]</sup>.*

При этом замкнутость Н.М. не была герметичной. Та же Л. Острая вспоминала, что не раз посещала ее вечерами после занятий и всегда «...заставала одну и ту же картину. Надежда Яковлевна лежала на своей маленькой кровати, покрытой старым пледом, с книгой и обязательно с дымящейся сигаретой в руках. Книги, табак и кофе были ее неразлучными спутниками. Кофе ей присылал брат из Москвы, которого она изредка упоминала в разговорах. <...> Чем и как она питалась, было загадкой. “Она никогда не посещала столовую<sup>[9]</sup>, и в ее крохотной комнатке не было ни малейших намеков на приготовление пищи “...»<sup>[10]</sup>.

Обязательность распределения в Читу, по-видимому, была ограничена двумя годами. Но сама Чита была так далеко от Москвы, что зимой 1955 года Н.М. начала подыскивать себе новое место работы и новое пристанище.

Об этом свидетельствует «Характеристика», выданная Н.Я. Мандельштам директором Читинского государственного педагогического института Киктевым 20 января 1955 года «в связи с участием ее в конкурсе на замещение вакантных должностей по специальности английского языка»<sup>[11]</sup>. Приказ об ее увольнении в Чите датирован 13 августа 1955 года.

Закончим же цитатой из рассказа Л.И. Острой: «Мандельштам уехала из Читы так же тихо и незаметно, как и приехала».

## Надежда Яковлевна Мандельштам в Чебоксарах<sup>[12]</sup>

*Публикация и сопроводительный текст П. Нерлера.*

### 1



Судьба не раз «заносила» Надежду Мандельштам на Волгу.

Первый раз — в Саратов, где она родилась. Второй — в Савелово, где вместе с мужем она провела несколько месяцев летом и осенью 1937 года. Третий — в Калинин (Тверь), где они поселились в ноябре 1938 года. Четвертый — в Ульяновск, где она проработала в местном пединституте с 1949 по 1953 годы. И, наконец, пятый — с 1955 по 1958 — в Чебоксары...<sup>[13]</sup>

Переселение из далекой Читы в «близкие» Чебоксары обставилось немалыми трудностями. В главке «Они» во «Второй книге», то есть спустя почти 15 лет, Н.Я. Мандельштам вспоминала: «Под нажимом Ахматовой я пошла к Суркову. В те дни я была без работы, потому что уехала из Читы по приглашению Чебоксарского пединститута, но в Москве получила телеграмму, что Чебоксары раздумали и не берут меня (кафедра литературы, наверное, услышала мою фамилию и посоветовала не связываться)»<sup>[14]</sup>.

В самый же разгар событий, 31 августа 1955 года, она писала А.А. Суркову:

*«Теперь о себе. Нынче, 31 августа, мне сообщили, что меня отправляют на работу в Чебоксары. Я просила в министерстве, чтобы меня отправили куда угодно (в пределах Европейской части Союза), кроме Чебоксар, куда меня пригласили, а потом заявили, что не хотят. Не сомневаюсь, что там будет очень тяжело — мне покажут, как лезть туда, куда не просят. Тем более, что я приезжаю без литературной работы (перевода), которого я не получила и не получу. (Перевод — это явный признак, что со мной как-то считаются). Например, мне дадут комнаты и тому подобное. (Эти годы жила в студенческих общежитиях — и этой завидной доли у меня не будет).*

*Мой адрес, вероятно: Чебоксары, Пединститут. Вероятно, в сентябре (если студенты уедут в колхозы) или зимой мне разрешат поехать в Москву. А может, и не разрешат»*<sup>[15]</sup>.

Все же отметим, что документы личного дела Надежды Яковлевны Мандельштам не содержат следов ни персонального приглашения Н.Я. из Читы, ни какого бы то ни было отказа от ее услуг, хотя бы и временного. В них задокументирован лишь тот непреложный факт, что с 1 сентября 1955 и по 20 июля 1958 гг. Н.Я. служила в Чебоксарах, — старшим преподавателем и даже исполняющим обязанности заведующего кафедрой английского языка Чувашского государственного педагогического института.

Сам город поразил Надежду Яковлевну своей почти деревенской неблагоустроенностью: «...*весь в оврагах, горах и глине. Грязь осенью страшная. Вдоль улиц в центре деревянные лестницы. — Тротуары. Дикая старина. Я еще по такому не ходила*»<sup>[16]</sup>. И в другом письме: «*Здесь деревянные тротуары и лестницы. Самый фантастический город-деревня на свете. Грязь доисторическая. Мою хозяйку и ровесницу дворник носил на руках в школу — пройти нельзя было. Сейчас кое-где есть мостовые, а горы из скользкой глины всюду. Таких оврагов я нигде не видела, а в детстве я хотела знать, что такое овраг. Чувашки очень серьезные, без улыбки, как армянки*»<sup>[17]</sup>.

Самое первое жилье — комната в доме по адресу Ворошилова 12, квартира Павловой — было просто ужасным: «*С квартирами здесь полная катастрофа, а из-за этого я могу вернуться. Сняла я комнату у сумасшедшей старухи — Вассы. 200 р. Каждое слово слышно. Проход через нее, и 3 километра до института по мосткам — (это вместо тротуаров). Но старуха уже гонит меня (за папиросы). Форточки нет. Воды нет. Постирать нельзя. Вымыться за 5 верст*»<sup>[18]</sup>. Позднее она жила по адресу: Кооперативная ул., 10, кв. 13.

Педагогический институт, основанный в 1930 году, располагался по улице К. Маркса, 38. В 1958 году — в год, когда Н.Я. Мандельштам распростилась с институтом — ему было присвоено имя И.Я. Яковлева — чувашского педагога и просветителя<sup>[19]</sup>.

Факультет иностранных языков, на котором работала Н.Я. Мандельштам, был открыт в 1951 году. Спустя два месяца после переезда в Чебоксары, 10 ноября 1955 года, Н.Я. Мандельштам пришлось возглавить кафедру — женский коллектив из 14 душ.

Фактически это произошло даже раньше — в октябре. Подоплека — в письме Н.Я. к Василисе Шкловской: «*Здесь пока хорошо. Хотя есть трудности.*

*Здесь я «зава», но мне пока не платят за это денег. Девки с кафедры — их 14 — пока что выжили зав. кафедрой (за дело). Сейчас заранее ненавидят меня. Я их собираюсь успокоить. Их 14!!!»* [20].

Тогда же, в ноябре 1955 года, когда студенты были на педагогической практике, Н.Я. провела пять недель в Москве. Но и в Чебоксарах до марта все свободное время она занималась лишь диссертацией, которую благополучно защитила 26 июня 1956 года [21].

На успешности защиты, возможно, сказался и XX съезд КПСС со всеми его последствиями: многие «доброжелатели» Н.Я. испытали тогда что-то вроде контузии и явно прикусили язык. За гибель мужа Надежда Яковлевна получила 5 000 рублей компенсации — деньги пошли на раздачу долгов, покупку каблукковского «Камня» и на съём дачи на лето в Верее.

А весной того же года Н.Я. получила анонимку с угрозами смертной мести, но не за правду-матку о ГУЛАГе, а за... плохие отметки на экзамене! [22]

В бытовом отношении жизнь была трудной, а питание — никуда не годным. В одном из писем Н.Я. просит прислать ей из Подмосковья масло, кофе в зернах, лимоны и апельсины: «Я сильно болею желудком — с чего бы? Пью боржом, но здесь нет ни фруктов, ни масла, так что нельзя есть манную кашку» [23].

Если сравнивать чебоксарские годы Н.Я. с ульяновскими, псковскими и даже читинскими, то с изумлением замечаешь, что меньше всего известно именно о чебоксарском круге общения Н.Я. Ни воспоминания, ни письма, ни тем более официальные документы не содержат ни одного упоминания о ее внеинститутских контактах — ни единого имени!

## 2



«Личное дело» Надежды Яковлевны Мандельштам («зав. кафедрой английского языка и ст. преподавателя», как указано на обложке), хранящееся в архиве Чувашского педуниверситета им. Я.А. Яковлева (АЧГУЯ), было начато 15 мая 1955 года и окончено в 1958 году (число и месяц не проставлены).

Открывают его стандартные личный листок по учету кадров (л.1-2, с оборотами), ценный главным образом неизвестной до этого фотографией Н.Я. Мандельштам, и автобиография, написанная на тетрадном, в клеточку, листе (л.3). Информационно она ничем не отличается от аналогичного текста, написанного в Ульяновске — разве что тем, что, называя Осипа Эмильевича, она уже не сообщает о его репрессированности.

Следующий документ дела Н.Я. Мандельштам датирован 31 августа — это приказ № 395 заместителя начальника Главного управления вузов о ее назначении старшим преподавателем в порядке перевода (л.4). Далее (л. 5 и 6) к делу подшиты две телеграммы, адресованные директору (так тогда называли ректоров) вуза К.Е. Евлампьеву.

Первая — от упомянутого Клецкина с дайджестом соответствующего приказа, а другая — от самой Н.М., с сообщением о 4 сентября как о времени ее приезда в Чебоксары.

Далее следовало несколько документов, квалифицирующих Н.Я. Мандельштам как филолога, в частности, нотариально заверенные копии диплома Н.Я. Мандельштам о получении высшего образования и справки об экзаменах по кандидатскому минимуму, сданных Н.Я. Мандельштам, а также выписка из протокола заседания Ученого совета Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена (л.7, 8 и 12).

Следующий документ в деле Н.Я. Мандельштам — характеристика с места предыдущей работы в Чите, датированная 10 января 1955 года (л.9):

На основании вышеперечисленных документов Чувашский пединститут подготовил и издал свой приказ № 96 от 8 сентября 1955 года [24], согласно которому Н.М. оплачивался переезд и устанавливался оклад в 1650 рублей, что на 150 рублей больше, чем в Ульяновске.

Еще задолго до успешной защиты Н.Я. и спустя всего 1,5-два месяца со дня начала работы в Чебоксарах неожиданно-негаданно произошел взлет педагогической карьеры Надежды Яковлевны: 20 октября 1955 года ее рекомендовали и 10 ноября, приказом № 840, назначили исполняющей обязанности заведующего кафедрой английского языка института — правда, без прибавки к жалованью (л.13).

К приказу была подготовлена и соответствующая характеристика, в которой, в частности, можно прочесть:

*«За время своей работа тов. Мандельштам Н.Я. проявила себя как высококвалифицированный педагог, владеющий в совершенстве как английским языком, так и методикой его преподавания на факультете иностранных языков. Лекции и практические занятия тов. Мандельштам проводит на должном идейно-теоретическом уровне. Чуткий и отзывчивый товарищ. Н.Я. Мандельштам много помогает молодым преподавателям как в организации учебно-методической работы, так и в работе по повышению квалификации» (л.14).*

На этом документы, связанные с началом работы вдовы поэта в Чебоксарах, в ее личном деле завершаются. Документов за 1956-1957 гг. в нем нет вовсе (если не считать выписки о защите диссертации). Завершает же дело серия документов, связанных с отъездом Н.Я. Мандельштам из столицы Чувашии.

16 июня 1958 года директор вуза издал приказ № 74 об освобождении Н.Я. Мандельштам, согласно ее желанию, от заведывания кафедрой, начиная с 20 июня (л.16) [25].

Мысленно Надежда Яковлевна была уже далеко от Чебоксар — в Москве, где разгорелась борьба за предоставление ей прописки и площади. Об этом она откровенно пишет директору К.Е. Евлампьеву 15 июля 1958 года (л.20-20об.):

*«Уважаемый Константин Евлампьевич! Прошу Вас распорядиться, чтобы мне прислали справку о занимаемой мной в Чебоксарах комнате. Нужно отметить, что это общежитие института, и я живу на площади, предоставленной мне институтом.*

*Мои комнатные дела обстоят так: Союз Писателей постановил выделить мне комнату в своем доме (вновь построенный жилой дом). Списки, получивших квартиры, направляются в Моссовет. Людям из других городов*

*обычно ордеров не дают, да и просят о площади для них весьма редко. Но Союз Писателей могучая организация и, может, добьется своего, если будет активен.*

*Вот такое положение моих дел. Вероятно, через месяц выяснится, дадут ли мне ордер и прописку. Сообщу вам немедленно и приеду в Чебоксары. Кафедра без меня может обойтись: так составлялась нагрузка, чтобы, сделав передвижку, разделить мои часы; почасовик Данилова может быть принята на работу на освободившееся место. Она очень хороший работник. Мы об этом варианте говорили на кафедре (т.е. мнение не мое личное).*

*Но очень возможно, что я вернусь, т.к. получение комнаты в Москве для иногородних это чудо, а чудеса не частая вещь.*

*Надежда Мандельштам*

*Мой адрес: Верея, райцентр Московской области, Первая Спартакоская 22. Мандельштам. Справку прошу направить по адресу: Москва, ул. Воровского 52; Союз Писателей; Управление делами. Лихтенгуль А.Я. Прилагаю формальное заявление».*

Формальное заявление (л. 19) было действительно приложено, и на нем директор начертал резолюцию: «Справку выслать. Заявление — в личное дело. КЕвст. 18.7.58».

Так что хронологически «Дело» Н.Я. Мандельштам и завершает искомая справка № 1244 от 18 июля 1958 года (л. 18):

*Дана настоящая ст. преподавателю кафедры английского языка МАН-ДЕЛЬШТАМ Надежде Яковлевне в том, что она проживает в г. Чебоксарах Чувашской АССР в старом деревянном общежитии на площади 11 кв. метров. Дом в 1958 году предназначен для сноса, на месте которого будет строиться общежитие для студентов. Выдана по личной просьбе.*

*Директор Чувашского педагогического института имени И.Я. Яковлева К. ЕВЛАМПЬЕВ.*

Чуда, однако, не произошло, в Чебоксарах уже начался семестр, место Н.Я. было уже занято, и в результате получился «третий вариант»: Н.М. осталась зимовать в советском «Барбизоне» — Тарусе<sup>[26]</sup>.

## Примечания:

[1] Благодарю Д. Нечипорука за ценные замечания.

[2] Из стихотворения Ахматовой «Немного географии» (1937), посвященного О.М.

[3] Факультет иностранных языков был организован в 1952 г. — в составе двух отделений — английского и немецкого языков. Директором института в это время был, по одним сведениям, А.В. Мальцев (см.: <http://www.zabgu.ru/article/1574>), по другим — В.П. Ефимов (*Баркин Г.А. Создание Читинского пединститута // Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет. История и современность: 1938-2008. Чита*).

[4] СПФ АРАН. Ф. 896. Оп. 1. Д. 272 (Сообщено Л.Г. Степановой).

[5] *Селина М. Хранящий тайны // Забайкальский рабочий. Чита, 5.12.2002. С. 4.*

[6] *Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1999. С.155-156.*

- [7] Впоследствии профессор и ректор Иркутского государственного лингвистического университета.
- [8] *Селина М.* Хранящий тайны // Забайкальский рабочий. Чита. 2002, 5 декабря. С. 4
- [9] Это утверждение не стыкуется со свидетельствами самой Н.М. (см. выше).
- [10] *Селина М.* Хранящий тайны // Забайкальский рабочий. Чита. 2002, 5 декабря. С. 4
- [11] Эта характеристика осела в личном деле Н. Мандельштам в архиве ее следующего работодателя — Чувашского пединститута в Чебоксарах.
- [12] Благодарю ректора Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева Б.Г. Миронова и сотрудников университетского архива за содействие в подготовке этой публикации. Особая благодарность профессору Чебоксарского университета в отставке Д.С. Гордон за инициацию контакта с Г.Г. Тенюковой и самой Г.Г. Тенюковой, взявшей на себя непростой труд по розыску и копированию личного дела Н.Я. Мандельштам.
- [13] Альтернативой Чебоксарам вполне мог бы стать... Воронеж, но приглашение оттуда пришло уже после того, как Н. Мандельштам была зачислена в штат.
- [14] *Мандельштам Н.* Вторая книга. М., 1999. С.592.
- [15] Н.Я. Мандельштам — А.А. Суркову, 31 июля 1955 г. (РГАЛИ. Ф.1899. Оп.1. Д.418)
- [16] Письмо Н.Я. В.В. Шкловской-Корди от 16 сентября 1955 г. (здесь и далее — сообщено Ю.Л. Фрейдиным, одним из подготовителей соответствующей публикации в сборнике «Надежда Яковлевна»).
- [17] Письмо Н.Я. В.В. Шкловской-Корди, от 24 сентября 1955 г.
- [18] Письмо Н.Я. В.В. Шкловской-Корди от 11 сентября 1955 г. И в том же письме чуть ниже: «Вероятно, я удеру — из-за квартирных условий. Здесь больно легко задохнуться — в комнатах без форточек».
- [19] В 1998 г. институт был преобразован в Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева.
- [20] Письмо Н.Я. В.В. Шкловской-Корди от 2 октября 1955 г. (сообщено Ю.Л. Фрейдиным).
- [21] На получение диплома ВАК (Высшей аттестационной комиссии) ушло еще полгода (№ 000345 от 14 февраля 1957 г.). Подробнее обо всем, что связано с диссертацией, см. в: Дисциплина: партийное против академического. Вокруг кандидатской диссертации Н.Я. Мандельштам // Новое литературное обозрение. 2014. № 128. С.158-188.
- [22] Ср. в наст. издании в письме к В.В. Шкловской-Корди от 6 марта 1956 г.: «Из новостей — получила письмо — анонимное. Зарезжут, если будут плохие отметки. Такое со мной в первый раз. Письмо у директора. Что он с ним делает — не знаю. Господи!». И в следующем письме — от 19 марта: «Скоро буду экзаменовать тех, что грозились убить. Двойки будут... У меня одна надежда — они советовали не ходить вечером, т.к. резать будут вечером. Я не буду выходить по вечерам».
- [23] Письмо Н.Я. В.Г. и В.В. Шкловским-Корди от 11 марта 1957 г.
- [24] Отразился в ее личном деле выпиской (л.11).
- [25] Ее заменил в этом качестве ст. преподаватель Ю.Н Тютиков (л.17).
- [26] См.: *Нерлер П.* Надежда Яковлевна и «Н. Яковлева» в Тарусе. Вокруг «Тарусских страниц» // Информпространство. Живое слово. 2014. № 186. В сети: [http://www.informprostranstvo.ru/N186\\_2014/pavelnerler.html](http://www.informprostranstvo.ru/N186_2014/pavelnerler.html)



# Александр Лейзерович

## ТЕТРАДЬ В.Ф.ОДОЕВСКОГО

(стихи последнего года жизни)

Неполных двадцать семь лет жизни Лермонтова — как если бы Пушкин умер в 1825 году в Михайловской ссылке. Поразительно, как за такой короткий жизненный срок он успел дорасти до написанного им и встать рядом с Пушкиным в сердцах всей «читающей России». Публицист и философ Юрий Фёдорович Самарин, один из идеологов славянофильства, записывает в дневнике 31 июля 1841 года: «Лермонтов убит. Его постигла одна участь с Пушкиным. Невольно сжимается сердце и при новой утрате болезненно отзываются старые: Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов. Становится страшно за Россию». Его идейный противник, глава «западников», профессор Московского университета Тимофей Николаевич Грановский пишет сёстрам: «По-прежнему печальные новости. Лермонтов, единственный человек в России, способный напомнить Пушкина, умер той же смертью, что и последний...»



Михаил Юрьевич Лермонтов,  
гравюра на дереве  
Ф.Д. Константинова



Место дуэли Лермонтова, фото 1896 г.

Дуэль состоялась у подножия горы Машук близ Пятигорска на Северном Кавказе. Через 80 лет, в 1921 году оказавшись в этих местах, Велемир Хлебников медитировал:

*На родине красивой смерти — Мащуге,  
Где дула войскового дым  
Обвил холстом пророческие очи,  
Большие и прекрасные глаза,  
И белый лоб широкой кости.  
Певца прекрасные глаза,  
Чело прекрасной кости  
К себе на небо взяло небо,  
И умер навсегда железный стих,  
Облитый горечью и злостью.  
... И в небесах зажглись, как очи,  
Большие серые глаза.  
И до сих пор живут средь облаков,  
И до сих пор им молятся олени,  
Писателю России с туманными глазами,  
Когда полет орла напишет над утёсом  
Большие медленные брови ...*

Уезжая на Кавказ в апреле 1841 года, Лермонтов был полон печальных предчувствий, он был уверен, что не вернётся. Или романтически настраивал себя на готовность к этому? Правда, свою смерть он представлял по-иному. В Москве по дороге на Кавказ, Лермонтов записывает:

### Сон

*В полдневный жар в долине Дагестана  
С свинцом в груди лежал недвижим я;  
Глубокая ещё дымилась рана,  
По капле кровь точилась моя.*

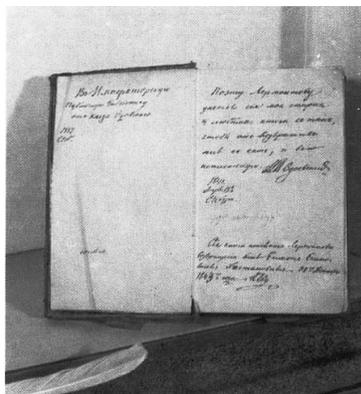
*Лежал один я на песке долины;  
Уступы скал теснились кругом,  
И солнце жгло их жёлтые вершины  
И жгло меня — но спал я мёртвым сном.*

*И снился мне сияющий огнями  
Вечерний пир в родимой стороне.  
Меж юных жён, увенчанных цветами,  
Шёл разговор весёлый обо мне.*

*Но в разговор весёлый не вступая,  
Сидела там задумчиво одна,  
И в грустный сон душа её младая  
Бог знает чем была погружена;*

*И снилась ей долина Дагестана;  
Знакомый труп лежал в долине той;  
В его груди дымясь чернела рана,  
И кровь лилась хладеющей струёй.*

Стихотворение это было записано в альбоме или, можно сказать, тетради или книге для записей — в коричневом кожаном переплёте с надписью на форзаце: “Поэту Лермонтову даётся моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил



“Тетрадь В.Ф. Одоевского”

мне её сам и всю исписанную. Князь В. Одоевский. 1841 апреля 13-е СПбург”. Из пояснительной пометки внизу явствует, что “книга покойного Лермонтова” была возвращена Одоевскому родственником поэта 30 декабря 1843 года. Копия этой книги выставлена в музее-усадьбе «Тарханы», а оригинал находится в Петербурге в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина как дар самого князя Одоевского.

В этой тетради Лермонтовым были записаны стихотворения последних трёх месяцев его жизни — конец апреля, май, июнь, первая половина июля. Стихотворение «Сон» не первое — ему предшествуют «Спор» (“Как-то раз перед толпою соплеменных гор...”) и «Утёс» (“Ночевала тучка золотая...”), написанные в дороге из Петербурга в Москву.

Удивительно, но в разных статьях и изданиях указывается различное число стихотворений, записанных в тетрадь: от девяти до четырнадцати и даже шестнадцати, хотя, казалось бы, так просто — перелистать, если не оригинал, то факсимильную копию, и пересчитать. Учитывая набросанное начерно карандашом и переписанное набело чернилами, можно, кажется, дойти до истины. Из числа “канонических” стихотворений Лермонтова, в “тетради Одоевского” были записаны: вышеупомянутые «Спор», «Сон» и «Утёс», а также: подражание Гейне “Они любили друг друга так долго и нежно...”, «Дубовый листок», «Царица Тамара», «Свиданье» (“Уж за горой дремучею Погас вечерний луч...”), “Нет, не тебя так я пылко я люблю...”, “Выхожу один я на дорогу...”, баллада «Морская царевна» и, самое последнее, «Пророк» — итого одиннадцать. Но, кроме них, в тетради наличествуют также стихотворение «L’Attente», то есть «Ожидание», написанное по-французски и обычно воспроизводимое разве что в прозаическом переводе на русский, и два отрывка-наброска, печатаемых лишь в академических изданиях. Итак, с учетом стихотворения по-французски и двух набросков — 14 стихов. Но прежде, чем вернуться к самим стихам, надо сказать о том, кто вручил Лермонтову эту тетрадь, “чтобы он возвратил мне её сам и всю исписанную”, и о том, что привело Лермонтова на Кавказ.



Владимир Фёдорович Одоевский (1803-69)

Князь Владимир Фёдорович Одоевский сам по себе был весьма примечательной фигурой. Он принадлежал к одному из знатнейших и древнейших русских родов, старшей ветви Рюриковичей. По отцу был прямым потомком черниговского

князя Михаила Всеволодовича, замученного в 1246 году в Орде и причисленного к лику святых, а мать была из крепостных. Одоевский известен как издатель, писатель, философ, педагог, музыковед, общественный деятель. Вместе с Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером он издавал альманах Мнемозина, где печатались Пушкин, Грибоедов, Баратынский, Языков. Впоследствии сотрудничал с Пушкиным в издании Современника, а после смерти Пушкина взял выпуск журнала на себя. Был (вместе с Андреем Александровичем Краевским) соредактором журнала Отечественные записки, откуда и произошло его знакомство с Лермонтовым в 1838 году.

Одоевскому было адресовано одно из последних писем Пушкина. На предложение принять участие в издании Детского журнала Пушкин отвечал: “Батюшка, Ваше сиятельство! Побойтесь Бога: я ни Львову, ни Очкину, ни детям — ни сват, ни брат. Зачем мне *сот-действовать* Детскому журналу? уж и так говорят, что я в детство впадаю. Разве уж не за деньги ли? О, это дело не детское, а дельное. Впрочем, поговорим”.

Сам Одоевский был автором одного из первых в русской литературе произведений, написанных для детей, которое и до сих пор можно читать просто так, удовольствия ради, — я имею в виду сказку «Городок в табакерке». Когда-то Розой Иоффе по ней была сделана великолепная радиопостановка с Николаем Литвиновым и Валентиной Сперантовой. Рядом с этой сказкой можно поставить разве что волшебную повесть «Чёрная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского (псевдоним Алексея Алексеевича Перовского). А ещё Одоевский выпустил Пёстрые сказки с красным словцом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою, восхищавшие Владимира Ивановича Даля своим свободным и ярким языком. Литературную маску Гомозейки Одоевский использовал до конца своих дней.

Одоевский был автором первого русского фантастическо-утопического романа «4338-й год», написанного в 1837 году, то есть с заглядом вперёд на 2500 лет. Между прочим, там он предсказал нечто вроде телефона и интернета: “между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии разговаривают друг с другом”. А ещё он придумал, что “будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько страниц можно пропустить без изъяна”, то есть что-то вроде поисковика.

Одоевский, наряду с тем же Антонием Погорельским, явился и зачинателем “российской гофманианы” — романтическо-фантастических повестей, первой из которых был его «Последний квартет Бетховена». Гоголь писал о нём: “Воображения и ума — куча! Это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке!” Историки литературы также высоко оценивают философский роман Одоевского «Русские ночи» о судьбах культуры и смысле истории, о прошлом и будущем Запада и России.

В общем, удивительно интересный был человек! Писатель Иван Иванович Панаев так описывает своё впечатление от знакомства с Одоевским: “Когда я в первый раз был у Одоевского, он произвёл на меня сильное впечатление. Его привлекательная симпатическая наружность, таинственный тон, с которым он говорил обо всём на свете, беспокойство в движениях человека, озабоченного чем-то серьёзным, выражение лица постоянно задумчивое, размышляющее, — всё это не могло не подействовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленного необыкновенными столами с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями; книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на ок-

нах — и притом в старинных пергаментных переплётках с писанными ярлычками на задках; портрет Бетховена с длинными седыми волосами и в красном галстуке; различные черепа, какие-то необыкновенной формы стклянки и химические реторты. Меня поразил даже самый костюм Одоевского: чёрный шёлковый, вострый колпак на голове, и такой же, длинный, до пят сюртук — делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика”.

В этом самом кабинете Лермонтов был у Одоевского в последний свой день в Петербурге перед возвращением на Кавказ.

Теперь надо ещё вспомнить, почему Лермонтов оказался на Кавказе. Для этого придётся вернуться в 1840 год. Лермонтов встречал его в глубокой меланхолии:

*И скучно и грустно, и некому руку подать  
В минуту душевной невзгоды...  
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?  
А годы проходят — все лучшие годы!*

*Любить... но кого же?.. На время — не стоит труда,  
А вечно любить невозможно.  
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:  
И радость, и муки, и всё там ничтожно ...*

*Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг  
Исчезнет при слове рассудка;  
И жизнь, как помотришь с холодным вниманьем вокруг, -  
Такая пустая и глупая шутка ...*



Дуэль, рисунок Лермонтова

В феврале 1840 года Лермонтов был на балу у графини Лаваль (тёщи декабриста Сергея Трубецкого), где произошла его стычка с сыном французского посла Эдуардом де Барангом, которая кончилась тем, что Баранг вызвал Лермонтова на дуэль. Считается, что ссора произошла из-за княгини Марии Щербатовой, за которой оба ухаживали. Приятель Лермонтова Аким Шан-Гирей свидетельствовал в воспоминаниях, что “слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранга... и на завтра была назначена встреча”. Дуэль состоялась за Чёрной речкой, на Парголовской дороге. Секундантами были близкий друг и дальний родственник Лермонтова Алексей Столыпин по прозвищу Монго (дворянский дядя, на два года моложе Лермонтова) и француз граф Рауль д’Англес. Лицейский однокашник Пушкина Модест Корф меланхолически занёс в дневник:

“Странно, что лучшим нашим поэтам приходится драться с французами: Дантес убил Пушкина, и Баранг, верно, точно также убил бы Лермонтова, если б не поскользнулся, нанося решительный удар, который только оцарапал тому грудь”.

Поединок сначала шёл “по-французски” — на шпагах, а затем (из-за обломанного кончика шпаги Лермонтова) был продолжен “по-русски” — на пистолетах. Баранг промахнулся, а Лермонтов выстрелил, не целясь, в воздух. За участие в дуэли Лермонтов был предан военному суду и до вынесения приговора посажен на гауптвахту. 13 апреля 1840 года последовал вердикт Николая I: “Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином”. Лермонтов служил в Лейб-гусарском полку, и перевод из гвардии в армейский пехотный полк был стандартным, хотя и довольно чувствительным наказанием, тем более что сопровождался обычно негласным предписанием об ограничении в награждениях и продвижении по службе. Тенгинский полк стоял на Северном Кавказе, и в начале июля 1840 года Лермонтов через Ставрополь прибыл в крепость Грозная, куда был назначен для экспедиции против горцев.



Портрет молодой женщины,  
рис. Лермонтова

Марии Алексеевне Щербатовой, ставшей невольной причиной ссылки Лермонтова, было тогда около 20 лет. Была она дочерью украинского помещика Штерича; в 1837 году вышла замуж за князя Щербатова; брак был несчастлив, муж оказался, как пишет дальняя родственница, “дурной человек, но, к счастью для молодой женщины, умер через год после венчания”. Есть её словесный портрет в стихах Лермонтова, написанных тогда, в 1840 году, по дороге в полк.

*На светские цепи,  
На блеску томительный бала  
Цветущие степи  
Украины она променяла,  
Но юга родного  
На ней сохранилась примета  
Среди ледяного,  
Среди беспощадного света.*

*Как ночи Украины,  
В мерцании звезд незакатных,  
Исполнены тайны  
Слова её уст ароматных,  
Прозрачны и сини,  
Как небо тех стран, её глазки,  
Как ветер пустыни,  
И нежат и жгут её ласки.  
И зреющей сливы  
Румянец на щёчках пушистых*

*И солнца отливы  
Играют в кудрях золотистых.*

*И, следуя строго  
Печальной отчизны примеру,  
В надежду на бога  
Хранит она детскую веру;*

*Как племя родное,  
У чуждых опоры не просит  
И в гордом покое  
Насмешку и зло переносит;*

*От дерзкого взора  
В ней страсти не вспыхнут пожаром,  
Полюбит не скоро,  
Зато не разлюбит уж даром.*

В начале июля отряд, куда был назначен Лермонгов, выступил в поход и после ряда мелких стычек 11 июля 1840 года выдержал жестокий бой при речке Валерик.

В «Журнале военных действий» отмечено: «Тенгинского полка поручик Лермонгов во время штыма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об её успехах, что



Стычка на Кавказе, рис. Лермонтова

было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы”.

Этому бою было посвящено большое стихотворение Лермонтова, которое обычно так и обозначается — «Валерик», начинающееся следующими строками:

*Я к вам пишу: случайно, право!  
Не знаю, как и для чего.  
Я потерял уж это право.  
И что скажу вам? — ничего!*

*Что помню вас? — но, Боже правый,  
Вы это знаете давно.  
И вам, конечно, всё равно.  
И знать вам также нету нужды,*

*Где я? что я? в какой глуши?  
Друг другу мы давно уж чужды,*

*Да вряд ли есть родство души.  
Страницы прошлого читая,*

*Их по порядку разбирая,  
Разуверяюсь я во всём...  
Безумно ждать любви заочной —  
В наш век все чувства лишь на срок;*

*Но я вас помню — да и точно,  
Я вас никак забыть не мог.  
Во-первых, потому что много  
И долго, долго вас любил,*

*Потом страданьем и тревогой  
За дни блаженства заплатил;  
Потом в раскаяньи бесплодном  
Влачил я цепь тяжёлых лет*

*И размышлением холодным  
Убил последний жизни цвет.  
С людьми сближаясь осторожно,  
Забыл я шум молодых проказ,*

*Любовь, поэзию... — но вас  
Забить мне было невозможно ...*

По свидетельству Акима Шан-Гирея, стихи эти были обращены Лермонтовым к Варваре Александровне Лопухиной, сестре его товарища по университету, в замужестве Бахметевой, чувство к которой Лермонтов, по словам Шан-Гирея, “едва ли не сохранил... до самой смерти своей”.

Лермонтов описывает сам бой:

*...Едва лишь выбрался обоз  
В поляну, дело началось;  
Чу! в арьбергарад орудья просят;  
Вот ружья из кустов выносят,*

*Вот тащат за ноги людей  
И кличут громко лекарей;  
А вот и слева, из опушки,  
Вдруг с гиком кинулись на пушки;*

*И градом пуль с вершин дерев  
Отряд осыпан. Впереди же  
Все тихо — там между кустов  
Бежал поток. Подходим ближе.*

*Пустили несколько гранат;  
Ещё продвинулись; молчат;  
Но вот над брёвнами завала  
Ружьё как будто заблестало;  
Потом мелькнуло шапки две;*



Эпизод из боя при р. Валерик. С акварели  
М. Лермонтова и Г. Гагарина, 1840.

*И вновь всё спряталось в траве.  
То было грозное молчанье,  
Не долго длилось оно,  
Но в этом странном ожиданье*

*Забилось сердце не одно.  
Вдруг залп ... глядим: лежат рядами,  
Что нужды? здешние полки  
Народ испытанный... В штыки,  
Дружнее! раздалось за нами.*

*Кровь загорелась в груди!  
Все офицеры впереди...  
Верхом помчался на завалы  
Кто не успел прыгнуть с коня...*

*Ура! — и смолкло. — Вон кинжалы,  
В приклады! — и пошла резня.  
И два часа в струях потока  
Бой длился. Резались жестоко,  
Как звери, молча, с грудью грудь,*

*Ручей телами запрудили...  
Хотел воды я зачерпнуть -  
И зной, и битва утомили  
Меня — но мутная волна  
Была тепла, была красна...*

Лермонтов продолжает:

*А там вдали грядой нестройной,  
Но вечно гордой и спокойной,  
Тянулись горы — и Казбек  
Сверкал главой остроконечной.*

*И с грустью тайной и сердечной  
Я думал: жалкий человек.  
Чего он хочет!.. небо ясно,  
Под небом места много всем,*

*Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он — зачем?..*

Это было не первое знакомство Лермонтова с Кавказом. До того, ещё в детстве, его трижды вывозили на лето в северокавказские имения родственников — в 1818, 20-м и 25-м годах, а в 1837 году Лермонтов был отправлен в свою первую ссылку на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк за стихи на смерть Пушкина, особенно их заключительную часть. По-своему, Николай был прав. Любои, оказавшись на месте императора, просто вынужден был бы наказать поэта, осмелившегося написать:

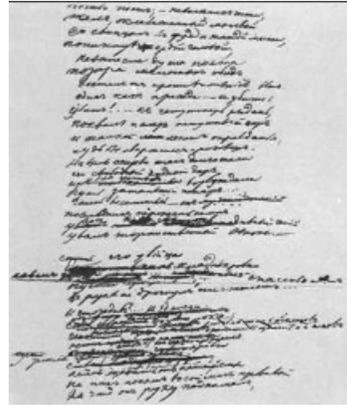
*А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов,  
Пятою рабскою поправивше обломки  
Игрою счастья обиженных родов!*

*Вы, жадною толпой стоящие у трона,  
Свободы, Гения и Славы палачи!  
Таитесь вы под сению закона,  
Пред вами суд и правда — всё молчи!..*

*Но есть и Божий Суд, наперсники разврата!  
Есть грозный Судия: Он ждёт;  
Он недоступен звону злата,  
И мысли, и дела Он знает наперёд.*

*Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:  
Оно вам не поможет вновь,  
И вы не смаете всей вашей чёрной кровью  
Поэта праведную кровь!*

В 1837 году Нижегородский драгунский полк, куда был направлен Лермонтов, участия в боях с горцами не принимал. Так что тогда Николай обошёлся с Лермонтовым вполне милостиво, и кавказская ссылка Лермонтова была заведомо легче, скажем, чердынской или воронежской ссылки Мандельштама. Может быть, Николай, как Сталин по отношению к Мандельштаму, не исключал возможности ещё “приручить” Лермонтова, как самому Николаю удалось “приручить” Пушкина, добиться его доверия и дожидаться от него хвалебных стихов. Основания к этому, в общем-то, были — даже то самое “возмутительное” стихотворение «Смерть поэта» одновременно с заключительной, самой крамольной частью получило и вполне верно-подданический эпиграф: “Отмщенье, Государь, отмщенье! Паду к ногам Твоим: Будь справедлив и накажи убийцу, Чтоб казнь его в позднейшие века Твой правый суд потомству возвестила, Чтоб видели злодеи в ней пример” — из трагедии «Венцеслав» французского драматурга Ротру.



Черновой автограф стихотворения  
«Смерть поэта»



Лермонтов, Автопортрет, 1838»

Через год, в 1838 году, по настойчивым просьбам бабушки Лермонтова, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, Николай “простил” Лермонтова и вернул его в гвардию. Ходатайство бабушки было поддержано и начальником III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии Бенкендорфом, который резонно отмечал, что дерзкого поэта, от которого неизвестно чего ещё можно ожидать, лучше держать под приглядом в столице, да и воздействовать на него в этом случае будет проще.

Именно тогда, в год своей первой кавказской ссылки Лермонтов написал автопортрет в драгунском мундире и бурке.

Из статьи Ираклия Луарсабовича Андроникова «Образ поэта»: “Лермонтовские портреты принадлежат художникам не столь знаменитым, как те, что писали Пушкина,

способным, однако, передать характерные черты, а тем более сходство. Но несмотря на все их старания, они не сумели схватить жизни лица, оказались бессильны в передаче духовного облика Лермонтова, ибо в их изображениях нет главного — поэта! И пожалуй, наиболее убедительны из бесспорных портретов Лермонтова — акварельный автопортрет на фоне Кавказских гор, в бурке, с кинжалом на поясе, с огромными печально-взволнованными глазами и беглый рисунок Д. Палена (Лермонтов в профиль, в смятой фуражке). Два этих портрета представляются нам похожими более других, потому что они внутренне чем-то сходны между собой и при этом гармонируют с поэзией Лермонтова. Дело, видимо, не в портретах, а в неуловимых чертах поэта”.



Лермонтов, рисунок Д. Палена,  
1840

Андронников продолжает: “Если мы обратимся к воспоминаниям о Лермонтове, то сразу же обнаружим, что люди, знавшие его лично, в представлении о его внешности совершенно расходятся между собой. Одних поражали большие неподвижные глаза поэта, другие запомнили выразительное лицо с необыкновенно быстрыми маленькими глазами. Один из юных читателей Лермонтова, которому посчастливилось познакомиться с поэтом в последний год его жизни, был поражён: “То были скорее длинные щели, а не глаза, и щели полные ума и злости.” На этого мальчика неизгладимое впечатление произвела вся внешность Лермонтова: огромная голова, широкий, но не высокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, желтоватое, нос вздёрнутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики, коротко остриженные волосы. И — сардоническая улыбка”.

Стоит, наверно, дополнить это описание впечатлением молодого Ивана Сергеевича Тургенева, видевшего Лермонтова на бале-маскараде в декабре 1839 года: “Какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица и неподвижно-тёмных глаз”. У Булата Окуджавы в романе «Путешествие дилетантов» — “поэт казался чрезмерно насмешлив, несоответствие скорби в глазах с едва уловимой усмешкой в каждом движении губ вызывало раздражение”.

Рисунок Палена был сделан в 1840 году, и согласитесь — на нём поэт выглядит заметно старше, чем на автопортрете двухлетней давности.

Тогда, в 1840 году, после боя у Валерика, Лермонтов совершил ещё один поход с отрядом генерала Галафеева и участвовал во множестве небольших, но жестоких схваток с горцами. Один из сослуживцев поэта вспоминал: “он был отчаянно храбр и удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов”. Генерал-лейтенант Галафеев представил Лермонтова к ордену святого Владимира 4-й степени с бантом (по другим источникам — святого Станислава 3-й степени) и лично ходатайствовал о возвращении его в гвардию. Вместо этого, военный министр Чернышёв сообщил командующему Отдельным кавказским корпусом, что “Государь Император, по всеподданнейшей просьбе госпожи Арсеньевой, бабки поручика Тенгинского пехотного полка Лермонтова, высочайше повелеть соизволил: офицера

сего, ежели он по службе усерден и в нравственности одобрителен, уволить к ней в отпуск в Санкт-Петербург сроком на два месяца”.

### Из Гёте

*Горные вершины  
Спят во тьме ночной;  
Тихие долины  
Полны свежей мглой;  
Не пылит дорога,  
Не дрожат листы...  
Подожди немного,  
Отдохнёшь и ты.*



Горные вершины спят во тьме ночной (фото)

Исходное стихотворение Гёте называется «Ночная песнь странника». Довольно близкий к оригиналу перевод Валерия Брюсова звучит так:

*На всех вершинах  
Покой;  
В листве, в долинах  
Ни одной  
Не дрогнет черты;  
Птицы спят в молчании бора.  
Подожди только: скоро  
Уснёшь и ты.*

Есть ещё переводы Иннокентия Анненского и Бориса Пастернака, явно уступающие, однако, переводу Брюсова в точности и переложению Лермонтова в обаянии. В своё время Фет писал: “Лермонтов перевёл известную пьесу Гёте; но уклонился от наружной формы оригинала. Что ж вышло? Две различные пьесы, одинаковые по содержанию, но не имеющие по духу, а затем и по впечатлению на читателя, ничего общего. Гёте заставляет взор наш беззаботно, почти весело скользить по высям гор и вершинам неподвижных дерев. Утешение... приходит к вам почти неожиданно и застаёт вас под влиянием объективного чувства. У Лермонтова с первого слова торжественная тишина заставляет предчувствовать развязку”.

В стиховедческих статьях, посвящённых этому стихотворению, оно трактуется как написанное несколько экзотичным для русской поэзии размером трёхстопного хоря, то есть каждая строка рассматривается как состоящая из трёх двухсложных с ударениями на первом слоге. Однако при озвучении стихотворения (правильном! его озвучении) первые слоги всех строк не должны быть сильными, становясь практически безударными. В результате каждая строка предстаёт как состоящая не из трёх, а из двух стоп: трёхсложной анапестной и двухсложной ямбической с ударением в обеих на последнем слоге. Благодаря этой разносложности строки звучат словно медленный перебор фортепианных клавиш. Акцентирование же первых, формально ударных слогов, обедняет, упрощает звучание.

14 января 1841 года Лермонтов получил отпускной билет и выехал из Ставрополя — через Новочеркасск, Воронеж, Москву — в Петербург. 4 февраля он был в Петербурге, а на следующий день неожиданно появился на балу у княгини Воронцовой-Дашковой, где ожидалось присутствие членов императорской фамилии. Появление ссыльного офицера в обществе “высочайших особ” (конкретно — великого князя Михаила Павловича) было расценено как ужасный эпатаж, и только заступничество хозяйки дома отвратило от Лермонтова неминуемое наказание — немедленную высылку в полк прежде окончания отпуска. Лермонтов писал кавказскому сослуживцу Бибикову “...я отправился на бал к госпоже Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал...”

Лермонтов подал прошение о выходе в отставку — ему было категорически отказано, и когда назначенный ему двухмесячный отпуск, продлённый ещё на месяц по ходатайству бабушки, подошёл к концу, Лермонтову было предписано в 48 часов покинуть Санкт-Петербург. Это было 11 апреля 1841 года.



Наталья Николаевна Пушкина, с портрета В. Гау (1842)

На следующий день друзья поэта собрались на прощальный вечер у дочери историка Карамзина Софьи Николаевны. Среди других были Жуковский, Плетнёв, Соллогуб, Ростопчина. Была там и Наталья Николаевна Пушкина, которая после почти четырёхлетнего пребывания в деревне вернулась в Петербург и снова стала бывать у Карамзиных. Разговор, произошедший тогда между Натальей Николаевной и Лермонтовым, через много лет (аж в 1908 году!) был пересказан со слов матери Александрой Петровной Араповой, урожденной Ланской:

“Нигде она (Наталья Николаевна) так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался её, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность. Это был Лермонтов.

Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз. Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению её души, будило в ней сочувственное эхо... Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести вечер к Карамзиным...

Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необычному побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около неё местом, с первых слов завёл разговор, поразивший её своей необычностью. Он точно стремился заглянуть в тайник её души, чтобы вызвать её доверие, и сам начал посвящать её в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каясь в резкости мнений, в беспощадности суждений, так часто отпалкивавших от него ни в чём перед ним неповинных людей... В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал: «...Я чуждался вас, малодушно подда-

ваясь враждебным влияниям... и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть её обаяние искренности,.. чтобы унести с собою... бесплодное сожаление о даром утраченных часах. Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать вам когда-нибудь другом...» Прощание их было самое задушевное...»

Сам факт длительной и дружественной беседы между Натальей Николаевной и Лермонтовым, подтверждается другими свидетелями, но доверяться чресчур уж красноречивой Александре Петровне в передаче слов Лермонтова вряд ли стоит.

Хозяйка салона Софья Николаевна Карамзина была заметно старше Лермонтова, и современные исследователи характеризуют отношение Лермонтова к ней как “доверчивую дружбу”, отмечая в то же время, что она отвечала ему “чем-то более глубоким и горячим”. В мае 1839 года всезнающая Александра Осиповна Смирнова-Россет писала Петру Андреевичу Вяземскому “Софья Николаевна решительно относится к Лермонтову”. Это “решительное отношение” отмечали и другие общие друзья, в том числе Жуковский и Плетнёв.

В прощальный вечер 12 апреля 1841 года, как пишет один из первых биографов Лермонтова Павел Александрович Висковатый, Лермонтов “растроганный вниманием к себе и непритворной любовью избранного кружка... стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою,” прочёл стихи, последние из напечатанных в только что вышедшем томике Стихотворения 1840 года:

*Тучки небесные, вечные странники!  
Степью лазурною, цепью жемчужною  
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники  
С милого севера в сторону южную.  
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?  
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?  
Или на вас тяготит преступление?  
Или друзей клевета ядовитая?  
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...  
Чужды вам страсти и чужды страдания;  
Вечно холодные, вечно свободные,  
Нет у вас родины, нет вам изгнания.*

Как уже упоминалось, на прощальном вечере у Карамзиных присутствовала ещё одна давняя знакомая Лермонтова — поэтесса графиня Евдокия Петровна Ростопчина. Незадолго перед этим Лермонтов подарил ей альбом с вписанными туда стихами:



Софья Николаевна Карамзина

Софья Николаевна Карамзина  
(1802-56)

*Я верю: под одной звездой  
Мы с вами были рождены;  
Мы шли дорогою одною,  
Нас обманули те же сны.*

*Но что ж! — от цели благородной  
Оторван бурей страстей,  
Я позабыл в борьбе бесплодной  
Преданья юности моей.*

*Предвидя вечную разлуку,  
Боюсь я сердцу волю дать;  
Боюсь предательскому звуку  
Мечту напрасную верить ...*

*Так две волны несутся дружно  
Случайной, вольною четой  
В пустыне моря голубой:  
Их гонит вместе ветер южный;*

*Но их разорвёт где-нибудь  
Утёса каменная грудь ...  
И, полны холодом привычным,  
Они несут брегам различным,*

*Без сожаленья и любви,  
Свой ропот сладостный и томный,  
Свой бурный шум, свой блеск заёмный  
И ласки вечные свои.*

В тот вечер 12 апреля Ростопчина сидела за ужином с Лермонтовым и братом хозяйки Андреем Николаевичем Карамзиным “втроем за маленьким столом”. Впоследствии, в письме к Александру Дюма-отцу, она вспоминала: “Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце”.



Лермонтов. Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби, 1837-38

На следующий день, перед самым отъездом, Лермонтов посетил Владимира Фёдоровича Одоевского, получил от него в подарок ту самую книгу или тетрадь

для записи стихов с надписью “чтобы он возвратил мне её сам и всю исписанную”. В качестве ответного дара Лермонтов вручил Одоевскому свою акварель. На обороте сохранилась надпись Одоевского: “Эта картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору...” По крайней мере, до недавнего времени акварель эта хранилась и экспонировалась в Пятигорском художественном музее.

По свидетельствам современников и по более позднему признанию самой Евдокии Петровны Ростопчиной или “Додо”, как её называли в свете, в течение трёх месяцев 1841 года, проведенных Лермонтовым в Петербурге, они встречались чуть ли не каждодневно, “постоянно, утром и вечером”. Незадолго до вынужденного отъезда Лермонтова Ростопчина посвятила ему стихотворение с многословными уверениями в том, как Лермонтову будет бесконечно плохо там, куда он едет. Надо сказать, довольно странное “дружеское утешение”...

При прощании Евдокия Петровна, вроде бы, шепнула Лермонтову коротенькую, в одно дыхание, французскую фразу: *Je vous attends* (Я вас жду). По-видимому, ответом стало французское стихотворение «L'attente» («Ожидание»), записанное в “тетрадь Одоевского” и вставленное потом Лермонтовым в письмо от 10 мая из Ставрополя Софье Карамзиной. В русском прозаическом переводе это стихотворение звучит так:

“Я жду её в темной долине. Вдали, вижу, белеет призрак, который приближается. Но нет! Обманчива надежда! То старая ива качает свой сухой и блестящий ствол. Я наклоняюсь и долго прислушиваюсь; мне кажется, что я слышу звук лёгких шагов по дороге. Нет, не то! Это шелестит лист во мху, колеблемый душистым ветром ночи. Полный горькой тоски, я ложусь в густую траву и засыпаю глубоким сном. Вдруг я вздрагиваю и просыпаюсь: её голос шепчет мне на ухо, её уста целуют мой лоб.”

Комментаторы единодушны в том, что стихотворение это не имеет отношения к адресату письма, то есть к Софье Николаевне Карамзиной, и рассчитанно на то, что таким вот окольным путём оно надёжнее дойдёт до истинного адресата, каковым лермонтоведы считают Додо — Евдокию Петровну.

На том же приёме 12 апреля у Карамзиных, Лермонтов разговаривал с сыном Петра Андреевича Вяземского Павлом Петровичем — будущим сенатором, председателем Комитета по печати, видным деятелем народного просвещения, исследователем «Слова о полку Игореве». Но всё это — в будущем, а тогда ему был всего 21 год. Речь шла о стихотворении Генриха Гейне «Ель и пальма» из раздела «Лирическое интермеццо» Книги песен. По воспоминаниям Шан-Гирея, год назад, когда Лермонтов сидел под арестом на гауптвахте за дуэль с Барантом, он сам (то есть Шан-Гирей) принёс Лермонтову эту книгу стихов Гейне, и Лермонтов что-то переводил оттуда. В этот вечер у Карамзиных Софья Николаевна принесла и вру-



Евдокия Петровна Ростопчина  
(1811-58)

чила Лермонтову свой томик стихотворений Гейне по-немецки, и Лермонтов, “набросал на клочке бумаги” перевод этого стихотворения:

*На севере диком стоит одиноко  
На голой вершине сосна,  
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим  
Одева как ризой она.*

*И снится ей всё, что в пустыне далёкой –  
В том крае, где солнца восход,  
Одна и грустна на утёсе горячем  
Прекрасная пальма растёт.*

Впервые стихи Гейне, в том числе и это стихотворение, были переведены на русский язык Фёдором Ивановичем Тютчевым ещё в 1829 году; но публикация Тютчева в альманахе «Галатее» прошла практически незамеченной, и можно с уверенностью полагать, что Лермонтов тютчевского перевода не знал.

В оригинале вместо возможного Fichte (ель, пихта) Гейне использует слово мужского рода Fichtenbaum. Чтобы передать гейневскую метафору грёз о далёкой возлюбленной, Тютчев заменил ель кедром, и у него гейневское стихотворение прозвучало так:

*На севере мрачном, на дикой скале  
Кедр одинокий под снегом белеет.  
И сладко заснул он в инистой мгле,  
И сон его вьюга лелеет.*

*Про юную пальму всё снится ему,  
Что в дальних пределах востока  
Под пламенным небом, на знойном холму  
Стоит и цветёт, одинока ...*

Вслед за Тютчевым образ кедра использовали и другие переводчики вплоть до Брюсова. Фет, чтобы сохранить метафору Гейне, пошёл на замену ели дубом. Однако результаты трудно назвать очень удачными. В переложении Лермонтова отсутствие “гендерной” составляющей в теме разделённых душ, в теме одиночества не воспринимается как слишком большая потеря.

Формально — по ритмическому рисунку, по организации строфы — лермонтовское стихотворение также несколько дальше от гейневского оригинала, чем перевод Тютчева, но по своим поэтическим достоинствам оно, конечно, неизмеримо выше. Достаточно сравнить “в инистой мгле” и “на знойном холму” у Тютчева и перекликающиеся рифмой “под снегом сыпучим” и “на утёсе горячем” у Лермонтова. Сам Гейне говорил незадолго до смерти одному французскому германисту, имея в виду свои стихи: “Есть такие вещи, которые непременно нужно перелагать, а не переводить”.

По пути на Кавказ в тетради Одоевского появилось ещё одно стихотворение, тема которого была взята в книге Гейне, и самистихи предварены двумя строч-



И.И. Шишкин. На севере диком..., 1890.

ками по-немецки: *Они любили друг друга, но ни один не желал признаться в этом другому. Heine.*

*Они любили друг друга так долго и нежно,  
С тоскою глубокой  
и страстью безумно-мятежной!  
Но, как враги, избегали признанья и встречи,*

*И были пúсты и хлáдны их краткие речи.  
Они расстались в безмолвном и гордом страданье,  
И милый образ во сне лишь порою выдали. -*

*И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...  
Но в мире новом друг друга они не узнали.*

Для сравнения — перевод Афанасия Фета:

*Они любили друг друга,  
Но каждый упорно молчал;  
Смотрели врагами, но каждый  
В томлени любви изнывал.  
Они расстались — и только  
Встречались в виденьи ночном;  
Давно они умерли оба -  
И сами не знали о том.*

В переложении Лермонтова, в данном случае, отступление от оригинала, мне кажется, не пошло на пользу стихотворению ни по форме (избыточное многословие, проходные, трафаретные эпитеты — грех, довольно обычный для Лермонтова в отличие от Пушкина, переусложнённый ритмический рисунок), ни по поэтической мысли (“не узнали друг друга в загробном свидании” вместо “сами не знали о том, что умерли оба”).

И ещё одно восьмистишие Гейне из той же Книги песен. Вот его почти подстрочный перевод Вильгельмом Вениаминовичем Левиковом:

*Смерть — это ночь, прохладный сон,  
А жизнь — тяжёлый, душный день.  
Но смерклось, дрёма клонит,  
Я долгим днём утомлён.  
Я сплю — и липа шумит в вышине,  
На липе соловей поёт,  
И песня исходит любовью, -  
Я слышу её даже во сне.*

По-видимому, для Гейне это был не более чем поэтический стереотип представления о вожделенном загробном покое, но оно послужило “затравкой”, центром кристаллизации, как писал Стендаль, для создания одного из удивительнейших, совершеннейших произведений русской лирики, стихотворения, одного из последних, вписанных в “тетрадь Одоевского”, — “Выхожу один я на дорогу...”

Характерно, что и в этом стихотворении Лермонтов использует тот же приём, что и в «Горных вершинах», — введение двух безударных слогов (анакрыз) в начале каждой строки и превращение таким образом бодрой хорейской структуры в задумчивое сочетание анапеста с ямбом. Историк Василий Осипович Клю-

чевский писал о мелодике лермонтовских стихов применительно как раз к этому стихотворению: “тпеса Лермонтова своим стихом почти освобождает композитора от труда подбирать мотивы и звуки при её переложении на ноты”. Проблема, по-видимому, состоит только в том, чтобы уловить этот самый “единственный мотив”. В 1861 году Елизавета Григорьевна Шашина положила стихотворение “Выхожу один я на дорогу...” на музыку, и с тех пор они воспринимаются практически неразрывно до такой степени, что, при всей документальной подтверждённости авторства Шашинной, время от времени снова и снова возникает легенда, что и музыка была написана самим же Лермонтовым.



А.Г. Якимченко. Выхожу один я на дорогу... (гравюра), 1914.

*Выхожу один я на дорогу;  
Сквозь туман кремнистый путь блестит;  
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,  
И звезда с звездою говорит.*

*В небесах торжественно и чудно!  
Спит земля в сияньи голубом ...  
Что же мне так больно и так трудно?  
Жду ль чего? жалею ли о чём?*

*Уж не жду от жизни ничего я,  
И не жаль мне прошлого ничуть;  
Я ищу свободы и покоя!  
Я б хотел забыться и заснуть!*

*Но не тем холодным сном могилы ...  
Я б желал навеки так заснуть,  
Чтоб в груди дремали жизни силы,  
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;*

*Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,  
Про любовь мне сладкий голос пел,  
Надо мной чтоб вечно зеленея  
Тёмный дуб склонялся и шумел.*



Тройка, выезжающая из деревни, рис. Лермонтова (1832-34)

В книге Бориса Михайловича Эйхенбаума «Лермонтов» есть краткое замечание: “его поэзия резко отделяется от них (имеются в виду русские поэты первой половины XIX века, в первую очередь — Пушкин, Баратынский и Тютчев) отрицательным характером содержания. Нечто похожее (хотя мы и не думаем их сравнивать) видим мы в Гейне”. Может быть, Лермонтов и сам в своём последнем путешествии через всю Россию — от Петербурга до Ставрополя, читая гейневскую Книгу песен, чувствовал эту свою схожесть “отрицательного характера содержания” с немецким поэтом. Стихотворение, написанное в Москве 20 апреля 1841 года и лишь по случайности не попавшее в “тетрадь Одоевского”:

*Прощай, немая Россия,  
Страна рабов, страна господ,  
И вы, мундиры голубые,  
И ты, им преданный народ.  
Быть может, за стеной Кавказа  
Укроюсь от твоих пашей,  
От их всевидящего глаза,  
От их всеслышащих ушей.*

Оно перекликается и с другим стихотворением, написанным менее чем за полгода до этого — по завершении пути с Кавказа в Петербург:

#### **Родина**

*Люблю отчизну я, но странною любовью!  
Не победит её рассудок мой.  
Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордого доверия покой,  
Ни тёмной старины заветные преданья  
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.  
Но я люблю — за что, не знаю сам -  
Её степей холодное молчанье,  
Её лесов безбрежных колыханье,  
Разливы рек её, подобные морям;  
Просёлочным путем люблю скакать в телеге  
И, взором медленным пронзая ночи тень,  
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,*

*Дрожащие огни печальных деревень;  
Люблю дымок спалённой жнивы,  
В степи ночующий обоз  
И на холме средь жёлтой нивы  
Чету белеющих берёз.  
С отрадой, многим незнакомой,  
Я вижу полное гумно,  
Избу, покрытую соломой,  
С резными ставнями окно;  
И в праздник, вечером росистым,  
Смотреть до полночи готов  
На пляску с топаньем и свистом  
Под говор пьяных мужичков.*



Лермонтов,  
акварель К.А. Горбунова, 1841.

Тем временем путешествие Лермонтова подошло к концу — 9 мая он пишет бабушке: “Я сейчас только приехал в Ставрополь... Кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру́, где полк, а оттуда постараюсь на воды... Я всё надеюсь, милая бабушка, что мне всё-таки выйдет прощенье и я смогу выйти в отставку.” Елизавета Алексеевна в Петербурге продолжала свои отчаянные хлопоты о прощении внука, но безуспешно.

Следующим днём, 10 мая, помечено вышеупомянутое письмо Софье Николаевне Карамзиной — предпоследнее из писем, известных нам. Лермонтов опять сообщает о прибытии в Ставрополь, местоположение которого определяет как “между Каспийским и Чёрным морем, немного южнее Москвы и немного севернее Египта”, и о своих планах участия вместе со Столыпичиным-Монго в военной экспедиции. Помимо прочего, Лермонтов пишет: “Я не знаю, надолго ли это, но во время переезда мною овладел демон поэзии, сиречь стихов. Я заполнил половину книжки, которую подарил мне Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье.” В чём проявилось это счастье, Лермонтов не уточняет, но в конце письма словцо это снова пробивается наружу: “Пожелайте мне счастья и лёгкого ранения, это всё, что только можно мне пожелать...”

По-видимому, на заключительной части пути — от Новочеркаска до Ставрополя — возникли три “балладных” стихотворения, записанных в “тетради Одоевского”: «Листок», «Морская царевна» и «Тамара».

Метрические размеры этих трёх стихотворений не кажутся нам чем-то необычным; но для современников Лермонтова это было не так. В отличие от канонических для русской поэзии, начиная ещё с Тредьяковского и Ломоносова, двухсложных размеров — ямба и хорея, эти три стихотворения написаны трёхсложными размерами: «Листок» и «Тамара» — амфибрахием, с ударным (сильным) средним слогом трёхсложья, и «Морская царевна» — дактилем, с ударным первым

слогом. Для русской поэзии это было открытием новых широчайших возможностей, в полную меру использованных уже в 1840-е годы и далее Некрасовым, Фетом... Использование трёхсложных метров позволило ввести в поэзию новые интонации, новую мелодику, недостижимую для двухсложия.

В исследовании Книга о русской рифме Давид Самойлов пишет: “Лермонтов умер, не успев осознать своего значения для русской литературы и не обременив себя задачей реформировать русский стих. Всё, что он сделал, — результат не выношенного плана, а свойственной гению способности творить новое... За десятилетие он написал больше трёхсложных стихов, чем Пушкин за всю жизнь: из ста сорока двух стихотворений, написанных Лермонтовым с 1832-го по 1841-й, двадцать девять — трёхсложными размерами.” Я не проверял статистику Самойлова, но если обратиться к стихам последних полутора лет жизни Лермонтова — 1840-й и первая половина 1841-го до роковой дуэли — то это соотношение станет ещё более выразительным: из 39 стихотворений — одиннадцать, то есть более 28%, написаны трёхсложными размерами — против цифры 20.4%, приводимой Самойловым.

Но, на самом деле, и эти соотношения должны быть откорректированы в сторону увеличения доли трёхсложных размеров: во-первых, из общей статистики имеет смысл исключить “альбомные” стихи, которые, по традиции, надлежало писать исключительно четырёхстопным ямбом, то есть там не было свободы выбора, и, во-вторых, четыре лермонтовских хорических стихотворения последних полутора лет (и «Горные вершины», и «Утёс», и «Спор», и “Выхожу один я на дорогу...””) могут считаться таковыми, то есть двухсложными, лишь относительно — как я уже говорил, Лермонтов их превращает, по сути, в некое сочетание анапеста и ямба.

Лермонтов явился также пионером применения дактилической рифмы в русской поэзии, то есть рифмы с двумя безударными слогами после ударной гласной. Как подчёркивает Самойлов, “до Лермонтова в сознании читателей и большинства поэтов дактилическая рифма, по традиции 18-го века, считалась неблагоприятной и комической”. Именно так она звучала, например, в шуточных стихах лермонтовского приятеля, ёрника и пародиста “Ишки Мятлева”, упоминаемого в стихах в альбом Карамзиной. В “серьёзных” же стихах использовались только традиционные “мужские” и “женские” рифмы. Лермонтов же, по словам Самойлова, “утвердил в лирике дактилическую рифму”, причём именно в стихах последних лет, написанных уже после смерти Пушкина, — «Свидание», «Тучи», «Молитва»:

*В минуту жизни трудную  
Теснится ль в сердце грусть,  
Одну молитву чудную  
Твержу я наизусть.  
Есть сила благодатная  
В созвучьи слов живых,  
И дышит непонятная,  
Святая прелесть в них.  
С души как бремя скатится,  
Сомненья далеко —  
И верится, и плачется,  
И так легко, легко...*

По словам всё того же Самойлова, “Лермонтов сделал для трёхсложной рифмы то, что Блок сделал для «новой» рифмы. Он подготовил революцию Некрасова, как Блок подготовил поэтическую революцию Маяковского”.



Замок Тамары, рис. Лермонтова

12 мая Лермонтов принял неожиданное решение ехать не в полк, а в Пятигорск, ссылаясь на нездоровье. Он отправил командиру Тенгинского полка рапорт о том, что заболел лихорадкой. К рапорту было приложено медицинское свидетельство, выданное пятигорским врачом Барклаем де Толли о том, что он, Лермонтов, «одержим золотухой и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болезнью дёсен, также с изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней г-н Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял более двадцати горячих серных ванн, но для облегчения страданий необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года».

Лермонтов и присоединившийся к нему Алексей Столыпин-Монго сняли в Пятигорске домик в четыре комнаты — одноэтажный деревянный особнячок с обмазанными глиной и побелёнными стенами, с низкими потолками и тростниковой крышей. Окно комнаты Лермонтова — его кабинета и одновременно спальни — выходило в вишневый сад.

Среди ближайшего окружения Лермонтова в Пятигорске, помимо упомянутого Алексея Столыпина-Монго, были князь Сергей Трубецкой (Сергей Васильевич в отличие от декабриста Сергея Петровича), Михаил Глебов, как и Трубецкой, лечившийся после ранения, полученного в сражении при Валерике, и Александр Васильчиков. Все они, включая Лермонтова, кроме Глебова, принадлежали к так называемому «Кружку Шестнадцати» — «в 1839 году в Петербурге существовало такое сообщество молодых людей, которое называли, по числу его членов, кружком шестнадцати. Это общество составилось частью из окончивших университет, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого.



Алексей Аркадьевич Столыпин (1816-58), с акварели В. Гау

Там, после скромного ужина, куря сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всём и всё обсуждали с полнейшей непринуждённостью и свободой, как будто бы III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии вовсе и не существовало”. По своим родственным и семейным связям члены кружка были близки к тем государственным и военным деятелям прошлого поколения, которых декабристы после переворота прочили в члены Временного правительства: Сперанскому, Мордвинову, Васильчикову, Столыпину (отцу Монго), Ермолову. Анализируя свидетельства бывших членов кружка и их современников, Эйхенбаум констатирует: “Кружок вырос на почве оппозиционных настроений старинной родовой знати и подвергся воздействию историософских идей П.Я. Чаадаева.” Если же попытаться вкратце выразить настроения “кружка” в лексике второй половины XX века, то, наверно, лучше всего подошла бы строчка Высоцкого: “Всё не так, ребята!”

Любопытна и в какой-то степени характерна, хотя и довольно экзотична, биография одного из членов этого кружка, друга Лермонтова — князя Трубецкого. Сын генерал-адъютанта Александра I, он вступил в военную службу восемнадцати лет, в 1833 году. После ряда эскапад и последующих за них наказаний, в январе 1840 года был “назначен состоять по кавалерии, с прикомандированием к Гребенскому казачьему полку; участвовал в экспедиции генерала Галафеева и в деле при Валерике ранен пулею в грудь; в 1842-м переведен в Апшеронский пехотный полк” и через год в чине штабс-капитана вышел в отставку “для определения к статским делам”.

В 1851 году за увоз от мужа Лавинии Жадимировской посажен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Вышедши оттуда без тигула, чина и знаков отличия, был отправлен рядовым в пехотный полк в Петрозаводске “под строжайший надзор, на ответственность батальонного командира. В 1854 году за отличие произведен в прапорщики и через год уволен со службы”. После отставки Жадимировская приехала к нему и жила в его имени под видом экономки. История эта послужила Булату Окуджаве основой для романа «Путешествие дилетантов».

По утрам, как вспоминали друзья, Лермонтов “выезжал на своём лихом Черкесе за город... Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем головоломная джигитовка по необозримой степи, где он, забывая весь мир, носился, как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встретившиеся на пути рвы, канавы и плетни.” Выезжали на лошадях и днём, большими компаниями. Одной из частых спутниц Лермонтова в этих прогулках была его дальняя родственница Екатерина Быховец. Она внешне была похожа на Варвару Лопухину — давнюю и незабываемую любовь Лермонтова. В воспоминаниях Быховец признавалась: “Он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был”.



Князь Сергей Васильевич Трубецкой  
(1815-59), с акварели  
П.Ф. Соколова



Конь, акварель Лермонтова

В день дуэли Лермонтов встретил Екатерину Бышовец с тёткой, которых сопровождали Лев Пушкин, брат поэта, и ещё двое молодых людей. Всё это общество направлялось в Шотландку — посёлок, лежащий на полпути между Пятигорском и Железноводском. Лермонтов поехал с ними и выпросил у Бышовец её золотое бандо (головной обруч), пообещав, что вернёт его на другой день сам или передаст с кем-нибудь. Причёска с бандо была любимой у Вари Лопухиной, и Лермонтов так изобразил её на акварельном портрете, сделанном десять лет назад — в 1831 году.



Варвара Лопухина, акварель Лермонтова, 1831

Екатерине Бышовец или, вернее, через неё — Варваре Лопухиной посвящено стихотворение “Нет, не тебя так пылко я люблю...” — предпоследнее в “тетради Одоевского”.

Как и многие другие стихи Лермонтова, оно легло в основу нескольких романсов именитых и не слишком известных композиторов, но наиболее адекватным, на мой взгляд, его музыкальным воплощением стал романс Андрея Шишкина, ко-

торый, как и Елизавета Шашина, так и остался в памяти поколений автором одного произведения, но стихи Лермонтова неразрывно слились с его музыкой...

*Нет, не тебя так пылко я люблю,  
Не для меня красы твоей блистанье:  
Люблю в тебе я прошлое страданье  
И молодость погибшую мою.*

*Когда порой я на тебя смотрю,  
В твои глаза вникая долгим взором:  
Таинственным я занят разговором,  
Но не с тобой я сердцем говорю.*

*Я говорю с подругой юных дней,  
В твоих чертах ищу черты другие,  
В устах живых уста давно немые,  
В глазах огонь угаснувших очей.*



Томас Лермонт – Томас Рифмач из Эркельдуна.

Посёлок Шотландка упомянут выше специально, чтобы иметь повод вспомнить о родовых корнях Лермонтова. В 1634 году под Смоленском был убит ротмистр рейтарского полка Георг Лермонт, шотландец по происхождению. Один из его сыновей — Пётр — в 1653 году перешёл в православие, и от него идёт прямая линия наследования к Юрию Петровичу — отцу поэта. Предполагается, что через Георга Лермонта род Лермонтовых восходит к легендарному шотландскому барду XIII века Томасу Лермонту, Честному Томасу, или Томасу Рифмачу из Эркельдуна.

Рассуждения на тему шотландского наследия Лермонтова, тем более — от знаменитого барда, сегодня так же тривиальны, как и тема “эфиопского” происхождения Пушкина. Но, как у Пушкина — наряду с одной восьмой “эфиопской крови”, была и одна восьмая шведской — от Христины, жены “Арапа Петра Великого” и матери Осипа Ганнибала — деда Пушкина, так и у Лермонтова, наряду с гипотетическим шотландским предком, были и более явно прослеживаемые татарские корни — в 1389 году Аслан-мурза Челебей вместе с дружиной перешёл из Золотой Орды на службу к великому князю Димитрию Донскому. Старший сын Аслана-мурзы Арсений стал основателем рода российских дворян Арсеньевых. К этому роду принадлежал дед Лермонтова по материнской линии Михаил Василье-

вич Арсеньев, муж Елизаветы Алексеевны, урождённой Столыпиной. Она говорила, что внук Мишенька — точная копия деда и по внешности, и по характеру: так же горяч и настойчив в отстаивании справедливости; так же легко увлекается красотой — и в жизни, и в искусстве... Да и имя внук получил в честь деда.

Тем не менее, фигура барда Томаса Лермонта, разумеется, выглядит очень эффектно в качестве предка великого русского поэта, тем более, что и Байрон числил Томаса Лермонта среди своих предков, правда, по женской линии. Прозвище “Честного Томаса” Лермонт получил за то, что якобы никогда не кривил душой. В шотландской балладе XVII века рассказывается о том, как Томас своей песней пленил сердце королевы эльфов, и та перенесла его в волшебную страну и сделала своим возлюбленным. От королевы он получил дар предвидения, и легенда приписывает ему прорицание многих событий в истории Шотландии.



Пророк, рис. И.Е.Репина

### Пророк

*С тех пор как вечный судия  
Мне дал всеведение пророка,  
В очах людей читаю я  
Страницы злобы и порока.  
Провозглашать я стал любви  
И правды чистые ученья:  
В меня все ближние мои  
Бросали бешено камня.  
Посыпал пеплом я главу,  
Из городов бежал я нищий,  
И вот в пустыне я живу  
Как птицы, даром божьей пищи;  
Завет предвечного храня,  
Мне тварь покорна там земная;  
И звёзды слушают меня,  
Лучами радостно играя.  
Когда же через шумный град  
Я пробираюсь торопливо,  
То старцы детям говорят  
С улыбкою самолюбивой:*

*"Смотрите: вот пример для вас!  
Он горд был, не ужился с нами:  
Глупец, хотел уверить нас,  
Что Бог гласит его устами!  
Смотрите ж, дети, на него:  
Как он угрюм и худ, и бледен!  
Смотрите, как он наг и беден,  
Как презирают все его!"*

Это — последняя запись в “тетради Одоевского”. Далее — чистые, незаполненные страницы.

Для Лермонтова пушкинское “всеведение пророка” оборачивается пониманием порочности и злобы человека. “Глас Бога”, взывающий к пушкинскому пророку, подвергается людскому глумлению: “Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами”, и финал лермонтовского стиха как бы соотносится с началом пушкинского — “мрачная пустыня”, по которой “влачился” томимый “духовной жаждой” герой пушкинского стиха, оказывается для лермонтовского пророка единственно возможным жизненным пространством, где ему внимают и тварь земная, и звёзды, тогда как люди отвергают пророка, встречая его камнями и “самолюбивой” улыбкой.

Тамара Жирмунская в книге «Библия и русская поэзия», как отмечает Владимир Корнилов, “делает неожиданный и отважный вывод: «Приходится признать: герой Лермонтова ближе к библейским пророкам именно погибельной опасностью своей миссии... Надо ли лишний раз напоминать судьбы тех писателей и мыслителей, что в XX веке, особенно в России после 17-го года, вздумали провозглашать “любви и правды чистые ученья?”» Но Жирмунская тут же как бы останавливает себя и заканчивает новеллу, посвящённую Лермонтову, рассказом о том, как бабушка поэта “распорядилась особым образом расписать купол “усыпальницы семейственной” в Тарханах, поместив в центре композиции лик Михаила Архангела, списанного... с портрета внука”.

***Последнее из известных нам писем  
Лермонтова — из Пятигорска в Петербург:***

Июня 28-го.

*Милая бабушка,*

*Пишу к вам из Пятигорска, куда я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыха. Я получил ваших три письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь; я это всё здесь обделаю и пошлю.*

*Напрасно вы мне не послали книгу графины Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне её сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и при-*



Елизавета Алексеевна Арсеньева,  
с портрета неизв. художника  
начала XIX века.

*ишите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира, по-англински, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму. Только, пожалуйста, поскорее; если это будет скоро, то здесь ещё меня застанет.*

*То, что вы мне пишете о словах г-на Клейнмихеля, я полагаю, ещё не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь ещё ждать?*

*Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам.*

*Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук.*

*М. Лермонтов.*

Лермонтов, как и другие молодые люди, квартировавшие в Пятигорске, был частым гостем дома генерала Верзилина, где их привлекало общество трёх молодых барышень — сестёр Эмилии, Аграфены и Надежды. Лермонтов ухаживал за старшей — падчерицей генерала Эмилией Клинбергер. Из воспоминаний о Лермонтове: “Сначала Эмилия была благосклонна к поэту и сделала всё возможное, чтобы завлечь “петербургского льва”, несмотря на его некрасивость. Взгляд её был нежен, беседа интимна, разговор кроток (называла она его просто — Мишель), прогулки и тет-а-тет продолжительны, и счастье, казалось, было уж близко: как вдруг девица переменяла фронт. Её внимание привлёк другой, более красивый и обаятельный мужчина. Им был отставной майор Николай Соломонович Мартынов. Не стесняясь его ухаживанием за своей сводной младшей сестрой, она быстро повела на него атаку, и он сдался.” Может быть, дело здесь было не только и даже не столько в красоте и обаянии Мартынова — Эмили было уже 26 лет, а шансы женить на себе Лермонтова были очень призрачны, Мартынов же в этом плане представлял гораздо большие надежды. В конце концов, Эмилия Верзилина вышла замуж за Шан-Гирея.



Эмилия Александровна Клинбергер  
(Верзилина),  
с миниатюры Р. Белова

С Мартыновым Лермонтов был знаком ещё со Школы гвардейских подпорщиков и кавалерийских юнкеров. В декабре 1835 года тот был выпущен корнетом в Кавалергардский полк. Лето и осень 1840 года Мартынов провёл вместе с Лермонтовым в экспедиционном отряде генерал-лейтенанта Галафеева в Чечне и Дагестане. Оба были участниками дела при речке Валерик: Мартынов командовал линейцами, а Лермонтов — согней охотников. И Лермонтов, и Мартынов описали это сражение в стихах, но, безотносительно к разному качеству стихов, они заметно разнятся и в содержании — Мартынов с увлечением описывает карательные действия российской армии — сожжение аулов, угон скота, уничтожение посевов. Тем не менее, вскоре после дела при Валерике Мартынов вышел в отставку.

В злополучный вечер 13 июля 1841 года Лермонтов, будучи в гостях у Верзилиных, пригласил Эмилию на тур вальса — “последний раз”; та согласилась —



Николай Мартынов, 1840-е гг.

“Ну уж так и быть, в последний раз, пойдёмте”, после чего они, по её воспоминаниям, “уселись мирно разговаривать. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Лермонтов не выдержал и начал острить на его счёт, называя его “горец длинный кинжал”. Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово “кинжал” раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом, он подошёл к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: “сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах”, — быстро отвернувшись и пошёл прочь...

После уже рассказали мне, что, когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: “Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня?”, Мартынов ответил решительно: “Да!” — и тут же назначил день”.

Пристрастие Мартынова к черкеске и большому кинжалу было в кругу друзей Лермонтова предметом множества острот — надо признать, довольно дурного тона. После смерти Лермонтова Столыпин-Монго поспешно сжёг альбом с двусмысленными рисунками на эту тему. Существует также несколько иных версий причины дуэли — неблагоприятных для Лермонтова, рисующих его в не слишком благовидном свете, но уж очень плохо согласующихся между собой.

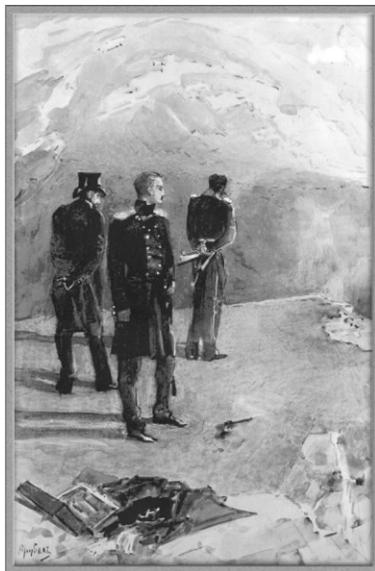
Дуэль состоялась междушестью и семью часами вечера 15 июля. Секундантами были Михаил Глебов со стороны Лермонтова и Александр Васильчиков со стороны Мартынова. Присутствовали также, формально не будучи секундантами, что вступало в противоречие с дуэльным кодексом, Алексей Столыпин (Монго) и князь Сергей Трубецкой. Их непосредственное участие в дуэли грозило бы им более суровыми мерами — Столыпин уже наказывался за участие в дуэли, а Трубецкой был, что называется, “в самоволке”, не имея разрешения на отпуск из части.

В мемуарах современников и в советском литературоведении часто высказывалось мнение, что подлинным инициатором дуэли был Александр Васильчиков, ещё в “кружке шестнадцати” уязвлённый превосходством, которое демонстрировал Лермонтов, его саркастическими насмешками и “подначками”. В Пятигорске Васильчиков стал завсегдатаем салона генеральши Мерлини, тайного агента III отдела, не порывая при этом отношений и с кругом Лермонтова, несмотря на многочисленные “шпилюшки” в его адрес. Мемуары Васильчикова, хотя и вызывают сомнения в достоверности ряда сообщений, являются основным источником версий, порочащих поведение Лермонтова. Доведенные до сведения Мартынова, они неизбежно должны были спровоцировать его к вызову на дуэль. Васильчиковым же были предоставлены для дуэли кухенрейторовские пистолеты крупного калибра.

При этом можно было с достаточной степенью уверенности полагать, что Лермонтов будет стрелять, не целя в противника, как это было в дуэли с Барантом.

Барьер был установлен на дистанции 15 шагов, дуэлянты были разведены от него ещё на 10 шагов каждый. По условиям дуэли стрелять могли до трёх раз, стоя на месте или подходя к барьеру. Осечки считались за выстрел. После первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего к барьеру. Стрелять следовало на счёт “два-три” (то есть стрелять дозволялось после счёта “два”, пока не прозвучит счёт “три”).

Глебов дал команду сходиться. Лермонтов остался на месте и, заслонившись пистолетом, поднял его дулом вверх. Мартынов, целя в противника, подошёл к барьеру, но на счёт “три” ни один не выстрелил. Кто-то из секундантов сказал: “Стреляйте или я развожу дуэль!”, на что Лермонтов ответил: “Я в этого дурака стрелять не буду!” Отвечая на вопросы следователя, Мартынов растерянно свидетельствовал: “Я вспыхнул... и опустил курок”. Пуля, срикошетив, пробила оба лёгкие. Смерть была практически мгновенной.



М.А. Врубель. Дуэль. Иллюстрация к «Герою нашего времени».

Булат Окуджава пишет: “Он лежал, уже чужой, уже остывший, на холодном камне, распластавшись, словно летел со скалы, обиженно поджав губы... Коротконогий гусарский поручик с громадным лбом гения и с отчаянием беспомощности в недоумевающих бархатных глазах, с неприятными, задевающими манерами злого ребёнка, раздражённый завистью и потому упорно презирающий всё вокруг и страдающий; тот, чьи кровавые капли были перемешаны с крупными каплями пота, из которых родились, выкрикнулись проклятия, заклинания, молитвы, слова, которые были подстать разве что Пушкину...”

В начале 1841 года Лермонтов написал стихотворение «Оправдание», являющееся переработкой давних юношеских стихов. Большинство лермонтоведов считает эти стихи посвящёнными Варваре Лопухиной.

*Когда одни воспоминанья  
О заблуждениях страстей,  
На место славного названья,  
Твой друг оставит меж людей, -  
И будет спать в земле безгласно  
То сердце, где кипела кровь,  
Где так безумно, так напрасно  
С враждой боролась любовь, -  
Когда пред общим приговором  
Ты смолкнешь, голову склоня,  
И будет для тебя позором*

*Любовь безгрешная твоя, -  
Того, кто страстью и пороком  
Затмил твои молодые дни,  
Молю: язвительным упреком  
Ты в оный час не помяни.  
Но пред судом толпы лукавой  
Скажи, что судит нас Иной,  
И что прощать святое право  
Страданьем куплено тобой.*



Лермонтов на Кавказе, автолитография А.С. Пруцких, 1941.

“Июнь 30. Дежурный генерал Главного штаба граф Клейнмихель сообщил командиру отдельного Кавказского корпуса генералу Головину о том, что Император, "заметив, что поручик Лермонтов при своём полку не находился, повелеть соизволил.. дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте..." Подлинная резолюция царя гласила: "Зачем не при своем полку? Велеть непременно быть налицо во фронте, и отнюдь не сметь под каким бы то ни было предлогом удалять от фронтовой службы при своём полку". Это распоряжение было получено уже после гибели Лермонтова”.

И в заключение — короткая цитата из всё того же “исторического романа” Булата Шалвовича Окуджавы «Путешествие дилетантов»: “Чем больше мы знаем о человеке, тем меньше у нас повода негодовать на его несовершенство...”



**Семён Резник**  
**ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ**  
**АКАДЕМИК УХТОМСКИЙ**  
**И ЕГО БИОГРАФ**

**Документальная сага с мемуарным уклоном**

(продолжение. Предыдущие главы см. в №6/2014 и сл.)

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**

**Глава восемнадцатая. От тюрьмы и от сумы...**

**1.**

Зная мнение Ухтомского, что его школа и школа Павлова руют туннель с разных сторон, аспирант Меркулов захотел поработать в команде, рывшей его с другой стороны. В 1933 году его приняли волонтером, без оплаты, в лабораторию физиологии Военно-медицинской академии (ВМА), которую, как мы помним, с 1925 года возглавлял Л.А. Орбели. Скоро, однако, молодой волонтер заметил, что сотрудники лаборатории и сам Орбели относятся к нему настороженно: неохотно посвящают в технические детали экспериментов, уклоняются от обсуждения результатов, отделяются общими фразами. Не сразу он сообразил, что на него смотрят как на шпиона, засланного Ухтомским, чтобы выведать их секреты!<sup>[1]</sup>

Это было особенно странно, потому что многие ученики И.П. Павлова, включая самых известных, таких, как Сперанский, Быков, Анохин, посещали лекции Ухтомского, работали в его лаборатории, дружески сходились с ним и его сотрудниками и «не обижались, когда А.А. Ухтомский доверительно и пронциательно раскрывал им смысл их [собственных] открытий и опытов»<sup>[2]</sup>.

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации Василий Меркулов был принят в лабораторию психофизиологии Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ), точнее, его ленинградского филиала — ИЭМ. Лабораторию возглавлял Н.Н. Никитин, он же — директор Ленинградского отделения ИЭМ. Это был тот самый «большевичок», который, по мнению И.П. Павлова, вместе с Федоровым и Сперанским, нетерпеливо ждал его смерти.

Николай Николаевич Никитин, как и Федоров, был членом партии с 1920 года. Окончил Военно-медицинскую академию, специализировался по физиологии у И.П. Павлова, даже числился аспирантом ИЭМ, но в лаборатории его видели редко. Параллельно он учился в Институте красной профессуры, а затем работал в агитпропе Ленинградского обкома партии, то есть был не столько ученым, сколько партийным функционером.

Павлова он пережил ненадолго. 26 августа 1936 года по институту молнией разнеслась трагическая весть: Никитин выбросился из окна своей квартиры и разбился насмерть. «Перед этим он лечился в психиатрической клинике, и вполне возможно, что обострение его заболевания было связано с постоянным нервным напряжением и страхом перед возможным арестом»<sup>[3]</sup>.



Николай Николаевич Никитин

Но его страхи были вызваны отнюдь не психическим заболеванием. Он уже попал в мясорубку; выбраться из нее можно было только тем путем, какой он избрал.

Неясные слухи, ходившие по институту, подтвердились, когда в многотиражке ИЭМ появилась статья, в которой покойного директора обвиняли в том, что он «окружил себя троцкистами». Сам он уже никого не интересовал, интересовало *окружение*. Его лаборатория была ликвидирована, сотрудники уволены и один за другим арестованы: В.Н. Баюин, К.С. Семенов, С.И. Горшков, В.Л. Меркулов. «Лишь один Василий Лаврентьевич Меркулов вернулся в институт после реабилитации и работал здесь с 1956 по 1968 г.»<sup>[4]</sup>.

## 2.

За Василием пришли 3 июня 1937 года.

Ждал ли он заранее ночных гостей?

Трудно было не ждать!

Его коллега К.С. Семенов был арестован еще 3 ноября 1936-го. Семенова обвинили в участии в троцкистско-зиновьевской террористической организации, осудили на десять лет лишения свободы; он умер 20 января 1946 года в Нарильлаге, не дожив нескольких месяцев до истечения срока заключения<sup>[5]</sup>. В.Н. Баюин был арестован 3 июля, через месяц после В.Л. Меркулова, как участник той же или та-

кой же террористической группы. Его осудили на пять лет лагерей, 18 сентября 1938-го он умер с Севвостлага<sup>[6]</sup>.

Аресты шли не только среди сотрудников лаборатории Н.Н. Никитина: чекисты провели по ИЭМу широкую борозду.

Был арестован и вскорости расстрелян видный теоретик биологии Э.С. Бауэр, о чем уже упоминалось.

Был взят ближайший сотрудник Орбели Е.М. Крепс. Он много работал с низшими морскими организмами, добивался создания морской биостанции на берегу Баренцева моря. Станция была организована в системе Академии Наук, а ее создатель оказался на Колыме; с ним нам и герою нашего повествования еще предстоит встретиться.

За Меркуловым пришли, скорее всего, ночью, как было у них принято. Перевернули все вверх дном, перетрясли книги на полках, перерыли бак с грязным бельем, велели одеться и увели в кромешную тьму белой ленинградской ночи. Успела ли жена сунуть ему в руку «допрскую корзинку» со сменой белья и шерстяными носками, мне неизвестно.

К этому роковому дню Василий Лаврентьевич был уже несколько лет женат и успел пережить семейную трагедию. Жену его звали Ирина. У них родился сын, но в 1935 году мальчик умер. Как его звали, и сколько годочков он успел протянуть на этом свете, я не знаю. Больше детей у них не было.

Ирина любила мужа, но странно любовью. Он ей предсказывал, что любовь ее перерастет в ненависть. Почти 20 лет спустя (в 1956-м), когда Василий Лаврентьевич лежал в больнице после ампутации ноги, Ирина навестила его и наговорила столько злых колкостей, что он долго не мог придти в себя. Но в ту роковую ночь, 3 июня, они расстались не потому, что охладели друг к другу.

Молодого, здорового, полного сил и надежд 29-летнего ученого, только начинавшего свое восхождение к высотам науки, столкнули в бездонную пропасть...

Что шили В.Л. Меркулову на следствии — шпионаж или «только» вредительство, принадлежность к троцкистско-зиновьевской террористической группе Никитина или «только» антисоветскую агитацию, мне неизвестно. Я считал не деликатным беречь старые раны и не расспрашивал Василия Лаврентьевича о его тюремно-лагерной эпопее. Потому не знаю, били ли его по пяткам резиновыми дубинками, или «только» лишали сна, грозили ли вырвать глотку вместе с признаниями, или действительно рвали глотку, сажали ли в холодный карцер на хлеб и воду, где по коченеющему телу неторопливо ползали усатые крысы, или он «во всем признался», не дожидаясь истязаний. Мне кажется, что он держался стойко, ложных показаний не подписал, благодаря чему и получил «детский срок»: пять лет исправительно-трудовых лагерей. Судьбе было угодно этот срок удвоить, а с учетом бесприютных скитаний в качестве *пораженного в правах*, учетверить. Но об этом ниже.

Суд длился несколько минут, результат был предрешен. Машина сталинско-ежовского террора работала безостановочно, зловещие тройки ОСО автоматически штамповали приговоры.

С его женой Ириной, как с ЧСИР (член семьи изменника родины), судьба обошлась не многим мягче. Василий Лаврентьевич упомянул мимоходом в одном из писем, что она провела в ссылке 17 лет, и провела бы больше, но ее «вырвал» Илья Эренбург. Как и почему Эренбург заинтересовался ее судьбой, я не спрашивал, но есть ниоточка, позволяющая строить резонные предположения.

## 3.

Василий Лаврентьевич посетил Эренбурга в 1952 году, выполняя обещание, данное Осипу Мандельштаму, умиравшему почти у него на руках.

Осипа Эмильевича он повстречал в октябре 1938 года в пересыльном лагере на Второй речке, под Владивостоком. Василий Лаврентьевич там уже был старожилом. Краеведы уточнили, что «Вторая речка» — это станция железной дороги, где разгружали эшелоны с эсками. Их строили в колонны и конвоировали к новому «месту жительства». Путь был недалёкий — лагерь располагался в пяти-шести километрах от станции.



Вторая речка, памятная доска: «Здесь в 1928-43 гг. располагался пересыльный лагерь, через который прошли сотни тысяч невинных в ад ГУЛАГА».

Начальник лагеря Ф.Г. Соколов докладывал еще в 1935 году, когда подопечное ему население было куда менее многочисленным:

«Владивостокский пересыльный пункт находится на 6-м километре от г. Владивостока. Основной его задачей является завоз оргсилы в Колымский край ДВК [Дальне-Восточного края]. Пересыльный пункт одновременно служит также перевалкой оргсилы, направляемой по отбытии срока заключения из Колымского края на материк. Для полного обслуживания возложенных на перепункт задач последний на своей территории имеет нижеследующие единицы: а) стационар санчасти на 100 коек в зимний период и до 350 в летний период, за счёт размещения в палатках. Кроме стационара имеется в палатке амбулатория пропускной способностью до 250 человек в сутки, а при стационаре ... аптека, которая располагает достаточным количеством медикаментов и перевязочного материала за исключением остродефицитных лекарств; б) хлебопекарню с необходимыми складами, как для муки, так и для хлеба с производительностью, вполне покрывающей потребности лагеря; в) кухню; г) склады для продуктов, вещицы, материальные; д) банно-прачечную с необходимыми кладовыми и парикмахерской при ней; е) клуб вместимостью 350-400 человек с библиотекой при нём, со-

стоящей из 1200 томов; ж) конно-гузевой транспорт из 5-10 лошадей и другие. Кроме этого имеются подсобные производства, составляющие одно органически целое хозяйство, состоящее из портновской, сапожной и столярно-плотницкой мастерских...»<sup>[7]</sup>.

Таково было это образцовое, с точки зрения гражданина начальника, заведение. Хотелось бы его спросить: куда же в зимний период девались те 250 больных, которые летом ютились в палатках санчасти? Неужели магическим путем выздоравливали, благо недостатка в медикаментах не ощущалось?

Обитателям бараков, оцепленных колючей проволокой и охраняемых своей цепных овчарок, лагерь представлялся несколько в ином свете — особенно в конце тридцатых годов, когда число обитателей в несколько раз превысило расчетные нормы.

Для продолжавших прибывать эков места в бараках не было — их размещали в палатках или под открытым небом. В лагере работала комиссия, отбывшая арестантов для отправки на Колыму. Комиссии нужны были сильные здоровые работяги, таких среди пребывавших было немного. Остальные попадали в отсев.

Об Осипе Мандельштаме известно, что он был отправлен этапом из Москвы 9 сентября и прибыл 12 октября 1938 г. Почти два года спустя своим крутым маршрутом, чуть более коротким, из Ярославля, проследовала Евгения Гинзбург, автор одной из лучших книг о ГУЛАГе. Она тоже пробыла в пути больше месяца. Стало быть, и Меркулова везли на Дальний Восток столько же или больше: из Ленинграда путь более дальний, чем из Москвы или Ярославля. О том, как эки задыхались от скученности в товарных вагонах с надписью «Спецоборудование»; как страдали от жажды, ибо выдавали им по одной кружке воды в день; как, по приказу конвоя, замирали на долгих томительных остановках, дабы никто снаружи не мог догадаться, что представляло собой «спецоборудование», — обо всем этом с большой изобразительной силой поведано в «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург. Ее этап был в июле, и эки жестоко страдали от жары и духоты, а Меркулову пришлось проделать тот же путь в январе, страдая от смрадной духоты и холода. В лагерь он прибыл в день своего 30-летия, 3 февраля 1938 года и в тот же день «узнал, почему мороз в 35 градусов, при ураганном ветре с Охотского моря — нестерпим!»<sup>[8]</sup>

Оглядевшись, он убедился, что не ему одному так фатально не повезло: «Если В.Г. Короленко писал “В Дурном обществе”, то я тогда оказался в отличном обществе образованных людей и смог набраться ума-разума»<sup>[9]</sup>.

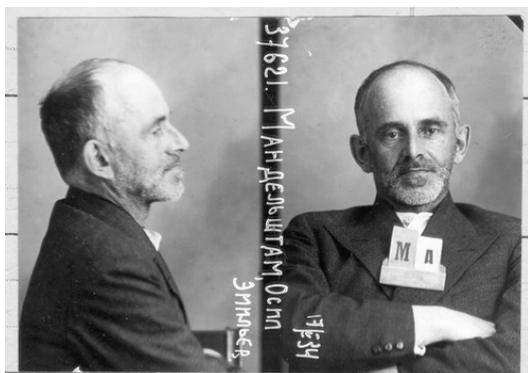
В 1938 году навигация из-за неблагоприятной погоды, завершилась раньше обычного. Отправка заключенных на Колыму приостановилась. А эшелоны с эками продолжали прибывать.

В переполненных бараках, холодных, вонючих и грязных, вспыхнула эпидемия дизентерии и брюшного тифа.

Как свидетельствует Н.Я. Мандельштам, Осип Эмильевич еще после первого ареста и сравнительно мягкого приговора в 1934 году (три года ссылки сначала в Чердынь, затем в Воронеж) заболел психическим расстройством, от которого с трудом начал избавляться уже после освобождения. Через год последовал новый арест. Если первый раз его взяли за гневные стихи про кремлевского горца, то второй — вообще ни за что. Секретарь Союза писателей В.П. Ставский, не зная, что делать с отбывшим ссылку опальным поэтом, попросил «разобраться» с ним наркома НКВД Ежова. Мандельштаму припаяли новый срок и отправили на Колыму, но он дотянул только до пересыльного лагеря. Его психическая болезнь обострилась,

появилась навязчивая идея, что его хотят отравить. Еще по пути он отказывался от казенного пайка, питался булочками, которые ему на станциях покупал конвой — пока у него были деньги. Купленную булку он разламывал пополам, отдавал половину кому-либо из попутчиков и глядел из-под одеяла, как тот ее ест. Убедившись, что попутчик остался жив и здоров, Мандельштам съедал свою половину.

Меркулову, к тому времени уже бывалому лагернику, повезло — его определили «при хлебе»: он разносил по баракам скудные эзовские пайки. Однажды, в одном из барачков, где к нему выстроилась очередь, откуда-то сбоку подбежал маленький худощавый человек в хорошем кожаном пальто коричневого цвета, схватил пайку и бросился наутек. Его догнали, стали бить, Василию Лаврентьевичу с трудом удалось его отстоять. Они познакомились. Меркулов спросил Мандельштама, почему тот так поступил, и услышал в ответ, что он выхватил случайную пайку, чтобы не получить отравленную, которая предназначена для него. Василий Лаврентьевич возразил, что если так, то отравленная пайка досталась кому-то другому. На это Мандельштам ничего не ответил. Мысль о том, что есть тайный приказ его отравить, сидела в нем глубоко.



Осип Эмильевич Мандельштам — зэк № 37621

Он еще не был истощен, но таял на глазах. В лагерном ларьке можно было прикупить немного сахара и табаку, но денег у Мандельштама уже не было. Он поменял кожаное пальто (подарок Эренбурга) на несколько горстей сахара и остался без верхней одежды. Он пытался подворовывать съестное у других эзков — за это его били. Уголовники били и просто так — потому что он был мал, слабосилен, не мог дать сдачи. Он боялся соседей по барачку, вообще сторонился людей. Немногие знали и понимали, кто такой Мандельштам. К этим немногим принадлежал Евгений Михайлович Крепс. Он был бригадиром по питанию, и Мандельштам иногда его просил:

— Вы чемпион каши. Дайте мне немного каши.

Но этим жить было нельзя. Для него собирали какие-то вещи, он их немедленно продавал или променивал на сахар или хлебную пайку.

Он сильно страдал от холода. По словам В.Л. Меркулова, на нем были только парусиновые тапочки, летние брюки, майка и какая-то шапочка. Между тем, надвигалась зима — с лютыми морозами и ледяными ветрами с Охотского моря.

В ответ на помощь друзей Осип Эмильевич мог предложить только одно — стихи. Их он самозабвенно читал всем, кто хотел слушать. По свидетельству Меркулова, он читал сонеты Петрарки. Читал Державина, Бальмонта, Брюсова, иногда Бодлера и Верлена по-французски. Читал свои стихи, в их числе "Реквием на смерть Андрея Белого" и, по-видимому, совсем новые, не записанные, погибшие вместе с поэтом.

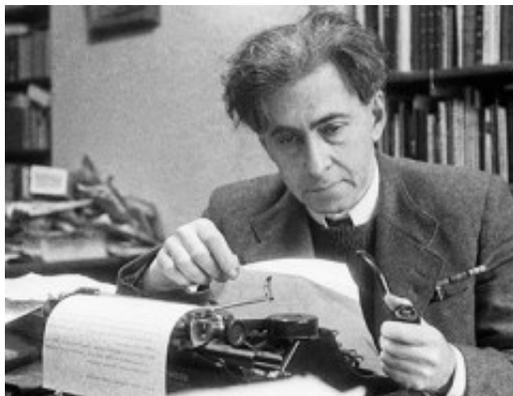
Его заедали вши. Однажды он разделся догола и попросил Васю Меркулова выколотить из его белья насекомых. Тот выколотил.

— Когда-нибудь напишут: кандидат биологических наук выколачивал вшей у второго после Андрея Белого поэта, — прокомментировал Мандельштам. Андрея Белого он считал первым.

Есть свою тюремную пайку он упорно отказывался. Обшаривал помойки и жадно набрасывался на остатки съестного. Быстро ухудшалось его нравственное состояние, обострялась психическая болезнь, пропала воля к жизни. В довершение ко всему у него развилась кишечная болезнь. По воспоминаниям некоторых его сокамерников, это был брюшной тиф, но, насколько я помню, Василий Лаврентьевич говорил о дизентерии. В записанных его воспоминаниях говорится о кровавом поносе.

Обращаться в лагерную больницу Мандельштам упорно отказывался: он был убежден, что там его отравят. Когда он уже полностью доходил, Меркулов все же уговорил его пойти к врачу и проводил до дверей больничного барака. Пока они шли, Осип Эмильевич сказал:

— Вы человек сильный. Вы выживете. Разыщите Илюшу Эренбурга! Я умираю с мыслью об Илюше. У него золотое сердце. Думаю, что он будет и вашим другом.



Илья Григорьевич Эренбург

О смерти Мандельштама Меркулову сообщил врач тюремного барака Кузнецов (тоже заключенный). Он сказал, что полное истощение пациента не позволило его спасти<sup>[10]</sup>.

Свой последний долг перед покойным Василий Лаврентьевич смог исполнить только четырнадцать лет спустя.

Илья Эренбург: «В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки»<sup>[11]</sup>.

Брянский агроном? Вполне возможно! Где и кем только не побывал Меркулов в годы послелагерных скитаний!

Другом Эренбургу он не стал, но жену его из ссылки Илья Григорьевич помог выгнать.

#### 4.

Навигация возобновилась весной 1939 года, эков стали отправлять в Магадан, но Василий Меркулов, к счастью для него, попал в отсев. В числе других был отправлен Е.М. Крепс. Насколько тяжел и опасен был путь, он рассказал в своих воспоминаниях, хотя в целом о лагерном периоде написал очень сжато.

Ему сказочно повезло. Он пишет, что за него хлопотал Л.А. Орбели, и безрезультатно. В 1940-м году, когда Крепс лежал в тюремной больнице в Магадане с двусторонним воспалением легких, ему объявили, что его дело пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления; его переводят в отделение для вольных. Температура зашкаливала за 40 градусов Цельсия, больной был в полубредовом состоянии, смысл сказанного до него дошел не сразу. А когда дошел, наступила эйфория, он быстро стал поправляться.

Действительно ли пересмотра его дела добился Орбели, или он случайно попал в число счастливицков в короткий период малого бериевского реабилитанса, сказать трудно. Да и реабилитанс был неполным: после освобождения Крепсу еще многое пришлось испытать. Только через три года с него была снята судимость, он смог вернуться к научной работе.

#### 5.

В лагере Меркулов встретил немало тех, кто еще недавно обитал на Олимпе советской системы. В одном из писем он упоминал «маститого историка-западника Н.М. Лукина, с которым спорил о Петре Великом, коего Лукин не жаловал»<sup>[12]</sup>. Это был тот самый Николай Михайлович Лукин, который в 1929 году, под нажимом Кремля, со второй попытки стал академиком. Он был редактором журнала «Историк-марксист», директором Института истории Академии наук, автором «правильных», строго марксистских трудов о Французской революции и Парижской коммуне. Он был двоюродным братом Бухарина, его другом и единомышленником. После судебного спектакля с Бухариным в главной роли Лукин был обречен. Его взяли в августе 1938-го, приговорили к десяти годам заключения в январе 1939-го, он умер 16 июля 1940-го. Где он отбывал заключение, биографы Н.М. Лукина не уточняют. Им, вероятно, интересно узнать о его пребывании в пересыльном лагере на Второй речке под Владивостоком.

Еще ближе Василий Лаврентьевич сошелся с Валерьяном Федоровичем Переверзевым, известным литературоведом, таким же твердокаменным марксистом, как Лукин. Переверзеву было уже сильно за пятьдесят, по тем временам старик. Но он был крепок, крижист, вынослив. Тюремную закалку он прошел еще при царском режиме. Первую свою книгу — «Творчество Достоевского» — написал в Нарымском центре, издал после освобождения, в 1912 году. Потом были книги о Гон-

чарове, Гоголе, общетеоретические работы. Переверзев слыл идеологом нового, марксистского литературоведения. В 1918 году он стал членом только что созданной Социалистической академии, позднее переименованной в Коммунистическую, затем Государственной академии художественных наук. Был профессором МГУ, Института красной профессуры, знаменитого МИФЛИ. К концу 1920-х годов Переверзев — глава большой школы литературоведов-марксистов, объяснявших художественное творчество вообще и творчество отдельных писателей с самых передовых классовых позиций.

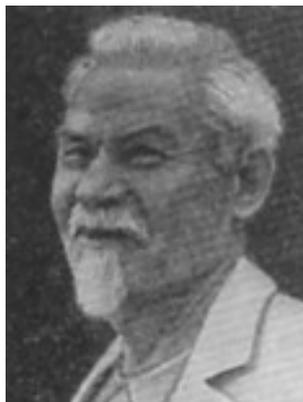
Переверзев доказывал, что художественный текст — это образное отражение производственного процесса, а внутренний мир писателя и его героев — слепок с мироощущения того класса, к которому писатель принадлежал. О том, что творчество писателя может быть внеклассовым, не могло быть речи: это было бы «буржуазным идеализмом».

Как совмещалась зашоренность узколобого доктринера с глубоким знанием конкретных литературных фактов, психологии творческих исканий писателей (такими знаниями Переверзев, безусловно, обладал), — это загадка сфинкса. Ключ к ней можно подобрать разве что в свете теории доминанты, ибо, как писал Ухтомский, «вся трагедия человека: куда и к кому ни приведет его судьба, всюду приносит он с собою себя, на все смотрит через себя и не в силах увидеть того, что выше его!» [13]

Уверовав в то, что «бытие определяет сознание», вобрав в себя постулат о базисе и надстройке, о том, что материя первична, а искусство, литература, все духовное вторично, Переверзев и его ученики укладывали многообразную конкретику художественного творчества в прокрустово ложе марксистской доктрины, проявляя немалую изобретательность. Их взгляды были востребованы, чем и определялась главенствующая роль Переверзева в литературоведении первого советского десятилетия.

Однако программный теоретический сборник «Литературоведение», выпущенный им и его учениками в 1928 году, подвергся неожиданным нападкам со стороны еще более «пролетарских» доктринеров. В крестовый поход против *переверзевщины* — был пущен в ход такой зловещий термин — выступил руководитель так называемой пролетарской литературы Леопольд Авербах. Он и его единомышленники «диалектически» доказывали, что Переверзев — последователь Плеханова, а это и хорошо, и плохо. Плеханов — первый русский марксист, поэтому следовать ему хорошо; но Плеханов не стал большевиком, не принял Октябрьской революции, потому быть его последователем плохо.

Сторонники Переверзева в долгу не остались. Рукопашная длилась до тех пор, пока не вмешались высшие силы. По указанию из ЦК партии Комакадемия приняла резолюцию, осудившую переверзевщину, которая, как оказалось, впала в страшную ересь: недооценку классовой борьбы и меньшевистствующий идеализм. Схватки боевые нашли гротескное отражение в «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова. В главе 19 выведен доктринер Полыхаев, придумавший резиновый штамп с текстом,



Валериан Федорович  
Переверзев

пригодным на все случаи жизни. Нетрудно догадаться, в чей огород сатирики бросили камень. В Малой Литературной Энциклопедии, издававшейся в то время, Переверзеву посвящена разносная статья огромного размера, с множеством уличающих цитат. Вчерашние ученики и последователи Переверзева стали спешно «осознавать ошибки», обещать их преодолеть. Команда покидала тонущий корабль. Один Валериан Федорович оставался на капитанском мостике, храня гордое молчание.

Победители торжествовали недолго. В 1932 году РАПП был распущен. Леопольд Авербах, сброшенный с литературного Олимпа, был отправлен в Свердловск — пасти преданного партии Ленина-Сталина, но все же подозрительного сына Чан Кайши Николая Владимировича Елизарова. В 1937 году, перед тем, как Елизарова, вновь ставшего Цзяном Цзинго, отправили в Китай, Авербах был арестован, о чем уже упоминалось. Дальнейшие сведения о нем двоятся: по одной версии, он был приговорен к высшей мере и расстрелян, по другой — получил 10 лет лагерей и попал на Колыму, где скоро стал доходягой и скончался.

Укорот, данный гонителям Переверзева, не спас его самого. Он был арестован через год после Авербаха. Часть полученного им 10-летнего срока отрубил на Колыме (не пересекся ли он там со своим противником!?). Затем попал в лагерь под Минусинском, где, между прочим, сумел написать труд о Пушкине. Здесь с ним снова встретился Василий Лаврентьевич Меркулов.

Лежа на нарах в лагерном бараке рядом с Переверзевым, Василий Лаврентьевич слушал его колымские рассказы и жадно расспрашивал о Достоевском, особый интерес к которому вынес из общения с Алексеем Алексеевичем Ухтомским.

«Если у Вас будет время, — написал мне однажды Василий Лаврентьевич, — то перелистайте книгу Гроссмана о Достоевском — она была интересна [14]. Но когда я встретил в 1943 г. известного знатока творчества Ф.М. — критика Переверзева В.Ф., успевшего побывать на Колыме как з/к в течение 3-х лет, и попросил его прокомментировать (после многолетнего опыта) “Записки из мертвого дома”, то его суждения были несравненно глубже и психологически обоснованнее, чем лепет Гроссмана!!!» [15]

Уж не перестроила ли Колыма доминанты литературоведа-марксиста?

Как написал В.Л. Меркулов в другом письме, «покойник В.Ф. Переверзев <...> прав был, когда сказал однажды мне 33 года назад, что: “Легенда о Великом Инквизиторе” — это гениальное пророчество и проникновение вглубь веков, которое не дано дипломированным историкам, социологам и философам!!!» [16]

Мудрое высказывание, но очень уж неклассовое, не марксистское, не «материалистическое».

Василий Лаврентьевич вспоминал:

«В сентябре 1956 г. я не раз сживал на берегу Иртыша на том месте, где был острог Достоевского. Конечно, Омск уже был не таким, а условия жизни



Леопольд Авербах и его книга «Большевиcтская весна».

колымчан, по свидетельству В.Ф. Переверзева, были значительно хуже, чем в Омске при Достоевском»<sup>[17]</sup>.

По-видимому, там, в Омске, на берегу Иртыша, Василий Лаврентьевич с особой живостью вспоминал, как когда-то спросил Переверзева:

— Скажите, Валериан Федорович, как знаток Достоевского. Федор Михайлович побывал в мертвом доме, но уцелел. А вот колымскую каторгу он бы выдюжил, как вы считаете?

Переверзев только махнул рукой:

— Слаб был Федор Михайлович, ни за что бы не выдюжил!

Отбыв десятку, Переверзев в 1948 году поселился в Александрове, на 101-м километре от Москвы: ближе к столице *пораженному в правах* жить не дозволялось. В том же году он снова был арестован. Новый срок отбывал в Красноярском крае, где написал книгу о творчестве Макаренко. В 1956-м был реабилитирован и смог вернуться в Москву. Довелось ли встречаться с ним Василию Лаврентьевичу после освобождения, не знаю. Умер Переверзев в 1968-м в возрасте 85 лет. После освобождения успел написать еще две книги: «Основы эйдологической поэтики» и «Литература Древней Руси». О своей лагерной эпопее он, кажется, ничего не написал.

...Разве что пылится где-то рукопись, ожидая своего часа...

## 6.

Куда был этапирован Василий Лаврентьевич со Второй речки, сколько раз его снова выдергивали на этап и куда отправляли до встречи с Переверзевым под Минусинском? Об этом я ничего не знаю.

Знаю только, что в феврале 1942 года он по вечерам (то есть после рабочей смены), в холодном бараке, при свете тусклой, забранной в решетку лампочки под потолком, вместе с другими эзками, вязал варежки для фронта.

В барак вдруг пожаловал прокурор Сиблага — вероятно, проверять чью-то жалобу. «Ему жаловались, что в морозы не топят бараки, раздеты, плохо работает почта»<sup>[18]</sup>. Кто-то из эзков задал риторический вопрос: что же нам остается делать? Прокурор не реагировал, и тогда Василий Лаврентьевич «рявкнул»: «Распира ит эспера!» В письме он тут же разъяснил мне, несмышленишу, что по-латыни это значит «Дыши и надейся!»

Прокурор повернулся в его сторону и с удивлением произнес:

— Оказывается, вы знаете латынь!?

«Не помню, что резкое я ему ответил, но он тотчас покинул барак! Так будем дышать полной грудью и верить, что философ Панглосс был истинным мудрецом!»<sup>[19]</sup>

Философ Панглосс — это, конечно, персонаж из повести Вольтера «Кандид»: окарикатуренный Готфрид Лейбниц, доказывавший, что мы живем в лучшем из миров и ничего лучшего не можем желать!

Пятилетний срок заключения В.Л. Меркулова истек 3 июня 1942 года. Но — шла война! Выпускать из тюрьмы «врага народа» в такое суровое время было бы, конечно, ротозейством и мягкотелым либерализмом. В чем-чем, а в таких грехах корифея всех наук и его опричников заподозрить было нельзя. Василию Лаврентьевичу дали подписать бумагу, в которой объявлялось, что его заключение продлено на неопределенный срок, до конца войны.

До конца войны оставался тысяча семьдесят один день. Как каждый из них тянулся для Василия Лаврентьевича, можно представить себе по «Одному дню Ивана Денисовича».

Он дышал, надеялся, ждал конца войны.

Но вот война кончилась, отгремели салюты победы. И... в лагерь потянулись эшелоны с новыми партиями заключенных — в основном с теми, кто побывал в плену или на оккупированной территории.

Освобождения все не приходило. Он ложился спать с надеждой на завтрашний день, потом снова на завтрашний, потом снова, и снова, и снова...

Еще через два года с заключенным Меркуловым произошел несчастный случай: он сильно повредил ногу. Но освобождения от работы не получил. Нога болела все сильнее, через несколько дней появился отек.

...В лагерьную больницу Меркулов попал только тогда, когда нога раздулась как бревно, налилась синевой, покрылась язвами.

Хирург поставил диагноз: гангрена, ногу нужно немедленно ампутировать, иначе больному не выжить. С трудом Василий Лаврентьевич уговорил его отложить операцию до следующего утра.

Вечером, когда из всего персонала в больнице осталась дежурная медсестра (из вольных), Василий Лаврентьевич упросил ее принести ему скальпель, немного марганцовки и ведро горячей воды. Скальпелем он вспорол налитую гноем ногу, сделав глубокий продольный надрез, и опустил ее в горячий раствор марганцовки. Всю ночь сестра приносила ему горячую воду, чтобы заменить остывшую.

К утру опухоль спала, опасность развития гангренозного процесса отступила, врач согласился отложить операцию.

Заживление шло медленно, да Василий Лаврентьевич и не торопился покинуть лазарет. И вдруг — ему приносят бумагу. Вышло постановление: отбывших срок по его статье выпускают на волю!

— Я подумал, — рассказывал Василий Лаврентьевич, — сегодня постановление вышло, а завтра его могут отменить. Откладывать нельзя! Ходить я еще не мог. И я пополз.

...Он выполз за ворота лагеря и пополз к видневшемуся поселку для вольнонаемных. Его приотила та самая медсестра, которая, вопреки правилам и запретам, принесла ему скальпель и марганцовку. Он отлеживался у нее еще две-три недели. Как только смог подняться, хромая отправился на вокзал.

## 7.

В Ленинграде *пораженному* в правах жить строго запрещалось. Но больше ехать ему было некуда: единственный близкий человек, жена Ирина, отбывала ссылку.

В Ленинграде друзья пристроили его в больницу.

В палату постоянно навещался гебист, грозил составить протокол о нарушении режима. Но врачи подтверждали, что по состоянию здоровья пациент все еще нуждается в госпитализации. Хмурия брови, гебист удалялся, чтобы через несколько дней появиться снова...

Среди тех, кто пытался чем-то помочь Меркулову в то сложное время, был, между прочим, его давний знакомый по университету, ставший заведующим кафедрой дарвинизма, злоеший ревнитель «мичуринского учения» Исай Израилевич Презент, правая рука еще более злоешего Трофима Денисовича Лысенко.



Т.Д. Лысенко с ближайшими сотрудниками. В первом ряду слева направо:  
И.И. Презент, Т.Д. Лысенко, жена Д.А. Долгушина, Д.А. Долгушин.  
Во втором ряду: Б.А. Глущенко (жена И.Е. Глущенко),  
И.Е. Глущенко, А.Д. Родионов, жена Лысенко.

— Я его спрашивал, — слегка усмехаясь, рассказывал Василий Лаврентьевич. — Исай! Ты столько людей посадил, а мне вот помогаешь. Как это понять?

Маленький юркий Презент при этих словах свирепел. Он начинал бегать по комнате, размахивал длинными обезьяньими руками и истерично выкрикивал:

— Да!.. Посадил!.. Потому что они враги!.. А ты случайно попал, поэтому я тебе помогаю!

В одной из своих открыток Меркулов скупно, но выразительно обрисовал этого «демагога и изощренного пакостника» [20]:

«Он окончил ФОН ЛГУ в 1925, и его первая книга уделяла много внимания Августину Блаженному-африканцу. Выполнял он дипломат[ические] поручения в Персии, очищал монастыри МНР от книг по Тибетской медицине и как-то сумел представить Трофима — самому корифею. Это — дитяtko эпохи кругом видело врагов революции и считало себя ее избавителем от бед и заговоров» [21].

Не знаю, как расшифровывается аббревиатура ФОН, но в воспоминаниях И. Грековой фоновками названы студентки филологического факультета. Значит, Презент учился на филфаке?

В моей книге о Н.И. Вавилове Презенту посвящена маленькая подглавка, в ней говорится, что по образованию он был юристом. Такими сведениями я располагал, когда писал книгу. Василий Лаврентьевич считал это ошибкой. Я попытался проверить эту информацию и убедился, что «долысенковский» период жизни И.И. Презента до сих пор подернут туманом. Родился он в 1902 году в маленьком городке Тороповце, в 19 лет стал секретарем уездного комитета комсомола, затем переведен заведующим Псковского губкома комсомола. Оттуда, видимо, и был направлен на учебу в ЛГУ. Больше всего подробностей я нашел в апологетической статье, посвященной 110-летию со дня рождения И.И. Презента, но и в ней немалая путаница. О его образовании говорится:

«В 1926 он окончил трехгодичный факультет общественных наук Ленинградского университета по юридическому отделению. Из документов не вполне ясно, какое отделение он окончил в 1926 году: юридическое или биологическое» [22].

Далее говорится, что Презент один год работал в ВИРе у Н.И. Вавилова. По моим сведениям, он *имел намерение* поступить в ВИР, чтобы «философски обосновывать» взгляды Вавилова и направление всей деятельности института, но Николай Иванович ему вежливо объяснил, что в философских услугах не нуждается. После этого Презент предложил свои услуги Лысенко, они быстро и хорошо спелись.

Книгу И.И. Презента о св. Августине я не обнаружил ни в библиотечных каталогах, ни в библиографических списках, но утверждать, что такой книги не было, не рискну, тем более, что она могла быть издана под псевдонимом. В одном Василий Лаврентьевич, безусловно, ошибался: Трофим Лысенко был замечен Сталиным задолго до того, как с ним снюхался Исая Презент.

## 8.

Но вернемся в то сложное для нашего героя время, когда он, *пораженный в правах*, то ложился в больницу со своей недолеченной ногой, то выписывался из больницы, тотчас покидая Ленинград и часто не зная, где будет ночевать. Так он кантовался несколько месяцев. Но надо было обрести крышу над головой, где-то работать, зарабатывать на пропитание.

Он обосновался в поселке Оредеж, на берегу небольшой речки с таким же названием, за пределами запретной стокилометровой зоны от Ленинграда. Как долго он там прожил и чем занимался, мне неизвестно, да и о пребывании его в этом поселке знаю только по беглому упоминанию. В одном из писем он вспомнил, как в феврале 1948 года приехал *из Оредежа* в Ленинград на научное заседание по высшей нервной деятельности.

С докладом выступал Петр Кузьмич Анохин, в то время профессор, впоследствии академик. Василий Лаврентьевич знал Анохина с 1928 года, когда тот, как и некоторые другие «павловцы», активно сотрудничал с Ухтомским. Знал о его неординарном поступке, о котором позднее лучше было не вспоминать. Анохин был членом партии, но в 1929 году заявил, что выходит из нее, так как не может совмещать научную работу с обязанностями партийца. Этот поступок, вызвал озлобление у большевичков, роившихся вокруг И.П. Павлова (Федоров, Никитин и им подобные). Они поспешили усласть Анохина из Ленинграда, благо открылось место профессора в Нижегородском университете. К счастью, более серьезных последствий не было, — возможно, благодаря тому, что в Нижнем Новгороде, еще не ставшем городом Горьким, Анохин нашел покровителя в лице первого секретаря обкома А.А. Жданова.

«Теоретические конструкции Анохина были густо замешаны на дрожжах Ухтомского, — писал мне Василий Лаврентьевич, — и он применил нехороший прием — раз я крикую старые формулировки доминанты, то уж в таком-то виде я не могу что-либо заимствовать от него. Это дымовая завеса»<sup>[23]</sup>.

После доклада Василий Лаврентьевич подошел к Анохину и — не без иронии — спросил:

— Не находите ли, Петр Кузьмич, что ваша функциональная система растворится в учении о доминанте?

Анохин на вопрос не ответил. Вместо этого стал участливо расспрашивать, где Меркулов поселился и чем намерен заняться<sup>[24]</sup>. Дал понять, что готов посильно ему помочь. Пораженный в правах вчерашний узник предпочел этих намеков не

заметить. Он слишком хорошо помнил, что когда Анохин, уже поработав несколько лет у Павлова, появился в лаборатории Ухтомского, Алексей Алексеевич оценил его целеустремленность и исследовательский талант, но, узнав поближе, «метко его назвал “ушкуйником”». Полагая, что мне вряд ли известно значение этого древнего слова, Василий Лаврентьевич пояснил: ушкуйники — это «лихие завоеватели [из] Великого Новгорода, основавшие фактории за Уралом, покорили “инородцев” и брали “ясак” мехами и моржовой костью» [25]. «Многое, очень многое из его [Ухтомского] теоретических конструкций он [Анохин] позаимствовал без колебаний, но сие не признавал!» [26]

О том же свидетельствовал другой ученик Ухтомского М.А. Аршавский, автор содержательной статьи о Павловской сессии двух академий. (О ней в следующей главе):

«Анохин, формально якобы пострадавший после сессии, присвоил себе понятие Ухтомского о функциональной системе. Но ничего общего с системными принципами это понятие Анохина не имело. Сам Ухтомский называл Анохина разбойником, ушкуйником с большой дороги. Будучи вхож в ЦК, Анохин добился создания программы по физиологии для медвузов, в которой главным была не физиология, а изучение так называемых функциональных систем. Это имело трагические последствия для нашей медицины, для подготовки врачей. Врач, не знающий физиологии, — не врач. Эта программа до сих пор фактически не отменена» [27].

Как историку физиологии, Меркулову в последующие годы приходилось близко соприкасаться с Анохиным, особенно в связи с работой в комиссии по документальному наследию И.П. Павлова: Анохин был ее председателем, Меркулов — заместителем председателя.



Петр Кузьмич Анохин

«Мне приходилось его тормозить, редактировать его воспоминания и писать обширную рецензию (по его же просьбе) на 1 издание его книги о И.П. Павлове, — писал мне Василий Лаврентьевич. — Он сначала просил прислать рецензию к 1/V 1966 г. “Это будет лучший первомайский подарок”. Я раздобыл авторский экземпляр рукописи Анахона, хвалебную ре-

цензию [Э.Ш.] Айрапетянца и добавил свою на 35 стр. И что же, 10 месяцев Анохин озлобленный отмалчивался. А в Ленинграде в апреле 1967 г. он извинился, что забыл поблагодарить. (Как можно понять, рецензия не была хвалебной! — С.Р.). Если Сперанский признавал, что общение с Ухтомским для него было важно и полезно, то Анохин в двух книгах критиковал учение о доминанте, пытаясь доказать, что его “10 принципов” имеют более универсальное значение» [28].

Все это Василий Лаврентьевич писал мне, чтобы подвести к главной, очень важной для него мысли:

«Отъявленные честолюбцы в науке, искусстве и политике ищут себе славы, почестей, популярности и воспринимают науку через себя. Истинные ученые щедры на идеи, обобщения и советы и их лихо обкрадывают, критикуют и унижают. Но есть безликая история (время) — она мудро взвешивает, отбрасывая шелуху и лак» [29].

## Глава девятнадцатая. Павловская сессия.

### 1.

Вскоре после войны, усилиями учеников Ухтомского стало выходить его шеститомное собрание сочинений. Академик Орбели, обладая большой властью в науке, не допустил включения этого издания в план издательства Академии Наук. Собрание сочинений выходило в издательстве ЛГУ, менее престижном и с куда более скромными ресурсами. Издание растянулось на 18 лет — с 1945 по 1962 [30].

Первые тома этого издания выходили, когда Меркулов был еще в лагере, так что он не мог участвовать в подготовке Собрания сочинений своего учителя. Через много лет, когда он — к столетию Ухтомского — готовил однотомник его «Избранных трудов» для престижной серии «Классики науки», выпускавшейся издательством «Наука» (как стало называться изд-во АН СССР) [31], он в предисловии попытался намекнуть на не очень корректные действия Орбели в отношении Ухтомского, но титульный редактор однотомника академик Е.М. Крепс восстал против этого. Спасая книгу, Меркулов свое предисловие снял. Книга вышла с предисловием более стоворчивого профессора Н.В. Голикова [32].

Леон Абгарович Орбели входил в первую генерацию учеников И.П. Павлова, был его правой рукой, и после его кончины в феврале 1936 года унаследовал руководство всеми павловскими научными учреждениями. Избранный академиком в 1935 году (одновременно с А.А. Ухтомским), Орбели был введен в президиум Академии, затем стал академиком-секретарем биологического отделения и вице-



Леон Абгарович Орбели

президентом. Наряду с теоретическими исследованиями он возглавлял прикладные, под его руководством в 1930-х годах изучались возможности человеческого организма в экстремальных условиях (летчики, водолазы и т.п.). Эти работы имели оборонное значение и привлекли к себе внимание Сталина. Орбели было присвоено звание генерал-полковника медицинской службы — наивысшие для военврача. Поддержка Орбели много значила для развития практически всех направлений биологической науки, в особенности физиологии. Сотни ученых были обязаны ему своим выдвижением. Было и немало обиженных, и просто завистников.

В августе 1948 года состоялась сессия ВАСХНИЛ, на которой «мичуринец» Г.Д. Лысенко «разгромил» классическую генетику — так называемый менделизм-морганизм. Разгром был санкционирован Сталиным, о чем Орбели, конечно, знал. Он не появился ни на одном заседании сессии, хотя положение академика-секретаря биологического отделения к этому обязывало.

«Несмотря на то, что Орбели как руководитель ряда физиологических учреждений был вынужден хотя бы формально включиться в "ангигенетическую" кампанию, как ученый он отказался в ней участвовать, — подчеркивает его биограф. — От Орбели потребовали не только изменить план генетических исследований [в руководимых им институтах и лабораториях], но и пересмотреть состав своих сотрудников, вплоть до увольнения некоторых из них (Р.А. Мазинг, И.И. Канаев). Орбели не только не сделал этого, но, проявив немалое мужество, ввел в свой штат уволенного из Ленинградского университета генетика М.Е. Лобашова. Однако, вопреки мнению Орбели, в Колтушах все-таки сняли с пьедестала бюст Г. Менделя, была прекращена работа с мушками дрозофилами» [33].

Здесь напрашивается небольшое отступление.

В 1963 году в редакцию серии ЖЗЛ, где я незадолго перед тем начал работать, пришел профессор, доктор биологических наук А.Н. Студицкий с пухлой рукописью об академике Павлове. Поскольку в серии мне был поручен раздел книг об ученых, то рукописью пришлось заниматься мне.

Кто такой Студицкий, я понятия не имел, но солидное ученое звание располагало отнестись к нему с доверием и почтением. Рукопись была написана темпераментно и достаточно популярно, читалась легко, однако кое-что меня в ней озадачило. Из нее я впервые узнал, что главная заслуга академика Павлова перед наукой и человечеством состояла в том, что он доказал: способность к выработке условных рефлексов усиливается от поколения к поколению, то есть у детенышей условный рефлекс закрепляется быстрее, чем у родителей, а в третьем поколении — еще быстрее. Иначе говоря, приобретенные упражнением полезные навыки передаются потомству — в полном соответствии с «мичуринским» учением и к порамлению формальной генетики, созданной Менделем и Морганом. Опыты описывались, выводы И.П. Павлова цитировались.

О Павлове я тогда знал меньше, чем сейчас, но основные представления об условных рефлексах у меня имелись. А вот об их передаче по наследству никогда раньше слышать не доводилось. Я пытался направить рукопись на рецензию, звонил нескольким ученым, с которыми был в контакте, но когда называл имя автора, то наткался на сухой отказ. Это меня озадачило еще больше, так как от таких предложений редко отказывались: сотрудничать с серией ЖЗЛ было престижно и внутреннее рецензирование хорошо оплачивалось. А тут — дружный афронт! Пришлось разбираться самому. Оказалось, что профессор Студицкий — личность

весьма известная. После разгрома менделистов-морганистов на августовской сессии ВАСХНИЛ он поставил своеобразный рекорд по их «разоблачению». Его захватская статья в массовом журнале «Огонек» носила убойное название: «Мухолюбы-человеконенавистники». По молодости лет я об этом не знал, но ученые, к которым я обращался, знали и помнили.

О «великом открытии» Павлова выяснилось вот что.

В начале 1920-х годов один из его малоопытных практикантов Н.П. Студенцов (любопытна схожесть фамилий Студенцов и Студицкий!) поставил серию экспериментов по выработке условных рефлексов у нескольких поколений белых мышей. Он обнаружил, что у каждого следующего поколения условный рефлекс закрепляется при меньшем числе повторений. Если в первом поколении потребовалось триста подкреплений, прежде чем мышки стали по звонку подбегать к кормушке, то в пятом поколении для этого требовалось от пяти до восьми повторений!

Доклад Студенцова об этих опытах был раскритикован известным генетиком Н.К. Кольцовым. Он указал, что в опыты, скорее всего, вкралась методическая ошибка. В беседе с Павловым Кольцов подробно развил свою аргументацию, и у него сложилось впечатление, что Иван Петрович с ним согласился. Однако в докладе на международном конгрессе физиологов в Эдинбурге в 1923 году Павлов сообщил об опытах Студенцова. Он даже высказал предположение, что когда он вернулся в Петроград, там уже, возможно, появятся поколения мышей, которые побегут к кормушке по первому звонку, то есть условный рефлекс, выработанный у их родителей, превратится в безусловный!

На конгрессе присутствовали некоторые генетики, в их числе Томас Гент Морган, создатель хромосомной теории наследственности. Он критически отозвался о выступлении Павлова, ибо, как и его русский коллега Н.К. Кольцов, знал, что благоприобретенные признаки не наследуются и что все попытки доказать обратное неизменно проваливались.

Вернувшись из заграничной поездки, Павлов поручил своему давнему и наиболее надежному сотруднику Е.А. Генике проверить опыты Студенцова. Генике усовершенствовал методику, устранил возможные помехи и выяснил, что первоначальный результат был неверным. Начинаящий экспериментатор действовал неумело, но со временем его навыки улучшались, потому и рефлекторная связь у мышей устанавливалась быстрее. То есть не мыши становились более сообразительными, а сам экспериментатор!

Павлов, как и следовало поступить настоящему ученому, опубликовал письмо, в котором говорилось:

«Первоначальные опыты с наследственной передачей условных рефлексов у белых мышей при улучшении методики и при более строгом контроле до сих пор не подтверждаются, так что я не должен причисляться к авторам, стоящим за эту передачу»<sup>[34]</sup>.

Английский перевод его книги «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» в это время готовился к публикации в Лондоне. Текст уже был набран, но Павлов отправил в редакцию примечание с настоятельной просьбой включить его в книгу:

«Опыты по наследованию предрасположенности к образованию условных рефлексов у мышей, о которых было вкратце сообщено на Эдинбургском конгрессе физиологов (1923), ныне оценены нами как крайне недостоверные... Пока что вопрос о наследственной передаче условных рефлексов

или наследственной предрасположенности к их приобретению должен остаться совершенно открытым»<sup>[35]</sup>.

Результатом этого эпизода, было то, что Павлов проникся большим пиететом к генетике и ее основателю Грегору Менделю. Он настаивал на том, чтобы курс генетики был введен в обязательные программы медицинских вузов, так как с законами наследственности должен быть знаком каждый врач. В начале 1930-х годов, на биостанции в Колтушах, Иван Петрович создал лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности и распорядился перед входом в нее установить три бюста: Декарта, Сеченова и Менделя. В лаборатории велись исследования на плодовой мушке дрозофиле — излюбленном объекте генетиков.

О «мухолобии» Павлова в рукописи А.Н. Студницкого не было ни слова.

Я смог вернуть ему его творение под благовидным предлогом, не сообщая истинной мотивировки отказа. Лысенко был еще в полной силе, сказать автору, что он приписал Павлову лженаучные представления, которых у того не было, — значило бы нарваться на обвинения в том, что в серии ЖЗЛ засели *менделисты-морганисты, мухолобы-человеконенавистники*.

Понятно, что академик Орбели, к которому после смерти И.П. Павлова перешло руководство биостанцией в Колтушах, не мог согласиться на снос памятника Менделю. Но отстоять его было ему уже не по силам.

## 2.

В 1950 году состоялась объединенная сессия Академии Наук и Академии Медицинских Наук, вошедшая в историю как Павловская. Она проводилась по образцу и подобию сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Ее подготовкой руководил лично Сталин. С основными докладами выступили академик К.М. Быков и академик Медицинской академии А.Г. Иванов-Смоленский. Л.А. Орбели — общепризнанный глава павловской школы — был «разоблачен» как антипавловец. Остракизму подверглись академик И.С. Бериташвили (Беригов) (после сессии снятый со всех постов), академик Л.С. Штерн (уже сидевшая на Лубянке по делу Еврейского антифашистского комитета), профессор П.К. Анохин, академик А.Д. Сперанский, которому не помогла даже личная дружба с Лысенко.

Впрочем, Сперанский, с присущей ему находчивостью, сориентировался в обстановке и выступил с такой боевой самокритикой, что в заключительном слове К.М. Быков сказал:

«Я с удовольствием отмечаю желание академика А.Д. Сперанского вскрыть свои ошибки».

Главный удар был направлен на Л.А. Орбели. Его надо было свергнуть с престола, дабы очистить место для «настоящих» павловцев. Больше всего ему было слушать громокипящие разносы из уст тех, кому он дал путевку в жизнь. Как писал мне В.Л. Меркулов, «много значил для прогресса ученого патронаж Орбели в 1936-1950 г. Многих [он] поднял на щит»<sup>[36]</sup>.



Константин Михайлович  
Быков

Мало кто из этих многих был в такой мере обязан Леону Абгаровичу, как Эзрас Асратович Асратян. Еще в 20-е годы Орбели помог аспиранту из Еревана перебраться в Ленинград, принял в свою лабораторию, рекомендовал его И.П. Павлову.

«Под руководством Л.А. Орбели Э.А. Асратян с 1928 по 1934 г. выполнил 18 исследований», указывает его биограф Н.А. Григорян [37]. В своих лекциях и трудах Орбели не раз выделял Асратяна как «очень страстного и очень решительного» молодого исследователя. Когда после смерти Павлова Орбели поставили во главе его осиротевших учреждений, не все этим были довольны. Но Асратян был в восторге. Он организовал групповое письмо в поддержку Орбели и первым его подписал. Орбели высоко оценил докторскую диссертацию Э.А. Асратяна, в чем, кстати, с ним был солидарен



Эзрас Асратович Асратян

А.А. Ухтомский, рекомендовал его в члены-корреспонденты Академии наук (избрание тоже было поддержано Ухтомским). А в 1950 году, на Павловской сессии, Асратян со всей своей «страстью и решительностью» обрушился на Л.А. Орбели. Он же стал соредактором (вместе с Э.Ш. Айрапетянцем) спешно изданной стенограммы Павловской сессии.

«После “триумфа” Павловского учения победители разбирали должности и звания. На заседаниях Биологического отделения Академии наук происходили выборы в академики. Баллотировался член-корреспондент Э.А. Асратян в действительные члены. Его заслуги с трибуны в пышных выражениях живописали перед голосованием члены Отделения — академики. Заслуги и достоинства были бесспорны. Выступили почти все. После вскрытия урны с бюллетенями оказалось, что все против! Каждый надеялся, что хоть один будет “за”» [38].

Об этой пикантной подробности в биографии своего героя Н.А. Григорян не упоминает, а его выступление против Орбели оправдывает тем, что тот «был освобожден от всех своих высоких научных и административных должностей не в результате выступлений Э.А. Асратяна» [39]. В этом она, безусловно, права: не Асратян был режиссером спектакля, он лишь хорошо сыграл отведенную ему роль.

О том, какая атмосфера царил на Павловской сессии, можно судить по отрывку из письма ко мне В.Л. Меркулова. Сам пораженный в правах на ней не присутствовал, но он хорошо знал многих участников Сессии и, как историк науки, детально изучил относящиеся к ней материалы:

«Вы правы — если жить мирно с сукиными детьми, приспособленцами и иной челядью от науки, то можно превратиться в прохвоста самому! Когда-то (в 1963 г.) покойный ныне академик Н.Н. Аничков, вспоминая о Павловской сессии 1950 г., где он был с С.И. Вавиловым сопредседателем, запер дверь кабинета и стал откровенничать со мною: “Жили мы в страшное время, все боялись, стали трусами и подлецами. Вот я любил и уважал Леона Абга-

ровича Орбели. Его критиковали, унижали, оплеывали! Я слушал речи критиков и боялся выступить в его защиту. Был я — подлецом»<sup>[40]</sup>.

С.И. Вавилов должен был председательствовать на Павловской сессии как президент Академии наук; Н.Н. Аничков сопредседательствовал как президент Академии медицинских наук. Уклониться от навязанной им роли они не могли: оба помнили о неявке Л.А. Орбели на сессию ВАСХНИЛ 1948 года и видели, чем это для него обернулось. С.И. Вавилов, конечно, помнил об участии своего брата академика Н.И. Вавилова, «разоблаченного» Лысенко и заморенного голодом в саратовской тюрьме.



Николай Николаевич Аничков.



Сергей Иванович Вавилов.

В своем вступительном и заключительном слове на Павловской сессии С.И. Вавилов усердно славословил корифея всех наук товарища Сталина. Что творилось в его душе, вероятно, навсегда останется тайной. В его скупых дневниковых записях Павловская сессия оставила три малозаметных следа. В воскресенье 25 июня (почти за две недели до открытия Сессии), на своей даче в Мозжинке, С.И. Вавилов записал:

«Полно цветов, клубники, земляники. Бегают маленький [внук] Сережа, в которого ум влезает все больше. А я искалеченный, еле дышу, проверяю “вступительное слово” [на Павловской сессии], смотрю журналы, впереди Энциклопедия, бездарные казенные рукописи. Деквалифицируюсь, глупею, слабею. Философия? Павловская»<sup>[41]</sup>.

В воскресенье 2 июля, в час дня, уже после Сессии:

«Почти всю неделю, днем и вечером перед глазами наполненный зал Дома Ученых. Ломятся как на футбол. Физиологическая сессия. Утром (через многие часы) на сетчатке рельефные отпечатки человеческих лиц с глазами и ушами. Это давнее мое наблюдение. Многие сотни павловских систем, многоголовой бездарности. Вспоминаю 40 лет назад, “Благородное Собрание”. 12-й съезд естествоиспытателей, я — студент первого курса — распорядитель. В задних рядах на эстраде. Павлов вроде седого льва. “Естествознание и мозг”. Новое сообщение, гениальные слова, которые тогда плохо понимал, но

чувствовалась “молния”. А сейчас бездарная, аморальная толпа без новых мыслей. <...> В голове у меня — хаос, усталость, меланхолия» [42].

И 9 июля:

«Еще неделя. Разбитый и одурелый. Физиологическая сессия. Языковедение. Востоковедение. Алихановы. Сотни неприятных мелочей и в голове ничего творческого» [43].

Это все...

Краешек тайны, которую С.И. Вавилов унес с собой, мне кажется, открывается в одном малоизвестном эпизоде, относящемся к тому же времени.

В издательстве Академии наук готовилась к печати биография Гете. Написала ее известная писательница Мариэтта Шагинян. Автор популярных романов, серии книг о семье Ульяновых, она была также знатоком немецкой культуры, философии, литературы (училась на философском факультете Гейдельбергского университета).

Редактор издательства обнаружил в ее рукописи страшное упущение. В книге отсутствовала знаменитая оценка товарищем Сталиным сказки М. Горького «Девушка и смерть»: «*Эта штука сильнее “Фауста” Гете. Любовь побеждает смерть*». Однако писательница, вместо того чтобы благодарить редактора за ценное замечание и с готовностью восполнить пробел, попыталась ему объяснить, что, при всем своем преклонении перед гениальными суждениями товарища Сталина, в этом конкретном пункте она с ним не совсем согласна. Поэтому цитировать про «Девушку и смерть», которая выше «Фауста», она не может. (Между прочим, есть сведения, что Горький был оскорблен высказыванием Сталина о своей сказке, посчитав его издевательским). Спор перешел в кабинет заведующего редакцией, затем главного редактора, затем директора издательства. Удивительно, что на упрямую авторшу никто не донес. Шагинян стояла на своем. Спор был перенесен в кабинет президента Академии Наук: административно издательство подчинялось ему.

Мариэтта Шагинян была наслышана о Сергее Ивановиче Вавилове, как о тонком, широко образованном интеллектуале, хотя, возможно, не знала, что «Фауст» был с юности любимым произведением Сергея Ивановича. Он перечитывал его бесчисленное число раз в оригинале и русских переводах, многие страницы знал наизусть, собирал различные издания «Фауста» — в его личной библиотеке их было не меньше 15-ти. В молодости, в игривом настроении, Сергей Вавилов даже сочинял стихотворные пародии на Фауста и Мефистофеля. Словом, мало кто мог с такой ясностью осознавать степень неуместности и даже нелепости «этой штуки» в монографии о Гете, как Сергей Иванович Вавилов.

Пока директор издательства *докладывал вопрос* президенту академии, писательница с надеждой вглядывалась в его мягкое интеллигентное лицо с умными усталыми глазами и видела, как оно — каменеет! Она поняла, что и здесь не найдет поддержки.

Это была последняя инстанция, выше идти было некуда — не самому же Сталину писать жалобу!

Ее охватило отчаяние. От сознания собственного бессилия она разрыдалась.

Окаменевшее лицо Сергея Ивановича мгновенно ожило, он быстро встал из-за своего президентского стола, подошел к ней, молча поднял ее за руки, так же молча вывел в заднюю комнату, плотно прикрыл дверь и тихо сказал:

— Мариэтта Сергеевна, дорогая, не расстраивайтесь, успокойтесь! Помните, что сказал Савельич Гриневу, когда Пугачев потребовал, чтобы тот поцеловал ему руку? «Плюнь, батюшка, да поцелуй!» Так и вы. Плюньте и поцелуйте! «Эта штука» была вставлена в текст, книга вышла без промедления — в том же 1950 году. Из последующих изданий она исчезла<sup>[44]</sup>.

Думаю, что этот эпизод приоткрывает завесу над тем что творилось в душе С.И. Вавилов, вынужденного участвовать в охоте на ведьм, которая называлась «Павловской сессией» двух академий. В своих речах, вступительной и заключительной, он *целовал* руку корифею всех наук, не сказав ничего конкретного ни о гонителях, на ней торжествовавших, но о гонимых, в числе которых был достаточно близкий ему человек, недавний вице-президент академии Л.А. Орбели.

Сергей Иванович пережил Павловскую сессию всего на полгода. Он умер от разрыва сердца в январе 1951 года, не дотянув до 60-ти лет.

А Мариэтте Сергеевне Шагинян суждена была долгая жизнь. В эпоху Хрущева-Брежнева она стала яростной сталинисткой. Она почти потеряла слух и не расставалась со слуховым аппаратом. Появляясь на людях, сгорбленная, сморщенная, с седыми патлами, старуха сердито вслушивалась в разговоры окружающих и если проскальзывала фраза о «беззакониях периода культа личности», как фурия, бросалась в бой! Брызгая слюной, сверкая ожившими глазками, размахивая длинными костлявыми руками, она начинала кричать о том, какое великое государство создал великий Сталин и как тупы и ничтожны пигмеи, смеющие его порицать. Когда кто-то пытался ей возразить, она демонстративно выдергивала из ушей свой слуховой аппарат, не желая ничего слышать.

### 3.

После Павловской сессии Орбели был снят со всех постов. За ним оставили лишь небольшую лабораторию физиологии в Институте имени П.Ф. Лесгафта, входившем в состав Академии педагогических наук. Стремясь увязать работу лаборатории с профилем института, Орбели сосредоточился на высшей нервной деятельности детского организма. После того, как профессор Педиатрического медицинского института А.Ф. Тур (сын Ф.Е. Тура — ученика Н.Е. Введенского, друга Ухтомского) предоставил ему клиническую базу для опытов и наблюдений, Орбели подготовил детальный план работы. Но его требовалось утвердить в Научном совете по проблемам физиологического учения академика И.П. Павлова.

Это был Совет Победителей, созданный после Павловской сессии: председатель — академик К.М. Быков, заместитель председателя — профессор А.Г. Иванов-Смоленский, ученый секретарь — Э.Ш. Айрапетянц, который играл активную роль при подготовке сессии и был соредактором ее молниеносно изданной стенограммы.

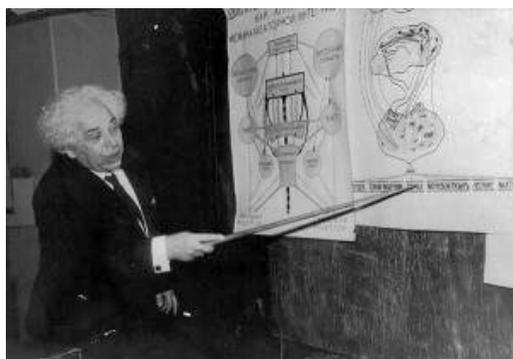
В Объяснительной записке к своему плану Орбели, усвоивший новые правила игры, усердно «целовал руку» властелину, униженно признавал свои «ошибки», но новым хозяевам жизни этого было мало. Обсуждение вылилось в глумление озлобленных шакалов над тяжело раненым, но все еще опасным львом. Заседание Научного совета длилось три дня. Стенограмма сохранилась в бумагах Орбели, его ученик профессор Л.Г. Лейбсон, имел возможность с ней ознакомиться.

«Врагов Орбели пугало, что, пока он работает даже на маленьком участке, он может добиться восстановления своего прежнего положения и лишит их тех преимуществ, которые ими завоеваны. Именно эту мысль высказал в своей разносной речи один из наиболее ярых оппонентов Орбели — Э.Ш. Айрапетянц. Он сказал, что все поведение Орбели можно объяснить тем, что тот рассчитывает повернуть ход истории к тому положению, которое было до объединенной [Павловской] сессии. Позиция Орбели — это позиция реванша обанкротившегося руководителя. Реванш будет дан, считает Орбели, если не через полгода, то через год. Орбели надеется, что все, кто сейчас стоит во главе физиологии, провалятся и снова придут в одиночку или сообща просить его возглавить основные физиологические учреждения»<sup>[45]</sup>.

План работ Научный совет признал неудовлетворительным.

Орбели, поддерживаемый профессором А.Ф. Туром, продолжал уже начатые исследования и вскоре получил первые интересные результаты. Через полтора года (в декабре 1952-го) он подвергся новой экзекуции на заседании того же Научного совета. В порядке «самокритики» Совет признал свои прежние нападки на Орбели недостаточными и постановил перенести критику его «ошибок» в широкую печать. 16 января 1953 года в «Правде» появилась статья заведующего отделом науки ЦК партии Юрия Жданова. В ней говорилось: «Наиболее активными противниками павловской физиологии выступали академик Л.А. Орбели, а также академик И.С. Беригов, проф. П.К. Анохин и некоторые другие физиолог»<sup>[46]</sup>.

Всего три дня назад страну потрясло сообщение ТАСС о кремлевских врачах-отравителях. Арест Орбели казался неминуемым. Но власти почему-то медлили, и нетерпеливый Айрапетянц начинает операцию по его окончательному уничтожению.



Эрвид Шамирович Айрапетянц

«Он организует заседание Общества физиологов, биохимиков и фармакологов в Ленинграде, на котором выступает с докладом о 8-й сессии Научного совета. В повестку дня включен также доклад Д.А. Бирюкова “О субъективных ошибках академика Л.А. Орбели”. Речь Айрапетянца полна нескрываемой ненависти к Орбели. Он утверждает, что Орбели идеалист, дуалист, враг павловского учения, что он “по существу, собственно говоря, никогда не понимал и не усвоил павловской идеологии” <...>. С лютой злобой оратор общается решлику Орбели, которую он “обязан довести до сведения собрав-

шихся, ибо это и есть истинная тактика и стратегия академика Орбели. Он сказал: «Через два года вы убедитесь, что я был прав». Вот в этой-то реваншистской позиции, — считает Айрапетянц, — все дело»<sup>[47]</sup>.

Заседание состоялось 23 марта 1953 года. «Корифей всех наук» уже лежал рядом с Ильичем в мавзолее, меньше двух недель оставалось до освобождения «врачей-отравителей». Суrowый критик опоздал!

Формально Э.Ш. Айрапетянц не был учеником Орбели. Он учился в Ленинградском университете, стал физиологом под руководством А.А. Ухтомского; когда был создан Институт физиологии при ЛГУ, коммунист Айрапетянц, как упоминалось, был назначен заместителем директора, то есть политкомиссаром при Ухтомском. Но он был одним из тех, кого Орбели поднял на щит, причем поднял из грязи. Есть сведения, что в начале войны Айрапетянц серьезно проштрафился, ему грозил трибунал. Орбели вытащил его из беды, принял на свою кафедру в Военно-медицинской академии, сделал своим адъютантом. Айрапетянц всюду его сопровождал. Оставшаяся в блокадном Ленинграде М.К. Петрова записала в январе 1943 года:

«Прилетел, наконец, из Москвы так долгожданный наш любимый шеф Л.А. Орбели. Прилетел он со своим адъютантом Э.Ш. Айрапетянцем, его сотрудником по Военно-медицинской академии. Этому Айрапетянцу и его жене В. Балакшиной я всегда особенно симпатизировала»<sup>[48]</sup>.

К счастью для Марии Капитоновны, она не дожидая до Павловской сессии, не стала свидетельницей того, как было профанировано и извращено учение ее возлюбленного Ивана Петровича, не увидела, с какой хищной боеготовностью адъютант, которому она «всегда особенно симпатизировала», кинулся клевать печень «нашему любимому шефу».

В.Л. Меркулов знал (а теперь стало общеизвестным), что Э.Ш. Айрапетянц играл ведущую роль при подготовке Павловской сессии. Это он написал речь академику К.М. Быкову, которую редактировал Сталин. Это он из суфлерской будки нашептывал ведущим действующим лицам спектакля, разыгравшегося на объединенной сессии двух академий, что и как говорить. Он же после сессии особенно рьяно пытался доклевать тяжело раненого льва.

Вопреки его стараниям, после смерти Главного Режиссера и Постановщика того зловещего спектакля накал разоблачений стал спадать. Орбели смог расширить масштаб исследований и превратить скромную лабораторию в институт Лесгафта в самостоятельный институт. Но организаторы недавнего погрома не намеревались уступать завоеванных позиций. Вопреки опасениям Айрапетянца, у постаревшего и потерявшего здоровье льва не было ни сил, ни возможностей для реванша; приходилось делать вид, что старое забыто. Но он, конечно, все помнил!

#### 4.

В 1955 году, рано утром 6 октября, Василий Лаврентьевич Меркулов навещал больного Орбели, которого не видел со дня ареста, то есть больше 18-ти лет. Орбели «с горечью говорил, как Сессия 2-х академий доказала ему, что он — умный дурак, и т.д. И он тоже верил, что его ученики не отвернутся от него, а что вышло?»<sup>[49]</sup>.

Два года спустя Василий Лаврентьевич пришел к академику Орбели с рукописью биографии Ухтомского. Положил папку на стол и сказал:

— Леон Абгарович! Вы много горя причинили моему учителю Алексею Алексеевичу Ухтомскому. У вас есть возможность искупить вину перед ним. Помогите издать его биографию!

Побагровевший Орбели, в генерал-полковничьем мундире, который, кажется, никогда не снимал, вскочил из-за стола, стремительно зашагал из угла в угол по кабинету, затем резко сказал, указывая на рукопись:

— Оставьте!

Вернул он ее со своим предисловием:

«В числе лиц, жизнь которых протекала в неустанных научных исканиях и являла собой во многих отношениях хороший пример для молодых научных работников и студентов, А.А. Ухтомский занимает видное место. <...> Автор этой книги, Василий Лаврентьевич Меркулов, ученик и последователь А.А. Ухтомского, был наряду с этим и другом покойного и хорошо знаком с внутренними переживаниями и образом жизни и деятельности Ухтомского. Я считаю, что эта книга окажет большое и хорошее влияние на нашу подрастающую научную молодежь. Академик Л.А. Орбели. Ленинград, 21 июня 1958 г.»<sup>[50]</sup>.

Этим поддержка Орбели не ограничилась. В одном из писем ко мне Василий Лаврентьевич упоминал о том, что Орбели активно помогал пробивать книгу. Н.А. Григорян приводит письмо Орбели Э.А. Асратяну, которого он когда-то поднял на шит, а затем получил от него ножевой удар в спину. Письмо «глубокоуважаемому Эзрасу Асратовичу» (прежде-то он звал его просто Эзрасом!) выдержано в почти подобоострастном тоне. Он просит помочь изданию книги Меркулова — «при условии такого авторитетного редактирования как Ваше»<sup>[51]</sup>. Похоже, знал, что у Эзраса Асратовича должен быть личный интерес, иначе пальцем не пошевелит!

Книга вышла через три года и почти через два года после смерти Орбели. Почему она выходила так долго? В одном из писем к Меркулову я спросил об отношении Ухтомского к религии (тогда еще ничего об этом не знал, лишь смутно догадывался). Василий Лаврентьевич ответил, что Алексей Алексеевич был очень религиозным человеком, но из его книги «сие и многое другое» убрали «красным карандашом»<sup>[52]</sup>. Кто орудовал красным карандашом, он не уточнил, но понять не трудно. На обороте тигульного листа значится:

«Ответственный редактор член-корр. АН СССР Э.А. Асратян».

Академиком Асратян так и не стал, но рычаги влияния крепко держал в руках. Он был директором Института Высшей нервной деятельности, был лауреатом премии имени Павлова, был награжден медалью имени Павлова. А, главное, оставался одним из ведущих истолкователей учения Павлова, который, по меткому выражению академика В.В. Парина, «не представлял себе, что его труды будут превращены в некий гибрид из псалтыря для молебнов и дубинки для устрашения инакомыслящих»<sup>[53]</sup>.

## 5.

Айрапетянц столь же умело адаптировался к послесталинскому режиму, как Асратян. В Ленинградском университете он заведовал лабораторией высшей нервной деятельности, занимался также историей науки — в связи с этим Меркулову приходилось с ним пересекаться, порой и сотрудничать. О том, что они вместе со-

ставляли однотомник «Избранных» Ухтомского для серии «Классики науки», упоминалось выше.

29 марта 1975 года Э.Ш. Айрапетянц умер, окруженный почетом и уважением. Торжественная панихида состоялась 2 апреля, в актовом зале ЛГУ, при большом стечении народа. Во время панихиды В.Л. Меркулов оказался рядом с давним своим знакомым профессором Б.П. Токиным, героем Социалистического Труда, Заслуженным деятелем науки, человеком сложной судьбы и пестрой биографии. Василий Лаврентьевич мне после этого написал:

«Я спросил: Б[орис] П[етров]ич, почему вы не ответили мне по поводу вашего мнения о книге Резника [«Мечников»] более подробно по телефону? Он повернулся и заявил: “Резник написал поверхностно о И.И. Мечникове, как журналист. Кое-что он исказит”. Далее он едко обвинил Вас в плагиате. “Он (Резник) использовал мои статьи без ссылок и вообще его книга мне не понравилась”. Тут нас вытряхнули из актового зала — затем я поехал в крематорий» [54].

В крематории панихида продолжалась. О заслугах Э.Ш. Айрапетянца было сказано много возвышенных слов, но ярче и проникновеннее всех выступил Б.П. Токин. По словам Василия Лаврентьевича, «Токин у гроба произнес редкий по демагогии панегирик коммунисту-ученому, борцу за науку и т.д. и т.п. Минут 20 он говорил патетически».

Меркулов не был бы самим собой, если бы промолчал.

«Меня взорвало, — продолжал Василий Лаврентьевич, — и я добился, что мне дали 5 минут. Мой тезис обидел родных и почитателей Эрвида: “Его счастье, что он встретил Ухтомского — и стал под его влиянием физиологом. Но в его генофонде не было генов иных, кроме партийного работника”. Сразу в полемику со мной вступил Л.А. Балакшин, брат жены. Он доказывал героизм Эрвида. Естественно, что после такой речи моей, Токин не искал меня, он понял, куда я целил свои слова!» [55]

Имя Б.П. Токина мне было известно с тех времен, когда я писал книгу о Н.И. Вавилове. Стремясь получше представить себе атмосферу, в которой Вавилову приходилось вести борьбу за науку, я просмотрел многие издания тех времен, включая комплект журнала «Под знаменем марксизма» за 1920-30-е годы. Мне не раз попадались статьи Б.П. Токина, члена Общества биологов-марксистов, в котором он играл одну из ведущих ролей. Он громил «буржуазных» ученых за идеализм, механицизм, непонимание материалистической диалектики и другие подобные грехи.

Вместе с тем, Токину принадлежали научные работы по фитонцидам — веществам растительной клетки, подавляющим развитие микробов.

Токин жестко критиковал «великие откровения» старой большевички О.Б. Лепешин-



Борис Петрович Токин

ской, развивавшей теорию живого доклеточного вещества, из которого якобы образуются клетки — вопреки классической формуле Рудольфа Вирхова: «клетка только из клетки». Экспериментальная часть работ Лепешинской была беспомощна, зато ее публикации были напшигованы марксистскими формулировками и обильным цитированием Энгельса. Всех несогласных она обвиняла в идеализме, витализме и вирховианстве.

Токин был не только более грамотен, он умел говорить на том же *энгельсовидном* языке. Он разносил построения Лепешинской, не стесняясь в выражениях. Он был профессором Томского университета, где пользовался большим влиянием, но в 1937 году попал в «ежовы рукавицы». Продержали его в тюрьме больше года, но еще при Ежове, то есть до малого бериевского реабилитанса, освободили и полностью реабилитировали. Это можно было объяснить только чудом или... или стовором с НКВДешным начальством. После войны Токин получил кафедру в Ленинградском университете.

Между тем, Лепешинская, сильно состарившись, но не потеряв боевого задора, продолжала публиковать свои «открытия» и слать жалобы в ЦК партии и лично товарищу Сталину на «буржуазных» ученых, которые не дают ей хода. Она подготовила монографию и хотела посвятить ее вождю народов. Вождь от такой чести уклонился, но публикацию книги поддержал.

Большинство ученых-цитологов предпочитало не связываться с воинствующей старой большевичкой. Но ей и молчания их было мало: она требовала всеобщего одобрения и продолжала клеймить идеалистов и вирховианцев, замалчивающих ее великие открытия. В конце концов, она их достала.

7 июля 1948 года, в газете «Медицинский работник» появилась статья под названием «Об одной ненаучной концепции». В ней давалась оценка трудам Лепешинской. Название статьи ясно определяло позицию авторов. Подписали ее 13 ленинградских ученых, в их числе академик АМН Н.Г. Хлопин, академик АМН Н.Д. Насонов, профессор В.Я. Александров, профессор Б.П. Токин <sup>[56]</sup>.

А через месяц грянула августовская сессия ВАСХНИЛ.

Т.Д. Лысенко и А.И. Опарин, выдвинутый после сессии на пост академика-секретаря взамен отставленного Л.А. Орбели, активно поддержали Лепешинскую. Им была близка боевая диалектико-материалистическая риторика старой большевички. В Ленинград нагрянула комиссия — снимать стружку с авторов коллективной статьи. Э.Ш. Айрапетянц, казалось бы, далекий от разборок в цитологии, то ли пригрозил Д.Н. Насонову, то ли дружески его предупредил, что если тот не покается, то ему придется переквалифицироваться в сапожники.

На собрании, где разносили противников Лепешинской, Насонов, белый, как бумага, поднялся на трибуну и сквозь зубы прицедил сожаление о том, что поторопился подписать статью 13-ти. Его покаяние было тут же осуждено, как неполное и неискреннее. Зато Борис Петрович Токин был «искренен». С большевистской прямотой он признал свои ошибки и напустился на своих соавторов с такими разоблачениями, что его выступление походило на публичный донос.

В.Л. Меркулову были также известны «ядовитые статьи, где Токин мял и позорил Александра Гавриловича Гурвича». Меркулов считал, что нападки Токина «укоротили жизнь замечательному ученому» <sup>[57]</sup>, о чем с присущей ему прямотой говорил самому Борису Петровичу.

В постсоветское время стало известно то, о чем Василий Лаврентьевич, возможно, догадывался, но наверняка знать не мог: Токин не брезговал и подметными

доносами. Так, он послал письмо в ЦК партии, в котором сообщал, что в Ленинградском филиале ВИЭМ окопалась конспиративная «еврейская масонская ложа». Главой ложи он назначил А.Г. Гурвича — «основателя наиболее реакционного идеалистического учения — неовитализма», секретарем — профессора В.Я. Александрова, членами — Д.Н. Насонова и ряд других ученых. То, что большинство из них не было евреями, его не смущало. Донос доложили секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову, по его указанию «еврейско-масонское гнездо» было разгромлено [58].

Так прокладывался путь к званию Героя Труда и Заслуженного деятеля науки!

У Василия Лаврентьевича с Токиным были долгие и очень не простые отношения. Правда-матка, которую Меркулов резал в глаза, уязвляла Заслуженного деятеля, но чем-то и притягивала. Когда Меркулов, по его собственным словам, «внедрился» в ЛГУ и стал создавать Кабинет истории науки при биофаке, Токин обещал свою поддержку, но умело ушел в сторону. И в других случаях он технично обводил Василия Лаврентьевича вокруг пальца. Однако пригласил на торжественный банкет по случаю своего семидесятилетия, на котором шиканул как достойный предтеча «новых русских». «Шампанского и коньяка было много, а приглашенных было более 300 гостей». Пир на весь мир обошелся в огромную по тем временам сумму — от четырех до пяти тысяч рублей. Василия Лаврентьевича Токин усадил рядом с собой и, «под влиянием паров коньяка», стал вспоминать о том, как солоно ему пришлось в тюрьме города Томска в окаянном 1937-м [59].

Мало что из вышесказанного мне было известно, когда Василий Лаврентьевич сообщил о своем «обмене любезностями» с Б.П. Токиным по поводу моей книги о Мечникове — у гроба почившего Э.Ш. Айрапетянца. В ответ я ему написал:

«То, что Вы пишете о Вашем столкновении с Токиным, весьма симптоматично, хотя похороны и не лучшее место для таких дискуссий. Его реакция на моего “Мечникова” меня очень позабавила. Значит, и Токин записался теперь в великие мечниковеды, так что, не обокрав его, о Мечникове и написать невозможно!! Я вновь справился по самой полной библиографии трудов, посвященных Мечникову (Хижняков, Вайндрах, Хижнякова, 1951), и убедился, что имя Токина в ней упоминается ТРИ раза. Ему принадлежат: Статья о фитонцидах с упоминанием Мечникова и сборник “Фитонциды”, который посвящен памяти Мечникова. Кроме того Токину принадлежит статья “К 100-летию со дня рождения И.И. Мечникова” в томской газете “Красное знамя”, которая проаннотирована следующим образом: “Краткая заметка о значении трудов Мечникова в разных областях науки”. Как видите, использовать эти работы (со ссылкой или без ссылки) при всем желании просто невозможно за отсутствием какой-либо оригинальности. Кроме этого мне известна еще публикация Токиным письма О.Н. Мечниковой к В.А. Чистович о посещении Ясной Поляны (публикация была в 1967 г. в “Науке и жизни”). Письмо это я использую, но на то, что оно опубликовано Токиным, указываю [60]. Вообще-то его реакция не является для меня неожиданной. Хотя по работе над Мечниковым я не имел случая с ним столкнуться, однако еще раньше, когда я занимался Н.И. Вавиловым, я просматривал периодику 20-30-х годов, и там довольно часто встречал имя Токина под статьями, громившими “буржуазную” науку, идеализм и проч., так что знаю, что сей Герой Труда немало потрудился на ниве уничтожения лучших наших ученых. И хотя мой “Мечников” не затрагивает этой темы, но, видимо, в книге все же чувствуется

полная несовместимость автора с политкомиссарами от науки. Да и “Вавилон” мой тов. Токину, по-видимому, известен»<sup>[61]</sup>.

В феврале следующего (1976) года в ЛГУ состоялось торжественное заседание, посвященное Э.Ш. Айрапетяну, — в связи с 70-летием со дня рождения. Покойному юбиляру снова пели дифирамбы. «Интересно сказал полярник Г[ерой] С[оциалистического] Труда [Алексей Федорович] Трешников; обтекаемо говорил, но дал понять, что его покойный друг был фанатичным сталинистом! — делился со мной впечатлениями В.Л. Меркулов. — Я намеревался развить этот тезис, но под предлогом позднего времени, а вернее опасаясь, что речь моя “не в цвет” будет, мою претензию отклонили»<sup>[62]</sup>.

*(продолжение следует)*

### Примечания:

- [1] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 3 января 1978 г.
- [2] Там же.
- [3] Т.И.Грекова, К.А.Ланге. Трагические страницы Института Экспериментальной Медицины (20-30 годы). <http://www.ihsr.ru/projects/sohist/books/os2/9-23.pdf>
- [4] Там же. Должен отметить, что в одном из писем ко мне Меркулов упоминал, что вернулся в ИЭМ в 1958 году, но настаивать на этой дате не могу: в письме могла быть описка.
- [5] Там же.
- [6] Там же.
- [7] Бацаев И.Д., Козлов А.Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах: В 2-х ч. Ч. 1 (1931—1941). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. С. 214. Цит. по: Государственный архив Магаданской области (ГАМО). Ф. р-23-сч, оп. 1, д. 3805, л. 66.
- [8] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 8 февраля 1976 г.
- [9] Там же.
- [10] Картина последних месяцев жизни Осипа Манделъштама воссоздана по устным рассказам В.Л. Меркулова и по записям его рассказов, сделанным в разное время его женой А.В. Яицких, В.В. Райвид и ленинградским библиофилом и пианистом М.С. Лесманом. См.: Виталия Орлова «Есть хмель ему на празднике мирском!», «Вестник», 2001, № 16 (275); Чарская Л.В. О.Э. Манделъштам в воспоминаниях современников, [http://samlib.ru/c/charskaja\\_1\\_w/oemandelxhtamwwspominanijahsowremennikow.shtml](http://samlib.ru/c/charskaja_1_w/oemandelxhtamwwspominanijahsowremennikow.shtml). Согласно Н.Я. Манделъштам, рассказанное Меркуловым в основном совпадало со свидетельствами других эзков, которые она считала наиболее достоверными.
- [11] И. Эренбург. Люди. Годы. Жизнь. Книга вторая, стр. 54.
- [12] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 25 февраля 1976 г.
- [13] Ухомский. Лицо другого человека, стр. 269. Дневниковая запись 1930-37 гг.
- [14] Гроссман Леонид Петрович — литературовед и писатель, автор многих книг и статей о Пушкине, Тургеневе, Достоевском, Сухово-Кобылине, Чехове, Лескове. Меркулов, по-видимому, говорит о книге Л.П. Гроссмана «Достоевский» (серия ЖЗЛ, 1962; 1965).
- [15] Архив автора. Открытка В.Л. Меркулова от 10 ноября 1973 г.
- [16] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 апреля 1976 г.

- [17] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 7 декабря 1973 г.
- [18] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 28 ноября 1978 г.
- [19] Там же.
- [20] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 3 января 1978 г.
- [21] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 4 октября 1973 г.
- [22] С.С. Миронин. Сто десять лет со дня рождения профессора И.И. Презента. <http://maxpark.com/community/129/content/1516933>
- [23] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 3 января 1978 г.
- [24] Там же.
- [25] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 25 декабря 1977 г.
- [26] Там же.
- [27] М.А. Аршавский. Ук.соч. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/memory/arsh94os.htm>
- [28] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 25 декабря 1977 г.
- [29] Там же.
- [30] А.А. Ухтомский. Собрание сочинений, тт. I-VI, Л., Изд-во ленинградского университета, 1945-1962.
- [31] Том, как упоминалось, вышел с опозданием на три года из-за сопротивления академика В.А. Энгельгардта.
- [32] А.А. Ухтомский. Избранные труды. Под редакцией акад. Е.М. Крепса. Статья Н.В. Голикова. Составление и комментарии Э.Ш. Айраптянца, В.Л. Меркулова, Ф.П. Некрылова, Л., «Наука», 1978.
- [33] <http://funeral-spb.narod.ru/necropols/bogoslovskoe/tombs/orbeli/orbeli.html>
- [34] "Правда", 13 мая 1927 г. № 106. Цит. по: Л.В. Крушинский. Наследуются ли условные рефлексы? «Природа» 1968. № 1. С. 120-123
- [35] Цит. по: А.С. Мозжухин, В.О. Самойлов. Ук. соч., стр. 260.
- [36] Письмо Меркулова ко мне от 3 января 1978 г.
- [37] Н.А. Григорян «Путь Э.А. Асратяна в науку». «Журнал высшей нервной деятельности», 2003, т. 53, № 3, стр. 265.
- [38] С.Э. Шноль. Гении, злодеи, конформисты отечественной науки. Издание четвертое, М. «Либроком», 2010, стр. 487.
- [39] Н.А. Григорян. Ук. соч., стр. 266.
- [40] Письмо Л.Н. Меркулова ко мне от 21 августа 1975 г. Архив автора.
- [41] Научное наследство, т. 35. Сергей Иванович Вавилов. Дневники. М., «Наука», 2012, стр. 442.
- [42] Там же.
- [43] Там же.
- [44] Эпизод мне известен из рукописи Вл. Келера о С.И. Вавилове, которую мне, как своего рода специалисту по вавиловской теме, присылали на внутреннюю рецензию. Книга была издана (Вл. Келлер. Сергей Вавилов, М., «Молодая гвардия», 1975), но данный эпизод при редактировании был вырублен.
- [45] Л.Г. Лейбсон. Трагические страницы жизни Л.О. Орбели // Репрессированная наука. Л., 1991. Вып. 1. стр. 292.
- [46] «Правда», 16 января 1953 г. Цит. по: Л.Г. Лейбсон. Ук. соч., стр. 294.
- [47] Лейбсон. Ук. соч., стр. 294.

- [48] Воспоминания М.К. Петровой. [http://www.infran.ru/vovenko/60years\\_ww2/petrova5.htm](http://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/petrova5.htm)
- [49] Архив автора. Письмо Меркулова от 1 сентября 1973 г.
- [50] В.Л. Меркулов. Алексей Алексеевич Ухтомский. Очерк жизни и научной деятельности (1875-1942), Изд-во АН СССР, М.-Л., 1960, стр. 3.
- [51] Цит. по: Н.А. Григорян. Ук. соч., стр. 266.
- [52] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 12 сентября 1976 г.
- [53] В.В. Парин. «Авторитет фактов». «Литературная газета», 1962. Цит. по: С. Резник. Лицом к человеку. Подступы к биографии В.В. Парина. М., «Знание», 1981, стр. 76.
- [54] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 21 августа 1975 г.
- [55] Там же.
- [56] «Об одной ненаучной концепции». Авторы: Н.Г. Хлопин, Д.Н. Насонов, П.Г. Светлов, Ю.И. Полянский, П.В. Макаров, Н.А. Гербицкий, З.С. Кацнельсон, Б.П. Токин, В.Я. Александров, Ш.Д. Галустян, А.Г. Кнорре, В.П. Михайлов, В.А. Догель // «Медицинский работник», 7 июля 1948 г.
- [57] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова, 22 сентября 1975 г.
- [58] РЦХИДНИ — Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории — до 1991 г. Центральный партийный архив Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф.17, оп. 118, д. 774, л. 120-121. Цит. по: Владимир Яковлевич Александров. Биолог, мыслитель, боец. Путеводитель по работам В.Я. Александрова. Составитель — Н.И. Арронет, ООО "Любавич", СПб, 2001.
- [59] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 22 сентября 1975 г.
- [60] «В 1967 году профессор Б. Токин опубликовал в журнале “Наука и жизнь” со своим предисловием письмо О.Н. Мечниковой к В.А. Чистович — дочери А.О. Ковалевского и жене одного из ближайших учеников Мечникова». (С. Резник. «Мечников», М. «Молодая гвардия», 1973, стр. 7).
- [61] Архив автора. Корпия моего письма В.Л. Меркулову от 15 сентября 1975 г.
- [62] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 25 февраля 1976 г.



# Владимир Фрумкин, Тамара Львова

## ЧЕРЕЗ ОКЕАН

### *Повесть-переключка\**

ТАМАРА ЛЬВОВА

#### НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

На моём столе — «Книга о "Турнире СК"» (СПб, 2005). Авторы — так написано на титульном листе — «Тамара Львова и её команда». Для тех, кто не знает: «Турнир СК» — очень популярная в 1964-1972 годах передача Ленинградского телевидения для старшеклассников (СК), выходившая в живом эфире. Откроем эту книгу... «Вводные страницы»: «Перед вами, уважаемые читатели, странная книга...» Далее объясняю, почему — странная.

Так вот, уважаемые читатели, сейчас перед вами книжечка несравненно более странная. Почему? У неё два автора.

«Что ж тут особенного?» — возразите вы и напомните мне... ну хотя бы Илью Ильфа и Евгения Петрова с их бессмертными романами «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Вы правы — два автора. Но они и писали вдвоём, вместе. Я когда-то читала: один из них взад-вперёд шагал по комнате, говорил-думал вслух, другой, сидя за столом, — слушал, «редактировал», записывал; потом они менялись местами. Нередко горячо спорили, доказывая что-то друг другу! И снова — один ходил и говорил, другой — слушал, правил, записывал. Повторяю: писали они вместе, вдвоём!

Вы продолжаете не соглашаться: «А самые знаменитые наши фантасты, братья Стругацкие, Аркадий и Борис? — говорите вы. — Они и жили-то в разных городах — как могли писать вместе?» — «Могли!» — возражаю я. С одним из них, Борисом Натановичем, я познакомилась в Доме творчества под Ленинградом. Он и рассказал мне, что, хоть и жил Аркадий в Москве, а он, Борис, в Ленинграде, — летом всегда встречались на такой вот писательской даче и... работали вдвоём, взахлёб работали!

А вот мой соавтор, Володя, Владимир Аронович Фрумкин, когда-то блестящий ведущий наших музыкальных конкурсов на «Турнире СК», живёт от меня через море-океан, в «тридевятом царстве», под Вашингтоном и (ни разу!) мы с ним не виделись... ровно 40 лет! Где уж тут вместе писать. Он начал свои воспоминания о далёком детстве для дочки Майечки, родившейся уже в Соединённых Штатах, меньше всего думая обо мне. Я появилась с моими «Письмами далёкому другу» позже, неожиданно. Как — мы расскажем об этом.

Сейчас добавлю только одно: наши письма, две повести, слившиеся в одну, — поразили меня несказанно открытием: как безраздельно властвует над нами

---

\* Свою повесть авторы посвящают друг другу — в знак полувековой «турнирной-лицейской» дружбы, — а также всем друзьям по «Турниру СК», живущим и ушедшим.



время. Мы с Володей прожили своё довоенное детство далеко друг от друга: он — в захолустной белорусской деревне, я — в индустриальном украинском городе. Ещё дальше забросила нас война: его — в Омск, меня — на Урал, под Челябинск. Потом был Ленинград: у него — консерватория, у меня — университет. Мы не были знакомы до встречи на Ленинградском телевидении, когда обоим

было уже чуть-чуть за тридцать. Но... как же, оказывается, много было в жизни у каждого из нас, таких разных, но ровесников (и этим всё сказано!), похожего; сколько пришлось пережить общих событий, потрясений, разочарований!

Мне кажется, что из-за этих «переключек» судеб двух ровесников мы и затеяли нашу (из двух — одну!) повесть «Через океан»...

## I

### ВЛАДИМИР ФРУМКИН ДВА ДЕТСТВА

Тамарочка, посылаю на твой суд неожиданно возникшие заметки. Моя дочка Майя лет с четырёх то и дело просила меня рассказать — на сон грядущий — о том, «как папа был маленький». Теперь, когда у неё уже есть своя дочурка, я решил напомнить ей то, что она слышала от меня тридцать с лишним лет назад.

Начала (такуж получилось) с историй, лейтмотив которых — еда, прокорм, поиски хлеба насущного. Помню, суть их доходила до неё с трудом, что неудивительно: её детский опыт (она родилась в Америке) так разительно непохож на мой... Итак...

### *Байки для Майки*

*Хлеб наш насущный даждь нам днесь.  
Евангелие от Матфея (6: 9—13)*

### Барда

Что такое голод, я узнал только во время войны. Даже «голодомор» начала 1930-х, отправивший на тот свет миллионы моих сограждан, почти не затронул мою семью. Нас спасла барда.

Незнакомое слово? Объясню: барда — жидкие отходы от производства этилового спирта, светло-коричневая жижа, пахнущая либо зерном, либо картофелем, то есть тем сырьём, из которого гнали спирт. Отличный корм для скота и домашней

птицы, да и неплохое удобрение. Рабочие и служащие четырёх белорусских заводов, где мой отец за одиннадцать довоенных лет успел поработать техноруком, получали барду в неограниченных количествах и притом бесплатно. Хватало её и для соседних колхозов. А та, что оставалась невостребованной, сливалась в сточную канаву. Бывало, хотя и редко, что оттуда тянуло, как из пивной. Случалось это, когда — из-за каких-то технических неполадок — в отходы просачивался конечный продукт нашего завода, крепчайший 96-градусный спирт-ректификат.

Один такой выброс кончился печально. В Рудобелке (так называлась деревня, в которой был наш заводской посёлок) на лугу возле тянувшейся от завода сточной канавы паслось стадо колхозных гусей. Учув свежую, только что выпущенную барду (через 12 часов она начинала бродить и становилась невкусной), гуси перестали щипать травку и, выстроившись вдоль канавы, начали хлебать ещё тёплую ароматную жидкость. Пришедший за стадом под вечер пастух застал такую картину: гуси лежали вповалку — бездыханные, без единого признака жизни. В воздухе попахивало алкоголем.

По деревне поползла страшная весть: всё наличное поголовье гусей нагло талось спирта и подохло. Люди кинулись спасать то, что ещё можно было спасти, — пух и перья. Гусей ошипали и выбросили на свалку. Наступило утро, и жители деревни, не веря своим глазам, увидели ковьялющих по главной улице вчерашних покойников. Протрезвевших за ночь гусей, жалких, голых, до пёрышка и пушинки ошипанных, недолго думая, прирезали и съели: шансов выжить у них практически не было.



Володе около 2-х лет.  
На обороте дата: 31.08.1931.  
Два исполнится 10 ноября.

Случалось, что и люди у нас гибли, перебрав кристально чистого, неразбавленного ректификата. Запомнилась одна из таких смертей в той же Рудобелке: охранник, поставленный на ночь сторожить готовую к отправке железнодорожную цистерну со спиртом, не устоял перед соблазном — сорвал пломбы с крана и устроил себе ночной пир. Заснул сытый, пьяный и счастливый — и не проснулся.

Не знаю, были ли жертвы перепоя в последнем нашем рабочем посёлке, Ковгары, когда отец выпустил наружу из заводской цистерны тысячи декалитров отборного спирта. Сделал он это на четвёртый день войны, 26 июня 1941 года, чтобы не оставлять добро стремительно приближавшемуся врагу. Рабочие, не веря своему счастью, кинулись с ведрами к сточной канаве, где поверх лежавшей на дне запёкшейся барды поблёскивала на солнце манящая благоухающая влага. То, что в Ковгарах вот-вот появятся немецкие мотоциклисты, их нисколько не смущало, о чём мы узнали в тот же день, когда к нам в дом явилась рабочая делегация, чтобы уговорить нас остаться.

Делегаты знали, что утром, после того как отец вылил в канаву весь имевшийся на заводе спирт, мы пытались уехать на обслуживающей наш район кинопередвижке (в нашей деревне, как и в соседних, о

стационарном кинозале приходилось только мечтать). Киномеханик и водитель «газика», подрулив к нашему дому, предложили нам, единственной на весь посёлок еврейской семье, «бежать от немца» с ними. «Киношники» меня знали: перед показом картины, пока они втаскивали в заводской клуб и налаживали свою аппаратуру, я играл на мандолине вальсы, польки и танго, под которые публика помоложе охотно танцевала. Увы, знакомство не помогло: отъехав три километра до станции Дараганово, наши потенциальные спасители сказали нам, что бежать они раздумали, — и отвезли нас обратно. Всё. Капут. Выхода нет.



Володе 8 или 9. С семьёй в пос. Ковгары Могилёвской обл.  
Справа сзади — гостя из Минска, мамина сестра Рахиль.

И вдруг — группа рабочих, как-то странно выглядящих: выбритые, умытые и одеты по-праздничному — так они даже на главные советские праздники не наряжались! Но маршкет этот, как оказалось, был наведён не для нас — для немцев! Слово взял один, который постарше:

— Вот тут у нас двое в германском плену были... в первую мировую, значит. И поняли, что немцы — культурный народ. Умеют жить. И нас, даст Бог, научат. Ты, Арон Менделевич, хоть и еврей, но не коммунист. И работник хороший. Будешь вкалывать на немца, как вкалывал на советскую власть. А если что — мы словечко замолвим. Оставайся. Бежать-то всё равно не на чем. Да и поздно.

Услышав отцовское: «Ладно, остаюсь», — я закатил страшную, сумасшедшую сцену. Не знаю, почему я так явственно ощутил неминуемость нашей гибели: вот уже года два как СССР дружил с гитлеровской Германией и старался говорить о ней только хорошее. После заключения пакта Молотова-Риббентропа с экранов мгновенно исчезли антифашистские фильмы: «Профессор Мамлок», «Болотные солдаты» и «Семья Оппенгейм». Даже картину про разгром германских средневековых «псов-рыцарей» — «Александр Невский» — перестали показывать. Но я хорошо запомнил то, что писали и говорили о фашистах раньше, до перемены курса.

Сыграла, наверное, роль и мимолётная встреча с беженцем из польского города Белостока, еврейским парнем лет двадцати в иностранного покроя сером ше-

виотовом костюме в широкую полосу. Он бежал, когда в город в сентябре 1939-го вошли немцы и тут же начали расправляться с евреями. Остался один (родных растерял по дороге), почему-то завернул в нашу деревню. Он был болезненно бледен, растерян, явно в шоке от пережитого. Мы завели его в дом, накормили, он очень не хотел возвращаться домой, но за ним пришли милиционеры и посадили в поезд, направлявшийся на запад. Я до сих пор помню его глаза загнанного зверя и своё недоумение: за что его так? Почему не жались? Ведь мы — самая гуманная страна в мире!

Как бы то ни было, но мой истерический вопль спас нам жизнь. Безобразная сцена подействовала, мать меня поддержала, отец побежал на заводскую конюшню, запряг крепкую молодую кобылку, прозванную нами «Лыска» из-за большого белого пятна на лбу, — и мы с двумя чемоданами, уже затемно, рванули на восток.

Еды почти не взяли, не до того было. На следующий день на обочине Бобруйского шоссе, по которому шли пешком и ехали на чём попало многочисленные беженцы, мы подобрали брошенную кем-то эмалированную кастрюлю с топлёным гусиным жиром. В ней лежала старинная, тонкой работы серебряная чайная ложка с длинной витой ручкой. Жир мы намазывали на грубый крестьянский хлеб, который нам иногда удавалось купить в деревнях. Бывало, что и молоком разживались. А ведь надо было ещё и овёс доставать для нашей Лыски, и кормить мою комнатную собачку Любку. Я не взял её с собой, малодушно бросил, но она, как вскоре выяснилось, незаметно увязалась за нами. Мы ехали в полной темноте по глухой лесной дороге и сквозь стук Лыскиных копыт и пугающие, получеловеческие вскрики сов и филинов слышали сзади шуршание чьих-то маленьких лапок... Как моя старенькая, крохотная и тщедушная Любка смогла за нами угнаться — ума не приложу. Мне подарил её на день рождения подвальный нашего завода, статный, высокий, усатый мужчина то ли с украинской, то ли с белорусской фамилией — Мурга. После войны мы получили письмо от уцелевших жителей посёлка: они среди прочего сообщали, что Мургу немцы прилюдно повесили за то, что у него, как им донесли, была еврейская бабушка.

На телеге мы проехали тысячу километров аж до самого Курска. По дороге прожили недели три на родине матери, в городке Почеп Брянской области, — надеялись, что немцев погонят обратно и мы благополучно вернёмся домой. Не зря же обещали нам перед войной наши вожди: «Мы не только не пустим врага в пределы нашей Родины, но будем бить его на той территории, откуда он пришёл». Композиторы и поэты немедленно придали этим словам «красного маршала» Ворошилова песенные крылья: «И на вражьей земле мы врага разгромим/ Малой кровью, могучим ударом!» Красивая была песня, называлась она «Если завтра война». Верилось ей беспрекословно. Мамины почепские родственники, дядя Беньямин и тетя Хавейдля, отказались бежать с нами, несмотря на наши уговоры. То ли продолжали верить в непобедимость Красной Армии, то ли из-за преклонного возраста. Немцы расстреляли их сразу же по приходе в Почеп вместе с другими оставшимися евреями.

Не успели мы выехать из городка, как на нас начало медленно опускаться какое-то странное облако. Оказалось, что это сброшенные с немецкого самолета листовки. Отец остановил Лыску и подобрал одну. Мы обомлели: к бойцам Красной Армии обращается не кто-нибудь, а старший сын нашего вождя Яков Сталин, который якобы попал в плен к немцам в самом начале войны! Его портрет в военной форме занимал одну сторону листка. На другой было написано примерно следующее: «Немецкая армия непобедима. На нас идёт несметная сила. Бросайте ору-

жие и сдавайтесь — сопротивление бесполезно. Вот пароль, который вы должны произнести при сдаче в плен: "Бей жида-полигрук, морда просит кирпича!"» Я хотел сохранить на память этот пропагандистский шедевр, но отец его у меня отобрал, разорвал и выбросил.

В Курске мы втиснулись в забитый беженцами и кишачий вшами товарный вагон с намерением добраться до Омска, где нас уже ждали мамина сестра тётя Фира и мои сестры Эмма и Хиля, которые бежали — ушли пешком — из горящего Минска во время страшной бомбёжки, обрушившейся на город 24 июня.

### Пирожок с сюрпризом

Одно время отец совмещал две должности — технорука и подвального, в обязанности которого входило перекачивать спирт из огромной заводской цистерны, стоявшей в подвале, в цистерны на подъездных железнодорожных путях. Когда я подросток, это нехитрое дело он стал поручать мне. Вначале надо было наполнить небольшую продолговатую цистерну — мерник, служившую для учёта отправляемых государству декалитров. После этого я включал шумный паровой насос, чтобы перекачать содержимое мерника в железнодорожную цистерну. Пока заполнялся мерник, из него поднимались и расплзались по подвалу густые, обжигающие нос и горло клубы спиртового пара. Я почему-то не пьянел, но проспиртован был и продезинфицирован на всю свою дальнейшую жизнь.

Иногда к отцу в подвал заглядывал, опасливо озираясь, какой-нибудь работа — в надежде утолить мучившую его жажду. Отец отказывать не умел (эта его черта перешла ко мне, к великому моему сожалению). Наливал до краёв медный двухсотграммовый ковшик, который проситель тут же жадно заглывал, морщился и, шумно выдохнув, вытирал рот замызганным рукавом.

Благодаря даровому корму для скота спиртзаводы представляли собой редкие островки относительной сытости в перманентно недоедавшей советской державе. Платили рабочим и служащим сущие гроши, зато у них было приусадебное хозяйство, такая миниатюрная ферма, допустимые размеры которой были строго регламентированы советской властью. Разрешалось держать одну корову, несколько свиней и практически сколько угодно кур, уток, гусей, индюков. Да ещё иметь огород и картофельное поле. Заводить лошадь категорически воспрещалось: владение тягловой силой делало советского гражданина кандидатом в кулаки-эксплуататоры. Так что если ты простой рабочий — вскапывай своё картофельное поле вручную, лопатой. Начальству, в том числе и моему отцу, должность которого была на одну ступеньку ниже директорской, разрешалось для этой цели брать с заводской конюшни лошадь и запрягать её в одолженный где-нибудь плуг.

Но огород мы вскапывали сами. Я подключился к сельхозработам с малолетства: вскапывал, окучивал, пропалывал, давал корм корове, свиньям, птице, собирал в курятнике только что снесённые, ещё тёпленькие яйца, сбивал сливочное масло и даже однажды, выключив разрешение у матери, попытался подоить корову, которая тут же меня бесцеремонно отвергла. Когда забивали кабана, участвовал в многотрудном процессе заготовки продуктов из свинины: коптил окорока холодным и горячим способами, причём для последнего выкапывалась неглубокая траншея, которая накрывалась листовым железом, у входа в «тоннель» раскладывался костёр из хвойных веток, а у выхода подвешивался сырой окорок. Делал колбасы всевозможных видов и прочие деликатесы, включая «сальтисон» — свиной желудок, набитый кусочками отваренных свиных потрохов — лёгких, печени,

сердца, почек. Кабана закалывал возле нашего дома нанятый для этого дела умелец. Я малодушно прятался где-нибудь в дальней комнате и затыкал уши, чтобы не слышать душераздирающего визга.

В общем, мясо, овощи, картофель да ещё ягоды и грибы, которыми кишели дремучие белорусские леса, — в этом у нас недостатка не было. Хуже было с хлебом. Когда мне было года три с половиной, помню себя сидящим на высоком детском стуле, вокруг меня — радостная суета. Вызвана она была, как мне рассказывали потом, тем, что отец раздобыл муки (скорее всего, обменял на бутылку вынесенного с завода спирта) и мать затеяла праздник — напекла пирожков. А мука появилась потому, что в наших краях подходил к концу жестокий голод, свирепствовавший во время коллективизации и раскулачивания.

Мои родители, между прочим, были большими мастерами по пекарному делу. Лишь через много лет я узнал, что в годы нэпа они вкупе с родителями мамы открыли в Брянске маленькую пекарню и начали печь булочки. Сами же и продавали. Когда нэп прихлопнули, у родителей начались серьёзные неприятности, они угодили в «лишёнцы» (т. е. в категорию лишённых избирательных прав).

Отец, недолго думая, скрылся из Брянска, где я только что родился, и устроился на работу в Белоруссии на спиртзавод. Профессию спиртовика он, как видно, постиг ещё в юности, когда его отец служил винокуром у помещика в Орловской губернии.

Начал отец с завода в деревне Комаровичи. Потом мы переехали в местечко Березино, где и произошёл тот самый семейный праздник с пирожками. Запах стоял восхитительный, совершенно для меня новый. Мне вкладывают в руку белый с лёгким румянцем пирожок, я, обжигаясь, тут же его надкусываю, он с ягодами, с малиной, вкус потрясающий, но среди красных ягод я замечаю запечённую в пирожке отвратительную и огромную чёрно-зелёную муху.

### **В закрытом распределителе: запахи и страхи**

В начале войны я заделался мелким жуликом. Впрочем, не уверен, что таким уж мелким. В отличие от моего любимого литературного героя, весёлого и обаятельного авантюриста Остапа Бендера, который был осторожен и чтит Уголовный кодекс, я этот полезный документ даже прочитать не удосужился. Поэтому так и не знаю, какое наказание полагалось в те времена по статье «Мошенничество», пункт «Подделка документов». Смутно помнил я тогда о зловещем довоенном законе, согласно которому возраст полной уголовной ответственности до расстрела включительно (!) начинался с 12 лет (Постановление СНК СССР и ЦИК СССР от 7 апреля 1935 года). Но, во-первых, хотелось верить, что, если попадусь, всё же примут во внимание моё малолетство. А во-вторых, очень уж кушать хотелось.

А вот кому попало бы без всяких скидок, так это моему великовозрастному двоюродному брату Боре Якубовичу, который и обучил меня этому преступному ремеслу. Был он аж на шестнадцать лет старше меня!

Документы, которые мы с ним подделывали, ценились дороже денег. Нет у тебя такой бумажки — забудь о еде, ничего тебе не продадут в магазине. Называлась эта бумажка «продовольственная карточка». Берегли мы свои карточки как зеницу ока. Чтоб не потерять и чтоб не украли. Без них еду продавали только на городском частном рынке, но цены там были умопомрачительные.

Мы с Борей не изготавливали карточек, упаси Боже! За это могли посадить как миленьких и не на малый срок. Мы меняли их категорию. Карточку для про-

стых смертных превращали в карточку для избранных, которая давала право покупать продукты в особом, единственном на весь город продовольственном магазине — «спецторге».

Это был один из разбросанных по всему СССР закрытых распределителей, где отоваривались «слути народа». Нормы выдачи продуктов для них и для простого люда, официально именуемого «хозяевами страны», были примерно одинаковыми. Скажем, по так называемой рабочей карточке полагалось и тем, и другим 800 граммов хлеба в день. (Я целых три месяца был счастливым обладателем такой карточки, когда на время летних каникул поступил на эвакуированный из Ленинграда военный радиозавод имени Козицкого учеником механика — это было уже к концу войны.) Но чем спецторг отличался от общедоступных магазинов, как небо от земли, так это ассортиментом и качеством товара. Таких гастрономических красот я не видел даже в довоенном столичном Минске, куда изредка ездил с родителями к маминым родственникам. Чего там только не было! Свежее мясо разных видов — говядина, телятина, свинина, птица, колбасы всяческие, рыбные и мясные консервы, масло сливочное и постное, крупы, хлеб чёрный и белый, печенье, пряники, пирожные, торты, конфеты, шоколад. А какие запахи там стояли!

К спецторгу «прикрешляли» крупных и средних начальников города и области. Получали они, как ни странно, стандартные карточки, которые отличались от обычных только своей изнанкой. Там, на обороте, ставилась особая печать, магический знак, открывавший ворота в этот гастрономический рай.

Карточки для начальников получала — на себя и двоих детей — наша тётя Фира, «полусестра» моей мамы (общим у них был отец, мой глубоко набожный дедушка Гиля, красивый старик с длинной седой бородой, расстрелянный немцами во время первой же акции по ликвидации узников минского гетто). Начальником был дядя Биня Лейбин, её муж, который работал инструктором в областном комитете партии.

Мы жили вместе с ними в их квартире, которая находилась в самом роскошном в Омске жилом доме. Длинное светлое здание в шесть этажей с балконами внушительно возвышалось на самой просторной площади города, носившей имя Феликса Дзержинского. Именно там поселили ведущих артистов эвакуированного из Москвы Театра имени Вахтангова, который начал давать спектакли в драматическом театре — красивом старинном здании неподалёку от нашего дома. Даже в самом фантастическом сне мне не могло присниться, что я буду жить рядом со своими кумирами, знаменитыми актёрами, снявшимися в фильме «Александр Невский», — Андреем Абрикосовым и Николаем Охлопковым.

У Абрикосова был сын Гришка, хорошенький, холёный, изнеженный, одним словом — маменькин сынок. Однажды мы подрались, и я его поколотил, о чём потом жалел: он был почти на три года моложе меня. Прошли годы, и Григорий Абрикосов стал известным актёром театра и кино. Вскоре после нашей драки, поздним зимним вечером, я столкнулся возле дома с Гришкиным отцом — и замер в испуге: если сынок нажаловался, папаша мне сейчас уши оборвёт. Но папаше было не до меня. Он и Охлопков в распахнутых добротных дублёных шубах и расстёгнутых штанах справляли малую нужду в наметённый накануне белоснежный сугроб. Судя по их съехавшим набок меховым шапкам, раскрасневшимся лицам и слегка заплетающейся речи, были они в изрядном подпитии.

Сердобольная тётя Фира приютила в своей просторной (по советским понятиям) квартире кучу бежавших из Белоруссии родственников. Когда Боря сравнил

то, что приносила она из спецгорга, с тем, что приносили мы из наших убогих магазинов, он решил, что так это дело оставлять нельзя: наши плебейские карточки надо снабдить «магическим знаком». Но как? Была только одна возможность: перенести его с тётиней карточки.

Придуманый Борей метод был, на первый взгляд, до примитивности прост. На тыльную часть обкомовской карточки накладывалась прозрачная бумага — калька. Вооружившись пером и чернилами, мы срисовывали на неё печать, стараясь следовать оригиналу в самых мельчайших деталях. Затем, после нескольких несложных манипуляций с неперменным участием горячего утюга, на девственно чистой визитке нашей карточки возникала она — волшебная желанная печать.

Работа эта была кропотливая и утомительная. Срисовывание на кальку занимало уйму времени: сделал ошибку, съехал чуть-чуть не туда — исправить невозможно, начинать всё сначала. Но как мы ни старались, конечный результат был далёк от совершенства. Копия слегка отличалась от оригинала и цветом чернил, и расплывшимися кое-где буквами и цифрами, и другими деталями. К счастью, те, кто мог нас поймать, не очень-то всматривались.

Но всё равно было страшно. Душа моя уходила в пятки всякий раз, как я попадал в этот оазис изобилия посреди безраздельного царства скудости и дефицита. Память предательски подсовывала знаменитую фразу Кисы Воробьянинова из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (оба романа я, несмотря на малолетство, успел прочитать и полюбить): «Держите его! Он украл нашу колбасу!»

Но боялся я не только за себя. Не поздоровилось бы и родителям, и Боре, и тётке Фире. Она с тревогой смотрела на наши манипуляции с её карточкой, но терпела: авось обойдётся, а если не повезёт, то муж вне подозрений (дядя Биня не так давно ушёл на фронт), а сама она как-нибудь выкрутится.

Входя в спецгорг, я, как мог, старался подавить страх, не дать ему отразиться на лице, в глазах, походке... На мою беду, на операцию по объеданию «слуг народа» меня посылали чаще других. Считалось, что у приличного и скромного на вид мальчика меньше шансов попасться, чем у взрослого. Даже с учётом того, что одет я был победнее, чем мои номенклатурные сверстники.

Мои дерзкие походы в распределитель, моё опьянение восхитительными запахами и обмирание от парализующего страха — всё это закончилось, когда Боря забрали в армию. Его обучили артиллерийскому делу и отправили на фронт. Примерно в то же время мы — отец, мать и две сестры — покинули тётки-Фирин обкомовский рай и переехали в двадцатиметровую комнату в коммунальной квартире поближе к военному авиационному заводу № 20, куда устроились на работу мои сестры Эмма и Хиля.

### Кража со взломом

Нет, не дверь была взломана — до этого я не докатился, — а всего лишь форточка. Правда, не у какого-нибудь там соседа, не у частного лица — за это советский закон не карал сурово. Я посягнул на социалистическую собственность, а за это государство обычно наказывало жёстче, чем даже за убийство.

Собственность находилась в гастрономе, а гастроном — в первом этаже нашего дома. Вход в него был с улицы Герцена, вход в наш дом — с Освдовской, через деревянные ворота с калиткой, которые вели во двор. И в этот двор, справа от моей парадной, выходили большие окна магазинного склада. Я стал в эти окна заглядывать, с тоской вспоминая об относительно сытых месяцах жизни в тётки-

Фириных хоромах на площади Держинского. Даже страх попасться с поличным, который охватывал меня в спецгорге, подёрнулся в моём голодном сознании лёгким налетом ностальгии. В магазин на Герцена, обслуживающий рядовых граждан, я входил без всякого страха — но и без всякой надежды получить то и столько, чтобы хоть ненадолго насытить сидевшего во мне голодного зверька. Есть хотелось постоянно, даже по ночам. Всё выдавалось по карточкам — и продукты, и промтовары. И то, и другое было жалким — как по количеству, так и по качеству. И вдобавок — постоянные очереди, смешанная с опилками мокрая грязь на кафельном полу, суровые лица продавщиц.

Мы еле дождались осени 1942-го, когда на земельном участке, выделенном моим сёстрам 20-м заводом далеко за городом, созрела наша долгожданная картошка. Весной мы вскопали поле лопатами, купили на рынке немисливо дорогой приличный картофель для посадки, потом пошли прополка, окучивание, взрыхление почвы. Поле километрах в пяти от дома, никакого транспорта, приходилось добираться пешком. Самое трудное было — тащиться домой с привязанным к спине мешком скороспелки (так назывался сорт картофеля, который созревал раньше других). Основной урожай, мешков десять-двенадцать, мы перевозили на грузовике, для чего надо было найти шофёра-смельчака, готового нарушить закон и увести «налево» государственную машину.

Когда созрела скороспелка, наступали дни блаженства: мать подавала к столу восхитительный суп из мелко нарезанной свежайшей картошки — блюдо безукоризненно вегетарианское, без единого намёка на что-либо мясное. Иногда суп забеливался молоком, реже сметаной, и ещё реже попадало в него сливочное масло. Но при всём при том — какая это была вкуснятина, какой шедевр кулинарии! Мамин постный картофельный суп вспоминается мне как одно из самых изысканных блюд в моей долгой жизни. Увы, выращенного на нашем поле картофеля хватало ненадолго. К весне мы оставались один на один с нашим рабочим гастрономом. Картофель, кстати, там время от времени «выбрасывали» (разумеется — по карточкам), но часто — почерневший, подмороженный, противно-сладковатый на вкус. (Словечко «выбрасывали» — то есть выставляли на продажу — сохранилось в советском обиходе до самого конца СССР, удивительной страны вечного дефицита всего, что надобно человеку для нормальной жизни.)

Тяжелее всего в голодные военные и первые послевоенные годы доставалось моим родителям, особенно отцу. Мать старалась прежде всего накормить детей, в первую очередь меня, младшенького, и время от времени строго предупреждала отца, что, мол, это блюдо или этот кусок — «не для тебя, оставь детям». Мне было жаль отца и ужасно неловко перед ним, но заведённый матерью порядок вещей никто не смел оспорить: власть в семье была в её руках.

Отца в армию не взяли из-за очень плохого зрения. Он устроился на какую-то работу, не имевшую никакого отношения к его специальности. Но со временем вернулся к ней нелегальным образом: соорудил у нас дома самогонный аппарат и начал гнать самодельный спирт, который иногда удавалось обменивать на продукты.

Плохое зрение отца сыграло в моей жизни прямо-таки судьбоносную роль. Будь оно нормальным, я бы не родился в русском городе Брянске, а появился бы на свет где-нибудь в Детройте или Бруклине. Правда, это был бы не совсем я или даже совсем не я: дитя другой матери, другой среды, другой культуры и, как мне иногда сладётся, другой цивилизации.

А случилось вот что. Ранней весной 1911 года мой будущий отец, семнадцатилетний Арон Фрумкин, приплыл в Нью-Йорк на пароходе «Lituania», но был тут же отправлен обратно в Россию. В регистрационной записи, выданной мне компьютером в Музее эмиграции на Эллис-Айленде, в графе о причине депортации стояло: «Almost no vision». Именно так: не «roog vision» — не «слабое зрение», что было бы понятно, ибо отец был близорук, — а почти никакого зрения вообще! Остаётся поверить семейной легенде, согласно которой отец, опасаясь, что его не впустят в страну без взрослых, надел — чтобы выглядеть старше — чужие очки, зрение его затуманилось, глаза заслезившись и покраснели — и экзаменаторы заподозрили трахому, заразную болезнь глаз, которой американцы в ту пору панически боялись.

Так или иначе, эти три слова, начертанные рукой иммиграционного чиновника, решили мою судьбу. Я получил шанс появиться на свет, тогда как отец упустил свой шанс на более благополучную и достойную жизнь.

Он всегда был занят, закручен, затюкан: тяжёлая работа, большая семья. Почти не помню улыбки на его лице. В 1937 году в районной газете появилась заметка «Тёмное прошлое» — о том, что дед отца якобы был раввином. В том же году его отдали под суд — к счастью, не по политической статье, так что он уцелел и вскоре вернулся, хоть и был признан виновным в произошедшей на заводе аварии.

Незадолго до конца войны отец взял на работу местный ликёро-водочный завод (кажется, на должность подвального), откуда он изредка, обмирая от страха, выносил через проходную тщательно спрятанную под одеждой бутылочку настоящего спирта. Бутылочки эти, помогавшие нам, как до того самогон, добавлять немного калорий к нашему скудному рациону, повергали меня в мучительные сомнения: донести на отца или не донести? Я был типичным советским ребёнком, юным фанатиком-идиотом, обожавшим Павлика Морозова, который в годы коллективизации донёс на своего отца, спрятавшего выращенное им зерно вместо того, чтобы отдать его государству. За гибель отца Павлику отомстили его родственники: героя-пионера нашли убитым в соседнем лесу. Я тоже был пионером и тоже обязан был сообщить куда следует о своём отце, покусившемся на священную социалистическую собственность. До сих пор благодарю Бога и судьбу, что не совершил этого рокового шага. Здравый смысл и голос совести оказались сильнее моего фанатизма. Мне не пришлось тогда в голову, что у меня самого было рыльце в пушку: подделка государственных карточек, кража государственного мыла и жмыха (о мыле и жмыхе — чуть позже). Следуя советской логике, я должен был донести на самого себя!

Но не только хронический голод тянул меня к уже упомянутым мной окнам магазинного склада. В тринадцать лет от роду мне ужасно захотелось чего-нибудь украсть. Я даже начал готовиться к ночному ограблению сарая, принадлежавшего, по слухам, состоятельной семье. Но не в одиночку, само собой, а с друзьями моего двоюродного брата Аркадия Якубовича.

Атик, как все его звали, был года на полтора старше меня, но из-за войны потерял учебный год, так что учились мы с ним вместе в 6-м классе и даже на одной парте сидели, из-за чего я чуть не отправился на тот свет.

Случилось это так. Атик связался с блатной компанией и всячески уговаривал меня к ней присоединиться, расхваливал романтику воровской жизни и однажды поведал мне о сарае, в котором якобы хранятся какие-то ценные вещи.

— Я своим ребятам рассказал о тебе, они согласны, чтобы ты пошёл на это дело с нами. Но при одном условии: надо оружие занять.

— Какое оружие? Нож?

— Не, ножа мало. Револьвер нужен.

— А где я его возьму?

— У меня. В кармане лежит. Маленький, системы «бульдог», но ещё меньше обычного, так что его «дамским» прозвали. Шестизарядный. К нему подходят патроны от малокалиберной винтовки, так что их легче доставать будет. Принесёшь деньги — револьвер твой.

— А он исправный?

— Вполне. Можешь сам попробовать.

Во время переменки мы пошли во двор и заперлись в сколоченном из толстых досок школьном сортире. «Бульдог» был светло-серой масти, из алюминия, с вращающимся барабаном. Он был заряжен. Я прицелился в стенку и нажал курок. Ни фига. Нажал ещё раз — снова осечка. Ещё и ещё — то же самое.

Мы еле успели на урок русского языка. Учила нас Наталья Ивановна, симпатичная женщина лет сорока. Наша с Атиком парты были передняя, напротив доски. В середине урока учительница подошла к доске, подняла руку с мелом — и тут где-то возле меня что-то бабахнуло, и в доску рядом с Натальей Ивановной возилась пуля. Оказалось, что Атик всё это время, спрятав руки под парту, пытался оживить своего «бульдога». Пуля пролетела сантиметрах в трёх от моего левого виска. Побледневшая как смерть Наталья Ивановна шагнула к двери: «Сидите тихо! Я — к директору!» Атик её вежливо отстранил: «Извините, но я выйду первым».

В школу он вернулся на следующий день. Всё обошлось. Вызвали мать (отец был на войне), устроили головомойку обоим. Но из школы не исключили. Не был этот случай таким уж экстраординарным в покалеченной войной стране. Ну пистолет принёс в школу. Ну выстрелил из него. Но ведь случайно же!

В нашем городе и не такое творилось. Бандитизм процветал. И в моём кругу был окружён некоторым ореолом.

Приблатнённых ребят сверстники побаивались и уважали. Подражая блатным, я начал носить белую рубашку навыпуск, под неё напяливал некое подобие матросской тельняшки, со лба у меня свисал лихой чуб, оставалось только раздобыть денег, чтобы поставить «фиксу» — золотую коронку. Я не боялся ввязываться в драки, особенно в ответ на реплики типа: «Тоже мне блатной нашёлся: ты ж еврей, вот и сиди тихо, как воробышек, не высовывайся» (воробыёв омские мальчишки называли не иначе как «жиды»). Но надо было ещё совершить поступок, чтобы себя проверить: способен ли жить дерзко, свободно, не по закону.

Начать решил с выходявшего в наш двор магазинного склада. Поздно вечером, когда двор опустел, я забрался на подоконник манившего меня окна и, прильнув к стеклу, увидел близко от окна аккуратно положенные друг на друга длинные бруски хозяйственного мыла. В окне была форточка. Нажал — не открывается. Заперта изнутри. Следующим вечером я открыл форточку с помощью ножа. С трудом дотянулся до штабеля и, вытащив три бруска, завернул их в принесённое с собой полотенце. Один брусок спрятал дома, два других в воскресенье отнёс на рынок, чтобы на вырученные деньги там же купить еды. Получил я за них сухую мелочь. То ли из-за полного отсутствия торгашеской жишки, то ли потому, что мои сограждане в те годы ценили еду гораздо выше, чем чистоту белья и тела. Так или иначе

два увесистых бруска качественного хозяйственного мыла оказались эквивалентом трёх пучков морковки...

После этого фиаско я ещё раз устроил себе проверку. Пришёл в парикмахерскую, сел возле тумбочки, куда единственный работавший там брадобрей складывал деньги, и, облокотившись на неё левой рукой, правой приоткрыл ящичек и извлёк какую-то купюру. Она оказалась десяткой. Когда подошла моя очередь, я сел в кресло, постригся и, уходя, заплатил мастеру украденной у него купюрой. Экзамен я выдержал, но осадок от этого эпизода, как и от предыдущего, с мылом, был таким, что я решил завязать с моими блатными амбициями.

Тем временем мой двоюродный брат Атик тоже начал перековываться: в один прекрасный день он вдруг предложил мне бежать с ним на Дальний Восток.

— Поступим в юнги, заживём как люди. Кормить будут, форму морскую дадут. Тельняшку наденешь настоящую, не самодельную, как у тебя.

Я был давно и безнадежно влюблён в море, о котором знал, конечно, только по приключенческим книжкам. И чуть было не поддался на его уговоры. Но устоял. Жалко было музыку бросать. Я только-только поступил на подготовительное отделение местного музучилища по классу скрипки. Я был переростком — на этом инструменте надо начинать учиться с малолетства, но в моей белорусской глубинке об этом не могло быть и речи. Там я играл на мандолине, балалайке, гитаре, гармошке. Сам научился, конечно. Так и остался бы я самоучкой, если бы не война и эвакуация. В училище я ходил с удовольствием, и рвать с музыкой не хотелось.

Атик, так и не дождавшись меня, подался на Дальний Восток и поступил в военно-морское училище. Как-то вечером на танцах он подрался с местными парнями из-за девушки. Их было много, а он один, и Атик, недолго думая, бросил в них припасённую на всякий случай гранату. Не помню, убил ли кого-нибудь, но раненые были, некоторые — тяжело. Атик отсидел десять лет в лагере, там пристрастился к наркотикам. После отсидки вернулся в Омск и вскоре умер от передозировки.

Я в это время уже был студентом теоретико-композиторского отделения Ленинградской консерватории. Так что скрипачом я не стал, всего лишь музыковедом. Тоже неплохо, в конце концов.

## Тошнотворный Шуберт

Я долго не решался приступать к этой истории. Побаивался рецидива. Да и сейчас у меня нет полной уверенности, что мне это сойдёт с рук: опять может случиться то, что — до сравнительно недавнего времени — случалось всякий раз, когда раздавались эти звуки или когда они предательски всплывали у меня в памяти. При любых вариантах результат был один: липкая, подступающая к горлу тошнота.

Хорошо ещё, что только две мелодии отравляли мне жизнь. А ведь их могло быть и больше, и тогда — хоть уши затыкай, особенно когда на улице выходишь. Потому как дома выключил радио — и ты спасён. А вот попробуй заткнуть глотки развешанным по городу зычным рупорам-громкоговорителям! Они работали неустанно, чуть ли не круглосуточно, и звучали особенно громко в самом центре, на улице Ленина, по которой я ходил два-три раза в неделю со скрипочкой на занятиях в музучилище мимо большого плаката с надписью: «Мойтесь еженедельно в бане! Чистота тела — признак культуры!»

(Я не уверен, что мои нынешние соотечественники-американцы уловят грустный юмор в этом трогательном заботливым призыве мыть тело один раз в неделю. Скорее всего, подумают, что в недельном промежутке между двумя похо-

дами в баню мы могли вымыться под душем дома. Увы, не могли: такой роскоши, как домашний душ или ванна, у подавляющего большинства советских граждан тогда не было).

На улицах ли, дома ли — советские люди слышали по радио одну и ту же программу: государственную, централизованную, обязательную для всех и передававшуюся по проводам. Выбора не было: радиоприёмники были конфискованы правительством в самом начале войны, чтобы оградить нас от вражеской пропаганды.

Главным блюдом радиовещания военного времени были сводки Совинформбюро о положении на фронтах. Время от времени (чаще — ближе к концу войны) из репродукторов раздавался неподражаемый торжественный баритон диктора Левитана: «Внимание! Говорит Москва! Передаём важное сообщение!» Страна замирала в предвкушении счастливой новости: сейчас скажут, что где-то наши проорвали фронт или освободили очередной город.

Но, как я понял гораздо позже, новости как таковые занимали в советском радиовещании смехотворно скромное место. Радио было призвано не столько нас просвещать и информировать, сколько воспитывать в идеологически правильном, коммунистическом духе. Считалось, в частности, что в создании нового человека, в формировании «гармонической личности будущего» важную роль играет эстетическое воспитание масс. Потому и пьесы радио передавало, и оперы, и симфонии, и камерную музыку, и, само собой, много песен советских композиторов.

Надо отдать должное нашему идеологическому начальству: во время войны продолжала звучать немецкая и австрийская музыка — Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Шуман. А ведь могли бы и запретить, взяв пример с нашего бывшего друга и союзника, а ныне заклятого врага, нацистской Германии: там контроль над культурой в чём-то был жестче нашего, покруче — упор делался на немецкую музыку, из которой, однако, начисто изъяли сочинения немецких композиторов еврейского происхождения. Даже гениального Мендельсона, крещёного принявшими христианство родителями, не пощадили.

Но вот чего я так и не смог понять: почему из потока музыки, лившейся по нашему родному радио, моя болезнь выловила и втянула в свою орбиту две такие разные, ни в чём не схожие песни, пришедшие из разных эпох и культур? Неужто кто-то там, в Москве, на Всесоюзном радио, души в них не чаял и пускал в эфир чуть ли не каждый божий день? Кто его знает...

Первой моей мучительницей стала прекрасная и благородная песня Шуберта:

*Песнь моя, лети с мольбою  
Тихо в час ночной.  
В рощу лёгкою стоюю  
Ты приди, друг мой...*

Вслед за классической «Серенадой» Франца Шуберта пришла и засела во мне отравленной занозой только что сочинённая Анатолием Новиковым танцевальная песенка про юную смуглянку-молдаванку, сборщицу винограда, которая игриво предлагает вторившемуся в неё парню уйти к партизанам — там, мол, и встретимся.

Хворобу свою я подхватил сдуру, по глупости и беспечности. А если сказать честно, то по недостатку безглювости. Ослабло у меня это чувство во время войны.

Далеко не со всеми это случилось. Вот, к примеру, девчонки нашего двора: мало кто из них польстился на то сомнительное лакомство, которое мы, мальчишки, добывали, цепляясь за проезжавшие по Герцена грузовики. А голодали дев-

чонки ничуть не меньше нас. Но от участия в наших набегах обычно отказывались и угощаться добычей не желали. «Жмых? Нет, спасибо. Ешьте сами».

Да что девчонки — даже «меньшие братья наши», свиньи, коровы и прочая домашняя живность, единственные законные потребители жмыха, не стали бы есть эти окаменевшие брикеты противного зеленовато-серого цвета, пока из них не приготовят что-нибудь более съедобное.

Жмых, если кто не знает, — это побочный продукт производства растительного масла, спрессованные семена, лишённые жира, но сохранившие белок. Возили жмых обычно зимой, когда у скота и птицы иссякали запасы заготовленных с лета кормов. Брикеты были холодные, как лёд, и лежали в кузове смёрзшейся кучей.

Но были всё-таки животные, которые охотно грызли каменно-твёрдый, необработанный жмых. Узнал я об этом слишком поздно — от врача, который, увидев мои пожелтевшие белки и взглянув на анализ крови, немедленно заключил: инфекционная желтуха.

— Какой у вас там туалет — тёплый, в квартире?

— Куда там! Во дворе он. Страшный, загаженный.

— Руки моешь после него и перед едой?

— Мою.

— А питаешься чем?

Вот тут я ему и выложил, что по причине крайней скудности рациона балуюсь ворованным с грузовиков жмыхом.

Теперь ясно, кто тебя желтухой наградил: крысы. Их там полно на этих складах, где корма хранятся. А они — переносчики желтухи. Тебе ещё повезло, печень у тебя молодая, желтуха — сравнительно легкая. Пройдёт.

Она и прошла — с помощью какого-то лекарства, названия которого я не запомнил. Зато организм мой прочно, на многие годы, запомнил другое — две ни в чём неповинные мелодии, проникшие в него через слух как раз в те недели и месяцы, когда меня почти непрерывно и беспощадно мутило.

Я не знаю, как долго сохранялся условный рефлекс, который академик Павлов вырабатывал у своих подопытных собак. Мой рефлекс сидел во мне десятилетия, и все эти годы я всячески старался оградить себя от «Серенады» и «Смуглянки». Даже думать о них боялся, хотя острота их тошнотворного действия мало-помалу смягчалась. И только сейчас, через 70 лет после начала этой истории, я решил, что пора: попробую её записать. Последнюю точку ставлю с лёгким сердцем — всё обошлось, рефлекс не сработал.

## ТАМАРА ЛЬВОВА ПИСЬМА ДАЛЁКОМУ ДРУГУ

Мой друг Владимир Аронович Фрумкин (для меня — Володя, Володенька) недавно прислал мне как своему бывшему редактору фрагменты написанных им воспоминаний о детстве (хвала электронной почте, которой я только что овладела, точнее пытаюсь овладеть, — он-то в этом деле мастак!).

Я тут же ответила: «Интересно. Продолжай. Пиши». А он мне: «А почему бы тебе не написать? О себе. О том, что запомнилось». И я подумала: «Попробую. Напишу!» И написала...

Эпиграфом к этим отрывочным, не связанным друг с другом, но очень ярким воспоминаниям далеко ушедших времён, родившимся так неожиданно, взяла цветаевские строки из её ранних стихов:

...Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет...

Посвящаю эти письма тебе, Володя, потому что без тебя их бы не было. Итак, начинаю.

## Чёрные машины

1937 год. Город Запорожье, точнее Большое Запорожье, новый город. Украина. Мне семь лет.

Папа работает начальником воздуходувной станции Металлургического завода — гиганта первых пятилеток. Мы живём в центре города, в доме ИТР (инженерно-технических работников).

Вот туда-то и призжали каждую ночь чёрные машины (почему «чёрные»? Я их не видела, спала, но так осталось в памяти, взрослые, наверное, так говорили — «чёрные») — увозили, увозили; буквально всех пап увезли — самое первое поколение советских инженеров, бесконечно этой советской власти преданных. И директора завода — знаменитый был, говорили, талантливый человек — увезли, и почти всех начальников цехов. А вот мой папа уцелел. И знаешь, Володя, почему? Он, тоже преданный, но тогда ещё беспартийный, как видно, что-то почувствовал. Сам подал заявление, попросил перевести его на рядовую должность — стал к культуру. Через много лет на мой вопрос, чем он мотивировал, ответил кратко: «Недоверием партийной организации». И уцелел мой папа. Один из немногих.

А «чёрные машины» по ночам всё ездили, ездили. Никогда не забуду: мы, дети, дурачки, я бы сказала — «невинные паршивцы», выходили гулять в парки за домом и орали (эти имена я до сих пор помню!): «У Эвелины Иванович папа — враг народа!» Или: «У Пети Васильева папа — враг народа!»

И ещё одно имя — Марик. Сын маминой подруги. Тоже в нашем доме жили. Мальчик был необыкновенный, добрый очень, ласковый. Как он хотел со мной играть! Смотрел полными слёз глазами: «Камари некароши девочка», — что означало: «Тамара нехорошая девочка!» Виновата я перед ним, но... не могла, не могла с ним играть. Он был (теперь-то я знаю, как это называется) даун. Жил Марик с папой, тоже, как и мой, инженером, и мамой, в моих глазах красавицей — принцессой с печальными глазами: из-за Марика, конечно. А как она пела, как танцевала, когда они приходили к нам в гости послушать новую пластинку, потанцевать. Сына своего любила она неистово, жалела, баловала и всё присила меня: «Ну поиграй с ним хоть немножечко!» А я — не могла... Или не хотела?

Про маму Марика рассказывали странное: она «прибежала» (именно «прибежала» — перебежала границу) к нам из Польши. Советский Союз боготворила, мечтала о нём, как о сказке. Уже у нас окончила институт, работала, вышла замуж. При ней слова нельзя было худого сказать о нашей самой лучшей в мире стране — фанатичкой была СССР. И вот однажды ночью «чёрная машина» — сначала за ней, «польской шпионкой», а через пару недель за её мужем. Когда её увозили, она кричала, да так, что через этаж я слышала, и крика этого не забуду. И сгнули они все. Марик несчастный тоже сгинул. Мама куда-то писала, хотела узнать о нём. И — ничего. А я играть с ним не хотела. Только и осталось: «Камари некароши девочка». Да, «некароши»... И ещё. Рассказывали, что когда мама Марика, тогда ещё

не мама, а юная красавица, «перебегала» к нам, она бросилась на шею первому же нашему пограничнику, и он не устоял, не выстрелил, не задержал — помог ей, поэтому-то и удался этот её «бег». Удался...

### Мои подвиги

Володя! Это тоже эпизод из довоенного детства, примерно из того же времени. Чтобы ты меня понял и «простил», напомню (тебе-то можно напомнить, а другим — на поколения моложе нас! — надо рассказать, нарисовать, чтобы они представили).

Я тогда, в мои шесть-семь лет, уже всё знала про замечательного пионера — непременно буду такой же, как он! — из далёкого поселка Герасимовка Свердловской области, который рассказал, что отец его против советской власти и за это его убили подлые кулаки. Звали мальчика Павлик Морозов. «Герой-пионер Советского Союза № 1» — так Павлик записан в Книге Почёта ЦК ВЛКСМ. А товарищ Сталин назвал Павлика «недоужинным большевиком». (Володя! Я заглянула в Интернет. Сегодня называют Павлика... «доносчиком № 1». Нашла я и такую запись — в связи с 70-летием со дня его гибели 3-го сентября 1932 года: «Как и для чего доносчик был сделаннациональным героем?») Володя! Чтобы ты почувствовал, как этот «доносчик № 1» врезался в мою детскую душу, открою тебе одно стыдное воспоминание. Много лет спустя, когда я уже студенткой ЛГУ приезжала летом на каникулы к родителям в Челябинск (1947—1952 годы), меня больно задевали их частые по вечерам горячие «политические» споры: мама всегда была «против», папа — «за». «Вот они, твои большевики!» — раскрасневшись, буквально кричала она. И однажды я не выдержала. Разревелась: «Если б я была настоящей комсомолкой, я бы пошла и рассказала, что ты говоришь... Но я не могу!» Вот так, Володенька, вот тебе и Павлик Морозов. Хорошо ещё, что «не могу!». (Чем не переключка, Володя? И ты ведь тоже поклонялся Павлику Морозову! И ты — удивительное совпадение! — точно как и я на свою маму, хотел донести кому следует на своего отца. И оба мы — пожалел нас, дураков, Всевышний (или кто там ещё?), уберёг — не донесли. Не смогли!..)

И ещё. В мои шесть-семь мне уже много читали Аркадия Гайдара. Я бредила им. Надеюсь, ты улыбнёшься. Грустно. У тебя в детстве было что-то подобное?.. Мы гуляем: я и моя закадычная подружка Женечка. Она прыгает через скакалку, я подкидываю огромный лёгкий красно-синий мяч. Мы — перед домом у подъезда. И вдруг... Идёт мимо человек с портфелем. А портфель у него не наш — красивый, невиданно красивый, сверкающий застёжками, заграничный. Женечка поворачивает ко мне побледневшее лицо, глаза её блестят: «Шпион!» Конечно, шпион. Или... ещё бывают... «вредитель!». И как это я не догадалась! Мы сейчас поймем его. Только бы не ушёл! Только бы встретить милиционера. Или выследить, куда он идёт. И мы идём. Долго идём. Невыносимо долго. Прячемся за столбами, за деревьями, чтобы он не заметил. У нас уже нет сил. Мы не знаем, где мы, кругом всё знакомое. Мы заблудились! Нам категорически запрещено уходить так далеко от дома. Но мы идём. Мы хотим совершить подвиг! Поймать шпиона! Или... как его... вредителя. У меня почему-то уже нет в руках мяча, такого чудесного, только что купленного мне мяча. У Жени нет скакалки. Но что нам мяч и скакалка! Мы совершаем подвиг. Как Павлик Морозов. Мы ловим шпиона. Как герои Гайдара. Мы настоящие советские дети Мы будем пионерами! Настоящими пионерами! В красном галстук! Мы идём. И вдруг... он исчезает. Пропадает. Сквозь землю проваливается. Его нет. Ах, какое горе. Да ещё заблудились. Да ещё потерялись скакалка и мяч... И дома ох как влетит...

Вот тебе, Володя, и весь мой рассказ о том, как мы не поймали шпиона, не совершили подвиг.



Тамаре 5 или 6. Город Запорожье. А котик — тот самый, за которого мама так мастерки мяукала по телефону.



Тамаре 11. С братиком. На обороте дата: 29 июня 1941 года. Скоро эвакуация. "Нас повели в фотоателье. Папе на память".

### Ещё одна история из примерно того же времени

Наш детский сад отправили летом за город. 35-й или 36-й годы — значит, мне пять-шесть лет. Я впервые уехала от мамы. Очень скучаю, ночью — реву. Заведующая разрешает малышам вроде меня по вечерам в определённое время приходить к ней в кабинет — звонят наши мамы. И вот я прихожу. Мама со мной говорит. Уже надо кончать, на очереди — следующий, а я хочу продлить, продлить счастливые мгновения. «Мама, мамочка! Пусть со мной Тяпик (наш котик) поговорит. Ну пожалуйста!» Пауза... «Да, да, сейчас возьму его. Всё. Взяла. Поговори с ним. А он ответит». — «Тяпа! Тяпочка! Скажи что-нибудь!» И слышу звонкое, радостное — он понял, узнал меня! — «Мяу!.. Мяу!.. Мяу!» Весь день до вечера я бегала по нашей даче и всем рассказывала — подружкам, воспитателям, доктору, медсестричке, — как мой котик узнал меня и сказал «мяу!». Когда я осенью вернулась домой, мне рассказали, что несколько дней назад Тяпик пропал, потерялся, искали-искали — не нашли, его, наверное, хорошие люди взяли. И только через годы мама призналась, что не убежал, не пропал Тяпик: он заболел и — не смогли вылечить! — умер вскоре после моего отъезда на дачу. По телефону мяукала мама — как она, Володя, здорово мяукала! Бедная моя мама! Она с юности мечтала стать актрисой! Но закрыли, разгромили их студию «по методу Мейерхольда», и оставалось ей только мяукать по телефону... А я таки не знаю, был ли у неё талант. Стихи она читала хорошо. Но что стихи? Стихи и я читаю, говорят, неплохо.

Как видишь, Володя, моя история закончилась весьма печально.

И в заключение — только что сообразила: возможно, совершить подвиг было тогда моей идеей-фикс.

Увидела в мамином журнале огромный, на всю страницу, портрет товарища Сталина с дочкой Светланой на руках. Да я уже и видела его в разных местах: у нас

в детском саду, у мамы в «Деловом клубе». А тут... Что-то во мне оборвалось. Дочка товарища Сталина! Смотрю — не могу оторваться...

Передо мной картина. Мы на пляже на острове Хортица — туда иногда по выходным ездили купаться на большом автобусе с папиного завода. Много там было у меня знакомых ребят, весело! А тут словно вправду вижу: я одна на берегу, золотой песок, тихий Днепр. И слышу крик: «Помогите! Тону!» Я смело бросаюсь в воду (а плавать-то я не умею!). Но плыву! Тонет девочка. Постарше меня. Что-то знакомое в ней. Я хватаю её, тяну, плыву! Вытаскиваю на берег. Я спасаю её! Она плачет. Она говорит мне: «Спасибо!» И я узнаю — это Светлана! Та самая, что на руках у товарища Сталина. Его дочка. Я спасла Светлану!

Вот и смейся, Володя. Была ли я тогда такая одна? Или много нас было? И в чём всё-таки эта великая тайна массового гипноза? Или... психоза? Что у нас, что у Гитлера...

\*\*\*

2 апреля 2014 г. Володя! Сегодня, когда мы давно уже закончили нашу повесть и готовим её к изданию, меня осенило вдруг. Вспомнился эпизод из далёкого детства. Возможно, в нём хотя бы частично найдёшь ответ на поставленный мной вопрос о тайне массового гипноза или психоза — во всяком случае, для нашего поколения, которому ох как трудно было от него избавиться: не в том ли секрет, что заложен он был в нас «с младых ногтей»? И, прости, придётся коснуться весьма интимной сферы, в дни наших юных лет абсолютно запретной для «обнародования»...

Мне лет семь-восемь. Примерная ученица, отличница начальной школы, домой прибегаю не просто зарёванная — потрясённая. Только что девочки чуть постарше меня детально, подробнее посвятили меня (не помню, с чего это) в дотоле неведомую мне область — откуда берутся дети. Буквально захлёбываясь слезами, с надеждой глядя маме в лицо, рассказываю: «Я говорю им: "Папа тут ни при чём" (!), — а они...»

Мама бледнеет. Она растеряна. (Говорить об этом с дочкой ей и в голову не приходило: как можно — дитя ещё!) Обе молчим. Я повторяю: «Папа ведь ни при чём? Правда?» Мамино лицо проясняется, в глазах блеск: придумала, придумала, что сказать дочке! В успехе не сомневается. (Далее излагаю наш диалог дословно. Запомнила на всю жизнь.)

— Кого ты очень любишь? Больше всех? Конечно, маму и папу. А ещё?

Я (ни минуты не задумываясь):

— Товарища Сталина!

— А у него дочка есть?

— Светлана!..

— Подумай, мог бы товарищ Сталин сделать что-нибудь гадкое, стыдное?

Я (слёзы сами собой высыхают):

— Нет, не мог! Не мог!

— Конечно, не мог. Рождение ребенка — великое счастье для родителей, самое светлое в жизни. Для товарища Сталина тоже. Подрастёшь — поймёшь. А сейчас не думай об этом. И не слушай больше глупых девочек.

Представь себе, Володя, я успокоилась совершенно. Товарищ Сталин! Только прекрасное, чистое мог он совершить. А у него — дочка. Светлана. Значит, девочки — дуры, ничего не знают, а болтают всякую чушь... Ушла от мамы совершенно успокоенная и счастливая.



Студент Лев Рабинович.  
Будущий отец Тамары.  
Днепропетровск. 1920 — 1922.



Мама Тамары  
Евгения Константиновна.  
Челябинск. 1951 — 1952.

Всё уже последнее. Ещё раз вспомню Светлану. Но не «гонимую» и мной «спасённую», не уверившую меня в чистоте и целомудрии отношений полов, в том, что «папа тут ни при чём», а Светлану реальную, настоящую, тогда, кстати, не Аллилуеву, а Сталину.

К нам в Бакальскую среднюю школу под Челябинском в 10-й класс (тогда была десятилетка, я училась в 9-м — значит, в сентябре 1945 года, только что война закончилась) пришёл новый ученик. Необычный ученик. Старше нас. Во всём военном — поношенном, с заплатами, но настоящем военном. И... с чёрной перчаткой на неподвижной кисти руки (правой, левой — не помню, но чёрной, большой, неподвижной) — ранение. Вадим Антропов. Нет, нет, не родственник, даже не однофамилец того, страшного. После «Н» — «Т», а не «Д». Хороший был парень, по моему даже талантливый. Окончив школу, поехал в Москву, на исторический факультет поступил в МГУ. Потом мы оба приезжали домой на каникулы — он из Москвы, я из Ленинграда. Гуляли иногда вместе. Вот тогда он мне и рассказал, что у них на историческом факультете учится дочка Сталина Светлана. Замечательная, он говорил, девушка, очень скромная. Из всех сил старалась быть... как все. Стеснялась очень своей «особости». Но невозможно это было — как все. Весь факультет, что там — с других факультетов тоже, бегали смотреть, прятались, подглядывали: дочка Сталина у нас учится! Тогда Вадим и сказал удивившую меня фразу (ещё глупая была!): «Ох, не завидую я ей! Бедная Светлана!» Много позже поняла: трагическая она была личность, так же как её мать Надежда Аллилуева, которую она потеряла шестилетней (застрелилась ли она или он её застрелил — ведь точно так и не известно). Недавно прочитала о Светлане: «Дочь Дьявола и Богини...»

### Обезглавленные дяденьки

Я писала уже, что жили мы тогда в городе Запорожье, точнее в новом городе Большое Запорожье, родившемся прямо на наших глазах: с кирпичными домами в три-четыре этажа, с широкой главной улицей, по которой можно быстро пробежать

до Днепра и посмотреть — весной захватывающее зрелище, — как шумит и пенится вода, падающая с огромной высоты бесчисленными потоками через открытые ворота («окна?») грандиозной плотины. Это наша гордость — сюда мы приводим гостей, и они замирают от восторга: это наш Днепрогэс. Помню, бежим мы вприпрыжку через мост с моей младшей двоюродной сестрёнкой Майечкой (она с мамой и папой приехала к нам из Днепропетровска), вода под нами беснуется, пенится. Майке страшно и весело, она кричит во весь голос: «Смотрите! Смотрите! Что там дёется!» (Майечке года три. Такая славная, умненькая была девчушка. Я её видела тогда в последний раз. Умерла она через несколько лет в эвакуации от брюшного тифа. В каком отчаянии был её отец, мамин брат дядя Арон. По-моему, в Ташкенте это было. Дядя там кафедрой математики заведовал в институте. Рассказывали, он был талантливый педагог. Студенты его боготворили. Арон Константинович Айзенберг. Прости, Володя, я опять отвлеклась.)

Мама — «жена ИТР» — такая у них была организация, общество. Занимались они, «жённы», детскими садами, разные кружки в своём «Деловом клубе» организовывали (я в балетном, а моя мама — в драматическом). С каким увлечением — и, конечно, совершенно бесплатно — работали «жённы», сколько времени, сил, энтузиазма отдавали своим «деловым» заботам. Помню, мама брала меня с собой, мы долго-долго ехали на трамвае в старый город (дома там были деревянные, одноэтажные, улочки узенькие — совсем чужой город) — мама везла детям подарки, какой-то кружок помогала открывать, кажется кукольный театр.

И вдруг!!! Несколько «жён», самых активных, в том числе и мою маму, просят немедленно явиться в «Деловой клуб» и вручают... билеты в Москву! На Всесоюзный съезд жён ИТР! Их приглашает сам товарищ Серго — Серго Орджоникидзе. И они поехали. Мама в Москве первый раз. Как их там встретили! Как принимали — в Кремле! В Большой театр и во МХАТ водили. А когда прощались, товарищ Серго каждой сам лично подарил велосипед — дамский, я таких и не видела.

Мама вернулась на крыльях. Рассказывала папе часами, а я — маленькая — сидела, слушала. Мало что понимала. Но всё равно — интересно! Подросту — тоже в Москву поеду. И на велосипеде мама разрешит мне кататься. Но самое главное — привезла она великую драгоценность: большую фотографию на какой-то особенной плотной бумаге. В самом центре — товарищ Серго. Вокруг него, наверное, сто, а может быть, больше — молодые, красивые, счастливые женские лица. Среди них, по всему полотну фото, — мужчины, человек десять. Не помню точно кто, но знаю только — папа говорил — «все наши вожди, самые-самые главные». Очень мама этой фотографией гордилась, берегла её, в рамку под стекло вставила — на стену в большой комнате повесила.

Не знаю, сколько времени прошло. И вот однажды. Врываюсь я в комнату совершенно счастливая сообщить маме, что играли мы с ребятами в «гуси-лебеди» — и ни разу меня волк не поймал! И замираю. Мама меня не видит, не слышит. Сидит она за столом, склонилась над своей драгоценностью и — о ужас! — заклеивает вырезанным из листа картона кружочком лицо, да, да, лицо одного дяденьки, как раз того, кто сидит на фотографии рядом с ней, — папа говорил, что очень-очень главный. (Кто это был? Рыков? Каменев? Тухачевский? Бухарин? Не помню. Эти фамилии как будто звучали.) Заклеивает мама лицо дяденьки, а по щеке — слеза. «Мама, ты что? Зачем?» — «Мне позвонили, сказали: "Или карточку отдайте, или заклейте..." Он плохой... враг народа». А сама плачет. И карточку больше на стену не повесила. Спрятала. А потом — я подсмотрела — ещё одного дяденьку

заклеила. И ещё одного. Почти одни тётеньки остались. Но своего любимого дяденьку Серго не заклеила. Значит, хороший он, не «враг народа». Мама очень его хвалила: весёлый, шутил с ними и вот каждой велосипед подарил. Заглядывала я в мамин ящик в трюме под зеркалом — потихоньку, конечно, — беспокоилась: не заклеила она дяденьку Серго? Нет, не заклеила.

Серго Орджоникидзе погиб несколькими годами позже: 17 февраля 1937 года. Цигирую «Сталина» Эдварда Радзинского: «Покончил ли он с собой? Или... Когда Орджоникидзе лёг в постель, в его квартиру с чёрного хода вошёл его же охранник. Точного ответа мы никогда не узнаем».

Но вот конец истории с маминной драгоценностью — фотографией — мне известен. Совсем неожиданный.

Год 1941-й. Война. Нас, семья жён, детей, стариков — в специальном вагоне эвакуировали на Северный Кавказ. Мужчины, получившие броню, демонтировали заводское оборудование — отправляли его на Урал, в Челябинск. Не ели, не спали — спешили: к Днепру подходили немцы. Не все выдержали. Бежали. Приезжали мужья-папы, увозили свои семьи, а мы всё ждали — каждый день ждали. Мой отец и ещё несколько его коллег-инженеров оставались до конца — пока последний вагон не погрузили. Всё. Утром на рассвете уезжают. Папа пешком — трамваи не ходили — идёт домой: мама просила кое-что взять, самое необходимое. И — очень просила! — ту самую фотографию с обезглавленными мужчинами. Видно, всё-таки и такая дорога она ей была.

Папа еле дошёл до дома: усталый был и голодный. Больше месяца там не был — жили все они на заводе. Подошёл к подъезду. Наша квартира на первом этаже. Дверь нараспашку. Заходит. Пусто. Совсем пусто. Ничего нет. В передней, в столовой — никакой мебели. Открывает дверь в «детскую», там спали мы с бабушкой. Замер. Подумал — привиделось: корова!!! Самая настоящая живая корова. Спокойно себе стоит, сено жуёт. Навоз толстым слоем устилает пол. В углу, у стенки, на телогрейке спит человек — по всему видно, колхозник. Проснулся. Встал. Понял — хозяин пришёл. Стал извиняться: мол, из деревни от немцев бежал, корову хотел увести, ничего же нет больше. До города дошли, сил нет идти дальше. Увидел дверь открытую. Вошли. Пусто уже было. Кто-то постарался. Хотел он тут же уйги со своей коровой, да папа отговорил: оставайтесь, мол, я всё равно уезжаю. И ушёл.

Понять не мог, как это мебель всю выгнали? Кто? Зачем? Но больше всего пожалел трюмо с маминым ящиком и той фотографией — так хотел ей привезти. Пропала фотография. Жалко. Ещё один исторический документ был бы. Вещественное доказательство чудовищной эпохи.

## Моя первая любовь

Я в старшей группе детсада. 1936 год — война в Испании. Очень не хочется мне ни о войне, ни о политике. Но куда деваться! Две группы нашего садика воюют друг с другом ожесточённо, беспощадно. Война идёт «всамделишная». Мы — за «хороших», республиканцев, они — за «плохих», фашистов генерала Франко.

Воспитательницы бессильны навести порядок. Они отвернутся, а мы — за своё. Мальчишки-бойцы — у них всё в порядке: они воюют с врагами. А мы, девочки, разодрались... из — за нашего «командующего армией» — замечательного, необыкновенного, храброго (и красивого!) мальчика из нашей же группы. Я, Володя, и сейчас его перед собой вижу, имя его помню — Витя Шошин. Нам всё

равно, кем при нём быть, абсолютно всё равно — мамой, тётёй, женой, невестой, сестричкой, но только его, непременно его... И мы дерёмся, дерёмся по-настоящему. Я, честное слово, Володя, не помню, чтобы когда-нибудь дралась потом... А тут... Какой-то девочке вцепилась в волосы, упали обе, катались по садовой дорожке, нас разнимали — а ревели как, в голос! И «выбила» себе почётное место — и какое! — медицинской сестры. Я ему, Виге Шошину, рану перевязывала! Как я была счастлива тогда!

Вот и вся история о моей первой любви. Ты улыбнулся?

**Владимир Фрумкин:** Улыбнулся — и тут же помрачнел: вспомнил про мою первую любовь, случившуюся, представь себе, в том же году, 1936-м (!), и оборвавшуюся в 1937-м, в разгар Большого террора. Итак, Белоруссия Заводской посёлок в Рудобелке Глусского района Гомельской области. Ко мне часто приходят играть две сестрички, дочери директора спиртзавода Лысковского. Одной шесть, другой десять. Я, шестилетний, на ровесницу — никакого внимания. Ноль. А вот к старшенькой (в ней уже зарождалось что-то таинственное, женственное) тянуло неудержимо. Жаль, не помню их имён. Только фамилию. Потому, наверное, помню, что их семья из-за этой фамилии погибла. В 1937-м у нас и вокруг стали арестовывать людей с польскими и прибалтийскими фамилиями. В одну прекрасную ночь исчез навсегда наш директор завода «дядя Лысковский» — молодой, симпатичный, весёлый. А вскоре пропали, и тоже навсегда, его жена и девочки. Очень скучал по ним, особенно — по старшей...

## Бегство

Мы — на подводе. На самой настоящей подводе. Везёт нас из станицы Марьянской хозяйин наш, добрый дядька Степан. Мне жалко лошадку: стегает он её, подгоняет. А мама торопит: «Быстрее, Стёпушка! Евреи мы, придут немцы — нас расстреляют. Лев Исаич позже всех за нами приехал. Бежим мы...»

Да, я знаю, папа позже всех за нами приехал. Все мои запорожские друзья-подружки уже уехали. И Женечка моя тоже — неделю назад. Мама потом говорила, что тогда, именно в те дни, когда она ждала папу, а все уезжали (не могла она одна вывезти наше сложное семейство: тяжело тогда болела бабушка, братику Саше всего год с небольшим, мне — одиннадцать), — вот тогда и появились в её тёмных выющихся волосах — было маме всего тридцать шесть — первые седые пряди... Ох, Володя! То ли дети — существа совсем иной породы, то ли я только была такой. Мне бы радоваться, что приехал за нами папа, волноваться — успеем ли от немцев убежать: были они уже где-то совсем близко. А я... жалела лошадку, которую, казалось мне, больно стегал Степан, и... сочиняла стихи. Да, да стихи о нашей с Женечкой разлуке.

Начало было такое: «Мы простились с тобой у калитки, ты говорила мне: "Прощай"... Прощай, моя верная подруга, мы не увидимся никогда...» (Мы никогда и не увиделись больше. И стихов я никогда больше не писала, это были первые и последние. Знаешь почему? Мама мне, в Челябинске уже, как-то прочитала наизусть монолог Заремы из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина — она в своём драмкружке её играла. Помнишь?.. «Оставь Гирея мне: он мой;/ На мне горят его лобзання;/ Он клятвы страшные мне дал...» Тогда, Володенька, я и поняла, что стихи мои — не стихи, и писать их больше не стала.)

Убежать мы тогда успели. Но какой страшной, забываемо страшной, чудовищной была посадка — не в поезд, нет, а в эшелон, товарняк, в которых раньше скот (или... зеков) возили. Называли их почему-то «пятьсот весёлый»: пустой товарный вагон, на полу — солома.

Мы в этом вагоне больше месяца, Володя, до Урала жили-ехали. Братиска мой маленький, Сашенька, кричал, не переставая, истошным голосом: «Сосу! Сосу!» Соска его между досками пола провалилась. Мы боялись, что измученные «совагонники» сбросят нашего мальчика с поезда... Тогда он и отучился, наконец, запоздало от соски (вместо еды ему совали).

Но посадка, посадка, Володя, в этот вагон в Ростове-на-Дону — самое страшное моё военное воспоминание. А ведь в Запорожье мы каждую ночь под выматывающие душу звуки сирены, выдернутые из постелей, бежали через два квартала в бомбоубежище. И дом совсем рядом с нашим после отбоя в одну из таких ночей — не дом уже, а груды кирпичей — видела. Но посадка в Ростове-на-Дону была всего страшнее. Люди дикой толпой, ослеплённые страхом (говорили — немцы подходят!), толкая друг друга, без всяких билетов, с детьми тюками над головами рвались в вагоны. Хорошо, папа был с нами. Никогда бы мы без него не впихнулись в вагон. Кричала бабушка. Надрывался братик. Я редела: «Боюсь! Не пойду!» Бабушку папа втащил в вагон, когда поезд уже тронулся. Мама пробилась с братиком на руках. И молила в голос неизвестно кого: «Дочку, дочку протолкните!» И нашёлся не вполне ошалевший человек — втокнул меня...

Ты хочешь, наверное, спросить, Володя, почему мы так долго ехали — больше месяца от Ростова-на-Дону до Челябинска? Да очень просто: больше стояли, чем ехали. Загоняли наш эшелон в самый дальний тупик, и стояли мы там или час, или сутки, или трое суток. Тоска невыносимая. Но никаких претензий: к фронту шли поездом с молодыми весёлыми красноармейцами, новым пополнением; песни они пели, плясали иногда у вагонов, мы смотреть бегали; обратно ехали тихие составы, раненых везли в тыл. И непременно — со страхом ожидали — из какого-то вагона на носилках, закрытого с головой, санитары выносили того, кто уже не запоёт и не спляшет... Наша, эвакуированных, очередь была последней. Какие уж тут претензии... Но знаешь, с чем не могли смириться? Бесило, раздражало, до истерик доводило: мы не знали даже примерно, когда поедем, — через час или трое суток? Родители бегали за пропитанием, мы, дети, удирали из своего «телятника», и каждый, старый и малый, поминутно вздрагивал, прислушивался к вокзальному радио: «Через пять минут с такого-то пути отправляется...» Из наших «тупиковых» эшелонов — а их было множество! — чуть ли не каждый день отставали дети. Иногда их находили и отправляли следующим поездом догонять! Иногда — терялись совсем. Так и слышу истошный крик матерей: «Варенька!!! Толька!!! Быстро!!! Беги!!! Отправляемся!»

Я тоже однажды чуть не отстала. Очень переживала, что забуду единственную немецкую фразу, которую успела «изучить» за несколько дней своего пребывания в 5-м классе, — очень уж была, как видно, сверхпримерная, «занудная» отличница. Фразу эту — видишь, Володя, — помню: «Anna und Marta baden», — купались, значит, Анна и Марта. Выскочила я из вагона, побежала искать насыпь почище и повыше, нашла где-то подальше — и ну выводить длинной палкой про этих самых Анну и Марту. И вдруг отец надо мной — бешеный. Таким я его не видела. Размахнулся — и по щеке! Никогда, ни раньше, ни позже, не поднимал на меня руку, да и, пожалуй, не помню, чтоб повышал голос. Схватил за руку. Потасил за собой. Под составами лезли. Мчались. Увидела издали перед нашим составом се-

мафор поднятый. Едва успели. Отец меня к маме подтащил: «Смотри!» Мама — белая, ни кровинки в лице. Она у нас сердечница была, папа её пуще глаза берёт. Поэтому и прожила моя мама восемьдесят лет, а её братья и сестры — все сердечники, и отец их тоже — до сорока-пятидесяти, не больше. Запомнила я тогда лежащую на соломе, почти бездыханную свою маму.

И ещё одно врезавшееся в память воспоминание. Стояли мы на какой-то станции долго, не помню сколько. Есть уже было совсем нечего. Голодали. С нами в вагоне женщина с ребёночком ещё меньше нашего Саши ехала. Молоко у неё пропало. Плакала. А тут слух пошёл — стоять будем долго, можно до деревни, километрах в пяти от нас, добежать, что-нибудь там раздобыть. Никто не решился. Только она, молоденькая совсем. Малыша своего на мамино попечение оставила — пусть с Сашенькой нашим забавляется. «Я мигом!» И помчалась... Время идёт. Нам неспокойно, конечно. Из вагона выглядываем. А мы, ребята, вдоль состава бегаем, высматриваем её. Кто первый увидит? Чистое поле бескрайнее перед глазами, как на ладони всё. Вдруг кто-то закричал: «Идёт! Идёт! Смотрите, несёт что-то! Смотрите! Подмышкой несёт! Что это? Арбуз! Правда, арбуз! Большой! Ух ты какой! Давай быстрее! Бегом!» Она и правда бежит. Уже близко. Арбуз и в самом деле огромный.

Как только она его несёт? И вдруг — крик. Отчаянный крик: «Семафор! Сейчас тронемся!» Она тоже видит семафор. На миг останавливается. Замирает. И поднимает арбуз. Швыряет его со всего размаха — во все стороны разлетается. Такой был арбуз! Мы все: «Ах!» — а она, свободная и лёгкая теперь, бежит, летит к нашему «пятьсот весёлому»; он тронулся уже, набирает скорость. О радость! Чьи-то сильные руки подхватывают её в последний вагон. Поехали. Без арбуза...

### Между детством и юностью

Володя! Думала, удастся сразу перескочить из 1941-го в 1952-й. Нет, не получается. Попробую коротко. Сначала то, что пропустила. Незабываемое.

Помнишь, я писала, приехал папа за нами в станицу Марьинская? Приехал вечером, а утром — уезжать-бежать... Но спать мы не ложились, кроме, конечно, малыша Сашки. Всю ночь просидели под деревом возле хаты, и папа рассказывал... Впервые увидела южную ночь: пречёрную, бездонную, с бесчисленными яркими звёздами и тонким рогаликом луны.

И что я услышала! Папу и ещё нескольких инженеров с его завода послали... взрывать ДнепрогЭС! (Не очень я понимаю сейчас, в чём была их роль, — ведь они же не взрывники, — но что-то там должны были сделать.) И вот он говорит: «Всё готово. Сидим. Ждём И — взрыв!!! Оглушительный! Грохот страшный! Всё в дыму. Дым рассеялся. Дыра в центре плотины, а сквозь неё вода хлещет. И вдруг голос из репродуктора: "Днепровская гидроэлектростанция имени Владимира Ильича Ленина перестала существовать". И мы, как по команде, задохнулись, всхлинули — разревелись, в общем».

Я смотрю на папу: он разревелись? (Никогда не видела его плачущим. Через много лет, у гроба мамы, окаменевший, но — ни слезинки.) Он понял меня: «На наших глазах ведь строилась, да и мы все трое, что сидели там, кое-что для неё сделали. А взорвать приказ был: немцы подходили».

И ещё сказал, что, когда вода успокоилась, увидели они знаменитые днепровские пороги. Я-то их, конечно, не видела, даже, кажется, и не слышала о них, многовековых коварных врагах днепровского судоходства.

А вот, Володя, тоже очень яркое воспоминание — мой первый день в школе. Не в Челябинске, а километрах в десяти от города, в посёлке Бакалстрой. Там неподалёку возводился новый гигант металлургии, он очень скоро начал работать на войну. Почти в центре строительной площадки, в длинном бараке — папин «Гипрометз», Государственный институт по проектированию металлургических заводов. Да и мы тогда ещё жили в бараке — их соорудили по-быстрому к приезду эвакуированных. Грустно-смешное воспоминание: когда мы впервые — с дороги, усталые, с вещами — вошли в наше новое жилище, бабушка, оглядывая голые, из брёвен, деревянные стены, растерянно спросила: «А где же комната?» Это была и комната, и кухня, и... туалет.

Но возвращаюсь в школу. Первый мой день в 5-м классе. Я сижу, втянув голову в плечи от великого стыда, в косынке (учительница добрая, разрешила): побрига наголо. Какая же это боль, Володя, для девочки — тебе, «мальчику», этого не понять! А побрили меня в больнице — месяц, наверное, лежала (тоже в бараке): брюшной тиф по дороге схватила. Пришла в школу, помню, к концу 3-й четверти...

И вот тебе самые яркие впечатления этого первого дня. Учительница читает вслух рассказ, не помню какой, — там пианино упоминается. Поворачивается ко мне девочка, сидящая передо мной, темноглазая, чуть раскосые глаза (это Маша Мусина, очень толковая, способная татарка, ходила в школу из соседней деревни Першино, потом мы с ней подружились). Смотрит на меня пристально: «Что такое пианино?» — спрашивает. Я подумала: она надо мной смеётся. Нет, любопытство в лице, глаза серьёзные. «На перемене расскажу», — шепчу. И рассказала — по стенке пальцами стучала, играла ей пьеску Гедике (ровно год перед войной училась я на пианино в маминем «Деловом клубе», на этом моё музыкальное образование и закончилось). Разговор с Машей впервые приоткрыл мне пропасть, так и не преодоленную до конца наших школьных дней, между «местными» и нами, как они называли нас, «вакуирываемыми».

Когда прозвенел звонок с последнего урока, ко мне — впервые за весь школьный день — обратился мальчик, тоже «местный», с которым меня посадили. В голосе не было ни злобы, ни даже «дразнилки», только искреннее любопытство: «Скажи — "кукуруза"!» Я не поняла. «Зачем?» — «Ну скажи! Слабо?» — «Кукуруза», — с недоумением произнесла я. И ещё раз, медленно, по слогам: «Ку-ку-ру-за.» И ты знаешь, Володя, он обрадовался: «Я говорил им, что ерунда!» Оказывается, он проверял меня на «еврейство». И с этим, как видишь, я столкнулась впервые: евреи — и это всё, что он о них знал, — непременно должны «р» не выговаривать, каргавить! В Запорожье, представь себе, я ни разу не слышала о своей национальной «особости». С этим мальчиком, Валька его звали, мы тоже подружились. Это не антисемитизм был. То ещё впереди... Валька объяснил мне: «Просто мы живого еврея ещё не видели».

Продолжаю перелистывать картинки, всплывающие из прошлого. Тебе не надоело, Володя? Ты сам разбудил во мне эту не свойственную мне прежде, а теперь не покидающую ни днём, ни ночью (сны какие вижу!) жажду — вспоминать... Так что, далёкий друг, терпи и читай...

Это уже 6-й класс. 1942/1943 учебный год. Я давно стала своей, полюбила нашу Бакальскую школу. Искусный я была — правда, Володя, — искусный мастер подсказки.

За это прощают мне «звание» круглой отличницы. Недавно — впервые! — была поймана с поличным. И кем! «Тигр Львович» (на самом деле — Игорь Вла-

димирович, историк, единственный у нас учитель-мужчина, инвалид, недавно с фронта), которого мы смертельно боялись, сказал тихо (никогда голос не повышал!), без интонации: «Извольте выйти вон!» Только он обращался к нам на «Вы»... Так и слышу его тихое, зловещее (это уже не мне!): «Садитесь, ставлю два».

Но я о другом хотела тебе рассказать. Главное увлечение тогда было — тимуровская команда. Помнишь, я писала, как мы с подружкой Женечкой ещё дошколятами ловили — и не поймали! — шпиона? Мама тогда мне Аркадия Гайдара читала, я чуть ли не наизусть повести его знала. А перед самой войной, в 1940 году, «Тимура и его команду» уже сама прочитала. Стану перед нашим высоким, до потолка, зеркалом-трюмо и вслух (когда дома никого нет): «Я вступаю в тимуровскую команду! Торжественно клянусь!» В чём клялась — не помню. И вот дождалась. Мы, в самом деле тимуровцы, несколько ребят из нашего класса, ходим по квартирам фронтовиков, к матерям, жёнам: «Чем вам помочь?» И помогали: в магазин бегали, малышей забавляли. Играла я в эту игру восторженно. А потом перестала. Не могла больше... Помню: дверь настежь. Мы вошли. А тётя Наташа, мама фронтовика, растрёпанная, страшная, чёрная, по полу катается, от шкафа до кровати, и кричит! Кричит без слов, не своим голосом. Похоронку только что получила: убили сына единственного. Не могла я больше ходить. Боялась: а вдруг опять похоронка...

Володя! Ты ведь знаешь, много лет меня мучило: верили наши кумиры во всё, что нам вещали по радио и писали в газетах, или притворялись, или то и другое вместе? Вот Гайдар. Я и сейчас почитаю его. Но как он мог не видеть, не понимать? И, представь себе, только что прочитала у Эдварда Радзинского (в той же книге «Сталин»): «И горе тому, у кого пробуждалась личная совесть. Знаменитый писатель Аркадий Гайдар в 1938 году даже попал в психушку, откуда писал своему другу писателю Рувиму Фраерману:

"Тревожит меня мысль — я очень изоврался... иногда я хожу близко около правды... иногда вот-вот... она готова сорваться с языка, но будто какой-то голос резко предостерегает меня: берегись! Не говори! А то пропадёшь!"» Эти слова поразили меня. Это говорит Аркадий Гайдар — человек редкого мужества, истинной совести, безграничной преданности своей стране. Говорит из психушки. Вот она, подлинная трагедия поколения, сошедшего революцию: «Изоврался!»

Мне не хочется заканчивать это письмо столь печально. Что бы такое придумать в заключение? Весёлое, радостное. Вспомнила: День Победы!!! Какой это был день, Володя! Ты, конечно, и сам его помнишь, но иначе, по-своему. Знаешь, чем он запомнился мне? Никогда больше, ни до, ни после, не видела я таких людей — всех без исключения, каждого встречного, знакомых и незнакомых — добрых, благородных, щедрых, порядочных, готовых поделиться последним. И безоглядно верила я в тот день, что всё зло, ненависть, подлость на земле кончились, что ждёт нас только добро — всех нас, каждого. Только светлое, только любовь.

Может быть, что-то подобное испытал и ты? Но есть у меня и особое, только моё воспоминание об этом дне — 9 мая 1945 года. Была я в 8-м классе, мне пятнадцать лет. Сумасшедшие от радости, услышав великую новость, мы бросились к школе: мгновенно, от одного к другому, стало известно, что нам, старшеклассникам (8-е, 9-е, 10-е), подадут грузовик с завода, и мы со своего Бакалстроя поедем в город (помнишь, я — в Челябинске?), в центр и там будем гулять весь день, веселиться, праздновать! Я бегу. Только бы не опоздать. Успела! Грузовик уже ждёт. В кузов запрыгивают ребята.

Витя (моя тайная симпатия) уже там, он галантно подаёт мне руку. Я сейчас прыгну. Легко, красиво, изящно. Одна нога на колесе, другая ловко перекинута через борт кузова. Зонтиком раздувается «полуклёш» моего пальто — я и думать забыла, что на мне обновка. И какая!

Тут, Володя, я должна сделать отступление. К концу войны мама какими-то безмерными усилиями «достала» талон на отрез невиданного, великолепного драпа (очевидно, «выбросили» излишки в предвидении демобилизации), а может быть, не драпа — словом, ткани для шинелей комсостава, — и опять-таки с огромным трудом, «по знакомству», у «великого портного», не себе, совсем ещё молодой (всего сорок лет!) женщине, а мне, девчонке, сшила шикарное, красоты неопишуемой, в талию, «полуклёш», пальто — первое в моей жизни «взрослое» пальто (ходила раньше, как и все, в перешитых маминых обносках). Вот его-то, это новое пальто, я и надела первый раз в День Победы...

Ну вот, Володя, поднимаю я изящно ногу... Прыжок! Раздувается и вверх-вниз мой «полуклёш». Стоп! То ли на колесе что-то, то ли гвоздь на кузове — зацепило. И ни с места! А все глаза из грузовика (и Витины тоже!) устремлены на меня. Я дёргаю плечом изо всех сил, ещё раз дёргаю, ещё — и пальто моё, роскошное, новое, мамиными трудами добытое пальто, разъезжается на две половины на глазах изумлённой публики. Нет, Володя, это ещё не главное. Главное — вот оно: я не огорчилась нисколько. Почти всего этого не заметила — ведь День Победы! Какое-то пальто — мелочь, ерунда! Всё ерунда. Победа! Так и гуляла с ребятами в городе весь день в разодранном сверху донизу пальто, и ничуть не испортилось настроение. Вот только, когда подошла поздно вечером к дому, сердце сжалось: мама сейчас увидит мою обновку в полной красе. Но, представь себе, и мама не очень огорчилась — ведь был День Победы!

### **А вот — моя любовь вторая**

1942 год. Война, уже не игрушечная, детсадовская, а настоящая, жестокая. Мы в посёлке Бакалстрой. Я в 6-м классе, мне двенадцать.

Учебный год давно уже начался. Наверное, в октябре-ноябре на уроке литературы вдруг отворилась дверь, вошла завуч, за ней, неловко, стесняясь, мальчик, высокий, худенький. Завуч представила его: «Ваш новый соученик. Из прифронтового города — чудом оттуда вырвались, натерпелись. Не обижайте его, поддержите. Витя Гервазиев». (Обрати внимание, Володя: везёт мне на Вить!) Мальчик поднял голову, обвёл нас глазами — удивительными, тёмными, печальными — не видела я таких глаз! Остановил (или мне показалось?) свой странный тревожно-вопросительный взгляд на мне — и пронзил меня насквозь!!! Смейся, Володя, не верь, но пронзил. Не было мне больше ни сна, ни покоя. Видела эти глаза и во сне, и наяву.

Словом, влюбилась! А ведь многие уверяют, что не бывает любви с первого взгляда, — бывает, ещё как бывает! И ещё уверяют, что в двенадцать лет — не настоящая любовь. Настоящая, самая настоящая: и прекрасная, и мучительная, и — это уж, наверное, особенность возраста — болезненно стыдливая, до «седьмого неба» возвышенная, от всех утаённая, глубоко сокрытая.

Помню, шли мы с папой от наших «стандартных домов» через весь барачный посёлок, где и сами раньше жили, к столовой. Не папина по тем временам высокая инженерная зарплата, а мамины судки с обедом (три прицепленные одна к

другой кастрюльки — три блюда: первое, второе, третье) спасали нас от голода — их «выдавали» всем работникам столовой, из-за них и пошла туда работать мама сестрой-хозяйкой. Так вот, шли мы в столовую за судками с обедом — а навстречу Витя. Воспитанный мальчик: поздоровался с папой, кивнул мне. Пошёл своей дорогой. Боже, что со мной стало! Сердце застучало молотом, краска залила щёки, споткнулась — папа заметил! «Что с тобой, дочка? Кто это?» Не помню, что пробормотала в ответ. Только вечером, когда легла спать, мама подседа ко мне, осторожно стала расспрашивать, что за мальчика — папе понравился — встретили мы сегодня днём (рассказал, значит, папа)?

Оборвалась моя любовь, я бы сказала, гадко и — поверь, не преувеличиваю — для меня трагически.

На уроках — очевидно, совершенно околдованная своими тайными переживаниями — я, сидевшая на второй парте у двери, не сознавая этого, не ведая, то и дело оборачивалась назад и секунду-другую смотрела куда-то назад: там у окна, то слушая учителя, то склонившись над тетрадкой, то улыбаясь, шепча что-то соседу, сидел он. И я видела его и тихо радовалась. Но «мой позор» видели и другие — весь класс видел!

Ко мне на парту упала записка. Я машинально, без интереса раскрыла её. Прочитала. Не поняла сначала. Прочитала ещё раз. Встала. И, не спрашивая разрешения, вышла из класса. Володя, я не буду подбирать слова: записка была мерзкая, похабная, стыдная. Что-то мне гадкое советовали, чему-то, издеваясь, учили. Словом, убили мою тайную, прекрасную, высокую до небес любовь. Жить после этого больше было нельзя. Порог школы перешагнуть невозможно. И я пошла умирать...

За нашими «стандартными домами» через осиротевшие огороды — и морковь, и свёклу, и капусту уже убрали — спустилась к берегу. Река наша, Миасс, чистая была тогда и прозрачная — купались мы там летом. Сняла калоши, ботинки. В чулках вошла в воду. Холодная, очень холодная была вода — как вспомню, так и сейчас пятки леденеют... Подняла ногу — готовилась сделать следующий шаг — и нисколько не жалко было молодой своей жизни. Жизнь кончилась...

И вдруг вижу — ясно, крупно, до мельчайшей чётрочки — лицо мамы. И слышу папин голос: «Помни, мама у нас сердечница...» Нога застывает в воздухе, и... я делаю шаг назад... Не знаю, Володя, может быть, ты и не поверишь, но, я думаю, мама меня тогда спасла.

Что сказать тебе в заключение? Почти месяц я не ходила в школу. Здорово повезло: воспаление лёгких быстро не проходит. Как-то за это время всё — или почти всё — улеглось в душе. Вернулась в школу, села за свою парту, назад больше не оборачивалась.

Вот и весь мой рассказ о второй любви. Скажешь, невесёлый? Почему же? Могло ведь кончиться всё иначе. И не летали бы наши письма сегодня совершенно непонятным для меня, сверхъестественным образом через океан за считанные минуты. А ведь летают.

**Владимир Фрумкин:** Тamarочка, этот «шаг назад», который спас тебя и заодно всё то неоценимое, что принесло мне — через много лет — общение с тобой, напомнил мне о другой девочке, которая, увы, этого спасительного шага не сделала. Её звали Надя Левит, мы учились с ней в 9-м классе той самой вечерней школы, куда я перешёл из дневной в 1946 году.

Наде было двадцать лет, мне шестнадцать. Она часто со мной заговаривала, но я был рассеян и равнодушен: засматривался на другую свою одноклассницу,

черноглазую красавицу Люсю Астраханцеву. В один из дней января 1946 года получаю письмо от Нади. Читаю — и не верю своим глазам: «Когда ты увидишь эти строки, меня уже не будет в живых... Устала от безответной любви... отчаяние отверженности... бессмысленность существования... Решила уйти и не мозолить тебе глаза...» Я кинулся к Надиным знакомым: она выжила, лежит в больнице мединститута, состояние тяжёлое, внутренности себе сожгла. Чем? Серной кислотой, которую раздобыла в заводской лаборатории (Надя работала на военном авиационном заводе № 20). Поздно вечером, в жуткий сибирский мороз, в страхе напороться на грабителей из «Чёрной кошки» (о которой ходили зловещие слухи), я пошёл через весь город в больницу. В справочной узнал, что да, жива, но в палату — никак нельзя, не положено. В школу Надя не вернулась, уехала в свой родной Минск...

### Ни пятёрки, ни медали...

1947-й год. Я заканчиваю школу, 10-й класс. Не повезло нам! По-моему, мы — последний выпуск, сдававший 13 (!) экзаменов (уже на следующий год их количество сократили — сначала 9, потом 7). Занимались до одури, до нервного расстройства.

Вспоминаю эти дни-ночи как кошмар. Мне нужны были пятёрки, только пятёрки: ведь я собиралась в Москву, только в Москву, в Московский университет, МГУ, на филологический факультет. Для девчонки, пускай отличницы, из самой что ни на есть провинциальной Бакальской средней школы № 29, где и учителей-то с высшим образованием раз-два и обчёлся (война ведь только закончилась), — мечты об МГУ были почти недостижимой фантазией. Но если получу все пятёрки — золотая медаль — поступлю без экзаменов.

Была ещё особенность тогдашних правил: три четвёрки по любым предметам (кроме сочинения!) — тоже какие-то льготы при поступлении и, кажется, серебряная медаль. А вот все пятёрки и только одна четвёрка за сочинение — всё: никакой медали и никаких льгот.

Мне дважды сказочно повезло. И оба раза кончилось крахом... Ну дали бы на экзамене тему о Блоке — что бы я могла написать? И стихов-то его не слышала. А тут — Фадеев. Только что вышла его «Молодая гвардия» (первое издание — ещё без «партийного руководства») — в 1946 году. Сталинскую премию за свой роман получил. Молодогвардейцев мы знали по именам, характерам, поступкам, восхищались ими. Втайне примеряли себя на них. Книгу передавали друг другу, зачитывали до дыр. А тут на первом, главном экзамене одну из тем сочинения по роману Фадеева дали — я, конечно, её выбрала. Писала вдохновенно. Честное слово, забыла даже о пятёрке и МГУ. Учительница моя, очень добрая, славная, но, скажем мягко, не очень образованная женщина, встретив мою маму на улице лет через пять, сказала ей, что читает это сочинение каждый год своим выпускникам перед экзаменами. Сочинение моё стало в каком-то роде эталоном. Поставили мне за него, конечно, пять — наша школьная комиссия поставила. А через несколько дней из горно вернули... с четвёркой. Все были потрясены. Директор наш, по-моему, в город ездил — отстаивать. Вернулся ни с чем. Ни пятёрки, ни медали — ни золотой, ни серебряной.

Никому из нас — ни маме с папой, ни учителям и директору, ни тем более мне — и в голову не пришло, что вот оно — началось то чудовищное, что могло

быть в гитлеровской Германии, но никогда в нашей самой прекрасной, победившей фашистов стране... Об этом мне, увы, ещё придётся писать.

Но пока я поехала — всё равно поехала! — в Москву сдавать экзамены в МГУ на общих основаниях. И там на первом экзамене в старом здании университета — недалеко от Кремля! — мне повезло вторично. Снова из трёх предложенных на выбор тем одна была по «Молодой гвардии», чуть иначе сформулированная. Я наизусть помнила моё школьное сочинение и написала, мне казалось, с таким же вдохновением, да и проверить ещё успела как следует, по складам, каждую запятую. Нисколько не волновалась: вот, думаю, докажем этим придирам из гороно. В пятёрке не сомневалась.

Несколько дней прошло. Уже успела устную литературу сдать. К великой печали моей — на четвёрку, справедливую четвёрку. Бойко отвечала на билет. Экзаменатору — молодой, доброжелательный — я, как видно, понравилась, и, так мне казалось, чтобы поставить «твёрдую пятёрку», он задал мне дополнительный вопрос: «Знаете ли Вы, какой журнал издавал молодой Иван Андреевич Крылов?». Я — знала! На уроке моя любимая учительница литературы произнесла его название, я помню! «Почта духов», — гордо выпалила я (с ударением, как и моя учительница, на втором слог). — «Почта духов» (с ударением на первом), — как-то сразу помрачнев, сказал он. И поставил четвёрку. Видишь, Володенька, я этих духов (на первом слог!) на всю жизнь запомнила.

А когда вышла в коридор — на стене лист висел с результатами сочинения. Нашла свою фамилию. Глазам не верю. Никогда, за все школьные годы, не было у меня за сочинение — три!!! Это было потрясение. Завтра ехать домой — конкурс огромный, с тройками сразу отсеивались. Пошла на телеграф звонить родителям.

— Не смей куда ехать. Это недоразумение. Завтра еду в Москву.

И мой сверхчестный — и верящий в честность других — папа таки приехал. Пошёл на факультет — и добился, чтобы ему показали моё сочинение. И — о ужас! — в нём даже не очень старательно, небрежно, с первого взгляда заметно — были... как это более деликатно сказать?... подделаны, а потом исправлены несколько диких, грубейших ошибок. Ну, например, я пишу «мама», они исправляют — «мома», зачёркивают «о» и пишут «а»: ошибка... Представь себе, Володя, они смутились, извинились и исправили «3» на «4». А потом один из них, солидный, профессор кажется, вышел вслед за папой и сказал ему тихо и очень чётко: «У Вас хорошая девочка, отличное сочинение написала. Мой Вам совет: забирайте немедленно документы, езжайте в Ленинград. По моим сведениям, эта подлость туда ещё не дошла. А у нас она не поступит с такой фамилией. Указание есть. Надеюсь, сказанное останется между нами...» И он ушёл.

Вот так, Володя, я и оказалась в Ленинграде, в ЛГУ, сначала на философском (там недобор был), а потом на филологическом факультете — после первого семестра перешла. Несколько экзаменов пришлось досдать, зато на философском курсе высшей математики прослушала. Интересно.

Воистину, Володенька, «пути господни неисповедимы» (это я-то, неисправимая атеистка, говорю): не было бы этой гнусной истории в МГУ — не было бы у меня любимого моего города Ленинграда-Петербурга, не было бы нашего «Турнира СК», не было бы у меня сейчас в Америке «далёкого друга», значит, не писала бы я этих строк.

## ТАМАРА ЛЬВОВА. КОММЕНТАРИЙ

Как странно, Володя, как странно! Совсем другим я представляла тебя в детстве. Скорее — «маменькиным сынком». И во сне бы не приснилось, что ты — в моих глазах, можно сказать, джентльмен, денди, безукоризненно вежливый, с изысканными манерами, да ещё и знаток самого неземного искусства — музыки, каким я видела тебя на «Турнире», — мальчишкой был, как сам себя называешь, «мелким жуликом» (и даже, пожалуй, не «мелким»). Продовольственные карточки подделывал, чтобы попасть в спецторг — закрытый распределитель для избранных, «оазис изобилия», неодолимо манящий вечно («даже по ночам!») голодного подростка. Да ещё совершил «кражу со взломом». Правда, не дверь взломал, а лишь форточку, но — украл! украл! — со склада несколько брусков хозяйственного мыла, которые выменял на... три пучка морковки. А потом ещё десятку у парикмахера, тренируя себя в «воровском деле», выпалил из ящичка. И дружил с «приблатнёнными сверстниками». В драки вступал. И — ужас! — револьвер на урок с другим мальчишкой принесли, и... прогремел нечаянный выстрел, чуть тебя или учительницу не убивший... А как «классно» ты участвовал в заготовке продуктов из свинины: «копил окорока холодным и горячим способами». И другие всякие мужские сельхозработы выполнял. Словом, Володя, ты меня поразил.

Ещё раз поняла, какие мы разные существа — мальчики и девочки... Тоже ведь была я голодная в военные годы. Но какой вспоминается самый большой «протест»? Сочинили мы песенку: «Паёк мы в школе получали —/ Полплюшки иль сухой пирог. / И очень быстро всё глотали,/ Никто их вкус узнать не мог». Подходили вдвоём с подружкой к ни в чём не повинной буфетчице — и, уставившись на неё, не отрывая глаз, тихоно, но очень чётко пели. Толи выпрашивали добавки, то ли критиковали качество «пайка». Тоже не так уж благородно...

Но если отбросить эти «гендерные» различия — переключка твоего и моего детства, мне кажется, состоялась. Сколько общего! И у тебя, и у меня фашисты в самом начале войны расстреляли близких родственников. И твоя, и моя семья бежали от немцев: вы из Белоруссии — в Сибирь, мы с Украины — на Урал. Даже начинали и вы, и мы этот долгий путь одинаково, на подводе, и везли нас лошадки. На всю жизнь нам обоим запомнились одни и те же, ныне канувшие в Лету слова: «дефицитные» (да и самые обыкновенные) товары в магазин не привозили, а «выбрасывали», мы их не покупали, а «доставали». А когда ещё «импорт выбрасывали» — тут уж только «по знакомству» можно было «отовариться». Помню, как мама ставила меня в хвост длинной очереди и писала на моей руке номер, чтоб не забыла и отчеканила громко (ну, например, сто двадцать четвёртый!), когда будет «пересчёт». Кто отошёл в этот момент, не получил новый номер — всё, пропала очередь... Что ещё? Я тоже, как и ты, окучивала, пропалывала картошку. Огород наш, как и ваш, был далеко — топали пешком. А рядом с домом выделяли каждой семье несколько грядок. Мне даже нравилось копаться там: поливать, сорняки выдёргивать. Но сохранилось одно мерзкое воспоминание — капуста! Надо было между листьями и в самой глубине созревающего кочана выскивать, хватать руками, выбрасывать — и давить! — объедавших листья червей (или гусениц?). До чего противно!.. Ну и, конечно, помню, как и ты, святая святых — продовольственные карточки: «рабочие», «иждивенческие». Не дай бог потерять! Мне доверяли их редко. Но всё-таки однажды умудрилась потерять...

В общем, Володя, наши далёкие — географически — детство и отрочество (Украина — Белоруссия, Челябинск — Омск), по существу, были близкими...

*(продолжение следует)*



# Александр Боровой

## 2003 И ДРУГИЕ ГОДЫ

(окончание. Начало в №5/2014 и сл.)

### Часть вторая. Окончание

25 октября, суббота

Сегодня в одной из телевизионных передач я мельком услышал о Николае Гумилеве. Собственно, Гумилев потребовался «телевизионным демократам» не для того, чтобы познакомить нас со стихами замечательного русского поэта, а лишь как удобный повод, чтобы еще раз заклеить все, что происходило в советское время.

С экрана доносились стенания и проклятия, а вот стихи практически не звучали.

И хотя я не отношу себя к большим поклонникам Гумилева, но отстраненно слушая диктора, я повторял про себя самые любимые его строчки.

И известные всем:

*«И, взойдя на трепещущий мостик,  
Вспоминает покинутый порт,  
Отряхая ударами трости  
Ключья пены с высоких ботфорт,  
Или, бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так что сытется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет...»*

(Стихотворение «Капитань». Эти строки звучат в фильме «Оптимистическая трагедия», по пьесе В. Вишневского.)

И, как выяснилось позже, полностью никому не известные:

*«В час вечерний, в час заката  
Каравеллою крылатой,  
Проплывает Петроград.  
И горит над медным диском  
Ангел твой на обелиске,  
Словно солнца младший брат...»*

\* \* \*

Повторял строчки и вспоминал, как в студенческие годы, чаще всего по воскресеньям, навещал тетю Иру. Путешествие пешком от Краснопресненской набережной до Никитского (некоторое время он носил название «Суворовского») бульвара было хотя и не близким, но очень приятным. Сначала я шел до Зоопарка, по-

том переходил через Садово-Кудринскую улицу, потом шел по Большой Никитской мимо прекрасных барских особняков, занятых посольствами.

В то время эта улица еще носила имя Герцена. Позже, в угаре перестройки и разворывания страны, Ельцины, Поповы и Собчаки, наверное, решили, что необходимо вытравить из нашей памяти имя действительно великого демократа.

На Никитской площади я любовался Храмом Вознесения (в сторожах) в котором венчались Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной Гончаровой.

Потом проходил мимо старинной ограды на Никитском бульваре.



Старинная ограда Никитского бульвара (просуществовала до 1960 г.)

Входил в дом №12, стоявший почти напротив знаменитого особняка, в котором Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Поднимался на скрипучем лифте.

Здесь в огромной квартире, в бывшей комнате для прислуги, жила моя тетя Ира и ее муж — дядя Коля. Николай Николаевич Кутлер — сын члена царского правительства, тоже Николая Николаевича Кутлера.

В квартире обитали еще 16 или 17 семей. В кухне, заставленной разнокалиберными столами, не затихали разговоры и детские крики, хрипела радиоточка. Ванна и туалет практически всегда были заняты.

Поэтому в тетиной комнате занавеской был отгорожен уголок с фанерным столом, с плиткой на нем и ведром с водой. Когда можно она готовила на этой плитке, стараясь лишний раз не стоять в очереди к газовой плите или раковине.

Остальное пространство занимала кровать (дядя спал на раскладушке, которая раздвигалась только на ночь), древний письменный стол, кресло и фанерные шкафчики с книгами. Одежда хранилась в сундучке и под простынями на стенках.

На кровати обычно лежал какой-нибудь из котов тети Иры. Коты эти поочередно смеяли друг друга, на моей памяти их было четыре.

В детстве я не мог понять, почему они жили так скромно. Тетя занимала неплохое место и получала, как говорила Бабушка, «приличное жалованье». Но позже та же Бабушка под большим секретом рассказала мне, что дядя Коля азартный игрок на бегах. Почти больной. Он проигрывал не только свою небольшую зарплату юриконсульта, но и все деньги, которые получала жена, находил их в тетиних заветных «схронах» (чаще всего среди книг) и проигрывал. Очень редко, правда, но бывали случаи, когда продавал вещи из дома.

Об истинном размахе его страсти знали только мы с Бабушкой и никогда не говорили об этом ни с родственниками, ни, тем более, с посторонними.

Тетя Ира все ему прощала.

Один раз я видел, как она тихонько плакала, придя к нам. Была мечта вместе поехать в отпуск в санаторий. И отпуска совпадали, и приходились на лето, и бесплатную путевку ей дали. За несколько дней до поездки Тетя взяла из сберкассы деньги, отложенные из премии, на путевку для мужа и на проезд и очень хорошо спрятала.

Но муж их нашел.



Декабрь 1960 г. Тетя Ира с Урсиком.

*«Он иногда выигрывает — говорила она сквозь слезы — но так редко, что сразу ясно, что там сплошное жульничество. Ведь Коля всех лошадей, всех жокеев знает, опыт у него огромный. Я ему говорю, он соглашается... и снова идет. Жалко мне его, безумно жалко, не могу я на него злиться».*

Ко времени моего студенчества Николай Николаевич уже сильно сдал (он был на два десятка лет старше жены), и его страсть заметно поугасла. Но жили все же очень бедно.

Я садился на табуретку, тетя Ира на кровать, дядя Коля занимал кресло, и мы вели длинные разговоры, которые состояли в основном из моих вопросов и их обстоятельных ответов.

Надо сказать, что среди прочих достоинств тети Иры была и прекрасная память.

Высшего образования ей, выросшей в революционные годы, получить не удалось. Она только что успела окончить курсы по французской литературе, как пришлось зарабатывать на жизнь. И в начале тридцатых годов эта жизнь привела ее в контору с названием, как будто взятым из книг Ильфа и Петрова — «Союзшарикоподшипниксбыт».

Казалось бы, у беспартийной молодой женщины, с гуманитарным образованием, которая была замужем за человеком с таким подозрительным происхождением, успешного после революции посидеть в тюрьме, нет никаких шансов продвигаться на службе.

Оказалось — есть.

Дело было в ее изумительной памяти. Тетя запоминала (и запоминала практически навсегда) все, что было существенно для ее работы и жизни.

Занимаясь распределением шарикоподшипников, она помнила все их типы (и советских, и зарубежных), марки стали, машины и механизмы, в которых эти подшипники употреблялись, все данные (за любой год) о заводах, выпускающих шарикоподшипники. Кроме того, она помнила всех людей, работавших в этой отрасли, с которыми сталкивалась. Помнила их фамилии, имена, отчества, телефоны, а часто даже почтовые индексы.

Постепенно все учреждение стало бегать к Ирине Александровне за справками. Ей звонили из Главка и Наркомата. Она писала справки для членов Правительства. В конце концов, пришлось сделать ее начальником небольшого отдела.

Как она говорила — «Полигика, наконец, уступила место здравому смыслу».

Впрочем, политика и тут не прогадала. Тетя рассказывала, как через 6-7 лет после войны, вдруг у них в Госнабе (так теперь называлась главная контора) появилось высокое начальство, которое рассказывало французской делегации о системе распределения товаров в Советском Союзе. Французы задавали вопросы, не всегда самые приятные, в частности они поинтересовались, обязательно ли членство в партии для работников госаппарата.

Начальство беспомощно посмотрело на свиту, свита повела гостей к Ирине Александровне.

«Совершенно не обязательно быть членом ВКП(б)» — на прекрасном французском языке отвечала моя тетя. «Я вот беспартийная, а заведу отделом. А чтобы у вас не возникло сомнений в моей компетенции, скажите, есть ли среди делегации специалисты по машиностроению? Есть. Тогда я перечислю основные типы крупных подшипников, которые сейчас выпускаются во Франции компанией SNFA». (Относительно названию компании я неуверен, память у меня далеко не тетина.)

Кроме всего, что относилось к подшипникам, она помнила и многие другие удивительные и интересные вещи, о которых узнать из официальных источников в те годы было невозможно.

Однажды мы сидели, как это часто бывало, разговаривали о поэзии и вдруг тетя Ира начала читать стихи, прекрасные и отчаянные, с которых я начал сегодняшние записки.

*В час вечерний, в час заката  
Каравеллою крылатой,  
Проплывает Петроград.  
И горит над медным диском  
Ангел твой на обелиске,  
Словно солнца младший брат.*

*А у нас на утлой лодке  
Окна темные в решетке  
Перекрещенных штыков  
Где лобзавиший ручки дамам  
Низко кланяется хамам.  
Видно жребий их таков.*

*Тот не муж, не конквистадор,  
Кто боится вражьих ядер,  
Вражьих дротиков и стрел.*

*Кто бледнеет без отваги,  
Прочитавши на бумаге  
Слово тяжкое — расстрел.*

*Я не трушу, я спокоен,  
Я моряк, поэт и воин,  
Не поддамся палачу.  
Пусть клеймят клеймом позорным,  
Знаю — сгустком крови черным  
За свободу заплачу.*

*Всех кого я ненавижу  
Мертвый — мертвыми увижу  
Ну а город милый мой  
За свободу и отвагу,  
За сонеты и за шпагу  
Унесет меня домой.*

«Гумилев, — сказала Тетя. — Николай Гумилев, первый муж Анны Ахматовой, замечательный поэт. Эти стихи он написал перед расстрелом, в Петрограде на стене своей тюремной камеры. Когда казнили? Кто же это знает? Газеты написали о расстреле 1-го сентября 1921 года».

— Откуда ты помнишь? Ведь когда это происходило тебе было лет 12-13.

— Твой дедушка Саша, его стихи очень любил. Он потом мне и рассказал. Говорил, что Горький, а возможно его жена, звонили Дзержинскому. Тот обещал остановить казнь, но уже было поздно.

— За что же расстреляли?

— Якобы Гумилев был членом белогвардейской офицерской организации. Даже если не был, он бы ни просить, ни оправдываться не стал. Считал правильным разделить судьбу товарищей. Она промолчала и прочитала еще четыре строки:

*«Не спасешься от доли кровавой,  
Что земным предназначила твердь.  
Но молчи: несравненное право —  
Самому выбирать свою смерть».*

Так, опять-таки с голоса, заставляя Тетю несколько раз повторять стихи, я начал учить их и помню по сей день. И Гумилева, и «Реквием» Ахматовой и многие, многие другие стихи поэтов «Серебряного века», которые тогда не издавались.

\* \* \*

После телевизионной передачи я обратился к интернету и обнаружил несколько сайтов, где воспроизводилось последнее стихотворение Гумилева. Тексты иногда не совпадали друг с другом, но это были мелкие расхождения. В то же время количество строчек во всех найденных вариантах было заметно меньше, чем я помнил.

Так, не было целой строфы:

*«Тот не муж, не конквистадор,  
Кто боится вражьих ядер,*

*Вражьих дротиков и стрел.  
Кто бледнеет без отваги,  
Прочитавши на бумаге  
Слово тяжкое — расстрел».  
И еще двух строчек:  
«Всех кого я ненавижу  
Мертвый — мертвыми увижу...»*

Думаю, что замечательная память Ирины Александровны Кутлер не подвела ее и в этот раз. Другое дело, что всех могли подвести передаваемые из уст в уста слухи. В том же интернете, Ю. Зобнин настаивает, что по свидетельству чело- века, попавшего в камеру после расстрела поэта, на стене были написаны лишь следующие слова:

*«Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилев».*

27 октября. Понедельник

Сегодня умерла Кира. Федя беспомощно тыкается по углам, залезает во все любимые ее места, мяукает.

Наш дом надолго погрузился в траур.

Чтобы отвлечься от наших неприятностей я снова сижу и вспоминаю свои визиты на Никитский бульвар.



Н. Кутлер

Дядя Коля сидит в кресле. Он в пенсне, очень не молодой, сгорбленный, одет в домашние брюки и рубашку. Оживляется и участвует в разговоре только если речь заходит о дореволюционных событиях. С советской властью он решительно не смирился и среди всех окружающих меня людей представляет как бы маленький островок белой эмиграции. «Скрытый эмигрант», как любил выражаться кто-то из наших вождей. Понять его можно.

Дядя вырос в состоятельной семье. Его отец — Николай Николаевич Кутлер (старший) был юристом и финансистом, работал в правительстве Витге.

Младший Николай Николаевич окончил престижный юридический факультет Московского университета и перед революцией служил помощником присяжного поверенного.

Должность эта была довольно распространенной среди интеллигенции. Можно вспомнить, что помощниками присяжных поверенных были в свое время и писатель Леонид Андреев, и несостоявшийся русский диктатор Александр Керенский и даже Владимир Ильич Ленин, который, очевидно, остался этой работой не особенно доволен, поскольку в 1918г декретом «О суде» вообще отменил институт присяжных поверенных.

*Николай Николаевич Кутлер (старший). Занимал пост главноуправляющего землеустройством и земледелием в Российском Совете министров. Член 2-ой и 3-ей Государственной Думы. После революции Кутлера арестовали и он около года провел в тюрьме. Был освобожден в 1921 г. и, практически сразу, принят на работу в Госбанк РСФСР. Кутлер был одним из организаторов денежной реформы в 1922-1924 гг., в ходе которой была введена новая советская валюта, обеспеченная золотом. (Википедия)*

С приходом советской власти дядя Коля лишился буквально всего, в том числе и свободы. В ЧК, узнав, что его отец бывший член царского правительства (что Дядя никогда и не скрывал), сына для профилактики посадили в тюрьму и продержали там больше года.

Вызвали его из заточения, сам об этом не подозревая, тот же Ленин. Дело в том, что после нескольких личных встреч, он привлек старшего Николая Николаевича Кутлера к работе в Государственном Банке РСФСР и осуществлению финансовой реформы.

До сих пор эта реформа остается одной из самых выдающихся в своей области. Это признавали единодушно и сторонники, и противники новой власти.

Парижская эмигрантская газета «Последние новости» писала: «Вряд ли большим преувеличением будет сказать, что от конечной финансовой разрухи Россию спас именно Н.Н. Кутлер». И на первых советских червонцах, после подписи председателя Госбанка сразу шла подпись Кутлера.

После этого было как-то не удобно держать младшего Николая Николаевича в тюрьме, по обвинению в непролетарском происхождении. Его выпустили.



Я нашел фотографию билета в 1 червонец. Вторая подпись — Н.Н. Кутлер.

Когда речь заходит о дореволюционных событиях, оказывается, что Дядя хороший рассказчик и знает множество историй про писателей, художников, артистов, но, конечно, больше всего, про юридический корпус. Его оценки известных людей большей частью не совпадают с общепринятыми и носят довольно ядовитый характер. Но для него есть и безусловные, непререкаемые авторитеты. Это, например, Чехов, Репин, Плевако. Последний был настоящим кумиром в глазах дяди Коли и героем множества его устных рассказов. Сюжеты большинства из них я позже встречал в книгах, а сейчас часто наталкиваюсь на них в интернете. Вот только выглядят они достаточно бесцветно по сравнению с тем, как звучали в устах Николая Николаевича.

Иногда, нахохлившись в своем кресле и слушая наши с тетей Ирой разговоры о поэзии, он своим дребезжащим голосом произносит странные строки. Однажды, например, начал напевать:

*«Брала русская бригада  
Галицийские поля,  
И остались мне в награду  
Два солдатских костыля...»*

И в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил, что это старая солдатская песня, а я про себя очень удивился, какое отношение дядя Коля мог иметь к солдатам? Однако слова этой песни запомнились. Какой-то непривычной для меня, щемящей грустью и прощением.

От него же я впервые услышал и красивые стихи:

*«Замело тебя снегом, Россия,  
Запуржило седую пургой.  
И печальные ветры степные  
Панихиду поют над тобой.  
Ни пути, ни следа по равнинам,  
По сугробам безбрежных снегов.  
Не добраться к родимым святыням,  
Не услышать родных голосов».*

А тетя Ира замахала на него руками и начала шептать, что это белогвардейский романс, что пела его в Париже, в эмиграции, Плевицкая, и чтобы я ни в коем случае не вздумал где-нибудь повторять эти строки.

Как-то, уже после его смерти я спросил тетю Иру, почему он остался в России, почему не искал путей эмигрировать, как это сделало подавляющее большинство людей его круга.

*«Коленька всегда брюзжал, все критиковал, всем был не доволен. Но Россию любил, не смог бы на чужбине жить. Когда немцы подошли к Москве, пришел и сказал: «Иришенька! Надо кое-какие вещи собрать, вот у меня список. Я в ополчение записался, завтра с утра собираемся на Ленинградском шоссе».*

*И ничего слушать не стал. Почти месяц воевал, пока не контузили и не комиссовали. У него и ноги больные, отмороженные»*

Я, каюсь, об этом не знал. И после этих слов совершенно другим представился мне Николай Николаевич Кутлер.

*Бессмертное счастье наше  
Россией зовется в веках.  
Мы края не видели краше,  
а были во многих краях.  
Но где бы стезя ни бежала,  
нам русская снилась земля.  
Изгнание, где твое жало,  
чужбина, где сила твоя?  
Мы знаем молитвы такие,  
что сердцу легко по ночам;  
и гордые музы России  
незримо сопутствуют нам.  
Наш дом на чужбине случайной,  
где мирен изгнанника сон,  
как ветром, как морем, как тайной,  
Россией всегда окружен. (В. Набоков).*

30 октября. Четверг. Траур по Кирочке продолжается. Федя то забывает о ней и начинает играть, то вдруг останавливается и долго призывно мяукает.

К вечеру неожиданно появляется корреспондент одной японской газеты. Нет, никакой он не японец — типичный русский. По-видимому, только собирает материал для своих японских коллег.

Зачитывает длиннющий перечень вопросов, на каждый из которых быстро и понятно ответить нельзя (к тому же можно себе представить, как будут выглядеть ответы, после их перевода на японский!).

Собеседник собирается все записывать и не полагается только на диктофон, а достает бумагу и карандаш.

Тут я не выдерживаю и предлагаю ему два варианта.

Либо он у нас поселится на несколько дней, я бросаю работу, и мы полностью удовлетворяем японских читателей, которых через 17 лет вдруг пробрало такое жгучее любопытство к деталям аварии.

Либо он отбирает всего три вопроса, самых важных на его взгляд, и я на них отвечаю.

Среди отобранных вопросов один, буквально сакраментальный, преследующий меня все эти годы, прошедшие после Чернобыля:

«Кто же виноват в аварии, кто — операторы или ученые, можете назвать конкретных людей?»

Казалось бы, все уже ясно. Свое мнение высказала Правительственная комиссия, регулирующие органы, отвечающие за ядерную и радиационную безопасность, эксперты МАГАТЭ, был суд. Но вопрос этот поднимается вновь и вновь.

Уже сложилась некая группа людей, в основном не специалистов, которая сделала своим времяпрепровождением его обсуждать. Яростно спорить, обвиняя то эксплуатацию, то проектантов, то науку. Ругать друг друга в печати, по телевидению и в интернете.

К ней примкнули некоторые бывшие работники ЧАЭС, в том числе и понесшие наказание. В то же время они сами служат объектами порицания или оправдания со стороны других членов этой группы.

К ней же, на мой взгляд, примыкают и люди, высказывающие совершенно новые и не на чем, кроме своей фантазии, не основанные версии аварии.

Что здесь только не услышишь. Это и происки КГБ, испугавшегося перестройки.

И ядерный взрыв плутония, который секретно ото всех, в том числе и персонала станции (!), нарабатывался в реакторе.

Предлагаются совершенно фантастические варианты от влияния на психику дежурной смены мощного радиоизлучения находящегося рядом объекта противоракетной обороны (Чернобыль — 2), до землетрясения, поразившего почему-то только 4-ый блок.

Все идет в ход. А я не хочу отвечать на этот вопрос.

Потому, что в нем скрыто предложение, мне, сидящему в спокойной московской квартире, осуждать людей, переживших ад, обожженных не только снаружи, но и внутри, принявших смерть в мучениях.

И судить своих покойных учителей, создавших для страны атомную энергетику и атомное оружие, защищающее до сих пор нас и наших детей, и наших внуков.

«Не об этом и не так надо спрашивать», — говорю я корреспонденту.

Вопрос, имеющий главное значение — «Все ли сделано, чтобы Чернобыль никогда не мог повториться?»

И тут я могу ответить.

Не только мое мнение, не только мнение атомщиков России или стран СНГ, но солидарное мнение специалистов и других стран — принятые меры обезопасили реакторы чернобыльского типа от повторения страшных событий.

Но никак не сняли с нас заботу о безопасности атомной энергетики.

1 ноября. Суббота

Обычная поездка на Сережиной машине.

Но, окончив покупки в магазинах, мы по моему настоянию едем на Никитский бульвар, останавливаемся и тихонько проходим пешком мимо знакомого дома.

Надо сказать, что не он стал последним домом семьи Кутлер.

Тетя много лет стояла в очереди на отдельную квартиру, но все оказывалось, что у одного сослуживца больной ребенок, другая ютится в комнатухе вместе с многочисленными родственниками и т. п., и приходилось пропускать их вперед. Впрочем, Тетя никогда и не боролась за свои права.

Наконец, когда она болела, кто-то из руководства Госснаба решил навестить начальника отдела (думаю, с мыслью получить заодно какую-нибудь срочную справку), пришел в ужас от увиденного и квартиру очень быстро дали.

Новый дом располагался на Знаменской улице недалеко от Преображенской площади и Черкизовского парка. Еще через несколько лет дядя Коля уснул на недавно купленном диване и не проснулся. Смерть была милостивой к нему.

Мы, пока есть силы, заботимся об этой могиле. Тетя Ира сначала жила одна, потом переехала к нам, в квартиру на улицу Расплетина.

Вся семья ее любила, мальчики не чаяли в ней души и, придя из школы, сразу же бежали в Тетину комнату, делиться новостями. Еще бы, где Вы найдете такую бабушку, которая не только помнит имена всех твоих учителей, друзей и просто одноклассников, но и составы большинства хоккейных и футбольных команд, и результаты всех матчей?



Н.Н. Кутлер (старший) похоронен в Москве на Миусском кладбище. Потом на этом же участке похоронили его дочь — Веру Николаевну, Николая Николаевича (младшего) и тету Иру. Так что теперь на плите (другой) четыре имени.

Они сидели на ее кровати все втроем, напротив телевизора, спорили, перебывали друг друга, а я вспоминал, как много лет назад тетя Ира приходила, садилась у моей кровати и рассказывала сказки, которые я не очень понимал, но как только она прекращала говорить, капризничал и требовал продолжения.

Когда у нас с Томочкой вспыхивали споры и мы обращались к тете Ире, как к арбитру, она говорила нам всегда одни и те же слова: «Не спорьте, не ссорьтесь, уступайте друг другу, берегите друг друга. Жизнь такая короткая».

В 1979 г. ее не стало.

К этому времени тетя Ира уже несколько лет была на пенсии и я, только для очистки совести, позвонил на ее бывшую работу и сообщил о печальном событии. Каково же было наше удивление и даже испуг, когда на похороны приехали два больших полных людей автобуса. Удивление — понятно, а испуг был вызван нашим достаточно стесненным и жилищным, и материальным положением. Мы рассчитывали, что на поминках соберутся человек десять — родственники и близкие знакомые, но разместить и накормить 50-60 человек было абсолютно не реально.

Женщины плакали и целовали Томочку, а ко мне подошел кто-то из начальства и, во-первых, сразу сообщил, что поминки они устраивают в своем учреждении, а во-вторых, передал конверт с собранными деньгами.

Деньги эти составляли значительную сумму. В моей и Томочкиной памяти тетя Ира жива.

Я прекрасно помню выражение ее глаз, ее слова, мнения по самым разным вопросам и, как мне представляется, в трудную минуту, могу обратиться к ней за советом.

И такое обращение к тете Ире несколько раз в жизни спасало меня от дурных поступков. Обращение к ее и Бабушкиной памяти.

*В ненастный день, в чужом краю  
В полночный, тяжкий час  
Тебя Владычица молю,  
Да не оставишь нас!*

*Как будто в детстве, у дверей,  
Стою у входа в дом.  
Зовем мы наших матерей,  
Когда тебя зовем.*

*И просим их простить, понять,  
Прийти, согреть, сберечь...  
Как будто можно разорвать  
Цепочку горьких свеч.*

Одно из моих стихотворений.

7 ноября. Пятница

Двойной праздник. Томочкин день рождения. И день рождения Великой Революции.

Когда дети были маленькие они все праздничные мероприятия — парад на Красной площади, салют, вечернее застолье у наших друзей объясняли для себя очень просто — сегодня мамин день рождения. Однажды Андрюша, черненский с синими глазами, выкатился в общий коридор и очень серьезно отчитал нашего соседа Диму — «Ты сам уже всюю празднуешь, а нашу маму все еще не поздравил. И подарка не принес».

И на мамин трагический шепот — «Нюшенька, это только близкие люди поздравляют» справедливо возразил — «Он близкий, живет ближе всех».

Близкий... Дима стал первым человеком в моем окружении, на которого легла смертельная тень радиации.

Это случилось 26 мая 1971 г.

Я помню эту дату так точно потому, что это был Папин день рождения и, соблюдая давно сложившиеся традиции, вечером мы должны были ехать к нему с поздравлениями.

Я тогда работал на втором этаже трехэтажного здания, носящего название «Главное». С этого здания начинался Институт. В него, еще не до конца достроенное, пришел в 1943 г. со своими немногочисленными сотрудниками И.В. Курчатов, чтобы развернуть работы по атомному оружию. И теперь на третьем этаже размещалась дирекция, в том числе и кабинет директора — академика Анатолия Петровича Александрова.

Нельзя сказать, что работать в таком престижном месте было особенно комфортно.

В дирекцию привозили иностранные делегации, приезжало начальство из министерства, многозвездные генералы, а изредка и члены Правительства. Поэтому проскакивать по лестницам со свинцовыми кирпичами, контейнерами с радиоактивными источниками или дюарами, наполненными жидким азотом, приходилось максимально быстро. Нельзя было шуметь в коридорах. Рекомендовалось также ходить в чистом и выглаженном халате, что при характере нашей работы представляло серьезную трудность.

С другой стороны наш балкон, нависающий над подъездом, представлял собой идеальный наблюдательный пункт для знакомства с «великими людьми», посещавшими Директора.

Именно отсюда я наблюдал встречу Александрова и сопровождавших его сотрудников института с Нильсом Бором, а позднее с Гленом Сиборгом.

Когда должен был приехать Н.А. Косыгин, глава тогдашнего Правительства, какие-то незнакомые и очень серьезные люди обошли все наши комнаты, заглянули под столы и установки, подергали за резиновые вакуумные шланги, приказали все выключить, обесточить и строго предупредили: «В окна не смотреть. К двери на балкон не подходить. Из комнаты не выходить».

Когда они ушли, мы, естественно, бросили работу, установили на балконе под углом большое зеркало, изъятые из туалета, и могли не высовываясь, из глубины комнаты, наблюдать площадку перед подъездом (правда, в перевернутом виде). Ничего особенно интересного не происходило, за исключением поразившего нас поведения личной охраны гостя. В закрытом институте, на прекрасно охраняемой территории она (охрана), тем не менее, ни на минуту не расслаблялась. С момента выхода Премьера из машины и вплоть до его входа в здание он оставался со всех сторон прикрытым телами охранников. Их передвижения напоминало замысловатый танец. Захоти какой-нибудь диверсант (слово «террорист» тогда еще не вошло в употребление) застрелить главу Правительства, например, из нашего окна — его ожидала бы неудача. Неудача ожидала и нас, Косыгина мы практически не увидели.



Балкон 2-го этажа Главного здания «Курчатовского института».  
Мой наблюдательный пункт.

Итак, приближался вечер 26 мая 1971 г.

Пользуясь тем, что начался цикл измерений, идущих в автоматическом режиме, я вышел на балкон, облокотился на перила и стал смотреть на парк, клумбы

цветов перед подъездом и все увеличивающийся ручеек сотрудников, текущий по центральной аллее к проходной.

Внезапно тишину прервала сирена. И почти сразу началось какое-то необычное для нашего института движение. Охрана распахнула ворота, и безовсяких проверок и досмотра на большой скорости в институт стали заезжать машины. Красные — пожарные и белые — машины скорой помощи. Заними буквально пронеслась знакомая всем «Чайка» Александрова и несколько черных «Волг».

Проходную закрыли и около ее дверей постепенно стал накапливаться народ.

Въезжавшие машины направлялись в сторону Отделения ядерных реакторов, но куда точно — за деревьями видно не было. У меня возникла мысль о пожаре, но никаких видимых его признаков с балкона не наблюдалось.

Прошло еще какое-то время, дневная программа была выполнена, и я стал собираться домой.

Сейчас, по прошествии стольких лет, я понимаю, что никаких открытий в моей деятельности не ожидалось. Девяносто процентов времени уходило на скучную процедуру измерений, оживляемую постоянными поломками аппаратуры, а десять процентов на осмысливание полученных результатов и обнаружение в них ошибок. В итоге стало возможным уточнить некую величину, которая представляла интерес для пары десятков человек во всем мире.

Но тогда, во время работы, я считал ее очень интересной и очень важной.

Итак, сначала надо было выключить аппаратуру. Это была длительная процедура. Отключить высокое напряжение, слить жидкий азот из стеклянных дюаров в большой металлический. Дождаться пока разморозятся ловушки, выполнить еще не мало обязательных действий, опечатать лабораторию, сдать под роспись ключи, после чего можно было отправляться домой.

Все это время я пытался представить, что же случилось у нас в институте.

Когда я выходил из института около проходной уже никого не было. Охрана ручными дозиметрами внимательно меня обследовала (чего раньше никогда не делала) и пропустила, не ответив на вопросы о случившемся.

Как ни странно, разгадка поджидала меня дома.

Открыв дверь, Томочка бросилась ко мне со словами: *«Я так беспокоилась, звонила, звонила, но все телефоны в институте отключили. С тобой ничего не случилось? Правда, ничего? Ты ничего не знаешь? У вас какое-то несчастье, к Диме приезжали двое мужчин. Но у них дома никого нет, и позвонили к нам. Спрашивали где его жена и просили ей передать, что он в 6-ой больнице и можно, даже нужно, туда поехать. А его жена сама в роддоме, на сохранении. Ей со дня на день рожать. Тогда они попросили меня ей позвонить и как-то ее подготовить, а что я могу ей сказать? А внизу, на нижнем этаже, у женщины, с ее Ромой наш Виталик дружит, муж тоже пострадал, и она сразу уехала в 6-ую больницу».*

Для работающих в «Курчатовском институте» не был секретом, что именно в 6-ой больнице лечили (или пытались лечить) людей, подвергшихся радиоактивному облучению.

Шли дни и в «коридорных» разговорах в институте стали выясняться детали произошедшего несчастья, хотя все сведения по нему были строго засекречены.

Случилось вот что.

Несколько сотрудников проводили испытания критической сборки. Она представляла собой бак, в который были опущены урановые стержни, образующие пространственную решетку.

Пока в баке не было воды, быстрые нейтроны, рождающиеся в одном из стержней, практически не вызывали реакции деления ядер в других стержнях. Но как только в бак поступала вода, нейтроны начинали в ней замедляться и все с большей вероятностью захватывались ураном. При его делении вылетали новые нейтроны, снова замедлялись в воде и захватывались. Чем выше уровень воды тем мощнее становилась лавина вторичных нейтронов, все большая энергия выделялась. В принципе, при определенной геометрии решетки из стержней и достаточном уровне воды могло произойти очень быстрое выделение энергии, вспышка радиоактивного излучения, сопровождающая деление миллиардов и миллиардов ядер, лабораторный ядерный взрыв.

Чтобы этого не случилось, были приняты, казалось бы, все необходимые меры безопасности. Рассчитано расстояние между стержнями, так что даже при наполненном до верху водой баке вспышки произойти не могло. Кроме крана, с помощью которого можно было спустить воду и уменьшить поток нейтронов, предусматривался и аварийный слив — нажатием рычага открывалось отверстие в дне бака, и вода быстро уходила туда.

А без воды, как уже говорилось, сборка была абсолютно безопасной.

Много дней, десятки и десятки раз физики повторяли свои эксперименты — повышали и понижали уровень воды, регистрировали изменение потока нейтронов и т.п. Так же как и на моей установке, девяносто процентов времени отнимали совершенно рутинные действия. Все привыкли, что сборка «абсолютно ручная».

26 мая 1971 г. к четырем часам запланированные на день опыты были выполнены. Пора было собираться домой, но перед этим выполнить множество всяких действий, в том числе и самое долгое по времени — опорожнить бак.

Дима пошел к шкафчику для переодевания, а один из его товарищей решил не ждать, пока вода медленной струей вытечет через кран, и нажал на аварийный слив. Специально сконструированный для повышения безопасности работы.

Вот только сыграл этот слив совершенно противоположную роль. Вода через него устремилась вниз, недостаточно закрепленные стержни начали втягиваться в быстрый поток воды, расстояние между стержнями уменьшилось, стало совсем не таким, которое рекомендовалось расчетчиками. И вспыхнула, на мгновение полыхнула неуправляемая цепная реакция.

Урановые стержни накалились и разрушились, вода выплеснулась из бака, радиоактивный пар заполнил помещение.

Первым, на следующий день, умер механик, стоявший к баку ближе других и получивший 6 тысяч рентген, в несколько раз больше заведомо летальной дозы.

Отец мальчика Ромы, скончался через две недели (2 тысячи рентген).

Еще двоим, получившим по 800-900 рентген, в 6-ой больнице удалось спасти жизнь, но не здоровье.

Диме ампутировали ноги.

Выполнение одного простого действия, одно нажатие рычага, который предусматривался именно для страховки от всякой опасности, неожиданно вызвало вспышку неуправляемой цепной реакции. И гибель людей.

Похожая на грядущий Чернобыль ситуация, когда оператор, пытаясь остановить нарастающую цепную реакцию, привел в действие главную систему защиты, а ее непродуманная конструкция спровоцировала взрыв.

26 мая 1971 г. мы получили страшное, но никем не понятое предупреждение.

7 декабря. Воскресенье

Когда я встаю утром, то за окном еще совсем темно. За то время пока продолжаются «водные процедуры», идет кормление Феда, сопровождаемое сначала его мяуканьем, а потом довольным журчанием, приготовление завтрака, сам завтрак наступает серое утро, чтобы сразу же перейти в серый короткий день. Эта давящая погода особенно заметна в нашей главной квартире — на втором этаже, поскольку окна затенены разросшимися деревьями. Туда и летом редко заглядывает солнце, а осенью и зимой практически вся жизнь проходит при электрическом освещении.

Томилька и Федя остаются внизу, одна, чтобы заняться домашними делами, второй, чтобы вздремнуть перед ленчем, а я иду работать. В начале этих записок я уже писал, что даже зимой (увы, все же редко) верхняя маленькая квартира на пятом этаже, окна которой выходят на юго-восток, встречает меня солнечным светом.

И сейчас, сидя за столом и наслаждаясь этим светом, я думаю о нескольких коротких минутах в жизни, которые запомнились мне ощущением счастья. Какого-то всеобъемлющего счастья, и физического, и душевного. Все эти минуты остались далеко в молодости.



«Верхняя маленькая квартира на пятом этаже, окна которой выходят на юго-восток, встречает меня солнечным светом».

\* \* \*

Летом 1945 г. мы с Бабушкой приехали в Запорожье, где на строительстве Днепрогэса работал Папа. Трехдневная поездка на поезде была довольно мучительной, но, наконец, все кончилось. На вокзале нас встретил Папа, приехавший на роскошной (по тому времени) трофейной машине. Сейчас мне кажется, что это был «Опель-капитан». Машина носила название «Водолазная», поскольку достали ее из-под воды водолазы, и была приписана к Управлению строительства Днепрогэса.

До дома добрались уже к вечеру.

Папа и Алла Васильевна, так я тогда называл мачеху, занимали половину коттеджа, стоящего во фруктовом саду и оставшегося, практически, без повреждений. О войне напоминала только табличка у дома — «Мин нет», и подпись лейтенанта сапера. Я очень устал, новые впечатления не помещались в моей голове, и я не помню, как заснул.

А вот пробуждение запомнил на всю жизнь.

Большая, чистая комната и солнечные зайчики на потолке. Тепло, окно распахнуто. А за ним — цветущие ветки, синее небо. И мы снова все вместе — Бабушка, Папа, я. И долгий прекрасный день впереди, и жизнь впереди.

## СЧАСТЬЕ

Второй запомнившийся мне «день счастья» пришелся на первое посещение «Курчатовского института».

Попасть туда на преддипломную практику, а потом и на диплом оказалось далеко не простой задачей. Как я уже писал, учился я хорошо и к 5 курсу даже определился со своими главными предпочтениями для дальнейшей работы. Они были связаны с загадочной и неуловимой частицей, которую великий итальянский физик Энрико Ферми нежно называл «НЕЙТРИНО», маленький нейтрончик.

Нейтрино изучали в нескольких исследовательских институтах, но на распределение меня решили оставить в аспирантуре на кафедре МИФИ. И заниматься надо было не нейтрино, а мезонами.

Когда я пришел на кафедру и встретился со своим руководителем преддипломной практики, то буквально по прошествии несколько минут разговора понял, что этот очень полный и очень важный сотрудник имеет самое приблизительное представление о предмете нашей будущей работы. Надо было как-то исправлять ситуацию.

В результате через преподавателей удалось узнать, что в «Курчатнике» (так ласково называли физики знаменитый институт) нейтрино занимаются в секторе Петра Ефимовича Спивака, известного и очень «секретного» доктора наук.

Раздобыв рабочий телефон П.Е., трясаясь от страха, я позвонил ему и невнятно, но настойчиво начал спрашивать о встрече.

Первое, что меня поразило это то, как уважительно говорил со мной по телефону такой высокий начальник. Небогатый опыт общения с начальством предполагал, что в лучшем случае мой лепет прервут и назначат место и время встречи. Но получился довольно продолжительный разговор. Я отвечал на вопросы об институте, о преподавателях, о своих интересах, постепенно приходил в себя и к концу беседы совершенно успокоился. Позже, после многих лет работы, познакомившись с А.П. Александровым, И.К. Кикоиным, Г.Н. Флеровым, М.А. Леонтовичем, Я.А. Смородинским и многими, многими другими физиками «великого поколения», я привык к тому, что для них табель о рангах почти всегда уступал свое место интересу к физической проблеме, с которой пришел посетитель. И еще в них был огромный интерес к молодежи и искреннее желание ей помочь.

Личная встреча подтвердила абсолютную демократичность будущего шефа.

Он пришел на собеседование не один, а с двумя сотрудниками. Пока они очень серьезно пытали меня вопросами из общей физики, какими-то чайниками Фарадея, лифтами, конденсаторами и другими задачами, которые я наострил решая еще в школе, Спивак сидел молча и раза два подмигнул испытуемому. Вообще он несколько нарушал торжественность момента тем, что устроился в крайне

неудобной, с моей точки зрения, позе. Сел на край стула и еще подложил под себя ногу. Поза, в которой я часто вижу его в своих воспоминаниях.

Наконец, ему надоело молчать.

«Ну, теперь, когда Вы объяснили присутствующим, что спираль электроплитки надо укорачивать, чтобы она грела сильнее, нет ли у Вас вопросов к нам?»

И я задал вопрос, который действительно меня волновал, поскольку я уже знал о том эксперименте, который он готовил:

«Петр Ефимович, ведь из теории известно, что у нейтрино масса строго равна нулю и самые точные эксперименты это подтверждают, зачем же пытаться снова ее мерить?»

Спивак помолчал и ответил — «На самом деле масса есть». И потом уже немного раздраженно — «Я это знаю и попытаюсь померить!»

Должно было пройти почти два года, он уже считал меня своим сотрудником, уже устраивал мне бурные разносы, что служило признаком некоторого доверия, прежде чем я услышал главный аргумент шефа по поводу существования массы у нейтрино.

«Ну, зачем Богу надо было создавать два совершенно одинаковых сорта частиц — электронное и мюонное нейтрино? Лишенных заряда, магнитных свойств, массы? Чем-то они отличаются? Вот я уверен, что они отличаются массой», — сказал он доверительно.

Прямо скажу, аргумент не показался мне существенным.

Во-первых, всем тогда было известно, что Бога нет.

Во-вторых, нейтрино отличались друг от друга «лептонным зарядом» — слова были никому не понятны, но от них веяло возвышенной наукой.

В-третьих, все знакомые мне малые и большие теоретики считали опыты, которые готовил Спивак, по меньшей мере, бесперспективными, а по большей мере глупостью и безграмотностью. А экспериментаторы не верили, что можно увеличить точность уже сделанных многочисленных экспериментов. Петр Ефимович пребывал в гордом одиночестве.

Надо было, чтобы прошло почти четыре десятка лет, чтобы выяснилось, что Бог и Спивак оказались правы.

Жалко, Учитель мой об этом уже не узнал.

\* \* \*

И вот мой первый день в «Курчатнике». После многочисленных проверок разового пропуска и паспорта я поднялся на второй этаж Главного здания в тот самый зал на втором этаже (с балконом), о котором уже писал. Открыл дверь и буквально замер на пороге, пораженный и увиденным, и услышанным.

Надо сказать, что к этому времени в МИФИ мы провели самостоятельно уже десятки лабораторных работ на кафедре экспериментальной ядерной физики и участвовали в исследовательских проектах. Но во всех этих работах использовались «камерные» установки и относительно небольшие приборы. Радиация иногда присутствовала, но была тщательно спрятана за мощными защитами.

А тут помещение было заполнено огромными нержавеющейими баками, в каждом из которых я легко мог поместиться, и гудящими насосами. За решеткой, украшенной плакатом с изображением черепа с перекрещенными костями, группировались высоковольтные трансформаторы.

На полу мелом были нарисованы безопасные проходы, вне их находились зоны повышенной радиации. В больших дюзарах парил жидкий азот, в углу что-то хлопало и подвывало.

Посреди этой адской кухни сосредоточенно передвигались люди в темных и белых халатах, обменивающиеся либо жестами, либо криками, поскольку обычный звук голоса расслышать было трудно. В центре зала стоял Спивак и кричал что-то высокому молодому человеку. Судя по жестам, сопровождавшим крик, вряд ли одобрительное.

Наконец я решился, вошел и затворил за собою дверь.

К вечеру слегка оглохший, но и слегка освоившийся я выбрался в коридор, в котором меня ждало последнее в этот день испытание. Около урны стоял и курил один из лаборантов, работавших в зале. По-видимому, я ему чем-то понравился. Он захотел подбодрить испуганного студента и улыбаясь стал рассказывать о том, что работать в лаборатории на самом деле очень интересно и совершенно безопасно. Все глубоко продумано и с защитой от излучения, и с защитой от высокого напряжения. По логике рассказа пора было переходить к прекрасному состоянию противопожарной безопасности, но тут папироса догорела, и он точным щелчком отправил ее в урну.

Еще с секунду-вторую ничего не происходило, а затем раздался сильный хлопок, верхняя часть урны взлетела к потолку, а вслед за ней вырвался большой язык пламени. Мой новый знакомый сорвал с себя халат, заткнул им фонтанирующую огнем урну и, обращая ко мне, крикнул: «Это все Ленька, идиот, тряпки с ацетоном сюда выбросил».

К нашему счастью Петра Ефимовича в этот момент рядом не было.

Расставшись с местом моей будущей работы, предъявив пропуск на выходе из здания, я стал медленно спускаться по ступенькам крыльца.

На улице было удивительно тихо. Шел крупный и медленный снег, горели фонари, а вдоль главной институтской аллеи стоял зимний лес.

Какое-то светлое спокойствие охватило меня, спокойствие и уверенность, что все дальше будет хорошо, а моя жизнь будет интересной и счастливой.

Я шел, улыбался и повторял есенинские строки:

*Я по первому снегу бреду,  
В сердце ландыши вспыхнувших сил.  
Вечер синею свечкой звезду  
Над дорогой моей засветил.* (С. Есенин)

## СЧАСТЬЕ

Что такое счастье?

Десять лет назад я написал в книге «Мой Чернобыль»:

*"Однажды Ландау попросил нас дать определение счастья. Как физик понимает счастье? Никто из студентов над этим вопросом еще не задумывался. Ощущение счастья у двадцатилетнего человека не требовало глубокого философского обоснования.*

*Ландау сказал: «Счастье — это когда ты ставишь перед собой очень трудные, но разрешимые задачи». Потом пояснил для непонятливых: «Если задача легкая, то ты не испытываешь удовольствия, решив ее. Если слишком трудная и не решается, развивается комплекс неполноценности».*

*Все были в восторге, еще бы, великий ученый заговорил с нами и высказал такие неординарные суждения.*

*Что сказать по прошествии стольких лет? Философ я никудашный, но мне кажется, что решение трудных задач — это необходимо, но еще не достаточно для счастья. Счастье — вещь индивидуальная и сейчас я бы-ваю счастлив, зная, что меня ждут, что я нужен любимым мною людям".*

*Тогда смирятся души моей тревога,  
Тогда расходятся морщины на челе,  
И счастье я могу постигнуть на земле,  
И в небесах я вижу бога. (М.Ю. Лермонтов)*

\* \* \*

Завтра еду в больницу на обследование. Хожу по своей любимой квартире — нашем с Томочкой «гнездышке», на душе становится спокойно. Давайте пох-дим вместе, но не в этот зимний день, а когда за окнами весна.



Окно столовой. На дворе весна.



Уголок столовой. У окна.



Уголок столовой.



Маленький столик в столовой.  
Тарелки и иконы, снятые со стены (уборка).



Столовая. Книжный шкаф у двери.



# Дмитрий Бобышев

## Я В НЕТЯХ

### ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ, КНИГА 3

(окончание. Начало в № 12/2013 и сл.)

#### Мусорщик и нянька

Течение моей американской жизни, как и несостоявшийся издательский проект, делилось на русла, стремящиеся двумя потоками — литературным и бытовым — к нетерпеливо ожидаемому счастливому будущему. При этом каждый из потоков то притормаживал, то, набирая скорость, опережал другой. Вот, например, прошла у меня чередой возбуждающих достижений: журнальные публикации, выступления, интервью, и — что дальше? Дело как-то пошло вхолостую... Никакой конкретный продукт, называемый успехом, из этого не выработался.

Зато у Ольги за время тихого струения жизни появился результат: нет, она никого не родила, но наконец-то закончила диссертацию. Получился объёмистый труд за тысячу страниц, включая иллюстрации, таблицы данных и схемы! Вокруг этого бэби закружились наши хлопоты, задёргались нервы, запрыгали беспокойства: не пропадёт ли труд при копировании? Не зарубит ли его оппонент? Как пройдёт защита? И, главное, что потом? Всё это вызвало бурные общения с коллегами, обсуждения за-полночь, затяжные междугородние звонки...

В сонме появившихся и исчезавших знакомств были не только ольгины археологи-антропологи, но и мои «астронавты», и местные литераторы, и эмигранты из «Джуйки», и даже маменькины школьные приятельницы, а также их родители совсем не из учёного круга.

Девочка, которую Маша привела из школы, была прелестна: золотистые локоны, голубые глаза, а, главное, на удивленье отчётливое произношение. В отличие от нашей, которая разговаривала со мной как бы (или даже буквально) с пузырьчато раздуваемой и лопающейся резинкой во рту, у этой можно было различить каждый звук. Они сблизились и, как здесь принято между детьми, стали проситься ночевать у подружки. По сему поводу зашла к нам познакомиться девочкина мать, тоже голубоглазая блондинка с совершенно идеальной артикуляцией. Выяснилось, что она работает нянькой с тяжело больными и умственно отсталыми, а потому имеет профессионально выработанное произношение, которое передала дочери. А нянкин муж работал в городской службе по уборке мусора. Так он — мусорщик? Это даже интересно, у меня есть о чём его расспросить.

Мусорщик, конечно, оказался простым, но себе на уме парнем. Одевался и выглядел модно: изысканно пробритая бородка «осложняла» его грубоватое лицо. Его жена тоже смотрелась классно. У них был каменный двухэтажный дом с чердаком, который тянул ещё на один этаж, и объёмистым подвалом. К дому примыкал гараж на две машины, в котором стоял нянкин вэн и автомобильный изыск её мужа — красная с никелем «реплика» допотопного паккарда, — на котором он выезжал раз в году 4 июля, в День независимости. А пикапчик для ежедневных разъездов грелся, мёрз и мокнул снаружи, так как места в гараже ему уже не нашлось.

Девчонки тут же улизнули наверх и пропали в одной из спален бесследно, а взрослые расположились в гостиной, оснащённой стойкой и высокими табуретами, как в баре. Да это и был их домашний бар. Приватно общаться с американцами (как с простыми, так и не очень) мне приходилось уже множество раз, и я уже имел о них обобщённое мнение: вежливые, приветливые, могут непонятно сосчитать, но лишнего не скажут. Эта пара была вовсе не исключение, а даже наоборот — среднестатистическая и потому показательная. Ну и я, вероятно, был любопытен им как пример «типично русского». Поэтому параллельно коктейлям мы проехали по национальным стереотипам.

— Действительно ли опасны русские для Америки? — допытывался мой собеседник.

— Ну я же русский, но не думаю, что я очень опасен. Опасны советские из-за их пропаганды.

— Пропаганде я не верю. А напасть они всё-таки могут?

— Да, на малые страны нападают: Венгрия, Чехословакия. Но на большую, как Америка, — вряд ли. Это они блефуют.

— А правда, что медицина бесплатная?

— Правда. Только она очень плохая. А вот врачи есть хорошие.

— Нет, — решил хозяин твёрдо, — я за капитализм. Тут мой дом, и я буду за него сражаться, а боеприпасов у меня достаточно.

Эту тему мы не стали дальше развивать, заговорили о другом. Я спросил, легко ли стать мусорщиком? До того, как найти инженерную должность, я не прочь был устроиться на простую работу.

— О, это очень нелегко и совсем не просто! — с достоинством ответил рабочий. — Для начала надо сделать большой вступительный вклад в профсоюз. Очень большой!

«Дать на лапу», — перевёл я про себя на советский язык.

— А кроме того, — пояснил он, — надо ещё дождаться, пока освободится рабочее место.

«Или захватить его», — предположил я в уме совсем уже авантюрный ход.

Выгодность мусорного дела подтверждало многое: и дом, и автомобиль «ангио», и даже семейные планы поехать на лыжный курорт в Швейцарию!

А как же мы, без пяти минут профессора? Надо и нам не ударить лицом в грязь. Давайте—ка отправимся на рождественские каникулы в Мексику! Это ближе, чем Европа, дешевле и не менее интересно само по себе. Кроме того, там есть археологические места: священные города древних инков, индейцев майя, запотеков. Пирамиды — не хуже египетских — Чичен-Ица, Ушмал, Тулум и проч...

### Мексиканские картинки

Чикагский аэропорт О'Хэйр, зал прилёта и вылета. Приземляется самолёт из Мексико-Сити, выходят из гибкого хобота пассажиры в цветастых рубашках, шортах, загорелые, легкомысленные... Некоторых из них встречают с шубами. В тот же хобот вступают бледные люди в пальто и среди них — сосредоточенная на «ничего бы не потерять, не забыть» моложавая пара с девочкой—подростком, которая подпрыгивает от радостного возбуждения.

Пересадка. До самолёта на Юкатан целых 4 часа ожидания. Успеем ли посмотреть столицу Мексики? На метро — минут 30 до центра. Меняем доллары

на большие, словно колёса, песо. Чем мельче монета, тем крупней в диаметре. Зачем? Абсурд здешнего социализма? Или это сделано для обмана неграмотных бедняков? Что бы то ни было, а билет в метро стоит пятак, словно когда-то в Москве. И такие же длинные переходы. Вот собор, центральная площадь в подражание Эскуриалу в Мадриде, где я никогда не бывал. Сочетание простора и пёстрой тесноты. Прямо с рук продаются аппетитные лепёшки, но их ни в коем случае нельзя есть, тем более на улице, иначе... Иначе наступит позорная месь Монтецумы, и отпуск будет испорчен.

Лучше прокатимся на конной упряжке. Вот мы достигаем благоустроенных поместий внутри города. Это Койоакан — водопой койотов — вишпы, составляющие контраст убогим, но красочным улицам, откуда мы доцокали на лошадке. Музей, где был убит один партийный товарищ (Троцкий) по распоряжению другого партийного товарища (Сталиный).

Прочь оттуда! Возница доставляет нас обратно в центр, и мы выясняем, что до самолёта — меньше часа. Ничего, мы ещё можем успеть. Скорее в метро! Но наступил час пик, платформа забита разгорячёнными, потными после рабочего дня мексиканцами в майках. Подходит запоздавший поезд, двери раскрываются, и толпа битком заполняет вагоны. Ещё можно втиснуться, но... не с двумя же американками!

Назад через все переходы и наверх — надо ловить такси! Мы беспомощно мечемся среди толпы. И вдруг какая-то волшебница из прохожих взмахивает рукой, словно вытряхивая машину из рукава и, продолжая свой жест, дарит её нам.

— *Gracie, sinora!* — практикую я свой — по правде сказать, совершенно не существующий — испанский.

И, садясь рядом с водителем, распоряжаюсь:

— *Salida, por favor!*

Шофёр ничего не понимает.

— Аэропорт, аэропорт! — кричит по-русски Ольга с заднего сидения.

Это находит гораздо большее понимание у таксиста. Что же я пытался ему сказать? Объясняю: когда мы выходили из аэропорта, я оглянулся, чтобы запомнить, куда возвращаться, и увидел крупную надпись — *SALIDA*. Она была такая большая, что я принял её за название, а значила она всего лишь «выход».

Анекдот? Следующий случился через минуту, когда я закурил и протянул руку, чтобы выдвинуть пепельницу. Шофёр вильнул рулём и в испуге устался на меня, перестав следить за дорогой. Ничего не понимая, я всё-таки вытянул пепельницу... Она оказалась набита деньгами, — там была дневная выручка таксёра! Если бы он отвёз меня как грабителя в полицию, чем бы я оправдался — сигаретой? Но я тут же её выбросил...

До этого, слава Богу, дело не дошло, и на самолёт мы успели, а что такое мексиканский полицейский, я вскоре увидел вживую и, признаться, ужаснулся, — настолько набрякло властью (то есть буквальной возможностью застрелить тебя или оставить в живых) его медного цвета индейское лицо. Такие образчики изредка попадались в тех местах, где смешивались туристы и местные, а за курортами и пляжами присматривала частная охрана. А также — военно-воздушные силы страны! Патрули боевых самолётов, отражая солнечный блеск фюзеляжами, облетали нас дважды на дно: в утренней зарозовевшей над морем лазури и в вечерних феериях и пыльных небес. Это внушало уверенность, что ты здесь — персона ценная, лицо неприкосновенное, и вообще — народное достояние... А в полуденной синеве можно было увидеть лишь коричневые крылья стервятников, чьи эмблема-

тические силуэты неподвижно висели в зените, хотя и не по наши головы, а всего лишь в поисках зазевавшейся в жёсткой траве игуаны.

Угловатая симметрия этих птиц входила мотивом в орнаменты пирамид, чередуясь попеременно с причудливыми змеиными кольцами, оскаленными людскими черепами, ягуарами и другими устрашающими образами. Ступени, высокие и в то же время узкие для упора ноги, вели на вершину, к установленной там кумирне. Внизу прохладный ветер декабря колебал травы, пуская волнами росчерки неведомых фраз, наподобие пробы пера или подписи *«ветер... ветер... ветер...»*, а наверху некуда было деться от пронизывающей мороси, разве что спрятаться в самую кумирню, место человеческих жертвоприношений. Как же они происходили? Предположительно вот каким образом: там стояло изваяние беса в полусидячей-полулежащей позе, опиравшегося локтями о землю, на чей плоский живот укладывали молодого индейца. Низкорослый жрец брал кривой серповидный нож, одним точным движением вырезал трепетное, ещё живое сердце и показывал его толпе!

Я цинично посидел на каменном животе. Сфотографировался. Фото потом оказалось мутным. Но как теперь спуститься с этого страшноватого места? На краю паперги видны были только первые две-три ступеньки, а дальше — пропасть, обрыв... Полное впечатление западни: мол, попался... Хоть вертолёт вызывай! После короткого панического приступа сообразил: надо ставить ногу вдоль ступеньки и спускаться боком. Ступил, не глядя в бездну, и вот обрыв отодвинулся, стала видна верхняя часть лестницы, а вот и вся она, донизу. Спуск пошёл веселее.

Остановились мы в центре Юкатана, в губернском городке Мерида. Старая гостиница была выстроена так, что в центре находился холл с галереями на все этажи вверх, а из его середины тянулось зигзагами к небу нетолстое, но очень высокое дерево, выползавшее на крышу с бассейном. Я было заподозрил в нём старую лиану, однако понял, что ошибся: это героическое древо оказалось ничем иным, как разросшимся фикусом! Я тут же передал ему привет от его чахлах гиперборейских отпрысков, пылящихся по ленинградским квартирам в тусклом, хотя и золотистом свете декабрьского солнца. А здесь его поливал холодный дождик, заодно проникая внутрь и кропя галереи. Но горбоносые смуглые горничные в белых сарафанах и косынках, очевидные потомки майя, неустанно протирали досуха цветистый кафель переходов.

Туризм был тут едва ли не главной индустрией, если, конечно, не считать наркоту, но этой стороны местной жизни я, к счастью, не наблюдал. С утра за нами подавался сверкающий автобус — элегантно подвижный, чуть ли не танцующий мамбу гигант, исполненный удобств и надёжности, и он уносил нас к местам забытых цивилизаций. Дорога, хотя и узкая, стелилась гладко, со свежей жёлтой разметкой по чёрному, и мы мчали, проскваживая невысокие джунгли и убогие до первобытности хутора. Видимо, в точности так эти майя и жили когда-то, если исключить из картины ржавый остов пикапа, поглощаемый жадной травой.

Их «священные» города, давно опустевшие и заросшие хищными джунглями, были возвращены на свет археологами. Вот уж не знаю, сияли они первоначально золотом или нет, но и в ободранном состоянии их каменные уступы не могли не впечатлить. Правда, сама их «священность» с демоническими орнаментами и уже нестрашными чудовищами вселяла мысль о метафизическом банкротстве. А ведь люди майя знали астрономию, строили арочные своды и чуть не изобрели колесо! Чуть — в этом заключался парадокс, над которым можно было теперь свысока потешаться. В самом деле, бронзовые игрушечные лошадки имели на ногах колёсики, а тёсаные циклопические камни для пирамид таскались волоком. Да

и аркам их, невысоким и узким, нехватало того же «чуть-чуть», то есть замкового камня. И вот вся та цивилизация рухнула.

На нижних ступенях пирамиды я поддержал за руку заробевшую даму, довольно-таки прекрасную. Вскоре сполз «на пятой точке» её муж, и мы все познакомились. Её звали Тигина, и в уме сразу заиграла музыка из чаплинского фильма, стало смешно и весело. Муж оказался дантистом из Нью-Джерси, почти из Нью-Йорка, а мы, несмотря на порядочный стаж на Среднем Западе, всё ещё числили себя в «ньюйоркерах».

Это было 31-го декабря во второй половине дня, и мы решили объединиться для встречи Нового Года. У них в отеле был объявлен праздничный ужин с концертом, и мы отправились туда. Голод не тётка, — в 10 вечера наша небольшая компания уже сидела за столом в пустом ресторанном зале. На помост, — видимо, специально для нас — выгнали индейский хоровод в костюмах. Они вяло кружились. Тигина, первоначально свалившаяся мне в руки с таким энтузиазмом, теперь заскучала, и к 11-ти они распрощались. Наша семейная троица тоже вышла на пустые улицы Мериды. Приближалась полночь. Мы поднялись на паперть запертого собора и, сверив часы, поздравили друг друга. Помня старинное суеверие, я тревожно гадал, каким же сложится наступивший 1985-ый?

Год и в самом деле стал поворотным.

## Другие русла

От каникул оставалось три дня, которые мы провели чисто курортно — купаясь и пляжась на острове, начинающем с юга от Юкатана Карибскую гряду, и несколько обрывков от тех впечатлений было бы жаль выбросить из текста.

Например, краски лагун и отмелей на полёте к Козумелу: аквамарин, лазурь и бирюза. И — стараясь не впадать в описательную безутерию — сияния! И — белый пляжный песок! И — прозрачность!

В лагуне для ныряний среди неземной пестроты рыб и подводных созданий попалась умопомрачительной красоты живая брошь — крохотная морская черепашка. Я протянул ей дружественный палец и был прельщён за него укушен.

Задел ногой за живой коралл, и он обстрекал меня хуже крапивы.

Во время ночной прогулки из набегающей волны вдруг высветился внимательный взгляд барракуды.

Столики вдоль пляжно-гуляльного великолепия были защищены от солнца зонтами из пальмовых листьев. Подавали пинаколаду, то есть ром с кокосовым молоком в его родном орехе, увенчанном крохотным кокетливым зонтиком. А также маргариту, — толчёный лёд с текилой в замороженном бокале, посыпанном солью по краю, и с воткнутым туда ломтиком лайма.

Множество слуг! Один принимает заказ, другой подносит напитки, третий — пепельницу, четвёртый, пятый... А ещё — трио, а то и квинтет с гитарами и в сомбреро! Но можно и не терзаться, думая о чаевых. Музыка — это только привет от хозяина. Веселись, а то и просто расслабься, уставясь на розовую игру воды и света.

Было так покойно и хорошо, и вдруг душа ностальгически заныла. Странно, однако — с чего? Будто произошло что-то непоправимое, и теперь всё так и останется. Какой-то невылазный комок начал биться наружу. А это, оказывается, пошли стихи, которые объединились потом под общим названием «По живому». Видимо так, с болью, моё бывшее отрывалось от настоящего...

А вернулись в Милые Оки, в то время засыпанные сугробами, закованные во льду, и вся тоска прошла, сублимировалась, словно бы мне удалось зашпунуть её в оптимистическую машину, где она перемололась, превратившись в энергию и надежду. И это оказалось кстати.

«Астронавтика» в очередной раз перетряхивалась, переформировалась, росла, получив новый правительственный заказ. Это были навигационные приборы к тому самому бомбардировщику-невидимке «Стэлф», которого показали нам целиком лишь в деле, когда он громил Ирак в молниеносной кампании Буша-старшего «Буря в пустыне». Моя муравьиная доля участия оказалась в этой войне, которую весь мир смотрел по телевизору, как спектакль.

Тем временем истинный успех пришёл на другом фронте. Ольга защитила диссертацию и получила научную степень доктора. Сколько лет она этого добивалась уже при мне, уже вместе со мной, и вот — добилась! Но когда триумф наступил, стало ясно следующее: доктор философии звучит почётно, но значит не так уж много. Надо ещё найти работу, соответствующую званию.

По многим запросам стали приходиться ответы с приглашениями на конкурс и — что особенно важно! — её диссертационной работой (по существу — готовой монографией) заинтересовалось издательство *Academic Press*. Это давало ей крупный козырь. И вот из туманных надежд стали проступать два наиболее серьёзных предложения: от Стэнфордского и от Иллинойского университетов, причём, Иллинойс выдвинул сразу семейный подряд — ей на антропологию, а мне на славистику. Это и решило всё. Потерпев для виду два дня, мы отправили большое «Да!» в сторону Урбаны-Шампейн.

К чорту постылая, иссушающая мозги инженерия! Как воскликнул когда-то (а именно 7 ноября 1956 года) фрондёр Миха Красильников в нестройных рядах демонстрантов, топтавшихся на Стрелке Васильевского острова, прежде чем вступить на Дворцовый мост: «Да здравствует свободная Венгрия, да здравствует свободное расписание!»

Но лучше всего подойдёт к тому настроению мой макаронический перевод из румынского поэта по имени Ион Арион, запоздалого борца за мир, сочинившего гимн-инвективу войне под красноречивым названием «Нет».

НЕТ

*Нет — артиллерии!*

*Нет — кавалерии, грубости, факости, пакости, мату, амтраллодории!*

*Нет — тем, кто ах и кто ух как ухрял наших тихих мечтаний о Фауне-Флоре и...*

*Нет — груботолстым топтаньям, да здравствуют наши порханья колибри, орли!*

*Не — говорю вашим герниям (грыжам), поганам напыщенно-выжуклым,*

*Не — вжукло-голодным утробам, глаголящим о Глвы-Укл-О-Влом;*

*Но! — англической песни, витающей облака около,*

*Гимн — что низвергну я в сердце, в его околоток, в уклон!*

*Это чудище (истинно!) обло...*

Идея автора заключалась в том, чтобы перевести поэму на все языки и таким образом установить мир на Земле.

Из «Астронавтики» я не увольнялся чуть ли не до самого дня отъезда, но ходил туда с восхитительным чувством освобождённости. Делал то, что хотел, ничего уже не опасался и даже мечтал «пополнить собой ряды американских безработных» — хотя бы ради нового опыта. От моих соотечественников я оторвался в недостижимые сферы настолько, что они даже не заговаривали со мной. А инже-

неры—американцы, наоборот, подходили покалякать о привилегиях и вольностях академической жизни. Услышал я даже реплику, передаваемую ими дальше: «Дмитрий считает, что Америка — всё ещё земля больших возможностей».

Оставалось съездить в Урбану—Шампейн, чтобы заранее снять там жильё.

На обновлённой Голде мы с Ольгой отравились уже знакомым путём. Кондиционера у нашей старушки не было, а день оказался жаркий, и в дороге прихотилось овеяться встречным ветерком. Не заглядывая на кампус, (ещё насмотримся!) мы изъездили по адресам оба симпатичных городка: семейные дома с лужайками и живыми изгородями, парки с огромными кучами дубов и орехов, благоустроенные квартирные комплексы...

В Шампейн жильё было подешевле, нам оказалось бы по карману снять и целый дом, — правда, на краю кукурузного поля, но Урбана считалась более престижной, её называли «профессорским гетто», и двух будущих преподавателей потянуло именно к этим местам. И что ж — в результате мы сняли квартиру более дорогую, чем предполагали, — с тремя спальнями, гостиной, балконом и даже камином. Сам дом, правда, был выкрашен в мрачноватые, но солидные тона и напоминал декорации для съёмок «Гамлета», за что получил от нас прозвище «Эльсинор-2». Но решающим обстоятельством в тот знойный полдень оказалась открытая купальня для жильцов!

Перевозная компания с самоироническим названием «Грыжа (*Hernia*)» предложила свои услуги, но упаковку книг и мелких вещей мы оставили за собой. Наиболее крепкие коробки, как уверяла Ольга, были из—под вин, и мне как солидному потребителю надавали в лавках достаточно картонных ящиков.

Оставалось ещё множество ненужного барахла, накопленного за 5 лет жизни, но выбрасывать его было жалко. Вспомнили знакомого мусорщика и его жену. Они сразу же предложили нам светлую идею: участвовать в их дворовой распродаже. Любимое занятие американцев — это грошёвая покупаловка, и они увлечённо передаются ей по выходным дням в тёплое время года. Из гаражей и подвалов вытаскиваются на лужайку старые соковыжималки, пылесосы, лишняя посуда, ржавые инструменты, гардеробы умерших бабушек и дедушек или подросших детей, на каждую вещь наклеивается заведомо заниженная цена, и — торговля пошла!

Я привёз наш скарб и разложил его на лобезно предоставленных хозяйкой столах. Она же уверенно проставила цены на наших «жечках» (не уверен, значит ли это словечко то же, что «бебехи», — но так уверяет Галя Руби), а затем я вызвался помочь вытаскивать хозяйское барахло.

И вот тут я понял, что такое мусорщик и чем ценна эта профессия!

Их чердак имел вид комиссионного магазина: стояла очень приличная мебель, длинными рядами висела верхняя одежда, платья, костюмы — всё чистое, добротное; на стеллажах была разложена посуда, столовые приборы, рассортированные по коробкам, расставлены лампы, и тоже на вид — целые, хорошие... Всей прорвы товаров хватило бы не на одну распродажу.

Окалачиваясь у этой рухляди перед чужим домом оказалось мучительно скучно, но пришлось, сменяясь, проторчать там несколько часов. Зато по мелочи набралась неожиданно заметная сумма. Половина была выручена за пыльный кусок мрамора, который я извлёк из глубин нашей кладовки. Его, видимо, оставили нам за ненужностью предыдущие жильцы. Цену ему трудно было назначить.

— Сколько дадите, — сказал я покупательнице, не иначе, как аспирантке живописи и ваiania, и она не поскупилась.

В благодарность я донёс тяжеленную глыбу до её автомобиля и со вздохом уложил в багажник. Но самое большое облегчение было то, что нераспроданные остатки мусорщик согласился присоединить к своим до будущих распродаж.

### Жизнь Урбанская

От Эльсинора до Иньяза, то есть от дома до работы было минут 40 пешком, и я охотно вышагивал этот путь в обе стороны, ибо парковать широкоформатную Голду поблизости от кампуса было и нелегко, и накладно. Нет, автоматические счётчики нас бы не разорили, но как угадать при свободном расписании, когда ты сможешь уйти? Если просрочил плату в центах, получай штраф в долларах! Существовала особая фискальная служба в транспортной полиции. На машине с правосторонним рулём (для специальных удобств) эдакий дармоед в форме целый рабочий день объезжал прилегающие к кампусу кварталы и выписывал, и выписывал штрафы, засовывая непромокаемый жёлтый конвертик под щётку на лобовом стекле, при этом даже не выходя из своей машины.

Городок на плоской равнине, хотя и осенённый высокими деревьями, но без подъёмов и спусков, сам подсказывал, делая прямые намёки на иной вид транспорта — двухколёсный. Студенты, если не на роликовых коньках, то уж на велосипедах гоняли почти поголовно. Почти — потому что наиболее богатенькие из них любили развезжать на спортивных «Шеви-Камаро» ярких расцветок. Двое преподавателей Славянского отделения — профессор Фрэнк Глэдни и профессор Стивен Хилл — тоже передвигались двухколёсно, развезвая на ходу полы блэйзера или твидового пиджачка. И мне подвернулся случай.

Давид Арановский (впоследствии — Дэвид Аранс), муж одной из упомянутых аспиранток и выпускник нашего библиотечного факультета получил предложение от Библиотеки Конгресса и, естественно, принял его. На прощанье он подарил мне свой старый велосипед.

— Сам собрал из трёх ломаных великов, — пояснил он. — Жаль расставаться, но не везти же его в Вашингтон!

Бегал этот вело-кентавр подо мной хорошо, пока его не украл позарившийся на старьё похититель.

Что же касается библиотеки, то здешняя ненамного уступала той самой первой в стране, куда отправился бывший владелец велосипеда. Особо отличалась богатством её славянская, а точней — русская коллекция книг. Основал её профессор истории Ральф Фишер (внимание, магниевая вспышка!) — бывший шпион, сначала работавший в Китае, а затем занимавшийся сбором и анализом сведений о Советском Союзе. Я так свободно упоминаю о его разведывательной деятельности (здесь это называется «работать на правительство»), потому что он сам не скрывал и даже сделал довольно самокритичный доклад, — правда, уже уйдя на пенсию, — о том, как разведка манипулировала властями в свою пользу, завышая степень советской угрозы и оценку уровня жизни населения в СССР.

По совпадению, я самостоятельно пришёл к подобному и даже ещё более радикальному выводу вскоре после моего приезда. Дело в том, что газета «*The New York Times*», без подписки на которую не обходится ни одна интеллигентная семья в Америке, опубликовала отчёт ЦРУ, где давалась оценка военной угрозы СССР и его экономического состояния. Эти вопросы волновали тут многих — от мусорщика до президента.

Что касается ракет и боеголовок, то я тут с Центральным разведывательным управлением спорить не собирался, хотя на их месте и не стал бы сбрасывать со счёта бахвальство советских военных и большую долю блефа в их докладах начальству, перехваченных где-то на полпути... А то и нарочно подброшенных!

Но насчёт сравнения уровня жизни среднего американца и среднего советского жителя, тут уж извините, — пресловутый Иван Петрович Сидоров — это я, поживший достаточно в его шкуре, прежде чем превратиться в средне-арифметического мистера *John'a Doe!* В опубликованном анализе сравнивались зарплаты и их покупательная способность, но не принимались во внимание ни очереди, ни пустые полки магазинов! Не учитывалось и такое свойство, как качество жизни, о котором даже не догадывалось наше население... Но всё равно читателей «Таймса» убеждали, что советский обыватель жил всего лишь вдвое хуже, чем американский. Основывалось это утверждение на официальном пересчёте долларов на рубли. Но пересчёт — то делался по советскому жульническому раскладу: 90 копеек за доллар!

По самому заниженному замеру мы жили впятеро хуже. Впятеро, а не вдвое! А, может быть, и вдесятеро...

— Либо они идиоты, — возопил я, отбросив газету — либо обманывают своё правительство!

Так оно отчасти и было. Ральф уверял, что они добивались большего финансирования самих себя и заодно всех русских программ.

Это совпадало с тем, что рассказывал мне Юрий Павлович Иваск. Он говорил примерно вот что:

— Спутник, который был запущен советскими в 1957 году, буквально разбудил Америку. Здесь у многих бытовало мнение, что Советы — отсталая страна, и вдруг она оказалась впереди! Как, почему? Из бюджета выделили огромные деньги на «русские исследования». Давали гранты под любые начинания, лишь бы они хоть как-то связывались с русским: языком, культурой, чем-нибудь... Деньги валялись на земле, надо было только не полениться их поднять.

А в Иллинойском университете Ральф Фишер стал деятельным директором Русского центра, открывшегося на федеральные средства. Слово «русское» включало в себя и всё «советское» — американцев было не переубедить, что это разные понятия, да и надо ли было переубеждать? Со сменой формаций в России я и сам теперь не настаиваю на таких уж кардинальных различиях. Говорите, что русские проблемы лишь в дураках и дорогах? Нет, не только...

Библиотека утроила фонды на покупку русских книг. Посыпались щедрые частные пожертвования. Президент университета со своей стороны тоже приоткрыл казну и основал отделение Славянских языков и литератур, куда я позднее, и в самом деле, наподобие астронавта, спланировал прямо из атмосферы.

Разрастанию библиотеки способствовало и то печальное обстоятельство, что начала вымирать Первая волна эмиграции, которая вывезла с собой самое ценное. Семейные бриллианты порастрагивались в Европе, а книги остались... Наследники, как правило, охотно их отдавали чуть ли не даром. Да и даром — тоже. Книжная идея Фишера имела целью привлечь в университет те учёные головы, которые, как он выразился, «больше любят читать умные книги, чем любоваться красивыми видами или наслаждаться приятным климатом в других местах».

У Ральфа была типично американская вытянутая фигура и круглое, легко улыбающееся лицо, похожее на смайлик. Манеры — самые джентльменские, я таких ни у кого и не видел: на домашнем приёме он, например, угощал гостей ореш-

ками, привстав на одно колено. Дом у них с Руфью был самый скромный, со стенами, украшенными географическими картами, автомобиль — даже не старый, а древний, без пяти минут «антик». И характером он обладал чисто американским, — бросал «вызовы» самому себе: неизменно вышагивал пять миль до своего Центра в любую погоду, а в снежную зиму даже прикреплял к ногам плетёные ходилки-снегоступы. Однажды кто-то попрекнул его в забывчивости. Это его задело. Память у разведчика — это ведь его главное оружие. И Ральф выучил наизусть всего «Евгения Онегина», да так, что готов был читать с любой заданной строчки.

Я этому поразился, но, видимо, с оттенком недоверия. Он предложил проэкзаменовать его. Я отказывался, он настаивал, и я сказал:

— Ну хорошо. Я сейчас вот, как на зло, забыл самый конец «Онегина». Напомните последнюю строфу!

Ральф дрогнул и даже немного побледнел. Я за него испугался: вдруг не вспомнит? Какой выйдет конфуз! Минуту-другую он, очевидно, умственно листал страницы, а потом вдруг произнёс с лёгким акцентом, но без запинки:

*Но те, которым в дружной встрече  
Я строфы первые читал...*

*Иных уж нет, а те далече,  
Как Сади некогда сказал.*

*Без них Онегин дорисован.  
А та, с которой образован  
Татьяны милый идеал...*

*О, много, много рок отъял!*

*Блажен, кто праздник жизни рано  
Оставил, не допив до дна  
Бокала полного вина,  
Кто не дочёл её романа*

*И вдруг умел расстаться с ним,  
Как я с Онегиным моим.*

У меня даже волосы зашевелились, будто я услышал это от самого Пушкина. Bravo, Ральф, вот он — настоящий «Подвиг разведчика»!

Как администратор придерживался он русской присказки «Доверяй, но проверяй», пущенной в обиход президентом Рэйганом. Проверял и меня, но деликатно: попросил принять вольнослушательницей свою секретаршу, «чтобы подшлифовать её русский».

— Конечно, Ральф, почему бы и нет? Пусть приходит.

— Я бы и сам попросился, да нет времени.

— Ну что вы! С полным «Онегиным» в голове вам уже ничего не нужно.

Секретарша оказалась нетипичная, не знаю — может быть, и влюбчивая... Жутко терялась и краснела, когда я задавал ей вопросы. Но ходила на занятия регулярно, пока я не придумал, как её отвадить. Взамен контрольных работ она должна была подбирать по темам каждого занятия наглядные пособия: я требовал всё, что только можно было найти в Русском центре — слайды, фильмы, плакаты, транспаранты... чорта в ступе! Помаившись с такими заданиями, моя застенчивая наблюдательница вскоре оставила курс.

А русскую поговорку, скорей всего, подсказал Рональду Рэйгену наш глава Славянского отделения Морис Фридберг, приземистый господин с ёжиком волос, свёрлышками глаз за тяжёлыми очками и скептическим выражением на бледном

квадрате лица. Научные интересы его составляли антисемитизм и цензура. Он был приглашён на ланч в Белый дом как раз перед встречей президента с Горбачёвым.

Я спросил у Мориса, каковы его чисто человеческие впечатления от Рэйгена.

— Лицо старое, а глаза добрые—добрые...

— Как у Ленина? — подхватил я его интонацию.

— Во-во!

С Фридбергом я познакомился задолго до того, как он принял меня на работу. По совпадению, он когда-то преподавал русский язык в Хантер-колледже, где училось много эмигрантской молодёжи, в их числе и моя Ольга. Они записывались к нему не из усердия, а ради лёгкого зачёта — это был обязательный курс «иностранного» языка — и учились, конечно, спустя рукава. Ольга меня и представила ему в качестве своего трофея из России, когда я стал появляться на конференциях.

Как-то однажды между докладами я спустился в бар, взял пинту Аугсбургера и искал места, где бы присесть. На табурете за стойкой сидел некто в клетчатых брюках и жёлто-полосатом пиджаке. Он окликнул меня по имени. Это был Фридберг. Я предпочёл усестись за столик поблизости, и мы разговорились. Оказалось, что он тоже «бывший химик». Настроение у обоих было весёлое, и Морис сходу стал рассказывать анекдоты, типичные для мужской компании. Я ответил, что вообще-то предпочитаю британский юмор, но у меня есть тоже один анекдотец, который, пожалуй, подойдёт на все вкусы. И рассказал анекдот про карлика: «Карлик, но...» То был самый смешной анекдот моей студенческой поры. Для комического эффекта, увы, там содержалось одно нецензурное слово, а без него было никак! Анатолий Найман даже написал рассказ о том, как он тщетно пытался позабавить этой шуткой самых неподходящих слушателей (и, главное, слушательниц), переноса сюжетную схему на невинный лад и, конечно, избегая неприличия. Рассказ получился смешнее анекдота.

Морис на годы вперёд стал моим боссом. Он мурыжил меня, держа всего на полставки, долго прогивился заключить постоянный контракт и, конечно, эксплуатировал, но защищал от факультетских волков (и волчиц) и даже, кажется, по-своему гордился мной. С перестройкой его, матёрого антисоветчика, стали пускать в страну, которую он изучал. В московских литературных домах, знакомясь, его спрашивали:

— Профессор из Америки? Очень приятно. А в каком университете вы преподаёте?

— Иллинойском! — конечно же, на американский лад пропуская предлог «в», отвечал Фридберг.

— Это там, где Бобышев? — желали уточнить москвичи.

И он дрессировал на заседании кафедры моих недоброжелателей:

— Вот видите, этот университет оказывается не там, где вы, и даже не там, где я, а там, где наш Бобышев.

### Жизнь Урбанская (продолжение)

Дрессировка помогала, но ненадолго, тем более, что глава отделения поручил все кафедральные дела заместителю, профессору Рasio Дунатову.

Он был далматинец из Югославии, преподавал сербский (извините: сербо-хорватский!) и уверял, что подростком участвовал в антифашистском движении вместе с братом, в результате чего они оказались в Италии, а затем и в США, где он получил образование. В его антифашизме сильно сомневалась здешняя сербская община, даже

обвиняла его через газету в совершенно противоположном, но голословно: мол, «все хорваты и далматинцы примыкали к фашизму». Все... А где доказательства?

Едва мы с Ольгой обосновались в Урбане, мы пригласили Фридберга на обед, чтоб пораспросить об университете, о Славянском отделении, о коллегах.

— Все сейчас в разъездах, — сказал он. — Кто где. Бристольша в Нью-Йорке, Темпест в Англии, Пахмуся, наверное, во Франции, я сам только что из Израиля, а Дунатов — аж на Аляске.

— Что ж он там делает?

— Рыбу ловит. Как её — *salmon*... Сёмга?

— У профессора — дорогостящее хобби... — заметил я, насколько смог, дипломатично.

— Какое там хобби! Он зарабатывает там за лето больше, чем здесь за год.

Вскоре и Дунатов побывал у нас в гостях. Ольгино югославское происхождение обещало сделать его своим знакомым. Я приготовил на гриле чевабчичи, мы выпили ужасной (на мой вкус — просто сивушной) ракии, и Дунатов разоткровенничался:

— Главное подобрать команду из трёх-четырёх хороших, верных людей. Дальше ты арендуешь бот со снаряжением и нанимаешь индейца на случай, если встретится патруль береговой охраны... К индейцу, конечно, прилагается ящик виски. Это его плата. Когда он выпьет одну бутылку, даёшь ему другую. Зато можно ловить лосося неограниченно... Продаём там же, в море. Ну, и себе привозим в заморозке... Приглашу вас попробовать!

С Ольгой он говорил по-сербски и на-ты, со мной — по-русски и на-вы.

Нижним чутьём Расию воспринимал меня как соперника и всю старался доминировать, притеснять или же — передо мной похвалиться. Хотя университет изобилует хорошенькими личиками и фигурками, заводить там шашни считалось в высшей степени непрофессиональным занятием. И — весьма опасным для карьеры преподавателя! На одном моём курсе были такие красотки — гречанка Алека, доминиканка Дульче, французенка Бриджит, русская Вера — что голова порой шла кругом и я с усилием отводил от них глаза на занятиях. Но пятёрки они получали у меня, надеюсь, только за учёбу.

Расию с такими не церемонился, и девицы порой раздражались слезами у закрытой двери его кабинета, как раз рядом с моим, куда он же меня определил. Каморка оказалась без окон, что мне вполне понравилось, потому что давало восхитительное чувство укромной тишины и защищённости, а также чем-то напоминало мой давний «кубومتر» при кухне на Таврической улице. Поздней этот же кабинетец воспела Людмила Сараскина, «перестроечная» специалистка по Достоевскому, временно там поселившаяся в моё отсутствие. В забавной заметке, сначала напечатанной в какой-то газете, а потом и в «Знамени» (№ 5, 1992) она описала свои впечатления о пригласившем её университете, то есть, «о том, где Бобышев». Приведу оттуда отрывок:

#### ТУТ ВАМ НЕ ТАМ

*...Каждое утро, примерно к десяти часам, я приезжала в университет и поднималась на третий этаж к себе — то есть в крошечный без окна кабинетик, чей хозяин, поэт-эмигрант Дмитрий Бобышев, в это время пребывал за границей, в России, и читал студентам Петербургского университета курс русской эмигрантской литературы. (Забегая вперёд, хочу упомянуть и о впечатлении поэта, хлебнувшего российской действительности. Мы встретились в Калифорнии, в Сан-Франциско, где проходил съезд американских славистов. Бобышев, только*

*что вернувшийся из Петербурга, рассказывал коллегам: «Ну, что тут говорить: вонь, грязь, холод, запустение, неразбериха, хаос. Но студенты! Боже, как они слушают! Какие глаза — какая жажда в них, какой жар. Ради этого стоит там бывать...») Кабинетик, или офис по-тамошнему, был очень уютный, удобный, и там можно было укрыться от постороннего взгляда, побыть одной.*

Из её наблюдений, сделанных довольно острым взглядом, могло создаться впечатление, что волны кукурузного моря буквально подступают к стенам нашего затерянного в степях университета. Что ж — похоже, но не совсем, и я объясню, на чём основано такое впечатление. В принципе, кампус окружают озеленённые улицы, «греческие» братства и сестричества, уютные кафешки, книжные магазины, но в центре, действительно, находятся так называемые *Morrow Plots*, участки Мемориального кукурузного поля, на котором, как и сто лет назад, проводятся агрономические испытания. Это поле — исток плодородия всего края, образчик правильного использования земли. Наглядный почёт заслуженному акру земли представляет соседнее здание библиотеки, специально построенное не вверх, а на три этажа вниз, под землю, чтоб не затенять экспериментальную кукурузу и сою.

Что же касается моего одностороннего «соперника», то он продолжал петушиться на нашем общем пгичьем дворе. Придумали они с Фридбергом забаву для студентов, преподавателей и, главным образом, для самих себя — «Час юмора», то есть рассказывали на-пару двусмысленные анекдоты. Девушки (да и парни) смущались, я недоумевал. Однако, Морис выдержал меру и за определённую границу не переходил, а Расию не удержался и под конец ляпнул. Получилось нечто вроде наймановского «Анекдота про карлика», только с вульгарным концом.

То ли девичьи слёзы, то ли иные браконьерские проделки заставили его жену Марию, красивую певунью и игруню, внезапно бросить его. Пишу это не по слухам, а со слов самого Расию, который на балканский манер вынес случившееся на люди, бродя по коридорам и жалуясь коллегам:

— Ушла, даже записки не оставила!

Мария бросила не только Дунатова, но и университет, где преподавала украинский на полставки, как я — русский, и стала зарабатывать аккордеоном и пеньем, играя на свадьбах. А её бывший муж скоро утешился и расплаivilся ещё пуще, даже и с вызовом. Был у нас сербский батюшка, ещё молодой, служил в греческой церкви «Грех иерархов», а у него, соответственно, была симпатичная бойкая матушка, которая подвизалась там регентом.

И вдруг каким-то духом стучит эта матушка в дверь моей клетушки:

— Расию здесь?

— Нет, его кабинет — рядом.

— Я уже туда стучала! Что ж он — пригласил на ланч, а самого нет... Ах, вот и он!

И они упорхнули вдвоём. «Надо же, — подумал я. — Для далматинца-хорвата, для католика, умыкнуть православную матушку — это ж особая доблесть... Трофей! И как он сумел так ловко подстроить, чтоб я, единственный тут православный, это заметил?»

К концу учебного года он объявил, что мой контракт кончился, а нового может и не быть.

— Почему?

— Бюджетные затруднения...

— Так что ж — я могу считать себя безработным?

Он только пожал плечами. Как я узнал от других, никакой опасности для меня это не представляло. Просто — лето, начальство в разъездах. К осени всё обрзается. Но раз я официально предупреждён, пойду—ка я зарегистрируюсь как безработный, получу тот самый новый опыт, о котором мечтал в Милуоках, познаю иную, «страшную» Америку, пока Ольга в экспедиции.

Надо сказать, что быть безработным — это само по себе нелёгкая, надоедлая работа: ожидание в очередях (впрочем, хорошо организованных), заполнение трудных для понимания анкет, составление и рассылка писем — якобы в поисках нового места, еженедельные очереди с отчётами, прежде чем твоё дело будет рассмотрено и ты получишь вожделенное пособие в виде чека с отпечатанной на нём Леди Либерти! А затем — всё то же до следующего вознаграждения...

Единственное, чего я опасался, это было бы предложение о работе откуда—нибудь со стороны. Но его не последовало.

К моему радостному изумлению, я стал получать от государства вдвое больше, чем в университете, поскольку там учли мой предыдущий инженерский стаж, и о дунатовских психологических подножках думал я с иронией тайного победителя. И в самом деле, вернулось начальство, сделало ему «втык» за то, что отправил сотрудника на безработицу, а мне восстановили контракт, плавно переведший меня из временного в постоянный статус; я регулярно с тех пор получал прибавки и в результате обрёл научное звание.

Но сделал он ещё один выпад (неверный для него самого), чтобы сразить меня окончательно. Придётся мне опять сослаться на рассказ Сараскиной о моём возвращении из России. Я действительно уезжал туда на полгода, а когда вернулся, у меня не было уже ни семьи, ни дома (об этом — ещё впереди) и, как выяснилось по прибытии, я лишился работы. Пока я отсутствовал, Дунатов пристроил на моё место своего очередную пассию, а меня «забыл».

Когда я появился на кафедре, наша секретарша Бонни, полуседая велосипедистка и сновидища, сообщила с недоумением:

— Профессор Бобышев, мне надо сдавать платёжную ведомость, а вас в ней нет... Профессор Дунатов сказал мне послать в бухгалтерию всё как есть.

— Где Фридберг?! — сообразил я опасность ситуации.

— У него саббатикал.

Так здесь называется творческий отпуск. Мориса, стало быть, нет в городе.

— Но я же с ним договорился, что уезжаю на семестр без оплаты, а затем возвращаюсь и возобновляю свои курсы. Это было тоже как саббатикал!

— Пойдите к Дунатову. Я не знаю, что делать...

Я пошёл и попросту накричал на Дунатова. Как это ни странно, мой отпор и сам разгорячённый тон хорошо сработали, Расю подал назад:

— Это ошибка...

— Ничего себе ошибочка!

И вправду, это оказалось его последним карьерным промахом: на него наложились все туманные, если не тёмные обстоятельства, которые за закрытыми дверями разбирал собранный к случаю Комитет по этике. Так что девицы, видимо, плакали не без оснований. Для публики, однако, было отфильтровано следующее нарушение: один из принадлежащих ему домов, так называемый «Русский дом», Расю сдавал внаём студентам своего же Славянского отделения. Это было посчитано «конфликтом интересов», и профессор Дунатов вынужден был уйги на раннюю пенсию.

## Осеняемый клёном и ясенем

Дом, которого я так неосмотрительно лишился в предыдущей главе, забрав слишком в будущее, в этой главе ещё и не приобретён, — более того, даже не выставлен на торги. Знак «House on sale» я обнаружил в марте на одной из моих обычных трасс на работу и обратно в двух кварталах от начала кампуса, но всё ещё в пределах «профессорского гетто». Два большущих дерева, спереди и сзади, осеняли одноэтажный, по виду скромный домик-ранчо с автомобильным навесом и широким окном, глядящим из Т-образного перекрёстка на ряды куда более шикарных двух — и трёхэтажных семейных домов уходящей вдаль улицы.

Был час открытых дверей для показа, и я вошёл внутрь. Оказалось, что на переднюю лужайку выходил торец дома, а весь он протянулся вглубь чередой комнат от гостиной и трёх спален с переходом вбок в столовую, объединённую с кухней. Там имелся, конечно, весь набор американских удобств и машинерии. Оттуда был выход в подсобку и на задний двор с патио, просторной лужайкой и живой изгородью. Этого уже казалось достаточным для хорошего, удобного жилья. Но широкий проём в столовой вёл с перепадом по уровню в ещё одну, и немалую, гостиную с ковром и камином. Такое неожиданное дополнение удивляло и радовало взгляд, оно казалось подаренным сверх всего. Видимо, прежний владелец переделал помещение из гаража, оставив машине лишь навес, а жилое пространство — себе.

Но цена... Цена была для нас запредельна.

Почему же другие вновь нанятые преподаватели, находящиеся в таком же шатком положении, как мы, уже обзавелись домами? Умная Ольга кое-что мне растолковала, а остальное я понял сам: рынок недвижимости переживает бум, цены всё время растут. Банки охотно дают ссуду (моргидж) — конечно, под солидный залог и, разумеется, под выгодный для них процент. На залог мы как-нибудь наскребём (только-только!), а процент будем выплачивать ежемесячно из наших зарплат, как за квартиру, хоть и подороже. Но зато — не безвозвратно в карман чужого дяди-лэндлорда, а своему банку в счёт погашения долга. Таким образом, дом будет становиться всё более и более — наш! Ну, а если даже постоянное место в университете не подтвердится и придётся переезжать, то что ж — продадим. За четыре-то года цена вырастет, долг уменьшится, и — никто не останется в накладе, кроме, разве что, будущего покупателя...

Оставалось одно — дом этот должен понравиться Ольге. Сначала она выслушала мои красочные описания с недоверием. Но я договорился с агентом по недвижимости и привёз её туда «только взглянуть». Навес вызвал у неё лёгкий скепсис. Но всё же — лучше, чем открытая стоянка у нас в Эльсиноре... Чердак комнат с довольно стандартной планировкой навели некоторую скуку. Впрочем, столовая оказалась ей очень даже приемлемой, кухня понравилась вполне, вторая уборная и домашняя прачечная — ещё больше, а взгляд в то «подарочное» дополнительное пространство, как я и ожидал, решил её мнение в пользу моего выбора. Кроме того — как тут небезосновательно рассуждают мудрецы — при покупке дома оказались важны три «L»: *location, location, location*, или, переведя эту глубокую мысль на русский, три «M»: местонахождение, местонахождение и ещё раз местонахождение.

Потом мне было странно, что все финансовые соображения о покупке дома пролетели в голову в наших молодых коллег гораздо раньше — неужели мы уже начали отставать от них? Возможно, по быстроте — да, но не по обстоятельности: всё-таки хватило ума потратиться на технического инспектора, который тут же обнаружил в труху изъеденную термитами переборку, и мы попытались сбить цену.

Владелец уперся рогом и так и не уступил. К тому же, как выяснилось при нашем переезде, он на прощанье скрутил голову душа в ванной...

Мы так его и не видели, и я спросил у посредника, что это за человек, и почему он решил продать дом? Оказалось — военнотрудовой, только что разведшийся с женой, новоспечённой адвокатшей, которая получила место во Флориде и переехала туда. Сам же он служил на военно-воздушной базе в соседнем городке и тоже переехал поближе к работе.

Стало быть, в доме этом разрушалась семья, происходили ожесточённые объяснения. Стены были погрызаны не только термитами, но и взаимными попреками и обвинениями супругов... Впрочем, я не верил в ауру места, и тем более не могла верить в такую глупость Ольга, антрополог по профессии. И только позднее я обнаружил несколько зловещих примет или символов, оставленных прежним хозяином. В стриженных кустах перед домом, как раз под фронтонным окном, так приглянувшимся мне с самого начала, лежал нож. Да, нож, вполне пригодный для убийства. А за домом в запущенных кустах живой изгороди, ограничивающей лужайку, я заметил на столбе верёвку, конец которой был завязан в петлю-удавку.

Иначе говоря, жильё это было очевидным образом проклято его владельцем. А ведь собственный дом — это главная составляющая американской мечты... Что же тогда говорить о мировых скитальцах-иммигрантах, включая в их число и меня, страстно жаждущих где-то, наконец, обосноваться, зацепиться за своё место? Доколе дышло своё упираться на ночлегах в созвездья Медведиц? И я начал символическую оборону своего дома.

В углу двора стоял пустой сарайчик из рифлёного проржавевшего железа, в нём находился лишь цветочный горшок с остатками свежей земли. Видимо, растение было выброшено в последний момент перед отъездом хозяина, а горшок некуда было деть, весь мусор уже был вывезен. Тогда и растение должно было остаться где-то здесь...

Его я обнаружил засунутым между изгородью и задней стенкой сарайчика. Оно было зверски выдрано с корнями и имело жалкий вид. Оказалось, что это — довольно задрипанная араукария, потерявшая большинство своих ветвей и едва ли ещё живая. Но я пустился бедняжку воскрешать, как если бы от неё, действительно, зависело моё семейное благополучие.

И что ж? Через какое-то время после пересадки и подкормки она выбросила одну хвоистую веточку, за ней другую...

В пышную красавицу араукария так и не превратилась, голый ствол внизу выдавал её тяжёлое прошлое, но пушистая свежая хвоя наверху весело намекала своему спасителю: мол, не дрейфь, не кручинься и не сдавайся, парень, мы ещё поживём!

## Солнчий

Парадоксальный пример из грамматики: такого прилагательного нет, а эпитет — вот он, есть: как в названии этой главы, так и в стихотворении Юрия Иваска, посвящённом автору этого человекотекста в первую же осень знакомства. Он поступил в точности, как Ахматова, — взял эпитафией мои строчки про освящённую солнцем дверь в котельню и далее написал свои.

*Свидетельствую: Солнчий неузнаваемой  
сторонкой, огибая, проходил.  
Давид: и не в парче, а скрытый майкой.  
Не из числа ловчил и заправил.*

В них он не поскупился на двоеточия: в двенадцати строчках целых 6 штук, и каждое (по мысли Евгения Шифферса) вводило в иное измерение! А царя Давида я получил за «псалмопевчество», то есть за стихи, обращённые к «ласковому и грозному» Богу, которые так понравились Юрию Павловичу. У меня сохранилась фотография той поры: яркая полоса света, упавшая на лицо и лоб, заставляет меня зажмуриться, а белесый и бледный Иваск весь, кроме кепки, оказывается в ореоле лучей. Так что непонятно, кому более подходит изобретённый им эпитет.

Все последующие годы мы сохраняли дружеский контакт заочно, а изредка и встречались. Он искренне желал, чтобы я сделался «фигурой, наподобие Бродского или Раннига», как выразился в одном из писем, и действительно помогал, чем мог: статьями, рекомендациями, напоминаниями обо мне влиятельным людям... А те две фигуры выдвигались на Нобеля, но получил тогда Чеслав Милош. Польша бурлила солидарностью, папа Римский был поляк, да и поэт своим творчеством оказался в пределах, исчисляемых высоким стандартом, вот он и стал лауреатом. Я в такую фигуру, конечно, превратиться бы не сумел, — ни Вергилия, ни толпы не было за плечами. Скорее мог бы, нарочито смирившись, написать: «Мой дар убог, и голос мой негромок» вослед за Баратынским, который, несомненно, знал себе истинную цену и явно приbedнялся. Но скажешь такое, и тут же тебе охотно поверят: да, мол, убог, да, негромок... К тому же репутация у Евгения Абрамовича была сыздетства повреждена, и даже совместная обложка и парная публикация «Бала» с Александром Сергеевичевым «Графом Нулиным» делу не помогла, а если выражаться в современной терминологии, Нобелевка (или — роль Пушкина) ему не светила, увы.

«А потому, что тихо незаметен», — объяснял Юрий Павлович в том же «Солнцем». И тут же утешал, подавая надежду:

*Пройдёт: и тот же Невский, и Бродвей,  
и те же наши видимости сплетен.  
Терпение, нелёгкое, имей.*

Нет, заметность изначальная очень даже была — с интервью и портретами в «Русской Мысли» и «Континенте», благодаря усилиям Натальи Горбаневской. На БиБиСи честно не забывал меня Славинский. Да и Юрий Павлович старался по своим первоэмигрантским каналам, даже с помощью иезуитов на «Радио Ватикана» имя моё возглашать... Но статуарной «фигурь» из меня не получалось — претило. С «видимостью сплетен» справиться было ещё трудней, а по существу — невозможно. Годами, даже десятилетиями тянулась за мной всё та же — «увёл у Бродского Марину» — ситуация–инсинуация, описанная, как на духу, в первом томе этих воспоминаний, и именно для того, чтоб не осталось ни сплетен, ни даже их видимости. Не тут-то было. Иницирированная, конечно, самим Иосифом, густая тень постоянно наводилась на меня из стана его приверженцев. Да и он сам подправлял в ней фокус, насколько я замечал по разным интервью, примеряя к себе (а не к себе, так кому же?) то одно, то другое из его пренебрежительных высказываний. Религиозные стихи — ничто иное, как «блажь неофитов». И все разом запретирили неофитов и прозелитов, забыв, что как раз апостолы и были ими. А выпустил эзную книгу на английском, он, в точности как Евтушенко, фальшиво сочувствовал тем, кто не выпустил ни одной. Это было особенно примечательно при моих тыканьях–мыканьях от одного издателя к другому.

Не прав ли, не справедлив ли был Василий Павлович Аксёнов насчёт своего Алика Конского, сверх-влиятельного персонажа из романа «Скажи изюм»? Вот и Довлатов заметил в письме Ефимову, что не терпит наш светоч «соизмеримых с ним ав-

торов», а корреспондент запротестовал — мол, что вы, как можно? Осторожней! Ведь никто с ним не соизмерим. И зачем всё это делалось, — не затем ли, чтобы ярче выделить собственное сияние на фоне приглашенных других? Допустим, он — Моцарт, а мы с Василием Павловичем тянем лишь на Сальери, так почему же вопреки легенде (кстати сказать, ложной) Моцарт нас травит? Даже как-то по сюжету оригинально...

Любил он ингервьюерам подкинуть аналогию с пушкинским поэтическим сообществом: мол, сам он — меланхолический Баратынский; князь Вяземский за едкость — то Найман, то Лифшиц-Лосев, а Бобышев, пожалуй, Дельвиг. Почему? Соображаем в уме: писать хорошие стихи ленился, пил, жена ему изменяла, рано умер, и то со страху... Да, пусть Бобышев будет Дельвиг. С чего же ему самому так приглянулся Баратынский — неужели только за отчество? Нет, чтобы Пушкиным объявить не себя, а — столь приблизительно, столь непохоже — Рейна. И чтобы ингервьюеры (а с ними и читатели) замахали руками: «Что вы, что вы, маэстро? Вы и есть Пушкин. И — даже выше Пушкина!» Таков был пиаристый ход — предположительно, конём...

Юрий Павлович эту ситуацию видел, но переломить её, конечно, не мог. В «фигуры» я не очень-то и стремился, — однако, не прозябать на пособия, а выжить достойно в Америке и получить какой-то респект входило в мои цели. Не раз я вспоминал наш давнишний спор с Иосифом: величие или достоинство, слава или признание знатоков? Каждый сделал свой выбор и получил своё.

Иваск был таким знатоком, и в воздухе иноязычной страны, где лишь разреженно витали молекулы русской культуры, наши общения были взаимно питательны. У меня сохранилась толстенная папка «гармошкой», набитая его письмами, — главным образом, с разбором новых стихов, которыми мы обменивались. Его затейливый почерк приходилось головоломно разгадывать, старенькая разболтанная машинка тоже выкидывала коленца, и порой он ставил свои пометы, вопросы, восклицания и крестики прямо на присланной рукописи, делал с неё ксерокопию и посылал обратно с запиской. Так мы обсуждали стихи о Ксении Петербургской, — мои с посвящением Иваску и его на ту же тему с посвящением мне, мои «Звёзды и полосы» и его «Римские строфы», которые он в результате моих наущений довёл до семиглавой поэмы по числу римских холмов. Он выделял плюсами отдельные строчки, я больше обращал внимание на то, как построено целое.

Юрий Павлович нашёл себе издателя неподалёку от Амхерста в соседнем городке Холиок. Им оказался хорошо известный мне Роман Левин. Иваск тогда чрезвычайно увлёкся Мексикой, искал там (и находил!) соответствия с Россией, и это увлечение вылилось в длинную поэму «Завоевание Мексики», написанную организованным в строфы полураёшником. Он усилил её, добавив несколько более удачных, на мой вкус, стихотворений и составил под тем же названием книгу, которую захотел издать у Левина. Я не стал его отговаривать, потому что во-первых нельзя было отнимать у Романа его шанс, а во-вторых держать своего издателя под боком было исключительно удобно для автора.

С этой книгой Юрий Павлович приехал проведать нас с Ольгой в Милуоки. Я встретил его в аэропорту. После недавней кончины Тамары Георгиевны одинокий старикан в чёрном пальто и синей вязаной балаклаве вместо кепки выглядел неважнецки, но с каким-то жалобным вызовом.

«Милым Дмитрию и Ольге Бобышевым, уже немного мексиканцам», — надписал он книгу, имея в виду нашу прошлогоднюю поездку на Юкатан. Суперобложка, марка издательства в виде карты Массачузетса, горделивое название «*New England Publishing Co.*», бар-код Библиотеки Конгресса — в этом издании

Ромы Левина всё было бы хорошо, кабы не бумага: каждый лист ярко зеленел, и так — вся книга. Странно, что автор не замечал такого хлорофиллового неприличия или смирился с ним, как и с нелепым головным убором на своих сединах.

Впрочем, мексиканское наваждение у него сменилось приверженностью к барочному Петербургу, которым он восхищался, мешая восторг со священным ужасом во время совсем недавней поездки в Ленинград.

Он побывал на Таврической улице в двух шагах от Вячеслав-ивановской башни и, как рассказывал, на него в квартире моей матери «глядели четыре пары карих глаз: Зинаиды Ивановны, сестры Тани, брата Кости и ваших, с фотографии на книжной полке». Костя сводил его к Смольному собору и монастырю, и это архитектурное торжество Растрелли стало для него одним из ключевых образов барочного Петербурга. Ходил он глядеть на Неву со стрелки Васильевского острова и видел «враждебно-прекрасный Петербург и воды многие...» И, конечно, побывал на Смоленском кладбище у часовни блаженной Ксении, которая для него была «мера *большая*».

Примерно неделю, включая выходные, провёл он с нами в Милых Оках, и видно было, как за эти дни отдохнул он душой. Ольга расстаралась на застолья, а когда мы к вечеру оба возвращались с работы, Юрий Павлович оживлялся и, посмеиваясь, говорил:

— Как в детстве! Целый день ждешь родителей... А когда они приходят, тут только всё и начинается.

В воскресенье отправились не в нашу Русскую зарубежную, а в Греческую церковь, чтобы заодно посмотреть зодческий курьёз Фрэнк Ллойд Райга. С виду — летающая тарелка, это бетонное строение обнаруживало всю механистичность идеи архитектора: Бог как неопознанный летающий объект! Даже круглые окна по периметру напоминали устаревшие пропеллерные турбины. Внутри было крепко накаждено, и меня как-то сморило. Под студёным ветерком на паперти мы с Юрием (так он просил себя называть, и на-ты) продолжили разговор то ли о поэзии, то ли о религии: свят ли Осип Мандельштам, которого оба боготворили?

Дома, пропуская Юрия в двери, я вдруг явственно представил на нём серо-зелёный мундир, серебристые погончики на прямых плечах, а на высоком стриженном затылке военное кепи с алюминиевой пуговицей спереди. И испугался. Но он сам сказал:

— У меня перед Россией вина. Я служил.

— С оружием?

Он ничего не ответил, пожав плечами. Дальше я не расспрашивал, но без того догадывался, что по его возрасту — в войну, в Эстонии, в период отступления — он не мог не быть мобилизован немцами. Надеюсь, служил писарем, от силы — переводчиком. Их часть отвели в Померанию, где они сдались союзным войскам.

Я много позднее вступил за Юрия Павловича в клинч с Н. Богомоловым через журнал НЛЮ № 63, в котором тот шибко напирал на эти обстоятельства биографии, — ещё шибче, чем КГБ, пустивший Иваска в Ленинград и, что важнее, отпустивший его назад, даже шибче, чем СМЕРШ, освободивший на Запад Н.Е. Андреева, единственного свидетеля, на которого ссылался Богомолов, да и то не свидетеля, поскольку сообщал он о мобилизации Иваска лишь в пересказе со слов третьего лица...

Шведский славист Уно Шульц запрашивал по моей просьбе Госархив Эстонии о службе Иваска в вооружённых силах Германии, и ответ был: «Сведений не имеем». Ну, и хватит об этом.

В самом начале жизни Урбанской я обнаружил среди университетских привилегий возможность пригласить с лекцией какую-нибудь знаменитость со сто-

роны. И решил устроить выступление Иваска перед моими студентами. Этому должна была предшествовать большая бумажная работа: подобрать коллег на поддержку, выпросить ссуду на гонорар и прочие расходы у разных фондов...

Да и самого выступающего пришлось уговаривать: когда-то неутомимый путешественник, стал он тяжеловат на подъём. Но уж больно мне хотелось показать ему, как здесь хорошо! Заканчивались рождественские каникулы, и мы сговорились с ним на февраль.

— Только не на 13-е число, — попросил он суеверно.

И я перенёс выступление на неделю позже. А как раз 13-го февраля он в одночасье скончался в Амхерсте, идя на литературный диспут... Я взял билет, чтобы лететь на похороны, но в тот день все самолёты были отменены из-за бурана.

Когда я ещё служил в «Астронавтике», я частенько повторял афоризм: «Минуты тянутся, а годы летят». Не знаю, какой мудрец его выдумал, может быть и я сам. Но в университете на занятиях я старался иметь материалов с избытком, минуты у меня так и скакали, словно телеграфные столбы, а годы как раз тянулись вагонами от полустанка к полустанку, от семестра к семестру и от каникул к каникулам. И дотащились они до станции, которая называлась «100 лет Иваску». По этому поводу я напечатал юбилейную заметку в «Новом Журнале», № 248.

## Столетие

Немногом поколениям в истории дарован такой опыт, как нам. Мы перешагнули внушительные рубежи: порог века, порог тысячелетия и вступили в совершенно иную эпоху. Сама динамика времени затягивает, понуждает углубляться в новизну. Но должны ли мы ради этого быть безоглядными и беспамятными?

Этот несправданный вопрос, в общем-то характерный для всех поколений, является сейчас решающим для сознания русских читателей и литераторов, перешагнувших к тому же рубеж несвободы. Какие из поглощаемых забвеньем имён необходимо перенести с собой в будущее? Ответ очевиден. Разумеется, имена тех, кто был свободен, чей ум и литературный дар развивался вольно в век идеологических деспотий и принуждений.

Таким умом и талантом был одарён Юрий Павлович Иваск (1907-1986), выдающийся поэт и просветитель, историк литературы и критик, яркая интеллектуальная фигура Русского зарубежья. Иваск был рождён ещё до революции и даже до Первой мировой войны, в Москве, в семье наполовину русской, наполовину немецко-эстонской, однако воспитывался в русской культуре. В 1920-ом году по понятным причинам семье пришлось перебраться в Эстонию, и вся дальнейшая жизнь Юрия Павловича прошла вне России. Происходили известные катаклизмы XX века, передвижения армий и гражданских людских масс, но молодого Иваска эти события неизменно заставляли за поисками знаний — в Тартусском, Гамбургском и, наконец, в Гарвардском университете, где он защитил докторскую диссертацию о Взьемском как литературном критике. В дальнейшем он преподавал Русскую литературу во многих университетах США, а с 1969 до почётной отставки был профессором Массачусетского университета в Амхерсте, где когда-то жила Эмили Дикинсон, чудо американской поэзии. Ныне прах Юрия Павловича покоится на том же кладбище, что и Эмили...

Однако, ещё в тридцатые годы он сам выступил как начинающий поэт. Его первые книги стихов были тепло встречены такими маститыми критиками Зарубежья, как П. Бицилли и Г. Адамович. Интересно, что Адамович точно угадал и вы-

делил удивительное произведение Иваска, счастливо сочинённое, даже как бы готовым услышанное им в просодии русского языка:

*Пели — пели — пели,  
Пили — пили — пили,  
Поле — поле — поле,  
Пули — пули — пули,  
Пали — пали — пали.*

В те же годы произошла его встреча, переросшая в доброе знакомство и обмен письмами, с Мариной Цветаевой, чью гениальную одарённость Иваск оценил в полной мере. О степени её доверия к Иваску говорит тот факт, что, прежде чем возвратиться в СССР, Цветаева пожелала передать ему на хранение свой архив. Проницательный Иваск эту почётную просьбу отклонил, поскольку дело шло к войне, и Эстония, как он и предвидел, вскоре оказалась под советской оккупацией. Он предложил взамен хранить архив в более надёжном месте — Базельском университете в Швейцарии. Существенная доля архива, книга стихов «Лебединый стан», воспевающих Добровольческую армию (из-за чего И. Эренбург отговаривал Цветаеву её печатать при жизни), всё-таки вышла в Мюнхене в 1958 году с предисловием Иваска и в авторской орфографии. Вкупе с публикацией цветаевских писем это положило начало «цветаеведению».

Но и на своих путях Юрий Иваск продолжал совершенствоваться как поэт, интеллектуал и историк. Он издал монографию о Константине Леонтьеве, эстетически близком ему философе, подготовил к печати ряд книг отечественных и эмигрантских писателей. Его перу, его воображению и уму принадлежат сотни статей и исследований о литературе, философии и поэзии, которые он печатал во многих периодических изданиях Зарубежья. Он собрал и выпустил в 1953 году антологию «На Западе», в которой объединились поэты первой и второй волн эмиграции, до этого разобщённые. Также в 50-х он был редактором нью-йоркского литературного журнала «Опыт».

Годы и годы, если не десятилетия, Иваск плодотворно сотрудничал с Романом Гулем, редактором «Нового Журнала», постоянно печатая у него стихи, рецензии и эссе. Сотрудничество с «НЖ» продолжалось и после Гуля. Наиболее существенной публикацией была серия последовательных статей «Похвала российской поэзии», печатаемая из номера в номер. Иваск мечтал издать эту серию отдельно как книгу-эссе. Лишь много лет спустя, в 2002 году, его «Похвала» вышла в Таллине стараниями друзей Иваска. Эта книга подытоживает его размышления о поэзии и даёт широчайший спектр литературных профилей — от анонимных авторов средневековых виршей и, сквозь всю историю, до младших современников самого Иваска.

Также посмертно был опубликован полностью под книжной обложкой его главный поэтический труд — вдохновенная поэма «Играющий человек (*Homo Ludens*)», впервые появившаяся в журнальной версии в 3-х номерах «Возрождения». Поэма, написанная особыми семистшиями, представляет из себя свободную композицию, содержащую яркие виды Европы и Америки, детские воспоминания, словесные портреты друзей, а также размышления об игровом начале в искусстве как о вечном, райском элементе, выраженном в земной конкретности, в самой радости жизни. В этом у Иваска была переключка с любимым им парадоксалистом В.В. Розановым, которому и в Раю мечтался малосольный огурчик с прилипшими к нему усиками укропа.

Недаром свою последнюю книгу стихов поэт назвал дерзко, заимствовав полемическое выражение у Пушкина: «Я — мещанин». Однако в ней содержится

уже не игровая, а скорей трудовая хвала Творцу. Образы строительной мощи вырисовываются в «Римских строфах», — по существу, целой поэме в семи частях, по числу римских холмов. И всё-таки барочный рай для Иваска — это город Бартоломео Растрелли и блаженной во Христе юродивой Ксении Петербургской, которая подносила кирпичики его строителям. В Петербург (тогда ещё, увы, Ленинград) было последнее путешествие Ю.П. Иваска.

Он когда-то поддержал меня письмом в Ленинград, выловив мои стихи из самиздата, поддержал и после прибытия в Америку. Мы перезванивались, переписывались. Говорили о России, об отрицании её, революционной, у Бунина, о нигилизме отчаяния у Георгия Иванова, обменивались надеждами на будущее.

Всё это есть в моём стихотворении, в те годы ему посвящённом:

### *Юрию Иваску*

— России нет, — жёлчь изливал Иван.  
— И — хорошо! — юродствовал Георгий.

А что тогда гналось на Магадан  
и мёрло в сёлах?.. Юрий был негордый.

Всегда, как и теперь, седобелёс,  
он, видно, веял юностью такою:  
хоть от острот и хохотал до слёз,  
но плакал над марининой строкою.

*Он пели — пели — пели написал,  
и: пили — пили, поле, пули, пали.  
По знкам Пли и Эль на небеса  
вели доброармейцев Пётр и Павел.*

*Но тон Парижской ноты был уныл,  
а чистенький пейзаж новоанглийский  
так и остался сердцу мил-не-мил:  
— Мне москвичи любезны, Вы мне близки.*

*Не в эльзевирах — вечный человек:  
несомый папиросною бумагой,  
по Самиздату бродит в дождь и снег,  
играя в мячик со святым Гонзагой.*

*Мы с Юрием в самом Раю — а где же? —  
постелим самобранку под-за кустик  
и за Россию чокнемся: — Грядешь!  
И малосольным огурцом закусим.*

## Одиночество в Париже

«Нет горше одиночества в Париже», — эта строчка залетела мне в голову из какого-то унылого стихотворения, принадлежавшего перу, конечно же, русского эмигранта Первой волны. Любили они пожаловаться на жизнь, сидя за маленьким столиком в кафе с рюмкой грушевого ликёра и видом на решётку Люксембургского сада! Бедность? Но всё-таки в окружении довольства, а не среди голодомора и страха. Нехватает на вторую рюмку? А вы улыбнитесь, кто-нибудь да угостит... Тоска по родным берёзкам? Ступайте в Булонский лес, там их много. Опомнитесь: вы живы! Вы свободны! Чего ж вам надо?

Так я подумал про себя в ответ на сентенцию Юрия Павловича: «Чтобы ощутить Париж, надо оказаться там в совершенном одиночестве».

Да просто оказаться в этом городе было бы ослепительным счастьем для любого мечтателя из моего советского прошлого, будь то семиклассница, держащая под партой растрёпанную «Нана» с риском быть исключённой из школы или лысеющий пуско-наладчик в электричке, уткнувшийся в «Праздник, который всегда с тобой» по пути на недостроенный объект с надеждой закрыть процентовку за истекающий месяц.

Я летел в Париж с целью напечатать «Русские терцины» отдельной книгой. В Америке издателя для меня не нашлось, оставалось рассчитывать на парижан. Кублановский взялся свести меня с Никитой Струве, но, как можно предположить, встретил с той стороны неудовольствие и растворился в сиреневых сумерках достославного города. Но один из давнишних друзей, тоже там оказавшийся, обещал эту встречу устроить. Договорились увидеться в кафе около метро «Одеон». Пока рассаживались, одинокая девица через два столика от нас едва заметно кивнула моему посреднику вбок, и он (прости, друг, оставляю тебя безмянным, оберегая твою же «нравственность», а упустить такую деталь я как повествователь не в силах) пошёл за ней вглубь кафе, где обычно помещается узкий сортир, неудобный даже для одного «окуппанта».

И тут же Никита оскорбил меня, спросив об Иваске с грязным намёком, — примерно, такое:

— Ну что, со стариком вам, наверное, обходиться нетрудно?

Намёк требовал немедленной пощёчины, для чего в свою очередь необходим был свидетель, а тот всё не шёл. Перекипев, я покинул сцену.

Я брёл без какой-либо цели по бульвару Сен-Жермен. На душе было погано. Хотелось есть. Хотелось выпить. Как назло, ноги меня несли мимо каких-то длинных витрин с шикарными, но несъедобными товарами. Миновал роскошный книжный магазин с художественными альбомами на той стороне, но не стал переходить улицу. «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать», — вспоминалась строка Гумилёва, который, будучи ещё юным мэтром, наверняка проходил здесь не раз. Хотелось приключения, но не такого... А — вообще! Небо меж ветвей платанов мрачно хмурилось. Я повернул налево и взял вверх, но и в Пантеон к величественным мертвецам тоже не тянуло. Упали первые капли дождя, и на плечах появились влажные пятна. Я ведь — ни с того, ни с сего — приедлся перед встречей с издателем, пропадай теперь лучший костюм. Пришлось прибавить шагу по рю Сен-Жак в сторону моей гостиницы, но скоро я сообразил, что дойти туда сухим не успею. Надо срочно искать убежище. Действительно, хлынул ливень, и я, углядев открытую дверь через улицу, перебежал туда сквозь водяную стену и впрыгнул внутрь, оказавшись в каком-то неказистом помещении со столиками. Там никого не было.

Я сел за столик, покрытый клеёнкой, и взял меню. Там было написано что-то червячками и точками ориентальной вязи, и проставлены цены в франках. Ко мне приблизился некто, повязанный кушаком, в кальсонах с низкой мотнёй, при бороде и в войлочной шапке. Я кнул три раза пальцем в меню — вверх, в середине и вниз — и добавил:

— Фин, вин, вайн, вино, силь ву плэ...

Он неодобрительно посмотрел на меня, покачав ключьями бороды, но помету в блокнотике сделал.

Я сидел лицом к открытой двери. Там свирепствовали заряды ливня, а в мокрой голове прояснялось моё местоположение в мировом раскладе: «Боже ж ты

мой, я ведь попал не куда-нибудь, а прицельно-точно в афганскую столовку. Советские сейчас бомбят Герат, муджахеды в войлочных шапках устраивают завалы перед бронетехникой, сбивают десантные вертолёты стингерами из США... А я, бывший лейтенант Вооружённых Сил СССР (в запасе) сижу тут в Париже на Сен-Жак с подмокшим американским паспортом в кармане, и никуда мне не деться...»

Наконец, муджахед-официант принёс еду, и я мог убедиться, насколько грамотен оказался мой выбор, сделанный вслепую: это был полный обед. На закуску предполагался холодный пирожок с саго, который я брезгливо отодвинул. Потом прибыла миска тюремного деликатеса — «баланды со шрапнелью», её пришлось похлебать. Основным блюдом был пережаренный до сухости кебаб с ячневой кашей. Кашу я не тронул, а кебаб погрыз. Липкий квадратик пахлавыв тоже отверг, не заказав даже кофе, — у меня недопитым оставалось ещё вино, и опять же, как на грех, розовое, которого я терпеть не могу. Оставив половину бутылки, я шагнул на улицу, где в разрывах туч заблестало вечернее солнце. Но день уже пропал, и вечер заведомо был испорчен чувством неудачи и пустоты. Париж оказался не лучше других городов, — Юрий Павлович знал, что говорил... Я добрёл до «экономической» гостиницы и завалился в свой номер. Из удобств там наличествовали только койка, тумбочка и биде, дразнящее меня невестребованностью. Душевая и уборная находились на этаже, в конце коридора. При этом острый гальский ум придумал устройство, которое по истечении минуты выключало свет, и «окупант» оказывался в самый неподходящий момент и в не подлежащей описанию позиции при полной тьме.

### Фея с метлой

Когда я заговорил о книжке с Горбаневской, она ответила, что собственные стихи она публикует через самиздат в наиболее точном смысле этого слова. Самиздат — в Париже, при том, что она подвизается при печатных изданиях далеко не последним человеком? Она тут же подарила мне в доказательство пару-другую изящных несброшюрованных папочек карманного формата, в самый раз подходящих для её миниатюр — острых, шершавых, отрывистых... Нет, это не для меня: стоило ли иммигрировать в свободный мир, чтобы вновь оказаться в догугтенберговской эпохе? Впрочем, у Натальи «возник один вариант», и она обещала обсудить его с Ариной Гинзбург. На следующий день, когда я вновь был на рю Гей-Люссак, раздался звонок.

— Это тебя, — уверенно сказала Наталья.

К моему изумлению, звонила Марья Васильевна Розанова и, словно фея из волшебной сказки, без обиняков предложила мне:

— Бобышев! Давайте издадим у меня в «Синтаксисе» книгу ваших стихов!

— За чей счёт? — не упустил я случая задать самый главный вопрос.

— Об этом не беспокойтесь... Приезжайте к нам завтра на Фонтене-о-Роз, и не забудьте взять с собой рукопись.

Неужели так бывает в жизни? Или это жизнь сама достигла того идеала, когда лев братски обнимается с агнцем, а книгопродавец с поэтом? Да та ли это Розанова, которой так восхищался мой ленинградский друг Вени Иофе, сиделец и «колокольчик», за её хитроумный цинизм, помогший переиграть КГБ и вызвать мужа из лагеря на 2 года раньше? Или с помощью ловко брошенной на подслушку фразы получить визу из Парижа в Москву, дабы повлиять на Алика Гинзбурга и уговорить его эмигрировать... От Вени я слышал впервые и знаменитый анекдот про Марью Васильевну, покупающую метлу в Париже: «Вам завернуть, или так полетите?»

Этой метлой она напылила настолько, что перессорила всю эмиграцию, а точнее — своего Снявского с нью-йоркским Гулем и его «Новым Журналом», с Солженицыным и «ИМКой-Пресс», с Максимовым и «Континентом», а заодно и с «Русской Мыслью». И вот непримиримые Наталья и Ирина, оказывается, общаются запросто, по старой московской памяти, со своей врагинею Марьей!

На скоростном метро *RER* я мчусь по указанному направлению. У меня на плече дорожная сумка с рукописью, и в руках абонементная книжица на все виды транспорта. К ней прикреплена свежая фотография. Пока я еду, она перестаёт липнуть к пальцам, я складываю книжицу и прячу её в карман джинсовой куртки. Вот и станция со столь цветистым названием. Прямо по движению поезда и — налево: улица Бориса Вильде, 8. Это имя русского поэта, мученика и героя французского Резистанса. Передо мной — особнячок изящных пропорций; в фонтанной вазе перед входом плавают плоские сердца водяных лилий. Пожалуй, слишком шикарно для эмигрантского жилья, но это чувство скрадывается общей запущенностью дома. Похоже, однако, что там никого нет, а я ведь приехал к условленному часу! Ну что ж, погуляю пока, осмотрю симпатичный городок. Может быть, зайти посидеть в ресторане? А, — вот и они — за витринным окном я вижу чету Снявских, занятых обедом. Я стучу в стекло, на меня оглядывается недовольное лицо Розановой. Но я вхожу, пытаюсь заказать что-нибудь и себе. Она останавливает:

— Мы уже заканчиваем.

Я жду, кладу суму рядом на стул. От перемены положения в ней что-то перекатывается. Розанова настораживается, подозрительно вслушиваясь в мелкие звуки:

— Что это там у вас?

— Да ничего, смотрите...

Демонстративно раскрываю все отделения, там только рукопись, — ни бомбы с часовым механизмом, ни магнитофона для подслушивания нет, только вот эта коробочка с монпансье, заглушающим голод, она и вызвала тикающие-такающие звуки. Трясу её для доказательства. Моё оправдание принято, и мы переходим в их особнячок. Андрей Донатович идёт впереди.

— Знаете ли вы, что Снявский действовал по заданию КГБ? — по дороге вдруг спрашивает Розанова.

— Как так? Ничего не знаю...

— А вы почитайте его роман «Спокойной ночи».

Зачем она это мне говорила: сбивала с толку, смущала? И про близость её мужа с дочкой Сталина тогда же упоминала. Или не тогда? Или не она, а он сам? Не знаю уже, что правда, что легенда или, как говорят теперь «деза»... Во всяком случае, Андрей Донатович преподнёс эту книгу собственноручно: сначала спросил имя моей жены, я ответил «Ольга», и как раз над титулом «Спокойной ночи» он написал чуть имтимно:

*«Оле и Диме Бобышевым — с пожеланием доброго утра.*

*14.VII.85. А. Снявский».*

Это — автобиографический роман, написанный от первого лица, но в нём трудно отличить факты от вымысла. Сюжет вьётся вокруг ареста, разоблачений, допросов и прочего, а под конец преобразуется в шпионско-любовную историю, намеченную стремительным пунктиром. Попутно объясняется, почему Снявский взял такой псевдоним. Абрашка Терц — персонаж блатной песни, опасный малый, человек с пером, а перо — это значит нож. И вот герой, ведомый КГБ, засылается в Вену, где «случайно» встречается с французенкой, которую надо спровоциро-

вать и разоблачить, а вместо этого наш перевёртыш даёт ей предупредительный знак об опасности.

Странное, мутное впечатление оставалось от в общем—то стильно написанной книги.

Сам Андрей Донатович с бородой лопатой и косящими в разные стороны глазами держался благодушно.

— Смотреть нужно сюда, — помог он мне за разговором, указав на «правильный» глаз.

За чаем выступил как мой ходатай:

— Слушай, да напечатай ты его, — обратился он к своей Марье.

— Ладно, ладно тебе, — авторитарно подавила его хозяйка. — Сама разберусь.

Их диалог опять смутил меня: так будет она издавать книгу или ещё колеблется? Её вчерашнее, такое ясное предложение расплылось в тумане. Между тем, разговор перешёл на «Синтаксис», журнал задорный и либеральный. Почему бы в нём не поучаствовать? (Как почему? Если напечататься там — прощайте, «Конт» и «РМ»!) Но я исхиряюсь и делаю ход на сближение: даю для журнала статью «Большая и малая поэзия Натальи Горбаневской»; Розанова это оценивает и принимает. Таким образом, она формально переманивает меня в свой стан, в то время как статья — в общем—то апологетическая по отношению к «враждебному» лагерю.

То ли двурушником, то ли миротворцем укатил я в свое, ставшую уже обжитой, Урбану. Домой! — так я искренне чувствовал, летя в очередной раз над Атлантикой, понавидавшись уже за жизнь, зрительно понаглотившись великих городов Европы и, конечно, Парижа, Парижа, где даже сподобился и испытал игрушечное одиночество. К счастью, оно исчерпалось суровой трапезой у афганца и сменилось дружескими общениями, которые завершились пирушкой — не чета той...

Приехал Владимир Буковский из Кембриджа и пригласил Наталью, а она взяла с собой Славинского и меня в «настоящий французский ресторан» на месте так называемого «Чрева Парижа», которое уже начали тогда сокрушать под будущий Бобур, или безобразно-прекрасно-наглый художественный Центр Помпиду. Часть уже раздолбанных закоулков рынка была глухо закрыта, но знаменитая объедаловка «Поросычья нога» всё ещё действовала. Я понял выбор Буковского по аналогии с собственным чутьём: вкусные и недорогие харчевни обычно располагаются вокруг рынков, будь то Париж или Петроградская сторона. Несмотря на жирный намёк, содержащийся в названии ресторана, мы решили заказать общий на всех поднос с морской едой.

Буковский был хорош, я им любовался: глаза с блеском, солидность и радушие в лице, — он по внешности, да и по опыту годился бы в президенты ещё небывалой, неведомой страны — свободной России. Но не забывая, по всей вероятности, своего диссидентского прошлого, этот бывший узник Владимирской тюрьмы наслаждался ролью хозяина застолья. Поскольку он всех дружески называл на ты, я спросил его:

— Володя! Ты, наверное, читал уже мои «Русские терцины»? Как они тебе понравились?

— Ты знаешь, старик — ничего! Но как-то не «ах».

Я обомлел. Уж кто-кто, а он-то мог их оценить.

— Что же всё-таки не понравилось?

— Можно было бы обо всём покороче.

Я вновь изумился. Десять — это ж минимальное число строк для терцинной формы, короче нельзя. Такая ёмкая строфа — моя гордость, я сам её изобрёл (правда, Михаил Кузмин изобрёл раньше, но я этого тогда не знал). И тут за меня вступился Славинский:

— Это как же покороче? Вроде — «Пролетарии всех стран, извините?»

В общем смехе утонуло моё задетое самолюбие, — тем более, что к нашему столу приближался колоссальный поднос, источавший восхитительные запахи. На нём была артистически уложена гора снеди с омарами на вершине, раками и креветками на склонах и устрицами в основании.

Прочь из памяти, скудный советский общепит, забудьтесь, чёрствые пайки моих сотрапезников, прошедших огонь и воду, и медные трубы! А унылые общесознательные завтраки с овсяной или манной кашей? А комплексные обеды в рабочих столовках?

Да здравствуют устрицы, спрыснутые лимоном и сопровождаемые золотистым вином!

— Попробуй лангустину, — подсказала Наталья.

О, о лангустины! Ничего вкусней, чем эти морские твари, я не едал, а больше, увы, нигде и не приходилось.

### Странности книгопечатания

Что ж, поговорим об этих странностях, — их, вероятно, не меньше, чем у любви. Уже шестой год я находился за границей, в условиях свободы печати, много писал и где только не публиковался: во Франции и США, в Израиле и Германии, а новой книги после той первой всё не было... Критики ложно снобировали меня, издатели откровенно отворачивались. Если Пушкин под странностями имел в виду извращения, то и здесь они нашли место. Неужели парижская — нет, не ведьма, но фея — составит моё авторское счастье? Вернувшись в жизнь Урбанскую, я стал так и эдак перестраивать рукопись. Будь моя возможность, я бы издал две книги подряд: большую поэму отдельно и с предисловием (увы, теперь уже не Буковского), а затем — всё остальное, написанное до и после. Но раз выпал такой фантастический случай, пусть будет одна, озаглавленная по доброй традиции: «Русские терцины и другие стихотворения».

Розановой я звонил по утрам, и, хотя временная разница с Парижем была 7 часов, то есть там было хорошо после полудня, она тоже отзывалась бодрым голосом: «Бобышев!» с восклицательным знаком. Я желал облегчить ей набор, послав дискету (тогда уже появились компьютеры) с выверенным текстом и тем самым избежав опечаток. Но оказалось, что их агрегат этого не переваривает и приходится всё набирать заново.

— Егор сидит невылазно в типографии, — успокаивала она меня. — Набирает ваш текст.

Я бы хотел и обложку оформить на свой лад, — с помощью профессионала, разумеется.

Тем временем наше Славянское отделение пополнилось Натальей Ушиной, специалисткой по Чехову. Её наняли на четыре года с перспективой на постоянное место. Бывшая москвичка с круглыми карими глазами, с широкой и несколько робкой улыбкой, пухленькая, живая, она бывала очень симпатична. Иногда острела с

долей цинизма, но в точку. Знала прекрасно самиздат и вообще весь московско-питерский неофициоз. Словом, мы подружились и стали встречаться домами.

Её Эрик, жилистый, петушиного склада мужичок, «позиционировал» себя как художник–нонконформист, и мы с Ольгой устроили у нас просмотр его слайдов. Крупные планы с деталями были особенно хороши: советские реалии с саркастическим осмыслением и абсурдным, неадекватным текстом. Вот одна из надписей к изображению длинноносой птицы, любящей постучать по трухлявому пню: «Дятел мясной породы». Если мысленно расставить после каждого слова восклицательные и вопросительные знаки, становилось очень смешно.

И я попросил Эрика сделать макет для обложки «Русских терций». Он охотно согласился. Мы сошлись на стиле «ретро», входящем тогда в моду. У меня была книга Н. Пыляева «Старинный Петербург» со множеством гравюр, которую мне удалось вывезти в обход таможи. Выбрали вид Невской перспективы на пересечении с Фонтанкой, но с ещё деревянным Аничковым мостом. Укрощаемых коней там пока нет, но уже присутствуют родовые приметы: чуть смещённый с точки схода шпиль Адмиралтейства, да волей гравёра поставленная туда игла Петропавловки с ангелом. Дом Разумовского, или Аничкин дворец (так у Пыляева — мост Аничков, а дворец Аничкин), ещё не заслонённый классической колоннадой со стороны реки, вовсе красуется барочным фасадом. Уже в иные времена слева на задах его сада встали дома, позднее надстроенные до шести этажей, и там наверху жила моя зазноба, заноза, от которой и посейчас посвербливает у меня в сердце. Сговорившись со мной по телефону, она балетной походкой пробежала вдоль отсутствующей на гравюре колоннады, пересекала Невский и, минув угловую аптеку, шмыгала под дворовую арку. Ни арки, ни аптеки на гравюре ещё нет, там стоят пакгаузы таможенных служб и спустя столетия их накроет многоэтажный дом с богатыми квартирами, впоследствии переделёнными на коммунальные клетушки, одну из которых я снимал ради свиданий с той самой, что прибегала по чёрной лестнице и дарила мне (и — себе!) счастливые минутки.

Эта гравюра середины осьмнадцатого века, помещённая на обложку, была бы для меня тайной картой зарытых во времени сокровищ, а для читателя стала бы знаком моего неопетербургского стиля. Имячко автора парило бы в низких тучах над шпилями, а название книги пересекало бы Невскую перспективу где-то в районе Садовой. Обложка делалась уже под вторую корректуру. Первая пришла с тучей ляпсусов, пропущенных строк и, конечно же, опечаток. Опечатки — это моя особенная доука, вроде слепней и оводов для стреноженного коня на выпасе, я от них бешусь. С одной стороны — знак того, что работа идёт, а с другой — жжёт эта нечисть в чувствительные места, превращая текст в глупость, в нелепость, а то и в посмешище.

Отослал я правку и жду, и жду, и жду, бия себя по рукам, тянущимся к телефону. Наконец, приходит пакет, и что ж? Сторяча ругаю лодырей и обманщиков из Фонтене–о–Роз! Шлют те же самые опечатки, да ещё и прибавили новых. Но зато вложена записка:

*«Дорогой Бобышев!*

*Посылаю Вам вторую корректуру во второй раз.*

*Надеюсь, что всё исправили.*

*Дефисов у нас нет других и не будет. Что же до ударений и точек над «ё», то их делаем от руки летрасетами.*

*В новой корректуре обязательно их отметьте.*

*Для портрета хотелось бы иметь оригинал рисунка, т.к. с Вашей фотографии очень трудно сделать уменьшение. Не забывайте, что книга будет маленького формата.*

*Как Айги.*

*И не давите на меня, пожалуйста, не звоните мне в 2 часа ночи: давления я не выношу — механизмы сопротивления включаются автоматически.*

*А какая будет обложка?*

*Ваша М. В.»*

Эрик отказался от платы за работу, и мне пришлось ему чуть ли не силой вручить подарок: всё ту же книгу Пыляева, из которой я ранее набрал деталей для «Ксении Петербургской», и вот теперь она пригодилась для обложки. Но у меня оставалось репринтное издание, и я им утешился. А многострадальную корректуру с дефисами, ударениями и макетом обложки выслал в очередной раз Марье Васильевне. Её телефонный ответ был таков:

— Мне эта гравюра не нравится. Пришлите другую, я сама сделаю обложку.

Прислал другую, тоже с мостом, и тоже с упрятаньими во временах кладами — такой уж город! Но оригинал портрета не выслал — ещё искромсает драгоценную работу Тюльпанова! По моей просьбе Игорь сделал именно к этой книге карандашный рисунок. Конечно, надо было бы съездить к нему в Нью-Йорк, попозиловать, да куда там... Взамен этого он предложил послать ему как можно больше фотографий, сделанных единым махом, и в очередную из тогда ещё милуокских суббот Ольга взяла свой Найкон и нащёлкала целую плёнку, снимая с утра мою непрспавшуюся физиономию.

Тюльпанов прислал озадачивший меня рисунок: два лица, сросшиеся общим глазом и черепом. Одно из них принадлежало озабоченному алконавту с расстёгнутым воротом и веночком — нет, не из лавра, но какого-то плошика, а другое — спокойное и уверенное — джентльмену с галстуком-бабочкой.

Сознание заметалось в поисках смысла. Что это — двуличие? Может быть, останься я там, левое лицо было бы у меня с утра в очереди к пивному ларьку, а правое — это я здесь, на вечернем приёме в «Астронавтике»? Однако, меж левым и правым, тамошним и здешним было врезано в общий лоб пустое место, зияние — что это? Из объяснений Игоря следовало, что пустое — это угол чистого листа, и мне надлежит собственноручно вписать туда стихи по моему выбору. Портрет тогда обретёт третье, истинное лицо. Вот это — по-тюльпановски!

И я взял стихотворение «Перо и кисть» из той же готовящейся книги и вписал наискосок заключительные строфы, скреплённые дружески, даже более того, побратимски — двойной опоясывающей рифмовкой. Вообразите перо павлина, пишущее такие строки:

*Навершие парит, себя наведши  
и плоские вперяя око ввысь.  
Здесь как ни изумрудно изумись,  
древнейшее становится новейшим,*

*расплывчато-лазоровым. Но пусть  
любой из нас заплакан и не вечен.  
Живём не мы — немые наши вещи  
вбирают хищно опыт, вкус и пульс.*

*А чудо ангелического слога  
и радужные звуки свежих уст,*

*и самобытие мазка, боюсь,  
даются только за чертой итога.  
Но этот минус перекрестят в плюс  
перо и кисть щепоткою от Бога.*

Портрет таким образом получил соавтора, а двуличие превратилось в триединство.

Между тем, книга застопорилась, словно кто-то песку подсыпал в пошипники типографского локомотива: всё заклацало, закрипело, задёргалось... Стоп машина! Даже прервалась телефонная связь, — причём, самым пошлым, на уровне вранливых школьниц, образом:

— Слушаю! — ответил на мой звонок недовольный, но несомненно розановский голос.

— Это Марья Васильевна? Бобышев звонит.

— А Марь Васильны нету, — пропищала вдруг какая-то кукла.

— Марь Васильна! — заорал я в отчаяньи.

— Нету её, нету, — настаивал тот же кукольный голос.

Я покраснел от стыда за неё и, вместо того, чтобы сказать: «Как вам не совестно?», тупо ей подыграл:

— А когда она будет?

— Не знаю...

Разговоры через океан изнуряли не только мои нервы, но и семейный бюджет, и, обнаружив, что деловые разговоры я могу вести с рабочего телефона, я такой возможностью не пренебрегал.

— Как дела с вашей книгой, профессор? — спросила меня секретарша Бонни, полуседая леди с румяным лицом, всегда глядевшим на собеседника вполборота. Это у неё стало после неудачного падения с велосипеда.

— С рукописью всё хорошо. А напечатать её не удаётся.

— У меня то же самое. Никакого ответа от издателя.

— Бонни!? О чём ваша книга?

— О древней Элладе.

Я молчаливо изумился. Вот какие у нас самоцветы, какие таланты сверкают вокруг! Почему же все они писатели? Хоть бы один заваливший издатель нашёлся!

— Да, об Элладе. По ночам я вижу сны и записываю их. Они сложились у меня в книгу сновидений.

Галантного продолжения этой темы мне удалось избежать, но с той поры каждый раз, заходя в канцелярию, я вынужден был обмениваться сочувственным и репликами с моей «сестрой по перу». Как низко вы меня опустили, любезная Марья Васильевна!

Месяц молчания толсто наслаивался на другой, такой же безмолвный, на третий, четвёртый...

И вот, наконец, я узнал, что издательство «Синтаксис» широко рекламирует только что вышедшую книгу стихов ... поэтессы Малкиной! Чтоб узнать, кто ж она такая, предлагаю любознательному читателю заглянуть в более ранние главы моего текста: это та самая особа, что, распустив волосы на похоронах Яши Виньковецкого, похвалялась близостью к Бродскому, а две дуэньи — Фрида Штейн и Наташа Рымова — внимали ей с умилением и сладкой завистью: «и тоже Марина!»

Я почувствовал, что меня не только обокрали, но и зло разыграли при этом, наподобие упомянутой Фриды с украденными богинками на похоронах...

И я решил написать в «последнюю инстанцию», а для меня ею был великий писатель земли Русской, Гулагской, Вермонтской и прочая, и прочая...

Вот этот текст:

*«Здравствуйте, Александр Исаевич!*

*Возможно, Вы уже знаете моё имя, и мне не надо представляться, — во всяком случае, Юрий Кублановский рассказывал, что во время его визита в Вермонт Вы упомянули обо мне. Наверное, это было в связи со статьёй «Два лауреата», где я отстаивал Вашу сторону в одном деликатном споре и, кажется, успешно.*

*Но всё-таки я не критик, а стихотворец, начинал в Питере и ещё в конце 50-х вошёл в круг младших друзей Ахматовой, которым она благоволила — примерно в то же время, когда и Вы познакомились с ней. В Самиздате мои сочинения ходили, а вот с официальной периодикой отношения не сложились: печатался лишь изредка, да и то с искажениями. Всё же рукописи моих сборников лежали сначала в «Лениздат», а затем в «СП», — причём, по их же предложению. Лежали годами, но из этого так ничего и не вышло. Я стал догадываться, что держать рукопись и подогревать авторские надежды было с их стороны лишь удобным приёмом контролировать моё поведение. Поэтому я решил иначе, и в 1979 году с помощью Натальи Горбаневской выпустил свой сборник в ИМК'е. В том же году у меня в жизни произошли большие перемены: я женился на американке русского происхождения, которая изучала в Союзе археологию, и переехал к ней в Америку.*

*С тех пор я, конечно, написал и напечатал уйму новых вещей. Эмиграция пошла мне на пользу: вызвала столкновение двух опытов — тамошнего и здешнего, заставила мыслить обоими полушариями... Эту «стереоскопичность» я и пытаюсь выразить: в стихах об Америке («Звёзды и полосы», «Жизнь Урбанская») и особенно в «Русских терцинах». Это было уже напечатано в «Континенте» и других журналах.*

*С публикациями в эмигрантской периодике у меня не было особых затруднений. Но с изданием второй книги давно уже создалась тяжёлая хроническая проблема. В «Ардисе» и ИМК'е мне сказали прямо, что «предпочитают Бродского». В «Русские» дело завяло.*

*И вот 6 лет назад я обратился за советом в «Русскую Мысль», где не раз печатался, к Арине Гинзбург. Она неожиданно порекомендовала мне «Синтаксис». Зная репутацию М. Розановой, стал я размышлять... Но тут вдруг звонит она сама с предложением издаться у неё, за её счёт, — причём, книга выйдет через полгода. Предложение было слишком привлекательным, чтоб от него отказаться, и я передал ей рукопись с просьбой прислать договорное письмо. Договор она, конечно, не прислала, и — началось: долгое ожидание, через год — гранки с тучами опечаток, что потребовало ещё одних гранок и ещё одного года. Затем однажды, выбравшись во Францию, я просидел несколько дней с издательницей, выклеивая макет, пока всё не стало, наконец, готово для типографии, и я спокойно вернулся домой, ожидая сигнальные экземпляры через месяц-другой. Но так и не увидел их и посеёчас!*

*Что там стряслось, я не знаю, — на письма Розанова не отвечала, по телефону давала ложные обещания, а затем даже стала менять голос по ходу разговора, как только услышит, что это я звоню. Наконец, обратился я к ней просто слёзно: отдайте макет, я найду другого издателя. В ответ — ложные посулы и снова ничего.*

*Конечно, мне досадно, но здесь уже больше, чем досада. Это — подножка, вред моей литературной репутации: более 10 лет я на Западе, а результатов*

*не видно. Но, что существенней, есть у меня чувство предназначения, уверенность в том, что «Русские терцины» и стихи об Америке нужны сейчас там, откуда мы родом.*

*Я сделал уже всё, что мог, сам: набрал книгу на компьютере лазерным шрифтом, дающим хорошее качество при печати. Остаётся найти нового издателя, который взял бы мои диски и довёл дело до конца.*

*И здесь я взываю к Вам: помогите! Советом ли, рекомендацией, письмом или запиской, — уверен, что одного Вашего слова будет достаточно, чтобы такой издатель нашёлся, и книга бы всё-таки не пропала.*

*Шлю с этим письмом и оттиск книги. Пожалуйста, взгляните: а вдруг она этого стоит?*

*С наилучшими пожеланиями, искренне Ваши Дмитрий Бобышев».*

И он ответил:

*«Уважаемый Дмитрий!*

*(простите, Вы не назвали Вашего отчества)» ...*

Тут я должен прервать цитату деловым соображением: а не засудит ли меня Наталья Дмитриевна с сыновьями за то, что я печатаю записку без их разрешения? Чья это собственность — моя или их? Слыхал я о таком толковании, что цитировать или давать выдержки в любом случае можно без опаски. Вот я и привожу эту записку в сокращённом виде, как цитату:

*«Сожалею, но Ваше представление о моих связях с издательствами — нереальное. У меня просто их нет — никаких, ни единого знакомства, кроме ИМКИ. Вы сильно ошибаетесь, что «достаточно письма, записки» от меня, чтобы издатель нашёлся. Во многих издательствах будет даже как раз наоборот: достаточно моей рекомендации, чтобы утопить рекомендуемого (такие случаи были, вове и не в издательствах).*

*Я снёсся с Никитой Алексеевичем Струве по поводу Вашей просьбы».*

Тут я ещё раз прерву цитирование, на этот раз с целью прокомментировать. Зачем же он обратился к Струве, если я ему сообщил, что тот напрямую мне отказал со словами «предпочитаю Бродского»? Может быть, чтоб разузнать обо мне? Ну, тот его и просветил... А мотивировал совсем по-другому.

*«Он мне объяснил: при новой динамике на родине и именно теперь, когда ИМКА из проклято-запретной перешла в центр внимания, — льются к ней запросы по литературе религиозной, философской, исторической — по всему тому, что пропущено десятилетиями, — а при ничтожных производственных возможностях ИМКИ заниматься сейчас новым сборником стихов они никак не берутся.*

*А в советских издательствах? — да там сейчас жалуется, вообще чуть ли не вся литература умерла или замерла. Такое время.*

*Увы, не могу Вам помочь в печатании.*

*Всего Вам самого доброго».*

И — подпись закорючкой.

Отказала мне в помощи «последняя инстанция». И этот отказ я могу понять, особенно, если насплетничал Струве. Но остаётся загадкой поведение Розановой: там ведь больше, чем обычное наше неряшество. Но что это — неужели она специально обманывала и тянула, чтобы книга не вышла в свет? Тогда — зачем? По своему ли, по чужому ли злему умыслу? Много тут можно нафантазировать, но я не стану. Лучше приведу ещё свидетельства, подобные моему.

Вот, например, Эдуард Лимонов в «Книге мёртвых» описывает совершенно близнецовую — слово в слово — историю, как он приезжает в тот же пригород Парижа с цветистым названием, желая издать у Синявских свою книгу, — кстати, одну из лучших: «Дневник неудачника». Розанова обещает, Синявский нахваливает, обнадёженный автор даже помогает по хозяйству: снимает пиджак и целый день вкалывает, выгружая хлам из подвала особняка. Даже подмёл его, наконец...

Результат — тот же: «С "Дневником неудачника" не получилось. Они тянули с публикацией, издательство было маломощным...»

Свой диагноз для нашей общей феи с метлой поставил Сергей Довлатов 8-го апреля 1986 г., то есть примерно тогда же, в письме Игорю Ефимову. Его характеристикам не всегда можно верить, но эту — я подтверждаю:

*«Марья Синявская издает нашу (с Бахчаняном и Сагаловским) книжку, но это отдельная, страшная, мистико-патологическая история. Она, уверяю Вас, абсолютна сумасшедшая женщина. Она посылает мне назад мои к ней нераспечатанные письма и параллельно задает вопросы, на которые я подробно отвечаю, а потом эти ответы опять-таки возвращаются ко мне нераспечатанными... Ужас, ужас!»*

Но книги тем не менее вышли. Только — в других местах, поздновато, плоховато... Моя — тоже. Носил я диски с рукописью, ступая по шатким доскам, настеленным на место уже украденных паркетов Шереметьевского дворца, где всё ещё находился эфемерический Союз писателей и притулившееся к нему крохотное издательство. У него было мегало-маниакальное название: «Всемирное Слово». Книга вышла, её тираж долго где-то валялся на складе с тараканами, а дворец после перетягиваний от одних владельцев к другим сгорел вместе с Белым залом, Красной гостиной, Готической библиотекой и рестораном, — в точности, как булгаковский «Дом Грибоедова».

Но это случилось потом.

А тогда, в тяжёлый момент протянул мне руку один волшебник, виртуоз линий, цвета и форм, оказавшийся по совместительству кабардино-черкесским князем.

## Рыцарь изрезанного образа

Это было в самом начале моей Урбанской оседлости. Вернувшись домой, я обнаружил под дверью толстенный почтовый пакет. Он был так же тяжёл, как и толст, и я не без напряжения внёс его в дом. Вскрыл ножом упаковку и немедленно превратился в счастливого обладателя двухтомного альбома, содержащего фотографии, заметки и, главным образом, цветные репродукции работ Михаила Шемякина. Качество печати было изумительным, формат огромным, бумага великолепной, и ценность двухтомника стремительно подскочила, когда на авантитуле я увидел такую надпись:

*«Уникальному и блистательному Поэту нашей эпохи — Дмитрию Бобышеву с почтением от почитателя Его Дара — Миши Шемякина. 1986. NY».*

Подпись была с такими же невероятно шикарными росчерками, что и реверансы эпитетов, расточаемых художником в мою честь. Такая пышность меня даже смугила, но с первых перелистанных страниц я нашёл ей объяснение в театральном артистизме жеста, в княжеской широте, увидев фотографию всадника в черкеске с газырями. Это был отец-кавалерист, герой двух войн, Гражданской и Отечествен-

ной, с иконостасом орденов за свои геройства—злодейства, когда он совершал лихие набег по тылам неприятеля, вырезая полевые госпитали. Мать — танцовщица и актриса, умыкнутая чуть ли не прямо со сцены бравым кавалеристом, впоследствии — комендантом Кенигсберга. У их сына Михаила сложилась своя карнавальная круговерть в судьбе, выносившая его то в места скорбей, то к звёздам: художественное училище, дурдом, монастырь, Эрмитаж, ранняя известность, головокружительная эмиграция, Париж, Нью-Йорк, слава... По эксцентричности стиля в жизни и живописи он стал одним из соревнователей Сальвадора Дали, следуя за гениальным безумцем по пятам.

Всё же умел он смиряться, — как, например, перед московским иератом Шварцманом, уйдя к нему в ученики и, как показало дальнейшее, в не— послушники, по каковому поводу Михаил Матвеевич ревниво ворчал.

О первой встрече с Шемякиным в Ленинграде я рассказал в более ранних главах этого повествования, — встреча была краткой, а память о впечатлениях — яркой и долгой. То же могу сказать и о второй встрече на мега—выставке «Галерея галерей» в огромном зале на Манхэттене в первые месяцы моего нью-йоркского, тоже карнавального, существования. Должно быть, это был музей Гугенхайма, потому что запомнился высоченный холл на все этажи, поделённые на выгородки для отдельных галерей, которых в сумме было не десять и не двадцать, а за сотню, и каждая пестрила на свой лад. На первых этажах восприятие, защищая себя от яркости, тупело поневоле, глаз «замыливался»...

И вдруг я оказался в выгородке галерейщика Нахамкина, который специализировался на советских нон-конформистах. Там висели Целков, Рабин, стояли на подставках ажурные черепа А. Нея, а в середине сидел на стуле живой Шемякин. Радостно было, что он сам меня признал, мы тепло поздоровались, поговорили и... всё!

И вот теперь — этот могучий подарок, который, судя по исправлениям на картонной упаковке, переадресовывали трижды, прежде чем доставить в мои руки. Я поблагодарил щедрого мастера по телефону, и он пригласил меня при случае посетить его пентхаус в нью-йоркском Сохо. Этот район нижнего Манхэттена ещё недавно считался не очень хорошим, но к тому времени стал улучшаться: пошивочные мастерские стали исчезать и, пока цены не поднялись, недвижимостью южнее *Houston* (по нью-йоркски Юстен) Стрит бурно раскупалась под художественные ателье и галереи.

Здание, как и вся улица, было мрачно-безлюдно и запущено, но лифт действовал. Я вознёсся на самый верх, выйдя из раздвижных дверей прямо в огромную студию, и у меня разбежались глаза от обилия разнородных, часто экзотических предметов, которые стояли, висели или громоздились повсюду. Прямо на полу, например, находилась собачья будка, а в ней лежал, высунув разбойничью морду с пятном, на манер синяка под глазом, дряхлый и уже не опасный бультерьер, — ветеран по кличке Урка, переживший своего брата-бандита, как пояснил хозяин.

Он помог мне освоиться в пестроте этого протянутого вишьрь и вглубь помещения, давая пояснения, как экскурсовод:

— Это вот — египетская мумия. Я решил их коллекционировать.

Он приподнял из ящика некий предмет, ссохшийся, лёгкий, напоминающий по силуэту человеческое тело, с торчащими из сморщенного коричневого личика зубами.

— Настоящий засушенный мертвец! А почему не в пеленах? Они, кажется, своих фараонов пеленали...

— Ну, этот — не фараон, а какой-нибудь простой бедуйн. Наверное, сбился с пути во время бури, его и засыпало... А песок, — он консервирует!

В ларе находились ещё какие-то подобные экспонаты, но с меня хватило и этого.

— А я люблю мумии, они — вечные. Вот и в моих натюрмортах кусок хлеба, огрызок яблока — всё мумифицировано...

Это я видел в них и раньше, когда рассматривал альбомы с Ольгой, но тут впервые получил объяснение от самого автора. Станным образом, он сочетал элегантно и безобразное... Но линии были безупречны, а краски, как умно подметила Ольга, соответствовали хроматической гамме, заданной высокой модой сезона. Впрочем, яркость была искусно пригашена лёгкой сеткой «старинности», нанесённой на поверхность его литографий и живописных работ.

На большом мольберте в самом центре ателье стояла неоконченная картина, — женская фигура, искажённо проступающая из совсем иных, землисто-трупных тонов. Художник пожаловался на галерейщиков:

— Не дают работать так, как мне интересно. Требуют то, что лучше продаётся. Хотят, чтобы я повторял те же приёмы...

В ту пору его начала интересовать скульптура. На стенах висело несколько барельефных отливок его натюрмортов. Бронза сообщала знакомым сюжетам особое благородство. «Вот где вечность, — подумалось мне. — Не в сушёных же трупах!» Будь я галерейщик, я б только это и требовал от художника. Но Шемякину уже хотелось монументальных форм. С гордостью показал он на бронзовый фрагмент — нос, прикреплённый к стене на видном месте.

— Это — подлинный Майоль. Дина мне подарила в хорошую минуту.

Имелась в виду Дина Верни, натурщица и наследница великого Аристиды Майоля, одна из парижских фей с метлой, на которой она и вывезла Михаила в Париж. Я услышал подробности от поэта Олега Охупкина, который был близок к «Шемяке». Мысль об эмиграции тогда страшила, отталкивала меня, и я написал стихи со слов Олега:

*...и, зрелище вполне лака-баракино  
(Лака-Барака — домовый художеств),  
на Вест летящим видели Шемякина,  
на кисточке верхом, ну и худой же!*

Охупкин, между хоровым училищем и реставраторской ремеслухой, учился ещё в Средней художественной школе при Академии, откуда, вероятно, и шло их знакомство. Он рассказал мне также о нечистой силе, водившейся в здании Деламота. Юные мазилки, в особенности перед экзаменами, дразнили домового, выкрикивая его имя во вьюшку в стене, куда привратник, по преданию, вставлял трубу от самовара. Откроют крышку, крикнут: «Лака-Барака!» и бегут опрометью.

«Ну и худой же!» — это я воспроизвёл буквально слова Олега, ходившего провожать Шемяку в аэропорт в 1971-м. При нашей встрече в Сохо он выглядел сильным, уверенным в себя мужчиной в высоких сапогах и камуфляже. Его лицо молодого идола пугало теперь устрашающими шрамами, — симметрично на обеих щеках. Такие же шрамы и так же симметрично красовались ниже локтей из-под закатанных рукавов. Это не было подобием дуэльных рубцов буршей, — глубокие порезы явно были нанесены той же рукой мастера, что выводила элегантные линии его рисунков!

Я не сразу решился, но всё-таки спросил: «Откуда шрамы?» Он пропустил вопрос мимо ушей, но потом заметил невзначай:

— Я ведь сумасшедший!

И тут же с восхищением заговорил «как петербуржец с петербуржцем» о Петре Первом. Мы с ним оба родились в иных местах, но именно Петербург, а не Ленинград нас действительно единил. Да, блокада, голод и смерть были ленинградскими, и в силу этого страдальческий ореол переносился на имя Ленина, большевику №1 никак не принадлежащий. Нет, для нас это был не город с советским названием, а город Петра, причём для меня — то в первую очередь — святого апостола, ставшего камнем, а для художника, вероятно — город страшного, сумасшедшего, но и карнавального императора.

И тут Шемякин меня поразил, заявив:

— Я собираюсь поставить памятник Петру в Санкт-Петербурге!

— Где, где? — спросил я, подумав, что слышу бред.

— В Летнем саду, как раз перед его дворцом.

— Как это возможно?

— Я изучал... Когда я работал такелажником в Эрмитаже, я много бывал в петровских залах. Оставался вечерами, рисовал...

— Да, помню, там же — таинственная «восковая персона»! Её то прятали, то выставляли.

— Да, и не только. Там — его гипсовая маска, которую он велел снять при жизни. Там столько всего, но держится в небрежении! Я сделал копию с маски и вывез её сюда. Я нашёл в мусоре это вот полотно в жутком виде. Восстановил его, отреставрировал, и оказалось — прижизненный портрет Петра!

Этот разговор имел важное для меня продолжение, и я к нему ещё вернусь. Но сейчас на время прервусь, чтобы перенестись в будущее, которое казалось мне тогда невероятным бредом.

В нём уже всё свершилось. Памятник воздвигнут, и я пишу о нём статью, которую отдам в философский сборник «Метафизика Петербурга». Чтобы не пропала она в ворохах перестроечной литературы, стоит её привести здесь, хотя бы в сокращённом виде.

## Медный сидень

Многое рухнуло в империи в тот симметричный по написанию 1991 год: прежде всего, она сама, — начиная с отваливающих краин и кончая пустым дуплом сердцевины. Развал может продолжаться, но дольше всего, наверное, продержится имперская мифология и в особенности ностальгия по ней, потому что въелось синопоклонничество не только в низы нашего характера, но и в высокие образцы духовности и культуры. Особенно это чувствуется на берегах Невы, в средоточии символических сил бывшей Империи, в её бывшей столице.

Там произошли два обнадёживающих события. Одно из них — возвращение городу «прекрасно-страшного», как звала его Зинаида Гиппиус, имени Санкт-Петербурга. А мы — то десятилетиями, стыдясь навязанного силком прозвища, старались заменить его то фамильярным «Пигер», то высокопарным «Петрополь». Ведь даже предреволюционное переименование в «Петроград» с его славянщиной было ошибочным. Оно оказалось предпочтением земного, пусть и царского, покровительства — покровительству небесному, свято-апостольскому. Такая словесная

безвкусица и создала прецедент: если можно звать город именем одного властителя, можно называть и именем другого. По-своему заклала Петроград поэтесса-ведунья Гипсиус:

*...Ты утонешь в тине чёрной,  
Проклятый город, Божий враг!  
И червь болотный, червь упорный  
Изъест твой каменный костяк!*

(А я в «Русских терцинах» хотел его засыпать океанским песком на толщину километр, чтоб законсервировать до лучшего будущего! — Д. Б.) Теперь заклания сняты, город расколдован. Множество диких уток остались зимовать в прудах и каналах. Люди вдруг запели на улицах, в садах заиграли свирели и флейты, на площадях загарцевали ряженые всадники и зареяла в воздухе вместе с трёхцветными флагами какая-то надежда: — Нет, не быть сему месту пусту!

Другое символическое событие произошло ещё раньше, в конце июня: новая статуя Петра Великого была воздвигнута в самой сердцевине города, в той умозрительной точке, куда, видимо, ставилась ножка циркуля его первостроителя, против стен Петропавловского собора в крепости. Если не считать многочисленных бюстов, это будет третьим полномерным памятником императору в его столице, причём, памятником необыкновенным. В отличие от фальконетовского тяжело-звонко скачущего медного всадника или мерно цокающего растрелиевского кесаря, этот сиднем сидит даже не на троне, а в обычном прямом кресле.

Более того, безо всяких монархических причиндалов вроде скипетра и державы, и не только без короны, но и без парика, устало стянув его с маленькой лысой головы, сидит этот верховный истукан России с выражением брезгливости, изнеможения и властной ненависти на тёмном лице...

Если растрелиевский кесарь являл образ победителя в зените незыблемой славы, а фальконетов — революционного самодержца, исполненного вулканической энергии, то третье мы видим в его поражении. Это уже не столько император, сколько старый голландский Питер Баас, корабельный прораб России в тот воображаемый момент, когда его верфь сгорела по нерадению, корыстолюбию и лености подчинённых, а то и ещё хуже: подожжена, чтобы скрыть хищения, да и концы в воду...

На цоколе сидящей фигуры видна необычная надпись: «Основателю Великого Града Российского императору Петру Первому от итальянского скульптора Карло Растрелли и от русского художника Михаила Шемякина. 1991 год. Отлита в Америке». Здесь необыкновенно само утверждение о сотрудничестве двух отстоящих по времени почти на три столетия авторов: итальянско-русского придворного ваятеля Петра Великого и нашего современника русско-франко-американского художника, но оно документально оправдано.

Исследователь и историк искусств Всеволод Петров в книге «Конная статуя Петра работы Карло Растрелли» приводит хроникальную запись: «Растрелли до 1719 года был у дела модели персоны его императорского величества, сидящей на великом коне». И далее он сообщает: «Стремясь передать точное портретное сходство, Растрелли в 1719 году снял с Петра гипсовую маску».

Вскоре после смерти Петра в 1725 году Растрелли создаёт уникальную, странную и страшную фигуру, сидящую в креслах, так называемую «восковую персону». Для придания точного сходства с умершим, скульптор использует всё ту же маску, одевает фигуру в подлинную одежду Петра и снабжает её двигательным устройством.

Вот эти-то растрелиевские выдумки — сидящая «персона», да маска с живого Петра и являются его вкладом в соавторство с Михаилом Шемякиным. Художник использовал в своём замысле и то, и другое, но, конечно, внёс в бронзовую фигуру своё пропорциональное видение и свою психологическую, даже можно сказать, историософскую трактовку человека и императора Петра Великого.

Трудно без обмеров судить о сидящей фигуре, но на глаз похоже, что она создана в натуральный двух-с-чем-то-метровый рост. Однако, голова его, — вероятно, и так небольшая при колоссальной длине туловища и не столь уж широких плечах, — кажется уменьшенной, голой из-за отсутствия парика. Лядвии его массивны, и кажется, что сидит он крепко, но к голеням ноги утончаются, в особенности по контрасту с большими ступнями, обутыми в длинные с обрубленными носами башмаки. Такие пропорции придают, во-первых, монументальность этому сравнительно небольшому памятнику, сидящему на низком цоколе, а во-вторых, особую шемякинскую гротескность, характерную для его живописи и графики.

Особенно выразительны руки, лежащие, как у «восковой персоны», на подлокотниках кресла. Однако, спруты пальцев почти шевелятся, как бы продолжая разминать тёплый воск России и пытаясь извлечь из её бесполезной мягкости что-то путное. В этих кистях, пожалуй, больше всего выразился Шемякин, — их изящно-зловещую вычурность можно назвать автопортретом художника, — настолько они приусищи его индивидуальной манере. А вот трактовка головы и лица, как мне кажется, имеет ещё одного, литературного «соавтора» — великолепного, полузабытого ныне прозаика Юрия Тынянова с его замечательной повестью «Восковая персона», опубликованной в 1932 году. Язык повести, её стиль, воспроизводящий петровскую эпоху, и психологическое проникновение в своих героев — агонизирующего Петра и его ваятеля Растрелли — удивительно созвучны бронзовому языку шемякинских линий и форм. Более того, когда глядишь на монумент и одновременно вспоминаешь эту повесть, — и то, и другое превращается во взаимную иллюстрацию.

Вот о голове и костюме: «...Голова была стриженная, солдатская, бритый лоб. Камзол... давно строен, сроки прошли, и обветшал.»

Вот о конечностях: «Рукам его снилась ноша. Он эту ношу таскал с одного беспокойного местав другое, а ноги уставали, становились всё тоньше и стали под конец совсем тонкие.»

И вот сидит он на стуле перед Комендантским домиком, уже умирающий, но всё ещё грозный император, глядит прямо перед собой на возвышающийся собор Петра и Павла, где лежат его кости, мокнет под дождём и сохнет, темнея лицом под солнцем. Обдувает его сиверком от шведов и мокряком с болот, а то и третьим из местных ветров — чухонским поперечнем. И думает он совсем по-тыняновски: «Каналы недоделаны, бечевник невский разорён, неисполнение приказа. И неужели так, посреди трудов недоконченных, приходится теперь взаправду умирать?»

Подходят к нему иностранцы, которых он всегда любил, подходит и местный люд — подданные, которых он держал строго, которых не жаловал за то, что увливаются, не радеют и норовят стащить из казны. И ещё — между собой перешёпываются о нём: «Бороды бреет... Срамота! Кот с усами, Антихрист!»

Эти, теперешние, тоже недовольны, говорят: «Совсем непохож. Голова лысая, и ноги тощие. Какой же это император?» И хочется их спросить: «А вы что, были у него в гостях и сами видели? Ну и как, — те кесари в тогах и венцах оказались более похожи?» Дело, думается, в том, что толпе импонирует герой, властелин, победитель, она отворачивается от побеждённых. Ведь был же отвержен, от-

ставлен на задворки гениальный андреевский Гоголь. Таков инстинкт случайного скопища, а воркотня специалистов имеет совсем иные причины...

В канун 1986 года я побывал у Шемякина в его нью-йоркской мастерской на Вустер Стрит в Сохо. Много лет зная и ценя его живописные и графические работы, я был поражён, увидев целый ряд больших бронзовых рельефов редкой красоты: натюрмортов и голов, частично повторяющих в металле мотивы его живописи. Но были и новые темы. Когда я спросил о его планах, он ответил, что собирается отлить памятник Петру Великому и установить его в нашем Санкт-Петербурге. Это изумило меня, и прежде всего в ремесленном отношении: ведь от рельефа до объёмного монумента существует значительная дистанция, и чтобы одолеть её, нужны либо месяцы работы и развития, либо невероятный творческий прыжок. Кроме того, в политическом отношении Петербургом в те времена и не пахло, а перестройка той поры вызвала лишь смесь надежды и скепсиса...

Я не уверен, движется ли История по спирали или избирает другие траектории, но знаю по опыту, что некоторые свои дуги она замыкает в круги. Одним из таких трёхвековых кругов, соединивших начало и конец великой Империи, и является соавторство Карло Растрелли, ваявшего отца-основателя города и державы в самом начале, и нашего земляка Михаила Шемякина, вылепившего образ, замыкающий этот круг.

Им стал пугающий, хотя и не очень страшный бронзовый сидень, медно брызжащий и нанавидище глядящий на всё новое, как и положено ветерану, императору на пенсии:

*Ах, своей столицей новой  
Недоволен государь.*

Только не «новой», как у Ахматовой, а уже состарившейся, обветшалой, запущенной, но всё ещё поблескивающей кое-где позолотой.

Эта отставная, как и её создатель, столица вполне уже созрела, чтобы стать пышным имперским надгробием конца эпохи. Но — кто знает? Может быть, ей суждено ещё стать мегаполисом следующего, неизвестного нам тысячелетия.

## Бестиарий

Предновогодние разговоры с Шемякиным в Сохо оказались для меня важнее, чем я их тогда воспринимал. Но и за первое знакомство стоило бы поблагодарить Сашу Тархова, который многого ожидал, приведя меня к экстравагантному мастеру. Нет, сами-то разговоры были для меня не просты: эксцентричность увиденного, странность обстановки и внешности художника не вызвали полного доверия к его словам, да и тон беседы часто менялся — от предложений дружбы до высоких деклараций, от обращений на «ты» до внезапных переходов на «вы», стояло лишь мне последовать его интонации... Как эта игра называется — не знаю.

Но главное состоялось. Шемякин предложил мне сделать совместную книгу, — причём, он без обиняков объявил, что берёт на себя издательскую сторону дела и, конечно, иллюстрации, а я — тексты. Видя мои колебания, он добавил:

— Не обязательно писать новые. Соберите, что у вас уже есть про Петербург, и будет достаточно!

А не дать ли ему воскресить «Русские терцины», насмерть зарезанные Розановой? Вот было бы здорово! Там ведь есть и Петербург, и Запад-Восток, и Западное-Восточное, — вехи, которые прошёл он сам. Но стилистически это не в его духе. А шанс единственен, и художник может передумать. Нужно то, что его заденет, от чего отказаться он просто не сможет. И я сказал:

— Предложение с благодарностью принимаю. Но чувствую и обязанность! Уже напечатанные стихи для совместного дела, мне кажется, не подходят. Я берусь сочинить совсем новый текст, специально и только для вас. Согласитесь ли вы подождать примерно полгода, ну может быть, несколько дольше?

Его согласие мы скрепили рукопожатием.

Шемякина единила со мной ещё одна, весьма мучительная тема для обоих: смерть Виньковецкого; он так же, как я, болезненно воспринял его добровольный уход. Вместе с двухтомным альбомом он прислал цветную репродукцию своей картины «Памяти Якова Виньковецкого», и там, по бокам от страшной центральной фигуры, как бы рожающей свою же, не менее страшную смерть, были вписаны какие-то знакомые тексты. Я узнал отрывок из стихотворения «Яшина верёвочка».

Всё это объясняло шемякинское письмо, написанное от руки тонким пером и размашистым почерком. Привожу его сокращённо:

*«12 октября 1986. NY.*

*Дорогой Дмитрий!*

*Всегда в восхищении от Вашей поэзии. Был потрясён Вашим стихотворным надгробием Якову Виньковецкому... Решил сделать ему своё посвящение в графике. Надеюсь, Вы не будете на меня в обиде, увидев, что я включил часть Вашего посвящения бедному Якову в свой лист "Памяти Я. Виньковецкого".*

*Также и кусочек стихотворения И. Бродского (которое смыкается по смыслу с нашими думами о судьбе художника). И. Бродский — поэт которого я наряду с Вами считаю на сегодняшний день (И во Веки Веков!) истинными столпами Русской Поэзии)...*

*Посылаю Вам свои книги.*

*Всегда Ваш — Миша Шемякин».*

Я ему вскоре ответил компьютерным письмом (я тогда осваивал наш с Ольгой Apple Macintosh), выбрав для этого шрифт «Санкт-Петербург»:

*«4 ноября 1986 года.*

*Дорогой Миша!*

*Благодарю за щедрость и за Ваше расположение ко мне.*

*Фотография картины, посвящённой памяти Виньковецкого, будет у меня находиться на стене рядом с его подарком. Интересно заметить, что и Ваша, и его работа сделаны в тех же тонах. Тот страшный духовный за-фук, изображённый Вами, трагедия без катарсиса (а его и быть не может), испытывается и мной, когда я думаю о Яше.*

*Семь лет назад я гостил у него в Техасе. Помню, Яков показывал мне океанский аквариум. Глядя на экзотических рыб, он неожиданно и очень точно заметил: «Чистый Шемякин». Действительно, там плавали Ваши «метафизические головы»!*

*Теперь я разглядываю роскошный дар, присланный Вами: невероятно монументальный свод работ, которого хватило бы на несколько творческих жизней. Здесь встречаются те вещи, которые меня впервые впечатлили в Ленинграде на выставке в Консерватории, и более поздние, увиденные во время единственного посещения Вашей мастерской, и совсем позднейшие: разные манеры при элегантности единого почерка.*

*С радостью я обнаружил в монографии портрет М.М. Шварцмана, которого очень ценю, и несколько репродукций его работ. И — Ваш привет его горнему миру от нашего падшего.*

*Спасибо.*

*С дружеским приветом,  
искренним расположением  
и благодарностью,  
Дмитрий Бобышев».*

Я тогда обмрил шемякинскую аллеорию, изображающую бедного самоубийцу с текстами «столпов», но на стене долго держать не смог — уж больно страшна...

То, что стало частью моей жизни (и посейчас висит над камином), это его красочный подарок к наступающему году, который он мне вручил при расставании — литография с изображением двух голов: всадника в треуголке и его коня. Но ещё роскошнее была дарственная надпись, — не решаюсь даже воспроизвести её здесь из-за слишком пышных эпитетов.

А теперь задачу я взял себе не из лёгких. Что ж, это был уже чисто американский «вызов»: какой сюжет мог бы вобрать всю эту, во многом мрачную, пестроту личности художника, его окружения и его работ? Как вопрошал словесный волшебник Михаил Кузмин:

*Где слог найду, чтоб описать прогулку,  
Шаблы во льду, поджаренную булку?..*

А здесь вместо булки — мумии, шрамы, носы... Но и — европейское качество стиля, элегантность! А в содержании, в сюжетах — мистика, маняще-отгадывающая загадочность... И первое слово нашлось — искушение. Искушение — кого? — святого Антония, конечно, — и, конечно же, босховского, в первую очередь... Искушение — чем? — не эротическими же соблазнами (хотя ими тоже), но страхом, жаром массивной плоти и, наоборот, её исчезающей иллюзорностью, безумием абсурда и — равным образом — логического умствования, сюрмом, ужасом от чёрного колодца в самом себе, — то есть всем, что отвлекает святого от его молитвенного подвига.

Явилось и второе слово — бестиарий, галерея фантастических зверей, полумифических чудовищ, которые обладали мозгом не только нильского аскета, но и умами его современников. А что, если соединить обе средневековые легенды в одно? Это и будет тот текст, от которого Шемякину не отвернуться, который и будет он сам!

Где же искать все эти прелестные легенды, о которых я имею лишь лоскутные, хотя и яркие клочки сведений? Конечно, в нашей прославленной библиотеке, которую я иногда и поругиваю... По серомраморным полированным ступеням наверх, мимо четырёх панно с аллегорическими девами, картами обеих Америк, звёздного неба и Арктики, мимо сменяемых листов Одибон (орнитологического) общества — какая там пшичка сегодня выставлена? — и в Славянское отделение библиотеки... Вот где я оценил, наконец, сделанное Ральфом Фишером!

Едва я объяснил библиографу Хелен Салливан, что мне нужно (она понимает по-русски, но говорим мы по-английски), как она тут же осветливила меня известием:

— Мы только что получили альбом «Средневековый бестиарий», он сейчас оформляется. Это — прекрасное издание с цветными репродукциями. А подлинная рукопись находится в Публичной библиотеке в Ленинграде. Если нужно для работы, я пойду и приостановлю оформление. Держите у себя, сколько нужно!

Она ушла за книгой, а я засиял от такого удачного оборота дел. Ко мне тут же подседа с разговорами библиотекарша Джуди. У неё открытый взгляд, гладкая кожа, прямая осанка, есть своя, хоть и не совсем женственная, интересность. Я даже подумал: а не поухаживать ли мне за ней? Нет, с такими, наверное, лучше

дружить или играть в теннис. Она тоже занимается славистикой, но её специализация — болгарские музыкальные инструменты. Пожалуй, и дружбы у нас не получится, уж очень мы разнонаправлены...

Тем временем, Хелен принесла мне книгу, и я улетел, словно степной краснохвостый орлан (*Buteo haqlani*) из альбома Одибон, держа драгоценную добычу в когтях. Я держал её дома несколько месяцев, пока не закончил задуманную поэму «Звери св. Антония», но в библиотеку заглядывал постоянно.

Всё это время с Джуди происходили странные трансформации. Она коротко остриглась, стала ещё более походить на мальчика. Гладкое лицо покрылось красными буграми. Пока они сходили, черты огрубели, походка омужичилась, и, наконец, зайдя в уборную, я встретил её там, застёгивающую ширинку.

— Хай, Джуди! — пролепетал я в недоумении. — Почему вы здесь?

— Меня теперь зовут Джо, — ответило это существо и покинуло уборную.

Я подумал: оно стало мужчиной, чтобы отныне покорять женщин... Должно быть, исполнилась мечта старшеклассницы, обойдённой вниманием парней. Но история оказалась гораздо сложнее! Апофеоз её наступил тогда, когда Джо женился церковным браком на ... такой же трансвесцитке, ставшей, как и он, «мужчиной»! Или они оба вышли друг за дружку замуж?

Вот кому было бы прямое место в моём bestiarii.

### Искушение творчеством

В сущности, я взял заказную работу, сам же её и выдумав. Вот, — уговаривал я себя, — докажи, что ты профессионал. Насчёт этого понятия в моей голове давно уже шли дебаты. Профессионализм признавался только как владение мастерством и знак качества, а не как способность зарабатывать пером — это называлось иначе: халтура. Обязательное ежеутреннее отсиживание у письменного стола и в особенности идеологические заказы, как например тот, что делал мне хороший человек В. С. Бахтин к 70-летию Ленина, отвергались вежливо, но твёрдо. К презренному профессионализму относилась и гонка строк, характерная для слишком, слишком многих: от Некрасова и Маяковского, и — до...

Но это же не заказ, — говорил я себе, — а лишь совместная работа. Однако она должна быть классной и стильной, никак не ниже того, что делает Шемякин. А не зачерпнуть ли каплю бродильного сусли, из которого берёт сам художник? Это — идея... И непрозрачное «мутнышко» было заронено в молитвенное сознание святого подвижника, — чуточка, самая малость грязи, без которой, оказывается, нет ни творчества, ни жизни как таковой...

И — пошло! Альбом из Публички оказался бесценным подспорьем, — ну просто кладезем вдохновений. Зверям, даже существующим в природе, а не только мифологическим, были там приписаны такие яркие небывлицы, что они уже представляли собой не абсурд или нелепицу от незнания, а чистое искусство... Сюрь! Это были символы, но с потерянными звеньями смысла, отчего они становились алогичны и убедительны, как вера в волшебство, в чудо, то есть сами являлись поэзией! Пантера, например, необоримо притягивала жертвы... ароматом своего дыхания! Слон, прежде чем обрюхатить слониху, вонзал в землю бивни, откапывал и жрал корень мандрагоры! А таинственный единорог оказывался то невинной жертвой вероломных рыцарей, то соблазнителем, похотливым на девственниц, как сюзерен.

Я намеренно впустил в своё сознание эту безуминку, считая её высшей, хотя и неверной опорой для художественного умения, — примерно тем же, чем является канат у акробата. И что ж? Мой жонглёр изобразил, рискованно покачиваясь, целый ряд странных образов, рыб, насекомых, диковинных птиц и совсем уже вычурных гибридов, порождённых пастушеской фантазией древних греков.

Неплохо, даже весьма «аппетитно» было описано пожирание — с помощью бамбуковых палочек — мозга живой обезьяны, сдобренного соевым соусом!

Но надо ступить и дальше: собственное тело подвижника обернулось ему зверем, — хотя и частью его Я, но частью низменной, обаянной «мясом» и всеми его страстями...

И этого мало? Вот ещё чудище — метафизический зверь, существующий лишь в сознании, — но, вылезая из него, нападает сзади — сначала мучая страхом, а потом разгрызая породившего его аскета от затылка до крестца...

Может быть, достаточно? Нет и нет, и поделом святому грешнику, — ведь недаром атрибутом св. Антония считается свинья! Тут уж я припомнил всё: и осквернённую солдатами хрюшку, и мариупольского кабанчика, которого при мне разделявали, предварительно опалив щетину паяльной лампой, и шемакинские зарисовки из Чрева Парижа, и первоначальную мясную тушу в его ленинградской мастерской...

Теперь, я подумал, этого хватит и для меня, и для бедняги отшельника с таким взбесившимся зверинцем в голове... Но ведь он — святой, и потому обязан побороть все наваждения! И я стал писать заключительную главу: «Заклятие зверей». Пока сочинялась, она впечатлила меня самого. В ней св. Антоний прикрикнул на бесовские кривляния, и те присмирели. Экзорсизм и молитва, образы райских невинных игр и элементы магического заговора утвердили его победу. Глава загнула всю книгу и поставила точку.

*Небо — ключ.*

*Земля — замок. Се слово крепко.*

И я отправил рукопись Шемякину с таким сопровождением:

*«Дорогой Миша!*

*Я всё время помню о Вас и о нашем уговоре, но Вы обо мне, вероятно, уже забыли: политика, многочисленные интервью, не говоря уж о графике, живописи и вааянии. Я порывался несколько раз Вам звонить, но увы...*

*Тем временем, я подошёл к концу крупной вещи в стихах, — возможно, книги или по крайней мере поэмы, — которую я задумал и обещал выполнить специально для Вас. По существу, это — галерея зверей, наподобие средневекового bestiaria, в которой существа и чудовища предстают фантастическими и мифологическими свойствами, скорей чем натуральными.*

*Но в то же время это и собрание зверских образов, искушавших и устрашавших когда-то св. Антония, чьё прельщение он победоносно отверг и одолел (а иначе не был бы святым!)*

*Именно комбинация двух известных европейских сюжетов (мифов, легенд?) является моей сузубой новинкой, остальное всё лишь стихотворный текст, которому Вы — судия в том смысле, что в нём предполагаются поля или даже целые листы для Ваших творческих росчерков... Возможно, я туда добавлю ещё несколько страниц, но это уже детали, и книга сейчас видна вся.*

*Поэтому я тороплюсь послать её на Ваш просвещённый отзыв, дабы добрым намерениям соответствовали и дела.*

*Искренне Ваш Дмитрий Бобышев».*

Был ли немедленный ответ, я не помню... Недели, а по ожидальному времени так и — века! — протекли, прежде чем я не выдержал и позвонил Михаилу. Оказалось, что он вовсю работает над иллюстрациями и уже отыскал подходящую типографию в Турине.

— Только в Италии умеют хорошо печатать! — поделился он со мной доверительно. — Раскрасить рисунки я не успеваю, потому что тороплюсь, — хочу привезти книгу в Москву, на открытие моей персональной выставки в Третьяковке.

Я глубоко вдохнул воздух, почуввав ветер везения, раздувавший мне ноздри. Нет, присоединиться к его славе я бы не смог, к тому же шёл семестр, но вот ведь что главное: наконец-то — книга! Книга выйдет вот-вот, и она будет в Москве.

### Слова и линии

Наконец, почта доставила мне два картонных короба, в каждом из которых находилось по 25 экземпляров книги. Туринские печатники расстарались: в формате in folio и на великолепной бумаге красовались, чередовались и состязались в свирепстве текст и графика, графика и текст. Черно-белые, но при этом яркие, дикие и вычурные, как и стихи — такими на свой лад были и иллюстрации. Совпадение казалось полным, даже излишним. Хотелось иногда отодвинуть рисунок от описания, а может быть и смягчить резкие выпуклости образов, да куда там! Художник их-то и выпячивал. Ну что ж, зато получилось редкое единство, в котором и графика, и стихи стали взаимными иллюстрациями. Свиная туша особо отличилась такой слитностью слов и изображения, — признаться, я и писал её «под Шемякина», за что справедливый укор передали мне по воздуху от Пудовкиной Лёночки. Mea culpa!

Рисунки были насыщены деталями и цитатами из текста, но чувствовалось, что при постоянстве почерка художник искал от листа к листу какой-то вернейший и единственный подход, и он его нашёл в странной симметрической эмблематике алхимиков и масонов ближе к концу книги.

Форзац первого экземпляра был украшен уже знакомым автографом с размашисто-причудливым росчерком:

*«Дорогому Дмитрию Бобышеву от Михаила Chemiakin 1989 Torino.*

*Слово гусара, слово белогвардейца — Се Слово Крепко. М. Чл. 89. N.Y».*

Ура, господа, с победой! Посмотрим теперь, как отзовётся мир. Он и отозвался весьма положительно, поскольку приобретал бесплатно дорогую вещь. Университетские коллеги-поэты (никто, конечно, ни бум-бум по-русски) дивились моей неосмотрительной щедрости, поскольку здешние авторы обычно продают, а не дарят свои книги. Российские академики-палеонтологи, приглашённые Ольгой на краткий симпозиум, получили по экземпляру из её рук, но с моими автографами.

Оставшиеся экземпляры я сдал в книжный магазин, и что ж? — они были распроданы!

Но львиная доля тиража оставалась, естественно, у издателя и автора иллюстраций — 1000 по его словам и 1800 по документам. Вот что он рассказал мне о дальнейшей судьбе книги по телефону (прямую речь использую здесь как условный приём):

— ... Большую часть тиража я взял в Москву на открытие моей выставки в новых залах Третьяковки.

— Это здорово! А, кстати, какой тираж — в книге-то он не указан?..

— Около тысячи... Так вот, с двумя здоровенными пачками я вхожу в вестибюль, и ко мне сразу же бросается телевидение. Я пачки поставил на пол, и пока давал одно интервью, другое, то-сё, гляжу — а книг-то уже нет. Растащили прямо из-под ног...

— Что ж, Миша, это — самый большой успех, какой только может быть!

— Да, 40 тысяч долларов псу под хвост...

— Ну я-то из них ничего бы не получил, — подумал я, может быть, вслух...

И добавил гипотетически, хотя и с оттенком делового предложения:

— А хорошо бы издать эту книгу по-английски. У меня уже есть переводчик, местный поэт. Университет, — в чём я не сомневаюсь, — поможет и поддержит. А вы успели бы тем временем раскрасить рисунки.

Кто бы мог подумать, что мой благодетель вдруг на это обидится и направит мне негодующее послание?

«10.06.89

*Любезный Дмитрий!*

*После нашего, довольно для меня неприятного разговора, я решил написать Вам это письмо, чтобы, раз и навсегда, поставить точки над — и.*

*Я не совсем понимаю, как Вы оцениваете труд художника, но могу Вас уверить только в одном, что выполнить 18 сложнейших иллюстраций в столь рекордный срок, дабы сдержать своё слово, это — задача довольно непосильная для многих и многих художников. Я занимаюсь издательской деятельностью но, как Вам наверно известно, издаю не только поэзию, но и журналы, и альманахи по изобразительному искусству, издание которых стоит довольно дорого, не говоря о том, что это отнимает массу энергии и времени. Кроме этого, я занимался и занимаюсь изданием пластинок, небольшие деньги с которых опять же идут на пропаганду современного искусства. Издав первую книгу стихов Михаила Юппа с факсимильными иллюстрациями...»*

Здесь я обрываю жалобы Шемякина на назойливость присосавшегося к нему Юппа, — это не по моему адресу. Но, устыдив меня таким сравнением, художник продолжал:

*«Как человек, выбравший западную свободу, много лет проживший в свободном мире, я как все, живущие здесь, очень и очень не люблю никаких давлений, оказываемых на меня со стороны. То, что я делаю, я делаю по собственному желанию и доброй воле. Сейчас я начинаю работать над иллюстрированием книги покойного ленинградского поэта Роальда Мандельштама. Как Вы сами понимаете, это будет стоить мне опять много энергии и материальных затрат. Поэтому мне очень не хотелось бы слышать от Вас о каких-то новых изданиях Ваших стихотворных сборников, в тот момент, когда чернило еле успело высохнуть на первых книгах — хотя ещё раз повторяю, что я очень высоко ценю Вашу поэзию, чему живое свидетельство — наша совместная с Вами работа над книгой "Звери св. Антония"...»*

Далее следовали документы с издательскими расчётами знакомая подпись с росчерком.

Письмо это меня озадачило, как-то по-базарному задело, но и проняло укором: действительно, к нему все лезут, стараются его использовать, и получается, что я — один из тех... Но ведь это не так — он сам ко мне обратился с предложением о сотрудничестве! Я тоже мог разыграть обиду, швырнуть об пол шапку, — кто кого, мол, использовал? Или — как он сам оценивает мой труд? Но ссориться не хотелось, и я, переборов себя, послал ему «наиглубочайшие» извинения:

«22 июня 1985.

Дорогой Миша!

Ну, что Вы раскипятились, ей-Богу! И — зачем эти издательские счета, в которых я не нуждаюсь: ведь всё и так состоялось по уговору — благородно и дружески.

И если Вы находите наше сотрудничество обременительным, то принишу мои сожаления и хочу уверить Вас в следующем: несмотря ни на что, я высоко ценю знакомство с Вами, преклоняюсь перед совершенством линий и красок в живописных и графических работах, наслаждаюсь элегантностью бронзовых отливок...

Я рад был узнать, что Вы назвали меня своим другом на весь наш Город и даже на всю страну (я имею в виду Ваше интервью по телевидению). Хочу, чтобы Вы знали, что это взаимно: я ведь тоже был в Питере и таким же образом выступал, говоря о Вас как о друге!

Наша общая книга для меня настоящее чудо: по тому, как она возникла из Ваших слов и намерений, совпавших с моими, и в особенности по тому, какрослись иллюстрации с текстом, порой даже переходя друг в друга. Думаю, что этому созданию суждена долгая жизнь, потому что во-первых оно таинственно, во-вторых полно необъяснимых энергий, и в-третьих связано с обще-европейским культурно-питательным истоком, или, образно выражаясь, с неким выменем, откуда мы все сосём млеко.

В общем, вещь получилась на славу, достанется ли ей она или нет. Я всегда предпочитал славу — репутацию, но не ошибся ли в данном случае?

Как бы то ни было, мы уже сейчас оба выиграли от сотрудничества. Неужели Вы думаете иначе?

Искренне Ваш Дмитрий Бобышев».

Вспышка раздражения и подозрительности (может быть, и меркантильного свойства) едва заискрившись, тут же погасла... Я с удовольствием убедился в том, как точно установленная дистанция спасает такого рода содружество! Зато засияли цепью светочей астральные тела, которых Шемякин развесил в каждом из листов, выведя череду «ползущих лун и солнц», видимо, из главы о царственной Пантере. Эти светила стали очевидцами, с участием наблюдавшими за духовными подвигами святого.

Нашились и кригики, заинтересовавшиеся борьбой, условно говоря, Добра и Зла, развернувшейся на листах добротного туринского тиснения. Среди них оказался Вадим Крейд (Крейденков), с которым у меня в дальнейшем завяжутся отношения, подобные шемякинским: зыбкая дружба и шаткое сотрудничество, только с более скромными результатами. В нью-йоркском «Новом Журнале» за № 181 он писал:

«Читая эту книгу, отмечаешь: богатство словаря, разнообразие строфики и даже графики стиха, находчивость рифм, своеволие в размерах, изобилие ритмов, стилистическую широту, щедрую образность, синтаксическую изобретательность. Тема этой фантастической книги — бестиарий, калейдоскоп, демонстрирующий монстров. Авторы книги — поэт Д. Бобышев и художник М. Шемякин — зачерпнули из того резервуара искусства, который наполняется водами мифологии. Но мифология "Зверей св. Антония" — не каноническая, а изобретающая, т.е. идущая по стопам Иеронима Босха. Можно было бы дать и другое название этой книге: "Искушение творчеством". Именно так назван пролог ко всему циклу стихов. Монстр творит субъективное сознание, но его творения становятся астрально-объективными...

Всё основано на "астральном чувстве", которое и есть хлеб художеств...

Другая победа, достигнутая в этих стихах — оригинальное отношение к слову. Слова живут в стихотворении как в магнитном поле. Внимательный чи-

*татель ощущает это поле как эстетическую энергию. Слово не есть неподвижная данность. Оно меняет семантику в соответствии с вектором магнитных сил. Оно может укорачиваться или обрастать флексиями, превращаться в неологизм, претерпевать метаморфозы. Слово подчиняется не рациональному закону, а вибрациям эстетического магнитного поля. Но и само это поле живёт не по трехмерным законам, — в нём сообща участвуют законы ритма, вибрации, полярности, аналогии...*

*Визуальные качества этих стихотворений по достоинству мог бы оценить большой художник. И оценил: книга иллюстрирована Михаилом Шемякиным. О лучшем соавторе поэт, должно быть, и не мечтал. На редкость удачливое содружество! Фантазии Шемякина подстать бобышевским. Они прихотливы, гротескны, отчётливы, детальны, отличаются многообразием фактур и любованием подробностями, сюрреалистичны и увлекательны. Хотя на обложке и титульном листе напечатано: "иллюстрировал Михаил Шемякин", можно и сами стихи Бобышева увидеть как иллюстрацию к графике Шемякина...»*

Понятно, что такое событие, как наша книга, отозвалось не только в астральных высях, но и в нижних этажах потустороннего мира. Там что-то забурчало и, похоже, брякнуло канализационным люком, как обычно бывает, когда рабочий водоканала подцепляет его крюком. При этом возник один inferнальный господин из критиков (я упоминал о нём в предыдущих главах) и скромно попросил выслать ему бесплатно экземплярчик, что я и сделал.

В результате появилась любопытная рецензия, напечатанная «Новым Русским Словом» в номере за уикенд 1-2 июля 1989 года. Вот характерные отрывки оттуда:

*"Под сенью дружных муз"*

*«Книга эта во многих отношениях уникальна. Она сама по себе является произведением искусства. Хотя художник определил свою работу скромным глаголом "иллюстрировал", Михаила Шемякина следовало бы обозначить как издателя и соавтора этой книги. Это несколько не умаляет творческого первородства в этой паре Дмитрия Бобышева, как великоленные рисунки Александра Бенуа, Мстислава Добужинского и Юрия Анненкова к "Медному всаднику", "Белым ночам" и "Двенадцати" не оттесняют слово, но оттеняют его особое положение в иерархии искусств...»*

*Бобышев причисляет себя к "ахматовским сиротам": "... В череду утрат / заходят Ося, Толя, Женя, Дима / ахматовскими сиротами в ряд. / Лишь прямо, друг на друга не глядя / четыре стихотворца—побратима. / Их дружба, как и жизнь, необратима". Пути Иосифа Бродского, Анатолия Наймана, Евгения Рейна и Дмитрия Бобышева разошлись и творчески, и человечески, и географически. Судьба их раскидала кого куда, никогда им уже всем вместе не встретиться, каждый для другого утрата. Что естественно — литературные союзы хороши в начальную пору, потом они превращаются в мафии, а входящие в них обречены на творческую инфантильность и литературный меркантилизм.*

*Бобышев не принадлежит к любимцам литературной фортуны, и в этом, как ни парадоксально, его поэтическое везение. Ему ещё надо себя доказывать, он не почил на лаврах, которыми не увенчан, он не может жить за счёт своего имени либо круговой поруки и дружеской опеки. У него не вышло ни одной книги на родине, а здесь вышла всего одна — "Зияния": десять лет назад, в издательстве УМСА-Press. Вроде бы готовится вторая — в "Синтаксисе". Его "Звери св. Антония" — своеобразный промежуток между этими двумя книгами: ско-*

рее, чем поэма, цикл стихов, объединённых одной темой, сплетённых одним сюжетом, который привлекал больше художников, чем поэтов.

Уравнивая в правах реально существующее зверё со зверьём, существующим только в нашем воображении, Бобышев и Шемякин указуют точное местоположение своего гротескового зверинца — его координаты находятся по другую сторону реальности.

Вспомним — "по ту сторону добра и зла", "добру и злу постыдно равнодушны" и прочие, в том же духе, высказывания литераторов прошлого. В жуткой феерии Бобышева деградация зашла значительно дальше — вплоть до кощунственного совокупления Добра и Зла, причём Зло в этой паре преобладает, и отпрыски несут на себе явный отпечаток Зла, а не Добра: "Зло... пришлось вдоль крыльев жирных", "Зло — в клещевом захвате когтей орлиных", Зло разлито повсюду, являя себя не только в уродстве, но и в изнанке красоты. Зло — творчество; как и красота — это один из самых сильных соблазнов: *неодолимый... Стихотворение "Искушение творчеством" открывает эту книгу вместе с иллюстрацией к нему, которую нет нужды описывать, потому что Шемякин буквально следует здесь за стихом: "Глядит аскет из мозговой пещеры..." Это и изображено — св. Антоний с ужасом выглядывает из собственного черепа, непропорционально, в несколько раз, увеличенного в размере. Что же касается "содержания" ужаса святого пустычника, то его можно определить как отчаянье оттого, что "душою — пеший", а тянется к ангелам, и как безумие: "Как дверь с петель, ум с вертикали спятил, — святого смыло, выплыл человек". Шемякин выносит этот рисунок на обложку, делая его вместе со стихом заглавным, почти эпиграфом.*

*Когда Бобышев читал "Зверей св. Антония" в ленинградском подвальчике "Клуб-81"...»*

Стоп, стоп... Рецензент сейчас собирается описать то, чему свидетелем он не был, и я уж как-нибудь сам расскажу о произошедшем.

### На побывку к матери

Необычная история нашего «Бестиария» заставляет меня забежать вперёд, чтобы передать её сюжет в последовательности, — перепрыг во времени в этом тексте случался и раньше. Попробую потом наверстать упущенные эпизоды, вернувшись из будущего. А тогда, поверив с известной долей риска, что происходящая в Советском Союзе перестройка — не ловушка для доверчивых эмигрантов и не провокация для выявления диссидентов, я прибыл в ленинградский аэропорт Пулково-2 как раз к вечеру 31 декабря, в канун нового 1989 года.

В силу вращения Земли и ускоренной смены часовых поясов получилось так, что летел я целые сутки, включая туда два часа на пересадку в Хельсинки, во время которой я накупил в беспощинной лавке Duty Free подарков, закусок и напитков к праздничному столу, не забыв присовокупить к тому ещё и букет для мамы. Пара коктейлей в буфете легли на выпитое за бессонную ночь в Боинге, и при подлёте к родным пределам я уже был хорош. К счастью, какая-то шведская жёнка, летевшая, подобно мне, к своим ленинградским родителям, пособила заполнить декларацию, и вот я уже ступаю по родной земле. Нет, мне ещё предстоит пересечь «священный рубеж». Молодая волчица в зелёной форме с погончиками сначала сурово изучает мой паспорт с американским орлом, а затем — о удивленье! — приветливо улыбается, но впереди я вижу, как опытный таможенник в чёрном мундире аж потирает руки от предстоящего удовольствия:

— Ну, предъявляйте, что вы везёте!  
И — запускает их в мой немудрящий багаж, перебирая калькуляторы, косметички и прочую мелочь, включая запечатанные в пластик закуски:  
— Что это?  
— Подарки... Сегодня ж Новый Год!  
— Такие калькуляторы с солнечными батарейками — знаете, сколько стоят на чёрном рынке? Понятия не имеете? А я знаю. Придётся уплатить вам таможенный сбор.  
— Да это ж — дрянь, дешёвка... Я их выбрасываю! Где тут урна?  
— Ну ладно, ладно... Если не на продажу — можете проносить! А приёмничек SONY всё-таки впишите в декларацию. Вот здесь... И на обратном пути предъявите!

А я-то хотел оставить его брату... Вот Костя меня и встречает со школьным другом Казанджи. Ну, здорово! Ведь 10 лет как не виделись! Тут же и друзья—однокурсники, технологи косопузые: Блоша, да Галя Руби, и даже сам Найман пожаловал... Как я вам рад! А с ними — кто это — неужели Марьяна Павловна собственной персоной? Вот уж никак не ожидал! Кто-то предлагает тут же выпить по такому редкому поводу и достаёт нагретую в кармане злодейку с наклейкой.

— Уберите эту гадость! У меня есть для встречи кое-что получше...  
И я вынимаю из сумы квадратную бутылку Jonny Walker'a (если кто разбирается — с чёрной этикеткой!), пуская её по кругу. По второму заходу мне едва достаётся последний глоток. Из здания аэропорта выходит таможенник, протягивая букет:  
— Дмитрий Васильевич, вы забыли!

На двух машинах кортеж прибывает на Таврическую. Мама! Феня! Танюша! Компания рассеивается по домам, Марина на некоторое время остаётся, домашние садятся за стол с пирогами, наливками, холодцами и винегретами... С Новым годом! Но я уже сплю...

### Мои 15 минут

Эти обязательные четверть часа славы для каждого придумал Энди Уорхол, утешая (или — унижая) своих собратьев по искусству. Что-то в этом роде ощутил и я, проснувшись в Новом году на Таврической улице. Система оповещения действовала ещё с до-перестроечных времён: по городу прошли слухи, что я материализовался.

Позвонил некто Михаил Талалай — «Советский фонд культуры» — предложил у них выступить. И пошло-поехало!

Невский проспект непредставим без башни с часами над зданием бывлой Городской Думы. Зал, где когда-то находились железнодорожные кассы на южные направления, набит до духоты, приходится открыть окна. С сырым воздухом оттепели смешивается городской шум, который приходится перебарывать голосом. Я решаюсь — была-не-была! — прочесть горожанам «Русские терцины» целиком, а там пусть хоть арестуют, хоть высылают под конвоем!

*...А может быть, твердить ещё больней:*

*— Да, мы рабы, рабыни и рабёнки, достойные правителей, ей-ей?..*

Из зала слышатся выкрики:

— Прекратите! Это клевета на советский народ!

Но их с лихвой перекрывают другие:

— Не мешайте! Пусть читает!

Троллейбус тормозит внизу перед остановкой, открывает пневматические двери, заглушая здесь и тех, и других. Но у меня остаётся ещё немало горьких истин для горожан и соотечественников, с которыми пошла такая прямая «разборка»:

*Да не сочтётся эта речь за наглость...  
Не «Городу и Миру», — ей о ней,  
стране моей сказал я с глазу на глаз  
ей-ей же правду... Издали видней.*

И вот, наконец измочаленный волнами многоголосия моего гражданского слова, я сваливаю с плеч эту ношу, произнося заключительное «Dixi»:

*Умру зато свободным. Я сказал.*

Рискнул, и выиграл... Мало того, что воскресли приятели — Арьев, Уфлянд, Охапкин, Пудовкина, Шварц, однокурсники и даже одноклассники — зашевелилась пресса, явилось на дом телевидение. К беспокойству и жгучему интересу домашних, осветители и помрежи затащили свои кабели, расставили треноги с перекалками, телеоператоры наставили камеры... Заставляли подходить к окну, глядеть на Таврический сад, читать стихи. В общем, все вместе мы изобразили картину «Возвращение блудного сына».

Обветшавшие за 10-летие лестницы принимали мои шаги по дружеским адресам. От слякоти на тротуарах выручали эластические галоши, и в гостях, вместо разношенных тапочек, которые мне предлагали хозяева, я всегда оставался в своей чистой обуви. Эти галоши воспринимались как чудо цивилизации: снял в прихожей, и — всё! Горожане забыли начисто, что некогда Ленинград славился заводом «Красный треугольник», производившим такую немудрёную продукцию.

Даже на мою войлочную афганскую шапку так не пялились, хотя Лена Пудовкина предупреждала: «Смотри, убьют!» Война ещё продолжалась; 15 тысяч цинковых гробов получила страна оттуда, но как выглядят моджахеды, никто не знал: СМИ избегали показывать их. И для солдат они тоже были «духи».

Из разных мест посыпались приглашения, и я развернулся, поняв свою миссию: свидетельствовать. Программу каждый раз менял, так что получилось — о многом. В Доме культуры Хлебобёков, где располагался литературный клуб с детским названием «Бибигон», я читал стихи об Америке, включавшие «Звёзды и полосы»... На художественной выставке в Гавани это были «Краски в поэзии и живописи». Сам я находился в центральной выгородке, а голос через микрофон разносил по огромному стеклянному павильону стихи о Тюльпанове и Шварцмане... В музее Ахматовой, который тогда ещё не получил своего помещения, это были воспоминания о «Пятой розе» и мои «Граурные октавы»... В Музее Достоевского — отдельное выступление, перед которым я попил чаю из фарфорового сервиза Анны Григорьевны Сниткиной, а затем прочитал «Ангелы и Силь» и «Стигмату»... И, наконец, пригласили меня литераторы-неофициалы в «Клуб-81», к которому давно питал я сочувствие.

Это был понедельник 16 января. Оттепель сменилась зверскими холодами. Почему-то меня упорно отговаривал от выступления в том месте Яков Гордин, предлагая лучшее — в Красной гостиной Дома писателей, что наискосок от Большого Дома. Место, конечно, хорошее, но...

— В другой день — пожалуйста!

— Нет, только в этот.

— Тогда не могу. Уже пообещал.

Тогда же, впрочем, неподалёку от КГБ, на Фурштадтской 5.

Если театр начинается с вешалки, то Клуб–81 начинался с грандиозной помойки, загораживавшей вход во двор. Два колоссальных мусорных бака, переполненных отбросами и увенчанных ниспадающими гирляндами зазеленевших помоев, громоздились в арке дворового въезда, а попросту сказать — в подворотне так, что миновать их не коснувшись можно было лишь боком, с осторожностью держась противоположной стенки.

Во дворике переминались небольшой толпой, поёживаясь на холоду, литературные энтузиасты. Дверь в бывшую жилконтору или дворничскую, а ныне — клуб, была заперта. Вспархивали, вместе с облачками морозного дыхания, недоумённые возгласы:

— Где же ключ?

— У Бориса Ивановича.

— А где Борис Иванович?

— Дома нет. Может, уже в дороге сюда. А может быть и забыл...

Через полчаса появился наш старый знакомец Борис Иванович Иванов, сердитый и озабоченный распорядитель клуба. Он впустил терпеливую публику внутрь, и она целиком заполнила душный залец. Я им приготовил сюрприз (можно читать и как «Сюр–приз») — первое исполнение «Зверей св. Антония». Но предупредил:

— Не для слабонервных.

Со мной был экземпляр книги, и я при чтении показывал нужную картинку, но книгу из рук не выпускал, зная с кем имею дело. Бесстыжие чудовища красовались графически и словесно, ужасая не только пустынного молитвенника, но и чувствительных дам. Между тем, в помещении стало происходить какое–то постороннее действие: из–под двери повеяло влажным жаром, послышался отчётливый матерок, затопали сапоги вверх и вниз... Публика забеспокоилась. Открыли дверь на лестницу, и оттуда ворвалось облако пара, стало заливать горячей водой. Пришлось распахнуть окна. Кто–то попытался улизнуть, но выход был отрезан.

Я, однако, продолжал делать своё, как и мой старец Антоний. Публика оставалась на местах и жадно слушала. Но эпизод совокушения слонов настолько потряс поэтессу Елену Игнатову, что заставил её ретироваться прямо через окно, благо что пол дворничкой оказался вровень с землёй. Сцены пожирания мозга живой обезьяны и новые клубы пара лишили меня ещё нескольких слушателей. Я заверил оставшихся, что в конце поэмы духи зла непременно будут закляты. И действительно, с окончанием чтения невидимые водопроводчики ликвидировали аварию. Но выход оставался залит водой, и я покинул эту невольную феерию как все, через окно.

К этим описаниям остаётся добавить ещё немного. Этот спектакль для автора и книги благополучно состоялся позднее в подвальном театрике Ю. Томошевского «Приют комедианта» на Малой Морской 16. Вход тоже был со двора, но помойка отсутствовала, так же как и вешалка. Прямо от двери ступеньки спускались амфитеатром к подобию античной сцены. Скамейки были затянuty чёрными сукнами, и вмещало туда 60 зрителей. Но, видимо, пришло больше, потому что строители притащили доски и сымпровизировали из них дополнительные скамьи.

К спектаклю я заказал эпидиаскоп, чтобы проецировать картинки на экране. Казалось бы, простое оптическое устройство, есть в любой школе. Загадка, не сложнее моих галош. Но строители долго не могли понять, что это такое. Мучились, где бы его раздобыть. В последнюю минуту всё же достали, и Галя Руби, ставшая моим ассистентом, осваивала его на ходу. Перед самым началом, когда я

уже сидел на сцене, прибыло телевидение. Ведущая с микрофоном склонилась ко мне, дохнув «потфешком» с морозцу:

— Дмитрий Васильевич?

Я с пониманием взглянул на неё.

— Да, — сказала она с последней прямой. — А что?

В этот момент я увидел, что в дверь ломится ещё целая команда, и впереди — Виктор Кривулин.

— Впустите Кривулина! — заорал я в ту сторону.

— Некуда! Зал — под завязку... — ответил охранник.

Надо ли добавлять, что на этот раз обошлось без спецэффектов в духе Клуба-81? Впрочем, эпидиаскоп перегрелся и для него понадобился антракт. Но это было вполне в театральной традиции.

При таком явном аншлаге Томошевский предложил мне появиться на театре ещё раз, и через несколько дней спектакль был повторён.

Остаётся здесь проследить за последним сюжетным завитком этой звериной истории — попыткой двуязычного издания. Да хоть бы и только английского — ведь русское уже есть. Но Шемякин (сам, без моих подталкиваний) предложил издать книгу на двух языках, даже прислал договор по всей форме на подпись переводчику и мне. И началась переводная страда. Работу мы сделали, договор подписали и послали маэстро. Но слово «гусара и белогвардейца» оказалось, увы, не крепко...

Я объяснял себе это молчание тем, что интересы мастера далеко ушли от книжного дела: он черезчур увлёкся скульптурой, наставил бронзовых памятников по городам, делал миниатюрные серебряные отливки, а потом и золотые... Но не исключая и того, что какой-нибудь Алик Конский (персонаж из романа Аксёнова) отговорил его от такого издания.

Я всё-таки использовал перевод «Бестиария» не раз при выступлениях по университетам, а потом он был напечатан в англо-американском журнале «Modern Poetry in Translation».

## Университетские поэты

Знакомство с ними произошло у меня быстро и легко: ольгина коллега по антропологии Алма Готтлиб была замужем за университетским литератором Филипом Грэхемом. Она происходила из еврейской, он из католической семьи, но пару они составили прочную и многолетнюю, хотя и оставались при этом очень разными. Для худощавой, смуглой Алмы иногда хватало показать одно лишь тёмное око из-под кручёных волос, и романтический образ был закончен. Филип обрамлял свои круглые щёки русой щетинкой, его глаза были готовы превратиться в щёлочки, а рот сангвинически расхохотаться по малейшему поводу. Человек он был лёгкий, а писатель — скорей интеллектуальный, начинавший с верлибров, а затем, перейдя на рассказы, умел закручивать их так, что реальность оказывалась вверх ногами по отношению к самой себе. Книга «Искусство стучать в дверь» построена именно на таком приёме, который можно назвать «лентой Мёбиуса», и автор был доволен, когда я сказал ему это. Ещё я называл Борхеса, но Филип больше кивал на графику Рене Магрита, художника с акробатически вывернутыми мозгами.

Подобный вывих он находил и в человечестве. Со своей стороны этим же занималась и Алма, только научно... Она получила грант на этнографическое исследование одной глухой африканской деревни и отправилась туда на год вместе с мужем. Там во всю бушевала спиритуальная жизнь — по крайней мере, в курчавых

головах местных жителей, которые каждое самое мелкое происшествие объясняли сложными интригами духов. Об этом супруги написали в соавторстве книгу «Параллельные миры». Параллельные... Это не совсем то, что неразрывные, но параллельно перевёрнутые...

Вот более близкий пример такой перевёрнутости: после 11-го сентября Грэхем печатно предложил использовать «секретное оружие против исламских террористов». Таким оружием наш выдумщик посчитал мормонов, в чьей религии, помимо крещения водой в сознательном возрасте, есть ещё и спиритуальное крещение, сила которого обращает в христианство любого отсутствующего или даже мёртвого человека. Таким образом, Мухамед Атта, помещённый в магометанский рай за злодейское нападение на нью-йоркские Близнецы, может быть принят в чуждую ему веру и изгнан в места прямо противоположные... Представьте: вот он блаженствует среди гурий, и вдруг — пафф! — оказывается в сумрачном помещении, где пожилые мужчины в спортуках тыкают в него осуждающе пальцами и бубнят нотации... Такой пример должен остудить самые пылкие религиозные чувства у новых экстремистов!

Филип и Алма ввели меня в малый круг здешних литераторов. Об университетских поэтах слышал я ещё до отъезда и, как и многим другим американским чудесам, этому явлению премного дивился — особенно сравнивая их счастливую долю с судьбами наших увечных и вечно гонимых пситов сайгонского, мало-садового и вообще всего ржаво-котельного поколения. Вот, достался же кому-то благой удел: красуясь, поучай молодёжь, сидя на травке под платаном, или же броди себе по архитектурно-парковому кампусу, вдохновляйся, твори!

В этом университете их было несколько, преподававших литературное творчество, и входили они в состав Английского отделения, то есть на равных правах с академической публикой числились в профессоруре, добивались, как и те, постоянного контракта и дальнейших повышений, обходясь при этом без диссертаций и докторских степеней. Откуда ж они взялись на этих местах? Конечно, не из воздуха — это только я угодил туда прямо из Астронавтики...

Для них существовали особые структуры: целая сеть творческих мастерских, рассеянных по штатам. Но ценились только немногие с солидной репутацией, которая исчислялась количеством лауреатов Пулитцеровской премии из бывших выпускников. Конечно, туда отбирались талантливейшие из молодёжи и потом выпускались с дипломами и рекомендацией мастера — в свободное плавание по университетам и издательствам. При этом оставались они всё в той же структуре, получая время от времени гранты и премии за лучшие первые книги, за вторые книги, третьи и т.д. Черета мелких успехов и поощрений была утешительной заменой славы для тех, кого она миновала.

Именно такая команда осела в нашем степном университете. Коммерческую литературу они снобировали, бестселлеры удостаивались ими лишь презрительной улыбки, — пусть даже и ревнивого происхождения. Но к «пулитцеровке» относились с подлинным уважением, ничуть не меньшим, чем к «нобелевке». И всё-таки вершинным достижением считался выход из литературы в чистый успех, воплощением которого являлся контракт с Голливудом.

Странно было мне слышать однажды, как Рэй Бредбери, собравший на лекцию в «Фоллинджер Аудиториум» тысячи две почитателей, благословлял тот день, когда он встретился с каким-то продюсером, имя которого у меня сразу же вылетело в другое ухо. Цену своему таланту он чётко знал, этот седой крепыш с фанта-

стическим даром: упомянул и «Марсианские хроники», и раздавленную бабочку из «Охоты на динозавра», но то были всего лишь подспорья для судьбоносной встречи с голливудским толстосумом.

А среди «наших» безусловно яркой и состоявшейся фигурой оставался Лоренс Либерман, выпустивший не менее дюжины сборников и к тому же (вот ещё один калибр успеха) печатавший стихи в «Нью-Йоркере». Горбоносый, лёгкий, с лысиной от лба до затылка, Лэрри держался суховато и иронично. Но однажды, когда мы вышли на улицу после какого-то приёма (приезжал живой классик Даблю Эс Мервин), он расчувствовался и тепло принял меня:

— I love you, man.

Я даже растерялся. Но так тут выражают своё признание «men of letters», или, выражаясь по-нашему, собравя по перу. В другой раз, побывав на какой-то важной конференции, сообщил, что некто оценил меня чуть ли не выше Бродского... Неужели? Кто мог нагородить такую ересь? Назвать его имя Лэрри отказался.

Подобно Гогену, Лэрри счастливо и умно выбрал себе тему, и она стала его литературной судьбой — тропическая экзотика. Наверняка поддерживаемый грантами, где он только не побывал со своей доброй Берниз: на архипелаге Карибской гряды в Гаити и Доминиканской республике, в Гренаде, на Святой Люции, Барбадосских и Английских островах, в Суринами и Гайане, на их скалах, рифах, в лагунах, синагогах и бараках для рабов... Впечатления отглысались в точные по наблюдениям стихи, написанные в свободном, но выверенном слого. Они могли образно описывать и подводный балет, учиняемый Лэрри со своей Бинни, когда-то, по-видимому, прехорошенькой даже в ластах и маске, и с тем же успехом прогулку внутри огромной головы Будды в Японии, где он побывал не иначе как в качестве ходячей мантры. Японский бог!

Я договорился посещать его семинары — просто чтобы перенять методы для своих занятий. И что ж? Оказалось всё хорошо знакомо ещё по ЛИТО Семёнова или Дара. Но Либерман учил тому, как писать английские стихи, а я решил использовать творчество, чтобы дать американским ребятам лучше почувствовать русский язык: думать на нём, читать, даже сочинять и разговаривать. И пусть они заодно получают представление о жизни советской и о диссидентском с ней несогласии. Учебником и образцом станет скандальный и всё ещё памятный «Метрополь». А на следующий год сборник «Клуба-81», а ещё потом 9-й выпуск «Невы» за 89-й год с проклятыми и гонимыми. Да будет так!

Зря укорял меня в споре о своём детище Аксёнов, зря испепелял бывшего друга Рейн и напрасно забывали другие метропольцы: в глухую пору застоя и по другую сторону океана у них появились упорные читатели и подражатели... Мои студенты! О них я ещё напишу.

Прозаик Пол Фридман, рассказчик-бытовик, тоже привечал меня, приглашая домой на литературные топталовки, — белое вино, на закуску сырые овощи с пряной подливкой и горячие тефтели, приготовленные его женой Мэри. Они были подходящей парой: оба длинные, носатые; он — с печально понимающей, она с приветливой, но тоже понимающей улыбкой. Мне казалось, такие супружества долго держатся... Этого брака хватило ровно на то, чтобы вырастить и устроить их отпрыска в колледж. Дальше, как выразился вышеупомянутый Лэрри, началась «игра в музыкальные стулья».

Бруклинский парень, Пол служил когда-то на флоте, повидал мир и однажды за чечевичной похлёбкой (мы с ним как-то полдничали в вегетарианской столовой) по-

ведал мне, как ему приелось мелкое благополучие, как закисает он творчески здесь на кампусе, в однообразном окружении кукурузных и соевых степей. Мне был уже знаком этот сравнительно распространённый взгляд местных творцов — от живописцев до открыточных фотографов — с ностальгической грустью по отношению ко всему облезлому, покосившемуся, готовому рухнуть... Странное дело, я тут видел совсем другое, — крепкое, яркое, добротное, новое: не скучное учебное заведение и его территорию, а интеллектуально-архитектурный цветок, некий букет, овеиваемый ветром заокеанья; видел не степь, а романтическую прерию, упорством и трудами превращённую в житницу этой страны, да и чуть ли не всего мира. Мне нравилась жирная земля, сытые берёзы, ухоженная чистота газонов, семейные домики, прочный бетон дорог с катящими по нему никелированными цистернами для горячего.

Пол Фридман познакомил меня с ещё одним бывшим морячком (так и вижу их на палубе авианосца в белых матросских панamaх), ставшим теперь университетским поэтом, которого я тут же нарёк для себя «американским Горбовским» — талантливым, хитрым, как Глебушка, играющим простеца из народа и, конечно же, крепко закладывающим за галстук. «Крепко» по-здешнему значило: с кружкой пива он принимал пару стопок Бурбона. Звали его на голландский лад — Майкл Ван Воллеген.

Он подчёркивал, что вырос в Детройте, столице автомобилестроения, где его отец был рабочим; в солидарность ему покупал машины только отечественных марок, а на занятия ходил в бейсбольной кепке и рыбацком жилете со множеством карманов и карманчиков. «Последний неандерталец» — так самокритично называлась одна из его книг.

Майкл и в самом деле рыбалил, и однажды я уговорил его взять меня с собой. Пришлось явиться ни свет, ни заря, толком и не проснувшись. Он вывел из-под навеса здоровенный Додж-пикап с прицепом, на котором была установлена довольно-таки солидная моторка, и по 74-му «интерстейту» мы покатали на восток. Там, в парке поблизости от Индианы, я уже бывал. «Неужели мы едем в Кикапу? — размышлял я. — Тамошние озерца маловаты для нашей лодки.» Название парка (по имени индейского племени), между прочим, стало не чуждым в русской поэзии благодаря эксцентричному дару Тихона Чурилина; оно прозвучало и у сатириконовцев, и у раннего Маяковского. И мы, игумен Пафнутий, к тому руку приложили... Но как было объяснить это моему напарнику, если в столь раннюю пору мой английский ещё дремал?

Мы съехали с четырёхрядного шоссе на обыкновенную двухполосную бетонку, оставили территорию парка справа и двинулись дальше и дальше по засеянной маисом, — если настолько уж надоела нам кукуруза, — саванне... Саванна — так, тоже нескучно — называется здесь лесостепь.

Озеро оказалось немалым проточным водоёмом. Окружённое лесом, оно было оборудовано для приятного времяпровождения рыбаей: пикниковые столы с грилями, а главное — бетонный съезд с берега. Развернувшись, Майкл подал прицеп задом и посадил лодку прямо на воду, я её придержал, пока он откатил пикап, и вот уже мы шьвём на хорошей скорости к заветным и клёвым заводям. Но для плавания в бухтах, для выбора лучшего места для ужения есть у него другой мотор, бесшумный, работающий на аккумуляторах. Бросаем якорь, и Майкл распахивает, словно книгу, свой чудо-сундучок со множеством раскрывшихся полок. Там уйма крючков, наживок и блёсен — пёстрых, прямо как сувенирная лавка. Но, будь я

рыбой, я без раздумья променял бы всю эту красочную синтетику на самого обыкновенного дождевого червя!

И действительно, клёва нет. Майкл выбирает якорь, и мы едем на стрежень, где продувает ветерком. Здесь надо сменить наживку даже не на блесну, а на искусственную рыбку, в которую вделан крючок. По виду — это настоящий малёк, даже с подвижным хвостом. Закидываем спиннинги попеременно. Его далёкий заброс не приносит ничего, мой создаёт из лёски дикую петлистую бороду. Майкл — само терпение — молчаливо и долго её распутывает. Затем великодушно предлагает метнуть ещё раз. И у меня получается! Следует сильный рывок, я чувствую возмущённое сопротивление крупной рыбы... Мой напарник подхватывает сачком здорового окуня с раскрытой пастью и выпученными глазами. Бережно освободив его от крючка, он достаёт линейку, замеряет добычу, после чего к полному моему ослеплению бросает рыбу за борт. Я гляжу на него как на сумасшедшего. В чём дело?

— Не подходит!

— Почему?

— Внутри стандартного размера. Таких брать нельзя, они больше всего годятся для воспроизведения потомства.

— А каких можно?

— Если больше или меньше стандарта.

Я долго переваривал в голове разницу между нашими умозрениями: законопокорностью с одной стороны и азартом поимки с другой. Потом всё-таки спросил:

— А что, если взять и спрятать?

— Здесь бывает инспектор. И, может быть, сейчас он наблюдает нас с берега. Если такое заметит, будут крупные неприятности...

Больше я в Америке не рыбалил. Но с Ван Воллегеном мы сблизились теснее на деловой основе, то есть на почве переводов. Он сначала отнекивался: да как это — я, мол, ни бум-бум по-русски... И стоит ли тратить своё время? Но когда я смог платить, у него отпали сомнения. К тому же он убедился в действенности советского метода работы с подстрочниками. А я получил солидный грант, когда сумел внятно обосновать заявку и подать её в соответствующий фонд. Это сделало меня популярным лицом среди аспирантов, они стали подрабатывать на буквальных переводах. Особенно выделилась в этом деле умненькая Ребекка, у которой было языковое чутьё. Она сама ахала в изумлении, когда слова вдруг складывались в неожиданную для неё красоту. И я едва не влюбился, глядя, как она склоняет душистые рыжеватые пряди над моими листами. Чуть было не поверил в правоту Афанасия Афанасиевича Шеншина:

*Только в мире и есть — этот чистый  
влево бежущий пробор.*

Но святой Антоний, поборов свои искушения, помог и мне избежать тяжёлого конфуза, если бы я настаивал, а она отказала. К тому же, тут ведь были замешаны деньги...

Майклу за чистовой перевод я платил вдвое, хотя и там приходилось объяснять не меньше. Однажды я поправил его, и он напортил так, что пришлось вернуться к исходному варианту.

Про рифмы я и не заикался, зная ответ: «Английский язык устал, все рифмы предсказуемы». Возражать было бесполезно, но я остался при убеждении, что это обленелись сами поэты. Где их энергичность, изобретательность, словесная игра?

Не в мелкотемье ли залегает причина? Ведь английский язык не менее велик, чем русский! Впрочем, были охотники возвысить один за счёт умаления другого.

Однажды мой утлый кабинетец заполнил собой Ричард Темпест, — нет, не толщиной, но массивностью, оживлённостью, пышностью своей волосни. Да, спешу представить: мой коллега, выпускник Оксфорда, специалист по Чаадаеву. Между прочим, сын журналиста Питера Темпеста, аккредитованного в Москве 50-х от «Morning Star», газеты британских коммунистов. Подробности — в моей оде «Человек играющий». Так вот, Ричард Петрович без обиняков заявил:

— Английский в четыре раза богаче русского!

— С чего это вы взяли?

— Только что вышел Оксфордский словарь. Английский богаче по количеству корней, не говоря уж о числе синонимов и значений.

— А вы возьмите число грамматических форм, все эти суффиксы и приставки, падежные окончания не только существительных, но и прилагательных, и местоимений, и даже числительных!

— Да, но зачем они нужны?

— Ну, во-первых, нужны для нас, преподавателей русского... Чтоб было чему учить. А главное — для поэзии! Для свежих рифм!

Это лучше всего познавалось в нашем невольном состязании с Ван Воллегеном, для чего я специально перевёл на русский его стихи, чтобы он не чувствовал себя только переводчиком.

У нас было эффектное, умело организованное выступление с двуязычным чтением и показом Бестиария в местном музее. Вдобавок редактор и издатель «Zephyr Press» Джим Кейтс пригласил нас выступить в Бостоне, в Кембриджской библиотеке. Он пытался устроить всё лучшим образом, намекал даже на вероятность издать у него книгу... Но там ведь жила моя злейшая врагиня Фрида Штейн, та самая, что «для смеху» украла у меня туфли на похоронах Виньковецкого! Видимо, широко расстаралась она, на своей-то территории: банкет по неизвестным причинам был отменён, спонсорша не явилась, сорвалось и дополнительное чтение в русском книжном магазине. А в библиотеке произошёл худший ляп, какой только может случиться со знаменитостями, но это уже наша с Ван Воллегеном вина, а верней — случайность. Мы, не стовариваясь, появились на выступлении одетыми одинаково, почти как близнецы — в твидовых пиджаках с водолазками земляных тонов. Зал так и ахнул: вот они, мол, наши степные богатыри, хлеборобы Среднего Запада, прямо от сохи и орала...

### Листья травы

«Я не любил одиночества. Нет, я его не знал. Его отрешённые почести к сердцу не принимал...» Так я начал один из первых (если не самый первый) из стихотворных опусов, тогда ещё не умея точно выражать свои чувства. Конечно, не любил, но, конечно, знал и даже свыкся. Была ранняя мариупольская ватага, научившая меня дурным словам и шалостям, и от которой справедливо я был отлучён взрослыми. Было детское одиночество во время Большой войны, подобие чужбины в грузиноязычном окружении на Кавказе. Но самое острое — в толпе себе подобных: в пионерлагере, где другие даже не обижали, а просто не замечали тебя, в школьном обезьяннике, где как раз наоборот задирали, дразнили и подавляли. Какой-то короткий период в молодости ощутил я заединство поколенческого ха-

рактера: сам возраст сближал и делал понятными других, а тебя — им. А старших превращал в ретроградов, засевших от нас в бастионах опыта и заслуг.

Но потом — литература, торжище честолюбий... Её почести как раз я принимал, и чем отрешённой, имматериальной, тем дороже сердцу, пока не остался один, чужой среди своих. «Что я здесь делаю?» — иногда вопрошал я себя, озираясь. Между тем именно здесь — в словесных совершенствах, которые иногда удавалось достичь — стал угадываться отделявший от всех лёд абсолютного одиночества, за которым уже царил вечный нуль шкалы Кельвина, то есть  $-273^{\circ}$  по Цельсию.

Та первая проба темы неожиданно аукнулась гораздо, гораздо позднее — уже на путях моих из мавзолеоподобного здания Иняза, где странно было числить родной язык среди иностранных, и — домой через парк с четырьмя нелепыми сосновыми переростками. И если в ранней попытке «сосны меня товарищем торжественно нарекли», то здесь оказалось, что:

*Одиночество —  
вот венец абсолюта,  
вот где слёзы разводами отольются.  
Сладко ль с другими гореть? Сам сияй.  
Одиночество — всех и вся...  
Одиночество четверых,  
даже с другими рядом,  
даже древесное — под и над  
пламенными:  
Парадизом и Адом.*

«Четверо» — так назывался этот опус, не оставшийся незамеченным и процитированный в перестроечной «Независимой газете» в заметке с брэндовым заголовком «Петербургский стиль». Ай да журналистка, ай да Виктория Шохина — сама ведь надыбалала, выхватила, и как верно!

На тех же путях нашлось и утешение, и растопление льдов одиночества. Им оказалось чувство причастности к большой и благой силе, ощущение себя лепестком или даже тычинкой громадного цветка, о котором я упомянул в предыдущей главе: университетского кампуса.

Психологически и субъективно подобное чувство мог испытывать чернокожий тинэйджер, живущий в безотцовщине, при вступлении в уличную банду. Или — советский аспирант, вступающий в партию в аккурат к предзащите диссертации... Примеры, конечно, негативные, но обретение надёжной протекции и заединства с чем-то общим и большим они передают. Тут же — сплошной позитив, одно слово: нива. «Сейте разумное, доброе», хотя и вовсе не вечное, ибо педагогические внушения вылетают из студенческих голов сразу же после оценки «В+» или «А-» на экзамене. А вот «С», что соответствует тройке, я им почти не ставил.

Конечно, это администрация прежде всего представляла ту силу, которая держала большой зонг над твоей головой, или, как всё ещё любят выражаться, эгиду, совсем забыв, что это слово мифологически означает косматую козлиную шкуру, в исходном образце, должно быть, изрядно духовитую и блохастую. Но даже деканы с их многочисленными заместителями почти не снисходили на газон центрального луга, а уж канцлеры, провосты и попечители, не говоря о президенте университета, существовали в каких-то неотмирно финансовых высях. Среднее звено начальства важничало по-своему, стараясь напускать туману на преподавателей или дёргать их за невидимые нити.

Да, они платили денежки, но успех или неуспех курса определялся числом записавшихся студентов. Поэтому именно студенты были нашими кормильцами, хотя иерархия приравнивала их листьям травы того самого квада, что лишь изредка попирался начальством. Впрочем, они права свои знали, изредка качали, и даже избирали свой потешный сенат. Вот с этими листьями я и общался. И на корневом уровне наши отношения были просты: пять тысячи долларов за семестр, они от меня ждали, чтобы я их на соответствующую часть этой суммы «образовал». Что ж, я признавал это справедливым и готовился так, чтобы академический час (50 мин.) был заполнен под завязку. Боялся только повисающих за несколько минут до звонка пауз, которые хоть ты танцуй, а заполни.

За те годы, что я работал на «синьора Карабаса», которому принадлежало всё вокруг — кварталы корпусов и общежитий, лаборатории, музеи, луга, башни и колокольни, леса, сады, фермы, библиотеки, театры, акустический зал для концертирующих знаменитостей, издательства, аэропорт, газеты, радиостанции, телеканалы и несметное число интеллектуальной и обслуживающей челяди — я преподавал, конечно, множество разных курсов: как по литературе, так и по языку. Для обзорных — по истории литературы — от студентов не требовалось никаких предварительных знаний, и мне приходилось читать лекции по-английски, а им пользоваться книгами в переводах, из тех, что я выбирал для домашнего чтения. Выбор ограничивал меня. Например, «Анну Каренину» напереводили без счёта, а «Хаджи Мурата» было не достать.

Число студентов зависело от куррикулума, то есть от расписания, — академический жаргон, увы, переполнен латынью. Двенадцать учеников — идеально и символично, тридцать уже хлопотно, а однажды на «Литературную утопию и общество» записались, увы, только двое. Но не торопитесь с «иронией и жалостью», на которую был щедр папаша Хемингуэй: в моих списках бывало и 389 человек, что для аудитории, рассчитанной на 394 места означало полный зал. Даже — переполненный, потому что одно место оставалось за лектором, а четыре отводились помощникам, аспирантам нашей кафедры. И это ещё не всё — 70 человек дополнительно, как сообщила секретарша, записалось в очередь на случай, если кто-то бросит занятия. Знаю, в это трудно поверить, но это так. Объяснялось такое чудо нахальством и отчаянием профессора, да административной хитростью его жены Ольги (тогда уже бывшей), которую временно перебросили из антропологии поручководить нами. Она придумала вот что: начать курс ровно с середины семестра и с помощью сдвоенных лекций довести до полного объёма. Это соблазняло тех студентов, что записались ранее на трудные курсы и не справились. Тут они имели шанс «вскочить» на мой, с их точки зрения более лёгкий курс и получить зачёт!

Каковы бы ни были их мотивы, а встретиться с такой оравой первокурсников, рассеявшихся над тобой амфитеатром и пялящихся во все глаза, глядящих тебе в рот, впечатлило бы даже Набокова с его вживлённым английским и прирождённым самолюбованием. Кстати, сколько было студентов на его лекциях?

Ничего, справились и с этим... Микрофон в руке, за спиной экран, на котором помощники проецируют с помощью компьютеров иллюстрации, даты, имена и даже краткие тезисы того, что я сейчас произношу: Кирилл и Мефодий, «Повесть временных лет», «Слово о полку», былины киевские, новгородские, и пошли-поехали через Аввакума Петровича к Михайло Василичу, от Алесан Сергевича и Михал Юрича, не забыв, конечно, и Николай Василича, к Фёд Михалычу и Льву Николаичу, ажно до Антон Палыча, а дальше уж начинается XX век, и в следующем семестре его подхватит мой коллега.

Однако после первых лекций орава из амфитеатра начала катастрофически редеть. Это встревожило меня, и я проверил списки: нет, никто не бросил курса, просто все «мотали», как поступал когда-то я сам, и так же точно девочки были усидчивей мальчиков. Но вот стала приближаться контрольная, и аудитория опять начала наполняться, а в назначенный день были уже все.

Лица их не задержались в памяти, но зато помощнички отложились там незабываемо. Одна из них, капризуля-соотечественница, на подсказки которой я рассчитывал, исчезла сразу, и выражение «solar eclipse» мне выдал кто-то догадливый из толпы, когда я подыскивал английские слова для солнечного затмения из «Слова о полку». А это оказалась латынь, в которой я отставал от своих учеников! Вторая помощница была круглолицая корейская дама с нежными пальчиками, однако ни в русском, ни в английском от неё ждать подпорья не приходилось. Имелся ещё старательный парень из мормонов, блондин и крепыш, честняга и трудяга, но и он быстрым разумом не отличался... Зато некий Джон Кригер, тёртый калач, уже и не юноша, поживший в Юго-Восточной Азии, сшибая себе на жизнь уроками английского, взял на себя большую часть работы. Он так решительно оттёр мормона, что бедняга появился на следующее утро, светя сине-фиолетовой скулой. Конечно, я спросил, что с ним стряслось, но он уклонился от ответа. Ну, а мне было не до разбирательств, приходилось много готовиться. Курс и для студентов оказался сложней, чем они предполагали, и накануне экзамена кое-кто пытался меня подкупить. Это был студент из Азии; он подловил меня в ранних осенних сумерках, когда я шёл с лекции. Я даже не сразу распознал его намёки на взятку, а когда раскумекал, удивился настолько, что он в свою очередь понял: со мной каши не сварить, и мгновенно исчез. Я вряд ли смог бы потом его различить, уж очень много появилось в тот год богатеньких азиатов — из континентального Китая, из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже Вьетнама.

За пять минут до начала экзамена амфитеатр был заполнен юношескими и девичьими лицами до верху. Напряжение чуть ли не искресало из них искры, как в цирке перед смертельным трюком. Каждому нужно было ответить на 60 вопросов (100 очков) по специальной форме для компьютерной обработки, ткнув карандашом в правильный кружок.

В составлении вопросов-ответов (один правильный, два неправильных) мне наконец-то пригодились все помощники. Джон отнёс наше общее шестидесяти-вопросие в компьютерную службу, вовремя принёс формы, и по звонку моя четвёрка разнесла их между рядов. Все 389 трепещущих сознаний сосредоточились на заполнении: фамилия, имя, номер социального обеспечения, курс, семестр, а это — что?

ЭТО — ЧТО???

Это, оказывается, неправильная форма! Зал загудел...

— Что вы наделали? Вы сорвали экзамен! — обратился я к Кригеру.

— Извините, ошибся. Сейчас я принесу... — и он бегом скрылся в дверях.

Я вышел и встал перед залом, чтобы как-то утихомирить законный ропот. Может быть, повторить с ними несколько ключевых вопросов и потянуть время? Нет, негоже подкашивать на экзамене... В этот момент честный мормон решил выручить меня, разрядив атмосферу, и откуда-то сбоку «подшутил» в микрофон:

— Ничего страшного, воспринимайте это как разминку!

Зал взорвался возмущением. Все стали комкать ненужные формы до размеров теннисных мячей, и эти комки полетели в мою сторону. Я окаменел. Амфитеатр превратился в цирк, швыряющий помидорами в неудачного клоуна. Если попадут

мне в лицо, я уйду и уволюсь или вообще покончу с собой! Но бумажные «помидоры» намеренно миновали меня — всё-таки оставался ещё страх перед экзаменом. Лишь один комок — и то я уверен, что не нарочно — попал мне в плечо, и я увидел по испуганному лицу из пятого ряда, кто это сделал. И сразу всё бушевание стихло. Ну что, вывести тебя из зала? Подвергнуть дисциплинарному взысканию? Исключить? Ладно, живи...

В этот момент вбежал Кригер с пачкой новых, на этот раз правильных форм, и экзамен продолжился.

На этом можно было бы и закончить эту главу. Но в качестве Post Scriptum'a хочу добавить ещё одну подробность. Когда экзаменуемые углубились в тяжёлую двухчасовую работу, я стал ходить по рядам, посматривая, как у них идут дела. Внимание привлекли красные листы, лежавшие пачками на коленях или под столами то здесь, то там. Я остановился у одного паренька, попросил дать их мне и убедился, что это — тезисы моих лекций, компьютерно (и очень толково) изготовленные. То есть — шпаргалки! Я спросил, где он их достал. Купил на кампусе. Почему? 50 долларов. Пока мы разговаривали, у остальных красные листы исчезли. Кстати, почему они такие заметные? На вопрос можно ответить вопросом: а почему Роман Левин печатал Иваска на зелёном? Бумаги другой не нашлось...

Я спросил у Кригера (не у мормона же) испытующе: кто мог изготовить эти шпаргалки? Он ответил с невинным видом: любой из сидящих в зале. И вправду — поди докажи. На каждом листе стояло моё имя, была предупреждающая надпись: «Любая попытка воспроизвести эти заметки преследуется по закону. Все права защищены.»

Узнав, как с этим сражаться, на следующий год я заказал педелей-старшекурсников, которые ходили по рядам. Шпаргалок они не обнаружили.

## Русские курсы

Наш великий и могучий так много студентов не собирал. Нет, желающих было достаточно, и в начале учебного года записывалась их целая уйма, но потом — странный алфавит, головоломные склонения и спряжения — все эти «ненужные» сложности, обогащавшие язык, делали своё дело: первый же семестр выкашивал наших студентов, как новобранцев на полях сражений. Всю эту нудную и, увы, необходимую зубрёжку по традиции вешали на аспирантов поопытней, назначая их младшими преподавателями, так что до меня, уже на третий год обучения, доходили поредевшие, «обстрелянные» группы ветеранов, к тому же пополненные аспирантами послабей или теми студентами, кто хотел подшлифовать свой заржавевший русский. Некоторые из них очень прилично знали язык, и я расспрашивал, у кого они занимались раньше.

У смешливой креолки Дульче де Кастро, оказывается, была репетиторша — жена советского посла на их островной республике в Карибском море.

Дату-сон, профессорский сын и жертва культурной революции в Китае, безупречно писал и говорил. Я ожидал от него многих славных дел в славистике (если это не плеоназм). Но диссертацию он не закончил и куда-то надолго исчез. Куда? У меня гостили однокурсник Володя Блох с женой, я повёл их в китайский ресторан и там услышал по-русски:

— Профессор Бобышев! Добро пожаловать.

Это был Дату-сон, владелец заведения. Увы, он предпочёл более доходную и питательную карьеру.

С хорошей подготовкой приходили из калифорнийской военной школы в Монтересе. Я однажды побывал у них, навещая того же Блоха, чья жена Татьяна преподавала язык по конвейерному методу. Солдат выгоняли строем на пробежку с русскими кричалками, в ритме бега они склоняли и спрягали...

Вообще военнотружачие учились хорошо: соображали быстро, никакой специфически солдатской тупости у них не было, а были дисциплинированность и старание. Пару семестров занималось у меня лётное звено, и среди них бомбардировщица Мэри Питерсон, она же Маша и даже Маруся, которая летала штурманом, но добивалась права на смертоносное оружие, то есть хотела сама осуществлять прицельное бомбометание. Марусину причёску немного портил консервативный перманент, зато улыбка сияла по-американски — от побережья до побережья, и она пустилась напропалую меня прельщать, пока старший по званию не напомнил ей о женихе, который этого бы не одобрил... И всё равно я вспоминаю о бомбардировщице с теплотой, как о подруге.

Ещё училась у меня дочь паровозного механика, и даже по фамилии она была Смит, а имя позабыл. Нет, помню: Сюзен. Статьями она пошла в отца, и даже более — немного напоминала локомотив, но была нежная душой и на занятиях очень старалась.

Лётчики-механики, даже пожарница с Аляски — это ещё что! Один из студентов готовился на астронавта — лёгкий, уже почти невесомый, языковые сложности схватывал на лету, но азов часто не знал. Ясно, почему нужен был ему русский... Пока помнилась фамилия, я следил за газетами, но в ту пору космическая программа затормозилась, и я так и не убедился, слетал ли мой ученик в космос.

А из Ирака и Афгана приходили письма по-русски и по-английски от затосковавших солдатиков, я им всегда отвечал: мол, горжусь вами, держитесь, ну и всё такое прочее... Один из них был соотечественник Филип Либензон, ходил на ахматовский спецкурс. Филипок был упорен: я сперва огорчил его минусом за финальное сочинение, он всё переписал заново и получил круглую пятёрку.

Экзаменационные работы этого курса были приняты в качестве экспонатов музеем Ахматовой в Фонтанном Доме.

Если взять все имена студентов, получится пёстрый калейдоскоп. К тому же они их меняли на занятиях, переиначивая на русский лад. Мне это казалось нелепым, но их так приучили прежние преподаватели, и я не препятствовал. Получались такие словесные костюмированные персонажи, что хоть вставляй их в какую-нибудь пост-модернистскую пьесу. Там действовали бы, например, следующие лица:

*Ребекка Робертвна — античный хор;*  
*Дмитрий Гастронович — человек с гитарой;*  
*Терентий Вараввович — правый полузащитник;*  
*Маруся Питерсон — бомбардировщица;*  
*Бобик Биркнес — собачка;*  
*Катя Макфэрленд — футбольная зажигалка;*  
*Кондратий Вилл — племянник известного журналиста;*  
*и даже*  
*Чарльз Зайцев — хлебороб.*

Зайцев — такон перевёл свою фамилию на русский, а менять имя не захотел ни за что. Этот сын чернозёмного фермера был действительно прямо от сохи и сильно отставал от всей группы, поэтому требовал усиленного внимания. Над ним подсмеивались, а он был обидчив и упрям. Как я его ни вытягивал, пришлось по-

ставить ему тройку, и вскоре после экзамена я получил письмо, напоминающее не то дуэльный картель, не то пиратскую чёрную метку.

Он писал, что нашёл себе работу на фабрике кухонных ножей. Они изготавливают ножи — длинные и очень острые! Он просит назначить ему день и час, когда можно зайти и продемонстрировать образцы.

Я это письмо скопировал и отнёс на всякий случай секретарше. А псевдо-Зайцеву отписал, что набор ножей у меня уже есть и демонстраций не требуется. И пожелал ему успешной карьеры на новом поприще.

Это был ещё не худший вариант. Подросли и стали интересоваться своими корнями дети Третьей волны. Они бойко болтали на своём домашнем суржики и этим совершенно обескураживали американских честных зубрил. Но в грамматике беспомощно тонули, пуская пузыри. Хуже было наоборот, когда записывались те, кто успел кончить советскую школу. Это уже шла Четвёртая волна эмиграции. Я их принимал только ради пополнения. Один такой Патрик, наполовину поляк, ходил в военной шинели, писал без ошибок, а по высказываниям оказался русским фашистом. Подобных красно-коричневых взглядов придерживался и мой земляк, ленинградец с Охты, и при этом, как ни странно — еврей. С трудом я уговорил их не ходить на занятия, явиться лишь на экзамен. Оба получили по пятёрке.

Чтобы самому не скучать на занятиях, я разнообразил тексты и заказывал всё новые и новые учебники. Среди них попадались шедевры с очень сильным зарядом некомпетентности и нехлойства. На одной из конференций я зашёл на семинар, целиком посвящённый небывалому чудо-учебнику, который идеально подходил для моих нужд. Выступали с анонсом его создатели: южно-калифорнийская дама, светило с именем, которое она поставила первым на обложку, затем русская педагогиня (видимо, реальный автор), и третий соавтор — американский волшебник по компьютерной части. Как только книга вышла, я заставил студентов её купить. На занятиях догнанный ученик показал мне первую страницу, и я покраснел от стыда. Там была напечатана азбука, в которой позорно отсутствовали буквы Ш и Щ, а ведь без них не только учебник, но даже щей не сготовишь.

Впрочем, попадались и неплохие подспорья. Например, учебник Таунсенда, куда входили разные стилевые образцы. На этом курсе у меня появился ещё один мормон — способный лингвист Брайан Фелт. Рослый, очень светлый блондин, он уже был женат и даже, несмотря на юный возраст, успел настрогать кучу мелких детей. Доброжелательный, весёлый, а главное — талантливый к языкам, он не раз получал от меня высшие почести — пятёрки с плюсом. Раз в неделю студенты сдавали свободные сочинения с подражаниями или скорей с невольной-нелепыми пародиями на тексты классиков.

Не то — Брайан. Все его сочинения объединялись сквозной темой, а стиль разнился в зависимости от образца. Так, вместо «Записок из подполья» у него были «Записки из библиотеки»:

*«Я книжный человек. Я литературный человек... Думаю, что у меня болят глаза от чтения, но на глазного врача нет денег. Я снял для жилья отсек на девятом этаже книгохранилища. Разумеется, библиотекари не знают об этом. Отсек очень удобный. Там я сижу, сплю, читаю глупые книги и нахожу наслаждение в том, что уничтожаю их после того, как прочёл. Знаю, что нельзя уничтожать книги, но когда у человека плохое настроение и слабые глаза, то всё дозволено...»*

После рассказа Шукшина у Фелга появились библиоволки:

*«Они представляют собой странные существа — среднее между книгой и волком. Несколько лет тому назад они съели аспирантку, потому что она кушала в книгохранилище, зная, что это запрещено. Еда портит книги, и потому в библиотеке закон — это книга, а книга — это волк!»*

Чтение Ахматовой вдохновило его на стихотворение, странновато звучащее по-русски, всё-таки выдержанное в форме рондо. Оно было посвящено памяти пропавших из хранилища книг.

«Смысл любви» В. Соловьёва подвигнул его на трактат о любовных чувствах между книгами, о «романах» между романами, — даже с намёками на способы их размножения. А Синявский побудил написать эссе «Прогулки с книговолок», где Брайен более подробно описал эту загадочную тварь:

*«Книговолок — это не такое ужасное, чудовищное существо, как например библиозверь. Если мы поближе познакомимся с книговолок, то увидим, что он в действительности наш друг. Известно, что они живут в забытых отсеках библиотеки и прячутся под столами, где занимаются аспиранты, особенно те, кто ест в библиотеке...»*

Библиозвери, книгопады, бедные аспиранты, затерявшиеся в непроходимых отсеках... А где-то внизу зияет «чёрная дыра», наподобие Дантовой, там обитают искалеченные читателями мёртвые книгодуши и туда же проваливаются книгоблудники, крадущие книги из библиотеки...

Пятёрка, даже с плюсом! К сожалению, Брайен круто сменил профессию и превратился из перспективного слависта в мормонского пастора. Каждый год на Рождество я получаю от него письмо, иллюстрированное семейными снимками, на которых он всё добреет, а число детишек растёт.

Благословите, батюшка!

## Лауреат всяя Земли

В октябре 87-го года стало известно, что Бродскому присудили нобелевскую премию по литературе. Эмиграция это восприняла взрывом энгузиазма, напомнившем тот советский (но для многих искренний) восторг после полёта Гагарина в космос. Дело к премии шло уже давно и весьма определённо, будто на Иосифа работала какая-то машина, гул от которой перекрывался порой иными информационными шумами, но когда они примолкали, слышно было, что она-то работает непрерывно. Конечно, прежде всего это был его мощный творческий движок, или, как сам он выразился в ранних разговорах, «телеграфный столб, гудящий в тональности ре-минор». Однако помимо «столба» резонировали и провода, и другие средства коммуникации, и прочие беспроводные связи... Талант, большой талант, но ведь этого мало! Лучшие переводчики перелагают его стихи на английский, критика только комплиментарна, а если что-то там не так, выражено неуклюже или неясно, то это значит «потеряно в переводе». Но надо ж и самому поработать на образ: выступления в престижных местах, интервью, хлёсткие высказывания. «Польшу погубят не танки, а банки». Или о великих Достоевском и Толстом с их обязательными дилеммами — добро или зло? Нет, сегодня выбор другой, между злым и ужасным! Читай: мы и похлеще будем — не только ровня, но и ещё равней, потому что посовременней.

Уже в 81-м году Макартуровский фонд даёт ему «премию гениев», о чём сообщает «NY Times» с портретом на первой странице. Главное слово произнесено, а в эмигрантской прессе иначе о нём не мыслят уже давно. Странно было наблюдать за нарастанием культа: вот, казалось бы, уже большей похвалы не бывает, —

нет, находится ещё высшая. Какой-то период времени комплименты накапливались, их предсказуемость вырабатывала даже пародийный эффект: когда пресса (особенно довлатовская) посылала Бродскому очередную «розу в бокале», ясна была его реакция — мол, «и этот влюблён». Однако напрашивалось сравнение не с блоковской, а скорей с брюсовской славой: пассы гипнотизёра, вознесённость над рукоплещущей толпой и — холод, холод, холод...

Как бы я обрадовал сейчас поклонников Бродского если б, наконец, написал: да, братцы, признаюсь, я его завистник. Но увы, не могу, потому что это не так. Пользуясь выражением критика Топорова, который мало кого жалует, Бродский — просто «не мой поэт» и более того — он для меня «немой поэт»: то есть, несмотря на его фирменное многословие, он ничего не говорит мне (или говорит не мне). При этом я ценю его достижения — например, стихи, написанные в ссылке, а также ряд предсмертных, трагических.

Когда вышла книга его эссе, добротной изданная, — толстым, но не тяжёлым томом, я понял, что это делается под премию, ибо, судя по награждениям последнего десятилетия, для шведских академиков слово «поэт» без слова «эссеист» звучало недостаточно весомо. А с такой книгой он приобрёл безусловный облик лауреата.

Это и случилось. Мы с Ольгой сидели утром в нашей столовой за раскладным столом с такими же стульями. Румынский походный гарнитур, удачная ольги́на покупка, сопровождал нас от самого начала совместной жизни.

— Смотри, Бродский получил нобелевскую премию! — сказала она, протягивая газету.

Я схватился за голову. Как оно ни ожидалось, а всё равно известие было ошеломляющим. И в то же время оно разом отодвигало меня в сторону, вглубь, как бы обрекая вечно сидеть на неудобном стульике.

— Ты что ж, не рад? Это ведь хорошо для всех вас.

— Для него — да, конечно. И для некоторых славистов. А для 3-й волны это вообще оправдание эмиграции. Но для меня — ничего хорошего.

— Почему же? — она взглянула на меня с недоумением, даже с мелькнувшим подозрением.

— Потому что теперь будет как на Олимпиаде — чемпион мира по поэзии!

— Так добейся этого сам!

— Э, нет... Знай, что мне никогда не быть лауреатом.

— Но почему?!

В этом возгласе как будто прозвенела её разбившаяся надежда, о которой я и не догадывался.

— Дело же не только в таланте, в свой я верю. Не мне, конечно, судить, но есть авторитетные подтверждения... И силы есть, и мысли, и фантазия, это я чувствую сам. А лезть из кожи ради успеха, жизнь на то положить, быть маниаком тщеславия, это не для меня. Главное же — нужна поддержка, воля влиятельных людей, нужны заинтересованные силы, а этого нету... Э, да что говорить!

И я почувствовал серьёзную трещину между нами, мы перестали быть одной командой в игре, в борьбе или даже войне, — как бы ни называлось это заединство: семейной жизнью или совместным выживанием.

Как я узнал позднее, не на-ура встретил это же сообщение Виктор Кривулин. Он тоже чувствовал себя задвинутым в угол. Юрий Динабург, свободный «сайгонский философ», успел это засвидетельствовать в сборнике воспоминаний «Сумерки "Сайгона"», СПб, 2009:

*«Кривулин к тому времени уже окончил факультет и устроился работать. У него был период творческой депрессии, вызванной отчасти неожиданной популярностью Бродского. К нему Кривулин относился свысока, и вдруг совершенно неожиданно тот стал нобелевским лауреатом, как бы вместо него. Кривулин на этом совершенно помешался. Он сжёг почти все свои стихи... Я с ним из-за этого поссорился, стал ему возражать, доказывать, что он вполне вправе игнорировать Бродского и всю славу его, что это искушение».*

Что ж, мои реакции не были такими нервными, но и они были замечены окружающими. Позвонил Морис Фридберг:

— Дима, Славянское отделение собирается чествовать Бродского. Вы ведь с ним знакомы? Расскажите о нём, почитайте его стихи.

— Нет, Морис, я не приду. Чествуйте без меня.

— Но вы нам нужны. Я, наконец, говорю это как глава отделения.

— Поверьте, Морис, не могу. Хоть увольте, хоть расстреляйте!

— Ну, тогда объясните, в чём дело.

— Как вы думаете, стал бы Бродский читать мои стихи?

Он помолчал и честно ответил:

— Думаю, что нет.

— Вот и я не буду.

Что ж, показал начальству характер, это неплохо. А в принципе, с чего я так заупрямился? Мог бы ведь и придти, и почитать его стихи, посвящённые мне, и свои, посвящённые ему. И рассказать кое-что о культуре личности, — например, байку о колдунах, появившихся в Ленинграде. Сидит такой в комнате и начинает раздуваться, раздуваться, раздуваться, пока всех не вытеснит. Вот, мол, Бродский и нас всех эдак...

Однако вежливость и ахматовские «добрые литературные нравы» требовали миролюбивого заявления, и я позвонил в «Русскую мысль», продиктовав им своё поздравление лауреату, — что-то в таком духе:

*«Нобелевская премия нередко становится пышным надгробием для писателя. К счастью, она досталась в этом году ещё молодому, полному творческих сил человеку. Я желаю ему многих свершений в литературе или на любом ином поприще, даже если он захочет его сменить, добившись конечных высот в поэзии».*

Через минуту оттуда позвонила Арина Гинзбург:

— Что ты имеешь в виду под пышным надгробием, Дима?

— Как что? Эта премия достаётся обычно в конце творческого пути. А тут — наоборот. Наш оказался самым молодым лауреатом по литературе.

— А ты не намекаешь на Солженицына?

— Ну что ты, Арина, как можно! Я горячий приверженец Александра Исаевича, многая ему лета... К тому же он получил премию в самый разгар своей геройской борьбы.

Поздравление было напечатано. Солженицын пережил и век, и ненавистный строй, и даже старое тысячелетие, а Бродскому после премии оставалось жить лишь 8 лет с небольшим...

Мой некролог о нём под названием «Вослед уходящему» был помещён в «Новом Журнале», — это было поминальное слово, приличествующее скорби о бывшем друге и поэте, а ровно через 40 дней после кончины он явился мне во сне — оживлённый, дружественный и, увы, не закончивший очень важной фразы о... О чём? Не знаю...

## Путешествие по обломкам

Но ещё скорей понадобилось надгробие для моего американского счастья. Своих детей за 12 лет совместной жизни мы не завели, да и дети ведь не такое уж препятствие для развода. Наоборот, падчерица подросла и, не желая учиться, укатила в Калифорнию, — да не куда-нибудь, а прямо в Голливуд, на фабрику грёз, где у мамыши имелась для неё протекция. В последнее время своевольная девушка хорошо-таки пополюровала мне кровь, тем более, что на меня были навешены полицейские функции в доме: запрещать, ограничивать... Именно я имел дело с её первой сигаретой, первой бутылкой пива, выдавал ключи, пока она не разбила автомобиль. Понятно, что это не способствовало добрым отношениям... Но вот Маша уехала, и, казалось бы, исчезли поводы многих конфликтов и раздражений. И вдруг — от Ольги — нож в сердце:

— Я с тобой развожусь!

— Убийца! — крикнул я хрипло, но даже не стал спрашивать о причине.

Женились-то мы по-русски: на доверии и взаимном чувстве, безо всяких контрактов. А вот для развода она уже подготовила с помощью «нашего» адвоката соглашение: дом — её, машина — её, долги — мои. Жёлтый «Ниссан» с перекрученным пробегом, купленный у жулика, мне удалось выпросить обратно, и мы потом уже с Галей проехали на нём через всю Америку, побывав и у заледенелой Ниагары, и в пустынном мареве Невады, и среди марсианских скал Юты, докатив до Тихого океана и обратно к Великим озёрам, где наша геройская канарейка с ручной передачей и помятым бортом была успешно продана какому-то чудачку, даже не заглянувшему под её заржавевшие крылья.

Развод в Америке — дело небыстрое, и происходит он поэтапно. Это округиться можно без промедлений, надо лишь слетать в весёлый город Лас Вегас. Первый этап — существование с жизнями врозь, но всё ещё одним хозяйством. Бессонные ночи бок-о-бок, но без близости породили «Три малых ноктюрна», а «Три больших» были уже написаны. Чем хуже становилось в жизни, тем лучше получались стихи. Мне даже предложено было вместе попутешествовать по Восточной Европе, и результатом поездки было не то, на что я надеялся, а «Города», — стихотворение, красоту которого я бы не отдал и за примирение.

Мы прилетели в Мюнхен и остановились у Кублановского, который был тогда с Ниной Бодровой, в её квартирке с кожаными пухлыми диванами и со стенами, завешанными несколько плакатной живописью от её отчима Гавриила Гликмана. Свой развод с Ольгой мы не афишировали, и нам уступили супружеское ложе в спальне. Получилась вполне водевильная ситуация, выстеленная однако, глубокой печалью. Напрасными показались красоты Пинакотеки, Английский сад просиял отсутствием нудисток из-за прохладной погоды, а прозрачно-зелёные воды Изара убавили силы своего потока, стремящегося выпрыгнуть из-под моста...

Однако была достойна описаний (но так и не описана) велосипедная прогулка с Кублановским через тёмный, почти чёрный еловый лес, заслоняющий небо, передышка у деревянной часовни и — далее в открывшийся пригород с громадным пивным павильоном и башенного размера кружками...

Ольга тем временем взяла на прокат Опель-Кадет для нашей дальнейшей поездки, и я не нарадовался этому ладному четырёхколёсному скакуну, созданному как раз для двух взаимно-недовольных путешественников с зонтиками на заднем сиденье и двумя чемоданами в багажнике.

Наш конёк наскоро просквозил мимо луковичных куполов баварских церквей, зато предальпийские красоты задержали нас в одном из открыточно-нарядных городков (горное озеро, островерхий собор, дома и ресторанчики в геранях), откуда я послал изображение иконы «Обрезание Иисуса» в Ленинград Вене Иофе, — сюжет, которого до сих пор стесняется православная церковь.

Ухоженная равнина Словении нас не задержала, и к вечеру мы обозревали с холма черепичные крыши Загреба. Башня с часами, площадь с величественным всадником — вполне нестыдное место, подходящее и для столицы суверенной Хорватии. Это был год накануне гражданской войны в Югославии, когда семья народов трещала и разваливалась. В пустых фонтанах ветер шевелил синими бумажками динаров с портретом Тито, гнал их, обесцененных и ненужных, по тротуарам и прилеплял к лужам.

По зацепкам от нашей Славянской кафедры образовались у меня знакомства среди местных поэтов. Они говорили с искренним ужасом:

— Вы в Сербию? На немецкой машине? Вас же там убьют! Они такие звери...

Интересы и амбиции сторонних империй когда-то сошлись в этих краях: Австро-Венгерской, Российской и Оттоманской... Но их уже нет, а грызня народов осталась. О чём? Зачем? И ведь язык один (только алфавиты разные), и этнически их не различить, и национальная кухня та же самая: вкуснейшие «ягня на роштиле», да воночная ракия из слив, долмы в виноградных листьях, жареные «лигњи»-кальмары. Только Тито и удерживал силой их всех вместе, взаимо-ненавистников...

А какие места! Горные леса с медведями, тысячструйные водопады в Плитвице, — журчащие, шепчущие о любовном примирении (временное, оно там и произошло), стройнейшие кипарисы на приближении к морю... И, наконец, Сплит: дворец римского императора Диоклетиана, пальмы, пыльный променад, важно фланирующие бездельники с серебряными висками... Во дворце поселён пролетариат, в античных окнах цветёт герань, сушится детское бельё. В пальмах — дулла, используемые как пельшницы. И во всём городе — характерное для социализма полное отсутствие уборных.

По ослепительному берегу Адриатики опель промчал нас в картинный Дубровник с его пустоватой крепостью и далее — аж до Черногории, где козы на крутых склонах питались лаврами. Повсюду у домиков висели зазывные знаки: *zimmer, zimmer*, — это сдавались комнаты для немецких туристов, которые прежде, не доезжая до Италии, оседали здесь на более дешёвых курортах. Но в этом сезоне угроза междоусобицы сдерживала благоразумных. Впрочем, на дорогах попадались контрастные сочетания двух немецких конкурирующих миров: на лёгком выдохе пролетающий чёрно-хромированный Мерседес из ФРГ и тархтящий, весь окутанный выхлопными газами жалкий Трабант, уродливое порождение ГДР.

В дороге мы менялись, но чаще вела машину Ольга. Однако, она уступила мне руль, когда мы переваливали через хребет по пути в Боснию. Я пригормозил на спуске перед крутым поворотом: там навстречу выруливал лесовоз с громадными брёвнами. Чтобы разъехаться, мне пришлось подать назад, а это значило: с ногой на тормозе отжать сцепление и, переведя на реверс, отпускать тормоз, одновременно нажимая на газ. Опелёк рывкнул, рванул чуть назад и вверх, и лесовоз обогнул нас, показав в одобрение то ли мне, то ли машине большой палец!

Персты минаретов показались в Мостаре, главном городе Герцеговины. Его мусульманская и православная половины делились по реке Неретве и соединялись мостом ещё римской постройки. Каменная дуга над головокружительным ущельем

использовалась молодёжью для вымогания денег из туристов. Раздетые парни делали вид, что они прыгают с этой убийственной кручи в реку, — старинный промысел: один академик–вулканолог из знакомых подрабатывал им когда–то в Крыму. Но совсем не забавно было узнать через несколько месяцев, что мост этот взорван...

Голод заставил нас остановиться на мусульманской окраине и зайти в харчевню, где клубился местный народ, — хороший признак для подобных заведений. Однако подойти и обслужить нас никто не собирался; наоборот, мы ловили на себе косые взгляды. Кругом были одни мужчины, при этом весьма дюжие... Вдруг по какой–то короткой команде харчевня опустела. Тут только мы сообразили, что это время намаза, и вместо обеда надо нам, неверным, сматывать удочки, пока не поздно.

Под вечер мы спустились с окружающих гор в Сараево, который встретил нас огромным портретом маршала Тито, вывешенным во весь фасад дома на пересечении главных улиц. Туристское агентство было закрыто, но какие–то типы околачивались перед дверью. У одного из них, менее подозрительного, мы сговорились переночевать. Утром, к своему удивлению никем не зарезанные и не ограбленные, мы прошли по городу. В центральной мечети шла служба, и магометанки льнули одна к другой, толпясь снаружи. Вероятно, внутри не было для них места. Странно было видеть славянские кареглазые и даже голубоокие лица девушек под хиджабами, — так же странно, как и угадывать общеславянские слова в распеваемых сурах Корана.

Некоторые улицы улирались в холмы, откуда мы прибыли. Вскоре там разместятся сербские снайперы и поведут прицельный отстрел прохожих. По огневым точкам будет бегать с автоматом наш Эдуард Лимонов, а военный преступник Радован Караджич с красиво уложенными волосами (серебро с чернью, чернь с серебром) ещё и подначит: «Пульни, Эдичка. Пушни, братушка. Эти ж — нелюди...» Французские журналисты станут показывать исподтишка средний палец позорнику.

Но, пока всё это не началось, к историческому и роковому перекрёстку, расположенному у моста через речку, патриоты подвозили школьников, и они читали развращающий текст мемориальной доски:

*«Со овога мјеста 28 јуна 1914 године Гаврило Принцип својим пуцнеем изобрази народни протест против тираније и влековне тежњу народа за слободом.»*

Здесь злодеяния века начались, и здесь они закончат век. Прочь отсюда!

В Белграде мы поселились в отеле «Таж», полном аналоге советских молодёжно–спортивных гостиниц. У меня было выступление в Союзе писателей, устроенное Сашей Петровым (ударение на первом слоге), который считался там «сербским Вознесенским». Устроено было хорошо, заранее объявлено в газете «Политика», только сам Саша укатил на это время в Японию, пользуясь привилегиями своего писательства, увы, ускользающими.

Узнав, что я прибыл к ним, проехав через Хорватию и Боснию, поэты–писатели ужаснулись:

— Вас могли убить!

— Как видите, я жив.

— Там опасно, ведь они такие звери...

Тут их внимание переключилось на поэтессу, только что вернувшуюся из Косова. Это уже тогда было горячей точкой.

— Ну как там? — спрашивали поэтессу.

— Стррррашно! — отвечала она одним словом.

Для Ольги приезд в Белград имел сентиментальный смысл, — ведь она родилась в этом городе. Мы побывали там, где жила семья, где была их собствен-

ность, отобранная социалистическим маршалом, — всё было поломано, разрушено и так брошено, причём, незадолго до нашего приезда. Я даже пожалел предавшую меня бедняжку: она в буквальном смысле посетила отчее пепелище...

Побывали мы и в Свято-Троицкой церкви, где её крестили. Был жив даже тот священник, отец Вигалий, когда-то участник Белого движения, но он уже тяжело болел. Новый батюшка отец Василий Тарасов оказался его сыном и преемником. В церкви было пусто, тихо, — только мы, да он. Как-то конспиративно держась, зашли туда двое молодых людей, заговорили по-русски. Один из них желал принять крещение. За этим ли только они сюда приехали? Совершив обряд, отец Василий напутствовал их, будто новобранцев перед сражением:

— Мусульмане — нелюди...

Уж не воевать ли за веру они собираются? Я спросил риторически:

— А что бы сказал Спаситель по этому поводу?

Мне никто не ответил.

Юго-восточная Европа — это почти повсеместный Дунай. Удивительно, как он умудряется заглянуть в каждую из многих стран своего ареала, вывернуться и блеснуть ещё и ещё раз под колёсами пересекающих границы путешественников, чтобы, наконец, остаться в их памяти широким сверкающим разворотом. От Дуная белградского мы докатились до будапештского и, взобравшись на крепость над распахнувшимся видом, взирали в себя красоты, прошитые крупнокалиберными пулями и 56-го года, следы от которых оставались на штукатурках в память о советском вторжении. Сама Венгрия, однако, дышала уже свободой и коммерцией, к которым примешивались запахи кофе-оле, свежих булочек и салами. Между тем, цены были ещё социалистические. Мы купили два копчёных дрына пахучей колбасы и до конца путешествия прикончили один из них, а второй я провёз через американскую чуткую на запахи таможенку, и он ещё долго скрашивал мои одинокие трапезы.

Наше путешествие, так симметрично противоположное свадебному, просто обязано было обернуться чем-то нехорошим... И, конечно, такой случай произошёл.

Ночевали мы по той же схеме, что и раньше, в будуаре престарелой актрисы, пропахшем нафталином и пылью. Шифоньерки и полочки были заставлены фотографиями эполет, мундиров, шляп и перьев. Но квартирка была расположена удобно-близко к выезду из города. Собрались рано. Надо было только развернуть коня в противоположном направлении. Ничего не мешало мне совершить этот несложный маневр, улица была пуста. Только сзади с остановками и рывками приближалась мусороборочная машина, которая стала заслонять вид в зеркало. Я поспешил сделать разворот, из-за мусорщиков выскочило такси и вцепилось мне в левое крыло. Звон стекла, скрежет, шок. Водитель такси с кучерскими усами выскочил из советской «Волги» в перепуге: мол, иностранцы, с ними теперь хлопот не оберёшься. Прибыла полиция, никто ни аза по-английски, а по-русски лучше было не заговаривать. Действительно, вскоре нас отпустили, а кучера оставили для любимого полицейского дела: разбирательства.

Но наш конь, хоть об одном глазу, а всё-таки бежал, Ольга села за руль, и мы рванули по направлению к Вене. Прощально мелькнула бронзовая скульптура фонтана... Только выехали за город — пробка на километр! Увозили в морг мотоциклиста, столкнувшегося в лоб с мерседесом. А ведь это могли быть мы, если б не задержались... Гибельно проложенная, ухарская дорога, — две полосы и одна лишь обочина; обгоняют по встречке, а на обочину выезжают, чтоб уступать обгоняющим — тем и другим — сзади и спереди!

Страховку мы купили по полной, так что в Венском аэропорту нам обменяли машину без лишних слов. Впрочем, подробности я опускаю, потому что это всё—таки не дорожные заметки, а записи того, что мелькало и соображалось у меня в голове, где как раз в это время крутились строфы из «Городов».

Вот они:

*...Но старосветские милей мне будут кручи:  
Дунай—Денеб, из Буды вид на Пешт,  
и вид обратно... Вдруг — мадьярский кучер,  
и опелю капут; я снова буду пеш.  
Мы, впрочем, с городом помиримся в июне:  
одетая водой, глядела дева вслед...  
Расстрелянный фасад с балконом — наша юность,  
сочувственный мятеж, плац, автомат, берет.  
Фасад в избоинах, раздавленные жесты, —  
такие города встречаешь, как себя,  
как сверстника тех лет, самосожженца:  
— И свет сильнее жизни возлюбя,  
ты, Прага, всё горшишь, свечами оплывая  
на площади среди других святынь!  
А нищий лебедь кляччит каравая,  
и острогой на всех замахиваясь, Тынь  
торчит... Пора — отдав поклон великий  
мостам и рыцарям с марининой горы, —  
туда, где Вена взбила каменные сливки,  
гульнуть, где столь крылаты алтари.  
Нам путь укажет каменный философ,  
заметь: не полководец, — верный путь,  
но я устал. Домой...*

А дома—то уже и не было. Адрес ещё существовал, и путь к нему оказался петлистым, то исчезая с поверхности земли и проваливаясь в карстовые пещеры со сталактитами и сталагмитами, то петляя по лабиринту регулярного парка с павлинами, то превращаясь в авангардную киноленту «Прошлым летом в Мариенбаде (это мы посетили Марьины Лазни), то перейдя в измерения истории и литературы, как бы оказавшись ненароком на страницах «Войны и мира». О последнем я уже рассказал, забегая вперёд во втором томе «человекотекста», теперь лишь напомню. Это был Аустерлиц, а по—чешски город Славков, где по старому стилю 20 ноября 1805 года произошло памятное и очень красочное убище солдат и лошадей. В память о погибших австрийцах, французах, чехах и русских воздвигнут странного вида монумент с музеем внутри — Могила Миру. По—чешски это означает памятник, но по—русски получается точнее — именно могила. На бронзовых округлых досках, вделанных в стены, надписи на трёх языках, поминающие своих воинов, их союзников и врагов, а на четвёртом, русском языке, поминаются только свои... Только свои... Но их и погубило—то всех больше!

От Брно до Праги преследовали нас политические страсти: шли демократические выборы, лозунги голосили каждый о своём со стен и заборов по сторонам дороги и даже сваливались в виде листовок с неба. В Праге напряжение сменилось праздничным взрывом. На Тыньской площади дирижёр Рафаэль Кубелик, чех из Чикаго, играл с оркестром патриотическую увертюру «Ma vlast» Сметаны, (что по—чешски значит «Моё отечество»), а по—русски звучит как «власть»), на сцене появился

новоизбранный Гавел, толпа ликовала, и я, чужестранец, безбашенно и бесшабашно праздновал вместе с ней, потому что праздновать мне было больше нечего.

### Гастроли на родине

На следующее лето Ольга отправилась по своим археологическим делам в Чехию и Моравию, превратившись в уже отдельное от меня существование. Соглашение о разводе вступило в последнюю фазу. Мне предстояло собрать манатки, сдать их на склад, взять на полгода отпуск без оплаты и рвануть на Восток по периметру нашей планеты. Суть заключалась в том, что я сделал запрос и получил предложение прочитать курс лекций по литературе русского Зарубежья сразу от двух ВУЗов — Ленинградского государственного университета (уже не имени Жданова) и Педагогического имени Герцена — института, становящегося университетом. В родных краях история тоже вдруг сдвинулась с места, и время пошло тикать уже не по пулковскому, а по общеевропейскому меридиану.

Я обратился в наш университетский фонд, но неправильно составил заявку и в результате получил пшик. Зато в утешение оторвал большой грант на конференцию славистов в Сан-Франциско в конце года. Таким образом сложился плавный маршрут туда: из Чикаго — через Мюнхен — в Ленинград на осенний семестр, и по окончании обратно: из уже Санкт-Петербурга — опять через Мюнхен и через Чикаго — в Сан-Франциско, а после конференции: Сан-Франциско — Чикаго окончательно с доставкой моего брэнного тела автобусом в Урбану-Шампейн.

Я купил билет на всю круговую поездку в авиакомпании, чью надёжность подтверждал манхэттенский небоскрёб ПАНАМ, под которым пробегает целая улица — Парк авеню. Когда белый Боинг с параллелями и меридианами земшара на хвосте снижался над Мюнхеном, я увидел поваленный лес, выглядевший сверху рассыпанным коробком спичек. Это были те циклопические ели, по корням которых мы с Кублановским ещё не так давно тряслись на велосипедах, спеша на пивное пиршество. Казалось, что вихрь, пронёсшийся по Европе, их повалил заодно с Берлинской стеной.

Чувствует ли здесь читатель размашистость моей жизни? Восхитительное ощущение ветра, журчащего в редеющих волосах на темени... Ради этой, хотя бы даже географической свободы стоило эмигрировать. А теперь и того уже не надо. Но заметим: читателю свобода была выдана сверху, я же её ухватил своей рукой.

Пулково-2, как всегда, встретило с воздушной прохладцей, но что-то заметно переменялось: молодая волчица в погонах, возвращая паспорт, отдала мне честь (не правда ли — смешно?), таможенники пропустили по зелёной линии, а за ними уже сияла улыбкой Галя Руби. Она явно похорошела и выглядела даже лучше, чем в студенческие годы.

Пока наши сверстницы растрчивали свои относительные прелести в замужествах и деторождениях, превращаясь в разбрюкших тёток, она проигнорировала это популярное занятие и вместо того, не напрягаясь, сделала неплохую инженерную карьеру, хорошо одевалась, правильно питалась и отдыхала в курортных местах, в результате чего ранний кубизм её внешности превратился в женскую «интересность». Пригом она не растратила нашей дружбы даже на расстоянии, оставалась верной читательницей, сердцу которой я когда-то посвятил Третью часть моих «Стигматов». Сердцу!

Её привёз в аэропорт Миша Мейлах, и на его «Москвиче» я прибыл на родную Таврическую улицу: мама, Феня, Костя... Это было 18 августа.

На следующий день Галя появилась с утра, принеся тревожную весть. По радио уже гоняли «Лебединое озеро». В телевизоре сидели шестеро заговорщиков ГКЧП. У их старшего, горбачёвского вице-президента Янаева прямо в кадре дрожали руки, будто он кур воровал.

— Тебе нужно немедленно возвращаться! — настаивала Галя.

— Куда? У меня ж там ни дома, ни работы...

Курсы мои, конечно, накроются медным тазом, но вот паспорт нужно зарегистрировать немедленно. Галя самоотверженно отправилась со мною в милицию, но нас оттуда завернули:

— Регистрируйесь по месту трудоустройства!

Перемена власти в стране милицию не волновала.

— Едем в университет! — торопила Галя.

— Успеем.

Мы вышли на улицу, и я огляделся, где мы? Дегтярный, Мытнинская, промышленные и складские окончания Советских (Рождественских рот), знакомые с детства задворки Смольнинского района... Здесь где-то живёт Вена Иофе. Вот кто расскажет всю правду о моменте!

Умнейший человек на земле оказался дома, не очень, кстати, удивившись моему появлению.

— ГКЧП не продержится и пяти дней! — заявил он уверенно. — У них нет никакой поддержки.

Как он мог всё знать и предвидеть? Обнаждённые, хотя и не очень—то в это поверившие, мы с Галей отправились на Васильевский остров. Седьмой троллейбус, оказавшийся рядом с вениным домом, вырулил на Полтавскую, повернул на Старо-Невский и, обогнув советский обелиск, покотил по Невской перспективе.

Тут же нам встретилась колонна демонстрантов, — человек 150, не больше, идущих по мостовой с протестными лозунгами. Они направлялись к Смольному. Ну а мы, двигаясь в противоположном направлении, миновали восхитительный Аничков мост (с мелькнувшей за четвёртым бронзовым конником аркой в одно из моих былых жилищ в доме с блоковской аптекой на углу и книжной лавкой писателей на боку), а на другом углу я увидел густую очередь, вытянувшуюся вглубь Толмачёва-Караванной. За чем — не за хлебом, не за табаком же? Нет, на этом месте теперь находился парфюмерный магазин «Lancome». И эти люди, в количестве не меньшем, чем демонстранты, стояли именно туда. Они—то и были поддержкой ГКЧП.

В университете имелся отдел по работе с иностранцами, и я, причисленный к этому почётному званию, поступил в их ведение. К сожалению, я ещё не успел заглянуть в «Берёзку» (надеюсь, мои читатели не забыли о таких магазинах), но девушки хорошо работали и без валютных даров. Более того, они меня выручили, когда я позднее попал в истинно кошмарную ситуацию. То, что случается с любым эмигрантом во сне, произошло со мной наяву: я потерял визовый вкладыш. Видимо, это произошло как раз в «Берёзке», где я предъявлял паспорт, но когда я вернулся, там ничего не нашлось. Чёрное облако ужаса затмило моё сознание. А секретарша добыла новый вкладыш в тот же день.

Итак, в университете всё как будто вытанцовывалось, несмотря на московскую смуту. Но Пединститут молчал, и я посчитал, что сейчас не время ожидать оттуда приветливых предложений. Вместо того я схватился за другой спасательный круг: «Конгресс соотечественников», который открывался на следующий день в Москве и Ленинграде, и я был приглашённым участником этой сомнительной за-

теи. Но и — достаточно помпезной, чтобы укрыться под её козлиной эгидой от перунов сдуревших заговорщиков. Как сообщил позднее «Литератор» (газета Союза писателей), гкачеписты уже заготовили 400 тысяч наручников!

Однако Конгресс открылся раненько утром в Таврическом дворце, внутрь которого я вступил впервые, несмотря на то, вырос и жил тут рядом годами, через улицу. Перед входом маршировали ряженные казаки в красных лампадах и в пышных за единую ночь выросших усах. В вестибюле с колоннами духовой оркестр играл «Прощание славянки». Шныряли журналисты, попадались потрёпанные, но смутно знакомые писательские лица. Кое-где статуарно высились начальственные фигуры. Вошли в зал с красными бархатными креслами, поставленными амфитеатром, в точности как на картине Репина, стали рассаживаться. Митрополит совершил молебен.

Одна из «фигур» приблизилась ко мне и, взглядываясь в опознавательную дощечку, повешенную на шею при входе, произнесла:

— Дмитрий Васильевич? Добро пожаловать на Родину.

Я стал взглядываться в подобную дощечку у него. Он помог:

— Ректор Бордовский, Геннадий Алексеевич.

— Ректор чего?

— Педагогического университета имени Герцена.

— Очень рад познакомиться. Кстати, у меня ведь к вам дело. Я послал письмо с предложением прочитать курс лекций по эмигрантской литературе...

— Вот и хорошо. Приходите завтра с утра к моему проректору, он всё уладит.

Значит, Веня был прав, и путч провалился!

Первым выступил мэр Анатолий Собчак и сходу объявил, что правительство города и военный гарнизон не подчиняется ГКЧП, и предложил Конгрессу спокойно «работать».

В дальнейшем «работа» заключалась в говорении патриотических речей, распитии шампанского и экскурсиях по городу. Кроме того, были протокольные встречи, из которых я выбрал две: в Пушкинском Доме, где меня слегка обхаживали, и в Союзе писателей, где наоборот со мной братались и обнимались, а вот с пушкинистом из Калифорнии, назвавшим себя «пушкистом», подчёркнуто разговаривали об артиллерии. Это называлось новым словом «стёб».

А на меня напустили прехорошенькую журналистку и даже двусмысленно выдали ключ, чтобы можно было уединиться. Кабинет был с видом на Большой дом. Вероятно, это было тоже частью писательского стёба, но в результате получилось небезынтересное интервью, напечатанное в «Литераторе» в сентябре 1991 г. вместе с тремя большими стихотворениями — «Прощай и здравствуй», «Константин № 8» и «Ксения Петербургская». Орывки из наговоренного я привожу ниже.

Газетную врезку для публикации сделал Валерий Попов:

*«Бобышев из той плеяды петербургских поэтов, появившейся в конце 50-х годов и состоявшей из Бродского, Наймана, Рейна и, может быть, менее известных Ерёмкина и Виноградова. И, по-моему, после всех треволений и катаклизмов их поэзия остается лучшей поэзией России. В поэзии были взлёты, были свои герои... Но этот фонд представляет собой самую высокую, самую лучшую, выдержавшую все времена поэзию».*

А дальше вопросы задавала Лариса Захарова:

«— Что повлекло вас отсюда и что привело вновь сюда?»

— Наверное, я поехал за счастьем. Я женился на американке русского происхождения и воссоединился с семьёй. Так что у меня не было эмигрантских «кримских каникул». Получился такой скачок: Москва — Нью-Йорк. Но были и другие причины, способствующие отъезду — почти физиологическое ощущение удушливой атмосферы 1979 года. Оно вскоре проявилось началом афганской войны. Кроме того, тогда начались процессы уже не над политическими активистами и диссидентами, а над совершенно невинными безобиднейшими людьми, такими, как Миша Мейлах. Я думаю, мне нашлось бы место среди них. Меня уже вызывали на допросы по разным делам и не раз угрожали, что очень легко можно перейти из статуса свидетеля в другой... Конечно, у меня были колебания — правильно ли я делаю, уезжая? Но в конце концов эмиграция — это не предательство по отношению к родине, как считают те, для кого Россия постоянно окружена врагами.

Хемингуэй, будучи американским писателем, годами жил в Париже, на Кубе. И наши писатели прежде могли подолгу жить за границей и оставаться русскими. Где написаны «Мёртвые души»? В Риме. А «Записки охотника»? В Париже. Где, наконец, издавался «Колокол»? В Лондоне! Эмиграция — это выражение свободы человека, права на выбор той страны, где он хочет жить. В американской Конституции меня очень трогает один момент — в ней оговорено право человека на стремление к счастью.

— Нашли ли вы его в Америке?

— По поводу счастья я не очень уверен, а покой и волю я там нашёл, следуя пушкинской формуле. Я живу на Среднем Западе, в трёх часах езды к югу от Чикаго. Иллинойский университет — один из крупнейших в Америке, он знаменит своей библиотекой, особенно славянской и русской коллекциями книг. Провинция? В Америке такого понятия, как у нас, нет, и ощущения, что это глушь, я не испытываю. Наоборот — есть чувство открытого мира.

А личная правота или неправота у меня ассоциируется с двумя поездками в Чехословакию, в Прагу. Первый раз я был там при коммунистическом режиме. Я не мог избавиться от ощущения вины из-за того, что я — русский. Пусть и с американским паспортом, пусть и непричастный к оккупации 1968 года. Я, конечно, был против неё, но на открытый протест не решился. И я чувствовал эту тяжесть. А во второй раз бремя свалилось. Надо сказать, я часто оказываюсь в нужном месте в исторический момент. В Праге я был 9 июня прошлого года, когда волеизъявлением народа был свергнут коммунистический режим. Площадь, на которой выступал Гавел, ликовала. Это было потрясающее ощущение народного праздника и совершенно восхитительное чувство лёгкости на душе, избавление от стыда, который я испытывал при первой поездке.

Вот и сейчас, похоже, мы переживаем исторический момент. Недаром меня так сюда потянуло... Конечно, я не рассчитывал на такую остроту событий, на государственный переворот. Мои друзья говорили: надо скорей ехать в Пулково, в аэропорт. Американское посольство, как мне передали, рекомендовало своим гражданам в 24 часа покинуть территорию Советского Союза. Но я остался, и теперь не жалею.

— О чём будут лекции, курс которых вас пригласили прочитать в Педагогическом университете и ЛГУ?

— Меня, эмигранта, пригласили читать курс лекций по эмигрантской литературе. Это уникально и в то же время закономерно.

— Поэзия здешняя и эмигрантская, как бы вы её соотнесли?

— Это не разные явления. Задают вопросы — две литературы или одна? А можно говорить, что их было три: официальная, подпольная и эмигрантская. Я считаю, что всё это русла одного и того же течения, и они стремятся слиться.

И в самом деле, обозначенные русла бурно сливались, и я оказался в самом водовороте. Конечно, происходили и отторжения, и размежевания, — словом, шла перестройка, которая сама перестраивалась и превращалась во что-то иное. Бывшие консерваторы задыхались свободолобием, не забывая при этом отпихивать бывших диссидентов, — в общем, коловращение происходило не в вертикальной плоскости, то есть не снизу вверх, а по горизонтали, справа налево, поэтому перестройка и не стала революцией. Но пены возникло много. Некоторые стукачи из писательской среды, потеряв ориентиры, покалялись, чуть ли не целуя землю, как Родион Раскольников. Так, обнаружилось, что детский писатель и добродушный бородач Валерий Воскобойников служил не только редактором журнала «Костёр», но и был информатором КГБ, о чём он публично поведал, попросив себе снисхождения лишь в том, что он сознательно избегал общения с лицами, на которых мог наступать по-крупному. Я это подтверждаю, — именно так он вёл себя со мной.

Но его признание было спровоцировано саморазоблачением другого писательского стукача, на этот раз эмигрантского — русла и тут сливались! Доносчиком оказался критик Владимир Соловьёв, «муж Клепиковой», — так он подчёркнуто скромно отличал себя от философа. Этот инфернальный господин был уже упомянут в моём повествовании. Помимо критических статей (и секретных донесений) он писал ещё романы из сексуальной жизни знаменитостей, проникая не столько в психологию, сколько в бранные тела персонажей, — причём, довольно глубоко, — а это многих читателей коробило.

Жить было весело и стрёмно. В подземных переходах ветераны пели советские песни под аккордеон. Вокруг станций метро раскинулись барахолки, торгующие чем придётся. Между тётушек с бутылками пива, пачками «Беломора» и вязаными носками шныряли жулики. В троллейбусах на Невском орудовала банда карманников, потрошившая сумочки. Милиция их не замечала, хотя я уже знал бандитов в лицо и крепко держался за карман. Они входили на один перегон, создавали давку, кто-то взвизгивал, содержимое чьей-то сумочки высыпалось на пол, а воры выскакивали на остановке и исчезали.

Галя нашла мне издателей — сразу несколько. Одно издательство имело название «Васильевский остров», но помещалось в совсем другом конце города на площади у Преображенского собора. Два парня, оснащённых компьютерами, показали мне на первый взгляд толковыми перспективными ребятами. «Вот за такими — будущее!» — подумал я, когда мы с Галей явились в редакцию в солнечный полдень. Они предложили выпить с ними по стакану портвейна, и меня сразу же передёрнуло от разочарования. «Пьют в рабочее время! Нет, с ними толку не будет...» Это уже сказала во мне американская выучка. Между прочим, так и получилось: толку от них не было.

Другого издателя Галя пригласила на дом, — это был Коля Якимчук, тоже из нового литературного купечества. Он, как у них водится, говорил уклончиво в русую бороду, хитрил, темнил, привирал, но дело с ним сладилось, в результате чего получилась неказистая синяя книжонка, набранная меленьким шрифтом, а названная размашисто-крупно: «Полнога всего».

Появился и третий — советский перестроившийся критик Алексей Нинов, который стал на пару с таким же критиком Поэлем Карпом владельцем «Всемир-

ного слова», эфемерного журнала и книгоиздательства. У меня и для них нашлись тексты. Название книги было уже поскромней — «Русские терцины и другие стихотворения».

Состоялась и телевизионная прогулка по Летнему саду с журналисткой Еленой Коляровой. Весь порох и жар, конечно, израсходовался в предварительных разговорах, но кое-что всё же осталось в кадре. Они потом гоняли этот фильм не раз. И в моей «Полноте всего» сохранилась закладка: липовый лист сердечком, побитый гусеницей до кружевного состояния. Колярова к тому же издавала ещё один эфемерный журнальчик, названный «Новый журнал», в точности как уже существующий в Нью-Йорке. Ради телеинтервью, а скорей — просто ради любезности пришлось поддержать её большими циклами «Звёзды и полосы» и «Ангелы и силы», а также опубликовать там переписку со Стасом Красовицким, назвав её «Перо и крест».

Те же стихи читал я 21-го ноября в Доме писателя, в достославной Красной гостиной, которой меня соблазнял в прошлый приезд Яков Гордин. Из старой гвардии был там Семён Ботвинник, автор на всю жизнь запомнившихся строк:

*Чугунные цепи скрипят на мосту,  
последний гудок замирает в порту,  
уходит река в темноту...  
Но ты побывай на свету и во мгле,  
шинель поноси, поброди по земле,  
в любви обгори, и тогда  
услышишь, как цепи скрипят на мосту,  
как долго гудок замирает в порту,  
как плещет о камни вода.*

Как много написал он за всю жизнь советской лабуды, канувшей в Лету, а эти вот строки остались!

Была молодёжь, присутствовали и седины, и плечи, а также прошедшие (буквально) огонь и воду, и ржавые трубы «котельны юноши», хором вступившие в Союз писателей. Видно, пришла и моя пора.

— Не хотите ли переехать обратно, Дмитрий Васильевич? — спросил кто-то из присутствующих.

— Ну что вы... Там же у меня дом, работа! — заявил я уверенно, хотя и то, и другое висело уже на волоске.

На Таврической улице мать мне выделила комнату на постой, и я вновь поселился в своём детстве, отрочестве, юности — те же клёны и липы в окне, что подрастали вместе со мной, остановились и замерли в попытке тишины.

Именно об этой тишине пришёл побеседовать симпатичный обозреватель из «Смены» Максим Максимов. Их газета, оказывается, из номера в номер печатает антологию независимых ленинградских поэтов, называя их подчёркнуто «Поздние петербуржцы», и я там, чуть ли не первый, её открываю. Вот по поводу первенства и пошёл у нас разговор. Антологию символически заключал Бродский, и Максиму очень хотелось, чтобы я призвал его на самом верху иерархии. Напрасно я убеждал напористого журналиста, что поэзия — не спорт, что чемпионов по стихам не бывает, напрасно приводил ахматовскую притчу о диванных валиках — всё было зря. Впрочем, неудивительно: антологию он делал совместно с критиком Топоровым, отличающимся топорной грубостью, и это не каламбур, — для него поэзия состояла лишь из Гулливера и лилипутов.

В заключение Максим спросил меня:

— Я знаю, что вы решили вступить в наш Союз писателей. А вот это, скажите, зачем вам надо?

— Из чувства юмора. Только из чувства юмора.

Интервью с фотографией счастливого странника на берегу Фонтанки он опубликовал 26-го октября.

Увы, судьба Максима Максимова в дальнейшем сложилась трагически. Город всё более криминализировался, и он с этим по-журналистски отважно боролся. Некий майор милиции присвоил судебное вещественное доказательство — не больше, не меньше как новенький БМВ, а Максимов этот факт обнаружил, хотел обнародовать. Наводчик заманил его в финскую баню... Труп не нашли, наводчика, который слишком много знал, позднее «пришили» тоже, а коррумпированный майор остался при своих.

### Зрочки учащихся

Лекции в Педагогическом начались в середине октября, а в Государственном двумя неделями позже, поэтому первый стал для меня экспериментальной площадкой, где я обкатывал каждую тему, имея в руках лишь книги с закладками для цитирования. Текст с неизбежными эканьями–беканьями рождался тут же, подобно чуть косноязычной Афине из кудлатой головы Зевса. Но общий план был довольно чётко: три волны эмиграции, три узловых темы — чужбина, родина, одиночество. Я рассказал об этом плане редактору университетской многотиражки Леониду Кологитило, и он напечатал полный анонс курса вместе с фотографией ошачествленного соотечественника и его стихами. Более того, он прислал начинающую журналистку Ларису Фесенко, и она прилежно записывала конспекты каждой лекции, публикуя их из номера в номер сначала в «Ленинградском», а затем «Санкт–Петербургском университете», потому что не только газета, но и ВУЗ, и сам город сменили название.

А в Педагогическом Бордовский передал меня своему проректору, тот — декану Наталье Игоревне Батожок, она вписала меня как доцента в платёжную ведомость и назначила аудиторию в бывшем доме Дашковой на Первой линии, в минуте ходьбы от Гали.

Сама Галя ни на шаг не отходила от меня, принося на занятия портативный магнитофон, когда–то принадлежавший Ольге. Он всё ещё работал и напоследок сослужил–таки хорошую службу. А я вещал. На меня глядели лица, глаза... Это и было главное, что запомнилось в студентах: расширенные зрочки, смотрящие с изумлением на заморского гастролёра, овсянного слухами и легендами, произносившего совсем уже мифические имена и тексты. Ведь это было ещё вчера такое же табу для них, как спецхран в Публичке, как тамиздат, спрятанный на книжной полке в заднем ряду. Словом, запретный плод! Ребята и девчата были с факультета языка и литературы — от первого до последнего курса и, следовательно, разной степени дикости или наслышанности, заходили и старшие школьники, а то и взрослые дяди и тётки: преподаватели из Бурятии и даже с Камчатки, которых вдруг насылала в большом количестве деканша Наталья Игоревна. Эти все не только глядели, но и — глазели, разглядывали... А были и временные посетители. Зашла доцент Стрельникова, понаблюдала часок. Ну, это нормально. Пришёл писатель–деревенщик Алексей Любегин, мой крестник из доотъездной жизни. Несколько занятий посетила его жена, красивая нервная женщина, и как–будто ждала от меня чего–то. Потом стала приводить молодок на посмотренье... Появлялись из прошлого по-

взрослевшие крестницы. Даже клоун-любитель, — правда, в разгримированном виде, стал ходить с середины семестра. Это был непризнанный детский сочинитель Дядя Саша (Александр Кравченко), который меня произвёл в почётные племянники. Я видел его на Невском во всей клоунской красе: нос помидором, на ногах огромные сабо из пенопласта. Он сидел в детской коляске и продавал свою сказку «Хорошие приключения Экивока и Сюсика-Масюсика» перед Книжной лавкой писателя. Публика от него сторонилась.

Апофеозом курса стал живой Игорь Чиннов, буквально отловленный и похищенный у Публичной библиотеки, которая его принимала шикарно, с шофёром. Я привёз Игоря Владимировича на занятие, которое по плану ему же и было посвящено, и отпустил шофёра. Студенты внесли его на руках по старинной и весьма крутенькой лестнице, и два часа он говорил неслыханные вещи о Бунине, Адамовиче, Вейдле, Иваске, Одосцевой, мешая серьёзное с пустяками, как это и полагается в талантливой прозе. Венцом его рассказа был эпизод дефлорации Ираиды Густавовны «при сотрудничестве с Николаем Степановичем» в сугробе Летнего сада. Галя расшифровала и перепечатала магнитофонную запись, и я потом опубликовал слегка приглаженный монолог Чиннова в нью-йоркском «Новом Журнале» № 205, а затем он попал и в более ранние главы этих заметок, когда я не утерпел и слишком далеко забежал вперёд (см. главу «Последний мамонт»). Вот здесь ему было бы самое место.

Конечно, импровизации в доме Дашковой вымывывали меня психологически. Возбуждённый от студенческих разглядываний и от собственного словоговора, я по окончании лекции обычно уламывал Галю завернуть в какую-нибудь кафешку. Симпатичный вертепчик под названием «Мальвина» имел вход с угла Среднего проспекта и переулка Репина в квартале от её дома. Сто грамм коньяку ложились на душу бальзамом, успокаивали нервы. Переулком и через двор с вислой берёзой и раскрашенной абстрактной раскорякой на клумбе, мимо трансформаторной будки с несмыываемой наскальной графикой мы шли к Гале, где она считывала с магнитофона мой вдохновенный бред, перепечатывала на машинке, а я его правил. Получались очень приличные тексты для параллельного курса, уходившие потом на страницы многотиражки. Роман Зиновьевич и Тамара Владимировна Рубинштейны только дивились, глядя на энтузиазм дочери. Но наша многолетняя дружба с ней уже горела иным огнём. Сердце разрулило всё по-своему, и такой оборот дела стал одним из трёх лучших решений моей жизни: уехать в Америку, бросить курить и — вот теперь — быть с Галей. Быть с — Галочкой, однокурсницей и одноклассницей, филармонической партнёршей и выручалочкой при сдаче курсовых проектов, моей confidentкой и первочитательницей, чуть ли не единственной почтовой корреспонденткой, когда я оказался за океаном, с той, что была официальной свидетельницей двух моих неудачных браков... И вот она, словно Фортинбрас в «Гамлете», что в продолжении всей пьесы шествует туда-сюда в глубине сцены, вдруг выдвинулась и стала главной.

Первое занятие на Университетской набережной состоялось 3-го октября в 25-ой аудитории с шестью окнами и видом на «воды многие», подсвеченные ранним закатом, а закончилось уже в темноте. Посреди аудитории расплывалась большая лужа, натёкшая с потолка, подпираемого деревянным столбиком. А перед лужей и по её сторонам, опять же, — юные лица, глаза, зрачки... Тут уже эканий-беканий не было: я следовал выглаженному тексту. И всё равно — чувство небывалости происходящего меня не оставляло, и оно позднее подтвердилось, отозвавшись в «Британике» как событие года в дополнении к этой энциклопедии. Я пу-

кал лист из американского рабочего блокнота по рядам, чтоб отмечались: 25, 30 человек на каждом занятии, большинство — филологи и старшекурсники, но на взгляд раза в полтора больше, потому что кто-то предпочитал оставаться инкогнито. Галя шепотком мне подсказывала: вон там, мол, сидят твои одноклассники, а здесь профессор Иезуитова со свитой. Наблюдает... Потом мне передавали её скептическую оценку: материал — лишь частично новый, и подаётся не в объективно-научной, а в эмоциональной манере. Но у студентов-то не было допуска в спецхран, как у неё! А эмоции — да, были. Ведь речь шла о людях и текстах, сросшихся с эмигрантскими судьбами, и я, их удачливый наследник, счастливчик, возвращал в Россию имена и стихи, забытые большинством, а то и вовсе неслыханные...

Прославленный вид в окне хотелось унести с собой вместе с рамой и стёклами, захватив разом всё: вспухающие воды Невы, кораблик заодно со шпилем и Адмиралтейством, скруглённый угол Сената и Синода с аркой, купол Исаакия с тусклым золотом и розовым гранитом, не забыв небо в просветах и тучах и, конечно же, рвущегося в вечность всадника. В какую-то минуту в глаз попал ослепительный луч, — вероятно, отражённый хрустальным окошком верхней башенки на соборе, и это было как благословенье.

Занятия и подготовка к ним шли по налаженному распорядку, и я почти полностью перебрался поближе к работе, на Васильевский остров, а вскоре получил и первую зарплату, — о, весьма скромную, но к ней прилагался талон на водку. Стоило бы этот сувенир сохранить, но я, конечно, оприходовал его в «Спирто-водочных изделиях», выстояв очередь с прочими терпеливцами.

Мы с Галей навещали моих родных, прихватив с собой то какую-нибудь зелень, то лакомство. Однажды на выходе из метро купили у рыбака миног, ещё шевелящихся в кулке. Шли через Таврический сад. Он уже мало напоминал сад моего детства: некоторые деревья вытянулись, другие высохли. Но Потёмкинский дворец по-прежнему отражался в пруду, а вот дуэт для альты и флейты на пересечении аллеи был уже в новинку, так же как и петля на шее Ленина у входа в парк и кровавые кляксы на его жилете, как триколор, развевающийся там, у Смольного, вместо красного полотнища и, главное, как историческое имя Санкт-Петербург вместо Ленинграда. Последнее было многолетним заклитием города, и вот оно снято.

Федосья наотрез отказалась готовить наших миног, — в ней всё ещё говорили староверские запреты, привезённые давным-давно из деревни Тырышкино. Матери тоже не захотелось возиться, но она выдала пару капроновых носков, которые я надел на руки и выпотрошил под краном этих скользких тварей, а Галя поджарила их в горчичном соусе. Получилась пирушка!

«Осень двигалась навстречу осторожными прыжками», — так обозначил эту пору поэт наших ранних лет. Однако, что-то было не так: днём я испытывал то ли раннюю усталость, то ли световое голодание, то ли депрессию.

— Почему так рано темнеет?

— Да у нас же отменили декретное время! — объяснила Галя, и стало всё ясно.

У входа в Мраморный дворец пропал «ленинский» броневичок, стоявший там с незапамятных времён. Вместо него появилась концептуальная диковинка: модель фордовского автомобиля «Контур» в натуральную величину и высеченная из... мрамора!

Пришла новость из мирового бизнеса, коснувшаяся и меня: обанкротился ПанАм, казавшийся столь незыблемым. А как же мой обратный билет? В их офисе на Морской двуязычный парень комсомольского вида уверил меня:

— Всё в порядке, билет действителен, самолёты летают по расписанию. Только — под названием «Дельта».

Ещё одно поднебесное происшествие случилось в те дни. Со шпиля Петропавловки исчез градообразующий золотой ангел! Как неосимволиста и даже трансценденталиста, да и просто как бывшего жителя Петроградской стороны это встревожило меня не меньше, чем банкротство авиакомпании. Где же ангел?

Успокойтесь, граждане, его не украли и не сдали в утиль, а просто временно сняли для ремонта и реставрации. В частаящее время его фигура выставлена на обозрение в часовне Петропавловского собора. Так сообщила газета «Час пик». Я тут же отправился в крепость и, обойдя собор, обнаружил часовню, о которой прежде и не догадывался. Там, действительно, были укреплены на стенах две створки трёхметрового ангела — левая и правая. Позолота на крылатых близнецах местами отшелушилась и отливала побежалостью. Я перешагнул через бархатный барьер, чтобы прикоснуться к овянному ветром, высотой и временем металлу, но, дотянувшись лишь до пяты, со значением подержался за неё.

Видимо, этого касания оказалось достаточно для поэмы «Петербургские небожители», которую я посвятил Анатолию Генриховичу Найману. Там есть такие строфы:

*В эту вытутую чашу  
кто Истории долёт?  
Ангел, вечно влево мчащий?  
— Не летает ангел тот.  
А когда-то заповедно  
небо метя парой крил,  
Ангел Западного ветра  
этот город золотил.  
Он, креща в святую веру  
всё — от моря до земли,  
позлащал собой и ветер.  
Вниз его теперь свели.  
Был красой, грозой и силой,  
штыль — его былой престол.  
Низведён, утрачен символ,  
обезангелел простор.  
Обескрылел и заветрел.  
И топча петровский торф,  
кто живые, те не верьте:  
люди есть, а город мёртв.*

А вот и канун отъезда. Мы с Галей — на Таврической, чтобы провести прощальный вечер с родными, но улетаю только я. Самолёт — в 6 утра, так что ехать в аэропорт нужно в дикую рань, и хорошо бы немного поспать. Но вдруг заходят друзья, чтоб проститься, и я отвинчиваю пробку у квадратной бутылки из «Берёзки». Это — Серёжа Шульц, голубоглазый идеалист и геолог, когда-то писавший стихи, а теперь он ещё и краевед, питерский всезнаец, но и путаник тоже. Мы знакомы с незапамятных времён, когда он вздыхал по моей первой жене Наталье, что теперь клязвенно отрицает. Сам женившись, он прославлял радости деторождения и отцовства. И вот теперь, увы, его подросший сын погиб: сумятица перестройки, подозрительные обстоятельства... Шульц ищет у меня ответа, перебирает подробности, показывает фотографии...

Подсаживается Андрюша Арьев, он теперь большой человек в журнальном мире. Мы выпиваем за старую дружбу, за поэзию... За Георгия Иванова, которого он открыл мне где-то в начале 70-ых, дав почитать тамиздатскую антологию Владимира Маркова. Мы произносим друг другу с тех самых пор запомнившиеся стихи: «Эмалевый крестик в петлице», «Ты не расслышала, а я не повторил», «Распылённый миллионом мельчайших частиц» и заканчиваем нараспев дуэтом:

*Что-то сбудется, что-то не сбудется.  
Перемелется всё, позабудется...  
Но останется эта вот рыжая  
у заборной калитки трава.  
...Если плещется где-то Нева,  
Если к ней долетают слова –  
Это вам говорю из Парижа я  
То, что сам понимаю едва.  
Ещё и ещё раз...*

Наконец, Андрюшу пристраивают куда-то прилечь, я тоже вмиг засыпаю, и тут же — подъём! Такси подано, Галя везёт меня в Пулково-2. Но что это? У стойки компании «Дельта» — пустота, нет ни служащих, ни пассажиров... Как же так, ведь приехали во-время: вот мой билет — дата, время отправки, всё правильно. Оказывается, расписание переменялось, и мой самолёт отлетает завтра в это же время. Вспоминаю с негодованием двуязычного лжеца из офиса. Что же делать? — у меня ведь целая цепочка пересадок, по которой я должен попасть во-время на конференцию в Сан-Франциско. Иначе мне не оплатят грант! Да и виза кончается сегодняшним днём. Сгоряча принимаю решение: лететь в Хельсинки, чтобы там схватить «Дельту» и попытаться догнать мою цепочку.

— Ну, Галочка, до скорой встречи в Урбанске-Шампанске!

О моей головокружительной трассе через океан и два континента я уже упоминал раньше, забегая вперёд. На конференцию я успел вовремя и, стало быть, грант оправдал, хотя и пришлось отдать его в пасть проклятой «Дельте», которая не простила мне смены маршрута. Другие подробности я опускаю, следуя ходу повествования, вдруг устремившегося к концу. Трасса закончилась у автобусного вокзала в Шампейн.

Вот я и «дома»!

Такси довезло меня до складского ангара на краю заснеженного поля. Там хранились мои жалкие коробки и стояла брошенная Канарейка. Заведётся ли, бедная? С третьей попытки — завелась! Но с тормоза снять её оказалось невозможно. Заклинило.

Но это — Америка... Здесь работают аварийные службы, есть кому помочь, и дело не в деньгах, если имеются кредиты. Пока чинили машину, меня подобрал Виктор Городинский, библиотекарь и по совместительству дирижёр балалаечного оркестра, а его подружка барабанщица Нэнси, славная и добрая девушка, прокатила меня по объявленным в газете адресам. Я тут же снял мебелированный подвальчик, которым не погнушался бы и булгаковский Мастер, затем получил из ремонта свою Канарейку и перевёз туда оставшийся на складе скарб. Кухонную утварь и посуду мне выдал (совершенно негаданно!) Русский центр, коллега Наташа подарила старый телевизор, а уютю, гладильную доску и фен для галочкиных густо-каштановых я купил сам.

Оставалось протереть линолеум матросской шваброй и поставить на стол огромный букет гвоздик с причудливой окантовкой. Свежайшие, они заполнили

две комнатёнки изысканным ароматом. Теперь можно было ехать в Чикаго, в уже хорошо знакомый международный аэропорт О'Хэйр.

Вот и свершилось! 16 января наступившего 1992 года та же «Дельта» доставила Галочку в полной сохранности. Молодец, она не оробела, добралась... И, как всегда, вовремя. На парковке шёл снег, темнело. Пока выбирались на «Ингерстейт 57», стемнело полностью, и вместо плоских равнин по сторонам мерещились высокие стены, как будто мы едем в узком ущелье, ориентируясь лишь на красные огоньки едущей далеко впереди машины. Вот она сворачивает, и я готовлюсь к повороту. Вот исчезла, и мне остаётся держаться только белеющей в свете фар дорожной разметки. Приходится снизить скорость — позёмка змеится через дорогу. Утомлённая перелётом, Руби задрёмывает, склоня голову набок и не догадываясь об опасности езды. А у меня уже началась очередная по счёту «жизнь кошки», которая, к счастью, продолжается и сейчас. И ещё одна остаётся в запасе.

*(конец третьей книги)*



# Генрих Тумаринсон

## ХОРОШО БЫТЬ МАЛЫШОМ!

### В пекарне

Дядя пекарь  
Ходит в белом,  
Дяде пекарю –  
Почет.  
Он все время  
Занят делом:  
Пекарь  
Булочки печёт.

Говорит нам:  
— Не смущайгесь.  
Говорит нам:  
— Угощайгесь.

Что за прелесть  
Эти булочки,  
Эти слоечки и бублички,  
Эти плюшки и рожки  
И с начинкой пирожки!

Булочки мы лопаем –  
До чего же вкусно!  
Пекарю мы хлопаем –  
Расставаться грустно.

Он рукой нам  
Машет вслед:  
— Всего доброго.  
Мы кричим  
Ему в ответ:  
— Всего сдобного!

### Парочка

У нашего Мишеньки  
Глаза, словно вишенки,  
А дружит он с Настенькой,  
Такой же глазастенькой.

## Первая победа

Узел  
Прочным получился:  
Постарались  
Две руки.  
Научился,  
Научился  
Я завязывать шнурки!

## Сова

В ночном лесу  
Кричит сова,  
Общаться приглашает.  
Вот вредина:  
Не спит сама  
И спать другим мешает.

## В дороге

Вот идут индюк с индюшкой  
Чуть вразвалку друг за дружкой.  
С ними рядышком спешат  
Трое шустрых индюшат.

Пусть идут куда идут.  
Мы не знаем их маршрут  
И зачем идут — не знаем  
И не будем вслед идти,  
Но давайте пожелаем  
Им счастливого пути.

## Будильник

Я рассердился  
На будильник,  
Его засунул  
В холодильник.

Будильник  
Там замёрз  
И стих.  
И получился  
Этот стих.

## Увлелась

Маша по уши в песке  
И с лопаткою в руке.  
Ярко-красное ведро  
Ждет ее невдалеке.

Маша лепит куличи.  
Все как будто из печи  
И на солнышке июльском  
Даже очень горячи.

Хороша песочница —  
Уходить не хочется.

## Пуп

Пуп  
Расположен  
В центре живота.  
Любуюсь им:  
— Какая красота!

Но жалко,  
Что с тех пор,  
Как я родился,  
Он мне  
Ни для чего  
Не пригодился.

## Почему грустит колли

Печалится  
Умная колли  
О том,  
Что не учится в школе.

Букварь  
Она лапой листала,  
Но грамотной  
Так и не стала.

И очень завидует  
Колли  
Хозяину —  
Школьнику Коле.

У Коли  
Есть множество книжек  
Про кошек,  
Мартышек  
И мишек.

У Коли  
Есть книжки-раскраски  
И самые  
Лучшие сказки.

Он может читать  
Без запинки,  
А бедной собаке  
И впредь  
Придется  
Одни лишь картинки,  
Одни лишь картинки  
Смотреть.

### **На даче**

Вова смог подружиться  
С коровою.  
Вот и ходит корова  
За Вовою.

Он любимицу  
Гладит старательно,  
А бурёнка  
Мычит **ЗАМЫЧАТЕЛЬНО!**

### **Загадка**

У маленькой Люсеньки  
И носик малюсенький.

Чуть больше, чем бусинка, -  
Ещё не подросток...  
И как это Люсенька  
Находит свой нос?!

### **Доктор Мурзик**

Мурзик лечит мне плечо.  
Стало очень горячо...  
И волшебное тепло  
Под лопатку потекло.

Боль, растаяв от тепла,  
Потихонечку ушла.  
С этим ласковым врачом  
Мне ушибы нипочем!

### Упрямец

Мать-лягушка  
Сыну-лягушонку  
Из кувшинки  
Сшила распашонку.

Сколько прыти  
В этом лягушонке!..  
Выпрыгнул  
Из новой одежки.

Хочет,  
Чтоб осталось все,  
Как прежде.  
Неудобно малышу  
В одежде.

### Гугу

Мне сказали:  
— Об этом  
Другим — ни гугу.  
Я подумал чуть-чуть  
И ответил: — Угу.

Если просят молчать,  
Говорят: — Ни гугу!  
Что такое «гугу»  
Объяснить не могу.  
Я молчать согласился  
И слово сдержу:  
Никогда никому ничего  
Не скажу.

### Пятачок

История эта  
Про умную хрюшку,  
Которой хотелось  
Попробовать пюшкку.

Решила в дорогу  
Отправиться хрюшка  
И вот что придумала  
Эта хитрюшка:

— Поскольку мне денежку  
Негде занять,  
Попробую  
Свой пятакоч разменять.

Был явно смущён  
Продавец в магазине,  
Где плюшки лежали  
В плетёной корзине.

Сказал он ей ласково:  
— Милая хрюшка,  
Могу предложить Вам  
Петрушки пучок,  
Но плюшка,  
Румяная, сдобная плюшка  
Намного дороже,  
Чем Ваш пятакоч.

### **Крот**

Крот совсем не виноват  
В том, что он поделеповат.

Не дано смотреть кроту  
На земную красоту.

### **Мороженое**

Жара.  
Все взрослые в поту,  
А у меня  
Сугроб во рту.

И мне не страшен  
Летний зной:  
Зима на палочке  
Со мной.

### Китёнок и утёнок

Китёнок и утёнок  
Приплыли в этот стих.  
Китёнок и утёнок –  
Что общего у них?

Во-первых, оба — дети,  
Им весело всегда.  
Милей всего на свете  
Для малышей вода.

Китенок и утенок  
Не зря попали в стих,  
Но это все во-первых,  
А вот что во-вторых:  
Китёнок и утёнок –  
Такие молодцы!  
Они уже с рожденья  
Прекрасные пловцы.

Нужна утёнку заводь,  
Китёнку — ширь морей...  
Ты не умеешь плавать?..  
Учись у них скорей!

### Непростой вопрос

Ты, может быть,  
Правильный знаешь ответ:  
Ежи ежевику  
Едят или нет?

А если она  
Для ежей — не еда,  
Зачем ежевикой  
Зовется тогда?

### Телячья задача

Папа сделал сыну замечание  
За мычание.

Замолчал телёнок после этого –  
Будто нет его.

Сделала и мама замечание -  
За молчание.

Выглядит телёнок озадаченно,  
Чуть не плачет, но  
Не исполнишь папы приказание –  
Наказание.  
Не исполнишь мамы указание –  
Наказание.  
Как найти решение в этом случае  
Наилучшее?!

### **Изюм**

Есть изюм  
Не угомительно.  
Ешь и шепчешь:  
— *Изюмительно!*

### **Хорошо быть малышом**

Хорошо быть малышом –  
Можно бегать гольшом.  
И на папиной на шее,  
На такой удобной шее,  
Можно ездить гольшом.  
А на папиной ладони,  
На такой большой ладони  
Можно прыгать гольшом.  
И подскакивает попа  
Очень лихо: «Оп-па! Оп-па!»  
Хорошо быть малышом.

© Генрих Тумаринсон, 2014



## Людмила Некрасова

### "БЕЗ ПАУТИНЫ ЛЖИВЫХ СЛОВ..."

#### Имя мое

Имя мое — осколок льда.  
Имя — с горной вершины вода.  
Ветер в зимние холода:  
«Л-ю-ю-ю-ю-да-а-а!»

Имя — с елочки тонкой смола.  
Имя — первой любви слова.  
Шепчешь — и кружится голова:  
«Ми-и-и-ла...»

Нежность и лед,  
Своеправность и ласка...  
Имя — пророчество?  
Или подсказка?..

#### След

*Посвящается Л. Михельсон*

На землю тонкой пеленою  
Лег снег.  
И кто-то  
Долгий за собою  
Тянул след.  
И были темны,  
Вероятно  
От воды,  
На синем снеге эти пятна —  
Его следы.  
И каждый след —  
Как утвержденье  
Себя в миру.  
И каждый шаг —  
Как посвященье  
Себя добру.  
Такими разными путями  
На этот свет.

Такими разными шагами  
Распахан снег.  
И где-то в этой веренице  
Твой след.

\*

День тихо брел через границу  
Двух лет.

### Постижение

#### 1.

Я — путник,  
Ты — свет в окне.  
Я — жаждущий,  
Ты — источник.  
Я — лодка,  
Ты — парус мне.  
Звезда я,  
Ты — мрак полуночный.  
Слепой я,  
Ты — посох мой,  
Больной,  
Ты — мой исцелитель.  
Я — соль,  
А ты — хлеб ржаной...  
Попробуйте нас разделите!

#### 2.

С тобою душа обрела  
Свой корень — конец и начало.  
И радость моя залила  
Весь дом — с чердака до подвала.  
И зайчики скачут в стекле...  
Хмельная весна на земле!

Надолго ли радость — бог весть!  
Мне важно, что вот она — есть!

### Кольцо

Положен круг в основу бытия  
Как символ бесконечности начала.  
И потому тебя избавлю я  
От грустной неизбежности финала.

Круг — изначальность каждого конца,  
Но не спеши тотчас поставить точку.  
Нет ни конца, ни края у кольца...  
Оставлю я незавершенной строчку...

### Из цикла «Женщины»

Ушли в преданье  
Рыцари-мужчины,  
Оставив силу  
Слабой половине.

Ты — нежная,  
Ты — хрупкая,  
Ты — тонкая -  
Вдруг поневоле  
Стала амазонкою,  
Воительницей  
Гордой и бесстрашную.  
И где твоя беспомощность вчерашняя?

Обогана,  
Оплакана,  
Охаяна,  
Ты бьешься с ложью,  
С пошлостью  
Отчаянно,  
И компромиссов  
Фальшь и приблизительность  
Ты для себя  
Считаешь унижительной.

А руки ноют  
От привычных тяжестей,  
А одиночество  
Все тягостней и тягостней.  
Но  
Надо изучить автомашину,  
Чтоб на любой вопрос

Ответить сыну,  
И, наконец, закончить перевод,  
И платье заказать  
Под Новый год...  
А после ночь  
Бессонно проворочаться  
И думать: «Боже мой,  
Ну как же хочется  
Уткнуться лбом  
В надежное плечо  
И плакать  
Обо всем и ни о чем.  
Себе позволить  
Слабой быть  
И тонкою,  
Быть снова женщиною,  
А не амазонкою!

### Лето

Синева глубока,  
Словно прорубь во льду,  
Босиком  
Я по радуге теплой иду.  
Гимн земле отгремев,  
Дождь на травах повис,  
Пробежав по стеблю,  
Капли падают вниз  
И дробятся,  
Как солнечный луч в хрустале.  
И искрятся смолинки  
На смуглом стволе.  
Клевер голову кружит  
Как дедовский мед,  
Что веселье, отвагу  
И силу дает.  
Дарит острою свежестью  
Царственный лес,  
Свою мощь возносящий  
Под купол небес.

В этот яркий, звенящий,  
Ликующий час  
Первобытная радость  
Вздывается в нас.  
Радость жить на земле,

Торжество бытия!  
Радость,  
Солнце в ладони лоя,  
«Это я!» —  
Закричать,  
Чтоб посыпались  
Бусы с берез.  
И собою объять  
От былинки — до звезд!

### **Венеция**

О, сколько перечитано страниц,  
В каких словах ты только не воспета...  
И я перед тобою пала ниц —  
Венеция — восьмое чудо света.

Глазам и сердцу больно от красот  
Твоих колонн, твоих аркад и арок.  
Мостов волнообразный спад и взлет  
Качает как средневековый барок.

Скользит гондолы черный силуэт  
Зеленоватой лентою канала...  
Вода и солнце подарили цвет  
Твоих одежд для буйства карнавала.

Крылатый лев судьбу твою хранит  
Для вечности — напрасно море алчет,  
Ведь гений твой мощнее, чем гранит,  
А только это что-то в мире значит.

### **Весне**

В зеленый бархат затяни поля,  
Зеленым кружевом одень нагие ветки,  
И крокусов ковром лиловоцветным  
Украсится пусть голая земля.

Пусть грянет гром, как в гулкий барабан,  
И в лужах дождь запенится шампанским,  
И ветер с воем истинно шаманским  
Остатки туч несет за океан.

Скорей приди! И правь, ликуя, бал!  
Кружи весь мир в пьянящем хороводе!  
Дай расцвести душе, как и природе,  
Все вовлеки в свой пестрый карнавал!

И в этом танце света и тепла  
Пусть никого надежда не обманет,  
И утром солнце молодое встанет,  
Чтоб доказать нам, что весна пришла!

### Старое фото

*Маме моей, старшине медицинской  
службы, медсестре Великой  
Отечественной посвящаю*

Тонкая фигурка, косы по спине...  
«Медсестричка Раечка, подойди ко мне.  
Знаешь, мне приснился свет в моем окне...  
Только однорукий нужен ли жене?..»

«Ты в уме ль, пехота!  
Что с такой войны  
Ты живым вернешься –  
Счастье для жены!»

Ночь длинна в палате:  
Стоны, боль и гной...  
Снова кто-то просит:  
«Посиди со мной!»

Ей с утра на смену –  
Марля, кетгут, йод...  
Но в палатах тесных  
Каждый Раю ждет.

Средь смертей и стонов,  
И бинтов в крови  
Та для них как символ  
Жизни и любви.

Солнце в окна бьется,  
На дворе весна...  
«Старшина, не спите,  
Скальпель, старшина!»

Редки письма с фронта,  
Нет войне конца...

Время ожидания  
Тяжелей свинца.

Три кровавых года  
Ждать победы свет...  
Медсестричке Раечке  
Только двадцать лет.

Послание душе  
Крохотной искоркой рдеться  
Сотни иль тысячи лет,  
Чтобы глазами младенца  
Глянуть внезапно на свет.

И научиться повторно  
Плакать, любить и страдать,  
И неустанно, упорно  
Близкую душу искать.

И в краткий миг узнавания –  
Да не нарушится связь —  
Древнее, тайное знание  
Вдруг просыпается в нас.

То ль африканкой с кувшином,  
То ль крестоносцем в седле,  
То ли лихим сарацином  
Жил ты уже на земле.

Вместе со вздохом последним,  
Не оставляя следа,  
Листиком легким осенним  
Ты отлетишь...  
Но куда?..

В бездне — среди звезд — одиноко  
Ждать тот единственный миг:  
Первый — как шаг от порога –  
Новорожденного крик.

### **Рыбный рынок**

Рыбный рынок, рыбный рынок,  
Шум и гам с пяти утра.  
Рыбаки везут на рынок  
Лов живого серебра.

Все — от скампи до селедки -  
Маниг взор — купи, купи!  
На огромной сковородке  
Рыба свежая шипит.

Хлеб жуется, пиво льется —  
Утренний веселый пир...  
Над водою чайка вьется...  
Гамбург.  
Порт.  
Ворота в мир.

### **Карлов мост**

Мост, построенный на века,  
Вольной Влтавы стянул берега.  
И связует, как всем нам известно,  
Малу Страну и Старое Место.  
Точно пояс, расшитый камнями,  
По ночам он сияет огнями.  
Прихотливо скользящие блики  
Оживляют святых строгих лики.  
Каждый камень брусчатки старинной  
О поре повестует былинной:  
Вот к мосту, дорожа своей шкурой,  
Бежит толстый монашек с тонзурой,  
За ним следом, мрачны и небриты,  
Улюлюкая, мчатся гуситы...  
Веком позже здесь задали перцу  
Горожане захватчику-немцу...  
Староместская грозная башня  
Защищалась от шведов бесстрашно...  
Короли вместе с рыцарской свитой  
По мосту выезжали на битву,  
Торопились артисты во фраке  
Брел еврей в шляпе и лапсердаке,  
Горожанки с корзинкою полной  
И разъезды полиции конной...  
Каждый век, кто бы Прагой не правил,  
На мосту четкий след свой оставил.

Карлов мост плывет медленно в лето,  
Под ладонью тепло парашета,  
И туристов веселые орды  
Смотрят с моста в прозрачные воды.

## Органный концерт

В Кельнском соборе  
Скамьи нет свободной,  
И опоздавшие  
На пол холодный  
Молча садятся.  
Из множества стран  
Мы собрались сюда  
Слушать орган.  
Первый аккорд  
Прозвучал откровеньем  
И все застыли в благоговеньи.

О, как стонал он,  
Молил и молился,  
В бездну летел,  
В небеса возносился.  
То он гремел,  
То смиренно шептал,  
Бился в отчаяньи,  
Плакал, мечтал.  
Как доносил он  
До нашего слуха  
Немощи тела,  
Величие духа.  
Рвался, боролся,  
Искал и страдал,  
И как надежду в сердцах пробуждал.  
И, наконец-то,  
Финальным каскадом  
Звонко рассыпался  
Как звездопадом.

...У органиста -  
Пот по лицу.  
Грохот овец.  
Слава творцу!

## Сефардские песни

*Посвящается израильской певице Ясмин Леви*

Этот голос, за сердце берущий,  
Хрипло-низкий, как горестный стон,  
Будоражащий, томно-влекущий,  
Умоляющий: «Ми корасон...»\*  
Нас с тобой из Испании изгнали...  
Хоть с тех пор пронеслось пять веков,  
Горький дым мы забудем едва ли  
Инквизиторских страшных костров.

Я влеклась на восток, ты же — к югу...  
Долгий путь бед, страданий и мук.  
Лишь в молитвах вспомянем друг друга,  
Суждены нам столетья разлук.

О, как медленно время тянулось...  
Но судьба все ж была к нам добра:  
Твоя песня к душе прикоснулась  
И тебя я узнала, сестра!

Ну, так пой же сефардские песни,  
Тех, давно промелькнувших, времен,  
Для меня нет мелодий чудесней —  
В них едины мы, ми корасон!\*

\*Ми корасон — исп.: «Мое сердце»

## Сегодня

В нижнесаксонском городке -  
Дитя слепого урбанизма -  
Я поселилась.  
Вдалеке  
От всех соблазнов конформизма.

Без паутины лживых слов  
Постперестроечного краха  
Освободилась от оков  
Всеудушающего страха.

Среди холмов, лесов, полей  
Ничем не сдавленной природы  
С забытой музою моей  
Сдружилась за эти годы.

О, как бы радовался дед,  
Из Торы мне читавший с детства,  
Что на себя взяла обет  
Хранить священное наследство.

И тем, кто хочет больше знать  
О нас, «таинственных» евреях,  
Всегда готова рассказать  
О Маймониде, Хасмонеях,

О полководцах и врачах,  
Купцах — бесстрашных мореходах,  
О том, что составляет часть  
И честь истории народа.

И, наконец, пришел покой,  
Из сердца вытеснив тревогу.  
За поворот судьбы такой  
Благодарю от сердца Бога.



**Борис Геллер**

**СПУЩЕННОЕ КОЛЕСО, ИЛИ  
ПОХОЖДЕНИЯ КОНТОРЩИКА  
РАБИНОВИЧА**

*Контора, — общее название административно-канцелярских  
отделов учреждений и предприятий,  
а также самостоятельных учреждений, преимущественно  
хозяйственного и финансового характера.*

*Конторщик, — конторский служащий.*

С.И. Ожегов. Словарь русского Языка. Москва, Русский язык, 1983.

**От автора**

Я долго не решался начать писать эту повесть. В ней почти нет литературного вымысла, многие из ее героев живы и здоровы, и все они связаны по рукам и ногам бесчисленными подписками о неразглашении. Так что имена, даты, географические названия и оперативные детали пришлось, естественно, изменить. Тогда что же осталось, справедливо спросите вы? Осталась, как говорят англичане, *frills-free story*, т.е. очищенная от ненужных украшений история о похождениях конторских служащих, работающих в учреждениях не хозяйственного и не финансового характера.

**От Володи**

Пожалуйста, впечатайте ваши ответы в специально отведенные для этого интервалы. МИД США, форма № 156: Просьба о выдаче неиммиграционной визы".

Тридцать четыре вопроса, последний из которых: "Являетесь ли вы членом или представителем террористической организации? «да», «нет>". Жирно подчеркиваю «нет».

А теперь — к началу, чтобы ничего не пропустить. Фамилия — Рабинович. Имя — Зеев. Другое имя — Владимир. Дата рождения — 26 Августа 1954 года. Место рождения — г. Ленинград, СССР. Подданство — Израильское. Пол — мужской. Номер паспорта, — впечатаю потом. Выдан. Действителен до. Домашний адрес — ул. Ирис 24, Мевассерет Цион, Израиль. Место работы и рабочий адрес — Редакция журнала Легионер, ул. Хома у мигдаль 13, Тель-Авив. Номер домашнего телефона. Номер рабочего телефона. Цвет волос — черный. Цвет глаз — карие. Цвет лица — белый. Рост — 182. Особые приметы — нет. Семейное положение — холост. С кем путешествуете? — один. Подавали ли вы в прошлом прошение о визе в США? — нет. Была ли ваша виза в прошлом аннулирована? — нет. Предполагаете ли вы работать в США? — нет. Намерены ли вы учиться в США? — нет. Род

ваших занятий? — журналист. Кто оплачивает вашу поездку? — журнал Легионер. По какому адресу вы намерены остановиться в США? — Embassy Inn Hotel, 1627 16th st., Washington DC. Цель поездки — командировка. Предполагаемая дата прибытия в США — сентябрь 2007. Как долго вы собираетесь оставаться в США? — не более недели. Бывали ли вы в США ранее? — нет. Далее — иммиграционные дела, это не для меня, на все отвечаю — нет. Родственники в США — нет.

Вообще-то говоря, там должен быть дядя по отцовской линии, но никакой связи с ним у меня нет, да и у отца уже не было. Помню только, он рассказывал, что дядя по профессии архитектор, вроде бы успешный. Ни до войны, ни после, братья не общались. Так что отвечаю честное пионерское — нет.

Перечислите страны, в которых вы жили более шести месяцев в последние пять лет. Оставим на потом, пусть контора решит, что писать. Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я лично прочел и понял все вышеуказанные вопросы, бу-бу-бу, му-му-му.... Подпись, место для фотки 37×37 мм.

Бля, ну и бюрократы! Хотя, думаю, современные Российские анкеты выглядят не лучше, а уж те, что я помню по прошлой жизни — броня крепка, и танки наши быстры — не о чем и говорить. Полночь. Выключаю компьютер и отправляюсь спать. Завтра предстоит длинный день.

\*\*\*

Ненавижу угрюмую спешку. Душ, свежий сок, кофе, обязательная зарядка, глажение рубашки и чистка ботинок. Меня в детстве так достали воспитанием: портфель надо собирать с вечера, что я просто не способен ничего приготовить заранее. Вот и получается, что вылетаю из дому в последний момент, практически опаздывая, и галстук завязываю уже в машине, при включенном двигателе, жду, пока прогреется система турбонаддува в моем Фольксвагене Бора. Вы, конечно, вправе заявить, мол, заврался мужик, где это он в Израиле видел выглаженные рубашки, чищенные ботинки да еще галстуки!? Уж не в подпольном ли казино служит наш герой? А если так, то почему спешит на службу утром? Эх, читатель, было время, и я не верил, что все это есть, но жизнь иногда, как крупье в том самом подпольном казино, выкладывает на стол такие карты, которых, казалось, и вовсе быть в колоде не должно.

Дорога до конторы, далее будем называть ее просто Контора, занимает около часа. Ежедневные пробки начинаются практически от выезда из Мевассерета и сопровождают меня до Правительственного Квартала, — комплекса зданий МИДа и других учреждений. Наша Контора переехала туда недавно, в ней все еще новенькое, пахнущее краской и дорогим отделочным пластиком. На въезде в подземный гараж машину осматривают, несмотря на то, что охранники уже знают практически всех сотрудников корпуса в лицо. Таков порядок. От машины — к лифту. Там кодовый замок. Девятый этаж. Холл. Внутренняя охрана. Биометрический контроль на входе в отдел: нужно заглянуть в глазок фотокамеры и приложить указательный палец левой руки к красной подушечке сканера. Щелчок — и дверь мягко открывается. Всем шалом, а некоторым особое здрастье — начинается рабочий день.

Первым делом просматриваю внутреннюю электронную почту. У нас давно уже отказались от бумажных носителей. Абсолютно все, включая платежные ведомости стенгазеты, существует исключительно в компьютерном виде. Общие распоряжения по "Конторе", отделу, группе. Пожелания уходящему в отставку коллеге.

Личная почта. Совещание у начальства в 11.00 и приказ-совет провести утро в библиотеке, обновить информацию по известной мне теме: SINAR. Делаю себе крепкий чай и, с чашкой и блокнотом, открываю ногой стеклянную дверь читального зала.

Поисковая система выдает на слово SINAR кучу мусора, но мы его почистим. Фотоаппараты нам не нужны, и увлажнители тканей тоже, долой австралийскую лазерную технологию, а вот то, что мы ищем: SINAR — Sistema de Inteligencia Nacional de Argentina.

Быстро пробегаю глазами то, что уже знакомо, названия всех девятнадцати(!) — хорошо живут — разведслужб этой не самой богатой в мире страны. Биографии и фотографии их директоров. Меня, собственно, интересует лишь один из них, Хектор Иказуриага, пятидесяти двух лет, женат, имеет двоих детей, бывший вице-губернатор провинции Санта Круз. Родился в Буэнос-Айресе, с 2003 года возглавляет Национальную Службу Разведки. А вот этой информации еще недавно не было, кто-то добавил: Хектор имеет три прозвища, а именно "El vasco", "El chango" и "Pancho". Стоп! Какой-то якорь появляется в ассоциативной памяти.

"El vasco" — баск, или в другом значении — корова. Прованс, 2002, цветочный магазин на площади города Граса. Я покупаю букет цветов, и, извиняясь за свой испанский акцент, говорю хорошенькой продавщице: "Excusez moi, je parle français comme une vache espagnole" — "Простите, что говорю по-французски столь ужасно" (в буквальном переводе — как испанская корова). Девушка, как оказалось студентка — лингвист Авиеньского университета, шутку оценила. Завязалась почти научная дискуссия по поводу происхождения этого идиоматического выражения. Она предполагала, что слово vache — корова, является искажением архаичного basse — служанка. Я, сославшись на источники, выдвинул другую гипотезу, согласно которой здесь vache является приемником существительного basque — баск. Как известно, баски живут на севере и юге от Пиренеев, и, естественно, на испанской стороне плохо говорят по-французски. А изменение basque на vache произошло под влиянием гасконского диалекта, в котром латинское vasco обозначает одновременно и "баска" и "корову". Спор окончился получением телефончика веснушчатой студентки, но скорее, по инерции. Мой автобус на Ниццу уходил через двадцать минут.

А до начала совещания еще есть время. Нахожу обзор, сделанный моим коллегой по теме "Аргентина 2005: страна и люди".

Краткая географическая справка. Население, площадь, и т.п. Средний возраст по стране — 30 лет. Лишь 20% людей религиозны, — мало для католиков. Безработица — 8%. Инфляция — 10%. Основные торговые партнеры — Бразилия, Чили, США и Китай. Внешний государственный долг — 110 миллиардов долларов. Во как.

...Десятки лет аргентина жила, волонгаристски приравняв свою валюту к американской, один к одному. Оставалась при этом совершенно аграрной страной третьего мира. Естественно, что такое насилие над финансовой политикой должно было аукнуться. В середине 90-х держава рухнула, и песо приняло свои естественные размеры: 10 за доллар. Постепенно ситуация стала выравниваться, и сейчас соотношение один к трем.

Золотой период в истории Аргентины это первая половина 20-го века. На фоне разрушенной войной Европы она казалась хлебным раем. В политическом аспекте, несмотря на военные перевороты в 1943 и 1955, жизнь была относительно стабильна вплоть до 1976 года, когда военная хунта решила покончить с ростками коммунизма в государстве. Последующие восемь лет истории Аргентины известны под названием "Грязная война". Коммунизм был успешно задушен, правда ценой

исчезновения примерно 30 000 человек. Психологические последствия славной восьмилетки ощущаются до сих пор. Страна ужасно заформализована: очереди, номерки, окошечки, паспорта, штампы, регистрации, и т.п.

В 1982 г., очередной генерал в роли президента решил указать Англии ее настоящее место, изгнать британцев с Фолклендских островов и навсегда переименовать их в Мальвинские. Однако Маргарет Тэтчер шутка не понравилась, и через два с половиной месяца она восстановила статус-кво. Аргентина потеряла в этой авантюре 655 солдат. Более тысячи были ранены и около 12 тысяч попали в плен. Разгром аргентинской армии привел к падению военного режима в стране. Однако туристические справочники и гиды настоятельно не рекомендуют в разговорах с аргентинцами касаться столь болезненных для их самолюбия вопросов, как Грязная война и Фолкленды.

Сегодня Аргентина выглядит так, как будто восстанавливается после сильного землетрясения. Инфраструктура дышит на ладан, тротуары раздолбаны, сантехника функционирует с трудом, здания ветшают и не ремонтируются, электропровода провисают. Бюджетные деньги оседают в частных карманах. Все крутятся, чтобы выжить, иногда работают в нескольких местах. На простых работах можно иметь в месяц около 700 песо. Приличные заработки начинаются примерно с 2000 песо. Если в семье работают два человека, то 4000 песо хватает, чтобы жить терпимо, но без поездок в Европу и на дорогие местные курорты. Образование в стране бесплатное, но есть и частные университеты, где месяц обучения стоит около 700 песо. Номер на двоих в гостинице среднего класса обходится около 35-40 долларов за ночь. Обед в ресторане по системе шведский стол — 5 долларов на человека. Ужин на двоих в приличном месте, с вином, пивом, мясом и десертом — 25 долларов. Плата за вход в музеи чисто символическая. Бензин дешев, менее двух песо за литр, поэтому многие водители автобусов не выключают моторы даже при длительных остановках. Проезд в такси, метро и автобусах стоит копейки.

Автопарк поражает воображение своей архаичностью. Пежо-504, Рено-12, Форд-Кортина, Фиат-127 в Аргентине норма. Все это движется, скрипя и дымя, часто без фар и бамперов. Не в лучшем состоянии и городские автобусы. Конечно, есть и вполне современный транспорт, но он скорее исключение. Ездят аргентинцы быстро, на правила движения, знаки и дорожную разметку большого внимания не обращают. В начале 20 века в стране была разветвленная сеть железных дорог. Сейчас от нее ничего не осталось. Страна огромная, и передвигаться по ней можно лишь междугородними автобусами, либо при помощи местных авиалиний. Внутри столицы существует достаточно разветвленная сеть метро. На многих ветках остались деревянные вагоны 50-х годов. Метро, как и вся инфраструктура, находится в плачевном состоянии.

Лихо пишет коллега. Держу пари, что в свободное от работы время сочиняет прозу.

Пять минут до совещания, пора покидать избу-читальню.

\*\*\*

Мой босс, Ноэми Фишер, — женщина, которая забыла, что она женщина. Работа в "Конгоре", организации без сомнения маоистской, не оставляет females много шансов на выживание. Безликий брючный костюм серого цвета, туфли без каблучков, нелепые украшения, подаренные мужем на день рождения пять лет

назад. В сочетании с невысоким ростом и отсутствием прически она служит классической иллюстрацией к программе БиБиСи "Как не надо одеваться". Но с курчавой головой у нее все в порядке. Когда был Ленин маленьким, с курчавой головой... К чему бы это? Ах, ну да, взгляд с хитринкой, как у Ильича. Так и ждешь, что она произнесет, картавя, "конспигация, батенька, и еще газ конспигация!" Сообщение, как это ни банально, было посвящено именно данному вопросу. Моей, между прочим, "конспигации".

Опущу первые три четверти часа, с деталями, не предназначенными для чужих ушей.

— И, — главное. Запомни это, как молитву "Шма Исраэль": мы не работаем на территории США! Какой бы соблазнительной ни была цель, ни при каких условиях! Достаточно Полларда. Твой объект — Аргентина. Ситуация там абсурдна. Мы тренируем их спецназ, а они, по выходе на пенсию, а, может, и не дожидаясь ее, наставляют террористов.

Особенно важна для нас область, где соединяются три границы: Аргентины, Бразилии и Парагвая. Район водопадов Игуассу, где вообще царит, как ты любишь говорить, — без-пре-кол?

— Без-пре-дел.

— Вот-вот, именно он. Мало того, что там идут потоки наркотиков, оружия и живого товара во всех направлениях! Они понастроили в джунглях тренировочные лагеря.

Но эту проблему можно решить только "сверху", так что никакой самодеятельности. Ищи нужные контакты, завязывай знакомства как можно ближе к SINAR. Судя по всему, ноги растут оттуда.

— Вы правы.

— А когда я была не права?

— Мне помолчать? Начинается монолог на тему "я самый, самый, самый...?"

— Можешь и помолчать разок, авось не заболеешь. Кстати, знаешь, как узнают агентов аргентинской разведки?

— Как?

— У них на майках сзади написано "Я самый крутой шпион".

— А вы слышали, как аргентинцы кончают самоубийством? Нет? Они прыгают вниз головой с высоты собственного эго.

— Откуда ты набрался этих анекдотов? Неужели из базы данных?

— Нет, от Роберто из группы "А".

— Хорошо. Пройдемся по твоей легенде. Начинай.

— Окей. Зеев Рабинович, 52-х лет, холост, израильский паспорт, корреспондент военного журнала "Легионер".

— Цель визита в Аргентину?

— Сбор материалов об операциях спецназа в Фолклендской войне, с обеих сторон. Конечная цель — серия очерков о восстановлении аргентинского спецназа и разведки после окончания конфликта, а затем и документальный фильм Израильско-британского производства.

— Как называется их программа реанимации армии, помнишь?

— Разумеется. "План 2000".

— Почему интерес к теме возник именно сейчас?

— В июне 25 лет с момента окончания войны. Она длилась с марта по июнь 1982 года. Так что — круглая дата.

— Отлично. Но почему бы вдруг сюжет заинтересовал израильское телевидение?

— Наша стратегия, как известно, традиционно опирается на BBC и спецназ. После Второй Ливанской войны она подверглась сильной критике. А между тем, в Фолклендском кризисе именно они решили исход событий.

— Что ты делаешь в Лондоне?

— Беру интервью у генерала Питера Бейли, командира SAS в период Фолклендской войны.

— Допустим. Ваша встреча уже назначена, надеюсь?

— Главный редактор "Легионера" позаботился обо всем.

— Ну, хорошо. Похоже, все гладко. Да, кстати, кто такой Борхес?

— ?

— Ладно, шутка. Поезжай в американское консульство, оформи визу. Для вхождения в роль это правильно сделать самому.

\*\*\*

Американское консульство в Восточном Иерусалиме — одно из самых омерзительных мест на Планете. Старая, бесформенная каменная коробка окружена высоким забором с видеокамерами и охраняется упитанными "лицами арабской национальности" в желто-зеленой униформе. Гордые возложенной на них миссией, последние ведут себя нагло и тасуют очередь страждущих по своему усмотрению. Сегодня нас запускали группами по десять. Худой клерк с анемичным лицом собрал у всех паспорта и не спеша удалился в офис. Щелкнул замок металлической двери. Прошло около двух часов, и бесцветный голос стал называть в микрофон фамилию за фамилией. Вызванные подходили к окошечкам в стене, забранным толстым прозрачным пластиком. Это называлось "интервью".

Моим проверяющим оказался симпатичный немолодой уже человек, представившийся как "Роберт Эллис, помощник консула". После нескольких ничего не значащих вопросов он сказал буквально следующее:

— Господин Рабинович, вы, я вижу, давно живете в Израиле. Журналист, работаете в престижном месте, т.е. вы человек устроенный. Далеко не все русские иммигранты так преуспели. Нам бы хотелось узнать от вас, как человека компетентного, в чем секрет успехов и неудач членов русской общины. Так что, почему бы нам не пообедать вместе как-нибудь в ближайшем будущем? А?

— Господин Эллис, мне очень лестно, что консульство считает меня достойным источником информации, но, поверьте, я таковым не являюсь.

К тому же, мой пример не типичен. Я получил в Израиле наследство, так что мог не заботиться о завтрашнем дне.

— И все же, подумайте о моем предложении. Вот моя карточка, позвоните.

— Спасибо, непременно, как только приеду из Штатов, если, конечно, вы вернете мне паспорт с визой.

— Ах, да, конечно, вот ваши документы. Счастливого пути.

Я вышел из здания на узкую иерусалимскую улочку, все еще держа паспорт в руках. Все происшедшее оставляло дурной привкус во рту. Значит, мы на территории союзников не работаем, как бы соблазнительна ни была цель... Да нас здесь как кроликов перевербуют, пока мы будем хлебалом щелкать!

Да, читатель, да. То, что я сейчас тебе рассказал, на сухом профессиональном языке называется установлением контакта в целях дальнейшей разработки и, возможно, вербовки.

Только когда сам начинаешь заниматься кулинарией можешь оценить сложность того или иного рецепта. Лишь начав работать, я понял сколько души написано в "Аквариуме" Суворова. Мол, настоящая вербовка делается мгновенно, одним предложением, доброй улыбкой. Улыбкой можно пригласить женщину на танго, но не завербовать агента. Это процесс долгий и многоступенчатый.

Ну, допустим, что он меня установил как кандидата на вербовку в силу моей профессиональной информированности и потенциальных связей. Все-таки я корреспондент военного журнала. Решил начать очную разработку, благо искать, как установить контакт было не нужно, — вот он я, зависим и никуда не сбегу, сам приплыл. До сих пор все правильно и профессионально. Но дальше, на мой взгляд, он допустил ошибку, ибо смешал стили.

### **От автора**

При знакомстве с объектом сразу же выбирается программа будущего общения: "симметричная" или "дополнительная". Первая модель подразумевает равенство сторон, — возрастное, социальное, интеллектуальное. И в отношениях, — что позволено одной, то же может и другая. "Дополнительная" модель основана на неравенстве, фиксирует дистанцию общения. Установленную при знакомстве программу в будущем изменить практически невозможно.

### **От Володи**

Я был от него зависим, ждал визы, стоя за окошком. Он даже не встал, когда со мной разговаривал (явное неравенство), а то вдруг приглашает пообедать вместе (равенство). Как сказал однажды пьяный электрик Мишка, икая и осматривая проводку, сделанную в штабе местным умельцем: "Нам в ПТУ за такую работу мастер руки отрывал".

### **От Ноэми Фишер**

Я работаю с Зеевом не первый год, и мы прекрасно ладим друг с другом. Первое время я никак не могла привыкнуть к его маргинальным шуткам. У нас в отделе кроме Зеева служат еще трое русских. Порой интересно посмотреть, как они общаются между собой. Я учила русский язык в университете, в качестве второго иностранного, и читаю свободно. Прочла даже «Колымские рассказы» Шаламова. Серьезная книга. В ней было много непонятных сокращений и редких слов, ну, например, БУР, ШИЗО, доходяга, лепила, вертухай. Но я разобралась. А вот знаменитые «Москва-Петушки» мне пришлось прочесть с параллельным переводом на иврит. Уж больно круто оказалось, как это правильно сказать, *linguistically speaking*.

Русские, с одной стороны, постоянно перебрасываются репликами из им одним известных фильмов и книг, а с другой все воспринимают слишком всерьез. Когда я впервые в ответ на мой вопрос услышала «заграница нам поможет», у меня

похолодело сердце. Какая граница? Но потом я понемногу привыкла, и некоторые выражения по-русски даже сама употребляю, надеюсь, что к месту. Например, «за державу обидно!». Впрочем, это к месту всегда.

### От Володи

Лететь из Тель-Авива в Буэнос-Айрес можно разными путями. Прямого рейса нет, так что весь вопрос в том, где вы хотите пересаживаться, сколько ждать своего "connection flight" и насколько толст ваш кошелек. В моем случае маршрут был задан заранее, через Лондон, а деньги контора экономит, и мне соорудили билет с «Varig»: Тель-Авив, Лондон, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. Такой перелет для человека, у которого нет болей в спине, и многочасовая разница во времени не существенна, — сплошное удовольствие. Проблема лишь в том, что таких людей нет.

Даже если вы Почетный Чекист и внук Железного Феликса, в возрасте за пятьдесят это утомительно. Последний раз я летал с бразильской национальной компанией лет пять назад, и запомнил это надолго. Кресло упорно не желало откидываться, телевизор не работал, а шеды выдавались за дополнительную плату. Я тогда в сердцах пожелал им разориться как можно скорее, и мое пророчество сбылось. Год спустя они плавно перешли во владение Singapore Air.

Вечер перед отлетом прошел в сборах, пустом телефонном трепе и смотре-нии телевизора одним глазом. Рейс "VA №85" вылетал в 12.55 дня, а значит, в аэропорту надо было быть в десять утра. Служебную машину следовало оставить на стоянке Бен-Гуриона, ее потом заберут. "Контора" не содержит собственного парка — нет смысла — а работает с прокатной фирмой "Эльдэн". Утром в день вылета практически новая "Бора" просто — на просто не завелась. Выслушав по телефону симптомы, механик "Эльдана" решил, что дело в электронике противоугонной системы и обещал прислать другой автомобиль в течение часа, что меня, конечно, не устраивало. Вызванное такси как назло опоздало. Мы попали в час утренних пробок и медленно ползли в плотном транспортном потоке в сторону Тель-Авива. Водитель, молодой марокканец, все пытался обсудить со мной какие-то политические проблемы, но я не был расположен общаться с кем бы то ни было. Он наконец отстал от меня и включил радио. Гнусавый мужской голос исполнял шлягер сезона:

"А ночью, в моей постели, прежде чем раздеться, она сказала, что ее зовут Лайла..."

Хорошая песня, культурная, ведь все-таки представилась девушка, прежде, чем раздеться. Могла бы и опустить незначительные формальности. Вот в моем детстве исполняли другие шедевры:

"От зари до зари не смолкает горделивая песня труда. Это печи гудят, это станы стучат, это наши идут поезда".

За философскими размышлениями о том, что же такое порнография, мы и дотащились, наконец, до места назначения.

Регистрация на рейс заканчивалась, и вот тут-то и возникло раньше лишь теоретически знакомое слово "overbooking". Кричать, убеждать и доказывать что-либо было бесполезно. Нажать на них через "Конгору" я не мог даже помыслить, ведь во-первых это не "EL-AI", во-вторых, я не аргентинский крутой шпион, а скромный корреспондент второстепенного журнала. Оставалось утереться, отзвониться по начальству, выслушать, кто я есть и что мне надо оторвать, попросить

секретаршу перебронировать отель в Вашингтоне на день позже, и ехать домой. Какое там было продолжение у шлягера моего детства?

"Разгорайся, наш труд величавый, на заводах, на стройках, в полях! Это воля страны, это слава страны, это силы великий размах!".

Нет, что ни говорите, но это вам не какая-то там Лайла, решившаяся, наконец, раздеться.

Утром в аэропорту меня ждал приятный сюрприз. Чтобы загладить вчерашний конфликт, компания решила сделать мне upgrading и предоставить место в салоне бизнес класса. Так что "ура" и салют из всех орудий, — лечу как белый сагиб.

Огромное ортопедическое кресло легко откидывалось и закреплялось в одном из шести заданных положений, три лампочки мягко освещали пространство над местом 8A, на полочке слева сверху лежала стопка цветных подушечек и пледов, а персональный телевизор включался легким нажатием на экран. В середине салона помещался небольшой столик, уставленный бутылками спиртного, банками пива на льду и соками. Честное слово, вот выйду на пенсию и поселюсь в Сингапуре.

Слева от меня уткнулся в ноутбук типичный израильский программист-работоголик, скорее всего какой-нибудь начальник проекта в хайтеке. Справа устраивалась в кресле ухоженная дама лет сорока, сорока пяти. Высокая, ни грамма лишнего веса, короткая стрижка, джинсы и голубая блузка со скромной этикеткой «Карл Лагерфельд». В бизнес классе кресла не стоят вплоты, но даже на расстоянии можно было безошибочно почувствовать духи "Паломы Пикассо". В какой-то момент она уронила довольно толстую книжку, — Набоков — грех было не поднять. Обаятельная улыбка, прямой взгляд, — "thank you very much".

— Не за что. Нам долго лететь вместе, так что позвольте представиться: Зеев Рабинович.

— Очень приятно. Линетта. Моя фамилия очень сложна для чужого уха, так что считайте, что я тоже Рабинович, — это моя девичья фамилия.

— Мы, скорее всего, не родственники, даже не дальние.

— Конечно, вряд ли, но у нас будет достаточно времени это выяснить. Так что, Зеев, готовьте свое Curriculum Vitae.

В этот момент стюард принес шампанское (все-таки есть что-то в бизнес классе, есть) и наша беседа прервалась. Самолет начал выруливать на взлетную полосу, и через несколько минут, мягко, чтобы не расплескалось содержимое бокалов, оторвался от бетона.

## От автора

Оптимальные варианты знакомства людей зависят от многих факторов, но первое впечатление о человеке примерно на 50% зависит от визуальных впечатлений, на 40% от манеры разговора, и лишь на 10% от того, что именно говорит наш новый собеседник. Причем мужчины и женщины оценивают друг друга по-разному, хотя в целом их впечатления подсознательно всегда определяются в эротических терминах. Женщине требуется до 45 секунд, чтобы "считать" мужчину, и ее внимание обращено прежде всего на его речь. Затем она сканирует глаза, прическу, руки, обувь и, наконец, одежду. Конечно, все эти утверждения верны лишь для европейской и североамериканской культур. Интересно, как там у африканцев?

## От Володи

Я прикрыл глаза и сам не заметил, как заснул. Разбудила меня стюардесса просьбой пристегнуть ремень. Я взглянул на часы, — половина третьего — скоро, наверное, принесут обед. И действительно, не прошло и получаса, как передо мной встала непосильная задача выбора из меню, содержащего двенадцать названий. Я посмотрел на соседней справа и слева. Программист не глядя, чтобы не отрываться от компьютера, ткнул пальцем в первую попавшуюся строчку и что-то коротко сказал стюарду. Линетта, надев очки, изучала перечень блюд серьезно.

— Нашли что-нибудь заслуживающее внимания? — спросил я.

— Думаю, я остановлюсь на кэрри из курицы, а вы?

— Предпочитаю рыбу. Филе лосося в маринаде не должно обмануть моих ожиданий.

— Хороший выбор, господин Рабинович, — она улыбнулась.

— А как продвигается ваш Набоков?

— Хорошо. Я перечитываю «Защиту Лужина». Это испанский перевод.

— Испанский ваш родной язык?

— Второй. Я живу в Буэнос-Айресе, хотя родилась и выросла в США.

— Интересно. Расскажите поподробнее.

— После обеда, непременно. А пока, — ваше здоровье. Она подняла бокал с вином.

— Спасибо. Только у меня рюмка пустая. Я сейчас налью себе «Маргини» и к вам присоединюсь.

Принесли обед: коктейли, салаты, выбранные нами главные блюда, муссы, кофе и коньяк. У нас в «Конторе» кормят очень хорошо, но до сингапурских басурман им далеко. Вернуть, — обязательно включу меню обеда в отчет о поездке.

## От автора

«Отчет». Раз уж мы затронули этот конторский термин, то сделаем необходимое отступление, без которого дальнейшее продвижение в нашей истории будет невозможно.

Те из конторщиков, которые по роду работы бывают за границей, делают это, за редкими исключениями, под чужими именами. Но если читатель думает, что легенда сочиняется от начала до конца, то он ошибается. В любой «истории обеспечения», как это буквально звучит в переводе с иврита, изменению подлежит лишь незначительная часть биографии конторщика, что-то около десяти процентов, и не более. В Володином случае, например, в данной поездке фамилия сохранена настоящая, ибо она настолько распространенная, что нет смысла ее менять. Имя, биографические даты и подробности, профессия — вымышленные, но близкие к настоящим. Вся история в целом должна быть органична, сидеть на вас, как перчатка на руке. Так, если вам по какой-то причине неудобно быть Рабиновичем, то вы бы с легкостью превратились в Абрамовича, но не в Джонса. Нельзя выдавать себя за уроженца Ленинграда 1955 года, если вы не помните (или не выучили) названия улиц и станций метро шестидесятых годов, основные памятные события и факты из жизни города тех и более поздних времен.

В профессиональном и языковом планах все тоже сложно. Если вы по легенде экономист, журналист или инженер — будьте любезны плавать в своей теме

легко. С выученным, но не родным, французским языком, нельзя представляться выходцем из Нормандии или Квебека. Все, — биография, профессия, язык, навыки и привычки, — должно быть увязано воедино гладко, без узелков. Ошибки, нестыковки и швы вылезают, как правило, в самый непредвиденный момент и могут обойтись дорого.

## От Володи

— Линетта, Набоков в испанском переводе требует разъяснений.

— Да, конечно. Но сначала пройдемся по вашей легенде.

Боже мой, почему она употребила слово «легенда»? Мне инстинктивно захотелось поднять руки и сказать: «Сдаюсь. Признаюсь и раскаиваюсь. Передаю себя в руки властей Англии, Бразилии, Аргентины, но, лучше, конечно, Сингапура».

— Почему вы говорите о легенде, Линетта?

— Ну, не собираетесь же вы рассказывать первой встречной реальные подробности своей жизни. Это было бы по меньшей мере неосмотрительно. Хотя, впрочем, кто вас знает, что за жизнь вы ведете. На мелкого банковского служащего не похожи, да и не летают они бизнес классом.

— Я журналист и военный обозреватель.

— Как интересно! И что же вы в данный момент обозреваете?

— Последствия La Guerra de las Malvinas.

— Не прошло и четверти века... Быстро же вы, однако, отреагировали.

— А до нас, знаете, новости медленно доходят. Римская провинция в прошлом, да и последствия Бриганского мандата не изжиты полностью. Радио — нет, телевидения — нет, газета — и та одна, называется «На страже Родины», выходит в свет раз в двадцать лет. Только что закончили серию репортажей о войне во Вьетнаме. Я вот оттуда и лечу.

— Ну, что ж, поскольку выясняется, что играть с вами в словесный пинг-понг не интересно, все равно проиграешь, вернемся к Набокову.

— Конечно. Только я, честно говоря, не люблю «Лужина».

— А есть что-то, что вам нравится у Набокова?

— Да, повесть «Машенька», например.

— Естественно, романтическая любовная история, война, иммиграция, — понимаю.

— Что ж в этом плохого? Романтики, кстати, полно и в испаноязычной литературе.

— Примеры, пожалуйста, Зеев. Приводите примеры, не будьте голословным.

— Борхес, к примеру, насквозь романтичен. Правда, его романтика другого склада, чем набоковская.

— Ну, если уж вы столь смелы, что затронули Борхеса, то, может быть, ответите, господин журналист, что еще общего между этими двумя великими?

— Линетта, за кого вы меня держите? Я же сдавал экзамен на право лететь в бизнес классе. Оба родились в 1899 году.

— Bravo! У вас там, в Израиле, все такие образованные?

— Образованные все, но летающие тарелки только у меня и у Гоги.

— Не поняла...

— Не суть важно, Линетта, это трудно объяснить, считайте, что здесь непеводимая игра слов.

## От Линетты

Странный английский у этого Рабиновича. Произношение очень приличное, скорее всего специально поставленное, словарный запас богатый, но несколько старомодный, что ли, во всяком случае, очищенный от слэнга. Такое ощущение, что он когда-то заучил наизусть огромный словарь довоенного выпуска. Одна только «political ablepsia» чего стоит! Впрочем — забавный тип, напоминает... Какая, на самом деле, разница кого. Зачем я лягнула, будто мы однофамильцы? Привычка подстраиваться, упрочнять контакт. Господи, до чего же я устала! Вот уж, действительно, Летучий Голландец.

Мое настоящее имя Тоби. Тоби Петерсон. Мои предки приехали в Америку из Голландии, бог знает когда, чуть ли не во времена «Mayflower». История умалчивает о том, как они очутились в Алабаме, в городке с населением в двадцать тысяч со странным именем Талладега, «Where pride is our heritage». Ничего, кроме непомерной гордости, город предложить своим жителям не мог, и я покинула его без всякого сожаления, как только окончила школу.

Годичный опыт самостоятельной жизни в Филадельфии поначалу казался отрицательным. Я с большим трудом привыкала к ритму мегаполиса. Но постепенно появлялись знакомые, завязывались какие-то отношения, нашлась сносная работа в модном тогда кафе «Каскад». Я долго выбирала будущую профессию, и в итоге очутилась на Факультете Антропологии и Сравнительной Лингвистики Филадельфийского университета, имея самое смутное представление об обеих науках.

Учиться мне было интересно, но на последнем курсе остро встал вопрос: а можно ли прокормиться, занимаясь темой «Философская антропология и страсти человека», даже если отлично знаешь испанский и арабский? К счастью, в одно прекрасное солнечное утро факультет посетили два серьезных, прилично одетых джентльмена, пожелавших встретиться со студентами-дипломниками. В результате этой встречи, после полугода проверок на лояльность, я оказалась в пятнадцати километрах от Вашингтона, в городке Лэнгли, штат Вирджиния.

В CIA изучение и использование человеческих страстей было поставлено на поток, и через два года интенсивной подготовки сначала на знаменитой «Ферме» в армейской базе Кэмп-Пири, а затем и в «Точке», в Северной Каролине, я превратилась в Летучего Голландца.

## От Володи

В «Хитроу» я распрощался с Линеттой с чувством глубокого сожаления. Эффектная женщина, что и говорить. Но, первым делом первым делом самолеты, а элегантные иностранки потом. Я нашел hot spot, место, где есть беспроводный Интернет, и включил свой «Dell». Таковы правила: проверка почты с определенной частотой, скудные, зачастую просто пустые СМС. Я ожидал увидеть в полученном из конторы сообщении стандартную строчку: «Изменений в строительном проекте нет», но вместо нее прочел «Словения, Любляна, улица Вольфова 12-12, Эмонек, комната 202-202 на твое имя, 1771А-1771А, с 14-14 числа, AVIS аэропорт SL-6835689-6835689». Четырнадцатое чисто было сегодня.

Такое текст означал, что произошло что-то из ряда вон выходящее, и все предыдущие планы не действительны. Я послал пустой герлау, что означает, что я

приказ прочел и понял. Через три часа я находился на борту аэробуса «Бригиш» рейсом № BR136 на Люблян.

### От Нозми Фишер

Проблемы всегда сваливаются, когда их меньше всего ждешь. Зеев улетел с приключениями, попал на переполненный рейс, и за это балаган он еще ответит. Хотя, вины его тут на самом деле нет, да и поездка его не была из разряда супер-срочных. Но для остротки следует сделать, как говорят русские, втык.

В день его отъезда мне надо было пораньше уйти с работы, чтобы, как это ни банально, присутствовать на родительском собрании в школе, где учатся обе мои дочки. На шоссе 443 из Иерусалима в Модиин, где мы живем, была жуткая пробка, машины сначала еле ползли, затем движение и вовсе прекратилось. Сворачивать куда-либо уже было поздно. Я попыталась позвонить мужу, чтобы попросить его подъехать в школу, но его мобильный не отвечал.

Между тем стрелка бензобака остановилась на красной линии, и мне пришлось выключить двигатель, а с ним, естественно, и кондиционер, и открыть окно. Кто из сотрудников брал утром мою машину? Моше Хермон, кажется? Ну, конечно. И не заправил, козел. Я выругалась по-русски вслух и так громко, что водитель соседней «Хонды», с массивными золотыми часами на высунутой в окно левой руке, вздрогнул и с удивлением посмотрел на меня. Чего, бля, пялишься, ублюдок?! Но это уже про себя. В этот момент запиликал пейджер, и на его экране появилось сообщение «цофен 999», что означает «немедленно свяжись с начальством».

После короткого разговора с Игалем, моим боссом, я просто-напросто заперла машину, оставив предварительно на лобовом стекле записку с номером моего телефона, перелезла через разделительный барьер на встречную полосу и стала ловить попутку обратно в Иерусалим. Зеев бы в такой ситуации обязательно процитировал бы: «Тяжела ты, шапка Мономаха...».

### От Фуада

Когда меня спрашивают, где я родился, я гордо отвечаю, — в Иерусалиме, хотя это и не совсем так. Моя Родина — деревня А-Заим — всего лишь прилегает к городу с севера. Да и деревней в традиционном понимании ее назвать трудно. Так, беспорядочное нагромождение домов всех размеров, видов и стилей, полное отсутствие какой-либо инфраструктуры, дорог, тротуаров или зелени. Все, что жителям необходимо, они крадут: воду, газ, электричество. И это не от бедности. Просто, зачем платить, если можно этого не делать? По той же причине мы не платим налогов, и не нуждаемся в разрешениях на строительство. Израильские власти в нашу жизнь вмешиваются лишь раз в год. У них это называется «мивца меухад ле гвият ховот», т.е. спецоперация по взиманию долгов. В заранее намеченный день в деревню входит рота солдат внутренних войск, а с ними все, кому мы должны: полиция, чтобы забрать украденные машины, электрическая, водная и газовая компании, с целью отключить нас от источников энергоснабжения, служащие налоговой инспекции, муниципалитета, — словом, все, кому ни лень. В течение суток нас трясут, как оливковое дерево, а потом все возвращается на свои места. Неделю мы зализываем раны, а далее живем, как обычно, до следующего года. Наш муhtar и

вся его хамулла, естественно, в привилегированном положении, — их не трогают. Властям не выгодно с ними ссориться, ибо те еще и стучат на своих односельчан весьма усердно. Все это знают, но попробуй, открой рот! Для начала тебе подвешат на ручку двери игрушечную ручную гранату, а если ты бестолков, или слишком грамотен, то и настоящую. Взрыв, естественно, спишут на «провокацию сионистских поселенцев», и — концы в воду. Вот так.

### От Линетты

Все люди врут. Обманывают, придумывают, утаивают, искажают и подтасовывают факты. Помню, как на одном из подготовительных курсов по психологии общения в Лэнгли мне показали видеофильм. По ходу действия один за другим на сцену выходили люди и, глядя в камеру, в течение нескольких минут рассказывали свои истории. Мне предстояло отметить в специальном рапорте, кто из них, по моему мнению, говорит правду, а кто нет. Я, тогда еще недавняя студентка-антрополог, основывалась на том, что нам втолковывали в университете на кафедре Кинесики и Паралингвистики. Я старалась ухватить всю совокупность телодвижений, мимику, интонации голоса и экспрессию. Выходило, что как минимум трое однозначно врут, по поводу еще четырех я не могла придти к однозначному заключению, остальные говорили правду. При разборе упражнения оказалось, что лгали все! Сегодня я точно знаю: если кто-то искренне заявляет «Я всегда говорю правду», то на самом деле это означает лишь «Я стараюсь без нужды не обманывать слишком часто».

На прощание Рабинович старомодно поцеловал мне руку. Жест, для коренного израильтянина невозможный в принципе. Он, безусловно, такой же журналист, как я — профессор математики. Уж слишком отточен, отлажен, как гоночная машина на старте. Мое чутье и опыт никогда меня не подводят, и, скорее всего, он «из наших», а в какой канторе ему платят, — дело десятое.

### От Ноэми Фишер

Снять человека с одной операции и бросить на другую, случай в нашей практике практически невозможный. Ведь каждая готовится месяцами, а иногда годами, в условиях полной секретности по горизонтали. Однако иногда случаются авралы, все планы летят к чертям собачьим и приходится думать лишь о том, как минимизировать ущерб и вернуть в устойчивое положения лодку, зачерпнувшую бортом воду.

В это раз причиной заварухи стал не провал сотрудника (не к ночи будь сказано), а банальная автокатастрофа, в которой тяжело пострадал конторщик, курировавший важную проблему в одном из регионов Европы. Ситуация, которую он до этого контролировал, на время выскользнула из рук. Мы теряли важную информацию, а восполнить ее задним числом было бы невозможно.

Зеев уже находился в Европе, и по своим психологическим данным и типу подготовки более других подходил на роль замены. Ему предстояло круто поменять курс, физически и морально, и как можно быстрее войти в курс дела. Пакет подробных инструкций ждал его в Любляне.

## От Володи

Наибольшее число ошибок и описок люди делают при чтении и написании цифр. Вспомните, сколько раз вы неправильно записывали чей-то номер телефона? Писали в отчете 98 вместо 89, были уверены в том, что ваш поезд отправляется в 13:15, в то время как в расписании было написано 15:13? Чтобы избежать путаницы подобного рода, вся цифровая информация в записках повторяется дважды. Полученное мною сообщение в штатской жизни звучало бы так: «отправляйся в Словению, город Любляна, отель Эмонек, комната 202 на твое имя с 14 числа, шифр сейфа в твоём номере 1771А, машина заказана в аэропорту Любляны, в компании AVIS, номер заказа SL-6835689».

Аэропорт в Любляне маленький, как, собственно, и сам город. Я быстро покончил с формальностями, получил в прокате новенький голубой «Фокус» и вырвался со стоянки. Тут мне впервые показалось, что за мной следят.

## От автора

Ах, слежка, слежка, сколько о тебе написано, рассказано басен и, казалось бы, правдивых историй. Сколько кино-маньяков с тупыми лицами следует за своими жертвами, и сколько автомобилей несется по экранам вплотную друг к другу, — следят. На самом деле все не так, совсем не так, как вы, читатель, привыкли думать.

Прежде всего, слежка — слово любительское. Профессионалы скажут «НН» — наружное наблюдение, а служба, которая его осуществляет, зовется просто «наружкой».

Отбирают в нее физически здоровых кандидатов в возрасте примерно от двадцати до пятидесяти, без особых примет. Не годятся люди с нестандартной фигурой, дефектами походки, заметными лицами. Претенденты нетипичной для данной местности расовой принадлежности тоже будут отвергнуты. Будущие работники должны обладать прекрасным зрением и слухом, отличной памятью, мгновенной реакцией и изрядной долей наглости.

«НН» — серьезная наука, в которой есть наработанные и всем специалистам известные методы, но существуют и свои know-how, профессиональные секреты той или иной школы.

Прежде всего, «НН» — работа коллективная. В одиночку можно вести лишь рассеянного профессора от жены к любовнице и обратно. Для более или менее серьезной операции нужны как минимум четыре человека на двух машинах, а то и больше. Я уже не говорю о средствах связи и наблюдения, питания, питье, сменной одежде, картах, спутниковых навигаторах, справочниках с расписаниями поездов, документах прикрытия и многом другом.

В триллерах и детективных романах филеры постоянно переодеваются, гримируются и ищут ускользающий в подворотни объект. На практике переодевание иногда возможно, но меняется, как правило, только верхняя одежда: майки, рубашки, куртки. Брюки, юбки и обувь переодевать долго и хлопотно. Применение париков, грима, накладных усов и бород исключается совершенно: такие предметы надо прилаживать долго и тщательно, и желательно поручать это профессиональному визажисту. Иначе в самый неожиданный момент парик свалится, грим потечет, а ус отклеится как в фильме «Бриллиантовая рука».

## От Фуада

Когда я был маленьким, Маале Адумим считался лишь небольшим еврейским поселением. Мы росли параллельно. Теперь мне почти тридцать пять, а Маале Адумим — город с населением в тридцать пять тысяч человек. Иногда я провожу пару часов в его торговом центре. Пью кофе, смотрю на женщин, брожу по магазинам. В нашей деревне все это невозможно. Я завидую израильтянам и ненавижу их. Сначала мы, палестинцы, физически построили этот город, положили шоссе и тротуары, посадили деревья. Теперь мы убираем дома, чиним дороги, метем тротуары, стрижем деревья. А чем мы хуже?! Я, например, с отличием окончил Факультет Фармакологии. У себя в деревне я уважаемый человек: аптекарь у нас почти что врач. И что я имею? Зарплату-минимум и косые взгляды коллег-евреев.

Я никогда не был религиозен. Коран казался мне непролазной чащей и навевал скуку. Хотя и у меня есть свои любимые суры. Ну, вот хоть бы сура «Худ», повествующая о Великом Потопе и Ноевом ковчеге: «... И сделай ковчег свой у меня на глазах и по моему наущению, и не прости у меня за грешников, ибо потоплены они будут». Аж мороз по коже!

На выезде из деревни всегда, сколько я себя помню, был армейский блокпост, а недавно на его месте построили стационарный КПП. Солдаты пограничники знают многих из нас в лицо, но все равно каждое утро проверяют документы и багажники машин. Иногда проверяющие получают какие-то особые указания, и тогда осмотр делают особо тщательно. В такие дни очередь на КПП выстраивается на сотни метров. Впрочем, справедливости ради стоит добавить, что израильтян они тоже трясут.

Чтобы как-то провести время в ожидании, пока подойдет моя очередь на проверку, я пристрастился к четкам. На мусульманских четках тридцать три бусинки, соответствующие именам Аллаха. А имен у него девяносто девять. Так что полагается прокрутить четки три раза, с каждой бусинкой произнося очередное имя Аллаха. Разумеется, всех имен не упомнишь. Даже грамотные люди больше десяти не произносят. Но первые три являются как бы своеобразным паролем, опознавательным знаком, по которому мусульмане узнают друг друга. Алла, аль-Рахман, аль-Рахим.

## От Линетты

«Летучий Голландец» это сотрудник, который всегда находится в движении. В течение месяца он едет, летит, плывет, собирая в пути информацию, завязывая полезные знакомства. Нет в его работе ничего общего со шпионажем. Это отбор и подготовка к разработке и вербовке агентов влияния, людей, с помощью которых при необходимости можно провести в нужной стране необходимый законопроект, организовать газетную шумиху, выиграть важный тендер, заказать книгу, телепередачу, фильм.

Это дорогой вид деятельности, и лишь очень богатые конторы могут его себе позволить. Если вы думаете, что я ем мой хлеб даром, то вы ошибаетесь. За месяцем работы следуют три месяца восстановления. Достаточно болезненный период: беседы с психологом, медитация, снотворное, расслабляющие ванны, одиночество, тишина. В период работы какие бы то ни было интимные контакты запрещены. Никакого секса! А какой друг или муж выдержит длительные постоянные

отлучки? Так что с личной жизнью — проблемы, и пока я «в обойме», похоже, что неразрешимые.

Я должна была провести в Лондоне день и лететь дальше, в Вашингтон.

## От Володи

Впереди, метрах в пятидесяти, со стоянки выезжал белый «Фиат». Какое-то время мы держали дистанцию, и все шло гладко. Затем я немного замешкался при выборе нужного направления на Любляну и за мой образовался небольшой хвост машин. Три-четыре из них быстро меня объехали, а две остались. Притормозил и ехавший впереди «Фиат». Я сверился с указателем и повернул направо. «Фиат» рванул вперед и исчез из виду, а из двух «хвостов» остался лишь серый «Гольф». Он держался метрах в двухстах позади, в правом ряду. На очередной развилке Загреб — Марибор я снова заметил «Фиат», как будто ждущий моего выбора: прямо или направо? Когда мы всей тройкой дружно повернули направо, на Любляну, я был почти уверен в том, что меня пасут, причем стандартным приемом, называемым «лидирование».

Принято считать, что «хвост» идет всегда сзади. А он может быть и впереди, и с боков. При лидировании один из наблюдателей движется перед объектом, направляемый инструкциями по радио. Смысл подобного способа заключается в том, чтобы удобное для отрыва объекта место было занято заранее. Например, объект пересекает железную дорогу перед подходящим поездом. Этот поезд перекрывает путь преследователям, едущим позади. Но... несколько ранее объекта эту дорогу уже пересек «лидер». Он пропустит объект, и сможет вновь вступить в игру после длительного промежутка времени, когда ведомый подзабудет конкретные детали и затруднится однозначно опознать его при повторном появлении.

У меня и в мыслях не было проверяться или совершать иные необдуманные поступки. Ведь всё искусство и состоит в том, чтобы выявить слежку элегантно, так, чтобы ваше поведение ничем не напоминало попытки ее обнаружить.

Так или иначе, но через четверть часа мы мирно добрались до Любляны. Вольфова улица оказалась в пешеходной зоне, перекрытой шлагбаумами с обеих сторон, и мне пришлось оставить машину у обочины, чтобы выявить отель «Емпес» и определиться со стоянкой. Отель оказался совсем рядом, а стоянка — в квартале от него. Наш «Фиат» гордо проехал мимо паркинга, а «Гольф» запарковался этажом ниже.

В регистратуре отеля меня ждал небольшой сюрприз, который на самом деле таковым для меня не являлся.

— Ваш номер еще не убран, — сказала девушка.

— Ничего, я поспешу.

Справа от меня рассматривали карту города двое смуглых парней. Мне показалось, что у одного из них на указательном пальце правой руки желтело мозольное уплотнение. Обычно оно образуется при продолжительном использовании стрелкового оружия. Чтобы проверить гипотезу я встал в метре справа от него, и вполголоса сказал «Fuck you!». Парень не прореагировал. Правым ухом он плохо слышал. Впрочем, не удивительно, ведь при стрельбе из автомата Калашникова громкость звука более 130 децибел.

Наконец мне вручили магнитную карточку, — ключ от номера. Окна 202-го выходили в пустой двор, но я первым делом задернул шторы и открыл дверь

стенного шкафа. Маленький электронный сейф находился там, и, как я и ожидал, был заперт. Код 1771А сработал, и вот все бумаги у меня в руках: новый паспорт, карты, инструкции, конверт с наличными и маленький пластиковый пакетик с белым порошком.

Гостивший в номере 202 до меня оставил все, что мне причиталось. Сейф он запер, зная, что код новому постояльцу будет известен. Отверстие, в которое вставляется мастер-ключ, замазал мгновенно затвердевающим полимерным клеем. Весь трюк таких операций заключается в том, что не надо оборудовать в номере гостиницы тайник. Тайники это вообще головняк. Меня долго учили их придумывать и строить, — в доме, машине, одежде, — но большого рвения я не проявлял. Инструкторы всегда отмечали у меня нехватку воображения. Правда, один раз я додумался упрятать кассету с микрофильмом в узел галстука, и ее не нашли, но в тот раз шмонали меня полицейские, а не волки разведки.

Чтение и осмысление документов заняло несколько часов. Новый паспорт был аргентинский, второй категории.

Используемые конторой паспорта делятся на четыре группы: первая категория, вторая, оперативные и одноразовые. Одноразовые паспорта найдены, либо украдены, для «документики, пожалуйста» они сойдут, но серьезной проверки не выдержат. Оперативными паспортами пользуются для быстрых операций в чужой стране, но не показывают при пересечении границы. Паспорта второй категории безупречны, с той лишь особенностью, что живых людей с указанными в них данными нет. А вот для паспорта первой категории существует как «легенда», так и указанное в нем реальное лицо. Такой паспорт выдержит любую официальную проверку, даже в той стране, которая его выдала.

Я коротко переговорил по «скайпу» с нужным мне человеком, спросив, где в Люблине можно взять напрокат маску с лапами и арбалет для подводной охоты. Я не рассчитывал, что мне понадобится оружие, но сегодняшняя история с чужой наружкой и бойцами в холле отеля в корне меняли ситуацию.

Выйдя вечером из гостиницы, я побродил по городу без особой цели, как простой турист, затем провел около часа в большом торговом центре, якобы подбирая подарки всем членам семьи. Ведь каждый шаг на проверочном маршруте должен быть разумен и объясним некоей целесообразностью. Через подземный гараж универмага я вышел на пустынную набережную и скоро уже стучался в квартиру по указанному мне адресу. Когда я вернулся в отель, в кармане у меня лежал русский шестизарядный «Вул». При стрельбе из него звук выстрела чуть громче хлопка ладоней. Впрочем, радужный хозяин квартиры утверждал, что с расстояния 20 метров его утяжеленная пуля пробивает стальную каску и бронежилет второго класса защиты.

## От Фуада

Впервые я попал за границу пять лет назад. Просто купил билет и полетел в Лондон, не заказав заранее гостиницы, и не продумав маршрут. По неопытности я не предусмотрел, что в мае в эти в Лондоне дни проходит финал кубка Англии по футболу. Все отели, которые теоретически были мне по карману, оказались забиты болельщиками, и я здорово попутел и поистратился на такси, пока, наконец, не нашел пристанище в Clear Lake Hotel в районе Кенсингтона. Комната была большой, но на ковре зияли дырки, телевизор оказался без пульта управления, а окна не открывались. Я чувствовал себя одиноким и обманутым.

На другой день настроение упало до нуля. В метро у меня вытащили из сумки бумажник и мобильный телефон. Слава Аллаху, что паспорт и обратный билет я оставил в комнате отеля. Я уже представлял себе, как поташусь сейчас пешком от метро Green Park до Gloucester Road, как вдруг услышал за спиной арабскую речь с явным иорданским акцентом. Алла, аль-Рахман, аль-Рахим! Через четверть часа, сидя в ресторане «Al Namga» я уже поверял свои беды новым друзьям: Нази и Рашиду. А вечером, добредя до Гайд Парка, мы кричали нестройным хором, цитируя муфтия Икрама Сабри: «О, мусульмане! Поднимем наш голос против Америки, ее союзницы Англии и Израиля! О, Аллах, разрушь Америку, покрой Белый Дом черным!». Еще через два дня я стал кандидатом в организацию «Исламский Джихад». Если арабам в Израиле нет будущего, то и евреям его не будет.

### От Ноэми Фишер

Уже более года прошло с тех пор, как конторе стало известно о намерениях Исламского джихада взорвать одновременно три крупнейшие синагоги Европы: в Праге, Будапеште и Триесте. Все три здания являются более символами европейского еврейства и историческими памятниками, нежели действующими храмами. Наши аналитики предполагали, что их синхронное разрушение с легкостью спровоцирует своего рода «лавинный эффект», волну спонтанного мусульманского насилия по всему миру: взлетят в воздух синагоги в Риме, Париже, Буэнос-Айресе, в Скандинавии и Северной Америке.

Наш отдел был причастен к контр-операции лишь косвенно, и я сначала даже понятия не имела о том, что и как развивается, не говоря уже об оперативных деталях. Когда же смежники запросили у нас Владимира, им с неизбежностью пришлось кое-какие карты раскрыть, но далеко не все. Конечно, Игаль, начальник отдела, знал несколько больше, но, — закон есть закон. Каждый делает свою часть работы и информирован ровно настолько, сколько необходимо для ее чистого исполнения.

Я не видела ни документов, ни инструкций, которые получил Владимир, предположить не могла, что ему может понадобиться оружие. Путешествовать по Европе с пистолетом в кармане, — это бред, по крайней мере, для офицера по сбору информации. Но, видимо, я чего-то не знала.

Спецслужбы всего мира располагают бесчисленным количеством мест, где бы их сотрудники могли быстро получить оружие практически в любой точке земного шара. Русские, например, использует для этой цели тайники, латинос — связи наркомафии, у нас же есть просто друзья, люди, симпатизирующие стране из идейных соображений, и не получающие за свою помощь ни цента.

### От Володи

В эту ночь я никак не мог заснуть. Хорошо героям Суворова: мол, лег, закатил глаза под прикрытыми веками, и заснул. Скорее всего, отбора в ГРУ я бы не прошел. Да и как, собственно, я попал в контору?

Я не люблю телефонные звонки. Особенно вечерние. Они никогда ничего хорошего не предвещают. И я до сих пор не знаю, как относиться к тому, позднему, который четырнадцать лет назад круто изменил мою жизнь.

Не могу сказать, что в то время я прозябал. Конечно, надо было крутиться, чтобы заработать, но, в общем, жизнь была сносной. Я числился в бюро переводов при Министерстве Промышленности, и даже иногда что-то действительно переводил, подрабатывал на выставках и ярмарках, водил экскурсии по Старому городу. Соскочить с этой карусели вряд ли было возможно. Да я особенно и не старался. Просто жил, как жил.

В конце мая 19XX года, субботним вечером, я возвращался из Ашдода в Иерусалим, домой. Весной время между 7 и 8 часами самое приятное. Жара спадает, и можно ехать без кондиционера, с открытыми окнами. Недалеко от перекрестка Гедера, я поравнялся с вишневым «Пежо-205», у которого левое заднее колесо было сильно спущено. Я погнался. Водитель повернул голову в мою сторону.

— Колесо, заднее...

— Что?

— Колесо заднее, левое, спущено! — крикнул я.

— Спасибо! Он стал пригормаживать и свернул к обочине.

Я тоже остановился, до сих пор не знаю почему. Вдвоём мы быстро поменяли шину, и присели на бордюр покурить. Ничего примечательного в моем новом случайном знакомом не было. Ашкеназ, лет пятидесяти, высокий, коротко стриженный, скромно одетый. Разговор был ни к чему не обязывающий. Узнав, чем я занимаюсь, он сказал:

— Мне может понадобиться переводчик с русского, так что пошли мне свое резюме. Вот моя карточка. Спасибо еще раз. Поеду, пора.

Мы пожали руки и разъехались. На следующий день я послал свою автобиографию в фирму «Алеф-Таф-Консалтинг», Алексу Вагнеру, заведующему аналитическим отделом.

Колесо продолжало крутиться с постоянной скоростью: дом, работа, магазин, работа, дом. Наступило непереносимо жаркое лето и прошло, и только в конце октября, после осенних праздников, стало возможным, наконец, остановиться и передохнуть. Вот тут-то и раздался тот самый вечерний телефонный звонок.

— Господин Рабинович? — поинтересовался молодой женский голос.

— Да...

— Говорит Дганит Мор из фирмы «Алеф-Таф-Консалтинг». Мы хотели бы пригласить вас на собеседование. Вам удобно в четверг, в 5 часов?

— А куда я должен приехать?

— В Бней Брак.

— Я бы мог успеть к шести.

— Отлично. Тогда запишите адрес: Бялик 14, башня «Бэйт Офер», 17 этаж.

\*\*\*

— Вам куда? — спросил охранник.

— «Алеф-Таф Консалтинг».

— Правый лифт. Семнадцатый этаж.

— Спасибо.

Лифт был скоростной, с зеркалами, и в нем приятно пахло. На семнадцатом этаже никаких других дверей, кроме нужной мне, не оказалось. Я позвонил в ин-терком.

— Слушаю вас. Справа, под потолком, повернулась видеочкамера.

— Я Зеэв Рабинович, мне назначена встреча на 5 часов.

— Кто вас пригласил?

— Дганиг Мор.

— Входите. Щелкнул замок и тяжелая, явно бронированная дверь, открылась.

Я оказался в небольшом светлом вестибюле. Молодой охранник в штатском посмотрел на мое удостоверение личности, прогладил металлоискателем и тщательно проверил содержимое сумки.

Из холла куда-то вели две двери, обе без ручек.

— Вам сюда, — парень указал на левую из них, — подождите немного, к вам выйдут. Он нажал на кнопку.

В комнате ожидания были матовые окна и мягкие кресла. На буфетной стойке — кофеварка «Эспрессо» и изящные корзиночки с бутербродами. На стене, рядом с фотопортретами президента и премьера, красовался большой плакат с гербом, призывающий подходящих кандидатов начать новую увлекательную жизнь на службе государству: «Дело твоей жизни! Возможность, которую нельзя упустить!»

Я съел бутерброд с сыром и выпил чашку кофе. Все это время меня не покидало ощущение, что я не один. Откуда-то появилась девушка-солдатка и пригласила следовать за ней. Мы прошли по длинному коридору, по сторонам которого были одинаковые закрытые двери. Впрочем, одна, в конце, была открыта. В ней стоял Алекс Вагнер. Он улыбнулся и протянул руку.

\*\*\*

Бесчисленные проверки и экзамены длились примерно год с небольшим. Я привык к психологам, детекторам лжи, вопросам о личной жизни и банковских долгах. Какие-то люди встречались с моими знакомыми в Израиле и за границей, телефон временами подозрительно мурлыкал, а почта, в том числе и электронная, приходила с опозданием. И снова задушевные беседы с врачами и психологами.

«Внимательно посмотри на пирамиду из кубиков. Тридцать секунд. Запомнил? Разбери, перемешай кубики и собери снова. Время пошло. Хорошо, а теперь то же самое, только с закрытыми глазами. Все, время вышло. Что ты видишь на этой картинке? Почему ты считаешь, что это Эйфелева башня в День Bastilii? Нарисуй несуществующее животное. Где оно живет, чем питается? Как ты оцениваешь свою сексуальную жизнь? Считаешь ли ты, что государство обязано помогать наркоманам? Выйди в соседнюю комнату и перечисли письменно все предметы, которые есть в моем кабинете. Минута времени».

В очередной раз, пытаюсь воссоздать в памяти трехцветную пирамиду из кубиков, я, наконец, заснул.

## От Линетты

Я часто останавливаюсь в Лондоне по пути в Штаты. Во-первых, Лондон успокаивает, во-вторых он досконально мной изучен и потому не напрягает, и, наконец, он интересен мне профессионально. Здесь постоянно возникают и исчезают разного рода занимательные фигуры: богачи настоящие и мнимые, осколки старой аристократии и мошенники всех мастей, разведчики-профи и те, кто занимается ремеслом из спортивного интереса, иногда вполне удачно.

Всех их не нужно искать, рыская по городу, просто надо остановиться в подходящем отеле, и зверь побежит на ловца сам. «The Langham» на Риджент стрит самое подходящее для удачной охоты место. Он, кстати, существует уже почти 150 лет и за все эти годы ни разу не сменил лозунга: «Обслуживать, сохраняя осанку». За скромную сумму в двести фунтов в день каждый может изведать, что это означает на практике.

Вчера в SPA ко мне приклеился забавный тип восточного окраса. Лет сорока, худощавый, черные волосы заплетены в тугую косичку, глаза внимательные, карие. Под махровым халатом на сильной руке элегантная «Калатрава» от Патека, тысяч, так, за пятнадцать долларов.

Все началось так, как бывало в моей практике уже десятки раз. Я пила сок, сидя в глубоком плетеном кресле у края бассейна. В какой-то момент я приподнялась, якобы для того, чтобы поставить пустой стакан на мраморный столик. Этому жесту в центре подготовки меня учили упорно, ибо он долго мне не давался. А все, казалось бы, очень просто: тело слегка отрывается от спинки, правая нога выступает вперед, рука с пустым стаканом отходит чуть в сторону, голова поворачивается в полувопросительном движении, подбородок полуприподнят, в глазах растерянность и немая просьба. Уверяю вас, что мужчины попадают на эту простенькую липучку как мухи. Залип и мой новый знакомый.

— Разрешите, я вам помогу? Он говорил по-английски с едва уловимым акцентом.

— Спасибо, если вам не трудно.

— Ну что вы! Хотите еще сока? Или, может быть, принести вам коктейль?

— Что ж, «Дайкири», если вас не затруднит.

Через пять минут он уже смиренно сидел справа от меня и не отрываясь пялился на мои колени.

— Вы в этом отеле впервые? — спросил он.

— Да, соврала я автоматически. Сейчас он станет объяснять мне, какой здесь отличный данс-бар и пригласит встретиться вечером.

— Ну, в таком случае вы просто обязаны посетить...

И тут у него в кармане халата зазвонил мобильный телефон.

— Наам. Ахальян, ахальян, хабиби — начал он по-арабски.

Ему и в голову придти не могло, что я могу понимать разговор, так что он не отошел в сторону, а продолжал сидеть возле меня, лишь жестом попросив прощения, — дела, мол, ничего не поделаешь. Я, впрочем, слушала довольно невнимательно, — похоже, что они планировали коллективную поездку в Италию — до тех пор, пока в речи не прозвучало «инфиджар шадид», — большой взрыв. Это было сказано в контексте «мы там устроим» и, далее, «Триест». Ужасно трудно делать вид, что ничего не понимаешь, иногда выдают глаза.

Когда беседа окончилась, я невинно спросила:

— Что-нибудь важное?

— Нет, ответил он, коллега по бизнесу просил совета.

— А чем вы занимаетесь, если это не секрет?

— Что вы, какие там секреты! У меня предприятие по производству ковров. Семейный бизнес.

В тот же вечер, по скайпу, я передала обрывки полученной информации в «Ателье». Так у нас называется центр по сбору лоскутной, т.е. обрывочной, информации.

## От автора

Я всегда остро завидовал людям, умеющим писать детективы и прочую муру «про шпиёнов». Ну, например, Лё Каррэ. В его «Маленькой Барабанщице» есть все: усатые арабы, хмурые мудрые дядьки из Моссада, тупые полицейские, красотики в кружевном белье, страсти, секс, раздвоение личности. Там не хватает только правды жизни, но кого это волнует? Как говорят англичане: «Nothing is more successful than success», — ничто так не успешно, как сам успех.

## От Володи

Утром, за завтраком, я вновь увидел вчерашних бойцов. Они мирно пили кофе за соседним столиком и негромко переговаривались между собой на непонятном мне гортанном языке. Я сознавал, что скорее всего они не имеют ко мне никакого отношения, но они меня бессознательно нервировали, и я решил с ними покончить. Вставая из-за столика, я незаметно опустил в карман куртки одного из них тот самый пакетик с белым порошком, что был мне оставлен в сейфе. Ребята завтракали плотно и со вкусом, оставив стол тарелками с колбасой, сыром, овощами и хлебом. Я успел подняться к себе в номер, позвонить в полицию, выждать минут десять, вновь спуститься в холл и дожидаться приезда агентов в штатском, — а парни все еще ели. Их обыскали и увезли прямо из столовой, — десять грамм героина не шутка. Впрочем, при дальнейшем лабораторном анализе выяснится, что никакой это был не наркотик, но несколько дней в каталажке и пара неприятных допросов им обеспечены.

От Любляны до Триеста чуть более часа езды. Слежки за мной вроде бы не было, по крайней мере я ее не заметил. Для порядка я остановился на заправке, попил кофе, качество которого оставляло желать лучшего, свернул с автострады и вновь вернулся на нее, но все было тихо. В город я заезжать не стал, а сразу отправился искать место, предписанное мне для ночлега. Скромный отель «Вилла де Банья» находился в нескольких километрах от Триеста, в поселке Опичина. Старинное, но отремонтированное здание, тишина и покой, радушные хозяева. С балкона открывался вид на невысокие горы, покрытые густым лесом. Я отдохнул и отправился осматривать окрестности. Было пасмурно, мелкий дождик то начинался, то затихал, но после тридцатиградусной израильской жары такая погода казалась райской.



## Александр Половец

# АННА СЕМЁНОВНА

Весна запаздывает. Потемнев под лучами неяркого солнца, тают, растекаются вдоль бережных холодными ручьями сугробы. Вот очистился уже от снежной шапки, собравшейся за долгую зиму, купол Исаакия, — а настоящий приход весны всё отодвигается. И сейчас снова идет снег — жесткие крупинки, подхваченные набегающим с ночной Невы порывистым ветром, устремляются навстречу раскрасневшимся лицам.

...Незаметно сбежавшие от шумного застолья, они несутся в открытом кабриолете — мягкая крыша кузова откинута и постукивает где-то сзади железными креплениями. Смахивая перчаткой снежинки с плеч спутника и перебивая себя смехом, она громко декламирует: «Морозной... пылью... серебрится... его бобровый... воротник!..». Автомобиль трясёт, неровности булыжной мостовой совершенно ощутимы — так, будто бы толстая резина не укрывает собою железные ободы его колес. На повороте с Невского на набережную Фонтанки её спутник поднимается вдруг — во весь свой огромный рост.

«Широ-о-о-кая масленица!..» Малиновый шарф развеивается подобно языческому стягу, мохнатая шапка чудом удерживается на его голове. Наверное, таким увидит его годы спустя в своей мастерской художник — возникшим вдруг на её пороге и загородившим собою дверной проём — и таким сохранит его чудотворная кисть медленно уходящего из жизни мастера. Сохранит навсегда. «...Ты-ы с чем пришла!..» — слышится уже в конце квартала. Стоящий на углу городской укоризненно глядит им вслед, прикрывая рукавицей лицо от колочего ветра.

Господи, как хорошо, как замечательно все это! Этот замешанный туманной сыростью густой воздух, эти низкие облака, эта река — она плещется там, совсем рядом, за чугунными витыми решетками, протянувшимися междугранитных тумб, неспешно неся темные осколки льдин.

«Остановите, остановите авто!» — соскочив с подножки еще движущегося автомобиля, она бежит к парпету, прижимается спиной к перилам, машет ему рукой...

А сколько же прошло с того бала? Да, не так уж и много — шесть... нет, семь лет... Вот он, отойдя от рояля, за которым остается ещё сидеть аккомпаниатор, и только что представленный группе выпускниц пансиона, учтиво склонив голову, осторожно кладет ладонь на её талию... «Кажется, такой неуклюжий — откуда же в нем столько грации?» — думает она, закруженная вальсом. Ей вдруг кажется, что вся она целиком умещается, тонет в этой огромной ладони.

И совсем так же, как тогда в быстром вальсе, перед глазами ее слились в сплошную полосу лица подруг, пышные воланы оконных занавесей, скользящие по вощёному паркету, с подносами на вытянутых руках, улыбающиеся лакеи... Таким же неотчетливым, пронесшимся в одно короткое мгновение представляется ей теперь всё, что вместилось в эти несколько лет — неперменные посещения невыносимо скучных курсов и театральные премьеры, поэтические вечера с дурачащи-

мися мальчишками, называющими себя футуристами, и частые поездки к родным, в Вену и в Базель...

На этой неделе она снова уезжает, теперь, наверное, надолго: в Вене ждет работа, ждут ученики — её ученики!

А что еще ожидает её?

Эхо выстрела в совсем близком отсюда Сараеве... торопивые сборы — и ночной поезд из Вены в Берн... Возвращение кружным путем в Петербург, в объезд залитых кровью мест, откуда только что откатились ставшие вражескими армии... Красные банты в петлицах чиновников, нескончаемые митинги на улицах, ночные выстрелы и торопливо перебегающие Невский кучки напуганных горожан. Переезд. Голодная, одичавшая Москва.

Этого она ещё не знает. Всё это будет — потом. Потом...

А сейчас — поблескивая лаковыми боками, автомобиль мягко тормозит у подъезда. Шофер соскакивает с высокого сиденья, ловко распахивает дверцу. Остается лишь, протянув спутнику руку для поцелуя, улыбкой попрощаться с ним — и оставить экипаж. Задержав её ладонь в своей, он смотрит — даже не на нее, но куда-то мимо, в сторону подъезда, где она должна исчезнуть. И вот она пробегает мимо дремлющего в кресле швейцара, на мгновение задерживается перед лестницей, чтобы, смахнув осевшие крохотными прозрачными каплями на поверхности фотографии снежинки, спрятать плотную картонку в пушистую муфту — и незаметно пронести к себе в комнату.

Да так ли было всё это? И с ней ли?..

\* \* \*

44-й год, декабрь... Война скоро кончится — об этом уверенно говорят в очереди, что задолго до рассвета выстраивается в орликовом переулке. Фасад продуктового магазина, когда-то тщательно оштукатуренный, празднично-желтый, теперь весь в сколах, в комьях смерзшихся грязевых брызг, оставшихся с долгой осени.

Пытаясь сохранить остатки домашнего тепла, женщины кутаются в платки, бьют себя по бокам, приплясывают — отчего снег под их ногами сбивается в плотную корку, темнеет и становится скользким. Болтаются, постукивают пустыми бутылками авоськи: обещали с утра молоко. Скользят по насту деревянные костыли, много костылей — на них опираются, одетые в шинели со следами споротых погон, совсем ещё не старые дядьки.

Война скоро кончится. Скоро.

«24-мя артиллерийскими залпами!..» — нарочито растягивая слова, совсем как диктор Левитан, вещают в самодельные рупоры — обрезки водосточных труб — пацаны, забравшиеся на припорошенную ночным снегом, огромную, занимающую чуть не четверть всего двора, кучу угля. Уголь свален ближе ко входу в подвал — там дворовая котельная. Грубые, хриповатые мальчишеские голоса победно поднимаются вверх, вдоль стен нашего двора-колодца, составляющего утробу пятиэтажной кирпичной громады.

Дом занимает весь квартал, отделяя собою Кировский проезд от Боярского переулка. Впереди него — гранитная арка станции «Красные ворота»; там, в вестибюле метро, клубится пар, образованный врывающимся в открытые стеклянные двери морозным воздухом. Удивительный пар, не похожий ни на какой другой:

возникая, он тут же смешивается с постоянно витающим (только здесь, только в этом метро!) волшебным запахом моего детства — запахом шоколадных ирисок.

Дальше, за метро, по Садовому кольцу движутся колонны пленных. Они нескончаемы — тысячи людей, одетых в зеленоватую форму, едва укрывающую от колючего зимнего ветра. Охраны почти нет — нельзя же считать охраной этих молодых, может, чуть старше нас, ребят с болтающимися за плечами, дулом вниз, совсем нестрашными карабинами. Или — открытый газик с лейтенантом, тархтящий рядом с колонной. Чего же с ними так долго воюют?.. Кто-то из бредущих в колонне безразлично, пустыми глазами, смотрит вперед. Кто-то шагает, опустив голову. Другие любопытно озираются по сторонам, на ходу заговаривают с оставившимися прохожими, протягивают самодельные зажигалки и перочинные ножики — в обмен на хлеб.

Хлеб у москвичей уже есть. Появилась на столах (пусть и не у всех, потому что цены пока коммерческие) всякая снедь — рыба, колбасы, сыр.

У нас дома всё это бывает — приносит из ОРСа отец. Приходит отец нечасто: его цех выпускает фугаски, которые все еще нужны фронту — потому что ещё не взяты Будапешт и Прага, и целёхонький, неразрушенный стоит Нюрнберг, и германскую столицу по-настоящему тоже пока не бомбили... Отец живет в цеху — с того самого дня, как его вернули сюда из призывного пункта. Вернули и нас в Москву — меня, маму и верную мою няньку Полю, в последние дни 41-го прошедшую с нами в скотской теплушке маршрут Москва — Раевка — Бийск... А теперь — обратно.

Наша квартира понемногу оживает — возвращаются из эвакуации старые жильцы, подселяются новые. Здесь семь комнат. Вернее, семь высоких — их наличники почти упираются в лепной карниз потолка — дубовых дверей. Когда-то сивявшие лаковыми поверхностями искусно подогнанных друг к другу досок, а теперь матовые и тёмные, они дополняют своей странной огромностью постоянный полумрак длинного коридора. Слабые лампочки едва освещают его; электрический свет отражается неяркими бликами на глянце выложенного замысловатыми многоугольниками паркета.

Я и сейчас, спустя много лет, закрыв глаза, вижу отчетливо наш коридор. Он совсем не похож на типичный московский: здесь отсутствуют сундуки в темных углах, и педали велосипедов, подвешенных крюками на уровне глаз, не заставят вас, проходящего, прижаться к противоположной стене. наш коридор широк и просторен. К тому же он совершенно пуст — даже мой велосипед, собранный из частей и деталей по меньшей мере трех довоенных веломашин, хранится в прихожей квартиры на первом этаже, где живут бабушка с папиной сестрой.

А больше ребят в квартире нет — если не считать совсем маленьких Юрку с Мариной. У них долго еще не будет своего велосипеда — и потому что рано им, и потому, что давно живут без отца. Юрка хотел, чтобы во дворе знали — отец их на фронте пропал без вести. То есть погиб, скорее всего.

...Он и правда погиб — но в заключении. Тогда же знать нам этого было нельзя.

Квартира когда-то вся принадлежала Кливанскому. Семену Ароновичу Кливанскому, видному меньшевику, совершенно невероятным образом не задому частыми лопастями мясорубки, запущенной четверть века назад его политическими оппонентами. Он и сейчас живет здесь со своей дочерью Бэллой, старой девой, служащей корректором в научном издательстве. А может — редактором.

Она почти всегда дома, ее нередкие гости приносят в охапке толстые портфели и сумки, из которых высовываются лохматыми углами пачки рукописей.

Кливанские — самые редкие гости на кухне. Оба ходят бесшумно, она — кутаясь в длинный махровый халат, он — в полосатой пижаме, накинутой на ночную рубашку, склонив блестящую, опущенную венчиком седых волос, лысую голову. Желтые светляки лампочек пробегают по стеклам его пенсне. Оба высокие, носатые, неулыбчивые. За их дверью — всё, что осталось после многократного «уплотнения», как называется подселение к хозяевам квартиры новых жильцов. Разных, но всегда чужих.

Год за годом Кливанские отступали, освобождали комнату за комнатой, стаскивая в самую просторную, из пока остающихся им, всё дорогое и необходимое. Их жилплощадь и теперь велика, там выгорожены целых три комнаты, и все они, по московским меркам, довольно просторны. Причем, две — светлые, с окнами на улицу.

У нас одна комната, окно её выходит на черный ход. Поэтому здесь всегда горит свет, даже когда дома нет никого — так нам кажется лучше. Нашей комнатой, самой дальней от парадного входа в квартиру, завершается коридор. В торце его две узкие, окрашенные масляной краской, двери — уборной и ванной. Сбоку — еще одна: сразу за нашей стеной кухня с семью столами и двумя, покрытыми рябой эмалью, газовыми плитами. И — черный ход.

А за другой нашей стеной, с которой спускается плотный старый ковер, укрывая собою топчан с пружинным матрацем, — на нём я сплю, — живет Анна Семеновна Шарф. Её комната больше нашей раза в два, высокое окно выходит в сторону двора. Самого двора отсюда не видно, надо далеко высунуться из окна и только тогда можно заглянуть в этот огромный, кажущийся бездонным, колодец. зато из ее окна видны ряды крыш соседних домов — с нашей стороны дом имеет пять этажей (мы живем на четвертом), а с противоположной лишь четыре. Вон — Козловский переулок, начинающийся клубом Министерства морского флота, куда мы по десятку раз бегаем смотреть «Небесный тихоход», «В степях Украины» и, конечно, «Чапаева»... Вон они — Харитоньевский, Фурманский... И чуть левее, в сторону Садового кольца, — Хоромный тупик.

Крыша нашего дома — это отдельная история. Для меня она началась зимой 44-го, когда, проникая сюда через чердачные лабиринты, мы собирали с гремящего, крашенного охрой, железа осколки зажигательных бомб. Осколки эти потом можно было выменять на противогазные маски, резина которых совершенно незаменима при изготовлении первоклассных боевых рогаток. Или — на запчасти для самодельных пистолетов-хлопушек: кажется, их называли «мечики» и собирались они из трубочек, бойков, пружинок и каких-то металлических загогулин.

Потом, спустя года три, я снимал отсюда своим фотокором — реликтовым советским аппаратом с растягивающейся гармошкой и кассетами, в которые вставлялись стеклянные фотопластины, — все стадии строительства нового здания-высотки: в это здание вскоре переехал НКПС, как тогда сокращенно называлось ведомство железных дорог.

Между прочим, крышей же могла завершиться моя недолгая жизнь — когда однажды, в первую послевоенную зиму, мы затаились там, устроив засаду на лазутчиков с недружественной нам Домниковки. Покидал я ее почему-то последним; часы, проведенные на звенящей от морозного ветра жести, свели мёртвой судорогой кисти обеих рук. Позже, обнаружив себя дома, я едва мог вспомнить, каких

усилий стоило мне, десятилетнему пацану, распластанному на скользкой — от намерзшего льда и снежной пороши — покато́й поверхности, доползти, упираясь локтями, до чердачного люка, чтобы почти замертво свалиться в него...

Вскоре на все входы в чердак навесили тяжелые замки — наверное, не без настояния моего отца.

...На окне у Анны Семеновны плотно, шершавыми глиняными бочками друг к другу, прижались горшки с маленькими кактусами. Кактусы — это увлечение Анны Семеновны, у них даже есть свои имена. И мне эти кактусы разрешается поливать. Еще мне дозволено рассматривать — сквозь мерцающие темные стекла — внутренности шкафов, которые, собственно, составляют стены ее комнаты. Там — книги. Русских совсем немного — один или два шкафа. Все остальные изданы где-то за границей: вот Данте — множество томов в темных шагреновых переплетах, раскрыв которые, можно подолгу рассматривать удивительные сюжеты старинных гравюр.

В соседнем шкафу — Сервантес, это испанский шкаф. Вот — Шекспир, разумеется, на английском. Все эти книги Анна Семеновна давно прочла. И продолжает читать... Помню очень много немецких книг — Фейхтвангер, Шиллер, Гейне... Их больше всего — не поэтому ли мои родители условились с Анной Семеновной, что она, помимо общепросветительных тем, будет учить меня немецкому?... И ещё (но это уже за моей спиной) — что она будет пытаться исправить мой, скажем так, не отличающийся особым изяществом манеры, обретенные в целиком захватившем меня теперь общении с красноворотской шпаной. А впрочем, — и с преображенской, и с черкизовской: туда мы нередко «срываемся» на подножках трамвая, идущих от Каланчевки, выяснять наши непростые отношения.

...Теперь Анна Семеновна столуется с нами, что позволяет ей исключить из своего быта магазины, а заодно продлить наши занятия до практической проверки усвоенных мною навыков. Как сейчас помню: укоризненно глядя на меня, она перекладывает из «неправильной» руки — в «правильную» нож или возвращает на стоящую рядом тарелку вынутый у меня почти изо рта огромный ломоть хлеба.

Ах, Анна Семеновна, Анна Семеновна, — я ведь, правда, и сейчас, прочно забыв всё, чему меня учили в те годы в школе номер 505, на Садовом, как раз напротив башни старого НКПС, я ведь и сейчас помню ваше «Гутен таг, фрау Майер, вас костен ди айер? — Акт пфениг». И помню, как прикрыв ладонью глаза, — чуть выпуклые, всегда внимательные и удивительно, совсем не по возрасту, живые — как вы задумчиво слушаете стихотворение, которое я сам, сам написал под впечатлением прочитанного томика Лермонтова — в виде редчайшего исключения вы разрешили мне унести его к себе в комнату «...только на один день!»

Эти стихи, кроме вас, Анна Семеновна, не видел никто.

Потом я часто ловил на себе её внимательный взгляд, — так смотрят, когда собираются что-то сказать — важное и необходимое. Он смущал меня и тревожил, мне даже казалось, что я могу ощущать его спиной, покидая её комнату...

Несколько лет спустя, когда ей, наверное, уже было за 70, я заметил в ее руках учебник китайского языка. Она стояла у плиты, следя, чтобы из крохотной кастрюльки не выкипело молоко, и посматривала в самоучитель. «Анна Семеновна, — удивился я — зачем это вам?» Насколько чудовищна мера бестактности подобного вопроса, адресованного пожилой женщине, в голову мне, разумеется, не приходило. Ну ведь, правда, — зачем ей? В Китай она, что ли, поедет?

На всю жизнь я запомнил ее ответ. И по сей день я вспоминаю его и даже цитирую — когда есть тому подходящий повод. «Видишь ли, — сказала она, глядя куда-то поверх моей головы, — вот заметь: я всегда опрятно одета, я трижды в день чищу зубы. Я знаю, что буду делать сегодня, и планирую все, что собираюсь сделать на этой неделе. Я живу так, будто знаю, что буду жить вечно».

Потом она посмотрела на меня, едва дотянувшись, положила мне, как когда-то, сухонькую, покрытую с тыльной стороны старческими родимыми пятнами, ладошку на плечо — что было уже совсем нелегко при ее маленьком росте — и добавила, улыбнувшись: «...Хотя, вообще-то, я готова умереть в любую минуту». И, повернувшись, прошаркала войлочными тапочками по паркету к своей двери.

...А вскоре меня провожали в армию. Повестки были уже у всех, собравшихся сегодня в нашей «главной» комнате, и еще в крохотной пристройке к кухне: холодная кладовая всякими правдами и неправдами была отцом превращена в дополнительную жилплощадь, позволявшую мне иметь свою отдельную конуру. Умещались там только топчан (теперь я спал здесь), некое подобие письменного стола, сколоченное по месту знакомым плотником, и дощатая табуретка с полу-круглой прорезью в сиденье.

Сегодня, на проводах, комнатка служила нам неким буферным пространством, куда втискивались отужинавшие, чтобы присоединиться к нестройному хору, голосившему под аккордеон всё, что в те годы пела молодежь. А пели мы тогда вернувшиеся из долгого забвения студенческие кушеты, вроде этих — «Через тумбу, тумбу — раз...», или еще — совсем уже старинные «Крамбамбули», — в которых припев подхватывался всеми присутствующими и непременно в полный голос.

— Соко-о-о-лики... — а-ой-люли... — поддерживали мы поющего, — давайте пить... — выкрикивал аккордеонист, он же запевала. — Кр-р-рамбам-були!.. — вопили гости. Между тем, время перевалило за полночь... Перед моими глазами до сих пор, как будто было все это только что, Анна Семеновна, сжавшая виски ладонями: она мечется по коридору, умоляюще глядя на нас.

Эх, мерзавцы мы, бесчувственные мерзавцы, — ну, хоть бы кому из нас пришло на ум одернуть орущих!

К 6 утра на нескольких таксомоторах почти все мы добираемся до районного военкомата — где-то за Чистыми прудами. Здесь нас отделяют от провожающих: теперь уже совершенно другие парни окружают меня — одетые кто в потасканную телогрейку, кто в совершенно немислимого вида дедовский зипун, выгашенный из дальнего чулана, кто в старое солдатское обмундирование — гимнастерки, хлопчатобумажные галифе и подобную им рвань.

Считается (и впоследствии подтверждается полная справедливость этого суждения), что в армейских кааптерках, куда вся гражданская одежда будет сложена по меньшей мере на три года, мало что за время службы сохранится. А раз так — чего рядиться-то? Все навеселе — кто-то еще не отрезвев от проводов, кто-то захмелился уже поутру. Пить продолжают и здесь — пока втихую, потому что вокруг снуют старшины и сержанты-сверхсрочники, должны сопроводить наш состав. И позже, в теплушках, — там пьют уже в открытую. В ход идет всё: у меня и сейчас на губах жив вкус тройного одеколона от путешествовавшей из рук в руки алюминиевой кружки, в которую и мне кто-то плеснул теплой водки.

Здесь начиналась другая жизнь — но сегодня не о ней мой рассказ.

Совсем не о ней.

Вернемся же в нашу квартиру — дней на десять назад. Уже известна дата сбора, мы с родителями наносим прощальные визиты родным, чьи семьи разбросаны по разным, немало отдаленным друг от друга, концам Москвы. И потом, один уже, я объезжаю приятелей. Или — они приезжают ко мне. С соседями мы будем прощаться ближе ко дню моего отбытия.

Но вот Анна Семеновна останавливает меня в коридоре и зовёт к себе в комнату. Она подводит меня к шкафу с русскими книгами, копошится с минуту, пытаюсь раздвинуть плотно прижатые друг к другу толстые их корешки, и осторожно, потягивая то за один уголок, то за другой, вытаскивает оттуда конверт. Отогнув клапан, она бережно вынимает из конверта старую фотографию. Это фото-портрет. Необычный ракурс: камера снимала сбоку и немного сзади, и кажется, что объект этой фотографии совсем рядом и смотрит от нас куда-то вдаль, — так, что невольно хочется проследить за его взглядом.

Черты лица знакомы... Ну да, это он — Федор Шаляпин. Правый верхний угол занят надписью, стилистически не вполне совершенной, но весьма выразительной: «Милая Аллочка! Вступая на самостоятельную дорогу в жизненном пути, не всему доверяйся слепю». Далее следует размашистый росчерк подписи и дата: «24 апр. 913 г. СПб.» Она протягивает портрет. «Знаешь, — говорит она, — мне уже много лет. Ты вот уходишь в армию, а вернешься — меня, может, не будет в живых. Возьми, на память...».



Я растерян — не столько щедростью дара, это я смогу оценить лишь годы спустя, — но прямой, с которой она вдруг говорит о возможности своей смерти. «Анна Семеновна, ну как же... Три года не так много, мы с вами, конечно же, увидимся... А кто она — Аллочка, кому подарен портрет?» — «Аллочка — это я, — поджав губы, Анна Семеновна смотрит куда-то в сторону. — Так меня называли». Больше ничего она не сказала. Ничего. А я, балбес, и не пытался выудить из нее хоть какую-то подробность, пусть самую малую, определившую наставительный тон надписи, адресованной ей великим уже в те годы певцом.

Конечно же, не увиделись... Спустя два года, когда мне позволен был десятидневный отпуск, и когда, убегая от патрулей в подходящем к Москве ленинград-

ском экспрессе (в столице шел первый молодежный фестиваль, и потому солдат-отпускников отлавливали в поездах и отправляли обратно в части) — так вот, когда я добрался до нашей квартиры, её в живых не было уже с полгода.

...Анна Семеновна, как всегда, была права.

Спустя почти двадцать лет я снова уезжал из Москвы, на этот раз навсегда. Позади были месяцы полной неопределенности — потому что формального отказа в выезде не было, но не было и разрешения. Подававшие одновременно со мной прошение на право покинуть страну, давно уже были в Израиле или в Италии — на пути в Америку, в Австралию, в Канаду. И кто-то уже был там... Мы же, я и сын, ждали. Тому полгода, как я нигде не работал.

Время от времени сын, продолжавший по инерции ходить в школу, подводил меня к стеклянной двери балкона: «Па, гляди, они опять здесь», — говорил он, кивая на прогуливавшегося по тротуару, невдалеке от нашего подъезда, человека. Неподалеку от него стояла «Волга», разумеется, черного цвета. Словом, слежка была демонстративная, совершенно открытая. Напугать, что ли, хотели? Так же демонстративно они оставляли после своих, как бы тайных, визитов в нашу квартиру сдвинутые с места стулья, вынутые для просмотра из шкафа книги.

Однажды я по-настоящему испугался — мне показалось, что они унесли хранившийся между книг портрет Шалапина. Портрет нашлся — и я с облегчением перепрыгнул его, убрав подальше от любопытных глаз незваных визитеров. Господи, знали бы они о моем наивном тайничке в туалете — достаточно было лишь чуть сдвинуть оргалитовую плитку в потолке, чтобы прямо на голову свалились сотни фотокопированных книжных страниц.

Сейчас я думаю — просто пугали. Иначе — был бы я здесь!

Прошли еще недели. Всё уже оставалось позади: зловредная «Софья Власьевна» (так на московских кухнях называли советскую власть) пригрозила на прощанье корявым пальцем — о разрешении на выезд мы узнали спустя неделю после того, как срок его истёк, — и наконец, выездная виза, одна на двоих, была у нас на руках.

Теперь времени на подготовку и отъезд оставалось чуть больше недели — что всё же было достаточным, поскольку вещей на отправку у нас не было. Это, если не считать книг, с которыми я не хотел расставаться. Те, что вывозить было не дозволено, я роздал друзьям: и заветный томик самого первого издания Надсона, и вставленные в чужой переплет мемуары вдовы Мандельштама, и берлинскую перепечатку философа Соловьева... Коробки с книгами удалось довольно скоро пристроить на отправку «медленным» грузом.

Шел густой снег, сотрудники грузовой таможни вручили нам, толпящимся в очереди, неуклюжие фанерные лопаты: хотите, чтобы скорее, — расчищайте подъезды к складу. Может быть, москвичи-отъезжанты 76-го года, если кому-то из них доведется читать эти строки, вспомнят последние числа марта, грузовую таможню на Комсомольской, сугробы снега у входа — и сумасшедшего, в сбившейся на затылок шерповой кепке, машущего деревянной лопатой в ритм «Варшавянки»: ...В царство свободы дорогу грудыю проложим себе!..

— Ау, ребята, этот сумасшедший — я... Не знаю, откуда у нас, тогдашних эмигрантов, бралась отчаянная, безрассудная дурость — ведь известно было, что и с подножки самолета снимали кого-то, почти уже успевшего почувствовать себя за границей.

...Я пел, отбрасывая лопатой в сторону пушистый, не успевший слежаться в тяжелые пласты, свежий снег. Кто-то из шурующих рядом со мною посмеивался, кто-то шаркался в сторону, едва разобрав слова...

Наконец, все таможенные процедуры были (не без помощи дорогой ронсоновской зажигалки — да что за чепуха, это же просто сувенир, берите!) закончены — и ящики с книгами уходят с весов на тележку надежно «смазанного» грузчика: в его же ведении и деревянные ящики, от прочности которых зависит сохранность багажа. Незадолго до этого, взглянув на обложку журнальчика с фривольными фотографиями, затесавшегося среди отправляемых книг, молодой таможенник вскинул брови:

— Это еще что?

— А что такого, я же не привез в страну, я же увожу, — наивно ответил я.

— О, если бы привез — мы бы не так говорили! — быстро оглядевшись по сторонам, он незаметным движением смахнул журнал со стола куда-то вниз, следом за зажигалкой. — Конфисковано! — сообщил он мне, ухмыльнувшись, после чего дело, кажется, пошло быстрее.

Но оставались еще фотографии...

У меня, любителя фотодела с мальчишеских лет, скопились многие сотни отпечатков, и, не знаю уж почему, в ящики с книгами их положить не позволили. Отобрав те, что составляли для меня самую дорогую память, я вынул их из альбомов и заложил в толстые конверты.

А как быть с портретом Шалапина? О его существовании знали сотрудники Бахрушинского музея и всяческими способами пытались выцганить фотографию для своей экспозиции — тем более, что был портрет уникален: как выяснилось, ни в одной шалапинской публикации воспроизведен он не был. Мне же расставаться с портретом решительно не хотелось — в конце концов, он для меня составлял добрую память о женщине, мягко, но решительно противостоявшей влиянию на десятилетие меня страшной улицы послевоенной Москвы.

И пусть старания ее были, чего уж скрывать, не всегда успешны — память о ней становилась для меня с годами дороже и уважительнее. «Была не была!» — решил я и засунул фотопортрет среди десятка совсем старых, почти дагерротипных фотографий далеких предков, передаваемых «на свободу» моими родными. «Наши уезжали в начале века — вдруг найдешь там кого-нибудь», — напутствовали они меня.

Эти дагерротипы сослужили свою службу — я, действительно, нашел родных (вернее, они меня — потом, спустя годы, мы вместе рассматривали старые фотографии), и с их же помощью выехал со мною портрет: пограничник в Шереметьево пролистнул их всерно — и бросил в чемодан, сочтя неинтересным подробное их разглядывание.

...Зато все мои фотографии — и те, где я был снят в солдатской форме, и те, на которых было больше двух человек, — остались провожавшим меня друзьям. Ко мне они все попали, но спустя годы. Фотопортрет же, благополучно миновав вместе с нами границы Австрии, Италии и, наконец, Америки, снова занял свое место. И снова не на стене: чернильная надпись на нем стала бледнеть, и я счел за благо оставить его в конверте — том самом, в котором он достался мне четыре десятка лет назад.

Случается, я вдруг забываю — где он, где хранится прощальный подарок Анны Семеновны. Это может произойти со мной в любой час, даже ночью. Где же

он? Потом я, конечно, нахожу его и, не вынимая из конверта, перекладываю в новое, как мне кажется, более памятное место...

Иногда же я достаю из конверта фотографию, рассматриваю её — и наступает момент, когда за чертами Шаляпина, как бы из небытия, проступает передо мною тёмное пространство огромного коридора, из глубины которого медленно, слегка ссутулившись, идет мне навстречу маленькая женщина. На её плечи наброшен широкий, окутывающий всю её фигурку, платок, волосы гладко, на пробор, расчесаны, выпуклые глаза внимательно смотрят на меня. Она улыбается и, кажется, готовится что-то сказать. Я хочу, я очень хочу узнать — что она говорит мне? Но вот видение исчезает. Подержав какое-то время портрет, я прячу его в конверт и убираю — до другого раза.

Узнаю ли я когда-нибудь — что не успела сказать мне Анна Семеновна?



## Зоя Мастер

# КОФЕ ПО-МАРОККАНСКИ

Старик сидел в тёмной машине, чуть скособочась, прикрыв глаза похожими на вареники веками. Его локоть лежал на опущенном стекле, кулак подпирал подбородок.

На третьем этаже углового дома уже вторые сутки праздновали мексиканскую свадьбу. Невеста, всё ещё с фатой в распущенных волосах, но уже не в подвенечном, а цветастом платье, швыряла с балкона цветы. В темноте виднелись её пухлые плечи и пикирующие клочки свадебного букета. Подхваченный ветром обрубок белой лилии, шлёпнулся на капот машины. Старик вздрогнул и открыл глаза. Увидев меня, он слегка отпрянул.

— Тебе чего? — спросил он.

— Да так, проходил мимо. Вот, смотрю, живы ли.

— Умрѣшь тут, — усмехнулся старик, кивнув в сторону балкона, — от их музыки мѣртвый воскреснет.

— А чего домой не идѣте? — спросил я.

— Неохота.

Старик говорил с заметным русским акцентом, тщательно подыскивая слова и разминая затѣкшую ладонь. Его пальцы казались неестественно длинными, узловатыми в суставах, с крупными выпуклыми ногтями.

Рядом проехала машина, свет фар проплыл по нашим лицам. У старика были тѣмные глаза и густые жѣлтые усы. Как у моего деда, которого я не запомнил живым, а только неестественно вытянувшимся на кровати после торопливого ухода врача: белая крахмальная простыня, натянутая до подбородка, и жѣлтые от курева усы. Мне было тогда лет пять, и только сейчас, впервые, я отчѣтливо вспомнил его лицо... и бабушкину, чешского стекла брошку, которая некстати отстегнулась и упала на вздувшийся живот деда. Бабушка никогда больше её не надевала.

Я нащупал в кармане пачку сигарет: надо будет бросить курить и сбрить усы.

— Твоѣ лицо мне знакомо, — сказал старик. — Впрочем, нет, ты просто кого-то напоминаешь. Меня зовут Сэм, а тебя? — спросил он.

— И меня, — ответил я, запнувшись, — тоже Сэм.

Старик несколько не удивился:

— Так может, поднимемся ко мне, выпьем по бутылочке пива? — неожиданно предложил он.

В квартире пахло хорошим кофе. Вдоль бесцветной стены полз майский жук. По потолку ритмично скребли и постукивали каблук танцующих. Мятые оконные шторы подрагивали в такт синкопам румбы. Пиву не доставало горечи. Мы молчали. Я начинал понимать, что принятое приглашение было чистым идиотизмом.

— Пойду...

— Подожди, я сварю тебе кофе, настоящий, ты такого не пил, — торопливо сказал Сэм и накрыл своей ладонью — мою, сжатую в кулак.

Он прошѣл к плите; звякнула обронѣнная ложечка, зашипела поставленная на конфорку турка. А я всё думал о часах на запястье Сэма. Они были настолько

элегантны, насколько может быть элегантна простота по-настоящему дорогой вещи. Часы с выложенной из эмали картой северной Америки на циферблате, скорее всего, золотые, белого золота, такие неуместные, в этой полупустой квартирке в районе для иммигрантов...

— Попробуй, — Сэм поставил передо мной маленькую керамическую чашку.

— Хорошие у вас часы. Загнали бы и купили нормальное жильё.

— За эти часы можно купить весь дом со свадьбой и гостями, да ещё останется на виллу в горах. Это же Patek Philippe, ручная работа. Слышал когда-нибудь?

— Нет, не слышал. Но какой толк сидеть по ночам в машине и любоваться миллионными часами? Мне лично на старости лет такого счастья не нужно.

— Тебе ещё дожить надо до старости. Пей кофе, остынет.

Кофе действительно был очень вкусный и очень крепкий. Я уже пил такой, в Фесе, в маленькой полутёмной кофейне недалеко от ворот Баб-Бу-Джелуд. Его подавал хозяин этого погребка, в невысоких стеклянных чашечках с ручками, похожими на ушные раковины. Сэм там тоже был, но тогда мы только следили за ним. Прошёл год, старик никак не мог уговориться и, в конце концов, стал мешать очень серьёзным людям. И выбрали меня.

— Нравится, — спросил Сэм, — чувствуешь аромат? Так готовят только в Марокко: варят с имбирём и корицей. В Египте и Сирии ещё и гвоздику добавляют. Хорошая сигарета, чашечка правильно сваренного кофе — тоже счастье. Хоть и маленькое.

— А в чём тогда — большое?

— В адреналине.

Закрыв глаза, старик вдохнул аромат кофе. Бледные веки с едва заметными, словно у недоношенного младенца ресницами, снова напомнили мне вареники, которые часто лепила моя русская бабушка. «Поешь нормальной еды, пока я жива, — говорила она, — женишься на американке, будешь есть гамбургеры и пиццу». Я был женат дважды, и ни одна из моих женщин готовить не умела, включая ту, которая праздновала свадьбу этажом выше. Почему она выбрала мексиканца, я так и не понял. Втроём мы делали одну работу. Может, он справлялся с ней более непринуждённо, особо не задумываясь и легко расслабляясь после. А я с детства был занудой и задавал много вопросов. Но сейчас мне не хотелось выслушивать сентиментальные признания человека, чья жизнь зависела от моего настроения, и который, не подозревая об этом, изливал мне душу. Чем больше Сэм откровенничал, гостеприимно подливая кофе, пододвигая банку с орешками, тем сложнее мне было сделать то, зачем я пришёл. Честнее было бы закончить всё, пока старик дремал в машине.

В дверь позвонили: сначала осторожно, чуть прикасаясь к звонку, потом смелее и чаще, словно зная, что в доме не спят. Сэм открыл, и я услышал голос бывшей жены: «У вас свет, я войду? Здесь немного сладостей со свадьбы, угощайтесь. А-а, вы с другом, — сказала она, плохо сымитировав удивление, — а я уж подумала, — с женщиной». Она игриво подмигнула Сэму и поставила на стол тарелку с кусками оплывшего кремowego торта.

— Проверяет, почему так долго, — я усмехнулся и отодвинул недопитый кофе, — всему своё время.

Сэм спустился со мной к подъезду, спросил, приду ли ещё. Я пообещал вернуться, но старик не подозревал, что вернусь я уже сегодня, ранним утром.

И я вернулся. В подъезде валялись пластиковые стаканчики, обрывки ленточек и расколота пиньята с остатками конфет. Я опасался, что старая дверь

скрипнет, но подумал, какая разница, услышит ли старик этот скрип; ведь дальше всё произойдёт слишком быстро. Дверь оказалась неплотно прикрытой, и я уже знал, что увижу. В квартире по-прежнему пахло кофе, но к его аромату примешивался запах знакомого мужского одеколона. У меня он неизменно вызывал головную боль, а мою жену, как оказалось, возбуждал.

Сэм сидел на стуле, скособочась, но не так, как в машине. Глаза его были открыты, но слепы — зрачки уже закатились. И потому я не мог понять, был он удивлён, испуган или спокоен в свои последние минуты, которые ждал и оттягивал, вечерами опасаясь подняться в свою квартиру. Часы белого золота так же тикали на морщинистом запястье.

Я переступил через сгустки крови у стола и вышел, притянув дверь ногой. Хотелось курить. Перебежав парковку, я вытащил из кармана пачку сигарет и оглянулся. В открытом окне колыхались шторы. За ними оставался Сэм. На ядовито-розовом креме нетронутого торта топталась муха. Уходя, я машинально согнал её, но сейчас, стоя за скрывавшим меня траком, я почему-то не сомневался, что она продолжает перебирать мохнатыми лапками, — словно вчерашние гости, выделяющие па румбы этажом выше.

Мотель был почти незаметен среди разросшихся деревьев и кустов, покрытых яркими цветами. Я никогда не мог запомнить их названий, и это тоже бесило мою бывшую жену, родившуюся и выросшую здесь, в Калифорнии. У входной двери стоял молоденький портье и оживлённо беседовал с двумя смуглыми ребятами спортивного телосложения. Что-то в их крепких, вёртких спинах меня насторожило. Я сидел в машине, положив локоть на опущенное стекло, подперев кулаком подбородок, и ждал, когда они уйдут.

Мне показалось, что жалюзи в окне моего номера шевельнулись. Возможно, кто-то, открыв дверь в комнату, не подумал о сквозняке.

В конце концов, можно ехать в аэропорт и без сумки.

Почему-то, мне стало тяжело дышать и затошнило до головокружения. Кроме кофе с орешками, я ничего не брал в рот со вчерашнего вечера. Но тошнота была иной, чем та, что появляется от голода. Она поднималась резко, толчками, а потом желудок и горло обожгло болью, от которой стало невозможно дышать. Я кашлял и захлёбывался слюной. Она отдавала корицей.

Открыв дверцу машины, я скатился под куст, усыпанный вонючими цветами, и, засунув в рот пальцы, пытался вызвать рвоту. — Хорошо, что не допил кофе. Старик узнал меня. Ещё там, на парковке. Я не подозревал, что боль может быть такой...

Меня рвало долго, до судорог. Щекой я ощущал прохладную, комковатую землю и вечный холод, идущий оттуда, из глубины. Я зарычал и откинулся на спину. Влажная трава покалывала окостеневшую от судорог шею. Я дышал часто и шумно, как удравший от погони пёс. И не злился на старика. Я всегда уважал профессионалов.



Лорина Дымова

## ПЯТНО НА ПОТОЛКЕ, ПОХОЖЕЕ НА КАРТУ МИРА

Из жизни Филиппа Филипповича исчезла тайна.

Вы спросите: а какая—такая тайна могла быть в жизни обыкновенного человека Филиппа Филипповича? О какой тайне вообще может идти речь, если это человек обычного возраста, лет сорока семи, обычной профессии, инженер, живущий в обычном, пусть даже столичном городе, в самой что ни на есть обыкновенной квартире с двумя смежными комнатами?

А вот, представьте себе, тайна в жизни Филиппа Филипповича существовала всегда, сколько он себя помнил. Ну, что в детстве ему все казалось таинственным — это нормально. И то, что после дня обязательно наступает ночь, несмотря ни на что — ни на день рождения, ни на новый велосипед. И что, когда летом они переезжали на дачу, взрослые так уверенно говорили: вот через две недели вода в пруду станет теплее, тогда и можно будет купаться. А почему, спрашивается, они были так уверены, что вода станет теплее именно через две недели? И ведь всегда оказывались правы, вот что было удивительно!

Тайна? Тайна!

А длинные тени деревьев в лунном свете?

Или что касается его имени. В детском садике, а потом в школе, обязательно было по три или четыре Димы, Сережи, Павлика и Юрика. А вот Филипп везде был один — как дуб в чистом поле, и всегда это был он. Мало того, Филиппом звали и его отца, и деда тоже, все были как на подбор Филиппы Филипповичи, и он даже не удивился, когда мама ему сказала, что и он тоже будет Филиппом Филипповичем, хотя и не скоро. Удивлялся он другому: а почему это только в их семье водятся Филиппы. Он искал этому объяснение и — что бы вы думали? — нашел. Наверное, когда-то в старину у них было родовое имя, в котором росли только липы. И какая-нибудь невеста, приехав в имение и увидев парк, сморщила носик и сказала: "Фи, липы!"

Конечно, за всем этим скрывалась какая-то тайна, и когда он, засыпая, ду-мало таинственности жизни, в животе у него становилось щекотно и прохладно.

Когда же Филипп доучился до девятого класса, про имение и невесту с носиком он забыл, а непонятными, необъяснимо изменившимися вдруг стали девочки из его же класса, да, да, те же самые девочки, к которым, казалось бы, можно было за восемь лет привыкнуть и не обращать на них внимания. Но не тут-то было! Ни с того ни с сего они вдруг стали совершенно другими — странными и загадочными, и как раз теперь не обращать на них внимания у Филиппа не получалось, хотя раньше это ему не составляло никакого труда. Когда Танька с соседней парты взмахивала ресницами, которые теперь почему-то стали у нее длинные, как крылья, а потом вдобавок еще и начинала смеяться, сердце Филиппа куда-то проваливалось и долго еще плавало в неведомых морях.

А вы говорите, откуда взяться тайне!

Часы же на комодe между тем тикали, дни катились, годы шли. Филипп потихоньку, как и обещала мама, стал превращаться в Филиппа Филипповича. Сначала изредка, только в бухгалтерской ведомости или на собственных заявлениях в адрес начальства, в которых он просил, например, предоставить отпуск за свой счет по случаю женитьбы или, один раз и такое было, в связи с рождением близнецов. Сначала превращение его в Филиппа Филипповича происходило как-то робко и незаметно, а потом все увереннее и бесповоротнее.

И опять вы спросите: ну а здесь-то где тайна? Должность инженера в КБ, женитьба, даже сыновья-близнецы — что в этом таинственного? Все как у всех! Так я вам скажу: это когда у других КБ, поездка на курорт и даже близнецы — в этом нет ничего особенного. А вот когда у тебя!..

Все было удивительно: и что вот идет он утром на работу, как раньше его отец, а вечером усталый возвращается домой — мужчина, кормилец, глава семейства, и встречает его не кто-нибудь, а настоящая жена, точь-в-точь как встречала когда-то мать его отца.

А на работе! Разве не странно было, что именно ему, а не кому-то другому, пришло в голову заменить на станке цилиндрическую втулку конусообразной, экономия металла получалась феноменальная! И как его хвалили на летучке, а потом у начальства, хотя в патентном бюро диплом оформили почему-то не на его имя, а на имя заведующего отдела. Обидно конечно, но когда проводили испытание, Филипп почувствовал тот же самый холодок в животе и ощущение, что мир безграничен и таинствен — соображай, и многое тебе откроется.

Каждый день приносил с собой какую-нибудь загадку, но Филипп вовсе не стремился ее разгадывать. Было интереснее не понимать, удивляться — мир таким образом обретал еще одно дополнительное, необъяснимое измерение, а это значило, что все в жизни может случиться и даже в самых катастрофических ситуациях не стоит отчаиваться. Когда же тайну удавалось раскрыть, ничего хорошего из этого не получалось, потому что объяснение всегда оказывалось чересчур простым, тайна переставала быть тайной, а окружающий ландшафт из сказочного, горного, с манящими пещерами и головокружительными спусками, превращался в плоскую разделочную доску. Жить на свете сразу становилось скучновато, а иногда даже и тошно, как, например, в случае экономии металла при помощи конусообразной втулки. Нет, пусть остаются в жизни тайны, и как можно больше, в этом мы с Филиппом Филипповичем полностью согласны.

Надеялся Филипп Филиппович и на то, что останутся тайной, во всяком случае для жены, его свидания с Марго, медсестрой из их районной поликлиники, тем более что жила Марго на другом конце города, и он два раза в неделю ездил к ней в Медведково — считай, что в другой город. Там его никто не знал, но, входя в ее двор, он на всякий случай наклеивал усы, и когда проходил сквозь строй старушек, сидящих у подъезда, усы непременно теребил, обращал на них внимание, чтобы потом в случае чего сказать: да Господь с вами, никогда я в этом районе не бывал и усов у меня сроду не было! Но на самом-то деле он понимал, что "в случае чего" никакие усы не помогут, просто ему нравилась такая игра: свидания от этого становились еще таинственнее и слаще, а жизнь — похожей на ту, которую показывают в кино.

Как вы догадываетесь, и эта тайна лопнула, как воздушный шарик, — этого всегда следует ожидать, коли уж повадился ходить по явочным квартирам, но произошло это так глупо, что было даже обидно. Облом случился из-за того, что одна

из бабок, дважды в неделю сверлившая в Медведково Филиппа Филипповича взглядом, устроилась сидеть с ребенком как раз в их подъезде. И надо же было додуматься — ездить в такую даль, чтобы сидеть в чужом районе с чужим ребенком, но старушечья эта как раз додумалась, и когда Филипп Филиппович в первый раз увидел ее прямо перед собой в собственном дворе, от неожиданности на него напал столбняк, во время которого он видимо по инерции, вытащил из кармана усы и привычным движением приладил их себе под нос, причем, вы только подумайте, прямо на глазах у старухи. Видавшая виды бабка даже если удивилась, то на какую-нибудь жалкую секунду, и никакого столбняка с ней-то как раз и не произошло. Она заинтересованно проследила за странной манипуляцией этого типа, который ходил по понедельникам и четвергам к Маргошке, и немедленно сделала из этого нелепый, абсурдный, но, к сожалению, совершенно правильный вывод. Следствием этой встречи оказалась запертая на задвижку дверь в квартире Филиппа Филипповича, когда он, как обычно по четвергам, вернулся домой около двенадцати часов ночи с семинара по истории партии. До утра он сидел в подъезде на подоконнике и размышлял о том, как, черт побери, непредсказуемо человеческое существование.

А на следующий день жизнь снова подтвердила Филиппу Филипповичу свою таинственность, когда он внеурочно — ведь была пятница — направился к Марго, предвкушая, как его нежная подруга обомлеет от счастья, услышав, что он пришел к ней навсегда. Он позвонил в дверь условным звонком, но никто не откликнулся. Тогда Филипп Филиппович вышел на улицу, причем уже без усов, маскироваться теперь не имело смысла, — он обошел дом и отыскал окна Марго. Там горел свет, и Филипп Филиппович снова поднялся на четвертый этаж. Он звонил непрерывно минут пять, пока, наконец, дверь не приоткрылась и Марго, растрепанная, в халатике, с плавающим взглядом, не сказала недовольно в щель:

— Сегодня пятница.

— Я пришел насовсем! — радостно сообщил Филипп Филиппович и сделал шаг вперед.

— Пятница, а не четверг, — еще раз попыталась разъяснить непонятливому возлюбленному Марго и ловко захлопнула дверь, едва не прищемив ему нос.

И опять Филипп Филиппович сидел несколько часов на подоконнике, но на этот раз в Медведково, и размышлял о том, как странно устроена жизнь. Через два или даже три часа он понял, что вряд ли Марго сегодня выйдет из дома и что вполне уже можно отправляться куда глаза глядят. Глаза же его глядели на этот раз в сторону родимого дома, потому что никаких других адресов он больше не знал. Рассудив, что провести ночь лучше в своем подъезде, чем в чужом, он туда и направился. На всякий случай он все-таки позвонил в свою дверь, и — о, эти нескончаемые сюрпризы! — жена сразу же открыла ему и без тени упрека спросила:

— Ты что, ключи потерял?

— Да!.. — выкрикнул от неожиданности Филипп Филиппович. — То есть, нет!..

— Есть будешь? — спросила жена.

— Да, — снова сказал блудный муж, — то есть... буду.

И отправился мыть руки.

Он сел на краешек ванны, пустил воду и вдруг заплакал. Представляете, мужчина, кормилец, старший инженер КБ, и заплакал! Это были слезы благодар-

ности, однако вовсе не жене, как вы можете подумать: он благодарил жизнь — за ее изобретательность, за щедрость на выдумки и тайны.

Много, очень много раз жизнь и в дальнейшем удивляла Филиппа Филипповича, да что там удивляла — приводила в полное недоумение. Ну как было не удивляться, если один его сын-близнец учился чуть ли не лучше всех в классе, а другой, так и не одолев премудрости сначала шестого, а потом седьмого класса, отправился под нажимом родителей прямехонько в ПТУ. Как было не удивиться параллельным конструкциям, сооружаемым жизнью, когда в одно и то же время, с разницей лишь в несколько дней, один близнец поступил в автодорожный институт, а другой — в камеру предварительного заключения Бутырской тюрьмы, за наркотики и прочую пакость. А ведь росли близнецы вместе, одни и те же фильмы по телевизору смотрели.

Тайна? Тайна. И еще какая!

А история с телевизором? Скорее всего, и вы слышали про этот случай, но наверное решили, что это небывалица. Сломался их старенький, еще черно-белый телевизор, а где взять новый, было совершенно непонятно, но буквально на следующий же день они выиграли в лотерею именно телевизор, причем большой, цветной, о котором и мечтать-то не смели. И что интересно — больше они никогда не выигрывали даже рубля, хотя, как вы понимаете, участвовали с тех пор во всех лотереях, которые только могло придумать государство. Так что фактически вся жизнь Филиппа Филипповича была сплошной цепочкой необъяснимых событий, которые его то радовали, то тревожили, и, просыпаясь утром, он всегда думал: "Интересно, а что случится сегодня?" — ну прямо совсем как ребенок. Жена так ему и говорила: "Ну ты, Филипп, прямо совсем как ребенок!" — на что он только пожимал плечами.

В то утро, ради которого мы, собственно, и затеяли рассказ, Филипп Филиппович, проснувшись, как всегда, на десять минут раньше, чем звонил будильник, лежал и смотрел в потолок, на котором, благодаря протечке, случившейся вчера у верхних соседей, явно вырисовывались два полушария карты мира. Самое темное пятно находилось как раз там, где на карте располагается Россия и Москва, а если бы карта была более подробная, то пятно наверняка бы накрыло улицу, а может быть даже и квартиру, в которой Филипп Филиппович жил. "Но почему именно мою квартиру?" — ни с того ни с сего подумал он и впервые не обрадовался загадке. Вдруг оказалось, что он знает ответ. "Потому что соседи алкоголики и хамы, — сказал он сам себе, — потому что снова надо отпрашиваться с работы, чтобы пойти в жилищную контору и заявить о протечке, потому что в трамвае опять будет давка и оторвут пуговицы, потому что отпуск только что кончился и теперь ждать целый год. И потому еще, что жена совсем превратилась в пилу с кривыми зубьями, а дальше будет еще тоскливее, и Кузькин пошел на повышение, в то время, как ему, Филиппу Филипповичу, не светит даже прибавка к зарплате".

Он смотрел на потолок и читал свою будущую жизнь. Она просматривалась насквозь, до самого отдаленного уголка — ни малейшего затемнения, ни хотя бы крошечной загадки. Он видел стареющую жену, с трудом поднимающуюся по лестнице с полной кошелкой; сыновей, которых не поймешь, совсем как чужие; пьянку на работе восьмого марта и тосты "за присутствующих дам" и "мужчины пьют стоя"; очередной отпуск на садовом участке в шесть соток, и скуку, скуку, скуку.

"Что ли старею?" — удивился Филипп Филиппович.

Жена посапывала рядом, лицо у нее было бледное и напряженное, наверное, ей снилась ее начальница.

Филипп Филиппович тронул жену за плечо.

— Лиза, а Лиза! — позвал он.

— А?.. Что?.. — жена открыла глаза. — Что, будильник?

— Да нет, — с досадой проговорил Филипп Филиппович, — не будильник. Я хотел тебя спросить: стареем мы, что ли?

— Ты что? — жена села на постели и испуганно посмотрела на мужа. — Спятил?

— Да, стареем, — решил Филипп Филиппович и горестно покачал головой.

Жена пожалала плечами, встала и накинула халат. Привычным движением она раздвинула штормы и приоткрыла форточку. В комнате стало светло и уныло. Тайна выглянула из темного уголка за шкафом, тяжело взлетела к потолку и, немного покружившись по комнате, вылетела в форточку. Больше в этом доме ей делать было нечего.



**Вероника Капустина**  
**«...ТЫ СТУЧИШЬ ВО МНЕ,  
МЕТРОПОЛИЯ, НЕМОЛКНУЩАЯ  
СТРАНА»**

**Переводы из романской поэзии**

*РУБЕН ДАРИО* — (настоящее имя Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто) — (1867-1916) — первый всемирно известный латиноамериканский поэт, один из ярчайших представителей модернизма в испаноязычной литературе.

**НЕИЗБЕЖНОЕ**

*Рене Пересу*

Блаженно дерево, лишённое сознания,  
Блаженны камни — те совсем неуязвимы.  
Больней, чем жить, нет в мире наказания,  
И тяжелей, чем сознавать себя живыми.

Бесцельно на земной топтаться тверди,  
Страх перед будущим терпеть и плоти голод,  
И ужас мысли о внезапной смерти,  
И муку жизни, мрак её и холод.

И неизвестность душу истомила,  
И дразнит искушенье гроздьё сочной.  
В цветах зловещих ждёт давно могила.  
Идёшь быстрее, как будто надо срочно —  
Откуда и куда — не зная точно.

**ЛЕДА**

В предутренней мгле лебедь — будто из снега,  
а клюв на рассвете — огонь янтаря.  
Дрожащие сумерки. Краткая нега.  
Несмелые крылья румянит заря.

Но выгнута шея и крылья раскрыты —  
едва лишь Аврора устанет пылать.  
Серебряный, утренним светом облитый,  
колеблет он голубоватую гладь.

Припухшие перья трепещут победой.  
Он ранен любовью, божественно груб.  
Он овладевает покорною Ледой,  
и клюв его ищет цветок её губ.

Нагая красавица вся в его власти,  
и стоны сгущаются в нежный туман.  
Глазами блестящими, полными страсти  
из чащи глядит потревоженный Пан.

*ГАБРИЭЛА МИСТРАЛЬ* — (настоящее имя Лусила Годой Алькайяга) (1889-1957) — чилийская поэтесса, просветительница, дипломат, борец за права женщин, лауреат Нобелевской премии по литературе.

### БОГАТСТВО

Радость, что мне верна,  
и та, что меня бежит, —  
подобна розе одна,  
другая — как острый шип.

То, чего лишена,  
нельзя у меня отнять:  
радости, что верна,  
и той, что бежит меня.

В пурпур облачена,  
обращена ли в пыль, —  
как в розу я влюблена!  
как любят меня шипы!

Умерли семена,  
живы оба плода:  
радость, что мне верна,  
и та, что бежит... и та.

### ПЕЧАЛЬНЫЙ БОГ

В тополиной роще, которую злая осень  
до старческой желтизны жестоко раздела,  
в бурой траве стою, которую скоро скосим,  
по впалой щеке глажу Его несмело.

Вечер слёзы на долгие нити нжет.  
В листе, зеленой вчера, багровой ныне,  
осеннего Бога, молчащего Бога вижу,  
в тоске застывшего, тонущего в уныньи.

И кажется: Тот огромный, сильный, мудрый,  
в кого, опьяненные, верим, вряд ли  
и существует. Подаст нам новое утро  
усталый — рукою старческой, дряхлой.  
Шорохов сердце Его полно, осеннего шума.  
Ко мне Его взгляд течет, как слеза живая  
из моря, что там, наверху, молчит угрюмо.  
Склоняюсь под этим взглядом и застываю.  
Больному богу молось, себе не рада.  
Молитва моя нелепа и голос странен:  
«Отец мой небесный, мне ничего не надо!  
О как Ты велик и как ты печалью ранен!»

*СЕСАР ВАЛЬЕХО* — (Сесар Авраам Вальехо Мендоса) (1892-1938) — перуанский поэт, чья лирика вобрала индейские традиции, достижения латиноамериканского модернизма, элементы сюрреалистской поэтики.

\*\*\*

Я в Париже умру под дождём  
в день, который заранее помню.  
В этом городе, осенью, днём, —  
в час, когда умереть суждено мне.  
Как сегодня, в обычный четверг,  
когда ноют к дождю мои ноги,  
и для прозы стихи я отверг,  
и один я на скучной дороге.

Умер Сесар Вальехо. Его  
много били, и было не жалко.  
Хоть не сделал он вам ничего,

но досталось и плетью, и палкой.  
А свидетелей этому много:  
четверги, и дожди, и дорога.

*РОСАЛИЯ ДЕ КАСТРО* (1837-1885) — испанская поэтесса, писала на галисийском и испанском языках. Центральная фигура «галисийского возрождения» XIX века.

\*\*\*

Ошибаюсь вновь и вновь я:  
не ушла порой ночью  
ты, о тень у изголовья, -  
здесь, смеешься надо мною.  
Не ушла, и тьмой густою  
солнце от меня закрыла,

ты горишь ночной звездой,  
ветром воешь ты уныло.  
Плачешь ты во мраке ночи,  
и звучишь во всякой речи,  
и речной волной бормочешь  
на рассвете и под вечер.  
И во мне живешь теперь ты,  
нет конца тебе, начала.  
Не покинешь ты до смерти  
то, что вечно омрачала.

\*\*\*

Трепещи, когда тебе по праву  
счастье достаётся в этом мире.  
За нечеловеческую славу  
платят здесь невыносимым горем.  
И не думай, будто так же рада  
боль пройти, как радость тихо минет.  
В памяти такие бездны ада!  
А сознание сродни равнине.  
Так упрямо лезет плющ на стену,  
Так страдание иные души  
оплетает, рушит постепенно,  
как растение суровый камень рушит!  
Да. Страшись и трепещи, пожалуй,  
если вдруг почувствуешь, что счастлив.  
Лучше, чтобы жизнь твоя бежала  
медленной рекой в широком русле.

*МАНУЭЛ АЛЕГРЕ ДЕ МЕЛУ ДВАРТЕ* (род. 1936 г.) — португальский поэт и политический деятель, один из кандидатов на пост президента Португалии на выборах 2006 года. Автор 27 поэтических сборников. Стихи — из «Книги португальца-бродяги» (“Livro do portuguez Errante”, 2001).

**НОЧЬ В ГОНКОНГЕ ИЛИ ШЕСТОЕ  
СТИХОТВОРЕНИЕ ПОРТУГАЛЬЦА — БРОДЯГИ**

В бухтах больших городов разлита такая тоска  
в огнях небоскребов в мутных печальных водах  
У любого судна в порту лицо чужака  
для которого небытие единственный отдых.

Ностальгия такого рода размаха силы витка  
Нью-Йорк Амстердам Сан-Франциско Гонконг ей имя  
Кажется тебя самого зовут тоска  
ты проездом здесь ты ничей ни с нами ни с ними.

Ты настолько проездом что увидеть тебя нельзя  
разве случайный взгляд как из-за угла выстрел  
Метрополии женский лик плывет по воде скользят  
Имперский дух окреп в колонии вызрел.

Во всех городах приморских белая скука вода  
касается мрамора каменные поцелуи  
матовый страх привкус ночи и пустота  
поцелуй течет губы легко минует.

Как я страдал по тебе неверная часть меня  
ушьяющая с отражениями белых зданий  
Тесно тебе на карте тебе не хватает дня  
Ты живешь во мне как последнее из прощаний.  
Блики твои по воде кораблями скользят  
Я чувствую в каждом вечере напряжение ночи  
Темнота прячет в плотных складках яркий закат  
Во мне и начало твое и конец и прочее.  
Ты гуляешь как ветер по коридорам сна  
Взгляды твои всё ревнивей всё бессонней  
Ты стучишь во мне метрополия немолкнущая страна  
Все изгнания на свете начинаются в Вавилоне.  
Грядут холода и забудешься даже ты  
Всё станет гравюрой забвенья немой и строгой  
Я буду тебя искать но все зеркала пусты  
Реки застыли нам подменили Бога.

### **БОЛЬШЕ ЧЕМ ТЕЛА...**

Больше чем тела хочу твоего стыда  
души судьбы твоей счастливой звезды  
каравеллы которая тихо скользит туда  
где любовь уже вне тебя где ты —  
моя на заре и в сумерках и всегда.

Хочу печали твоей веселья огня в крови  
того что сказал Камознс и вечно прав  
что утчет между пальцев как ни лови  
когда наслаждаться любовью устав  
с наслаждением мучаемся от любви.

Хочу поселить в тебе себя всего  
но отдавшись мы не всё отдаём  
я утратив тело продолжаю искать его  
обживая тебя как обживают дом.

## ПЕЧАЛЬ

Рассеянно глядя на шкаф я увидел  
как его осветило солнце  
и начал так: Квадрат света  
в прямоугольнике тени  
равен... картина эта -  
одно из бесчисленных уравнений  
одно из солнечных упражнений  
в геометрии.... Пока писал я  
солнце тихо ушло на запад  
оставив на поверхности шкафа  
след глубокой печали краткий блик.

*РОЗА АЛИШ БРАНКО* — (р. 1950) — португальский поэт. Преподаватель философии в Лиссабонском университете.

## ПОЭЗИЯ

Вот что я хочу спросить прежде всего:  
Что будет с розой, что происходит с ней,  
Когда она попадает в сети стиха?

Что такое поэзия? Просто ткань  
С прорезями для головы и рук?  
Одежда, в которой сейчас сижу за столом,  
Смотрю на розу, и роза видит меня?

Завтра умрет эта роза. Заботливая рука  
Её похоронит. Эпитафию сочинят:  
Розу воткнул небрежно в строфу, как в кувшин.  
Но в саду, где бьется пульс молодого дня,  
Белым стихом раскроется новый бутон.

Чем отличается роза внутри стиха от розы вне?  
Где, я хотела бы знать, мое место в строке,  
Вдоль которой ребенок несется во весь опор,  
У которой садовник в полдень садится перекусить,  
На которую падает новая капля дождя,  
Притворяясь, что ей всё равно, попадает ли она в ритм.



# Михаил Юдсон

## УЗОР РАЗУМА\*

В разливанном море, окаянном окяне нынешних планктонных текстов, устанавливающих плинтусную планку и задающих тон читательского внимания, сия книга — явно Большая Рыба. Повезло с уловом слов — счастье привалило!

Замечательная интеллектуальная проза, написанная ярко, ясно и на диво увлекательно. Ингересен уже и бородато-пейсатый образ самого автора — профессора физики Ариэльского университета (это в Самарии, на израильских «территориях») и вдобавок «практикующего иудея».



Эдуард Бормашенко озадачивается вопросом: а возможна ли философия в современном мире? Привыкли ж мы, что философия требует неспешных перипатетических прогулок в Садах Академа, регулярных выгулов с пуделем Атмой, задумчивого разглядыванья звездного неба и окантовки нравственного закона... Что поделать, если любовь к мудрости предполагает медленное отрешенное размышление в тихой норке с неизменным кьеркегоровским зонтиком под мышкой — а ведь бурный современный мир меняется очень быстро, по мановению компьютерной мышки. Так вот, данная книга, говоря языком аннотации, «представляет попытку философствования на калейдоскопическом материале наших дней. Важное место занимает осознание феномена науки. Как сложить мозаику, включающую узор заповедей и паутину уравнений современной физики? Как сопрягаются воля к истине и воля к смыслу?»

Перед нами своеобразная запись духовного опыта автора плюс рассуждения о текстах, сформировавших его внутренний мир: «Нам досталась эпоха усталости. Я вырос в стране, надорвавшейся на коммунистическом эксперименте. Крах великого опыта потянул за собой все здание гуманизма, по инерции полагаемого

вершиной человеческого духа... Что остается, когда все идеи исчерпаны и слова истерты? Остается перечитывать старые книги, радуясь передышке, выпавшей на долю нашего поколения... И переехав в Израиль, я обнаружил себя среди уцелевших и выживающих, спасших Веру и Верую спасшихся. Впрочем, религия Израиля со времен Исхода была достоянием уцелевших... А что в сухом остатке? Улыбка выживающих...»

Откровения Бормашенко хочется выписывать кусками и периодами. Его проза пронизана близкими мне Стругацкими и далеким Марком Алдановым, мыслями о творчестве Чехова и титанических строениях Толстого — в книге есть целый раздел «Страсти по кириллице». Существует также глава, точнее, этакая страстная песнь песней о возлюбленном предмете — о языке: «Философия: между мыслью и языком». Сказано у Бормашенко: «Слово ограничивает мысль. Поэтому речь подобна сотворению мира, как его понимают каббалисты. Для того, чтобы дать место миру, Вс-вышнему пришлось потесниться, ограничить себя. Ограничивая мысль, я даю место речи, я участвую в со-творении мира. Такова цена слова, настоящего слова».

Открывают книгу «Осколки меланхолической биографии» — неожиданная, надо признаться, отличная от остальных текстов, но при этом воистину отличная ироническая проза про застойные годы чудесные, про Хаос Перестройки, про то, как автор усилием мысли сотворил фирму, стал «новым русским» (точнее, украинским) и что из этого вышло... Безумно смешной и печальный текст.

Вернувшись к Ответу, обратившись, так сказать, в иудаизм давным-давно, еще при пирамидах, в расхристанном Харькове постперестроечных времен (столбы подправляли?), Бормашенко быстро обрел новые небеса и новую землю. На Обетованной он поселился в Ариэле, где по сю пору живет и учит в университете. Серьезный физик, даровитый философ, прирожденный филолог, писатель эссе и статей, автор научных работ и трудов. «Сухой остаток» — его первая книга на русском языке. Надо сознаться, что я, старый язычник — верный поклонник и усердный почитатель подобной письменности. Читать прозу Бормашенко — это удовольствие и польза, как пить горячительное при простуде (больше пейте, советуют врачи, и закусьвайте не рукавом). Благодаря бескостному устройству своего языка и робкой мягкости мозга мне, низшему, недоступны великие твердыни философии, всякие нищие и шестовы прошлого — их могучие многотомные кирпичи и шлакоблоки немедля погружают в сон. А ведь знаний хочется, как силы — здоровый инстинкт! И кроме того, прослышал я, что в Талмуде ни в одном томе нет первой страницы, потому что человек всегда продолжает учение, а не начинает. Вот и желается мне, ветхому, продолжать, а не похрапывать.

Поэтому так важен Бормашенко, перечитавший, перелопативший, переработавший, усвоивший божью уйму фундаментальных текстов и продолжающий пахать и выдавать на-гора, даровать нам тексты уже свои, инкрустированные нехотеными цитатами. Его книга — это тот кран, из которого льется на меня отменное готовое знание. Возведение Крана! Причем при открытии обложки «Сухого остатка» не только истекает философский первач, это еще и кран духоподъемный. Он майна-вирно теребит мой снулый разум, заставляет вглядываться в узоры натуры (узрел зайчика?), цепляет подкорку за шкуру: думай, думай головизной, надвершием шеи!

Бормашенко пишет хорошо и непросто. Его можно заглатывать залпом, а можно и принимать в себя неспешно, празднично, по дням — как бы зажигая очеред-

ную свечу-страницу. Тут же не просто бисерная игра категориями, морковный кофий философствования, тут желание, дostoевски выражаясь, «мысль разрешить».

Вот как отзывается о Бормашенко известный физик и публицист Александр Воронель: «Эдуард — уникальный писатель, у которого «разум, чувство и вера» (название одной из первых статей-эссе этой книги) совместимы. Физикам легко принять понятие Бога, но перейти от понятия к чувству — для этого требуется особый талант. Только в состоянии экзистенциального кризиса, на грани жизни и смерти приходит иногда наяву это чувство. Эдуарду удастся вместить трагически кризисное состояние мира в собственную душу и выразить это в четких словах».

Эх, суха теория и сух остаток, но древо слова вечно зеленеет... Читайте чаще — и Бормашенко в частности.

\* Эдуард Бормашенко. Сухой остаток. — Москва-Иерусалим, 2014 — 308 с. ISBN 978-965-91986-2-7.



Журнал «Семь искусств» № 10 (56)/2014 — Ганновер:  
*Семь искусств*. 2014. — 535 с., 34,3 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)  
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств  
Ганновер 2014

**Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.**

**Аристотель. "Политика"**

